ЕВРЕИ В КУЛЬТУРЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

3



ИЕРУСАЛИМ
1994

Евреи в культуре Русского Зарубежья

Статьи, публикации, мемуары и эссе

Том III

1939-1960 гг.

Составитель и издатель
М. Пархомовский

Иерусалим, 1994

ЕВРЕИ В КУЛЬТУРЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
Статьи, публикации, мемуары и эссе
Том III. 1939-1960 гг.

Составитель и издатель М. Пархомовский

Редакционный совет:
М. Амусин, С. Векслер, М. Генкина, Ю. Зислин, Г. Морев, Н. Прат,
В. Радуцкий, Я. Сорокер, С. Шварцбанд, И. Штительман, Д. Штурман,
Л. Юниверг (Израиль), О. Ласунский (Россия), Б. Лосский,
Б. Носик (Франция), М. Раев (США)

Набор: Я. Сорокер, И. Шофман
Корректор: Ю. Зислин
Монтаж: Ю. Гурь-Арье

© М. Пархомовский, 1994
ул. Мишлат, 648/4,
99000, Бейт-Шемеш,
Израиль
Тел. (02)917039

Книга издана на средства издателя и составителя с помощью спонсоров
Шломо Ювеля и Давида Варди

JEWS IN THE CULTURE OF RUSSIA ABROAD
Articles, publications, memoirs and essays
Volume III, 1939-1960

Compiler and publisher M. Parkhomovsky

Editorial board:
M. Amusin, M. Genkina, G. Morev, N. Prat, V. Radutsky, I. Shtitelman,
S. Shvartsband, Ya. Soroker, D. Sturman, S. Vexler, L. Yuniverg, Yu. Zislin (Israel),
O. Lasunsky (Russia), B. Lossky, B. Nossik (France), M. Raeff (USA)

Typesetting: Ya. Soroker, I. Shofman
Proof-reader: Yu. Zislin
Layout: Yu. Gur-Arye

© 1994 Copyright by M. Parkhomovsky
M. Parkhomovsky
648/4, Mishlat
99000 Bet-Shemesh
Israel
Tel.: (02)917039

The volume is published at the expence of its compiler and sponsors:
Shlomo Yuvel and David Vardi.

ISBN 965-222-292-5

Значительная часть денег на выпуск III тома
ЕВРЕИ В КУЛЬТУРЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
была пожертвована
Шломо Ювелем (Shlomo Yuwel, Diamonds, Tel-Aviv) и
Давидом Варди (David Vardi, Diamond Exchange, Ramat-Gan)

Составитель и издатель благодарит за великодушную материальную поддержку.

Considerable part of the money for publication of volume III
JEWS IN THE CULTURE OF RUSSIA ABROAD
was donated by
Shlomo Yuwel (Diamonds, Tel-Aviv) and
David Vardi (Diamond Exchange, Ramat-Gan).

Compiler and publisher is most grateful for their generous material support.

Дорогие читатели!

Отправляя в самостоятельную жизнь наше очередное детище — третий том, должен предуведомить, что хотя мы и продолжаем придерживаться заявленного деления нашей серии книг на периоды 1919-1939 гг. (I и II тома), 1939-1960 (III и IV), 1960 - наши дни (V и VI), в настоящей книге вы найдете много материалов о предшествующем времени.

Почему так получилось? Однозначно на этот вопрос ответить трудно. По-видимому, о Золотом веке русской эмиграции известно больше, чем о периоде второй мировой войны и послевоенного времени; деятели этой культуры понесли огромные потери; культурологическая литература о 1939-60 гг. еще не сложилась (особенно мало известно о творчестве в начальный период второй эмиграции в лагерях для перемещенных лиц - "ди-пи"). По-видимому, мало и соответствующих документов в архивохранилищах. Вероятно также, что межвоенную эпоху легче осмыслить, чем более позднее время.

Как бы то ни было, но в III том включены не только работы, посвященные 1939-60 гг., но и статьи о межвоенном периоде. Ценность последних, как нам представляется, вполне оправдывает нарушение нами же установленных временных рамок.

Пользуясь случаем, сообщаю, что материалы для IV тома в основном поступают вовремя, и я надеюсь издать его в течение 1995 года. В книге будет именной указатель к III и IV томам.

Михаил Пархомовский

КАТАСТРОФА

Редактор Юдифь Зислин

Историк Шимон Дубнов и Катастрофа. Весенний путь

Евгений Дубнов (Израиль)

Художники Русского Зарубежья — жертвы Катастрофы

Марина Генкина (Израиль)

“Конец прекрасной эпохи“

(Война, Холокаст и конец Первой русской эмиграции в Париже)

Борис Носик (Франция)

Историк Шимон Дубнов и Катастрофа*

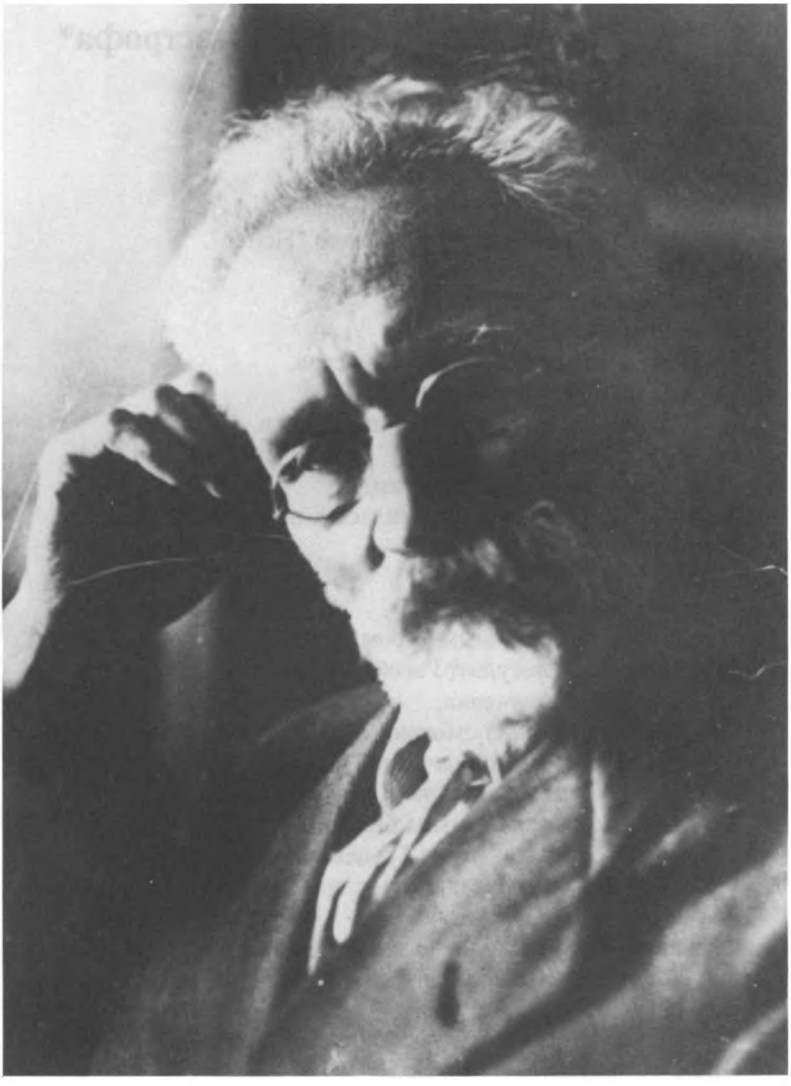
Евгений Дубнов

(Иерусалим)

"Nicht einen Band, mein Kind, ein Kapitel".
И я, выходя из кабины с табличкою "Нетеп",
поднимаясь на нос парохода,
наблюдая за редкими чайками
на холодном ветру
(впереди - паруса треугольных мостов,
пароход наш идет к Лорелее),
я на снимки смотрю, где они так похожи,
профессор и столяр,
мой двоюродный дед и мой дед.
"Профессор Дубнов", - обратилась к нему эта девочка,
соседа по дому сестренка,
в тридцать третьем году,
в стольном граде Берлине,
воскресным прогулочным утром.
Я, ходивший по лесу под Ригой,
где его застрелил ученик,
сквозь немецкие окна смотрю на немецких детей,
что играют с немецкой овчаркой в немецком дворе.
Это было в Берлине, на улице с именем штрассе,
Рулаштрассе название улицы было,
в сотне метров каких-то от Груневальда,
и Дубновых чета возвращалась с прогулки.
И я думаю,
слушая звон с колоколен немецких,
как он мог ошибиться, великий историк,
детально века воссоздавший.
Так спросила его эта девочка (что с нею стало?),
когда, возвращаясь с прогулки,

---

*Стихотворение "Историк Шимон Дубнов и Катастрофа" впервые публиковалось в сборнике стихов Е.Дубнова "Небом и землею" (Лондон, 1984).

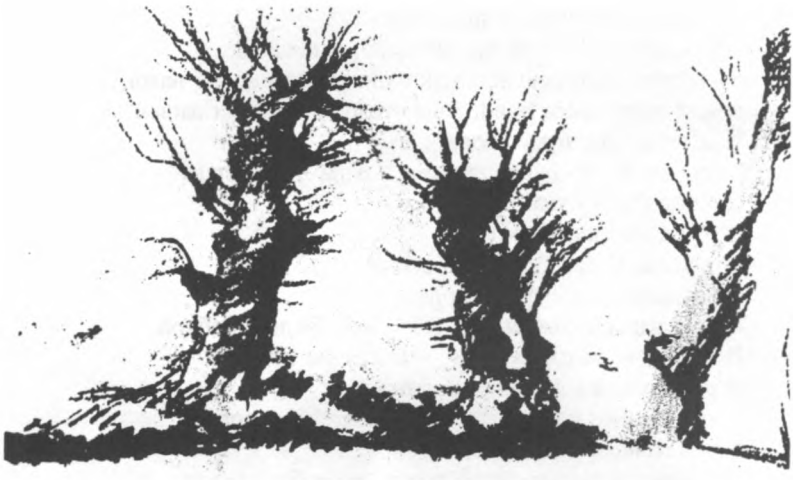


Шимон Дубнов

летним утром в Берлине
соседи столкнулись в подъезде:
"Профессор Дубнов, вы, наверно, напишите,
из-за того, что сейчас происходит в Германии с нами,
новый том, neuen Band, многотомной истории вашей".
И ответил он, руку подняв:
"Нет, дитя, это будет не том, а одна лишь глава" -
и хотел бы я думать,
что так он сказал потому,
что увидел, как огненный столп
передвинулся к берегу моря.
Но убежищем выбрал он Ригу, что было ошибкой.
И чему нас история учит, мне трудно понять.
Я растерян в Германии: рядом,
в элегантном кафе, что, сомнения нет, и тогда
было точно таким же, сидят
седовласые немцы, вернувшись, я трубку снимаю
(и его гейдельбергский студент, застреливший его,
потому что он их гуманизму учил) -
и звоня не куда-то, а в Гейдельберг,
я с прекрасной немецкою девушкой,
с юною фройлайн Кристиной -
dein goldenes Haar Margarete -
говорю (в ее голосе трепет любви)
в этом веке конца гуманизма,
и будет ли он лишь главою,
или томом, и прав ли был старый еврейский историк,
не за расу растрелянный в рижских лесах.

Май, 1982

Dein goldenes Haar Margarete (нем.) - твои золотые волосы, Маргарете (Гретхен) - ссылка на Гете в стихотворении "Фуга смерти" Целана *(прим. автора)*.



Весенний путь*

- Ты пришел издалека, пришел сюда...
- Да, я пришел, как и ты.

(Из прозы Пауля Целана)

"Я спою вам цикл страшных песен... Они стоили мне столько крови, сколько не стоили никакие другие песни".

(Из разговора Франца Шуберта с друзьями)

Последней, предсмертной, работой Шуберта была корректура второй части цикла Winterrise.

(Биографический факт)

"Ты не обманывай себя: эта последняя лампа не дает больше света - тьма всего лишь еще больше углубилась в себя".

(Из прозы Пауля Целана)

---

* Цикл "Весенний путь" публикуется впервые.

1

Мы выбирать не можем
Места и времена
Для путешествий наших
В край ледяного сна.

Земля внизу и небо
Вознесшихся путей
Однажды вышлют снега
За нами суховей.

И каждый бренный странник
Тогда пойдет в страну
Свою, что у буранов
Забвения в плену.

2

Пред мерзлотою ночи,
За робой облаков
Нам виден свет: пророчит
Он обогрев и кров.

3

Рядом с печкою
Огонек горит,
И становится
Ночь светлей.
В этом домике
Старичок один
Учит азбуке малышей.

Разгорается
Красным заревом
Над Европой тьма -
В поздний час

Все согласные
Вместе с гласными
Мы прочтем за ним
Много раз.

4

Путем ручьев журчащих
Пролег весны маршрут,
Вдоль соловьиной рощи,
Где спуск полог и крут.

***

Был в направленье тучи,
Застлавшей горизонт,
Наш поиск, быстротечным
Чтоб стал тяжелый сон.

***

Кому-то странствий наших
Труды могли помочь,
Тут окрыляя пеший
Поход ушедших в ночь.

***

И лишь открылась трасса
Сквозь призрачность огней,
Мы приступили к розным
Своим путям по ней.

5

Мне снятся майские цветы,
А снегом все лицо

Истерзано - так освети
Мне лучиком крыльцо.
Я вижу ночью на стене
Детей рисунки: там,
Во сне, в неведомой стране
Легко расцвесть цветам
Цветных мелков - но души те
Уже в ночном пути
Меж снежных скал: там в темноте
Для них цветам цвести.

6

Мягко-жесткая земля!
О добре тебя моля,
Как спускались на краю
Мы однажды в глубь твою...
Путь земной, весенний путь,
Зимний путь, стеснивший грудь;
Путешествующих сон
Видит воздух и вагон...
Здесь дороги их лежит
Явь, и майский лист дрожит.
Здесь конкретней смерти сны
Жизни, осени, весны...
И опять, своим путем,
Мы проедем и пройдем
Рубежи добра и зла,
Чтоб унять колокола,
Где тропа, стезя и гать,
Человечность воссоздать
И навек вернуть весне
Искры, плавящие снег.

7

Много слез из глаз упало
Путников в дорожный снег,

Много образов предстало
Перед нами в зимнем сне.

Там поток один широкий
Назначения достиг,
Там поплакал одинокий
Голос эха да затих.

За двусмысленную землю
День и ночь идут бои,
И поют, немотам внемля,
Неуемней соловьи.

8

Напрасно, путник, ищешь
Ты чей-то след в снегу:
Забвенья ветер свищет
На этом берегу.

То меты заметает,
То вехи снежных вихрь
В узор полей вплетает
Забытия живых.

Ты белым утром рано
Отправился пешком
В далекий путь за странным
Разутым стариком.

И сам ты, странник, скоро,
Взгляд бросив на часы,
Родной покинув город,
Куда-то шел босым.

И чем быстрее мимо
Шли за ночами дни,

Тем жгло невыносимей
В снегу твои ступни.

И встали у потока
Вы оба, коркой льда
Покрытого до срока
Открытия следа.

И как в забвенье канул
Шарманщик за рекой,
Ты поднял над веками
Скорбящий голос свой.

9

Ты знаешь горный кряж - путь в облаках,
Страну, где все цветет? Недалека
Она, за пропастью и за рекой
В теснинах до нее подать рукой.
Ты знаешь ли ее? Туда, туда
Из этих мест уйдем мы навсегда.

В пещерах на пути ты знаешь тьму,
Драконьи зевы страшные в дыму?
Ты знаешь дом, где всюду яркий свет,
Где с болью на меня посмотрит свод
Высокий и сапфирно-голубой:
Что сделали, дитя мое, с тобой?
...
wenn es dunkelt nach Deutshland
когда сумрак окутал Германию.

10

Я на холме, весной разбуженном, лежу
И за парящей птицею слежу,
И облака
Мне крыльями становятся. Легко здесь,

Волнуясь, грезить: в сумерках река,
Зелено-золотые ветви, дальний поезд...
Весна, весна, когда я успокоюсь?
...
Когда полночь подступит к Германии.

11

Я тоже в книжках для детей искал
Картинки. Я землей и небом стал.

Я был когда-то здесь самим собой -
Комочек праха под твоей стопой.

Рассвета нарастанье видел я,
Считавший свет основой бытия.

Тень палача приблизилась ко мне
Затмением на солнечной стене.

12

Теней игру я наблюдал и света
В реке немецкой - и она была
Такой, как все, и не было ответа
Мне о природе ни добра, ни зла.

13

Вид на зеленую долину
Открылся вдруг, и паутина
Уже качалась и плыла
На водах воздуха, и зла
Как будто не существовало
От жизни самого начала...
Но мы спешили в путь - и вот
Шоссе нас встретил разворот.

Боюсь я этих перекрестков
В Германии, боюсь отростков
Уродливых истории, дорожных
Всех этих указателей, возможность
Дающих вдруг свернуть в другую даль,
К Дахау, по пути на фестиваль.



14

В этом переулке дом
был я слышал, где всегда
Музыка звучала - нету ныне от него следа.
Что ж остановился ты,
дверь ища незримую?
Уж не хочешь ли ты встретить здесь свою любимую?

Соберись-ка лучше с духом,
вспомни все слова
И начни - а мы подтянем -
раз и два.

Ты сыграй, поведай нам
голосом и скрипкою,
Ножки стройные какие и фигурка гибкая
Были у нее и как
у ее крылечка вы,
Друг на друга долго глядя, расставались вечером.

О своей невесте песню
спой и повтори,
С этим темпом и размером:
раз, два, три.

Громче рельсы - и быстрей -
над оркестром рей, зола,
Каблучки ее заслышав, воссоздайте Рейзеле,
Что бежит домой, тропу
к вам найдя окольную,
Что влетает в сновиденья ваши птицей вольною.
Музыканты пепелищ
и вы, певцы путей,
Гряньте реквием и кадиш:
эйнс ун цвей.

15

Вечером у ратуши "Зиг Халле"
(Дом победы) уличный флейтист
Брамса исполнял. Грядой стояли
Облака над городом, и чист
Был немецкой флейты звук в немецком
Воздухе весеннем; тень и свет
Сонмов неба делали пометки -
Словно тайнопись - на синеве.

16

Брат мой, коснувшийся здесь метафизики зла,
Правишь ты ноты на смертном одре добела,
В темно-студеную прыгаешь воду с моста -
Встретит ли губы - мои и твои - пустота?
Больше, огромней, чем смерть, мы стоим на земле,
Сны наши вечную жизнь исходили, и след
Их протянулся до врат сострадания, до
Боли последних вершков над плывущей грядой.
Ты, мой двойник, что все время блуждаешь со мной
Рядом, по вереску, мху, сквозь цветенье и зной,
По заболоченной местности, в дождь, в снегопад,
Берегом моря, вдоль рек и озер, наугад,
По деревням, в городах, восходя на пути,
Где искуплением время и нас начинает трясти.

17

Упругими толчками время шло
По волноводу - чем спускались ниже
Его слои, тем медленней несло
Оно свой вес и тем звучало тише.
И остановки времени боясь,
И уповая на нее, мы громко,
Гортанью всею пели эту связь
Меж преходящей и недвижной кромкой.

А наверху стояли корабли,
Флотилии, армады - и лагуны,
Фарватеры, моря их: в дрейф легли,
Чтоб голос рос и креп ежесекундно.

18

Ты ли, скрытый Бог,
Приближаешь срок
Светом потрясти
Смертные пути?

Тут готов свернуть
Откровенья путь,
Делает гроза
Ясными глаза.

Будет словом свет,
Яркий силуэт,
Продиктуешь Ты
Тайные черты.

Явится сюда
Явь - сквозь ночь звезда,
Чтоб исчезло зло,
Пролетит светло.

19

Из окна вагона
Виден темный лес,
Где уходят кроны
В край ночных небес.

За стеклом недвижным
Парохода - свет;
Я смотрю и вижу
Порта силуэт.

Так поется тайна
Виденья и сна,
Перелетной стаи,
Временного дна.

Языка соцветья
Так цветут опять,
Виноград созвездья
Время покупать.

Траекторий звука
И небесных тел
Так идет наука
К тем, кто захотел.

Я родился в эти
Годы на краю,
И поймали сети
Жизни песнь мою.

И с тех пор, как сталось
Это, я вставал,
И что диктовалось
Мне, я создавал.

20

Будто бы горит
Куст и не сгорает,
Будто серебрит
Полночь крылья стаи.

Так, должно быть, явь
Видится из яви -
Кто пустился вплавь
По небесной славе?

Кто подземных рек
Пробудил сознанье,

Вызвал костный бег
К центру мирозданья -

Сделал так, чтоб звук
Бросил на весы я -
Как его зовут,
Кто идет? Мессия.

21

Удлинились тени в чистом поле,
И почуял вышедший на волю
Чью-то настороженную близость,
Будто чайки чуткой белокрылость...

Бело-черно-синим океаном
Плыли мы однажды утром рано.
Поднимался над волненьем вод
И светлел сапфирный небосвод.



Цикл "Весенний путь написан 9-20 мая 1983 г.
Кельн-Мюнхен-Зальцбург-Мюнхен-Кельн-Льеж-Оостенде-Довер

Части 9 и 10 цикла представляют собой вольное переложение соответственно "Миньоны" Гете и "Весною" Мерике; следующая за ним строка - ссылка на "Фугу смерти" Целана.

Части 3 и 14 берут за основу еврейские песни соответственно "Ойфун припечек" и "Рейзеле" (автор - Мордехай Гебиртиг, 1877-1942, знаменитый "соловей Польши", погиб в Кракове от руки немецкого солдата).

В цикле используются также реминисценции песен Шуберта на слова Мюллера "Winterrise" ("Зимний путь"), а также, в 16-й части, аллюзии на книги стихов Целана "Schneepart" ("Часть снега") и "Zeitgehöft" ("Двор времени"). Напомню читателю о трагической гибели этого поэта, еврея, писавшего по-немецки, ребенком пережившего фашистские лагеря и потерявшего родителей в Катастрофе. Катастрофа продолжала преследовать Пауля Целана, проходя через все его творчество и порой производя впечатление одержимости, и большинство биографов видят прямую связь между этой травмой в детстве и его самоубийством (будучи уже всемирно известным поэтом, Пауль Целан покончил с собой, бросившись с моста в Париже).



Владимир Сагал. Пятеро интернированных (1941).

Художники Русского Зарубежья — жертвы Катастрофы

Марина Генкина
(Иерусалим)

Мы помещаем в нашем сборнике имена художников-евреев Русского Зарубежья, погибших в Катастрофе или чудом спасшихся из нацистских лагерей. Одни из них были заметными фигурами в искусстве; другие пользовались известностью лишь в узком кругу; об одних имеются достаточно полные сведения, о других - лишь несколько строчек. Но какими бы разными они ни были, их объединила общая судьба: все они эмигрировали на Запад, чтобы стать художниками, и все они явились жертвами Катастрофы.

Строго говоря, этот список можно было бы расширить: те, кому удалось избежать лагерей смерти, тоже подвергались лишениям только потому, что были евреями. Они скрывались, прятались у друзей, оставив свои дома и свои работы; то, что они не были арестованы, - лишь счастливая случайность. Хаим Сутин избежал лагеря, но когда у него открылось язвенное кровотечение, его пришлось везти в Париж из-под Турина, где он скрывался, спасаясь от нацистов; и везли его проселочными дорогами, сделав огромный крюк, - из-за опасности облав. Время было упущено, и на следующий день после операции, 9 августа 1943 года, Сутина не стало. Лазарь Воловик тоже не был в лагере, но в покинутой им на время оккупации мастерской поселились нацисты, и все его работы погибли. Таких примеров, к несчастью, можно привести много.

Однако мы решили ограничиться списком прямых жертв Катастрофы, узников нацистских концлагерей, почтив память тех, кто погиб, и радуясь за тех, кто выжил.

В этой работе были использованы каталоги выставок, посвященных памяти художников - узников нацистских лагерей, и документы музея "Яд ва-Шем", любезно предоставленные*

*Отсутствие в списке точных сведений - дат, мест учебы и т.д. - означает, что в имевшейся в нашем распоряжении литературе этих сведений нет.

научным сотрудником Анатолием Кардашем. Редакция приносит Анатолию Кардашу свою благодарность.

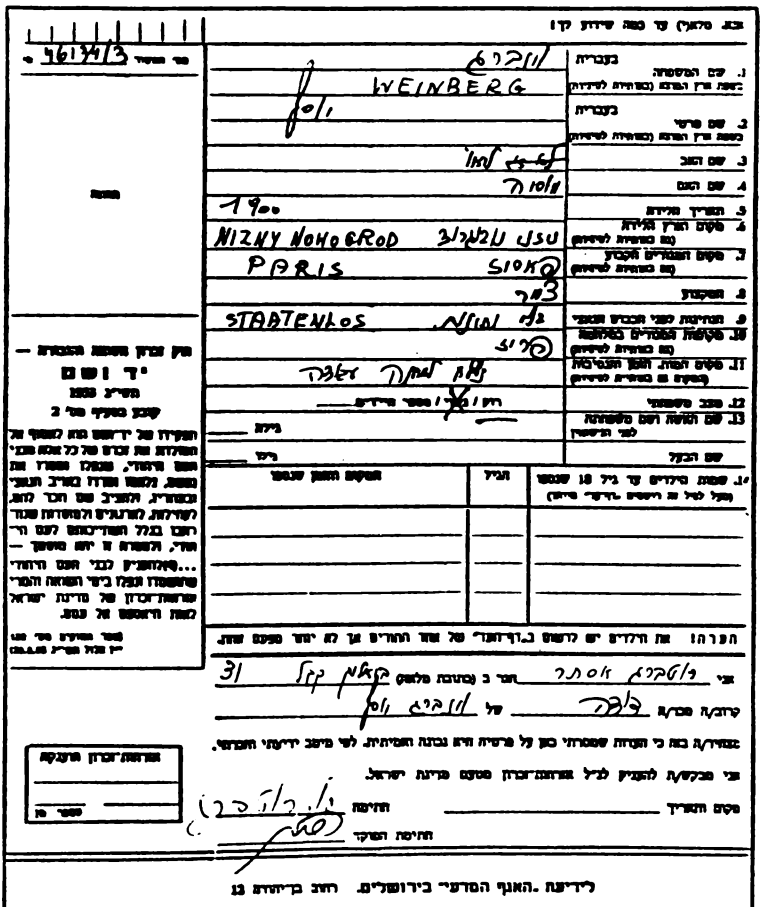
Мы обращаемся с просьбой к нашим читателям: если у Вас есть сведения о других художниках, не упомянутых в нашем списке, или дополняющие приведенные нами данные, сообщите, пожалуйста, по телефону или адресу, указанному в книге. Заранее благодарим.

Абрахам Берлин. Родился 5 октября 1894 года в Нежине. В возрасте 19-ти лет отправился в Париж изучать искусство. Учился в Школе изящных искусств, одновременно работал таксистом. Был известен преимущественно как пейзажист, участвовал в крупных парижских выставках - "Салон Тюильри", "Осенний Салон", "Салон независимых", показывал свои работы в галереях. После оккупации Франции гитлеровцами Берлин примкнул к движению Сопротивления. Был арестован в Париже в мае (по другим сведениям - в марте) 1941 года и отправлен в лагерь Компьень, где провел 17 месяцев. Из Компьеня отправлен в пересыльный лагерь Дранси, затем в Аушвиц. Погиб в 1942 году.

Леопольд Бернштейн-Синаев. Родился 4 декабря 1867 года в Вильно. В возрасте 14 лет уехал в Париж. Учился у Далю и Родена, известен как скульптор. (Несколько его работ находятся в Третьяковской галерее в Москве.) Был арестован и отправлен в лагерь Дранси. Погиб 3 февраля 1944 года.

Давид Брайнин. Родился 25 августа 1905 года в Харькове в семье портного. В возрасте 14 лет эмигрировал с родителями в Палестину. Через пять лет семья переселилась в Париж. Брайнин учился в Академии изящных искусств и одновременно занимался хореографией, поддерживал связь с русской балетной труппой. Во время оккупации был арестован и отправлен в Компьень, откуда 5 июня 1942 года был переведен в Дранси. В Компьене Брайнин сделал много рисунков, в основном - сцены лагерной жизни. Из Дранси отправлен в Аушвиц. Погиб.

Осип (Иосиф) Вайнберг (Вейнберг?). Родился в 1900 (по другим данным - в 1903) году в Нижнем Новгороде. Учился в Академии художеств в Петрограде. После Октябрьской революции



Анкетный лист Осипа Вайнберга,
заполненный его родственницей Эстер Рутберг. Яд ва-Шем

эмигрировал в Берлин, продолжал там обучаться живописи. В 1928 году переехал в Париж и поступил в Свободную Академию на Монпарнасе. Жил во Франции без гражданства. В июле 1942 года был арестован и отправлен вместе с матерью и другими членами семьи в лагерь. Погиб.

Абрахам (Альберт) Вейнбаум. Родился в 1890 году в Каменец-Подольском. Детство его прошло в Лодзи, затем он переехал в Краков и учился в краковской Академии художеств. Вернувшись в Россию, учился в Одессе. С 1910 года жил в Париже. Живописец. Писал натюрморты с цветами, портреты. Во многих работах - еврейские типажи. Часто выставлялся, в том числе и на персональных выставках. Был очень заметной фигурой на Монпарнасе. После объявления войны вступил во французскую армию. В 1940 году Вейнбаум с семьей бежал в Марсель. В январе 1943 года они были арестованы, отправлены в Компьень, затем в Дранси. А.Вейнбаум погиб в Аушвице.

Юлиус Гордон. Родился 26 декабря 1908 года в Иркутске. После революции его семья эмигрировала в Париж. С началом войны вступил во французскую армию, служил в свободной зоне на юге Франции. Принимал участие в отправке еврейских детей в Швейцарию на французско-швейцарской границе. В 1944 году был схвачен гестапо и отправлен в Компьень, затем в Мелк (Австрия). Погиб.

Яков Готко (Янкель Готковский). Родился в 1900 году в Одессе. В 1905 году, после погромов, семья эмигрировала в Париж. Учился в Школе изящных искусств. После окончания школы сначала работал как архитектор, затем стал художником театра и кино; продолжал также занятия живописью. Участвовал в выставках ("Осенний салон" и др.). В 1939 году был арестован как лицо без гражданства и отправлен в Компьень как советский гражданин - несмотря на то, что прожил во Франции почти всю жизнь. В сентябре 1942 года, вместе с группой из 147-ми русских евреев, переведен в Дранси. В Компьене и в Дранси Готко пробыл меньше года; много писал, рисовал. 31 июля 1943 года был депортирован в Аушвиц (Биркенау), где встретил мать и сестру. Все они погибли.



Яков Готко. Фронт. Сталаг 122. (1942)

Самюэль Грановский. Родился 5 октября 1889 года в Екатеринославле. Учился в Академии художеств в Одессе. В 1900 году отправился в Париж. Занимался скульптурой и живописью - в основном писал народные сцены. Среди монпарнасской богемы Грановский считался одной из самых колоритных и духовных фигур. Был арестован в июле 1942 года и отправлен в лагерь. Погиб.

Эли Гринман. Родился 8 апреля 1875 года в Киеве. Учился у И.Репина. В 1927 году эмигрировал в Париж. Арестован 12 апреля 1944 года. Погиб.

Эрна Дем (Вольфсон). Родилась в 1899 году в Киеве. В доме ее родителей собиралась русская и еврейская интеллигенция. Частыми гостями были Бялик, Шолом Аш. Эрна Дем занималась скульптурой, керамикой, живописью. Училась в Академии художеств в Мюнхене, затем жила в Париже. В 1914 году вернулась в Россию и

училась два года в Академии художеств в С.-Петербурге. В 1920 году вновь уехала в Париж. Участвовала во многих выставках. 17 июля 1942 года была арестована. Погибла.

Мадим-Леон (Леви) Зардинский. Родился в 1902 году в Вороновиче на Украине. В 1920 году эмигрировал в Палестину, учился в школе искусств "Бецалель". В 1925 году уехал в Париж, поступил в Школу изящных искусств. Работал как декоратор, занимался оформлением интерьеров. Погиб 22 июля 1942 года. (Аушвиц?)

Иосиф (Осип) Любич. Родился в России в 1908 году, уехал в Париж совсем молодым. Принадлежал к так называемой Парижской школе. Был арестован во время облавы в квартале художников и отправлен в Дранси. Оказавшись в последнем транспорте, направлявшемся в Аушвиц в августе 1944 года, Любич организовал побег заключенных и остался жив. Ему удалось сохранить значительное количество рисунков, изображающих повседневную жизнь в Дранси.

Абрахам (Абрами) Мордкин. Родился в 1874 году в Екатеринославле. В 1917 году уехал в Париж. Сведений о нем очень мало - известно лишь, что он был арестован, отправлен в Дранси. Погиб, очевидно, в феврале 1943 года.

Владимир Сагал. Родился в 1898 году в Витебске, в семье известных интеллектуалов Сагаловичей. В 1915 году, спасаясь от погромов, семья перебралась в Цюрих, где Владимир начал изучать медицину. В 1922 году он переехал в Берлин, чтобы заниматься искусством. В 1933 году бежал от нацистов во Францию. В 1939 году, после объявления войны, вступил во французскую армию. В 1940 (41?) году был арестован и отправлен в пересылочный лагерь Сан-Сюльпис, недалеко от Тулузы, в южной части Франции, находившейся под юрисдикцией правительства Виши. В 1943 году Сагалу чудом удалось бежать в Швейцарию. В 1956 году он вернулся в Цюрих. Делал рисунки для крупных швейцарских газет. Писал портреты знаменитых еврейских лидеров - Усышкина, Бен-Гуриона, Жаботинского и др. Умер в Цюрихе в 1969 году.

Александр Фазини (Фасини?) (Шауль Файнзилбер). Родился в 1892 году в Одессе. Учился в Одесской Академии художеств. В 1922 году эмигрировал в Париж. Участвовал в выставке "Салон Тюильри". Кроме живописи занимался фотографией; его работы экспонировались на Международной выставке в Париже в 1937 году. 20 июля 1942 года был арестован вместе с женой. Они были отправлены в Дранси и, затем, в Аушвиц. Погибли.

Айзик (Адольф) Федер. Родился 16 июля 1887 года в Одессе. Принимал активное участие в еврейском революционном движении, вступил в партию "Бунд". Спасаясь от преследований и погромов, вынужден был эмигрировать из России. В 1909-10 гг. изучал живопись в Берлине, Женеве и, наконец, в Париже. Учился в Академии Жюльена и в студии Матисса. Принадлежал к так называемой Парижской школе, поддерживал отношения с Модильяни, Сутиным, Липшицем, участвовал во многих выставках. В 1926 году Федер посетил Палестину; из этой поездки он привез много живописных работ. Был арестован милицией Петена и отправлен в Дранси, оттуда в ноябре (декабре?) 1943 года - в Аушвиц. Погиб.



Айзик Федер. Читающий с желтой звездой (1942 - 1943)

Рафаэль Шварц. Родился в 1874 году в Киеве. В возрасте 18 лет отправился в Париж изучать искусство, посещал Школу изящных искусств. Поддерживал тесные связи с французской аристократией. В 1921 году выпустил альбом портретов - Андре Жид, Пуанкаре, Дебюсси, Роден и другие деятели французской культуры и политики; предисловие к альбому было написано Анатолем Франсом. В августе 1942 года Шварц, не выдержав постоянного напряжения в ожидании ареста, повесился в своей одежде с желтой звездой незадолго до прихода нацистов в дом.



Савелий Шлайфер. Еще живы (1943)

Савелий Шлайфер. Родился 30 сентября 1881 года в Одессе. Учился в Одесской Академии художеств, затем в студии И.Репина в Петербурге. В 1905 году отправился в Париж для участия в выставках "Салон Тюильри" и "Салон независимых". В 1907 году вернулся в Россию, работал художником в Троицком театре в Петербурге. В 1914 году был призван в русскую армию и направлен в специальную "камуфляжную бригаду". Во время революции вернулся в Петербург, открыл школу искусств и преподавал там рисунок и живопись; позднее стал профессором декоративного искусства в Ленинградской Академии художеств и вел спецкурсы для художников театра и кино - театральный грим и костюм в кинематографе. В 1927 году уехал в Париж, работал как живописец и художник кино. 22 июня 1941 года, в день нападения Германии на Советский Союз, Шлайфер был арестован как советский гражданин и отправлен в Компьень. Большая часть из огромного числа сделанных им там портретов, натюрмортов,

лагерных видов не сохранилась. В сентябре 1943 года Шлайфер был переведен в Дранси и через неделю отправлен в Аушвиц (Биркенау). Погиб.

Литература

1. Memorial exibition. Jewish artists who perished in the Holocaust. Catalogue. Tel-Aviv, Tel-Aviv Museum, 1968, April-May.

2. Blatter J., Milton S. Art of the Holocaust. London, Pen Books, 1982.

3. Eichenbaum P. Jewish artists who perished in the Holocaust. Tel-Aviv, Tel-Aviv Museum.

4. Novitch M. Resistenza Spirituale (Spiritual Resistance). 120 drawings from concentration camps and gettos. Milano, Comune di Milano, 1979.

5. Spiritual Resistance. Art from concentration camps. A selection drawings and paintings from the collection of of kibbuts Lohamei Haghetaot, Israel. New-York, Union of American Hebrew Congregations, 1978.

6. Spiritual Resistance. Art from concentration camps. A selection drawings and paintings from the collection of kibbutz Lohamei Haghetaot, Israel. With essays by M.Novitch, C.Dawidowitcz and T.Freudenheim. Lohamei Haghetaot, 1981.

7. Testimony art of the Holocaust. Catalogue of exibitions. Curator of exhibition and author of catalogue Irit Salmon-Livne. Jerusalem, Museum Yad Vashem, Winter, 1982.



В. Смоленский и Ю. Мандельштам

"Конец прекрасной эпохи"

(Война, Холокаст и конец Первой русской эмиграции в Париже)

Борис Носик
(Париж)

Война, угроза расового и политического нацистского погрома, лишения, террор и, наконец, Катастрофа нанесли непоправимый урон русской эмигрантской колонии в Париже, тому уникальному явлению, каким была (несмотря на сравнительную свою малочисленность) Первая русская эмиграция. Хотя остались в живых многие эмигранты, хотя возвратились с юга Франции, из Швейцарии и Америки беженцы, великая эпоха русской эмиграции в Париже закончилась с войной и Катастрофой. Оставались еще в Париже русские, что-то писали, издавали, о чем-то спорили, но не было больше той атмосферы, взаимосвязи и инфраструктуры, того общественного мнения и кодекса чести (немало расшатанного, в частности, нацистской и советской пропагандой и инфильтрацией). Одной из причин исчезновения прежнего эмигрантского общества явилась трагическая гибель еврейской интеллигенции - равно и творцов и потребителей культуры, и ее покровителей-меценатов. Рассеялся отравленный запахом крематорского дыма "особенный русско-еврейский воздух". Оставшиеся увидели руины. Бегство из Франции продолжалось и после войны...

В печи лагерного крематория погиб Илья Исаевич Фондаминский, о роли которого немало написано в этом издании, отдавший себя помощи "эмигрантскому народу", поискам Истины и Бога. Историк, публицист, редактор, он отличался необыкновенной добротой, терпимостью, бескорыстием, стремлением помочь слабому и страждущему, и роль, которую он играл в русских эмигрантских движениях, стала особенно ясно ощутимой после его гибели. Один

из участников и авторов журнала "Круг" (созданием которого Фондаминский хотел помочь молодым обездоленным русским литераторам) Василий Яновский вспоминал: "Для себя лично Фондаминский... никаких выгод не желал, что ставило его в роль почти беспристрастного арбитра... было совершенно ясно, что без этого замечательного человека все немедленно... разойдутся... Что и случилось после войны... Ценность Фондаминского стала понятной только теперь. Такие люди необходимы для возникновения культурного центра с положительной иерархией и руководящим общественным мнением. Их нам недостает, пожалуй, больше, чем Бердяевых или Герценов". Яновский отмечал и "всепоглощающую, бескорыстную, утомительную деятельность" Фондаминского на ниве эмигрантской культуры. Другой писатель тогдашнего "незамеченного поколения", Владимир Варшавский, писал, что после гибели Фондаминского "моральный и творческий уровень эмигрантской жизни трагически понизился".

В начале войны Фондаминский находился в свободной (неоккупированной) зоне Франции и мог ехать дальше, но вернулся в Париж. У него было ощущение, что только теперь и можно взяться за настоящее дело, за то, к чему он всю жизнь себя готовил, - речь идет о борьбе, о спасении людей, о самопожертвовании... Так он попал в лагерь. Но и там он отверг предложение о побеге. Мысль о том, чтобы бежать, оставив других на смерть, казалась ему непереносимой, и он предпочел страдание.

Немало было сказано об утопичности попыток Фондаминского возродить в своем окружении, в созданных им "Круге" и "Новом Граде" благородные идеи "Ордена русской интеллигенции". Владимир Варшавский отмечал, что с началом войны "все годные к службе в строю участники этого 'ядра будущего ордена' пошли во французскую армию": "Фондаминский достиг своей цели - сумел передать эмигрантским сыновьям мистическое вдохновение орденского жертвенного подвижничества. В созданной им маленькой зачаточной ячейке нового ордена произошло... чудо восстановления оборвавшегося преемства". Говоря о преемниках из близкого окружения Фондаминского, Варшавский имеет в виду Елизавету Скобцеву (в первом браке Кузьмину-Караваеву, в монашестве мать Марию), бывшую эсерку, бывшую декадентскую поэтессу, а позднее подвижницу-монахиню и богослова. Это она в довоенные годы привозила из "чрева Парижа" на тележке дареные овощи и мясо, что-

бы накормить голодных и заблудших. ("Пронзила великая жалость / Мою истомленную плоть", - писала она тогда.)

И это она в начале войны бросилась на помощь тем, кому было страшнее всего, - евреям. Она помогала Сопротивлению и прятала еврейские семьи. "Ну а ворвутся немцы и спросят, есть ли евреи? - пугали ее, и она отвечала: "Я отвечу - да, есть. И покажу им образ Божьей Матери с Младенцем". В эти страшные дни она не только прятала, но и пыталась ободрить своих подопечных, возродить в них гордость. Она писала в страшном 1942:

Два треугольника - звезда,
Щит праотца царя Давида,
Избрание, а не обида,
Великий дар, а не беда.

Израиль, ты опять гоним,
Но что людская воля злая,
Когда тебе в грозе Синая
Вновь отвечает Элогим!

Пускай же те, на ком печать,
Печать звезды шестиугольной,
Научатся душою вольной
На знак неволи отвечать.

31 марта 1945 года мать Мария была отправлена в печь крематория - вместе с теми, кого не успела спасти... В лагере погибли ее сын Юра и отец Дмитрий Клепинин - праведники из окружения Ильи Фондаминского.

Из молодежного "Круга" вышел и Борис Вильде, поэт, ученый-этнограф, основатель группы "Сопротивление", по свидетельству многих, пустивший в обиход и само слово "резистанс" (сопротивление). О высочайшем духовном уровне этого младшего воспитанника "Ордена" Фондаминского свидетельствуют его предсмертные письма и героическое его поведение во время расстрела на холме Монт Валерьен 23 февраля 1942 года. На доске, прикрепленной у входа в парижский Музей человека, рядом с именами погибших сотрудников музея Анатолия Левицкого и Деборы Лифшиц, имя Бориса Вильде...

В нацистском лагере смерти погиб молодой поэт, прозаик, эссе-

ист Юрий Владимирович Мандельштам. Арестованный немцами 10 марта 1942 года, он был заключен в лагерь Дранси, затем в лагерь около Орлеана и переведен снова в Дранси. В июле 1943 года Ю.Мандельштам отправлен в Германию, "в неизвестном направлении". Дата его смерти точно не установлена (предположительно 1943 год)*.

Юрий Мандельштам родился в Москве в 1908 году. Двенадцатилетним мальчиком уехал с родителями в эмиграцию. Он крестился, единственный в семье, но фамилию менять не хотел. В 1925 году окончил в Париже русскую гимназию, а в 1929 - филологический факультет Сорбонны. В том же году Ю.Мандельштам начал печататься - в "Возрождении", "Круге", "Числах", "Современных записках". Критика отмечала в его стихах неизменный мотив любовного страдания и одиночества, но колебалась в выборе источников влияния. Одни сближали Ю.Мандельштама с французскими парнасцами (Л.Кельберин), другие - с классической традицией русского акмеизма. Юрий Мандельштам успел выпустить два сборника стихов в Париже ("Остров", 1930, и "Верность", 1932) и один в Берлине ("Третий час", 1935)**. В Шанхае был опубликован сборник его статей "Искатели", посвященный творчеству Данте, Бальзака, Паскаля, Свифта, Гете, Моцарта, Бетховена.

Справедливо будет предположить, что Мандельштам не успел написать своих лучших и главных книг.

Более популярным автором "Круга", "Чисел" и "Современных записок" был арестованный нацистами на границе Швейцарии в 1943 году и, вероятно, в том же году погибший прозаик и эссеист Юрий Фельзен (настоящее имя Николай Бернгардович Фрайденштейн). Он родился в Санкт-Петербурге в 1895 году в семье врача, в России получил юридическое образование, через Ригу и Берлин добрался в 1924 году в Париж, где жила его сестра. Работал в банке, но главным и любимейшим его занятием была литература. Он писал статьи и рецензии (о Джойсе, о новых французских писателях Шардоне, Ланкретеле, Шадурне и, конечно, о своем кумире Прусте), а также художественную прозу (то ли романы, то ли повести, то ли дневники) в стиле "потока сознания", с длинными перио-

*См. вступительную статью к сб.: Ю.Мандельштам. Годы. Париж, 1950 (прим. ред.).

**Четвертый сборник ("Годы"), составленный Ю.Мандельштамом из стихов 1937-41 гг., вышел в Париже в 1950 году (прим. ред.).

дами и фразами, без фабулы и даже без точек, "вязкую", как отмечали рецензенты "Чисел" и "Современных записок", "оранжерейную", очищенную от конкретных реалий, свободную от читательских требований, однако "искреннюю и свободную от литературных шаблонов" - "экспериментальную" прозу, отмеченную "упорной и страстной добросовестностью", стремлением освободиться от "литературности".



Сарра-Ариадна и Довид Кнут в начале войны

Юрий Фельзен был весьма популярен в русских литературных кругах. В 1935 году его избрали председателем Объединения поэтов и писателей. Мемуарист В.Яновский отмечал джентельментство Фельзена, сравнимое только с джентельментством Осоргина, его сдержанность, умение вести беседу, образованность. Когда Фельзену был задан вопрос: "Что вы думаете о Ленине?" ("Числа", 1932, N6), он ответил:

Деятельность Ленина часто сравнивают с деятельностью Петра Великого. На мой взгляд, эти люди на редкость противоположны. Петр собственными глазами видел ту европейскую жизнь, которая ему казалась лучше и выше русской и которую он хотел в России ввести.

... Ленин пытается изменить, перевернуть весь русский быт по выдуманным, книжным теориям, чужим и своим, и верит, будто Россия укажет миру новые пути и по ней мир перестроится. Большей национальной и личной самонадеянности представить себе нельзя.

У Фельзена, используя его собственное выражение, "был роман" с Лермонтовым:

... мой первый детский "роман с писателем", менее других поверхностный и случайный, ... - по-видимому, неисчерпанный роман с Лермонтовым...

... эта связь со всем моим прошлым, со всем, что меня задевало, это постоянное возвращение в трудные минуты, эта верность доброго и старого друга, все это для меня в Лермонтове, в его презрительной гордости, в его отстраняющей каждого, неподатливости, неожиданно переходящей... в признательную нежность, в откровенность, столь возвышающую собеседника или друга и для него головокружительно лестную ("Письма о Лермонтове", письмо шестое).

Критика отмечала, что в "Письмах о Лермонтове", как и в других произведениях Фельзена, для автора важнее всего понять самого себя.

Перед самой войной проза Фельзена получила похвалу из уст, которые редко отверзались для похвалы. Речь идет о рецензии В.В.Сирина-Набокова на альманах "Литературный смотр" в 70-м (последнем) номере "Современных записок".

Отрывок Фельзена - единственное украшение сборника. Хотя, вообще говоря, этого автора можно кое в чем упрекнуть (в том, например, что он тащит за собой читателя по всем тем осыпям, где авторская мысль сама прошла, то начиная обстраиваться, то бросая недостроенное, и, наконец, с последним отчаянным усилием находя себя в метком слове, к которому читателя можно было привести и менее эмпирическим путем), это, конечно, настоящая литература, чистая и честная.

В том же номере "Современных записок" напечатана рецензия на польский двухтомник, посвященный Пушкину. В рецензии отмечено, насколько жива в польской поэзии и литературоведении память о Пушкине. Написал эту рецензию молодой русский поэт и подающий надежды славист Михаил Горлин. Всеобщему любимцу, веселому, кудрявому Мише Горлину суждено было вскоре погибнуть в немецком концлагере. Чуть позже погибла в лагере его жена, поэтесса Раиса Блох*.

Молодому рецензенту берлинского "Руля" Владимиру Сирину пришла однажды несчастливая мысль обругать на страницах газеты новые стихи Раисы, и как знать, не вспоминалась ли Набокову эта женщина через два десятка лет, когда он описывал переживания

* О Михаиле Горлине и Раисе Блох см. публикации А. клементьева и В. Кельнера в 1-м выпуске нашего издания (прим. ред.)

Пнина, вспоминающего о Мире Белочкиной, погибшей в нацистском лагере:

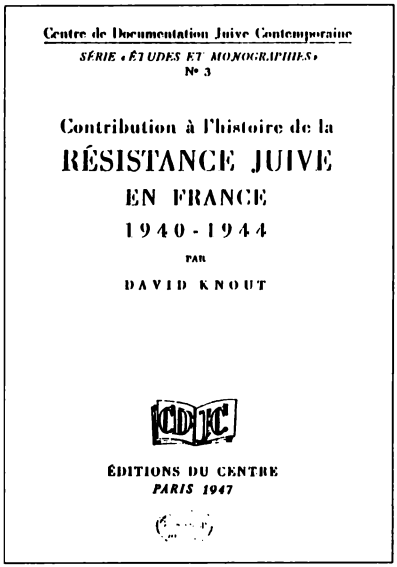
*...если быть до конца честным с самим собой, то никакая сознательность и совесть, а стало быть, и никакое сознанье вообще не могли существовать в мире, где возможно что-либо вроде Мириной смерти. Приходилось забыть - потому что невозможно было жить с мыслью о том, что эту изящную, хрупкую, нежную молодую женщину, с этими ее глазами, с этой ее улыбкой, с этими садами и снегами за спиной, свезли в скотский лагерь уничтожения и убили...**

Впрочем, может, Набокову вспомнилась и какая-нибудь другая, такая же прелестная интеллигентная еврейская женщина из образованной петербургской семьи — скольких унесла из Парижа Катастофа!

Широкой известностью пользовалась погибшая в концлагере парижская беллетристка Ирэна Немировская. Она писала по-русски и по-французски (романы "Добыча", "Иезавель"). Особенно широко был известен ее роман "Давид Гольдер" (написанный по-французски и опубликованный в русском переводе в 1930 году в Риге).

Особняком среди погибших стоит героиня Сопротивления Сарра-Ариадна Скрябина. Посмертно она была награждена французским орденом и медалью, в Тулузе ей был установлен памятник. Эта женщина безудержных страстей и многих талантов, дочь композитора Александра Скрябина, вышла замуж за одного из наиболее известных поэтов Монпарнаса Довида Кнута и перешла в иудаизм. Вместе с Кнутом она издавала по-французски еврейский журнал и громче других предвещала евреям грядущую опасность. Ее подруга Эва Киршнер, (она и сегодня живет на бульваре Бен-Гурион в Тель-Авиве и ждет в гости серьезного историка) рассказала мне, что многих раздражали неистовые пророчества Сарры-Ариадны: до последнего дня парижские евреи, уже нашившие желтую звезду, согнанные в лагеря и на сборные пункты, не могли поверить, что *такое* может с ними случиться. Ариадна (как, впрочем, отчасти и Кнут, писавший до войны: "О, мир, где с каждым часом холодней") предвидела все беды. С первых дней войны она была в еврейском Сопротивлении, потом - в маки - помогала переправлять еврейских детей до испанской границы. За месяц до конца войны ее застрелили сидевшие в засаде французские полицейские-коллаборанты. Сам

*Вл. Набоков. "Пнин". Пер. Б.Носика. - Вл.Набоков. Романы. М.: "Худож. лит-ра", 1991. С. 274.



Обложка книги Д. Кнута "К истории Еврейского Сопротивления во Франции. 1940-1944 гг."

Довид Кнут, тоже участник еврейского Сопротивления, был своевременно переправлен в Швейцарию.

Немногим довелось дожить до конца войны. Не пережила этой трагедии и сама русская эмиграция в Париже, в которой русские евреи играли столь заметную роль. Не было больше в Париже высокоинтеллектуального, может быть, единственного в мире эмигрантского сообщества, не было прежней атмосферы, не было аудитории, исступленно любившей и поддерживающей родную литературу, не было щедрых русско-еврейских меценатов, воспитанных на этом, даже не всем понятном благоговении перед культурой. Наступил "конец прекрасной эпохи".

Литература

1. Варшавский В.С. Незамеченное поколение. Нью-Йорк, 1956.
2. Яновский В. Поля Елисейские. Книга памяти. Серебряный век. Нью-Йорк, 1983.
3. Носик Б. Привет эмигранта, свободный Париж! М., 1992.
4. "Современные записки", 1936-40, N46, 51, 62, 70.
5. "Числа", 1930, N2-3, 4, 6, 7-8.
6. "Круг", 1937, N1.
7. "Встречи", 1934, N6.
8. о. Гаккель С. Мать Мария. т.1, т.2, ИМКА-Пресс, 1992.
9. Мать Мария. Воспоминания, статьи, очерки. ИМКА-Пресс, 1992.
10. Федотов Г.П. Новый град. Нью-Йорк, 1952.
11. Райт-Ковалева Р. Человек из музея человека. М., 1987.
12. "Русская мысль". 1992, 8 мая.
13. Довид Кнут. Насущная любовь. Париж, 1938.
14. Ковалевский П.Е. Зарубежная Россия. Париж, 1971.
15. Носик Б. "Эта неистовая, нетерпимая, добрая, нежная Ариадна..." (Довид Кнут и Ариадна Скрябина). // "Русская мысль". 1992, 31 июля.

ЛИТЕРАТУРА

Редактор Олег Ласунский

Последние из могикан

Дора Штурман (Израиль)

Одесское детство
(Софья Юльевна Прегель)

Руфь Зернова (Израиль)

“Была война, была Россия...“
Дон-Аминадо.
История одного стихотворения

Анатолий Иванов (Россия)

Три жизни и три любви Марка Слонима

Олег Малевич (Россия)



Последние из могикан

Дора Штурман
(Иерусалим)

Раскрываю номер "Нового русского слова" (Нью-Йорк) от 10 января 1994 года, и ударяет в сердце: "Умер Андрей Седых". Вот текст редакционного некролога:

В субботу, 8 января, на 92-м году жизни скончался главный редактор "Нового русского слова" Андрей Седых, писатель, публицист, общественный деятель.

Он родился в 1902 году в Крыму, в Феодосии (его отец был журналистом, посылал свои репортажи в петербургские газеты), 18-летним выпускником гимназии Андрей Седых (тогда его звали Яшей Цвибаком) бежал из России на корабле, который высадил его, вместе с другими беженцами из ада гражданской войны, в Константинополе.

Он был матросом и грузчиком, продавал газеты, не отказывался ни от какой работы и уже в 1921 году сумел добраться до Парижа, где, с трудом зарабатывая на хлеб и ночлег, сумел окончить университет и Высшую школу политических наук.

С 1922 года он сотрудничал в парижских "Последних новостях" П.Н.Милюкова, где проработал до самого закрытия этой газеты (она была закрыта в 1940 году в связи с немецкой оккупацией Франции).

Оккупация вынудила его вместе с женой, актрисой и певицей Женни Грей (Евгенией Липовской), бежать из Франции в Америку. На третий день после того, как они сошли на берег в нью-йоркском порту, он приступил к работе в газете "Новое русское слово", сотрудничать в которой начал еще в 1933 году, живя в Париже.

Андрей Седых в те годы был редактором, репортером и переводчиком, но на жизнь зарабатывал как страховой агент. Несмотря на собственную бедность и загруженность работой, он, тем не менее, сразу по приезде в Нью-Йорк организовал Литературный фонд для поддержки нуждающихся деятелей русской культуры в Европе и Америке.

Он написал 17 книг и без счета статей. Некоторые из его книг давно стали библиографической редкостью. Первая вышла в 1926 году. Он был секретарем И.Бунина и вместе с ним ездил в Стокгольм получать Нобелевскую премию. А.Куприн уже в 30 году назвал его "собратом по перу". Но когда в 1935 году Марк Вайнбаум попросил его к 25-летию "Нового русского слова" написать для юбилейного номера свою автобиографию, Андрей Седых написал:

"Биографии у меня нет. 18-летним юношей я продавал на улицах Константинополя русские газеты.

Теперь я сотрудничаю в этих газетах".

Это все. И для журналиста этого вполне достаточно.

В 1967 году, после смерти основателя газеты Виктора Шимкина, Андрей Седых стал совладельцем газеты, а в 1973 году, после смерти Марка Вайнбаума, - ее главным редактором.

Все аспекты его деятельности невозможно осветить в коротком некрологе. Об этом будут еще много писать и говорить те, кто знал его, кому он помогал.

Скажем только, что Андрей Седых был счастливым человеком: у него была любимая работа, чудесная любимая и любящая жена, с которой он прожил 56 лет. Его доброта, душевная щедрость, талант и обаяние привлекали к нему людей, и друзей у него было без числа. Можно сказать, что все деятели русской культуры за рубежом были его друзьями и любили его.

Светлая ему память!

Пусть земля будет ему пухом.

* * *

ЭТА ПОТЕРЯ НЕ ВОСПОЛНИМА ДЛЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ, ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЕГО ЗНАЛ И ЛЮБИЛ

Да, действительно, эта потеря невосполнима: закончил свой земной путь талантливейший очеркист, журналист высшего, звездного, класса, успевавший откликаться на все значительные события времени, зоркий рассказчик, психолог и наблюдатель, которому никогда не изменяли точность и благородство.

Я имела счастье состоять в переписке с Андреем Седых (Яковом Моисеевичем Цвибаком) с 1978 года, с момента первой моей публикации в "Новом русском слове". И получала его замечатель-



Мстислав Ростропович, Андрей Седых,
Галина Вишневская, Женни Грэй

ные письма до тех пор, пока он не перестал публиковаться в газете и отвечать своим бесчисленным корреспондентам. Это было несколько лет назад. Но все казалось, что вот-вот вернется к работе, что вот-вот придет его всегда такое значительное и талантливое письмо...

Я пытаюсь найти некие определяющие черты этой поистине ренессансной личности. Андрей Седых написал бесчисленное множество корреспонденций и статей, несколько книг незабываемых очерков, рассказов, путевых записок и впечатлений. Но наиболее характерной для него как для человека трагической и неповторимой эпохи оказалась книга "Далекие, близкие". И еще - его переписка. Она не опубликована и частью хранится в университетских архивах США, а частью, должно быть, еще и не разобрана, как и многие другие архивы "последних могикан" "первой волны". Но в

ней, несомненно, собрана неоценимая культурная сокровищница - кусок истории "России в изгнании", как называл зарубежную Россию покойный Роман Гуль, друг и почти ровесник Андрея Седых.

Какими видятся мне определяющие черты Андрея Седых, Якова Моисеевича Цвибака? "Яшеньки" - как неизменно называл его гневный, яростный, желчный и рыцарственно-непримиримый Бунин, - называл от счастливых своих нобелевских дней и вплоть до мучительной смерти (страдания его Андрей Седых из-за океана облегчал, чем мог)...

Андрей Седых был человеком счастливым. Не потому, что миновали его тяготы и потери Времени: он вкусил их с избытком. Счастлив он был потому, что обладал могучей личной сопротивляемостью: в катаклизмах эпохи он оставался благороден, мужествен, великодушен и наблюдателен. Он любил, и его любили. Не только прелестная даже в старости Женни Грей (Евгения Липовская), его жена, но и друзья, верные, надежные и многочисленные, его бесчисленные прижизненные читатели. Он был человеком творческим, и заполненность своим делом, погруженность в свое журналистское и писательское призвание никогда его не покидали. Душевной и умственной безработицы он не знал; внутренней опустошенностью, свойственной в бедственные эпохи эгоцентричным людям, не страдал никогда. Всегда в его поле зрения оставались люди, которым было хуже, чем ему, и это не позволяло ему сосредоточиться на своих бедах. И, наконец, ему просто везло: он дружил или тесно общался с интереснейшими людьми эпохи. И у него всегда (или почти всегда) была работа - немалое счастье для эмигранта. Юмор и наблюдательность не изменяли ему и тогда, когда он был голоден, как молодой волк, и носил фантастические полулохмотья. И работа находила его - так же, как он находил ее: быстро, всюду и разная. Если было необходимо, он совмещал журналистику с обязанностями разнорабочего или страхового агента. Он умел зарабатывать на хлеб насущный, чтобы остаток сил отдавать выпечке хлеба духовного. Благотворительность, при первой и минимальной возможности, стала таким же его повседневным делом, как журналистика. Он помнил себя бедняком и всю жизнь сострадал чужой бедности, стараясь ее облегчить.

Но вряд ли имеет смысл усматривать в образе Андрея Седых некую пряничную сусальность, обливать его сладкой патокой. Седых был остер на язык, не разрешал задевать ни свое личное, ни



И. А. Бунин и А. Седых в Стокгольме, 1933 г.

свое профессиональное достоинство, не позволял посягать на дорогие ему идеи. Ему не чужды были ни журналистская резкость, ни некоторое озорство. Вспоминается эпизод, описанный им в его воспоминаниях о П.Н.Милюкове:

В эмиграции в эти годы процветал Ив.Наживин, автор довольно бездарных романов, в которых он, заодно, сводил и личные счеты. Наживина я никогда в жизни не встречал, жил он, если не ошибаюсь, в Брюсселе, но почему-то, вместе с некоторыми другими сотрудниками газеты, избрал меня своей мишенью. Широко использовал мою фамилию в романе "Неглубокоуважаемые", а затем начал писать письма в редакцию. Письма эти летели в корзину, но он упорно писал их, обливая меня грязью. И в один прекрасный день я не выдержал, взял открытку и написал на ней:

- Неглубокоуважаемый Андрей Седых посылает Вас, г.Наживин...

Далее следовали три весьма непечатных слова и подпись.

Через несколько дней Милюков вызвал меня в кабинет. Я никогда не видел его таким возмущенным. Строго и внимательно он посмотрел на меня через свои профессорские очки в тонкой металлической оправе и спросил:

- Это вы написали открытку Наживину?

Злополучная открытка лежала перед ним на столе. Я объяснил, напомнил ему о романе Наживина, о бесконечных его выпадах, переходящих все границы приличия...

- Поведение Наживина мне совершенно безразлично, - сказал П.Н.. - Но за вас я несу моральную ответственность. Наживин прислал мне жалобу не как редактору "Последних новостей", а как председателю Союза писателей и журналистов. Наживин человек такого порядка, что жалобу его можно оставить без внимания. Но, по правде говоря, подобного безобразия от вас я не ожидал.

Лицо Милюкова было багровым, но и мое стало заливаться краской.

Как раз незадолго до этого Павел Николаевич подарил мне свою фотографию с тронувшей меня надписью: "Андрею Седых от одного из его духовных отцов" ... хорош оказался "духовный сын"! Внезапно тон Павла Николаевича смягчился:

- Вы очень молоды и можете брать с меня пример. Верьте, к таким способам полемики никогда прибегать не следует. Открытка возвращается отправителю, - можете ее уничтожить.

Он внимательно посмотрел не меня, убедился, что мне стыдно, и, слегка улыбнувшись, сказал:

- Ну ладно. У вас там в редакционной комнате, кажется, все так выражаются.

Став главным редактором "Нового русского слова", Андрей Седых так декларировал свою позицию (передаю не дословно, но точно): газета не публикует ни коммунистов, ни нацистов (любой окраски), ни бульварщины. Но вне вышеперечисленных исключений всякое мнение, высказанное на профессионально удовлетворяющем редакцию уровне, может быть представлено на страницах газеты.

И действительно, спектр мнений и стилей, представленных газетой под руководством А.Седых, был достаточно широк, но не изменял этим ограничениям.

Яков Моисеевич Цвибак - еврей и никогда этого не "вуалировал". Я не знаю, какого он был вероисповедания, был ли он вообще конфессионально верующим. Но он никогда не чурался ни еврейской, ни израильской, в частности, тематики и в собственном творчестве, и в газете. Друзья его составляют истинно космополитическое сообщество, а книги его очерков "Земля обетованная" (1966) и "Иерусалим, имя радостное" (1969) давно стали библиографическими раритетами. Надеюсь, что они будут переизданы. Ни ущемленности своим еврейством, ни намека на какое-либо национальное высокомерие, ни отчужденности от мировой, еврейской и



Встреча Ал. Л. Толстой и А. Седых



Портрет А. Седых работы М. Клионского

российской жизни нет в творческом наследии этого удивительного человека.

Я люблю все его книги, но более других - трижды изданный и полностью разошедшийся сборник "Далекие, близкие" (третье издание - Нью-Йорк, 1979. Надеюсь, что будет четвертое - в Москве).

Книга эта замечательна изящной и ненавязчивой независимостью, с которой автор остается верен непреходящим ценностям гуманизма и демократии.

Случается и слышать, и читать, что автор "Далеких, близких" предпочитает говорить о привлекательных чертах своих персонажей, обходя худшие. Мне представляется, что это не так. Чем глубже проникаешь в подтекст книги, тем более покоряет добротность и определенность самой системы отсчета автора в оценке героев книги. Его критерии не корректируются ни голосом идеологии, ни диктатом моды. Живописуя подробно или набрасывая мимоходом портреты своих современников, ушедших из жизни, Андрей Седых не получает удовольствия от обличения. Его огорчает необходимость говорить о ком-то плохо. Ему более свойственно радоваться высоким чертам людей. Но есть вещи, которых он органически не приемлет. Чуждый высокомерия и злорадства, он лишен снисходительности к душевной низости. Масштаб и свойства явлений нравственных очерчены им без всякой двусмысленности. Литературная одаренность Алексея Толстого не окупает в глазах Андрея Седых гражданской и человеческой низости "советского графа", а Бунина не лишает величия его трудный, подчас несносный характер. Форма самопроявления, иногда неудачная, неприятная (характер), не отождествляется с внутренней основой человеческого существа и бытия: с пониманием добра и зла, с отношением к правде и лжи в творчестве и гражданской судьбе.

Характерно, что о людях, ему симпатичных, А.Седых пишет пространно и глубоко. О неприятных и антипатичных - лишь в меру сюжетной и биографической необходимости, очень скупо, но уничтожительно. В силу врожденного великодушия он не любит судить и осуждать. Но в силу нравственной непримиримости и духовной определенности он не может не осудить зла и ничтожества тех, кто стоял на дороге его "далеких, близких" и отравлял им жизнь.

Вот список его очерков: А.И.Куприн, М.А.Волошин и О.Э.Мандельштам, М.А.Алданов, С.В.Рахманинов, К.Д.Бальмонт; три юмо-

риста: Дон-Аминадо, Саша Черный и Н.А.Тэффи; В.Л.Бурцев, А.М.Ремизов, С.А.Кусевицкий, Ф.И.Шаляпин, П.Н.Милюков, А.К.Глазунов, И.А.Бунин, М.Шагал; парижские литераторы-эмигранты ("монпарнасские тени").

Ни один из тех, кто вызывает его антипатию и неуважение, не вошел в этот список: они возникают лишь в эпизодах и сохраняются в памяти постольку, поскольку связаны с людьми дорогими и уважаемыми, с событиями их (и автора) жизни.

Книги Андрея Седых являют собой одну из черт многогранного еврейского характера: отзывчивость на события мировой истории, включенность в поток мировой культуры, способность органически врасти в инонациональный культурный мир. Многосоставная, многослойная еврейская сущность, еврейская национальная психология, еврейский характер вариабельны в пределах от крайнего моноцентризма до безграничного космополитизма. Извращенной формой первого становится порой активная ксенофобия (бытовая, религиозная, философическая); крайней формой второго - самоотрицание, отказ от своих корней, от национальной самоидентификации. Для Андрея Седых немыслима агрессивная узость первого подхода, а Яков Моисеевич Цвибак решительно чужд ренегатству второго. Я потому назвала его в начале этого очерка характером ренессансным, что он органично жизнелюбив и гармонически сочетает в себе начала общечеловеческое, российское и родовое. При его жизни я не решилась бы говорить о нем столь патетично (он этого не любил), хотя писала о нем не однажды. После того как он ушел в мир иной, я могу позволить себе отнести к нему эти определения (в такой же мере, как и к его незабвенному русскому собрату Роману Гулю).

Книги Андрея Седых отстаивают представления глубокие и содержательные против представлений расхожих, но ложных.

Приведу один из примеров: "богемность" кажется многим людям первым шагом в искусство, симптомом талантливости и неординарности. Несчастье и крест некоторых высоких натур: непостоянство, одиночество и отщепенство - в толпе их подражателей обретают неодолимую мещанскую пошлость (проекция терзаний Демона на бездарность Грушницкого). Подспудно, без деклараций и без нажима, без чистоплюйства и брезгливой поучающей интонации (автор слишком много пережил и видел, чтобы быть ханжой, он слишком для этого душевно здоров и жизнелюбив), возникает в

книге Андрея Седых апофеоз подвижнического труда - одного из пороговых условий творчества.

Андрею Седых знаком и доступен вкус артистической неустроенности, эстетизм романтической бесшабашности и нерасчетливости.

Неприкаянные и грациозные, мелькают на некоторых его страницах силуэты "богемьенов" русского художественного Парижа. Гамма его отношения к ним широка: от любования и мягкого юмора до сострадания.

Но ближе, милее, более родственна ему в его героях строгая обязательность неустанной работы. Тридцать восемь страниц занимают одни только названия работ Милюкова. Тома сочинений Алданова - история России от Екатерины II до Сталина. Бессмертные неповторимые вокальные партии. Стихи и проза. Музыкальные сочинения. Грустный смех трех юмористов. Следственные дела Бурцева. Подвижничество неустанно работающих интеллигентов - вот главное содержание его очерков о "далеких, близких".

Читателя, привыкшего к идеологической избирательности, советской и антисоветской, поражает не только психологическая совместимость автора с людьми глубоко различных характеров, но и мировоззренческое разнообразие лиц ему близких и симпатичных.

Всеядность? Нет. Взаимоотношения Андрея Седых с его героями определяются не столько идеологическими, сколько этическими их чертами.

Каковы же его собственные убеждения?

Андрей Седых, по его неоднократному утверждению, антикоммунист. Но ведь антикоммунизм - это еще не позиция. Один из первопостулатов формальной логики гласит, что чистое отрицание не есть суждение. Эта тривиальная истина игнорируется, когда мы пребываем в стадии отрицания чего-то мешающего нам жить. Люди в зоне, малой или большой, объединены общим врагом, власть которого они все отрицают. Свобода же разъединяет. Один антикоммунист на свободе вдруг оборачивается таким же моноидеологом, как коммунисты. Другой оказывается либералом и плюралистом и находит противника во вчерашнем союзнике. Свобода самовыражения не может не разъединить людей, связанных общим рабовладельцем, но она же потом и объединяет их по новым, положительным, признакам, а не только по "антипризнаку" общего отрицания.

Для Андрея Седых и его близких личностный, гуманистический подход к идеям и людям стал фактом жизни, чертой мироощущения и этики. Антикоммунизм Андрея Седых не предполагает замены одной ("плохой") моноидеологической мании другой ("хорошей") моноидеологической манией. В его случае мы наблюдаем счастливую предопределенность отрицания положительным миросозерцанием отрицающего. Автор воспоминаний и его близкие отвергают силу, которая уничтожает дорогое их сердцам свободное человеческое единение, и при этом знают, чего они хотят. Последнее случается достаточно редко. На почве моноидеологических моделей желательного будущего с такой же необходимостью возникает война всех против всех, с какой на почве либерального, т.е. плюралистического, мироощущения рождаются плодотворные личные и социальные союзы и компромиссы.

Приложение: список книг Андрея Седых

Старый Париж. - Париж, 1926.
Монмартр. - Париж, 1926.
Париж ночью. Предисловие А.И.Куприна. - М., 1928.
Там, где жили короли. (Окрестности Парижа). - Париж, 1930.
Там, где была Россия. - Париж, 1931.
Люди за бортом. - Париж, 1933.
Дорога через океан. - Н.-Й, 1942.
Звездочеты с Босфора. - Н.-Й., 1948.
Сумасшедший шарманщик: Рассказы - Н.-Й., 1951.
Только о людях. - Н.-Й., 1955.
Далекие, близкие: Воспоминания. - Н.-Й., 1962; 3-е изд. - Н.-Й., 1979.
Замело тебя снегом, Россия: Рассказы, очерки. - Н.-Й., 1964.
Земля Обетованная: Очерки. - Н.-Й., 1966.
This Land of Israel. - Н.-Й., 1967.
Иерусалим, имя радостное. - Н.-Й., 1969.
Крымские рассказы. - Н.-Й., 1977.
Пути, дороги. - Н.-Й., 1980.



Одесское детство

(Софья Юльевна Прегель)

Руфь Зернова
(Иерусалим)

Имя этой писательницы не попало, к сожалению, в новейшую еврейскую энциклопедию. Между тем в литературном мире первой эмиграции оно было хорошо известно. Софья Юльевна Прегель (1897-1972) играла видную роль в культурной жизни Парижа 1930-х годов. Это была одаренная и своеобразная поэтесса "младшего" поколения: о ее стихах писал Ходасевич, и, кажется, ему принадлежит сравнение ее поэтического мира с живописью фламандской школы. Ее стихи ценили Бунины: "Я приветствую ее тоже как поэтессу, а не только как редактора журнала" (Вера Бунина, письмо к М.С.Цетлин). Она - автор семи стихотворных сборников (седьмой - "Последние стихи" - вышел посмертно), постоянная сотрудница "Современных Записок", прозаик, переводчица. Она и редактор, и издатель - основала ежемесячный журнал "Новоселье", выходивший во время войны в Соединенных Штатах, а потом в Париже. Она и вдохновительница, и неустанная помощница издательства "Рифмы", выпускавшего поэтические сборники русских авторов, "не имевших возможности печатать свои произведения в трудных условиях заграничного книжного рынка" (вышло более 50-ти книжек). А кроме того, она помогала, постоянно помогала нуждающимся, особенно же - литераторам, широко и охотно.

Софья Юльевна Прегель родилась в Одессе. Она росла в богатой и дружной еврейской семье: отец был известным промышленником, сыгравшим немаловажную роль в экономическом развитии юга России, мать вела дом, воспитывала детей и, как это случалось тогда, была при этом прекрасной пианисткой и певицей. Софья Юльевна, окончив Одесскую гимназию Чудновской, два сезона была актрисой одного из одесских театров, потом уехала в Петроград, чтобы учиться пению в консерватории. Революция оборвала ее артистическую карьеру. Семья выехала за границу - в Берлин.

Тогда еще смѣялась безъ причины,
Еще разсвѣтъ встрѣчала на рѣкѣ.
Спускалась въ трюмъ, гдѣ запахи овчины
И мѣдный чайникъ въ старческой рукѣ.

И видѣла, какъ поваръ сыплетъ просо,
Какъ таетъ сгустокъ дыма безъ слѣда,
Какъ мелко запузырилась вода
Подъ шваброй у дневальнаго матроса.

Виномъ на скатерть солнце пролилось,
Сіяла пристань у трясучихъ сходенъ,
И бабы сочно вымещали злость...
Тогда еще года бѣжали врозь,
И каждый день былъ ярокъ и несходенъ.

СУББОТА

Непраздничныя громкія слова
Текучій сумракъ медленно расплавилъ,
И кто-то снялъ пушинку съ рукава
И темный галстухъ бережно поправилъ.

И въ праздничной задумчивой игрѣ
Спустился вечеръ чинно и достойно.
Скрипѣли двери, свѣчи пѣли стройно
Въ начищенномъ фамильномъ серебрѣ.

Все было такъ: и хлѣба позолота,
И эта тѣнь на бѣломъ потолкѣ,
И ароматы рыбы и компота,
И бабушка въ коричневомъ платкѣ,
Святившая грядущую субботу.

Из сборника "Разговор с памятью" (1935)

Никто не умретъ, ничего не случится,
Ничто не загубитъ весенней поры.
Свистятъ на балконахъ и люди и птицы,
И дворникъ поетъ, выбивая ковры.

Какъ будто бы сердце заговорило,
И кончился сразу лѣнивый покой,
Какъ будто для жизни другое мѣрило...
Сбѣгаю по лѣстницѣ, къ теплымъ периламъ
Слегка прикасаясь холодной рукой.

Навстрѣчу дачникъ въ чесунчѣ,
Арба и кучеръ полусонный.
Какой заборъ темнозеленый,
Какія дыни на бахчѣ!

Въ степи степенные волы,
За ними плугъ, качаясь, стонетъ.
Я растираю на ладони
Зарей пропахшую полынь.

Въ колодцахъ различаю дно.
Я сучья у кустовъ ломаю
И въ колосѣ ищу зерно.
И міръ въ лучахъ неузнаваемъ,
Какъ эта бѣлая, прямая
Дорога. Съ небомъ заодно.

Из сборника "Солнечный произвол" (1937)

Именно там, в "русском Берлине", определился жизненный путь Софьи Прегель - она стала литератором. В Париже, куда Софья Прегель переехала в 1932 году, она становится сотрудницей русских журналов, а в 1935 издает свой первый сборник - "Разговор с памятью", тот самый, который сразу напомнил читателям живопись фламандской школы. В 1937 году вышел сборник "Солнечный произвол", в 1938 - "Полдень". К этому времени она уже завоевала известность как новый "младший" поэт - так в русском Париже называли тех, чье поэтическое творчество сложилось за рубежом. По-прежнему - может быть и больше прежнего - она продолжала заниматься энергичной филантропической деятельностью. Но и этот счастливый период ее жизни внезапно оборвался - грянула вторая мировая война.

Софья Юльевна может считаться удачницей - она избежала судьбы, постигшей многих ее собратьев по перу: не сгинула в лагерях, не пряталась у знакомых, не голодала... Ей удалось уехать в Штаты в самом начале войны. Приехала она туда уже как профессиональный литератор. Разумеется, она продолжала писать стихи, но там, в Америке, в ту пору, когда русским поэтам приходилось особенно туго, она становится не только автором, но и организатором: основывает в Нью-Йорке ежемесячный журнал "Новоселье", просуществовавший восемь лет, и издательство "Рифма", служившее подспорьем многим поэтам. Она читала, редактировала, советовала и - к счастью, имея эту возможность, - по-прежнему помогала нуждающимся. Сама она за эти годы выпустила три стихотворных сборника, а последний, как мы уже указывали, вышел посмертно, в 1973 году.

И еще одна ее книга вышла посмертно. Издал ее старший брат Софьи Юльевны. Она называется "Мое детство", охватывает один-единственный год (не вполне ясно, какой именно, - но, во всяком случае, это первые годы нашего века) и состоит из трех томов. Один год в жизни десятилетней девочки, небогатый внешними событиями и не украшенный историческими фигурами. Самый обыкновенный год - ни революций, ни войн; тогда именно это было обыкновенно.

И вот эта книга и оказалась главной. Той Главной Книгой, по счастливому выражению Ольги Берггольц, о которой задумывается и мечтает каждый литератор, той Книгой, в которую ему удается вложить самого себя и которая, может быть, останется.

Я не знаю, были ли на эту книгу отклики*, или критика, не падкая в наши дни на психологические мемуары о детстве, просто ее не заметила. Мне кажется, даже в предисловии к книге - никем не подписанном, кстати! - сказано значительно меньше, чем можно было бы, чем обычно позволяют себе авторы предисловий. Вся жизнь Софьи Юльевны Прегель, наверняка нелегкая и сложная, рассказана на двух с половиной страницах. Я предполагаю, что автор предисловия к книге и ее издатель - одно и то же лицо: Борис Юльевич Прегель, старший брат Софьи Юльевны и, пожалуй, главный герой ее детства и ее воспоминаний. Родственной скромностью объясняется, вероятно, и скупость этой "curriculum vitae". Меня эта книга поразила. Прежде всего узнаваемостью. Я одесситка. Родители привезли меня в Одессу в марте незабываемого девятьсот девятнадцатого, через две недели после моего рождения, и моя мать уверяла, что пули так и свистели над пером ее шляпы - происходила очередная смена властей. К тому времени, как я начала себя помнить, на улицах еще постреливали, но редко. Одно из первых моих воспоминаний: из ворот дома на Соборной площади вывозят на тачке неподвижного мужчину с залитой кровью головой. И моя няня бытовым голосом говорит: налетчик. И объясняет мне, что это такое. Еще из тех дней я помню слово "паек" - это макароны в маленькой синей мисочке. А потом, почти без перехода, та самая Одесса, которая написана Софьей Прегель. Та же детская Одесса - те же игры, хороводы - наши были на Соборной площади, ее где-то на Канатной - но какая разница? Это была та же самая "жила-была царевна, царевна, царевна" (перевод с немецкого, между прочим. Кто, когда это перевел?). И песни те же - "У Катеньки-резвушки", например. Это из сборника "Гусельки", который я через миллион лет, к своему изумлению, обнаружила на рояле в домике Ульяновых в городе Ульяновске. Те же детские очень прочные обычаи про адрес, например, обязательно говорить: Канатная, угол Шпагатной, дом Иголкина, квартира Ниткина... Правда, во времена Прегель говорили "дом Веревкина", но это, согласитесь, небольшое расхождение. И язык - тот же самый, бессмертный одесский язык. Приведу только несколько словечек: *франзоль*, например (это, кто не знает, французская булочка), или *мадмазель, цикавая, затрушенная, Ванька Рутютю, комок нервов*... Даже

*В "Русской мысли" (Париж) были опубликованы две рецензии Ю.Терапиано: на I том - 2 августа, на II - 13 декабря 1973 г. (прим. ред.).

Отъ чужихъ отгороженное
Дѣтство въ иныхъ краяхъ;
Сахарное мороженое
На ледяныхъ губахъ,

Эти заборы словые,
Изумрудъ съ бирюзой,
Эти собаки дворовыя,
Съ вѣчной, собачьей слезой,

Дачный поѣздъ съ прицѣпкою,
Пыльной дороги концы,
Въ лавкахъ на стойкѣ крѣпкіе,
Розовые леденцы.

Благодать захолостную
Сладко вдыхаетъ грудь.
Слышу слова неискусныя,
Слушаю пѣсенку грустную,
Что не догнать, не вернуть!

Из сборника "Полдень" (1939)

Поднимается дым ли, угар ли,
От акаций, что вдруг расцвели,
От пирожных, затянутых марлей,
От весенней размытой земли...

Все слова, все сердца на примете,
Каждый ходит, предчувствием пьян.
Изнывая в лиловом букете,
Одинокий томится тюльпан.

Улыбается девушка смугло,
И на скулах румянец горит,
И мелькают в движении круглом
Легкомысленные фонари.

За окном, как в малиновой ложе,
Чей-то робкий склоняется стан.
Пушкин жил в этом доме, похожем
На опавший, пустой чемодан.

Вы, весенние сны, унесите
В легких улиц живительный мрак —
Голубеет извозчика ситец
И огнем отливает армяк,

Опускается солнца завеса,
Словно кисти — тумана края...
Ты, родная, смешная, Одесса,
Золотая Одесса моя.

Из сборника "Берега" (1953)

у Катаева, даже у Ильфа с Петровым я не встречала этих обычнейших слов - не было им доро́ги в изящную литературу. Или "голь, шмоль и компания" (когда я услышала это в лагере на Дальнем Востоке, я улыбнулась, будто встретила земляка). А места! Молдаванка (куда ходить опасно!), Средний Фонтан... А фамилии! Вы помните фамилию Бомзе? Не помните? Это служащий "Геркулеса" из еще не забытого вами, надеюсь, "Золотого теленка". А сейчас об узнаваемости. Как же так, ведь прошло двадцать лет, и каких! Да, но это был недолгий период послереволюционной "ремиссии", которую люди приняли за выздоровление. Сколько же он продолжался? Лет семь? Восемь? От голода начала двадцатых до голода начала тридцатых! Но Одесса, скептическая, недоверчивая Одесса, поверила, что теперь всегда все будет нормально, и стала перекидывать мосты от "мирного времени" - так называлось время до революции - к новому мирному времени. И восстанавливался тот "особенный, еврейско-русский воздух", о котором писал в Париже Довид Кнут. Софья Прегель вынесла эти стихи в эпиграф своей книги.

Особенный, еврейско-русский воздух...
Блажен, кто им когда-либо дышал.

Как восстанавливается этот воздух, эта атмосфера в воспоминаниях о детстве? Здесь главную роль играет неожиданная стилистика, или, если угодно, стилизация. У читателя довольно скоро появляется чувство неловкости - словно он украдкой открыл чужой дневник. Очень интересно, но ощущение, согласитесь, непривычное. И только потом понимаешь, что дело в подлинности языка. Это язык детства, ее, Софьи Прегель, детства, и рассказчица ни на минуту не взрослеет, не раздваивается, не позволяет себе лирических отступлений в будущее... Она - как бы это сказать? Перевоплотилась? Или, в стране воспоминаний, как Алиса в стране чудес, на самом деле стала маленькой и вновь обрела и рост, и речь, и мировоззрение десятилетней.

Потому что это подлинный дневник. Неважно, что там нет названия дней и чисел; неважно, что там нет обращений: "Милый мой дневник, я опять два дня не записывала..." Это то, что могла записать только десятилетняя девочка - конечно, слишком развитая и чересчур начитанная для своего возраста, но такие в Одессе водились и позже. И когда она пишет "Мы тайком пьем воду из крана для поливки" или "Надежда Игнатьевна не подозревает, что

у дочки доктора спрятано в парте пирожное Наполеон“ — и через несколько страниц: “Боюсь, что Боря заметит, какой вулкан у меня в груди“ - или: “Я его идеализирую“, - это и есть подлинность. Когда она сердито рассказывает, что дочка доктора говорит: “Мы лютеране“, а старший брат Володя комментирует: “Обыкновенные выкресты!“; когда она горюет, что подруга Таня стесняется своего еврейства, - это до того знакомо, до того узнаваемо, что и комментировать не надо. Когда она не без зависти рассказывает про то, что у ее подруги Тани все родственники какие-то замечательные - один сидит в тюрьме, другой в ссылке, третий присяжный поверенный, - это и есть ее время, время канунов - кануна первой мировой войны, кануна революции. Позже, когда книга уже овладела вами, вы замечаете: она вся идет в настоящем времени. Так в России начали писать в двадцатые годы - вероятно, уже стал оказывать влияние кинематограф, или, как он называется у Прегель, иллюзион. Так писались - и поныне пишутся - сценарии. И это сиюминутное время еще больше приближает авторский язык к разговорному, а автора - к читателю; и оказывается, что оно усиливает искренность интонации. Прегель удалось избежать нередкой для женских мемуаров ловушки - материнского восхищения собой, которое появляется, когда сквозь толщу лет различаешь себя, такую маленькую и беззащитную. Она убрала эту преграду - и почувствовала себя свободной в своем десятилетнем обличье.

Надо сказать, что не слишком ясно, в каком году все описанное происходит. Министр с короткой фамилией, мелькающий во втором томе, это, вероятно, Кассо, и он был назначен на этот пост в 1911 году. Между тем возраст автора в 1911 году никак не совпадал с возрастом героини. И таких хронологических сбоев в книге несколько. Может быть, они и не случайны, - а может, наоборот; ведь книга вышла в свет после смерти автора и редактировал ее В.Л.Андреев, не слишком хорошо знакомый с одесским бытом. Впрочем, какая разница, кто был министром - Кассо или Толстой? С точки зрения ребенка, все всегда было так, как есть сейчас, при нем, и иначе быть не могло. Ничто не меняется в этом мире. Даже кухарка, которая вышла замуж за синагогального служку, возвращается к своей плите через короткое время. Все идет, как заведено. Мама вместо блузок с прошвами носит дома широкий красный халат, а потом появляется новый братик; умирает дедушка после долгой болезни - и рождение, и смерть находят себе место в нормальном, размеренном течении жизни, потому что долго подготав-

ливались, и все уже были к этому готовы. И только внезапная смерть на улице любимого друга семьи рушит этот непоколебимо-вечный для детства порядок. Детство обрывается - и кончается книга.

Книга населена густо, даже очень густо. Взрослые и дети, родственники и слуги, учителя и соученики, свои и чужие, евреи и неевреи... И - настоящее чудо: их всех помнишь, даже тех, кто не имеет имени. Один из друзей старшего брата Вовы на протяжении всех трех томов называется "сын артиста". И в доме он бывает каждый день, и на дачу приезжает, и удивляет всех своей осведомленностью в разных жизненных вопросах, и, как выясняется, его отец не артист вовсе, а антрепренер - но все равно: сыном артиста он был и сыном артиста остался. "Близнецы" тоже ежедневные гости, и неразлучны, как одноименное созвездие, - но собственных имен у них нет. "Дочка доктора" всегда "дочка доктора". Правда, "велосипедная девочка", в которую летом влюбляется Вова, в конце-концов обретает имя, но, пожалуй, лишь потому, что оно вошло в цитируемые автором куплеты. Взрослые большей частью имеют имена, а иногда и отчества, но порой и им вместо имен даются определения. Скажем, "мой доктор", в которого героиня, как она иногда вспоминает, влюблена. И муж кухарки Гени, "синагогальный служка", который упрямо не дает ей развода. Или "отец папиного корреспондента", который только и делает, что спит в коридоре, и о котором тем не менее мы узнаем довольно много. И не только о нем, но и о его дочерях, потому что о них рассказывает темпераментная и всезнающая кухарка Геня. И не перестаешь удивляться, до чего же все они живые.

Все эти действующие и недействующие лица - а если к ним прибавить еще Пташниковых, Крахмальниковых, Альшвангов, Бомзе и других владельцев одесских магазинов и лавочек, то их в самом деле окажется великое множество, - и создают тот самый еврейско-русский воздух, ту самую ликующую атмосферу цветущего южного города, которую мои ровесники знают лишь по неполному, бледному нэповскому повторению. Ни Фанкони, ни Робина, ни Печесского уже не было, но оставшиеся кафе все еще называли их именами, потомки Крахмальниковых и Альшвангов учились с нами в школе, а Бомзе и другие оставили свои имена на страницах "Золотого теленка", и потому их помнят даже наши дети.

Быт, словарь, воздух, самую жизнь десятых годов - вот что возрождает эта прекрасная, мало кем замеченная книга.



"Была война, была Россия..."

Дон-Аминадо. История одного стихотворения

Анатолий Иванов
(Москва)

Дон-Аминадо принадлежал к той литературной плеяде, что взросла на родной почве, в старой России, а цвела, плодоносила и умерла на чужой стороне, "вдали от милого предела". Дон-Аминадо - фигура, стоящая особняком в литературе изгнания, своего рода феномен. Я бы назвал его счастливым неудачником. О неудачах чуть позже, а счастливцем Дон-Аминадо можно считать хотя бы потому, что у него едва ли не единственного из поэтической братии была "всеэмигрантская известность" (Л.Зуров), всероссийская слава, если принять за аксиому выражение самого Дон-Аминадо: "Мы не эмиграция, а Россия, выехавшая за границу".

Действительно, чуть ли не два миллиона российских подданных были вынесены самумом революции и гражданской усобицы за пределы страны, рассеяны по всему земному шару - от Харбина до Сан-Франциско. Рассеяны, но не растворены. Образовалась некая эфемерная кочующая держава - со своими культурными и общественными центрами, со своей столицей, каковой, по общему признанию, был Париж, со своей многоликой прессой. Наиболее читаемой и почитаемой газетой считались "Последние новости". Примечательно, что раскрывая ее, многие читатели в первую очередь искали исполненные улыбки и какой-то чарующей легкости "Лирические антракты", едко-остроумные фельетоны и афоризмы, под которыми стояла так полюбившаяся всем подпись - "Дон-Аминадо".

Впрочем, они вряд ли могли знать, кто скрывается за этим испанизированным псевдонимом, какова биография автора. Только в наши дни эти сведения стали достоянием печати. Вкратце они таковы.

Настоящая фамилия поэта - Шполянский Аминад Петрович (Аминодав Пейсахович). Родился в 1888 году в уездном городе Ели-

заветграде Херсонской губернии, в мещанской семье. Учился в Одессе на юридическом факультете, затем в Киеве, а в 1910 году, по окончании учебы, перебрался в Москву, где вступил в должность помощника присяжного поверенного. Одновременно он пробует себя на литературном поприще, сотрудничая в южнороссийской и московской прессе - как поэт лирического и сатирического склада и как прозаик-фельетонист. Публикуется под собственной фамилией и под псевдонимами - Аминад, Ама, Вероника, Паж Вероники, Гидальго, Андрей Шаланский... Однако постепенно все они сходят на нет, будучи вытеснены единственным литературным именем - Дон-Аминадо.

Кому-то оно покажется маскарадным и не совсем серьезным. И верно: поэзии Аминада Шполянского всегда были присущи лицедейство, театральность, игра и ряженья в экзотические одежды (одну из своих книг поэт назвал "Накинув плащ"). Но это только внешняя сторона. Точно выбранное литературное имя - это еще и символ, емкое выражение творческой сущности автора. Выскажу свое предположение. По-видимому, не обошлось без Дон-Кихота. Как и подобает рыцарю, поэт, вступивший на стезю сатиры, словно давал обет чести и бескомпромиссности в борьбе со всем, что ему было ненавистно. Вспомним, однако, что похождения героя Сервантеса вызывали у нас не только слезы, но и улыбку. Правильнее его было бы именовать "рыцарем печального и веселого образа". Такое же впечатление парадоксальной двойственности, рожденное слиянием сатиры и лирики, оставляет и это имя, в котором угадан и обещан будущий Дон-Аминадо.

Но прежде довелось ему пройти через всяческие испытания. Был первый сборник "Песни войны" (1914). Было участие в военных действиях, ранение и демобилизация. С 1916 года Дон-Аминадо целиком посвящает себя литературе. В кумачевые дни падения самодержавия Дон-Аминадо успел издать пьесу в стихах "Весна Семнадцатого года". После октябрьского переворота, подхваченный беженским потоком, молодой стихотворец-сатирик попадает в Киев. Отсюда - бег "вниз по огромной, зеленой карте, на которой наискось было напечатано 'Российская империя'" (Тэффи). Этот крестный путь завершился, как и у многих российских сограждан, эмигрантским чистилищем - Стамбулом, упорно именуемым русскими Константинополем. За ним - Берлин и конечный пункт горестной эмигрантской одиссеи - Париж.

Страшный опыт пережитого не прошел даром, подняв подмастерье шутейного цеха на качественно иной уровень - уровень Поэта. И читатели, ничего не зная о реальном человеке, подписывавшемся "Дон-Аминадо", сумели составить по стихам представление о его сокровенной сущности. Впрочем, облик как бы двоился. С одной стороны - баловень судьбы, гуляка праздный, всегда пребывающий в отличном настроении, преуспевающий европеец, иронист, готовый посмеяться над чем угодно. С другой - человек без гражданства, изгой, не уверенный в себе, в сегодняшнем и завтрашнем дне, наивный идеалист и сентиментальный неудачник, этакий провинциальный Обломов, занесенный волею судеб за тридевять земель от родного крова. Воистину в этом странном двуединстве воплощен тип русского эмигранта. Первая ипостась - каким он себя мнил и хотел видеть. Вторая - каким он чаще всего был.

Для Дон-Аминадо как поэта характерно желание слиться со своими читателями - этими "осколками разбитого вдребезги". Он будто приглашает читателя к беседе, предлагает стать советчиком, приятельски подмигивает ему. Чтобы пробиться к сердцам соплеменников, Дон-Аминадо использует тот расхожий книжный реквизит недавнего прошлого, который был еще у всех на слуху и хранился неизвестно зачем в чуланах памяти. И еще помогала автору неизменная шутливость, позволявшая растопить лед отчужденности.

Бедолагам, запутавшимся в эмигрантских проблемах всякого рода, неврастеникам поэт старался внушить, что не все потеряно. Надо забыть лишь, что над тобой ч у ж о е небо, поверить, что это просто свободное от виз, синее, бездонное небо, что по-прежнему прекрасен мир, что так же сладостны земные плоды и благодатны простые радости.

Хороша волны прохлада,
Даль прекрасна и ясна,
Так чего же тебе надо,
Дьявол этакий ты, а?

Являя настоящее в прельстительном и миражном блеске, Дон-Аминадо стремился вернуть читателям живое и любовное отношение к бытию.

Но была у поэта еще и щемящая тема, своего рода религия - тоска о прошедшей молодости, что пролетела стрелой, тоска, усу-

губленная ностальгией. Она на редкость целомудренна, лишена какого-либо спекулятивно-показного надрыва. Словно в сновидениях, поэт воссоздает бесконечно дорогие картины прежней жизни, уютный и неторопливый быт русской провинции, улочки, переулки и тупички старой Москвы - потерянный и невозвращенный рай. Одно перечисление станций и дачных мест из железнодорожного расписания способно поселить в душе неизъяснимую грусть и блаженство. При всей своей конкретности этот мир и иллюзорен, и ускользающе неосязаем. Какая-то магия есть в сладостном замирании звуков:

Прошлое. Бывшее. Тень на пороге.
Бедного сердца комок.
Шли поезда по железной дороге...
Таял над лесом дымок.
Летнее солнце клонилось к закату.
Ветер вечерний донес
Горечь полыни, душистую мяту,
Странную свежесть берез.

Трудно побороть искушение цитировать дальше и дальше - так пластичен, текуч и переливчат стих; сама манера письма рождала ощущение прикосновения к прекрасному, давала отдохновение.

Было бы однако заблуждением думать, что Дон-Аминадо - только чаровник и утешитель. В его стихах то и дело проглядывал пессимист и скептик, сознающий непоправимость бытия, несбыточность мечтаний. Верно заметил Г.Адамович: "Дон-Аминадо прикидывается весельчаком и под шумок протаскивает такую тоску, такое сердечное опустошение, такое отчаяние, что нетронутым в мире не останется ничего".

Был ли пессимизм Дон-Аминадо связан с роковым исходом из России, с утратой родины? Вероятно. Но, думается, истоки его гораздо глубже, ибо коренятся в разладе души между чаемым и сущим. Дон-Аминадо, сдается мне, принадлежал к тем мастерам трагикомической ветви отечественной и мировой словесности, чей смех замешан на слезах, для кого шутка была средством заслониться от тьмы. Для Дон-Аминадо и его читателей это была тьма чужая - беспросветность зарубежной ночи.

Эта противоречивая природа художника и явилась источником особой, уникальной гармонии. Поэт как бы непрестанно балансиру-

ет на грани - очарования и разочарования, шутливости и серьезности, повседневности и запредельности, вторичности и неповторимости... Именно в этом сплаве формально несоединимого - самобытность и притягательность Дон-Аминадо.

В лице Дон-Аминадо "Россия, выехавшая за границу", нашла своего исключительного выразителя, сказителя и бытописателя, воспевшего эмигрантский уезд с иронией и любовью. Оттого, что человеческая комедия воплощена в маленькой жизни чеховских героев, оказавшихся на чужбине, тема не становится мельче. И когда-нибудь вклад Дон-Аминадо в отечественную словесность будет оценен по достоинству.

Репутация газетчика и фельетониста сильно повредила Дон-Аминадо, лишив его права жительства в высокой поэзии: и при жизни, и по сей день он как бы вынесен за скобки литературной иерархии. Что-что, а кастовость пишущая братия и в эмиграции блюла строго.

Между тем лучшее из появившегося в периодике было издано в книгах стихов и прозы Дон-Аминадо: "Дым без отечества" (1921), "Наша маленькая жизнь" (1927), "Накинув плащ" (1929), "Всем сестрам по серьгам" (1931), "Нескучный сад" (1935), "В те баснословные года" (1951), "Поезд на третьем пути" (1954). Почти каждая из них удостаивалась благожелательных и даже восхищенных отзывов. Среди писавших о Дон-Аминадо - такие разные по своим творческим устремлениям художники, как Бунин и Цветаева, Куприн и Гиппиус, Алданов и Адамович... Но и они не сумели изменить репутацию и судьбу поэта. Во всяком случае со дня кончины Дон-Аминадо (1957) на Западе не было переиздано ни одной его книги.

А на родине? Впервые это имя было услышано около четверти века назад. Тогда И.С.Зильберштейн, вернувшийся из Парижа, в печатных и устных выступлениях поведал об уникальных экспонатах русской культуры, привезенных им. От него и узнали, что в числе прочих духовных сокровищ на Западе сохраняется архив Дон-Аминадо - пожалуй, лучшего сатирика нашей литературы. Такое заявление не могло не заинтриговать. Помнится, тогда же возникло намерение издать сочинения Дон-Аминадо в томе "Литературного наследства". Шли годы. Однако то ли Илья Самойлович со временем охладел к своей затее, то ли времена наступили не самые благоприятные, но обещанного тома мы так и не дождались.

Лишь недавно, из сообщения директора РГАЛИ Н.Б.Волковой, стало известно, чтó должно было лечь в основу издания. Личный архив писателя состоит из десяти альбомов вырезок из журналов и газет, где печатались произведения Дон-Аминадо, рецензий и отзывов на них и небольшого количества писем (преимущественно в фотокопиях).

Стало быть, там нет никаких рукописных материалов. Да и полон ли этот комплект вырезок? Выявление и библиографическое описание публикаций Дон-Аминадо дело будущего. Причем склонность автора к мистификациям, розыгрышам и литературным пряткам только осложняет "литературные раскопки". Об одном из анонимных произведений, которое удалось вернуть Дон-Аминадо, хочу рассказать.

Однажды в эмигрантской газете "Эхо", выходившей в Ковно, в N53 от 3 марта 1922 года мне попалось на глаза весьма любопытное стихотворение о Григории Распутине. В редакционной врезке говорилось, что когда-то оно ходило по рукам, пользовалось популярностью и принадлежит перу В.Пуришкевича.

Пуришкевич? Тот самый - участник убийства царского фаворита Гришки Распутина, черносотенец и монархист до мозга костей, лидер крайне правых в Думе, заявивший однажды: "Правее меня только стена"? Представьте себе, именно он. Оказывается Пуришкевич был еще стихописцем: под его собственной фамилией и под псевдонимом В.Кевлич до революции вышло десятка два сборников стихов, в основном сатирического склада. Впрочем, стихи более смахивают на зарифмованную брань. Гневные филиппики и прямые инвективы в адрес политических противников, врагов царя, отечества и русского народа нередко перехлестывают за грань приличий, и тогда словеса заменяются красноречивыми точками.

В стихах сказывалась натура иступленно-фанатичная, максималистско-непримиримая, скандально-задиристая. Но вот чего не было в поэтических упражнениях политика - хоть шаром покати! - собственно самой поэии. Причем версификатором Пуришкевич был отменным; встречаются строфы и целые стихи, написанные на латыни, по-французски. Но все опусы начисто лишены метафоричности, колоритной фактуры, полнозвучной лексики - всего того, что составляет магию ритмической речи.

Словом, опубликованные в ковенской газете строки никак не сопоставлялись со стихотворной продукцией В.Пуришкевича, каза-

лись инородным телом. Похоже, что они были приписаны ему. Истоки этой легенды понятны: неистовый боец и ревнитель, Пуришкевич доказал, что слова у него не расходятся с делом, когда взял на себя грех физического уничтожения Распутина, считая, что приближенный к престолу "святой черт" дискредитирует помазанника Божьего.

В первые годы эмиграции в печать нередко попадали малодостоверные слухи, тексты сомнительного происхождения, доставленные из-за кордона через третьи руки. Помню, как-то в "Новом русском слове" появились шуточные стихи "Скользили мы путем трамвайным...", автором которых предполагался В.Брюсов. Спустя десятилетия, в 1960 году, это стихотворение было включено в такое авторитетное издание, как собрание сочинений А.Блока в 8-ми томах. И только недавно удалось обнаружить, что стихи сочинены В.Зоргенфреем - поэтом блоковского круга, активным сотрудником сатирических журналов. Так что "дезинформация" тех ранних лет раскрывается подчас много позже.

Вот и стихотворение, приписанное молвой Пуришкевичу, удалось возвратить его действительному автору - Дон-Аминадо. Причем разгадку я нашел не в архивных запасниках, а у себя дома, в книге воспоминаний Дон-Амнадо "Поезд на третьем пути". Вспоминая сумбурную эпоху, предшествовавшую революции, когда по рукам ходило немало всяких стишков, поэм и эпиграмм разоблачительного и пасквильного свойства, сочинитель сделал неожиданное признание: "Среди многочисленных неизвестных авторов - теперь в порядке послесловия и эпилога можно раскрыть, был и автор настоящей хроники, погрешивший анонимными и неуважительными виршами, посвященными сибирскому колдуну и петербургскому временщику. Восстанавливать приходится по памяти, но так как своя рука владыка, то за неточности и запамятования просить прощения не у кого".

И далее следовал текст, две строки которого почти дословно совпадают с обнаруженным мною стихотворением мнимого Пуришкевича. Видимо, они накрепко засели в памяти Дон-Аминадо, не выветрившись за сорок с лишним лет. Остальное сымпровизировано фактически заново. Мы теперь имеем два произведения на одну тему, написанные одним автором - в молодости и на излете жизни. Стихотворения, опубликованные ныне рядом, представляют благодатную пищу для разного рода сопоставлений и анализа.

<Распутин>

Как хорошо дурманит деготь
И нервы женские бодрит!..
"Вы разрешите Вас потрогать?" -
Статс-дама Гришке говорит:
"Ведь Вы такой необычайный,
Что я не в силах устоять,
И сверхъестественною тайной
Должны, наверно, обладать
- Вы - квинтэссенция эротик,
Вы - высший мистик по уму..." -
Сложивши в дудочку свой ротик,
Графиня тянется к нему.
Она, как бабочка, трепещет
В силках расставленных сетей,
И маникюр графини блещет
На фоне траурных ногтей...
В салоне - тихо, гаснут люстры...
Войдя в мистическую роль,
Мужик, находчивый и шустрый,
Ведет себя, как Рокамболь...
Его пластические позы
Вне этикета, вне оков.
Смешался запах туберозы
С ядреным запахом портков.
И даже пыльному Амуру
Неловко стало свысока
За титулованную дуру
В объятьях потных мужика.

<1916>

* * *

Была война, была Россия.
И был салон графини И.,
Где новоявленный Мессия
Хлебал французское Аи.

Как хорошо дурманит деготь
И нервы женские бодрит...
- Скажите, можно вас потрогать? -
Хозяйка дома говорит.
- Ну, что ж, - ответствует Григорий -
Не жалко. Трогай, коли хошь...
А сам поднявши очи горе,
Одним глазком косит на брошь.
Не любит? Любит? Не обманет?
Поймет? Оценит робкий жест?
Ее на груздь, на ситный тянет...
А он глазами брошку ест.
И даже бедному амуру
Глядеть неловко с потолка
На титулованную дуру,
На бороденку мужика.
Княгини, фрейлины, графини,
Летят, как ведьмы на метле.
И быстро падают твердыни
В бесстыдной обморочной мгле.
А чародей, змея, мокрица,
Святой прохвост и склизкий хам,
Все извивается, стремится
К державе, к скипетру, к верхам.
...За что на смерть идут герои?
Почто кровавый длится бой?
Пляши, кликуша!.. Гибель Трои
Приуготовлена судьбой.

<1950-е гг.>

Три жизни и три любви Марка Слонима



Олег Малевич
(С.-Петербург)

В 1953 году, когда Марку Слониму исполнилось 59 лет, он посвятил своей третьей жене, русской эмигрантке Татьяне Ламм, роман-исследование "Три любви Достоевского". Книга эта была переведена на многие языки (в том числе и на иврит) и принесла автору едва ли не самый большой литературный успех. Слоним рассказывает в ней не только о трех самых значительных сердечных привязанностях великого писателя, но и о трех периодах его жизни, можно сказать - о трех его жизнях: до каторги, во время отбывания наказания и после возвращения из Сибири и Казахстана.

Над книгой о Достоевском Марк Слоним работал три года, явно придавая ей немалое значение и в собственной судьбе. И тут дело, видимо, не только в чисто научном и литературном интересе к теме. "Три жизни" и "три любви" пережил и сам автор книги о Достоевском.

Марк Львович Слоним родился 26 марта 1894 года в Новгороде-Северском на Украине. Его отец отличался либеральными воззрениями и состоял в партии конституционных демократов. Мать была сестрой известного критика Юлия Айхенвальда, руководившего детским и юношеским чтением племянника. Индиана Исаевна Слоним музицировала, переводила Виктора Гюго и была влюблена в Италию.

Значительное воздействие на формирование взглядов мальчика оказал его старший брат Владимир, семнадцатилетним юношей вступивший в партию эсеров. В конце 1904 года в Одессу приехал Николай II. Учеников младших классов классической гимназии выстроили для торжественной встречи. Немногие старшеклассники,

включая Владимира, были назначены наблюдать за порядком. Когда в конце улицы появился Николай II, первоклассник Марк Слоним выкрикнул: "Да здравствует император!" Другие гимназисты хором присоединились к нему. В этот момент брат дернул его за рукав и сердито прошипел: "Чего ради ты дерешь глотку!". Его тон подействовал на мальчика как удар кнута. Брат явно не разделял общего восторга. "Страшные сомнения запали в мою юную душу, - вспоминает Марк Слоним. - Слепая вера в императора была разбита вдребезги, и весь парад утратил очарование. Это была поворотная точка в моем политическом воспитании. Когда мы пришли домой, брат объяснил мне, что царь - символ самовластия и тирании, что он держит народ в невежестве и нищете; лучшие люди России жертвуют собой ради изменения порядков в стране, и все мы должны участвовать в деле освобождения"[1].

Вскоре Марк узнал, что Владимир и большая группа его одноклассников "помогают революции". Он и сам начинает выполнять простейшие поручения: переплетает брошюры, тайком полученные от русских эмигрантов, печатает на гектографе прокламации и прячет их от матери, ее братьев и прочих гостей. Летом 1905 года братья Слонимы приветствуют появление на одесском рейде броненосца "Потемкин". Владимир, к тому времени уже студент университета, подвел младшего брата к окну и сказал: "Слышишь залп? Слушай хорошенько. Ведь это для тебя последний случай услышать выстрел из большого орудия". Никто не ожидал поражения революции.

В 1906 году мать на несколько месяцев увозит сыновей в Италию. Благодаря этому к французскому и немецкому языкам, к которым Марк приобщался с детства, и к древнегреческому и латыни, начатки которых он освоил в гимназии, добавился итальянский. Когда летом 1906 года Слонимы вернулись из Италии, преследования революционеров были в полном разгаре. Один из друзей Владимира, "боевик" Всеволод Лебединцев, изучавший в Италии астрономию и вернувшийся в Россию по подложному паспорту, был схвачен в Петербурге и обвинен в подготовке покушения на царя. Лебединцев, казненный вместе со своими сообщниками, стал прототипом Вернера в "Рассказе о семи повешенных" Леонида Андреева.

В 16 лет Марк Слоним становится организатором самообразовательного гимназического кружка, а затем и целой сети таких

кружков. Их членами нередко были сыновья и дочери высокопоставленных особ, тайные собрания под видом вечеринок с танцами проходили то в здании ратуши, то в доме директора банка или даже на квартире жандармского полковника. В 1913 году Марк Слоним встречается в Женеве с ветераном революционного движения Осипом Минором и другими лидерами партии социалистов-революционеров, рассказывает им о молодежных организациях на юге России и получает советы и инструкции. Когда посланцы ЦК эсеровской партии Рихтер и Седенко приехали в Одессу, они убедились, что значительную часть подпольной работы выполняют 16 - 17-летние юноши и девушки.

Политические симпатии Марка Слонима не могли не сказаться на его литературных вкусах. Однако и в жизни и в литературе ему уже тогда был чужд фанатический аскетизм шестидесятников и семидесятников. Он был сторонником этического социализма Герцена, Лаврова и Михайловского, видя в нем гарантию свободного и гармонического развития личности. Его человеческий идеал складывался под воздействием итальянского Ренессанса.

Ранней осенью 1916 года студент историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета Марк Слоним становится домашним воспитателем гимназиста Владимира Нарышкина. О придворных новостях Марк Слоним узнавал от дяди своего воспитанника, а о настроениях московской аристократии - от князя Павла Дмитриевича Долгорукова, одного из лидеров кадетской партии и организатора масонского "Общества мира" [2]. П.Д.Долгоруков показывал Слониму, тогда же или позднее ставшему масоном [3], некий меморандум, который циркулировал в самых высоких сферах. В нем предсказывалось, что династию Романовых сметет революция, если немедленно не будут произведены реформы. С воззрениями либеральной интеллигенции Марк Слоним знакомился во время личных бесед со своими университетскими профессорами С.А.Венгеровым и Д.Н.Овсянико-Куликовским. Последний редактировал журнал "Вестник Европы" и неожиданно предложил одаренному студенту взять на себя обозрение итальянских и французских новинок. Когда первая статья Слонима появилась в "Вестнике Европы", ее автору было девятнадцать лет. О столичных политических новостях он писал в одесские и другие украинские газеты.

Мишель Окутюрье справедливо заметил: "В Марке Слониме уживались несколько личностей. Не будь революции, он, возмож-

но, остался бы русским флорентийцем, эстетически подкованным и эрудированным хроникером газет и журналов Санкт-Петербурга, прекрасно чувствующим себя в аристократических салонах, каким он был уже в девятнадцать лет. Февраль 1917 года пробудил в нем революционный энтузиазм и социалистические симпатии ранней молодости и едва не превратил его в политического деятеля"[4].

После Февральской революции Марк Слоним ведет пропагандистскую работу в адмиралтейско-казанском округе и выполняет поручения петроградского комитета партии эсеров, который фактически заменял ее ЦК.

На первом же собрании в адмиралтейско-казанском округе двадцатитрехлетний Марк Слоним был избран председателем исполкома. Правда, исполком назывался временным, но сам Слоним любил тогда повторять: "Сейчас все временное, только Совет перманентный". Ему помогают знакомые студенты, матросы, служащие Адмиралтейства и люди, давно связанные с эсерами. Он проводит митинги и митинги-концерты, во время которых разъясняется программа партии.

По мере того, как эсеровские лидеры (Гоц, Авксентьев, Тимофеев, Чернов) возвращались из ссылки или из-за границы, их кооптировали в петроградский комитет. А рядом с ними в руководстве партии оказались малоизвестные низовые работники вроде Марка Слонима.

Когда двуглавого имперского орла сменила двуглавая революционная власть (Временное правительство и Советы), молодой политик вынужден был сделать выбор между правыми и левыми эсерами. Большое впечатление произвел на него разговор с В.А.Карелиным, сторонником прекращения войны и непосредственного перехода власти в руки трудового народа. С глубочайшим уважением относится Слоним к героине партии Марии Спиридоновой, но ее истерические выкрики режут слух. В первой половине апреля 1917 года он впервые видит Керенского и в своих воспоминаниях нарисует его яркий портрет. Пламенная речь Керенского убедила Слонима в необходимости продолжать войну, ибо на одной стороне были кайзеровская Германия и императорская Австро-Венгрия, а на другой - демократические государства. Вместе с Гоцем и Русановым-Кудриным он входит в редакционную комиссию партийной конференции от "оборонцев", оказавшихся в большинстве. Это во многом предопределило его дальнейшую политическую судьбу.

Доводилось Марку Слониму слушать и выступления с балкона дворца Кшесинской, где тогда находилось большевистское ЦК. Ленин словно гвозди вбивал молотком - вдалбливал в головы слушателей несколько простых идей, лишь варьируя свои тезисы. В отличие от Гитлера, которого Слоним слушал пятнадцать лет спустя в берлинском "Спорт Палаце", Ленин воздействовал на аудиторию не демоническим магнетизмом, а убежденностью в своей правоте и в превосходстве собственного интеллекта.

Большевики и эсеры были тогда самыми влиятельными левыми партиями. Марк Слоним, посланный Петроградским Комитетом социалистов-революционеров читать лекции по истории революционного движения в бронедивизион, расквартированный на Голодае (дважды в неделю к гостинице "Европейская" за ним подкатывал броневик), видел, что солдатскую массу все менее удовлетворяет двойственная позиция эсеров по вопросам о мире, земле и национализации. Находясь в стане "оборонцев", он, в сущности, во многом сочувствует радикальным взглядам левых эсеров. Эта позиция крайне левого в правом стане будет характерной для Слонима на протяжении всей его жизни.

В похожей на авантюрный роман биографии Марка Слонима для автора этих строк пока еще немало белых пятен. Менее всего известно как раз о самых бурных ее периодах.

Александр Бахрах вспоминает: "... был он в какой-то мере человеком не совсем, как все. Оставляя в стороне ораторскую одаренность, только вскользь упомяну, что он был самым молодым членом трагического Учредительного Собрания - депутатом от Бессарабии, в которой побывал только проездом на румынский фронт, где некоторое время словесно 'воевал', что затем он принимал участие в различных эсеровских организациях, начинавших борьбу с большевиками, и был секретарем Уфимского совещания, того самого, на котором была избрана Уфимская директория, вскоре сметенная Колчаком, вследствие чего Слониму пришлось колесить и скитаться по Сибири, чтобы в конце концов выбраться в Японию, а затем оказаться одной ногой в Париже, другой - в Праге"[5].

Можно добавить, что двадцатичетырехлетний Марк Слоним какое-то время был одним из пяти членов Уфимского правительства (Директории), иначе именовавшегося "Объединением антибольшевистских сил восточной России" и просуществовавшего до весны 1919 г.[6]

В феврале 1921 года в берлинском критико-библиографическом журнале "Русская книга" в разделе "Писатели. Судьба и работы русских писателей, ученых и журналистов за 1918-1920 г." появилась заметка:

Марк Львов. Слоним, б. член Учред. Собр., с апр. по авг. 1918 г. редактировал киевскую газету "Народное дело", потом жил в Италии и был сотрудн. итальянских газет "Secolo" (Милан), "Nuovo Giornale" (Флоренция), "Messagero americano" (Нью-Йорк). Писал в "Pour la Russie", "France Libre" и "Humanité". С сентября 1920 г. состоит редактором "Воли России" в Праге. За период 1919 - 1920 гг. напечатал книги: "Il bolscevismo visto da un russo". Firenze, Le Monnier, 1919 (208 стр.) (эта книга переведена на француз. язык "Le bolchevisme vu par un Russe". Paris, Bossard. 1921, и переводится на чешский и румынский языки); "La rivoluzione russa". Bologna. Zanichelli. 1920 (270 стр.); "Spartaco e Béla Kun". Firenze. Bemporad. 1920 (92 стр.). На днях должны появиться в Милане в изд. Vitagliano книга "Da Pietro il Grande a Lenin" (25 печ. лист.) и во Флоренции в издании Bemporad книжечка "I profili russi di oggi" (8 печ. листов). Сдана в печать пражскому Масариковскому фонду "История русского общественного движения" (20 печ. лист.). Работает над книгой "Курные годы" (очерки событий русской революции, в которых автору пришлось принимать участие за время от разгона Учредительного Собрания до правления Колчака[7].)

В основу этой информации легло обширное письмо Марка Слонима редактору журнала "Русская книга" профессору А.С.Ященко[8]. К опубликованным сведениям можно было бы добавить, что молодой публицист учился в университетах Неаполя и Флоренции и в 1920 году получил звание доктора филологии.

Приезд Марка Слонима в Прагу не был случайным. Еще на Волге, на Урале и в Сибири он вступил в контакт с чешскими и словацкими легионерами, захватившими в мае-июне 1918 года железнодорожную магистраль от Пензы до Владивостока. Наиболее близки ему были чешские национальные социалисты и социал-демократы, многие из которых позднее стали видными политическими деятелями Чехословакии.

Хотя в 1920 - 1932 годах основным местом пребывания Марка Слонима была Прага, мы часто застаем его в Париже или в Берлине. С Парижем его поначалу связывает политическая деятельность. Еще 16 мая 1919 года он подписывает манифест парижской группы эсеров с призывом к продолжению борьбы против советской власти и к новой интервенции[9]. 8 января 1921 года в Париже



ПРАВДА
О
КРОНШТАДТЕ.

ГЕРОИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ КРОНШТАДТЦЕВ ПРОТИВ ДИКТАТУРЫ
УНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, С КАРТОЙ КРОНШТАДТА, ЕГО ФОР
ТОВ И ФИНСКОГО ЗАЛИВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

лект „Известий Временного Революционного Комитета ма-
росов, красноармейцев и рабочих города Кронштадта."

ВЕСЬ ДОХОД С ИЗДАНИЯ ПОСТУПИТ В ПОЛЬЗУ
КРОНШТАДТСКИХ БЕЖЕНЦЕВ И ИХ СЕМЕЙ.

ИЗДАНИЕ
ГАЗЕТЫ „ВОЛЯ РОССИИ",
ПРАГА 1921.

был создан Исполнительный Комитет членов Учредительного Собрания. Бывший председатель Учредительного Собрания В.М.Чернов писал по этому поводу: "При приезде в Прагу я запросил Зензинова, что за история происходит с совещанием Учредительного Собрания. Он ответил мне, что теперь пятиться невозможно, что на съезд все приглашены и уже съезжаются. Инициаторами явились парижане. Левыми съезда являются: Сталинский, Слоним, Лебедев, Махин, центром - Зензинов, Минор, Керенский и Брушвит, правыми - Авксентьев, Вишняк, Бунаков, Руднев, Роговский и т.д.[10] С Берлином, ставшим в 1921 - 1923 годах главным издательским центром русской эмиграции, Слонима связывают литературные дела. С августа 1922 года здесь под его редакцией начинает выходить ежемесячный критико-библиографический журнал "Новости литературы". В том же году в Берлине выходит книга Марка Слонима "Русские предтечи большевизма", а в следующем - в его переводе и с его предисловием появляется первый том сокращенного издания "Воспоминаний" Джакомо Казановы и "Итальянские хроники" Стендаля. А.Бахрах недаром писал, что "не будь революции, он несомненно корпел бы над изучением итальянских хроник эпохи Возрождения, о чем с ранних лет мечтал"[11].

На протяжении всего межвоенного двадцатилетия Марк Слоним постоянно находится между двумя полюсами притяжения - политикой и литературой, но последняя постепенно начинает побеждать. Вместе с тем политические взгляды во многом определяют и литературную позицию, в чем легко убедиться, листая страницы "Воли России", с которой Слоним был связан двенадцать лет.

Марк Слоним, как это видно, например, из его статей "Метаморфозы национал-либерализма" ("Воля России", 1922, N2, 16 января) и "Кризис эмиграции" ("Воля России", N6, 11 февраля), решительно отказывается от "ставки на генеральскую реставрацию", отмежевывается от сменовеховских и евразийских иллюзий, от всякой "национальной ограниченности" и все надежды возлагает на силы "пересоздания и духовного творчества" в самой России:

"Несмотря на все муки и ужасы, несмотря на голод, холод и нищету, русские ученые, писатели, художники сохранили русскую науку, искусство, литературу, и, конечно, они не менее, если не более, должны считаться представителями нашей культуры и творчества, чем те случайно оказавшиеся за границей профессора или поэты, которые почему-то возомнили себя единственными наследни-

ками Ломоносова, Пушкина и Тургенева..."[12].

Обвиняя большевиков в установлении диктатуры одной партии и в том, что они "санкционировали пугачевщину и революцию, дикое, нелепое, зачастую бессмысленное царство террора и красного петуха", считая, что русская революция не принесла, не могла принести и не принесет "ни социалистического, ни коммунистического строя", Слоним тем не менее видел ее заслугу в том, что она положила конец "самодержавно-сословной монархии", разбудила "городок Окуров" и заронила в массы жажду социальной и национальной справедливости.

Эта позиция была во многом продиктована обстановкой нэпа и фактом постепенного дипломатического признания СССР западными демократиями. С одной стороны, она застраховывала Слонима от огульного отрицания всей русской культуры и литературы послеоктябрьского периода, что было свойственно значительной части эмиграции, с другой - вела к известной недооценке духовных возможностей Русского Зарубежья.

Большой резонанс вызвала полемическая реакция Слонима на статью Антона Крайнего (Зинаиды Гиппиус) "Полет в Европу" [13], где утверждалось, что в России с начала 1918 года "нет литературы, нет писателей, нет ничего: темный провал". Свой ответ Слоним озаглавил: "Живая литература и мертвые критики" [14]. Он утверждал, что суждения З.Гиппиус продиктованы не только политической предвзятостью и художественным консерватизмом, но и полнейшей оторванностью от отечества: "Да, умерла старая Россия. Не Россия - а только один лик ее исторических воплощений. И для тех, кто, быть может, сам этого не сознавая, был кровно связан с определенными формами быта, жизни и психики - наступил темный провал, смертная тишина, конец.

Умерли они сами - а им кажется, что в посольских церквах надо служить панихиду по России"[15].

Слонима, который, по свидетельству Н.Берберовой, переписывался с Горьким, возмущают слова Гиппиус о том, что этот писатель для нее больше не существует: "Совершенно независимо от политических взглядов и действий Горького - он большой художник, не меньший, чем Бунин. Он показал и доказал, что дарование его по-прежнему свежо и ярко - начиная от 'Моих университетов', кончая прекрасным 'Рассказом о безответной любви' <...>

И если не безразличны для А.Крайнего последующие произве-

дения монархиствующего Бунина, то не могут быть для него безразличны и дальнейшие творения большевиствующего Горького. Монархизм Бунина и большевизм Горького - пена на взбаламученном море политических превращений, а творчество их - драгоценные камни в полной чаше русского художества"[16].

С 9 ноября по 6 декабря 1923 года в Праге находились, вместе с Горьким, приехавшие Владислав Ходасевич и Нина Берберова. Н.Берберова вспоминает: "'Русская Прага' нам не открыла своих объятий: там главенствовали Чириков, Немирович-Данченко, Ляцкий и их жены, и для них я была не более букашки, а Ходасевич - неведомого и отчасти опасного происхождения червяком. Одиночками жили Цветаева, которая там томилась, Слоним и Якобсон, породы более близкой и одного поколения с Ходасевичем. Они не только выжили, но и смогли осуществить себя до конца (Якобсон - как первый в мире славист), может быть, потому, что оба были преисполнены энергией, а, может быть, и 'полубезумным восторгом делания'"[17].

Деятельность Марк Слоним и впрямь развивает кипучую и разнообразную. Помимо чисто политической активности на крайне левом, но все же антибольшевистском фланге русской эмиграции, он в 1922 - 1924 годах состоит в правлении Союза русских писателей и журналистов в Чехословацкой Республике (на первых порах в качестве его казначея), входит в Комитет "Земгора" ("Объединения Российских Земских и Городских Деятелей в Чехословацкой Республике"), в библиографическую комиссию Комитета русской книги, в комиссию Русской Народной Библиотеки, является секретарем правления русского академического издательства "Пламя", читает лекции по литературе в "Чешско-русской едноте", продолжает заниматься переводом (в его переводе в издательстве "Пламя" в 1924 году выходит книга Жоржа Дюамеля "'Цивилизация' и другие рассказы"). В первом выпуске Трудов комитета русской книги - справочном издании "Русская зарубежная книга. Часть первая. Библиографические обзоры" (Прага, "Пламя" 1924) - ему принадлежит обзор "Художественная литература". И все же в первую очередь деятельность М.Слонима связана с журналом "Воля России", литературная редакция которого полностью находилась в его ведении.

Как литературный журнал "Воля России" не сразу обрела собственное лицо. В 1922 - 1926 годах здесь, подобно другим эмигрантским изданиям, печатались Б.Зайцев, К.Бальмонт, Вас.И.Не-

мирович-Данченко, С.Маковский, П.Муратов, М.Осоргин, С.Юшкевич и др. По политическим соображениям в журнале не печатались Бунин, Куприн, Мережковский и Гиппиус, Шмелев, Алданов, Сирин (Набоков). Впрочем, Слоним полагал что большинство эмигрантских писателей, сформировавшихся еще до революции (например, Минский, Гиппиус, Северянин), не вносят в литературный процесс ничего нового и стали эпигонами собственного творчества. Правда, Бунин, по его мнению, остался выдающимся мастером, но вот, к примеру, Куприн утратил творческие силы и не способен на новый взлет, а Иван Шмелев впадает в риторический, высокомерный тон, срывающийся на крик. Крупнейшим прозаиком русского зарубежья Слоним считал Алексея Ремизова, а крупнейшими поэтами - Цветаеву и Ходасевича. Ремизов стал постоянным автором "Воли России". Особую роль журнал сыграл в судьбе Марины Цветаевой. Ее здесь печатали регулярно и без какой бы то ни было редакторской цензуры. "Иждивение" (денежную помощь) от чехословацкого правительства, которое после отъезда во Францию она продолжала получать благодаря хлопотам оставшихся в Праге друзей, в том числе Марка Слонима, да гонорар из "Воли России" многие годы были для нее едва ли не единственным постоянным источником средств для поддержания мало-мальски сносного существования. В своих литературных оценках М.Слоним старался руководствоваться чисто эстетическими критериями. Отнюдь не поддерживая крайности футуризма и имажинизма, он был чуток к литературному новаторству и ратовал за неореализм, солидаризируясь с взглядами Евгения Замятина.

Для М.Слонима не существовало двух литератур - эмигрантской и советской. Была одна русская литература. Основную свою заслугу он видел в том, что, в отличие от большинства других печатных органов эмиграции, "Воля России" систематически знакомила читателей с творческой жизнью современной России. В журнале были опубликованы стихи Пастернака и его поэма "Лейтенант Шмидт", "Синие гусары" Асеева, рассказы И.Бабеля, Б.Пильняка, К.Тренева, Е.Замятина, И.Новикова, отрывки из романов А.Веселова, А.Белого, О.Форш. Полностью были помещены повесть Л.Леонова "Петушихинский пролом" и "Баня" Маяковского. Еще в 1921 году в планах берлинского издательства "Грани" рекламным органом которого был журнал Слонима "Новости литературы", значился роман Замятина "Мы". Публикация его в 1927 году в "Воле

России“ стала литературной сенсацией. Г.П.Струве отмечает: “Роман печатался якобы в обратном переводе с чешского, но сличение текста 'Воли России' (правда, неполного) с замятинским показывает, что журнал имел доступ к рукописи и лишь там и сям, для камуфляжа, вносил изменения“[18]. Рапповцы и напостовцы, воспользовавшись публикацией запрещенного на родине романа Замятина, развернули кампанию травли писателя, и в 1932 году по “милости“ Сталина он покинул СССР.

Постоянной мишенью для рапповцев и напостовцев был и сам Слоним. Он вспоминает: “Мы были хорошо осведомлены о борьбе между ВАППом, ЛЕФом, напостовцами и другими советскими группировками и высказывали наше мнение об их соперничестве и 'воле к власти'. В середине и конце двадцатых годов советские критики и руководители различных объединений не только читали 'Волю России', но и полемизировали с нею, главным образом со мной, не щадя при этом бранных эпитетов. Например, в ответ на мою статью 'Литературная Чека', разоблачающую доносы и административное воздействие на писателей, небезызвестный напостовец И.Вардин обвинял меня в смертном грехе - в поддержке Воронского и 'Красной Нови'. В дальнейшем обвинения подобного же рода, да и всякие другие домыслы регулярно появлялись в московских газетах и журналах, в большинстве случаев клеймивших 'Волю России' как 'белогвардейский, контрреволюционный орган врагов народа'. Прибавлю, что у нас в России было немало читателей: помимо нелегальных путей, Главкнига выписывала через книжный магазин Поволоцкого в Париже от 160 до 200 экземпляров 'Воли России', очевидно, для вельмож и 'тех, кому ведать надлежит'. Вспоминая сейчас эти нападки в коммунистической печати и параллельные упреки в литературном 'советофильстве' со стороны эмигрантов, я считаю, что наша позиция была правильна: ведь именно в это десятилетие, 1920 - 1930 годы, когда шли эти споры, в России возникла новая интересная литература и шло живое ее развитие, прерванное потом насильственными мерами в сталинскую эпоху. В исторической перспективе наши суждения тех лет оказались оправданными“[19].

Более спорным было отношение М.Слонима к эмигрантской литературе. В 1924 году он не видел в ней “ни единого нового умственного или художественного течения, ни одной новой поэтической школы, ни одного крупного беллетриста, ни одного серьезного

поэта“[20]. А когда парижский поэт Довид Кнут в запальчивости провозгласил, что подлинной столицей русской литературы является Париж, а не Москва, Слоним в пику ему написал: “... эмигрантской литературы как целого, живущего собственной жизнью, органически растущего и развивающегося, творящего свой стиль, создающего свои школы и направления, отличающегося формальным и идейным своеобразием, - такой литературы у нас нет. Хорошо это или дурно, но это неопровержимый факт, и что бы ни говорили Кнуты, Париж остается не столицей, а уездом русской литературы“[21]. В ответ на высказывания о том, что эмигрантская литература обречена, ибо оторвана от родной почвы, Бунин воскликнул: “Почему, как только выехал из Белевского уезда, так и кончено, погиб талант. Нет, сиди смирно в Белевском уезде!“. Эту фразу повторяли многие защитники эмигрантской литературы. А Слоним, разумеется, оказался плохим пророком, провозгласив на рубеже 1920-30-х годов ее конец. Ведь как раз на 1925 - 1938 годы приходится расцвет зарубежной русской литературы, прежде всего прозы (достаточно назвать “Жизнь Арсеньева“ И.Бунина и романы В.Сирина-Набокова).



С 1926 года “Воля России“ по предложению Слонима стала систематически предоставлять свои страницы молодым литераторам-эмигрантам. Здесь дебютировали Борис Поплавский и Гайто Газданов, Вадим Андреев и Бронислав Сосинский, Александр Гингер и Анна Присманова, Борис Божнев и Юрий Терапиано, хотя все они были парижанами. В течение года журнал “открыл“ тринадцать новых поэтических имен. В 1928 году “Воля России“ провела конкурс на лучший рассказ из эмигрантской жизни. Первая премия не была присуждена. Вторую получил одаренный прозаик и поэт Алексей Эйснер, почетного отзыва за рассказ “Шум шагов Франсуа Вийона“ был удостоен Владимир Варшавский, будущий автор книги “Незамеченное поколение“. Оба учились в Чехословакии - главном центре высшего образования молодых русских эмигрантов.

Молодые пражские литераторы группировались в двух сообществах - возникшем еще в 1922 году "Ските поэтов", руководимом талантливым литературоведом А.Л.Бемом, и основанной в 1924 году "Далиборке", члены которой собирались в одноименном кафе. Слоним объединил вокруг "Воли России" всех местных молодых сочинителей. По вторникам, два-три раза в месяц, они появлялись в высоких комнатах старинного дома, где когда-то жил Моцарт, и за чашкой чая обсуждали свои и чужие литературные новинки. Иногда заседания посвящались определенной теме или творчеству отдельного писателя (например, Бабеля, Леонова, Цветаевой). С 1927 года "Воля России" стала печататься в Париже. И Слоним, который в 1927 - 1932 годах попеременно месяца по три жил то в Праге, то во французской столице, организовал там по поручению редакции литературное объединение "Кочевье". Возникло оно весной 1928 года. Собрания проходили в таверне "Дюмениль" на Монпарнасе. В числе "кочевников" были и бывшие пражане или гости из Праги. Активная деятельность общества, в котором первоначально было 18 участников, продолжалась до 1935 года.

Если парижский литературный кружок "Зеленая лампа", существовавший с 1927 года, был своего рода филиалом "воскресений" Д.Мережковского и З.Гиппиус, с их оттенком известной ретроградности и мистицизма, если в объединении парижских и белградских поэтов "Перекресток" царил Владислав Ходасевич, требовавший высокого профессионализма в духе классических традиций, если в редакции журнала "Числа" непререкаемым авторитетом был Георгий Адамович, призывавший к простоте и человечности, то "Кочевье" ориентировалось на Цветаеву, Пастернака и молодую советскую прозу, в первую очередь на "Серапионовых братьев", Бабеля и Леонова. Среди участников "Кочевья" были Б.Поплавский, Г.Газданов, В.Андреев, А.Ладинский, А.Гингер, А.Присманова, А.Эйснер. Марк Слоним широко открыл для "кочевников" страницы "Новой Газеты", но этот "двухнедельник литературы и искусства", начавший выходить в 1931 году, вскоре прекратил свое существование. Зато участники "Кочевья" стали выпускать "устный журнал".

"Прежде всего, 'Кочевье', по мысли его основателей, должно было стать литературным центром, совершенно независимым от каких бы то ни было чуждых искусству влияний. Политические споры, кружковщина и личный момент слишком часто искажали в эмиграции правильную оценку литературных влияний - и 'Кочевье'

хотело создать, хотя бы в ограниченном кругу, атмосферу свободной мысли <...>", - читаем мы в журнале "Числа" за 1930 год[22].

Благодаря царящей в "Кочевье" атмосфере свободы здесь выступает в прениях Георгий Иванов, Георгий Адамович, Г.П.Федотов, Николай Оцуп, а Зинаида Гиппиус пристально рассматривает в лорнет Марину Цветаеву. В свою очередь Марк Слоним не считает для себя зазорным принять участие в заседаниях "Зеленой лампы" или даже посещать "воскресения", причем Зинаида Гиппиус, не столь давно названная им "мертвым критиком", находит его "болтовню" весьма милой[23]. А поговорить он, видимо, любил. Во всяком случае один из корреспондентов княгини З.А.Шаховской, сообщая, что "Кочевье" давно ничего не устраивает, добавлял: "Единственный способ дать хоть немного помолчать С."[24].

Участвует Слоним и в русско-французских литературных собеседованиях[25]. В начале 30-х годов одна за другой выходят несколько его книг[26] Он организует "Европейское литературное бюро". Старается помочь Марине Цветаевой и Евгению Замятину (в 1934 году договаривается с брюссельским Клубом русских евреев о вечере чтения своих рассказов)"[27], общается с Алексеем Ремизовым[28]. Не прекращает он и политической деятельности, в частности в 1927 - 1932 годах входит в редколлегию журнала "Социалист-революционер", в 1934 - 1936 годах вместе с В.И.Лебедевым и В.В.Сухомлиновым издает газету "Проблемы". В одном из писем Юрию Иваску Марина Цветаева рассказала об инциденте, происшедшем на лекции Слонима "Гитлер и Сталин": "После доклада - явление младороссов в полном составе. Стоят, 'скрестивши руки на груди'. <...>С эстрады Слоним: 'Что же касается Гитлера и еврейства...' Один из младороссов (если не 'столп', то столб) - на весь зал: 'Понятно! Сам из жидов!' Я, четко и раздельно: 'Хам - ло!' (Шепот: не понимают). Я: 'Хам-ло!' - и разорвав листовку пополам, иду к выходу. Несколько угрожающих жестов. Я: 'Не поняли? Те, кто вместо евреи говорят жид и прерывают оратора, те - хамы...'"[29]. Анне Тесковой Марина Цветаева написала о том, что когда Анри Мальро вернулся весной 1936 года из СССР и стал с восторгом делиться впечатлениями от поездки, Слоним задал ему только один вопрос: "А свобода творчества? - Тот: - О! Сейчас не время..."[30]. Впрочем, критическое отношение к сталинизму не мешает Слониму рассказывать французам о челюскинцах[31] или о национальных республиках, входящих в состав СССР[32].

В 1941 году, вновь "пережив цепь почти майн-ридовских приключений" (А.Бахрах), Марк Слоним добрался до Нью-Йорка. Для него это было второе открытие Америки (первое состоялось в 1926 году, когда он совершил почти шестимесячное лекционное турне по США). Он занимается публицистикой, преподает в различных высших учебных заведениях, а в 1943 году становится профессором "почтенного" Сара Лоуренс колледжа, где занимается русской литературной компаративистикой и ведет курс истории зарубежных литератур. С 1949 года постоянно печатается в литературном приложении газеты "Нью-Йорк Таймс", становится членом Американской ассоциации славистов, американского Пен-клуба. В 1957 году получает американское гражданство. В 1962 году выходит на пенсию, оставаясь почетным профессором, и возвращается в Европу, избрав местом жительства Женеву.

Здесь Слоним оказывается в числе инициаторов создания Русского кружка. Регулярно сотрудничает с радиостанцией "Свобода". Принимает участие в международных научных конгрессах.

В 1967 году Слоним писал ленинградскому литературоведу, специалисту по творчеству Достоевского С.В.Белову: "... спешу сообщить интересующие вас биобиблиографические данные для "Краткой Литературной Энциклопедии".

Я родился 23 марта (старого стиля) 1894 года. Моя история русской литературы на английском языке вышла в нескольких изданиях Оксфордского Университета:

1. "Русская литература от древних времен до Толстого", 367 стр. большого формата, 1950, Лондон и Нью-Йорк, второе исправленное издание, 1955. Третье, переплетенное, массовый тираж, Англия, Канада, Соединенные Штаты, 1964.

2. "Современная русская литература. От Чехова до наших дней", 467 страниц, 1953 год, те же страны. Исправленное издание, массовый тираж, "От Чехова до революции", 253 страницы, 1962 г.

3. "Русская Советская Литература, писатели и проблемы", 353 страницы, переплетенное издание, те же страны, 1964 год. Массовое дополнительное издание 373 стр. 1967 год. Все эти книги были переведены на ряд иностранных языков, включая японский и китайский (первые две). Приняты как пособие для изучения русской литературы в десятках университетов.

4. В том же издании Оксфордского Университета был опубликован в 1958 году "Краткий очерк русской литературы", 235 стр. (в Лондоне вышел в популярном издании "Университетской домашней библиотеки" в том же году). Массовый тираж (150000 экз.) в 1959 в "Ментор Букс" в США. Не-

ВОЛЯ РОССИИ

ЖУРНАЛ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ

под редакцией

В. И. ЛЕБЕДЕВА, М. Л. СЛОНИМА,

Е. А. СТАЛИНСКОГО И В. В. СУХОМЛИНА

6-ой ГОД ИЗДАНИЯ

III

ПРАГА

PRAHA, UHELNÝ TRH ČÍS 1

ПЯТИЛЕТИЕ „ВОЛИ РОССИИ"

В 1927 г. «Воля России» вступила в шестой год своего существования. Начав выходить в 1922 г. в виде еженедельника большого формата, журнал с сентября того же года стал издаваться в нынешнем типе и формата, — сперва дважды в месяц, а затем ежемесячно.

По случаю пятилетия издания редакция «Воли России» устроила 3-го февраля в Праге чай для сотрудников и друзей журнала. В помещении редакции, украшенном портретами Герцена, Чернышевского, Лаврова, Михайловского, Гоца, Брешковской, Лазарева, собралось около ста человек русских и иностранных гостей. Всем присутствующим была роздана «памятка» о «Воле России».

И. М. Брушвит в остроумной речи, произнесенной на русском и на чешском языке, в качестве «главы стола», приветствовал юбиляра в образе пирамиды книг, сложенных у председательского места и состоящих из всех выпусков журнала за пять лет.

От имени редакции произнес речь **М. Л. Слоним**, благодарившый собравшихся за их приветствия и в кратких чертах обрисовавший историю журнала и его основные задачи. Пять лет, сказал М. Л. Слоним, малый отрезок времени, но в наши дни, живущие умноженным существованием, и особенно в наших русских условиях — это целая эпоха с бурным и меняющимся содержанием. И пять лет журнала под суровым небесами эмиграции — это пять лет мучительной борьбы, незаметных каждодневных усилий в области материальной, и неустанной работы мысли в области политической и литературной. Быть может особенно трудным был путь именно нашего журнала, ибо на его долю выпала ответственная задача продолжать и развивать за рубежом одно из основных направлений русской общественной мысли.

«Воля России» не случайное явление: она одно из звеньев той «золотой цепи» преемственности русской мысли, которая тянется еще с начала прошлого столетия. Она ощущает себя прямой продолжательницей русского революционного народничества, и стремится идти в его русле, обновляя и раскрывая его основные положения и пытаясь с их помощью осознать и усвоить опыт революции.

сколько изданий на итальянском языке, Мондадори, Милан, 1962, на испанском языке (Мексика, 1962).

5. "Русский Театр, от империи до Советов", с иллюстрациями, перепл. большого формата, 354 стр., издательство "Мир", Нью-Йорк, издательство Метуен, Лондон, 1963, по-испански "Университетское издательство" в Буэнос-Айресе, 1965. Массовым тиражом, без переплета, Коллирс, Нью-Йорк, 1963.

"Три любви Достоевского", вышедшие по-русски в Чеховском издательстве, Нью-Йорк, 1953, вышли в английском переводе в 1955 (Рейнгарт), 300 стр., также в Англии, по-французски в Париже у Бюше, по-итальянски во Флоренции и т.д.

Я написал ряд вступительных статей к переводам Достоевского на английский язык: к "Братьям Карамазовым" для массового издания Рэндом Хауз, с 1950 года вышло множество переизданий (свыше 200 тысяч экз.), к "Бесам", двухтомное иллюстрированное издание, ограниченный тираж, 1959, Нью-Йорк, и массовый тираж (новый перевод), "Новая Американская Библиотека", 1962.

Вам будет, быть может, интересно знать, что с 1949 года, в качестве постоянного сотрудника литературного приложения к газете "Нью-Йорк Таймс" (еженедельник, от 64 до 104 страниц) я писал статьи и рецензии на все книги на английском языке о Достоевском и новых переводах его произведений, а кроме того статьи и рецензии о переводах советских авторов от Шолохова до Эренбурга. Вообще множество статей в "Сатердей Ревю оф Литерачюр" и других изданиях.

Я хочу отметить, что моя "Антология Советской Литературы" (в сотрудничестве с переводчиком Джорджем Риви), 430 страниц, была одной из первых в Англии - 1933, Америке - 1934, во Франции - 1934 и в Италии - 1935.

Некоторые мои книги вышли только по-французски (напр., "Одиссея Челюскинцев", Сток, Париж, 1936) или по-итальянски. (Не хочу обременять вас, моя библиография занимает много страниц).

Мой перевод на французский язык книги Тарле о нашествии Наполеона был конфискован и изъят немцами по вступлении в Париж в 1940 году и продавался из-под полы <...>[33].

В письме от 24 февраля 1968 года Слоним сообщал: "... сейчас пишу книгу воспоминаний, первый том о 1917 - 18 годах"[34]. А 4 апреля писал: "Здоровье мое приличное, особенно для моих лет, но приходится следить, чтобы не переутомиться, а то я способен увлечься и работать с утра и до вечера - без отдыха, а врачи к этому относятся неодобрительно. Беда в том, что я читаю очень много книг - на семи языках - и порою от них в голове настоящий ералаш. Приходится также немало писать - очередные статьи - журнальные - и только недавно перестал читать лекции по истории

русской и европейской литературы XIX и XX столетий.

А кроме того пишу свои воспоминания. Не автобиографию - а именно о том, чему был поставлен свидетелем, и о тех, кого встретил на длинном, долгом моем пути <...>"[35].

В последнем письме С.В.Белову (от 1 декабря 1969 года) Слоним опять упоминает о работе над книгой, написать которую собирался еще в 1921 году: "Дошедшие до Вас слухи о моих воспоминаниях сильно преувеличены: действительно, я их пишу, но подвигаются они медленно, и еще далеки от окончания и печати, хотя издатели уже заключили со мной договор <...>"[36].

Возмущение Марка Львовича вызвала статья В.Щербины, который, процитировав "вздорное утверждение З.Гиппиус о русской литературе", зачислил его в "группу зарубежных авторов", до сих пор разделяющих подобную точку зрения. "Это абсолютно неверно: я в 1924 году ответил Гиппиус резкой полемической статьей под названием 'Живая литература и мертвые критики', само название указывает на мою позицию, и я ее никогда не менял"[37].

Если в советской прессе 20-х - 30-х годов Марка Слонима называли "небезызвестным белогвардейским критиком" как раз в то время, когда "правое крыло и центр эмигрантских группировок казнили его "левизну", то в 50-е - 80-е годы его относят к числу ведущих белогвардейских "советологов", которые, чутко уловив "стратегические цели идеологов антикоммунизма", энергично принялись "за работу по компрометации советской литературы"[38]. Между тем русская эмиграция на Западе в это же самое время резко упрекала Слонима в советофильском уклоне и в недооценке русской литературы[39]. И справа и слева его фактически критиковали за "теорию единого потока", а также за то, что в своих обзорных курсах он располагал материал исходя из простого принципа: в какой период писатель впервые по-настоящему заявил о себе, ярче всего себя высказал, в рамках такого периода и надо рассматривать его творчество. Соответственно, например, и Горький, и Бунин попадали в главы, посвященные предоктябрьской эпохе, что "обедняло", с одной стороны, советскую, а с другой - зарубежную русскую литературу.

Общественно-исторические, культурологические и литературные концепции, пронизывающие послевоенные книги Слонима, складывались десятилетиями и большей частью были сформулированы и высказаны еще в его статьях и книгах 20-х - 30-х годов. Он всю

жизнь оставался верен своим пристрастиям и отличался - тут я полностью разделяю мнение Н.Андреева - "почти безошибочным пониманием 'удельного веса' литературных явлений и творчества отдельных писателей"[40]. И в 50-е - 70-е годы он писал, как и до войны, о Замятине[41] и Зощенко[42], поднимал на щит Цветаеву[43], выступал в защиту Пастернака[44], а главными достижениями зарубежной русской прозы, как и прежде, считал романы М.Алданова и В.Набокова[45]. К сожалению, в его книгах последних десятилетий начинала сказываться длительная оторванность от России. В них, например, мы не найдем упоминания о "воронежском цикле" О.Мандельштама, об обэриутах, достаточно развернутой характеристики творчества М.Булгакова и А.Платонова.

Касаться интимной жизни литературоведов не принято. Однако я убежден, что именно собственный эротический опыт подсказал Марку Слониму концепцию его книги "Три любви Достоевского", после снятия идеологических запретов вызвавшей большой интерес и в России[46]. Вот почему я позволю себе затронуть и эту тему.

18 декабря 1951 года Марк Слоним вступает в брак с русской эмигранткой Татьяной Владимировной Ламм. Это был его третий официально оформленный брачный союз, хотя в "Who's Who in the World" на 1971 - 1972 годы значатся лишь два из них. В 1920 году Слоним женился на француженке Сюзан Кампо (по непроверенным данным, он краткое время был в Париже личным секретарем Бунина). Дочь Слонима и Сюзан Кампо Елена впоследствии стала госпожой Теодор Костинеско. В 1922 году молодые супруги разошлись. 16 ноября 1923 года Слоним сообщал председателю правления издательства "Пламя" профессору Евгению Александровичу Ляцкому: "Жизнь в Праге течет по-прежнему. Я переехал на новую квартиру, живу мирно и спокойно, почти семейно, ибо со мною Леночка". А 1 апреля 1924 года он шутливо писал тому же адресату: "О себе, из скромности, умолчу: по-прежнему поведение мое безукоризненно и я стыдливо опускаю глаза при виде каждой особы женского пола. Это, так сказать, отчет секретного характера"[47]. Отчет этот был не вполне искренним, а точнее - сугубо ироничным. В 1922 году в Берлине Андрей Белый познакомил Слонима с Мариной Цветаевой, вскоре переселившейся в Чехословакию. Между поэтессой и молодым редактором "Воли России", открывшим перед ней, "белой", страницы левоэсеровского журнала, завязалась дружба. Веронике Лосской Слоним рассказывал: "В 1922 г.

она (Цветаева - *О.М.*) познакомилась с Б. (Константином Болеславовичем Родзевичем - *О.М.*). Это единственный настоящий и трудный, не интеллектуальный ее роман. Об этом она пишет в 'Поэме горы' и 'Поэме конца'.

Она была старше меня. Я был тогда молод. Когда ей было трудно, она приходила ко мне. Я ей был настоящей опорой, человеком и другом, который мог помочь <...>.

Мы очень много вместе ходили <...>. Во время одной из прогулок я ей показал рыцаря (речь идет о статуе Брунцвика у Карлова моста - *О.М.*), это было в старинных кварталах, по ту сторону реки, в Праге, которую она очень любила. Через день после этой прогулки я получил от нее стихотворение 'Пражский рыцарь'[48]. На вопрос, была ли Цветаева красива, он ответил: "Это было больше, чем красота! Она была легкая, стройная, у нее были замечательные глаза, сжатый, довольно большой рот, сильный овал лица, легкая походка... чудная улыбка'"[49]. После разрыва с Родзевичем Цветаева почувствовала к Слониму нечто большее, чем приятельскую симпатию, а он мог ей предложить "только дружбу": "... я тоже был в тяжелом состоянии после того, как меня оставила Сюзанна и взяла к себе Леночку - и, вероятно, ей показалось, что сходство наших любовных драм - залог нашего полного сближения - а она его понимала как полную стопроцентную отдачу, растворение безоглядное и бесконечное - некое жертвоприношение - возможное только у мужчины, который САМ ничего не имел, никакой своей жизни. Отсюда и трагедия М.И.: она хотела, чтобы жертву принес не слабый, а сильный индивидуум, чтобы ради нее отказаться от своей жизни, работы. Это мог сделать только человек очень среднего калибра, а она такого бы презирала"[50]. Это было написано для "будущих биографов Цветаевой", а Веронике Лосской Слоним говорил: "Она видела во мне носителя какой-то нечеловеческой духовности. Я же был просто молод. <...> И когда Цветаева узнала о моих многочисленных романах, она как-то не могла мне этого простить. В ней было это чувство: 'Как вы можете заниматься какой-то женщиной, когда я тут!' А я уходил от разговоров с ней на какое-нибудь любовное свидание.

А во мне не было влечения к ней как к женщине. Она не была для меня желанной женщиной, она была другом. 'Попытка ревности' ведь относится ко мне так же, как к К.Б. А я ее не любил"[51].

Однако, посылая свое стихотворение Слониму, Цветаева была

уверена, что достигнет цели: "Пусть резнет по сердцу или хлестнет по самолюбию. В тот вечер, по крайней мере, ему будет отравлена его 'гипсовая труха'"[52].

Напомню читателю хотя бы несколько строф из этого стихотворения:

Как живется вам с простою
*Женщиною? **Без божеств?***
Государыню с престола
Свергши (с оного сошед),

Как живется вам - хлопочется -
Ежится? Встается - как?
С пошлиной бессмертной пошлости
Как справляетесь, бедняк?

.....

Как живется вам с товаром
Рыночным? Оброк - крутой?
После мраморов Каррары
Как живется вам с трухой

Гипсовой? (Из глыбы высечен
Бог - и начисто разбит!)
Как живется вам с стотысячной -
Вам, познавшему Лилит![53]

Стихотворение было написано 19 ноября 1924 года. 3 декабря Цветаева сообщала приятельнице, что отошлет его Слониму на Новый год. А 19 декабря 1925 года Марк Слоним вступил в законный брак с двадцатитрехлетней чешской студенткой Марией Хлупцовой. Их сын Димитрий, с которым мне довелось познакомиться в Праге и которому я выражаю здесь признательность за материалы о его отце, родился 4 августа 1925 года, за несколько месяцев до официального заключения этого брака. Димитрий Слоним, доктор медицины, доцент, предоставил в мое распоряжение копию брачного свидетельства родителей и копию свидетельства о своем рождении, где указаны их имена. Следовательно, кульминация романа М.Слонима и М.Хлупцовой приходится как раз на осень 1924 года.

МАРК СЛОНИМ

Три любви Достоевского

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА
Нью-Йорк • 1953



Та же книга в переводе на иврит

Брак Слонима "с земною женщиною без шестых чувств" оказался непродолжительным. Впрочем, его отношения с Марией Хлупцовой не помешали возобновлению дружбы с Цветаевой. 10 мая 1925 года поэтесса писала все той же приятельнице (в этой корреспонденции Слоним фигурирует под прозвищем *Дорогой):* "Из многих людей - за многие годы - он мне самый близкий: по не-мужскому своему, не-женскому, - третьего царства - облику, затемняемому иногда - чужими глазами завязанным. <...>И если бы не захватанность, не *страшность* этого слова (не чувства!) я бы просто сказала, что я его - люблю"[54]. Но вскоре последовала еще одна "измена" *Дорогого,* и эту измену Цветаева долго не могла ему простить, поскольку для нее это, возможно, была едва ли не самая большая за всю жизнь любовь. В начале 1927 года Слоним должен был сделать в "Чешско-русской едноте" доклад о Марине Цветаевой. 15 января Цветаева просила в письме из Бельвю А.Тескову: "<...> запомните возможно точнее, ведь это нечто вроде эпилога, нет, - некролога: целой долгой дружбы. Мне хочется знать, хорошо ли он знает - что потерял?

А о нем над гробом - хорошо сказали. Ребенок над разбитой игрушкой, с той разницей, что раньше сам сломал, а эта - сама сломалась. Что ломал то - старые, а сломалась то - новая!"[55]. Речь шла о трагической гибели Лариссы Бучковской, раздавленной автомобилем председателя Совета министров Чехословакии "в нелепых и диких обстоятельствах", побудивших Слонима в декабре 1926 года покинуть Прагу. Полиция пыталась "скрыть обстоятельства ее смерти от печати и близких", но в результате вмешательства Слонима дело "получило широкую огласку, включая вопрос в парламенте и доклад президенту Масарику".

В письмах Цветаевой к Тесковой имя Слонима, как он сам подсчитал, упоминается 27 раз, после "идут только Рильке и Пастернак", но с той разницей, что о них почти всегда "похвала и восторг", а о нем - отзывы "по большей части отрицательные". Сам он считал, что все они продиктованы обидой. Но абсолютно ли он прав? Вот, например, один из них: "Читаю сейчас книжку 'По золотой тропе', надписанную: 'Дорогая М.И., мне очень хотелось посвятить Вам эту книгу' - декабрь 1928 г.: 10 лет (вечность!) назад. Книга, как все этого автора - легкомысленная: слишком много любил, кроме этой 'золотой тропы', но все-таки - ландшафты, имена, кусочки истории, кусочки жизни..."[56]. Или вот еще один

столь же двойственный отзыв: "Был у нас доклад М.Л. о молодой зарубежной литературе. 'Молодой зарубежной литературы нет, есть молодые зарубежные писатели'. Прав, конечно. Потом разбор, справедливый, посему - безжалостный. (Вспомните основу суда: не милосердие, а справедливость). Из пражан определенно выделил Лебедева и Эйснера, с чем согласна. Из парижан - Поплавского. <...>Мысли М.Л. часто остры, форма *обща,* все время переводит на настоящие слова. Те мысли - не теми словами"[57].

На протяжении всех трех своих жизней - бурной жизни революционера, беспокойной жизни эмигрантского журналиста, публициста, критика, литературного организатора и обеспеченной жизни университетского профессора - Марк Слоним, действительно, "слишком много любил" и потому порой был легковесным, говорил чересчур общими словами. Но о самой Марине Цветаевой он оставил воспоминания, с которыми по глубине могут сравниться только воспоминания ее сестры и дочери.

"Очень милая, интересная", по свидетельству Романа Гуля, Татьяна Владимировна Ламм, очевидно стала для Слонима тем же, чем для Достоевского была Анна Григорьевна Сниткина. И своей третьей жене Слоним посвятил книгу о Достоевском, завершающуюся прославлением А.Г.Сниткиной.

Умер Марк Львович Слоним 8 мая 1976 года в Болье-сюр-Мер на французской Ривьере.

Примечания

1. Slonim Marc. Reminiscences on the revolution // Cahiers du Monde russe et soviétique. 1977. XVIII/4/. Oct.-déc. P. 413.

2. См. Берберова Н. Люди и ложи (Русские масоны XX столетия): Биобиблиографич. словарь // Вопросы лит. 1990. N4. С. 182.

3. Там же. С. 219-220.

4. Aucouturier, Michel. Les souvenirs de Marc Slonim // Cahiers du Monde russe et soviétique. 1977. XVIII/4/. Oct.-déc. P. 411.

5. Бахрах А. Памяти Марка Слонима // Новое Русское Слово. 1984. Июнь.

6. Берберова Н. Указ. соч. Комментарии // Вопросы лит. 1990. N5. С. 143-144.

7. Русская книга. 1921. N2. С. 30.

8. Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О. Русский Берлин. 1921-1923: По материалам архива Б.И.Николаевского в Гуверовском институте. Т. I. Paris: YMCA-Press, 1983. С. 55.

9. Обвинительное заключение по делу Центрального Комитета и отдельных

членов иных организаций партии с.-р. по обвинению в вооруженной борьбе против Советской власти, организации убийств, вооруженных ограблений и изменнических сношениях с иностранными государствами. М.: Издание ВЦИК, 1922. С. 41.

10. Там же. С.50.

11. Бахрах А. Указ. соч.

12. Слоним М. Кризис эмиграции // Воля России. 1922. N6. С. 6.

13. Современные записки. 1924. XVIII. С. 123-138.

14. Слоним М. Литературные заметки. Живая литература и мертвые критики // Воля России. 1924. С. 53-63.

15. Там же. С. 60.

16. Там же. С. 61-62.

17. Берберова Н. Курсив мой: Автобиография. Т.1. Изд. 2-е, испр. и доп. N.Y.: Russica Publishers, Inc., 1983. С. 237.

18. Струве Г. Русская литература в изгнании: Опыт исторического обзора зарубежной литературы. Изд. 2-е, испр. и доп. Paris: YMCA-Press, 1984. С. 65.

19. Слоним М. Воля России // Русская литература в эмиграции: Сб. статей под ред. Н.П.Полторацкого. Питтсбург: Отдел Славянских языков и литератур Питтсбургского ун-та, 1972. С. 299.

20. Воля России, 1924. N4. С. 58.

21. Слоним М. Литературный дневник: О литературной критике в эмиграции // Воля России. 1928. N7, июль. С. 63-64.

22. Числа, 1930, N2-3. С. 279-280.

23. Марина Цветаева в жизни: Неизданные воспоминания современников / Сост. В.Лосская / Российский международный фонд культуры. Дом Марины Цветаевой. М.: Культура и традиция, 1992. С.113; Пахмусс Т. З.Н.Гиппиус в эмиграции - по ее письмам // Русская литература в эмиграции. Питтсбург, 1972. С. 124.

24. Шаховская З. В поисках Набокова. Отражения. М.: Книга, 1991. С. 199.

25. Стенограммы этих заседаний были опубликованы в кн.: Sébastien R., Vogt W. Rencontres. Soirées franco-russes des 29 oct. 1929 - 26 nov. 1929 - 18 déc.1929 -28 jan. 1930. Paris, 1930.

26. Слоним М. Литературный дневник: Сборник статей из журн. Воля России. Прага: Воля России, 1923-1931; Слоним М. (Аратов Б.) Политика и жизнь: Сб. статей из журн. Воля России. Прага: Воля России, 1922-1931; Слоним М. Портрети савремених руских писаца. Београд: Издане "Руского архива", 1931; Слоним М. Портреты советских писателей. Paris: Парабола, 1933.

27. Шаховская З. Указ. соч. С. 247.

28. См.: Русская Национальная Библиотека им. М.Е.Салтыкова-Щедрина. (Санкт-Петербург). (Далее - РНБ). Отдел рукописей. Фонд N634. Ремизов А.М. Ед. хр. N30. Ремизов Алексей Михайлович. Письма (21) Георгию Даниловичу Реви. Ксерокопии на рус. и фр. яз. (Подлинники хранятся в Принстонском университете). 1930-1934. Париж. 26 лл.

29. Цит. по кн.: Ирма Кудрова. Версты, дали... Марина Цветаева: 1922-1939. М.: Сов. Россия, 1991. С. 294-295.

30. Цветаева М. Письма к Анне Тесковой. Praha: Academia, 1969. S. 138.

31. Slonim M. L'Odissée de Tcheluskine. Paris, 1935.

32. Slonim M. Les onze républiques Soviétiques. Paris: Payot, 1937.

33. См.: РНБ. ОР. Ф.1115. Архив С.В.Белова. Ед.хр. N44. Письма М.Л.Слонима (4) Сергею Владимировичу Белову, г.Женева. (Крайние даты: 28 дек. 1967 г. - 1 дек. 1969 г.)

34. Там же.

35. Щербина В. Октябрь и литература // Знамя. 1967. N10. С. 227.

36. РНБ. ОР. Ф. 1115. Ед. хр. 44.

37. Андреев Ник. Об особенностях и основных этапах развития русской литературы за рубежом: (Опыт постановки темы) // Русская литература в эмиграции. Питтсбург, 1972. С. 20.

38. Беляев А. Идеологическая борьба и литература: Критический анализ американской советологии. 4-е изд., доп. и испр. М.: Худож. лит., 1988. С.14. См. также: Бруханский А. Изучение или фальсификация // Русская лит. 1959. N1. С.204-216; Против буржуазных и ревизионистских концепций истории русской литературы // Под ред. проф. А.Н.Соколова. М.: Изд-во Московского ун-та, 1963. С.43; Григорьев А.Л. Русская литература в зарубежном литературоведении. Л.: Наука (Ленинградское отделение), 1972. С. 142, 168.

39. Струве Г. Неудачная книга о русской литературе // Опыты. 1954. N3 (Н.-Й.). С.189-195; Варшавский В.С. Незамеченное поколение. Н.-Й.: Издательство им. Чехова, 1956. С. 164.

40. Андреев Ник. Указ. соч. С. 20.

41. Слоним М. Писатель и его творчество // Замятин Е. Повести и рассказы. Мюнхен: ЦОПЭ, 1963. С. 5-8.

42. Слоним М. Вступительная статья // Зощенко М. Избранное. Ann Arbor: The University of Michigan-Press, б.д. С.5-19.

43. "Наступит день, когда ее творчество будет заново открыто и оценено и займет заслуженное место как один из самых интересных поэтических документов пореволюционной эпохи", - писал М.Слоним в книге "Modern Russian Literature from Chekhov to the present" (N.Y.: Oxford University-Press, 1953. P. 340).

44. Слоним М. Роман Пастернака // Новый журнал. 1958. N52. С.94-108; Слоним М. Открытое письмо советским писателям // Дело Пастернака: Сб. статей. Мюнхен: ЦОПЭ, 1958. С. 68-72.

45. Марк Алданов: Библиография / Сост. Д. и А.Кристенко; Под ред. Т.А.Осоргиной; Предисл. М.Слонима. Paris: Institute d'Etudes slaves, 1976. P.V-VIII; Slonim M. An outline of Russian Literature. N.Y.: A Mentor Book. The new american library, 1959. P. 162-163.

46. См.: Слоним М. Три любви Достоевского. М.: "Имидж", 1991; Слоним М. Три любви Достоевского. М.: "Сов. писатель", 1991.

47.Literární archiv Památníku národního písemnictví (Praha). Pozùstalost: E.A.L'acky. Slonim Mark - E.A.L'ackému, c.prir. 52/69, c.inv. 2207-2224.

48.Лосская В. Указ. соч. С. 81.

49. Там же. С. 122.
50. Там же. С. 323-324.
51. Там же. С. 153.
52. Цветаева М. Неизданные письма... Paris: YMCA-Press, 1972. С. 97.
53. Цветаева М. Сочинения в двух томах Т.1. М.: Худож. лит., 1980. С. 274-275.
54. Цветаева М. Неизданные письма... С. 177.
55. Цветаева М. Письма к Анне Тесковой... С. 48.
56. Там же. С. 164.
57. Там же. С. 73.

ФИЛОСОФИЯ

Редактор Нафтали Прат

Г. Д. Гурвич, философ-социолог

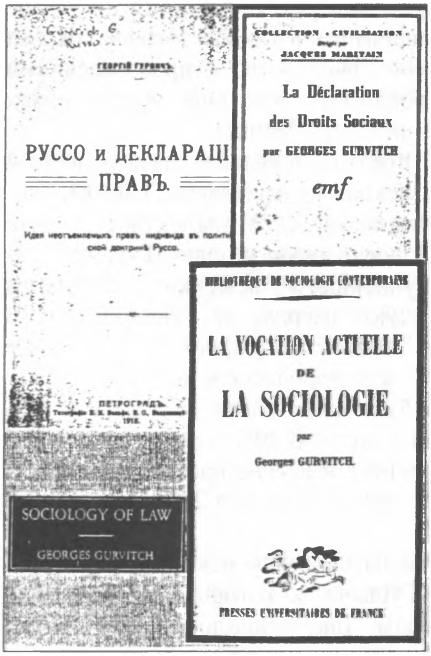
Нафтали Прат (Израиль)

Еще о С.Л. Франке
(Что вспоминается младшему современнику о нем и его семье)

Борис Лосский (Франция)

Curriculum vitae профессора Гессена

Андрей Рогачевский (Англия)



Г.Д.Гурвич, философ-социолог

Нафтали Прат
(Иерусалим)

Знаменитый французский социолог Жорж Гурвич, один из крупнейших социологов XX века, начинал свой научный путь как русский философ. И хотя впоследствии он подчеркивал, что социология должна освободиться от унаследованных ею от XX века философских притязаний, философская закваска всегда давала себя знать в его творчестве. Понять социологические идеи Ж.Гурвича можно лишь учитывая их философский подтекст и те разнообразные влияния, которым мыслитель подвергался в годы формирования своего интеллектуального облика.

Георгий Давыдович Гурвич родился 20 октября 1894 года в Новороссийске в богатой семье (отец его был директором банка). Его интеллектуальные искания начались рано. В возрасте 14 лет он начал читать труды по философии и социологии. Первыми мыслителями, оказавшими на него влияние, были марксисты: Каутский, Плеханов и Ленин. В возрасте 16 лет он обратился к трудам Маркса, но они показались ему трудными для понимания. Сильное впечатление произвела на него философия Гегеля, однако он не мог удовлетвориться гегелевской апологией прусского государства.

Г.Д.Гурвич учился в Дерптском (по некоторым сведениям - в Рижском) университете; изучал философию и право. Летом он ездил в Германию, где слушал лекции по юриспруденции и знакомился с новейшими философскими течениями. Он изучал Канта и

неокантианцев: Когена, Кассирера, Риккерта, Виндельбанда.

Серьезное влияние на формирование взглядов Гурвича оказал французский философ А.Бергсон, знакомство с произведениями которого помогло Гурвичу преодолеть жесткий детерминизм, столь характерный для Гегеля и позднего Маркса.

В месяцы, непосредственно предшествовавшие началу первой мировой войны, Гурвич слушал лекции неокантианца Э.Ласка, который привил ему любовь к идеалистической диалектике в духе Фихте. Важное влияние на социологическую теорию Гурвича оказал типологический подход крупнейшего немецкого социолога М.Вебера. Гурвич получил высшую награду на университетском конкурсе студенческих работ за свою монографию "Политическое учение Феофана Прокоповича и его европейские источники: Гроциус, Гоббс и Пуфендорф" (1915). Успех убедил Гурвича в правильности избранного им научного пути. В 1917 году он закончил с отличием Петроградский университет и вскоре прошел конкурс на замещение должности преподавателя (сначала в Томском, затем в Петроградском университете).

В эти университетские годы наметились некоторые важные темы социальной философии Гурвича, к которым он неизменно возвращался в последующие годы. Так, социологическая теория Гурвича характеризуется своеобразно понимаемым реализмом, который сформулировался под непосредственным влиянием идей русских философов-интуитивистов Н.О.Лосского и С.Л.Франка, а также старых славянофилов. Правда, Гурвичу было чуждо стремление славянофилов к созданию православной, церковной философии; однако идея соборности, такого реального единства социального целого, которое не поглощает индивидуальности каждого из своих членов, была прочно усвоена Гурвичем. Она способствовала формированию категории "мы" в социологии Гурвича и отразилась в его диалектических представлениях о взаимоотношении личности и коллектива, единства и разнообразия.

Под влиянием А.Бергсона сложилось представление Гурвича о различии между интуитивным постижением и дискурсивным познанием. Его привлекала идея плюралистического строения реальности, которая не может быть сведена к некоему монистическому единству, к одной субстанции.

Уже в университете Гурвич углубился в изучение истории социальной философии и социологии. В центре его внимания были те

мыслители, которые утверждали несводимость социального к индивидуальному и отказывались отождествлять социальное целое с одним из его аспектов - государством. Гурвич внимательно изучал труды Аристотеля, Гроциуса, Лейбница, Ж.-Ж.Руссо, Фихте и других мыслителей, чьи взгляды содержат в зародыше главную идею социологии Гурвича о взаимопроникновении индивидуального и социального.

Особо важное влияние на мысль Гурвича оказали идеи П.Ж. Прудона, которого он защищал от несправедливой, по его мнению, критики К.Маркса. Гурвич ценил у Прудона прежде всего идею, что социальная реальность не трансцендентна индивидуумам, образующим общество, не является какой-то внешней для них силой. Отсюда вытекал антиэтатизм Прудона (не тождественный анархизму, к которому Прудон склонялся лишь в один из периодов своего интеллектуального развития). Весьма ценил Гурвич идею Прудона о равновесии соперничающих групп в обществе. Под влиянием Прудона Гурвич начал читать французских теоретиков революционного синдикализма. Так зрели идеи Гурвича о негосударственном, свободном социализме, основанном на демократическом самоуправлении и собственности, одновременно общественной и личной.

Знакомство Гурвича с идеями Прудона и французских синдикалистов совпало по времени с великими событиями русской революции 1917 года. Влияние этих событий на Гурвича было огромным. Казалось, что в практике рабочего контроля на предприятиях, в идее власти свободно избранных советов, которую проповедовали большевики, найдут выражение те мысли, которые так привлекали Гурвича в произведениях Прудона и синдикалистов. Казалось, что русская революция осуществляет главные идеи социальной философии Гурвича: идею социального права, творимого спонтанно, независимо от государства, и идею децентрализованного, коллективно планируемого хозяйства. Очень скоро, однако, практика большевизма пришла в полное противоречие с этими идеями. Вместо "государства-коммуны", которое, по первоначальному замыслу Ленина, должно было быть "почти не государством", большевистская диктатура создала огромный бюрократический аппарат, подчинивший себе не только хозяйство, но и всю духовную жизнь страны.

В 1920 году Гурвич добровольно покинул Россию. Единствен-

ным содержанием его багажа были заметки к трем будущим книгам: о Фихте, о понятии социального права и об уровнях социальной реальности. Гурвич почувствовал себя обязанным покинуть Россию, когда исчезли всякие надежды на создание подлинно плюралистического государства, основанного на принципах демократии и децентрализации.

В течение пяти лет после отъезда из России Гурвич преподавал в Пражском университете, где по инициативе президента Чехословакии Т.Масарика был создан Русский институт. Гурвич погрузился в изучение немецкой философии, в особенности феноменологии Э.Гуссерля. Большое значение для формирования его взглядов имели его беседы с М.Шелером, чья философия приобрела в эти годы огромную популярность в Германии. Но решающую роль в формировании социальной философии Гурвича сыграли взгляды Фихте, особенно Фихте позднего периода. Книга Гурвича "Система конкретной этики Фихте" была опубликована на немецком языке в Тюбингине в 1924 году. Гурвич трактовал философию зрелого Фихте как абсолютный реализм.

Из Праги Гурвич переселился во Францию, которая стала его второй родиной. Во Франции Гурвич немедленно приступил к работе над книгой "Идея социального права" (Париж, 1932) и погрузился в изучение литературы по юриспруденции, социологии и социалистической мысли. Он подверг критическому изучению идеи крупнейшего французского социолога Э.Дюркгейма и его учеников: М.Мосса, Л.Леви-Брюля и М.Хальбвакса. Мосс дал Гурвичу те понятия, которые стали символами его теоретической системы: идею цельных социальных явлений и цельного человека. В этот период Гурвич испытал также влияния французских философов - своих современников, в том числе Ж.Валя и Л.Брюнсвика; по просьбе последнего Гурвич прочел серию публичных лекций о современных тенденциях немецкой философии. Они были опубликованы в 1930 году под названием "Актуальные тенденции немецкой философии". Главная мысль Гурвича состояла в том, что весь дух немецкой философии изменился по сравнению с тем, который господствовал в ней в течение тридцати лет, предшествоваших первой мировой войне. Неокантианство уступило ведущее место феноменологии, открывающей новые горизонты исследования. Глубокое влияние на философию оказало развитие науки, в частности физики и психологии. Книга о немецкой философии была

лишь косвенным образом связана с главной темой исследований Гурвича в этот период, темой, которая знаменовала перемещение его теоретического интереса в сторону социологии. Социология еще не стала главным полем его исследований, но необходимость перехода к социологии настоятельно диктовалась Гурвичу его работой над книгой "Идея социального права" (опубликована на французском языке в 1932 году). Труд Гурвича принадлежит к области, промежуточной между философией и социологией, - к философии права. В этой области до Гурвича подвизались многие выдающиеся представители русской философской и юридической мысли: Б.Н.Чичерин, А.Д. Градовский, Б.А.Кистяковский, кн. Е.Н. Трубецкой, П.И.Новгородцев, Б.П.Вышеславцев (современник и нередко оппонент Гурвича, подвергавшего социальные идеи этого во многом близкого ему мыслителя серьезной критике). Вклад самого Гурвича в философию права отводит ему почетное место среди этих блестящих имен. Гурвич разрабатывает в своей книге идею социального права, отличного от государственного закона и служащего опорой последнему. Социальное право, согласно Гурвичу, - это автономный закон, объективно интегрирующий каждую реальную, конкретную и активную общность и воплощающий некую положительную ценность. Общие ценности, "нормативные факты", связывают внутреннюю жизнь сложного коллектива социальной властью, которая оказывается таким образом свободной от необходимости применять безусловное принуждение. Государственный закон является лишь одним из элементов (не самым важным) системы социального права. В своей работе о социальном праве Гурвич вдохновлялся идеями Прудона, которому он посвятил, среди прочего, статью в замечательном журнале демократической русской эмиграции ("Прудон и современность", "Современные записки", 1927, N30). В этом журнале была опубликована и самая значительная из чисто философских работ Гурвича "Этика и религия"[1]. Эта работа позволяет определить место Гурвича в истории русской философии, его отношение к господствующим в ней тенденциям и оценить всю оригинальность его философской мысли, естественно перетекающей в мысль социологическую. В начале статьи Гурвич указывает на исторические обстоятельства, побудившие его обратиться к теме соотношения этики и религии.

Приступая к рассмотрению и критическому разбору основных типов решения проблемы об отношении этики и религии, Гурвич

утверждает возможность объективно научного и свободного исследования религиозного и нравственного актов как таковых, независимо от того или иного вероисповедания. Он отвергает взгляд, характерный для ряда русских мыслителей православного направления, согласно которому до всякого анализа необходимо исходить из определенного положительного религиозного догмата. Такая свобода от догматических предпосылок при рассмотрении вопроса о соотношении религиозного и нравственного актов еще не предрешает его решения. Она сочетаема с любой этической и религиозной позицией. Гурвич указывает на то, что и некоторые сторонники религиозного обоснования этики (например, М.Шелер и до него - Вл.Соловьев) разделяли такой подход к рассматриваемой проблеме.

Проблема отношения этики и религии, как полагали до недавнего времени, допускает два типа решения: гетерономию и автономию, т.е. возведение принципа, руководящего нравственным актом, к велению свыше и провозглашение совершенной независимости этого акта. Третье решение проблемы, о котором недавно заговорили религиозные мыслители, т.наз. теономия, утверждающая, что принцип нравственного действования одинаково связывает и человека и Бога, от которого он исходит, оказывается, по мнению Гурвича, решением весьма старым, хорошо известным в истории философии, и притом устаревшим.

Все эти решения проблемы имеют одну общую черту: они исходят из "номии", т.е. "закона", из взгляда, что принцип нравственного действия есть некая "общая норма", тождественная для всех. Гурвич призывает отказаться от этого взгляда и признать, что к нравственной жизни общие нормы вовсе не применимы, что творческая свобода сама есть добро. Свою новую позицию, отличную от традиционных решений, Гурвич предлагает назвать "автотеургией"; это мудреное понятие означает "самостоятельное участие человека через свое нравственное действие и усилие в Божественном творчестве, непосредственно готовящее путь для религии"[2].

Автотеургия, согласно Гурвичу, рассматривает борьбу и творчество человека здесь на земле как особый вид богослужения; "она являет собой глубочайшее торжество точки зрения Ренессанса, искавшего, наряду с религией, пути к Богу через мир, и вместе с тем она решительно чужда всех односторонностей и ошибок рационализма и просвещенства, с их уклоном к человекобожеству"[3].

Гурвич подвергает глубокой и справедливой критике идею нрав-

ственной гетерономии, которая, по его мнению, коренным образом противоречит сущности и религии, и этики. Теономия, сторонниками которой являются неотомисты, а также такие мыслители, как Н.О.Лосский, М.Шелер, С.Л.Франк, Н.А.Бердяев и др., есть по существу позиция христианского и иудейского богословия. Ее современной формой выступает учение о единой системе ценностей, из которых высшей является ценность Божественная. Гурвич обращает особое внимание на попытку Бердяева сочетать в учении о единой системе ценностей теономический принцип с гуманистической идеей творческой свободы. Близость позиции Бердяева к его собственной заставляет Гурвича особенно подчеркивать различие между ними. Бердяев пытался "связать приятие человеческого творчества с теономией, т.е. иными словами подчинить человеческое творчество непременному религиозному руководству... Иными словами, творчество человека должно быть лишено самостоятельного характера, чтобы быть творчеством"[4].

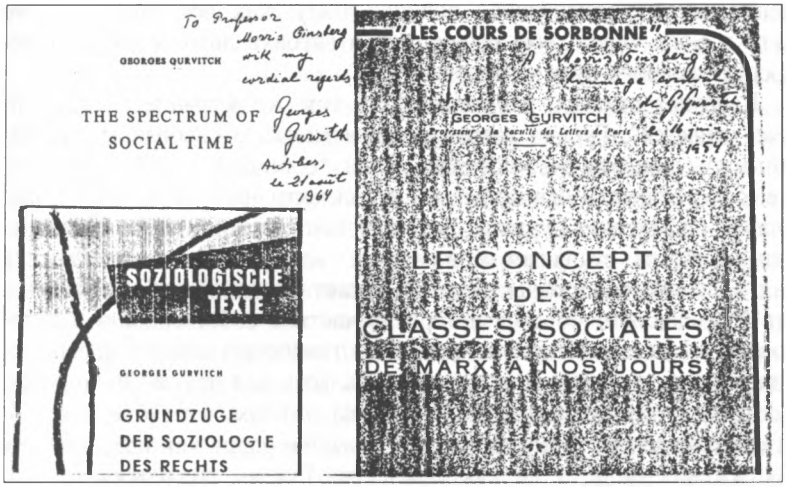
Гурвич решительно отвергает учение о единой, монистической системе ценностей, которое допускает лишь один единственный способ восхождения к абсолютному - религиозный акт. Он полагает, что существует не один, а множество путей восхождения к абсолютному: наука и философия, нравственная деятельность и основанная на ней общественность, искусство и созерцание красот космоса. Истинный смысл Ренессанса - это искание путей к Богу через мир, не взамен религии, а рядом и в поддержку ей. "Секуляризация, совершающаяся во имя плюрализма систем ценностей, во имя утверждения множественности путей восхождения к Абсолютному, менее всего заслуживает излюбленного упрека в безбожии, ибо истинный, последний смысл ее прямо в обратном: нахождение новых, не исчерпанных религией связей с Абсолютным"[5].

Отвергая в интересах как этики, так и самой религии все виды религиозного обоснования этики, Гурвич не принимает и учение о нравственной автономии, сформулированное Кантом и модифицированное его преемниками. В учении Канта Гурвич находит непреходящее ядро - утверждение самостоятельности нравственного начала, добра как особого качества в мире. Главный порок этого учения, по мнению Гурвича, заключается в отрыве нравственной воли от Абсолютного, замыкании ее в самой себе, отрыве и от нравственной деятельности других, и от собственных эмпирических инстинктов субъекта. Хотя сам Кант попытался преодолеть свой-

ственный его системе отрыв нравственного действия от Абсолютного с помощью учения о "примате практического разума", Гурвич усматривает в этом учении "невольный уклон в сторону человекобожества, в сторону обожествления человечества, в сторону подмены Абсолютного идеей человеческого творчества"[6]. В человекобожеском уклоне "примата практического разума" Гурвич усматривает (и здесь он солидарен с мыслителями религиозного направления) корень марксистского хилиазма, всех утопий "земного рая", всех уклонов в сторону обожествления "прогресса" и идолопоклонства "общественности". В протесте против этого самообожествления человечества Гурвич видит относительную правду всех современных борцов против светской автономной этики. Однако их роковая ошибка состоит в смешении отрицательных последствий идеи примата практического разума с положительной сущностью автономии.

Последовательно отвергнув все исторически известные типы решения проблемы об отношении этики и религии, Гурвич приступает к обоснованию собственной концепции самостоятельного участия человека через свое независимое нравственное действование в Божественном Творчестве (автотеургии). Слияние "собственного волевого усилия с чистой активностью вселичного духа"достигается, по Гурвичу, "через волезрение, т.е. через такое напряжение самодеятельности, при котором эмпирическая воля человека возвышается до непосредственного видения творческого потока, не как объекта знания, а как направления и элемента, данного непосредственно в самом акте хотения и действия"[7]. Нравственное делание, познание и эстетическое творчество можно, согласно Гурвичу, с полным правом назвать светским богослужением, не заменяющим богослужение религиозное, но существующим рядом с ним. Нравственный акт, как и познавательный, и эстетический, не зависят от религиозного акта, но в своей полной самочинности и независимости влекутся к Абсолютному. Не этика нуждается в религии для своего обоснования, но, наоборот, религия нуждается и в этике, и в знании, и в эстетике, которые несравненно обогащают область религиозного опыта. Согласно автотеургической концепции соотношения религии и этики, человек призван принять участие в непрерывно продолжающемся процессе сотворения мира.

Свою философскую статью Гурвич завершает утверждением социальных выводов из автотеургической концепции этики. Это



Книги Г. Гурвича: на немецком и, с дарственной надписью проф. М. Гинзбергу, на английском и французском языках.

снова возвращает читателя в главную сферу теоретических интересов философа-социолога. Автотеургическое мироощущение, по Гурвичу, должно лечь в основу новой философии труда, нарождающейся новой идеологии социализма, идущей на смену марксизму. "Автотеургическая этика есть этика трудящихся, подобно тому, как автономная этика была этикой третьего сословия и теономная этика представляла этику средневековой иерократии. Социализм как движение трудящихся, как антикапиталистическая культура будущего, преодолевая свою детскую болезнь - марксизм, не может не обосновывать себя автотеургически. Мы убеждены, что автотеургия - нравственное и религиозное будущее социализма, символ нового слова, которое он несет. Становясь на позицию автотеургии, социализм торжествует одинаково и над реакционным "контрренессансом", и над человекобожеством просветительной философии. Через автотеургическую концепцию этики социализм становится лицом к лицу к религиозной проблеме. Утвердив пути к Богу через мир и приведя к величайшему торжеству заветов Ренессанса, социализм не может остановиться у одного лишь преддверия религии, каким является автотеургия. Вместе с нравственным обновлением социализм должен будет принести и обнов-

ление чисто религиозное подобно тому, как все многогранные пути к Богу через мир расчищают и готовят лишь место для непосредственного пути - религии"[8].

В других статьях, напечатанных в том же журнале "Современные записки", Гурвич развивает свои мысли о свободном, неэтатическом социализме, основанном на "соборной" собственности, т.е. собственности одновременно и коллективной, и личной. Социализм, по мнению Гурвича, есть "система планомерной организации хозяйства, ставящая себе задачей устранение власти человека над человеком, поскольку она вытекает из отношений собственности"[9]. Социализм борется не против частной собственности как таковой, но исключительно против противоестественного превращения власти человека над вещью во власть над другим человеком. Поэтому то или иное решение вопроса о формах и субъектах собственности имеет для социализма значение лишь как средство для достижения цели, а не как самоцель. Гурвич подчеркивает, что стремление поставить социализм на правовую базу и освободиться от его коллективистически-централистских извращений не могло не привести к пересмотру вопроса об огосударствлении собственности на средства производства, которое проповедовалось преимущественно марксистским социализмом. Гурвич обсуждает различные попытки такого пересмотра: децентрализаторский коллективизм, революционный синдикализм и т.наз. гильдейский социализм, возникший в Англии после мировой войны и завоевавший многочисленных сторонников среди социалистов разных стран. Он отмечает как достоинства, так и недостатки этих попыток и формулирует собственную идею "внутреннего просветления самой природы собственности", требующую ее закрепления за особыми, многосложными, соборными субъектами. "При соборной собственности, - пишет Гурвич, - собственником одновременно является целое и каждый отдельный сочлен. Собственность целого проявляется внешним образом в том, что выход из состава общения отдельного сочлена, или целой группы их, не влечет за собой раздела имущества, как при сособственности. Между тем, за каждым сочленом закреплена в собственность известная идеальная доля объекта, и он вправе требовать ее возмещения при своем выходе, который остается свободным"[10]. Речь идет о денежном эквиваленте доли собственности сочлена, выходящего из целого. Соборная собственность, по Гурвичу, может быть организована различным

образом: доли отдельных сочленов могут оставаться равными или неравными, их число может быть ограничено или неограничено, целое может выступать во внешнем обороте как самостоятельная юридическая личность или нет. Примерами соборной собственности являются собственность акционерных обществ, кооперативов, артелей и т.п. "Социалистически организованное экономическое общество строится как многосложный соборный субъект собственности на орудия производства и землю, участники которой: группы производителей и потребителей и отдельные индивиды, входящие в их состав, все без исключения являются собственниками идеальных долей, возмещения которых они вправе требовать в случае выхода их из организации"[11]. Государство как безусловно принудительная организация, выход из которой невозможен, не может быть субъектом соборной собственности. Оно является, однако, необходимым орудием правопорядка. Гурвич подвергает критике все концепции социализма, в которых сохраняется смешение публичноправовых и экономических функций, в том числе и близкую к его собственной концепции идею правового социализма русского философа С.И.Гессена. Неоднократно подчеркивая, что его концепция многим обязана Прудону, Гурвич отмечает, что он призывает не вернуться к Прудону, а восстановить истину в вопросе о традиции и истории социалистической мысли. "Противники социализма облегчают себе задачу борьбы с ним, смешивая социализм с марксизмом, а последний с его вырождением - ленинизмом. Когда же им приходится сталкиваться внутри социализма с совершенно иным течением мысли, они всячески стремятся доказать, что последнее вовсе не является социализмом"[12]. Гурвич имеет в виду таких своих оппонентов, как русские философы С.Л.Франк и Б.П.Вышеславцев. Однако в наше время, после краха коммунизма, которое столь многими отождествляется с окончательным банкротством самой идеи социалистического преобразования общества, старые мысли Гурвича приобретают исключительную актуальность и остроту.

***

После получения степени доктора в Сорбонне Гурвич занимал разные преподавательские посты в университетах Бордо и Страсбурга. Он принял французское гражданство. Его интересы сосредоточились почти исключительно на общей социологии. Он взялся за

исследование вопроса о соотношении социологии и философии морали, которому посвятил небольшую книгу "Моральная теория и наука о морали"(1937).

Гурвич постоянно стремился продемонстрировать возможность плодотворного сотрудничества между двумя дисциплинами, столь различными по своим методам. Подготавливая второе издание этой книги в 1948 году, Гурвич обнаружил, что связал в ней, сам того не сознавая, социологию моральной жизни с определенной философской позицией, утверждающей превосходство морали творческой свободы над другими видами морального опыта.

В 1938 году Гурвич опубликовал свою первую книгу, целиком посвященную социологии, - "Очерки социологии". В ней он впервые провел различие между микросоциологией, социологией групп и типологией глобальных обществ, а также сформулировал тезис (имплицитно присутствовавший в его книгах о социальном праве), согласно которому индивидуальное и коллективное сознания взаимно обусловливают друг друга и имманентны друг другу. Пристальное внимание, уделенное Гурвичем в этой книге микросоциологической типологии, создало у некоторых критиков социологии Гурвича впечатление, что он является представителем микросоциологии. В действительности же Гурвич настаивал на диалектическом соотношении между различными уровнями социальной организации. По мере того, как Гурвич из философа становился профессиональным социологом, он прилагал все большие усилия освободить свою теорию от философских предпосылок. Эти усилия, однако, так и не увенчались успехом. В своих специальных социологических исследованиях Гурвич оставался философом по методам своего мышления. Попытка избавиться от своего философского уклона и сосредоточиться на конкретно социологическом материале нашла выражение в его работе "Элементы юридической социологии" (1940).

После поражения Франции в 1940 году Гурвичу удалось уехать в США. Он был приглашен преподавать в нью-йоркской Новой школе социальных исследований. В 1941 году Гурвич участвовал в создании Свободной школы высших исследований в Нью-Йорке - свободного французского научного центра за пределами оккупированной страны; он возглавил в ее рамках Французский институт социологии. В этом институте происходили плодотворные встречи французских и американских социологов. В числе вопросов, обсуждавшихся на этих встречах, был и вопрос о будущем Франции,

о социально-политическом строе Четвертой республики. В 1944 году Гурвич написал работу "Декларация социальных прав", которая, по его замыслу, должна была вдохновлять составителей будущей конституции Французской республики. Замыслам Гурвича, однако, не суждено было осуществиться. Впоследствии Гурвич с надеждой смотрел на опыты введения рабочего самоуправления в Югославии. Сегодня мы знаем, какой крах потерпели все попытки найти новый, небюрократический путь к социализму в раздираемой национальной враждой и не изжившей коммунистической однопартийной системы Югославии... Кровавая межплеменная распря на развалинах Югославии знаменует трагедию тех, кто, как Гурвич, не может расстаться с надеждой на осуществление идеалов социальной справедливости.

Под влиянием дискуссий с американскими социологами Гурвич написал работу "Социология права" (1942), в которой попытался переработать свою теорию в более реалистическом духе. Однако глубокая неудовлетворенность Гурвича описательным, поверхностно-эмпирическим характером большинства американских социологических исследований побудила его принять участие вместе с принстонским профессором У.Муром в составлении сборника избранных работ американских и европейских социологов, опубликованного под названием "Социология двадцатого века" (1946). Этой работой Гурвич остался недоволен.

В 1945 году Гурвич вернулся во Францию, где немедленно взялся за организацию Центра социологических исследований (создан в 1946 году) в рамках Национального центра научных исследований. Гурвич надеялся, что работа Центра сумеет привести к соединению общесоциологической теории и эмпирических исследований. Он возлагал большие надежды на присущий французам систематический дух и их точную философскую подготовку. Однако и здесь Гурвича ждало разочарование. Впоследствии Гурвич признал, что Центр, проведший несколько интересных дискуссий и опубликовавший несколько ценных работ, так и не сумел осуществить то соединение различных тенденций в социологической науке, которого ожидал от него инициатор.

В 1949 году Гурвич оставил руководство Центром. Он регулярно преподавал в Сорбонне (профессор с 1949 года) и Высшей школе практических исследований (с 1948 года). Позднее он основал Лабораторию социологии познания и моральной жизни, а также

Международную ассоциацию социологов стран французского языка. Он был также основателем влиятельного социологического журнала "Cahiers internationaux de sociologie" (издается с 1946 года). В 1950 году Гурвич опубликовал систематическое изложение своей социологической теории - "Современное призвание социологии". Впоследствии вышли новые, пересмотренные и расширенные издания этой работы в двух томах (I том - в 1957 и 1963 годах; II том в 1963 году). Работа содержит последовательное раскрытие методологических принципов социологии Гурвича, которые он определял термином "диалектический гиперэмпиризм". Гурвич отказался в своих социологических построениях от опоры на какую-либо законченную философскую систему. Социология, по мнению Гурвича, должна стать наукой в полном смысле слова и освободиться от ложных проблем, унаследованных от XIX века. Следы этих проблем Гурвич находит у таких выдающихся социальных мыслителей прошлого, как Маркс, Прудон, Сен-Симон и Дюркгейм. Гурвич подвергает этих мыслителей суровой критике в той мере, в какой они пытались найти какой-то главный, определяющий фактор развития общества и предвидеть направление его будущего развития. С другой стороны, Гурвич решительно выступает против склонности американской социологии к чисто эмпирическому описанию фактов и количественным методам. Социология должна стремиться к обобщению, которое одно может обеспечить необходимую связь между теорией и практикой. Теоретические усилия Гурвича нашли особенно широкое выражение в разработанной им системе понятий, позволяющей охватить все разнообразные аспекты и разные уровни того, что Гурвич, вслед за Моссом, именует "цельным социальным явлением". Социальная действительность, согласно Гурвичу, пребывает в постоянном изменении; в ней непрерывно происходят процессы структурации, деструктурации и реструктурации. Социальная действительность диалектична по самой своей природе, и единственный метод, дающий возможность ее научного построения, - это диалектический метод, который на практике ведет к выработке ряда рабочих понятий, позволяющих отразить изменчивую, текучую реальность. Компонентами диалектического подхода являются комплементарность, взаимная импликация, амбивалентность, поляризация и взаимообусловленность (réciprocité) перспектив. Гурвич исследует диалектические отношения между микросоциологическими "атомами", различными группами, соци-

альными классами и глобальными обществами; между глубинными уровнями социальной действительности, иерархия которых различна в каждом из типов частичной или глобальной структуры. Диалектика наблюдается в цельных социальных явлениях; с помощью диалектики связываются социология, история и этнология. Гурвич различает горизонтальный и вертикальный срезы социальной реальности. Горизонтальный срез ведет от элементарных, простейших связей ко все более усложняющимся типам социальных общностей; вертикальный - делит социальную реальность на глубинные уровни - от экологического до коллективных идей и ценностей, до коллективного сознания и даже подсознания.

Диалектический гиперэмпиризм составляет методологическую основу работы Гурвича "Социальные детерминизмы и человеческая свобода" (1955), в которой показывается, что плюрализм и неполнота действующей в обществе причинности оставляет значительное место человеческой свободе, индивидуальной и коллективной. В этой работе Гурвич рассматривает также различные типы социального времени, по-разному оцениваемые в разных типах социальных общностей. Большое внимание уделяет Гурвич социологии знания, которой он заинтересовался еще во время своего пребывания в США. Здесь Гурвич снова отмечает взаимозависимость социологии и философии: социология знания ставит определенные вопросы перед теорией познания (эпистемологией), но не отвечает на них. Она не конкурирует с теорией познания, но обогащает ее. Последний труд Гурвича, "Социальные рамки знания", был опубликован посмертно, в 1966 году. Исследование социологии знания побудило Гурвича обратиться к проблеме социальных классов, которая была предметом курса его публичных лекций в Сорбонне в 1952-53 годах. Эти лекции были опубликованы в виде книги "Концепция социального класса от Маркса до наших дней" (1954).

Подход, выработанный Гурвичем при исследовании социологии знания, был применен им и к исследованию моральной жизни. К этой теме он возвращался неоднократно: в лекциях 1948 года, озаглавленных "Введение в социологию моральной жизни", и в публичном курсе лекций, прочитанном в Сорбонне в 1956-57 годах. Подробная классификация видов и форм морали, данная Гурвичем, носит эмпирический характер и предлагает ряд проблем рассмотрению моральной философией, отнюдь не вступая с ней в соревнование и не вторгаясь в ее область.

Гурвич был главным редактором двухтомного сборника трудов французских социологов, озаглавленного "Traité de sociologie" (том I - 1958, том II - 1960). Подробному рассмотрению своей методологии Гурвич посвятил работу "Диалектика и социология" (1962).

Свою научную и преподавательскую деятельность Гурвич всегда сочетал с активной вовлеченностью в актуальные политические проблемы. Он верил в возможность мирного сосуществования различных социально-политических систем, выступал против фашизма, технократии, колониализма и других видов социальной реакции. За это он удостоился крайне сдержанной похвалы в советских энциклопедических изданиях, совсем не сдержанно нападавших при этом на его теоретические взгляды. В 1962 году в квартире Гурвича взорвалась бомба, подложенная правыми экстремистами, действия которых в Алжире он сурово осуждал. К счастью, Гурвич и его жена остались невредимы.

Скончался Гурвич в 1965 году. Свои автобиографические заметки Гурвич завершил характерными словами, подводящими итог его деятельности ученого и мыслителя: "Судьбе, по-видимому, угодно, чтобы в своих размышлениях и работе я шел 'против течения'. Ритм моей мысли почти всегда был противоположен тому, который был в моде. Поэтому я 'исключен из орды'. Большая часть американских и французских социологов считает меня 'философом', который вошел не в ту дверь, а 'философы' рассматривают меня как предателя, который давно перекинулся во враждебный лагерь. Однако это чувство изоляции, временами обескураживающее, оказывается очень естественным: моя позиция предполагает необходимость интимного сотрудничества не только между теорией и эмпирическими исследованиями, но также между социологией и философией. Обе должны отбросить свой догматизм и чувство превосходства. Обе они исследуют природу человеческой жизни, но должны взаимно критиковать друг друга. В то же время они должны сохранять полную автономию. Каждая из них должна постоянно задавать другой определенные основные вопросы, на которые может дать ответ только непрестанный диалог"[13].

Георгий Давыдович Гурвич, русский философ, французский социолог, демократический социалист и гражданин мира, достиг всемирной известности и признан одним из крупнейших представителей современной социологической мысли. И все же я рискну утверждать, что судьба его трагична. Почему - явствует из всего сказанного выше.

Примечания

1. Гурвич Г.Д. Этика и религия. Современные записки, 1926, N29. С.259.
2. Там же. С.262.
3. Там же.
4. Там же. С.268.
5. Там же. С.269.
6. Там же. С.274.
7. Там же. С.276.
8. Там же. С.283.
9. Гурвич Г.Д. Социализм и собственность. Современные записки, 1928, N36. С.346.
10. Там же. С.357-358.
11. Там же. С.359-360.
12. Гурвич Г.Д. Прудон и современность. Современные записки, 1927, N30. С.344.
13. G.Gurvitch. "Mon itinéraire intellectuelle". Цит по: "Phillip Bosserman. Dialectical sociology. An analysis of the sociology of Georges Gurvitch. Extending Horizons Books, Boston, 1968. P.57.



Еще о С.Л. Франке

(Что вспоминается младшему современнику о нем и его семье)

Борис Лосский
(Париж)

Надеюсь, читатель второго тома нашего издания, оценивший подлинно научное, проницательное сообщение доктора Нафтали Прата об академическом и духовном жизненном пути С.Л.Франка, найдет не лишенными интереса предлагаемые одним из сыновей Н.О. Лосского воспоминания о дружеском общении семей обоих возглавителей русской религиозно-философской мысли - непритязательный очерк, который можно было бы назвать *С.Л.Франк в жизни*, если бы автору не представлялось полезным рассказать также о членах домашнего круга философа.

Мои воспоминания - не столько о Семене Людвиговиче, сколько о его жене Татьяне Сергеевне, их сыне Викторе и сводном брате С.Л.Франка Льве Васильевиче Заке, - восходят к лету 1910 года, которое они, как и мы, проводили в имении Машук, Тверской губернии, в усадьбе либеральных дворян Петрункевичей, превращенной ими в дачный поселок, где проводили летние каникулы в основном зажиточные петербургские интеллигенты.

Татьяне Сергеевне, урожденной Барцевой, всего второй год замужней, думается, тогда еще не было тридцати лет. Она слыла за красавицу, и ее лицо с правильными чертами напоминало моей бабушке о творениях мастеров итальянского Возрождения. Не помню, минул ли уже год ее единственному пока сыну Вите, сидячую колясочку которого она иногда позволяла повозить взад и вперед мне, в ту пору пятилетнему бутузу. Главное же место в их семейном клане занял этим летом Лева Зак, восемнадцатилетний гимназист-выпускник, проявивший свой созревающий талант живописца, исполнив маслом портрет моей бабушки, в котором наброшенная

рембрандтовская светотень сочеталась с постимпрессионистским пуантилизмом. Бабушка была изображена почти в натуральную величину, всей фигурой и лицом на три-четверти влево, сидящей в кресле красного дерева и одетой во что-то черное. Из-за преобладания в нем темных красок, портрет был повешен в нашу петербургскую столовую с прикрепленным к рамке рефлектором. Из всех написанных и нарисованных с бабушки портретов он считался самым удачным, что заставляет особо пожалеть о его пропаже после нашего изгнания из России в 1922 году. Сожалею и о том, что в свое время не сообщил о нем дочери и сыну художника и историографу Зака Пьеру Кабанну, только-что совместно опубликовавшим его монументальную биографию (Léon Zack. Les Èditions d'Amateurs. Librairie Artourial. Paris, 1993). Среди первых номеров составляющего основную часть этого труда каталога произведений художника, написанный в 1910 г. портрет занял бы тем более интересное место, что его моделью была Мария Николаевна Стоюнина, основательница в 1881 г. и начальница до 1922 года одной из первых петербургских частных гимназий, известной своим либеральным духом. Тут будет уместно прибавить, что из-за существования около 1900 года досадно памятной "процентной нормы" для поступления детей из еврейских семей в казенные учебные заведения в бабушкиной гимназии их было много: не меньше четверти (если не трети) ученического состава; кстати сказать, в их числе и будущая жена Зака, Надя Браудо.

Летом 1910 года восемнадцатилетний "Лева" проявил не только уже сказавшийся талант, но и (также в полной мере) дар будущего сценографа как главный создатель театра в одном из амбаров имения, любезно предоставленном помещиками, идущими навстречу культурным начинаниям дачников. Темою главного действа, выдержавшего благодаря своему успеху, помнится, не меньше трех или четырех представлений, была сказка Андерсена "Соловей", превращенная Заком в театральную пьесу и увлекавшая зрителя в воображаемый европейцами древний Китай. Для постановки спектакля им была мобилизована вся летняя машуковская молодежь, начиная с четверых детей Петрункевичей. Пьеса заключала в себе не только диалоги, но и пение хором и даже подобие балета. Помню исполнявшуюся в два голоса или больше вокальную интермедию, начинавшуюся словами "На лоне природы", и что-то вроде хореографического дивертисмента с пением на голос "Ach, mein lieber

Augustin" якобы китайского рефрена, кажется антифоном "ци-ци-ци" - "клю-клю-клю". Тоже вспоминаю лежащего при смерти богдыхана и жутко жестикулирующего над ним скелета, то есть подходившего к своей роли именем и комплекцией Кости Старинкевича в плотно облегавшем тело черном трико с намалеванным на нем костяком.

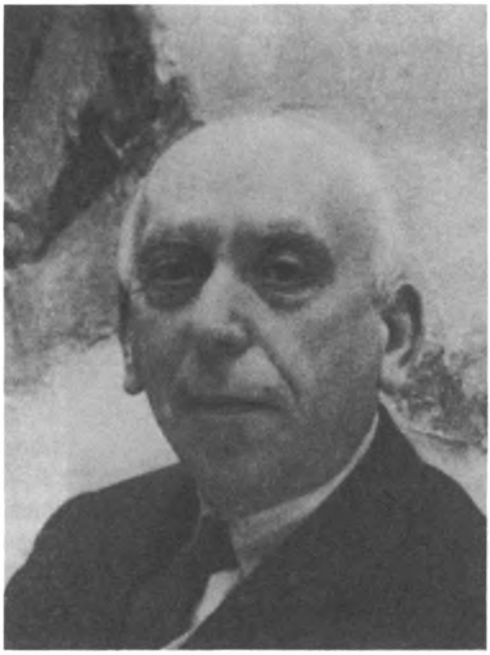
Самого же Семена Людвиговича я помню по нашим позднейшим петербургским воскресным поездкам с родителями "на Острова", где они жили. Там же мы не раз встречались в гостях в семье генерала Василия Ксенофонтовича Болдырева, несшего службу в воинских частях при императорском дворе, второй сын которого, Дмитрий Васильевич, вступивший на путь философии, был любимым учеником моего отца и близким другом Семена Людвиговича. И тот и другой пользовались в нашем младшем мире популярностью, каждый по-своему. Музыкальный и обладающий приятным баритоном Семен Людвигович обогащал свой "смысл жизни" исполнением для детей целого репертуара приличных их возрасту песенок и каждый раз, когда бывал у нас, не заставлял себя дважды просить сесть за рояль и потешить ими старых и малых. Особенно хорошо звучало в его драматической передаче "Вот через болото журавль долговязый..." и дальнейшее повествование о его несчастном сватовстве к цапле. В другой песенке, которой напомню только первые слова, С.Л. становился танцмейстером и командовал ученикам: "Раз-два-три, вперед-вперед направо" и пр. Также случалось ему являться в качестве "господина учителя Жука", открывшего для других насекомых или вообще животных "школу чтения и наук".

По предшествующей, опубликованной в 1980 г. парижским Institut d'Études Slaves "Библиографии С.Л.Франка" и его "биографической хронологии", начиная с весны 1913 г., он провел в качестве стипендиата петербургского университета год в Берлине, по всей видимости, с женой и тремя детьми.

Начало же первой мировой войны застало их семью где-то в восточном Средиземноморье, судя по запавшему мне в память его рассказу, передразнившемуся в ту пору нами с братом из-за бывшего свойственным С.Л. речевого дефекта. Говорилось о том, что возвращаясь опрометью на родину, Франки нашли больший комфорт, когда попали из "пеывого класса гыеческого в тыюм уусского паахода".



С. Л. Франк. Фотография из архива Н.О. Лосского



Лев (Лвон) Зак

Яснее вспоминается приезд к нам в гости летом 1915 года Семена Людвиговича, без семьи, но вместе с верным другом Д.В.Болдыревым, в Тверскую губернию, где мы проводили каникулы в парадной части великолепного усадебного дома Митина, построенного по рисункам архитектора Николая Львова, где в 1830-х годах проживало второе поколение его родственников и, среди них, появлялась наездами воспетая Пушкиным Анна Петровна Керн. Здесь же при нас Дмитрий Васильевич проявил не в первый раз свой талант изобретательного рассказчика. Поводом к этому послужило сконфузившее двух философов происшествие. Дело было, по-видимому, в июне, когда и в средней России светать начинало еще очень рано. Окна в зале, куда гостей положили на угловые диваны, было недостаточно занавешены, и для нуждавшегося в полной темноте Франка нашлась какая-то ширма. Однако и ее оказалось недостаточно и, проснувшись ночью, Семен Людвигович захотел ее как-то переставить и вместо того опрокинул на пол и смутился мыслью, что падение должно было потревожить сон обитателей соседних комнат. На помощь пришел Дмитрий Васильевич, заняв всех за утренним кофе рассказом о том, как после полуночи им обоим привиделся бал пушкинской эпохи, на котором блистала красотой Анна Керн. В перерыве между вальсом и мазуркой она приблизилась, сопровождаемая удалым кавалергардом, к дивану, на котором были разложены брюки Семена Людвиговича. Придя в крайнее смущение и бросившись опрометью их оттуда убирать, он свалил на пол злополучную, нашумевшую ночью ширму.

Не менее забавная встреча с Франками произошла в начале лета 1916 года, когда часть нашей семьи, вместе с нами - детьми, уже пребывала в том же Митине, тогда как наши бабушка и мать задержались в Петербурге для завершения гимназических дел истекшего учебного года. Надобно сказать, что к этому времени, с течением войны, железнодорожные транспорты сильно ухудшились, о чем свидетельствовал и наш трудный опыт второй поездки в Тверскую губернию. Пишу это к тому, что, когда в столовой бабушкиной квартиры шло вовсю под ее председательством вечернее заседание совета преподавателей, из-за внезапно приотворившихся дверей передней показались головы старших и младших Франков, которых поспешили увести до времени в другие комнаты. Когда же, по окончании заседания, к ним можно было выйти, оказалось, что они только-что потерпели неудачу, не найдя возможности сесть с детьми в набитый до отказу дальний поезд и, не знаю почему, не вернувшись домой на Острова, пришли просить нас о ночлеге, на что, конечно, получили согласие вместе с импровизированным ужином. Осталось памятным, что шести- или семилетний Витя, к немалому смущению своей матери, воззрелся на мать нашего семейства и заявил ей: "Бабушка, а у тебя нос-то кривой!", на что она рассмеялась и, поведя прыткого мальчугана для проверки его утверждения к трюмо гостиной, согласилась с ним, посмотрев на горбинку своего красивого носа.

Не знаю, в связи ли с Февральской революцией 1917 г. произошла в академической карьере Семена Людвиговича существенная перемена: он принял сделанное ему лестное предложение стать полноправным профессором и даже деканом новооснованного историко-философского факультета Саратовского университета, и в сентябре месяце семья Франков покинула попадавший под угрозу голода Петербург. Месяца два, до воцарения советов, они побаловали нас продовольственными посылками, главным образом с черным хлебом и почти исчезнувшим в Петербурге ситником. Помню также позабавившее всех письмо Семена Людвиговича, в котором он пародировал размножавшиеся составные слова (вроде "нарком" и т.п.) употреблением кстати подобранных обычных слов вроде "наркоз", "саркома" и т.д.

Как это уже достаточно известно, в августе 1922 года, пребывавшего в Москве С.Л. постигла участь многих ученых и литераторов из главных культурных центров России, познавших тюремное

заключение и высылку в Германию. Среди изгнанников-москвичей у С.Л. оказались в спутниках философы Бердяев и Иван Ильин. В конце сентября вся их группа прибыла в Петербург для посадки на плывущий в Штеттин немецкий пароход Oberbürgermeister Hacken. Полагаю, что Франки нашли себе кратковременное пристанище (как Бердяевы у нас) в семье Браудо, родителей жены Зака. На погрузку москвичей с набережной Васильевского острова у Горного института пришли среди многих петербуржцев и мы. Тут главным предметом нашего внимания были Семен Людвигович с женой и их детьми: тринадцатилетним Витей, двенадцатилетним Алешей, десятилетней Наташей и недавно (в 1920 году) появившимся на свет Васей. Помню тоже, что через выходившее на набережную окно плавучей пристани мы видели сидевшую на допросе чекистом Татьяну Сергеевну, окруженную детьми.

До нас, петербургских изгнанников (вместе с отцом были философы Лапшин и Карсавин), очередь добраться через Штеттин до Берлина дошла только около 19 ноября. В немецкой столице наша семья с бабушкой Стоюниной пробыла недель пять в живом общении с образовавшейся там "русско-еврейской" колонией. И в столь значительной мере еврейской, что одна немецкая квартирохозяйка заявляла в своих речениях, что "alle Russen sind Juden". Русско-еврейский элемент являл более чем русский не еврейский контрастный сословный состав и культурный уровень: так кому-то случилось слышать в одной из многих появившихся в Берлине лавочек восточно-европейского типа жалобу клиентки вроде как "из местечка", что ей продали вместо кашерной "православную колбасу". Но было, разумеется, еврейское присутствие и вне коммерции русского Берлина: ограничусь интересным примером деятельности своего рода школы-мастерской, главным образом декоративного искусства, прежде чем вернуться к моей теме.

В берлинский отельчик, где мы поселились как и некоторые другие изгнанники, в их числе Л.П.Карсавин с семьей, раза два приходила вечером Татьяна Сергеевна в эффектном светло-кофейного цвета, по тогдашней моде широко сидящем манто. Из ее разговоров помню положительный отзыв об их сыновьях: "мальчики красивые". Тоже помню, что провожать ее домой по пустеющим улицам столицы брался ставший в приличной мере ее ухажером Лев Платонович. Также приходила к нам и кончившая бабушкину гимназию, вышедшая в 1917 г. замуж за Льва Зака, Надежда

Александровна Браудо. Случилось и нам с братом вспомнить о нем и его машуковских дебютах 1910 года, побывав в пользовавшемся популярностью "Русском романтическом театре" Бориса Романова. Там наше особое внимание привлек расписанный Заком занавес, большую часть поверхности которого занимала композиция из множества человеческих фигур, отчасти деформированных в пользу ее общей графической структуры. Он же был и автором декораций и костюмов для части пьес театрального репертуара, между прочим, если не ошибаюсь, и для воскрешающего образ венецианского settecento балета "Арлекинада", декорации которого несколько искупали пошловатую, уже тогда сильно устаревшую, музыку ныне совсем забытого современника Оффенбаха Дриго.

Общение нашей семьи с семьей Франков продолжалось, главным образом в эпистолярной форме, и во время двадцатилетнего пребывания нашего старшего поколения в Праге. В одном из своих писем С.Л. признавался, что их малолетний Вася (Веньямин, если восходить к примеру Якова Израиля) вызывал в нем, не по примеру старших детей-подростков, чувства не столько отца, сколько умиленного деда. Он же писал, что, ходя каждое воскресенье к обедне, они каждый раз подносили его к причастию. Стороною до нас дошло, что по этому поводу Карсавин проявлял свойственное ему ехидство, заявляя, что его друг Франк воспитывает в своем младшем сыне "хронического алкоголика". Доходили до нас и слухи о трудном материальном положении многих русских берлинцев, в частности Франков и Карсавиных. Известно было речение Льва Платоновича: "Один день я у Семена Людвиговича взаймы попрошу, другой день он у меня, так и живем..."

Раза два появлялся в Праге и сам Семен Людвигович. Из его рассказов о семье помню, что (дело было в 1923-24-м году) его старшие сыновья увлекались исключительно спортом, и на его замечание, что нужно что-то делать и головой, Витя его заверял, что футбольному голкиперу дозволено отбивать мяч даже головой. Помню также его у нас в конце зимы или весною 1927 года. К тому времени 17-18-летний Витя оформил свое по крайней мере среднее образование и начал приобщаться к интеллектуальному миру, а Алеша становился балетным танцором.

Осенью 1931 года в Париже, куда лет пять перед тем перебрались Карсавины из Берлина, а я из Праги, у них бывала приехавшая на время во Францию, не знаю с какой целью, Наташа, но

мне с нею, к сожалению, встретиться не случилось. Тогда же примерно поселился в Праге, тоже не знаю для каких, может-быть, в общем учебных занятий, Виктор. Однако была среди его занятий, судя по родительским письмам, и игра "на каком-то банжо", может быть, как средство приработка. Также вошел в пражскую хронику и его горячий роман с младшей дочерью покойного профессора Новгородцева, Лидией или "Лилей", в какой-то мере возобновившийся с его приездом года два спустя, когда у нее появился муж.

Это был роковой 1933 год, когда в Германии воцарился Гитлер и начались расистские гонения. Особенно тяжелым для семьи Франков был 1936 год. Чтобы как-то прийти, по крайней мере материально, на помощь Франкам, отцу и пребывавшему в Праге философу Сергею Иосифовичу Гессену удалось испросить у чешского комитета помощи русским ученым 12000 крон и, не без труда, переправить эту сумму Семену Людвиговичу. В это время душевное состояние доводило его до помыслов о самоубийстве, по поводу которых появилась (думается, в парижской газете "Возрождение") обращенная к нему статья собрата по философии и по высылке, сочувствовавшего гитлеровскому режиму Ивана Ильина под заглавием "Не уходите". К великому счастью, в 1937 году Семену Людвиговичу удалось переселиться с семьей в парижский пригород, кажется Bourg-la-Reine, где я их навестил в конце весны 1939 года, и, помнится, возвратясь из немецкого плена весною 1945 года, ознаменовавшегося для них переездом в Лондон.

Из моих разговоров с Виктором запали в память фрагменты его живых рассказов об их жизни в подневольном Берлине, о культурном и моральном убожестве Hitlerjugend и, между прочим, о том, как ему удалось, ссылаясь на какую-то статью о его отце, где упоминалась девичья, явно не еврейская фамилия матери, Барцева, добиться от властей придержащих признания за ее детьми "полуарийства" и связанных с ним меньших ограничений прав на работу и, благодаря прирожденной расторопности, обеспечить себе довольно комфортабельное, не лишенное донжуанских утех существование. Все это он рассказывал с располагающими к себе талантливостью и чувством юмора.

Восходя назад к 1934 году, вспоминаю, что семья старшего брата Владимира переселилась года на два из парижского пригорода Кламара в 15-й городской район, в N38 по rue Jeanne, в квартиру над четвертым этажом, где уже несколько лет проживала семья



Царь Давид. Л. Зак. 1935 г.

Л.В.Зака. Тогда он пребывал еще в своей "фигуративной эре", под знаком "неогуманизма", теоретиком и глашатаем которого был уроженец восточной Европы, писавший под псевдонимом Waldemar George. В этом или 1935 году моей свояченице Магдалине (урожденной Шапиро) случалось служить моделью для его этюдов. Может быть, сохранился где-нибудь рисунок, изображающий ее в длинном платье или долгополом капоте с одним из ее малолетних детей на руках.

Возвращаясь к семье Франков после войны, вспоминаю, как, очутившись около 1948 г. в Лондоне, я встретил в русской церкви Татьяну Сергеевну, которая, помня мои приятельские отношения с Витей, настойчиво меня просила побывать в гостях у него и его первой или уже второй жены, что я бы сделал очень охотно. Однако когда в конце телефонного провода я услышал ставший "самосознательным" солидный музыкальный баритон Виктора Семеновича, в ответ на мое дружеское приветствие последовали не помню какие слова, за которыми стояло выражение недоумения, чего мне, собственно, от него нужно. Повесив трубку, отвернулся и я от него и никак с ним не общался до его смерти, наступившей в 1972 году.

Умер и оставшийся мне незнакомым Алексей, боец последней войны, потерявший на ней глаз, оставив по себе добрую память, вплоть до прозвища "Алексий, человек Божий".

Что же до здравствующей в Лондоне под фамилией своего второго мужа Норман, Наталии Семеновны, то ее я там встретил в первый и единственный раз, в конце семидесятых годов, тоже в русской церкви, вместе с Татьяной Сергеевной. Любопытно, что по их общей инициативе, в излюбленном русскими поселке Ля Фавьер на средиземноморском берегу основался небольшой кокетливый отель, прозвавшийся по пушкинской сказке Золотой Петушок (Coq d'Or), которым позже заведовала вдова Алексея, она же сестра первого мужа Наташи, Поля Скорера, познакомившегося с нею там же до стоившей ему жизни последней мировой войны. От него пошли оба ее сына, Михаил и Петр. С нею, как и с ее матерью, связаны мои воспоминания, идущие к 1948 и 1950 годам. В 1948-м, когда я начинал в городе Туре работу по хранению и преобразованию Musée des Beaux-Arts, пришло письмо от Татьяны Сергеевны с вопросом, не смог бы ли я приобрести для музея несколько картин Льва Зака, на что мне пришлось с сожалением ответить, что

турский муниципалитет, если и отпускает иногда скудные суммы для обогащения музейных коллекций, то только для покупки у местных художников. А в 1950-м, на нашем горизонте появился 12-летний примерно сынишка Наташи, кажется Миша, приехавший с группой лондонских школьников на летние курсы французского языка в Institut de Touraine.

И, в заключение, еще несколько слов о Заке. Летом 1957-го я проводил со своей семьей каникулы в юго-западной провинции Перигор. Осматривая романскую церковь поселка Карсак (Carsac) в долине реки Дордони, я с изрядным удивлением обнаружил на ее внутренних стенах четырнадцать панно, составляющих цикл из эпизодов "Крестного пути" на Голгофу, распятия и погребения Христа, недавно написанных перешедшим с женою и не сразу последовавшими за ними детьми в католическую веру Львом Заком, которому помогала дочь и наследница в художестве Ирина. Как раз во время моего визита этот, наверное, единственный в своем роде абстрактно интерпретированный цикл страстно и увлеченно комментировал другим посетителям бывший свидетелем его создания и проникшийся его духом настоятель церкви, аббат Детрейль.

Кстати, воспользуюсь случаем принести свою горячую благодарность моей терпеливой телефонной собеседнице Ирине Львовне Зак, оказавшей мне ценную помощь в хронологической и фактологической консолидации значительной части лежащих в "кладовой моей памяти" воспоминаний о Франках и Заках.



Curriculum vitae профессора Гессена

Андрей Рогачевский
(Лондон)

Ученый-педагог, философ и публицист Сергей Иосифович Гессен был внебрачным сыном юриста, журналиста и политического деятеля Иосифа Владимировича Гессена (1865-1943)[1].

Он родился 16 августа 1887 года[2] в г. Усть-Сысольске Вологодской губернии (ныне Сыктывкар, административный центр Республики Коми), где его отец отбывал трехгодичную ссылку по делу народовольцев[3]. Матерью С.И.Гессена была Анна Ивановна Макарова, дочь местного мещанина, у которого И.В.Гессен снимал комнату. Чтобы умиротворить семью Анны Ивановны, И.В.Гессен, иудей по вероисповеданию, устроил своему сыну торжественные крестины.

По истечении срока ссылки И.В.Гессен сдал экзамены за полный курс юридического факультета в университете своего родного города Одессы и служил по юридической части в разных российских городах. Мальчик же какое-то время жил в Усть-Сысольске и Екатеринославе у знакомых отца, а в возрасте пяти лет был перевезен в Одессу в дом невесты И.В.Гессена Анны Исааковны Штейн (урожденной Грубер), племянницы известного кишиневского врача М.О.Блюменфельда. У А.И.Штейн было трое детей от первого брака: Роман, Эрнест и Семен (последний, младший, оказался почти ровесником Сергея)[4]. Мачеха относилась к С.И.Гессену как к родному сыну, не делая никаких различий между детьми, так что он считал ее своей матерью и был очень удивлен, когда по окончании гимназии из метрики, переданной ему отцом, узнал имя матери настоящей[5]. Вскоре И.В.Гессен по ряду соображений, из которых не последнюю роль играло стремление официально усыновить крещеного Сергея[6], перешел в христианство и получил возможность начать карьеру на государственной службе, - карьеру, развивавшуюся быстро и успешно.

После того, как Гессен получил место в Министерстве юстиции, его семья переехала в Санкт-Петербург, где в 1896 году Сергей поступил в приготовительный класс Первой С.-Петербургской гимназии, считавшейся одним из самых лучших государственных учебных заведений. В гимназические годы С.И.Гессен был одним из первых учеников, но вспоминал он об этом периоде своей жизни без особой теплоты и признательности к учителям и воспитателям[7]. Весной 1904 года, будучи в седьмом классе, он подвергся кратковременному аресту за участие в "Северном Союзе Учащихся Средних Школ", после чего был из гимназии исключен и экзамены на аттестат зрелости сдавал экстерном. Осенью 1905 года С.И.Гессен уехал для продолжения образования в Германию.

Свой первый студенческий семестр он провел в Гейдельбергском университете, слушая лекции В.Виндельбанда (1848-1915), М.Кантора (1829-1920), Э.Ласка (1875-1913) и др., а остальные шесть - во Фрейбурге, где занимался под руководством профессоров Г.Риккерта (1863-1936) и Ф.Мейнеке (1862-1954). Неокантианец Риккерт, ставший промотором докторской диссертации С.И.Гессена на тему "Individuelle Kausalität", успешно защищенной в 1909 году[8], оказал на молодого ученого наибольшее влияние[9]. В том же году С.И.Гессен принимает участие в основании международного ежегодника по философии культуры "Логос" (русское издание выходило в Москве с 1910 по 1914 годы; наряду с Гессеном редакторами были Э.К.Метнер и Ф.А.Степун, а с 1911 года - также Б.В.Яковенко)[10].

По получении докторской степени С.И.Гессен в течение еще трех семестров посещает лекции и практические занятия университетов Фрейбурга и Марбурга, а в 1911 году допускается к магистерскому экзамену при историко-филологическом факультете С.-Петербургского университета и, после сдачи оного в сентябре 1913 года, с 1 января 1914 года принимается в С.-Петербургский университет в качестве приват-доцента.

Гессен-преподаватель неуклонно шел вверх по служебной лестнице. Уже в 1917 году он возглавил кафедру философии и педагогики новообразованного историко-филологического факультета Томского университета и стал сначала заместителем декана, а потом и деканом факультета, параллельно читая лекции в Педагогическом институте, основанном при университете для будущих учителей средних школ, на Педагогическом отделении Сибирских Высших Женских курсов и на многочисленных учительских курсах

Томской и Новониколаевской губерний[11]. Эти лекции (логика, история греческой философии, этика и философия права, философия Канта, основы педагогики) в переработанном виде вошли затем в самую знаменитую книгу ученого "Основы педагогики" (Берлин, 1923), переведенную на латынь, болгарский, итальянский, польский, сербский, чешский и другие языки и посвященную Историко-филологическому факультету Томского университета.

Между тем революция и гражданская война отнюдь не способствовали расцвету учебно-научного процесса, в том числе и в Сибири. Университетская автономия игнорировалась местными властями, библиотекам и лабораториям остро недоставало учебных пособий, преподаватели покидали кафедры... Летом 1920 года С.И.Гессен был командирован в Москву и Петроград, чтобы попытаться хоть как-то улучшить положение, заручившись поддержкой Наркомпроса. Поездка, однако, оказалась безрезультатной. Тяготы существования повлияли на решение С.И.Гессена покинуть Россию - как он полагал, ненадолго[12]. Сначала ему удалось добиться перевода из Томска на кафедру педагогики Петроградского университета (одновременно Гессен читал введение в философию в Педагогическом институте им. А.И.Герцена), а уже из Петрограда в декабре 1921 года вместе с семьей - женой Ниной Лазаревной, урожденной Минор[13], и двумя сыновьями, Евгением[14] и Дмитрием[15], - ученый бежал в Финляндию[16].

Вскоре С.И.Гесен перебрался в Германию, где продолжил свои исследования - сначала в Берлине, затем, с лета 1922 года, во Фрейбурге, а осенью и зимой того же года - в Иене. В 1923-24 учебном году он читал курс лекций по логике в недавно основанном Русском Научном Институте в Берлине. Весной 1924 года С.И.Гессен получил место профессора педагогики в только что созданном Русском Педагогическом Институте в Праге и переехал в Чехословакию. В течение четырех лет профессор преподавал в этом институте, выступая также с публичными лекциями и докладами в Русском Народном Университете, в русском Философском Обществе (членом правления которого одно время состоял[17]), в обществе Духновича на Подкарпатской Руси и в иных местах по всей Чехословакии. 1926-1932 годы становятся годами частых зарубежных турне: Берлин (Русский Научный Институт), Вена (Кантовское общество), Лондон (Школа Славистических Исследований), Париж (Русский Институт Социальных Знаний), университеты Брес-

лавля и Мюнстера, Варшава, Вильно, Кембридж, Краков, Ковно, Рига, Ревель принимают С.И.Гессена - лектора, свободно изъясняющегося на нескольких европейских языках.

В 1931-32 годах ученый читал по-чешски курс политики народного образования в Пражской Учительской Академии. В начале 30-х годов Гессен также стал деятельным участником Славистического Общества при Немецком Университете в Праге и Пражского лингвистического кружка (инициатором приглашения в обоих случаях был Р.О.Якобсон; в Пражском лингвистическом кружке Гессен прочел по-чешски доклад о ступенях преподавания родного языка в школе). Кроме того, Гессен был также членом чешского Славянского института и Философского кружка, объединявшего чешских, немецких, русских философов, математиков, лингвистов (Я.Мукаржовский, Р.Карнап, Н.О.Лосский, Р.О.Якобсон и др).

В 20-е - 30-е годы С.И.Гессен активно сотрудничает в русскоязычной эмигрантской периодике: в газетах И.В.Гессена и А.И.Каминки "Руль" (Берлин) и милюковских "Последних новостях" (Париж); в парижских журналах "Современные записки" и "Новый град", куда его привлек Ф.А.Степун[18]. Редактировал Гессен и "свой" журнал, с педагогической тематикой, под названием "Русская школа за рубежом", выходивший в Праге с 1923 по 1929 год (основателем издания был С.О.Карцевский). К пражскому периоду жизни ученого (1925 год) относится и совместная с Б.В.Яковенко попытка возобновить журнал "Логос".

В 1935 году С.И.Гессен принимает предложение Педагогического факультета Wolnej Wszechnicy Polskiej[19] занять кафедру философии воспитания и переезжает в Польшу (а впоследствии даже принимает польское гражданство). Полтора года спустя он оформляет развод со своей первой женой и сочетается браком с социологом Марией Немыской. Помимо Waszechnicy (ученый читал лекции и в Варшавском, и в Лодзинском ее отделениях), С.И.Гессен вел также часы в Варшавском университете и в Институте специальной педагогики. Дополнением к профессорским обязанностям являлись частые публичные выступления. С.И.Гессен избирается действительным членом Варшавского Философского общества, почетным членом Хорватского Научного общества в Загребе, заграничным членом лондонской Школы Славистических Исследований.

Плодотворная и интенсивная деятельность С.И.Гессена на научной и преподавательской ниве не прерывалась и в годы второй ми-

ровой войны[20]. После ее окончания ученый читал курс философии права на юридическом факультете Лодзинского университета, а также специальные курсы по философии Платона, Аристотеля и Руссо, пытался восстановить свои рукописи, погибшие во время немецкой оккупации, писал воспоминания. Здоровье С.И.Гессена было серьезно подорвано лишениями, перенесенными в войну, тяжелыми переживаниями из-за смерти родных и близких и непрерывной работой на износ. 2 июля 1950 года он скончался в Лодзи от сердечной болезни[21].

Примечания

1. О нем см.: Гессен Валерий. Иосиф Гессен: юрист, политик и журналист // Евреи в культуре Русского Зарубежья. Иерусалим, 1993. Вып.2. С.520-544.

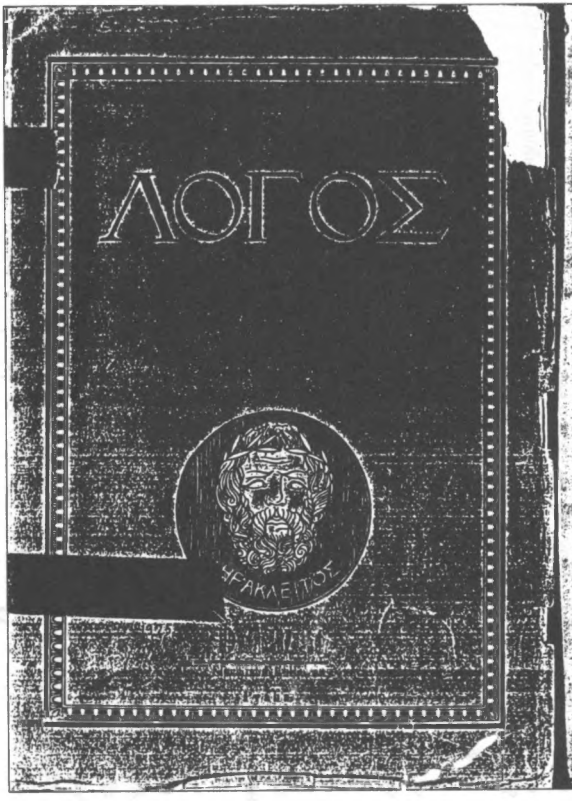
2. По другим сведениям - 07.08.1887, 20.08.1887.

3. И.В.Гессен впоследствии вспоминал: "Еще накануне родов я совсем не представлял себе сущности и силы отцовского чувства, а на другой день после рождения само собой, именно само собой решилось, что с этим беззащитным, безответным существом я не расстанусь. <...> Ребенок доставлял большую радость, смущало лишь, что он был спокоен до флегматичности (как потом и один из его сыновей, на него внешне очень похожий), и тогда меньше всего можно было угадать в нем будущего, до суетливости подвижного, беззаветно доверчивого - его приятель, молодой ученый, говаривал мне: 'Как я завидую Сергею Иосифовичу - у него все люди ангелы!' - страстно работоспособного профессора, ставшего, кстати сказать, вместо меня, специалистом по педагогике и, в противоположность мне, охотником до абстрактного мышления" (Гессен И.В. В двух веках: Жизненный отчет. Берлин, 1937 (Архив русской революции, т.XXII). С.85).

4. Позже у И.В.Гессена и А.И.Штейн родилось еще двое сыновей: Владимир и Георгий. О судьбе всех шестерых детей см.: Гессен Владимир. В борьбе за жизнь: Записки эмигранта. N.Y., Waldon Press Inc., 1974. С.3-6.

5. С.И.Гессен использовал это имя много лет спустя, когда под псевдонимом S.Makarow выпустил в свет учебник русского языка для чехов "Růstina pro každeno" (Praha, "Orbis", 1933).

6. "Как раз в это время появился благодетельный закон 1891 года, вводивший институт усыновления, дотоле допускавшегося только по царской милости. Но для усыновления требовалось, чтобы я принял православие, что должна была совершить и жена (А.И.Штейн - *А.Р.*) для устранения препятствий к нашему браку. Вместе с тем последствием крещения было устранение формальной препоны к поступлению на государственную службу. Но



ЛОГОС

Международный Ежегодник

по

философии культуры

издаваемый под редакцией

С. И. Гессена, Ф. А. Степуна и Б. В. Яковенко

—

Книга первая

1925

Deutsches
Staatl. Kulturinstitut

Praha.

ПЛАМЯ

ПРАГА

именно потому, что крещение предвещало избавление от ограничений, личные выгоды, - отречение от веры отцов далось нелегко. Настоящей привязанности к религии, конечно, не могло быть никакой, бессознательное тяготение тоже было ликвидировано, потому что ассимиляция быстро подвигалась вперед, в нашей семье еврейский ритуал давно уже стал сходить на нет, и незначительные остатки, напоминавшие о нем только в большие праздники, все определеннее принимали форму мертвой обрядности, ничего не говорящей уму и сердцу. Оставалось только инстинктивное сопротивление вынужденности перехода и стыд перед отцом, которого я лишаю загробного утешения, не имея права, как "мешумед", произносить поминальную молитву об упокоении души умершего. Не сомневаюсь, что если бы я спросил отца, и он не противился бы моему намерению, но я предпочитал не делить с ним ответственности за свой шаг. На дочерях обязанности поминальных молитв не лежит, да и вообще Анне Исааковне стремительное сердце не позволяло колебаться между соперничающими влечениями, и она поддерживала решение, которое ради сына необходимо было принять" (Гессен И.В. В двух веках... С.106-107)

7. "Никто из них не оказал на меня большого влияния. Не могу также сказать, чтобы я вынес из гимназии солидные знания или даже привычку работать" (Гессен С.И. Моя жизнь. Машинописная копия мемуаров, хранящихся в библиотеке School of Slavonic and East European Studies (London), шифр BC 5/1, с.5).

8. Докторский экзамен С.И.Гессен сдал со степенью summa cum laude.

9. С.И.Гессен перевел на русский язык, в частности, такие работы Г.Риккерта, как "Философия истории" (Пб., 1908) и "Науки о природе и науки о культуре" (Пб., 1911).

10. Деятельность философского содружества, в результате которой "Логос" обрел материально-зримую форму, Ф.А.Степун описывал так: "Обсуждались наши идеи и замыслы долго и горячо ‹...› Больше всех волновался, пожалуй, Сережа Гессен ‹...› Приходя на наши собрания, он не то в шутку, не то всерьез приветствовал нас вариантом знаменитой революционной фразы: 'философия объявлена в опасности, мы заседаем непрерывно'. И действительно, заседали мы, подготовляя ‹...› журнал, чуть ли не целыми днями" (Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. London, OPI Ltd., 1990. N.1. С.174-175). Журнал выходил в издательстве "Мусагет". Андрей Белый, одна из важнейших фигур в издательстве, вспоминал годы спустя: "'Мусагет' для меня агонировал с осени 1910 года; Метнер, не понимая причин охлаждения, в пику сильней педалировал говорунами из 'Логоса'; и нельзя уже было понять: 'Логос' ли - 'Мусагет', иль последний - придаток при 'Логосе'; члены совета были подобраны Метнером по принципу 'veto'; ‹...› стоило мне войти с предложением живого сборника, как начинали остервенело блистать золотые очки попавшего временно в Москву - Гессена, перелагателя и сочетателя никому не понятных в России терминов философа Ласка" (Белый А. Между

двух революций. М., "Художественная литература", 1990. С.343). Об одном из философских докладов Гессена Белый отзывался следующим образом: "Реферат произвел... на меня впечатленье, что юркий философутик, человек-змея, показывал ловкость прыжка из четвертого этажа на тротуар без разбития себе носа - в лозунге 'форма формы формы есть то же, что форма формы, которая - не форма, а норма'" (Там же. С.273).

11. "Постепенно из меня выработался хороший и опытный академический оратор, умеющий подать товар лицом. Так как я много работал над лекциями, вставая регулярно зимою в 6 часов утра, чтобы к 10-ти иметь свежеприготовленный, подробный конспект очередной лекции, чтение лекций не развратило меня, а побудило меня расширить и углубить свои знания" (Гессен С.И. Моя жизнь... С.10).

12. "... мне все с большей и большей настойчивостью предносилѣся (sic - *А.Р.*) план отъезда моего за границу. Мне казалось, что в условиях все более прикручивающейся диктатуры я не смогу открыто высказывать своей точки зрения на марксизм, социализм, правовое государство, цели воспитания и реформу школьной системы. А так как я не смогу и затаить своих мыслей на эти темы, то неминуемо попаду в конфликт с правительством, что в лучшем случае окончится удалением меня из университета. К тому же в Петербурге я узнал, что отец мой и все братья покинули Петербург и находятся в Финляндии, собираясь переехать оттуда в Берлин, где отцу предлагают стать во главе большого русского издательства. Отец советовал мне в письме, доставленном в Петербурге, переехать в Петербург и оттуда за границу, обещал мне содействие в организации переезда" (Гессен С.И. Моя жизнь... С.15).

13. Внучка раввина и дочь известного невропатолога, почетного члена многих научных обществ и заслуженного деятеля науки РСФСР Лазаря Соломоновича Минора (1855 - 1942); вышла замуж за С.И.Гессена в 1909 году; погибла в гитлеровском лагере уничтожения в 1942 (?) году.

14. Старший, учился в пражском политехникуме, был одним из самых одаренных членов пражского содружества молодых русских поэтов "Скит"; по-видимому, умер от сыпного тифа в 1944 году в лагере г. Ораниенбурга.

15. Младший, после окончания пражской гимназии в 1937 году переехал в Варшаву, изучал там славистику в университете, участвовал в боевых действиях польской армии против гитлеровских оккупантов, после войны сотрудничал в отделе культурных связей со славянскими странами польского Министерства иностранных дел, в театральном отделе польского Министерства культуры и искусства; автор "Большого польско-русского словаря" (2 т., М., 1979; совместно с Рышардом Стыпулой).

16. "... в середине декабря явился у нас финн из Териок (небольшой городок, бывшая дачная местность в Финляндии, около самой границы), с короткой запиской от отца, в которой он советовал нам довериться безусловно подателю записки, имеющему перевезти нас из Петербурга в Финляндию. За-

бравши с собой маленький чемодан с моими рукописями (конспектами лекций и начатыми работами, среди них папку с работой о Канте) и мешок с необходимыми дорожными вещами, мы доверились нашему провожатому и на городских санках в 7 часов вечера выехали из города. За городом пересели на большие розвальни, ждавшие нас на самом берегу моря, и по льду Финского залива наперерез между фортами Кронштадта и фортом Ино поехали в направлении Териок. Была оттепель, и лед далеко от берега был покрыт водой и казался непрочным. Пришлось держаться довольно близко берега, но, несмотря на это, мы, не замеченные никем, без всяких приключений около 3 часов ночи переехали границу, а в 4 часа ночи были уже в Териоках, где нас встретила знакомая отца Н.Тукалевская, передавшая мне письмо отца и 1000 финских марок. Насладившись настоящим кофе с белой булкой как неслыханным угощением и выспавшись в доме нашего провожатого, мы на следующий день переехали в финский карантин, где нас ожидала транзитная виза. Покидая Петербург, я разделял общее убеждение большинства моих друзей и знакомых, что советская власть не продержится долго. Мне и в голову не приходило, что я покидаю Россию навсегда" (Гессен С.И. Моя жизнь... С.16-17).

17. См.: Философы России XIX-XX столетий: Биографии, идеи, труды. М., "Книга и бизнес", 1993. С.47.

18. Редактор "Современных записок" М.В.Вишняк относил С.И.Гессена к той категории сотрудников журнала, "несколько со стороны", которые "охотно писали о том, что их интересовало и когда их что-либо интересовало, а не о том и не тогда, что и когда редакция находила нужным в интересах читателя и журнала" (Вишняк М.В. "Современные записки": Воспоминания редактора. Indiana University Publications, Slavic and East European Series, 1957. Vol.7. P.106). Об одном из фрагментов книги С.И.Гессена "Проблема правового социализма", опубликованной в нескольких номерах "Современных записок" и, по мнению М.В.Вишняка, "недостаточно оцененной", А.А.Кизеветтер писал М.В.Вишняку 11.04.1926 года в отзыве на 27 номер "Современных записок": "Гессену (Сергею Иосифовичу) желаю успеха в намерении сосватать либерализм с социализмом. Пока только идут приготовления. Настоящее сватовство, по-видимому, состоится в следующей главе" (Там же. P.173).

19. Независимое высшее учебное заведение, основанное в Варшаве в 1918-19 годах (Лодзинское отделение было открыто в 1927 году) и просуществовавшее до 1952 года. Имело 4 факультета: естественных наук и математики, гуманитарный, педагогический, политических и общественных наук. Их дипломы с 1929 года приравнивались к университетским.

20. Подробнее см. публикуемую нами в этой же книге главу из его мемуаров "Годы войны 1939 - 1945".

21. О вкладе С.И.Гессена в философскую и педагогическую науку см.: Hans N. Sergius Hessen // The Slavonic and East European Review.1950. Vol.XXIX.

N.72. P.296 - 298; Зеньковский В. Памяти С.И.Гессена // Возрождение. Париж, 1951. N13. С. 195-197; Зеньковский В. С.И.Гессен как философ // Новый журнал. Нью-Йорк, 1951. Кн. 25. С.209-214; Степун Ф. Памяти С.И.Гессена. Там же. С.215-218. Broccolini G. Mito e realta' nel pensiero di Sergio Hessen. Roma, 1966; Chmielnicki N. Struktura i dialektyka osobowosci oraz swiatopogladu w filozofii S.Hessena // Studia Filozoficzne. 1977. N1 (134). P.65 - 73; Maslowski A. Sergiusz Hessen - filozof kultury // Acta Universitatis N. Copernici. Nauki Humanistyczno-spoleczne. Torun, 1982. Filozofia, N6. S.87-98; Retkiewicz H. Zycie jako zadanie: Filozofia wychowania Sergiusza Hessena // Kwartalnik pedagogiczny. Warszawa, 1986. R.31. N4. S.49 - 67; Walicki A. Legal philosophies of Russian Liberalism. Oxford: Clarendon Press, 1987. P. 404-470.

Приложение: избранная библиография прижизненных печатных работ С.И.Гессена на русском языке (1923 - 1935)

Составитель Андрей Рогачевский

С.И.Гессен писал на русском, чешском, польском, немецком, английском языках, свободно говорил по-итальянски и по-французски, знал древнегреческий и латынь. Его работы переводились также на болгарский, латышский, сербский и другие языки. В соответствии с профилем настоящего издания из всей многоязычной библиографии С.И.Гессена в данный перечень его трудов включены - с наибольшей возможной полнотой - лишь произведения, напечатанные ученым по-русски за годы эмиграции. Исходя из соображений объема составитель сознательно упустил все газетные публикации и многочисленные рецензии, помещавшиеся ученым под своим именем и под псевдонимами "Sergius" и "С.Г." в журналах "Русская школа за рубежом", "Современные записки" и в некоторых других изданиях. (Частично указаны в: L'Émigration Russe. Revues et recueils. 1920 - 1980. Index Général des Articles. Paris, Institut d'études slaves, 1988. P. 129-130). Статьи и книги С.И.Гессена, которые не удалось просмотреть de visu, в списке помечены звездочкой. Даже в таком усеченном виде эта библиография существенно дополняет лучшую из имеющихся на сегодняшний день (см.: Hessen S. Filozofia - Kultura - Wychowanie. Wroclaw - Warszawa - Krakow - Gdansk, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973. S.453-466) библиографий С.И.Гессена. Воспользуемся также возможностью устранить неточность, допущенную в справочнике Ю.И.Абызова "Русское печатное слово в Латвии (1917-1944)". Stanford, 1990. Ч.1. С.369. Исторический рассказ "Толбухин маяк", атрибутированный здесь С.И.Гессену, принадлежит, по всей видимости, С.Я.Гессену, автору книг "Декабристы перед судом истории" (Л.-М., 1926), "Книгоиздатель Александр Пушкин" (Л., 1930) и др.

1923

1. Основы педагогики: Введение в прикладную философию. Берлин: Книгоидательство "Слово". 420 с.

2. Фребель и Монтессори: Очерк философской теории игры. // Русская школа за рубежом. Прага. Т.1. Кн.1. С.8-42.

3. К открытию Русского Педагогического Института в Праге // Русская школа за рубежом. Прага. Т.1. Кн. 2/3. С.92-101.

1924

4. Идея трудовой школы и лабораторный план /Dalton Plan/: К теории урока. // Русская школа за рубежом. Прага. Т.1. Кн.5/6. С.33-57.

5. Крушение утопизма // Современные записки. Париж. N19. 277-295.

6. Педагогика Канта: К 200-летию со дня рождения: 22 апреля 1724 года. // Русская школа за рубежом. Прага. Т.2. Кн.8 С.1-17.

7. Проблема правового социализма: Эволюция либерализма. // Современные записки. Париж. N22. С.256-292.

8. Пауль Наторп // Русская школа за рубежом. Прага. Т.2. Кн. 10/11. С.1-8. См. также: Воля России: Журнал политики и культуры. Прага. N8/9. С. 263-268.

1925

9. Проблемы правового социализма: Либерализм и социализм. // Современные записки. Париж. Т.23. С.313-341.

10. Томаш Масарик* // Своими путями: Литературно-художественный и общественно-политический иллюстрированный журнал. Прага. N5.

11. Новый опыт логики* // Логос. Прага. N1.

12. Евразийство // Современные записки. Париж. N25. С.494-508.

13. Эволюция единой трудовой школы в Советской России // Русская школа за рубежом. Прага. N 3. Кн.15/16. С.226-241. См. также: Своими путями: Литературно-художественный и общественно-политический иллюстрированный журнал. Прага. N6/7. С. 59-64.

1926

14. Проблема правового социализма: Эволюция социализма // Современные записки. Париж. N27. С.382-429; N28. С. 299-344; N29. С. 308-341.

15. Органы управления народным просвещением в СССР // Русская школа за рубежом. Прага. Т.3. Кн.18. С.557-571.

16. П.И.Макушин // Русская школа за рубежом. Прага. Т.4. Кн.21/22. С.397-399.

1927

17. Проблемы правового социализма // Современные записки. Париж. N30. С.380-408; N31. С.328-357.

18. Иоганн-Генрих Песталоцци: К столетию со дня смерти - 17 февраля 1827. // Русская школа за рубежом. Прага. Т.4. Кн.24. С.611-630.

19. Новая программа австрийской социал-демократической партии и съезд в Линце // Современные записки. Париж. N33. С.502-522.

1928

20. Трагедия добра в "Братьях Карамазовых" Достоевского // Современные записки. Париж. N35. С.308-338.

21. Фребель и Монтессори // Русская школа за рубежом. Прага. Т.5. Кн.27. С.345-363.

22. Десять лет советской школы // Русская школа за рубежом. Прага. Т.5. Кн.28. С.473-520 (в соавторстве с Н.Ф.Новожиловым).

23. Новые аграрные программы европейских социалистических партий // Современные записки. Париж. N36. С.470-493.

24. Толстой как педагог // Русская школа за рубежом. Прага. Т.5. Кн.29/30. С.631-653.

25. Школьная система Чехословакии // Русская школа за рубежом. Прага. Т.5. Кн.29/30. С.702-731.

26. Монизм и плюрализм в систематике понятий // Научные труды Русского Народного Университета в Праге. Прага. Т.1. С.210-223.

27. Науки философские и общественные // Русские в Праге. 1918-1928 гг. Ред.-изд. С. П. Постников, Прага. С. 269-275.

1929

28. Лев Толстой как мыслитель* // L.N.Tolstoj. Sborník statií a bibliografickych přehledu. Uspořádali Jiří Horák a Evgenij Ljackij. Praha. S.9-33.

29. Развитие физики Галилея и ее отношение к физической системе Аристотеля // Сборник Русского Института в Праге. Прага. Вып.1. С.185-204.

30. Иностранцы-очевидцы о советской школе // Русская школа за рубежом. Прага. Т.6. Кн.31. С.1-34.

31. Вильгельм Рейн // Русская школа за рубежом. Прага. Т.6. Кн.32. С.218-219.

32. Е.Л.Зубашев // Русская школа за рубежом. Прага. Т.6. Кн.32. С.222-224.

33. Кризис демократии и новейшая эволюция школьных систем // Сборник статей, посвященных П.Н.Милюкову. 1859-1929. / Ред. Б.А.Евреинов, А.А.Кизеветтер, Н.О.Лосский, Я.Славик, Е.Ф.Шмурло. Прага. С.57-86.

34. Немецкое издание неопубликованных рукописей Ф.М.Достоевского //

Современные записки. Париж. N39. С.502-515.

35. Генрих Де-Ман как теоретик социализма // Современные записки. Париж. N40. С.503-527.

36. Школьная политика Советской власти // Русская школа за рубежом. Прага. Т.6. Кн.34. С.385-420 (в соавторстве с Н.Ф.Новожиловым).

1930

37. Школа и государство во Франции и Англии*. Рига.

1931

38. Пятилетка и школьная политика Советской власти // Новый град. Париж. N1. С.67-77.

39. Борьба утопии и автономии добра в мировоззрении Ф.М.Достоевского и Вл.Соловьева // Современные записки. Париж. N45. С.271-305; N46. С.321-351.

1932

40. Современный кризис и перерождение капитализма // Новый град. Париж. N3. С.60-71; N4. С.21-39.

41. О пятилетке и проблеме хозяйственной автаркии // Новый град. Париж. N5. С.56-67.

42. Идея социального права // Современные записки. Париж. N49. С.421-435.

43. Трагедия зла: Философский смысл образа Ставрогина. // Путь: Орган русской религиозной мысли. Париж. N36. Декабрь. С.44-74.

1933

44. Судьба коммунистического идеала образования // Новый град. Париж. N6. С.42-59.

45. Итоги культурной пятилетки // Современные записки. Париж. N51. С.402-417.

46. Школьная реформа в Чехословакии // Научные труды Русского Народного Университета в Праге. Прага. Т.5. С.64-80.

1935

47. Мировоззрение и идеология // Современные записки. Париж. N57. С.316-329.

48. Правда демократии // Современные записки. Париж. N58. С.361-377.

49. Школа в России и революция // Современные записки. Париж. N59. С.445-458.

КНИЖНОЕ ДЕЛО И ПЕРИОДИКА

Редактор Леонид Юниверг

В одной редакции
(О тех, кто создавал газету "Последние новости")

Михаил Бирман (Израиль)

Я.Н.Блох и издательство "Петрополис"
Письма к Я.Н.Блоху

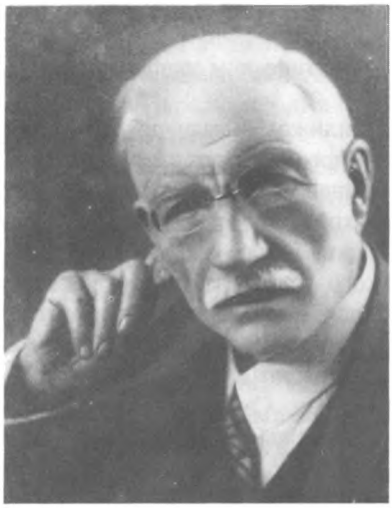
Абрам Рейтблат (Россия)

Евреи и еврейский вопрос
в парижском журнале "Современные записки"

Виктор Кельнер (Россия)

Харбинский "Рубеж"

Эммануил Штейн (США)



П. Н. Милюков

В одной редакции

(О тех, кто создавал газету "Последние новости")

Михаил Бирман
(Ашдод, Израиль)

27 апреля 1920 г. в Париже вышел первый номер четырехстраничной газеты, которая на первых порах мало чем отличалась от большинства других. Основана она была по инициативе известного адвоката М.Л.Гольдштейна[1] на средства состоятельного М.С.Залшупина. Поначалу это был заурядный политически аморфный информационный орган. Он еле держался на плаву. В то время многие десятки аналогичных изданий возникали в центрах российской эмиграции. Так же быстро, не выдержав конкуренции, они и исчезали, не оставив заметного следа.

1 марта 1921 г. главным редактором газеты стал видный политический деятель, ученый (историк) и публицист **Павел Николаевич Милюков** (1859-1943). В дореволюционной России он - идеолог либеральной интеллигенции, руководитель крупнейшей партии (кадетов) - придерживался принципа "золотой середины", был последовательным противником экстремизма - как левого (большевизма), так и правого (черносотенного).

Человек большого гражданского и личного мужества, Милюков, оказавшись в эмиграции, выступил в конце 1920 г. с "новой тактикой". Он пошел наперекор господствовавшим тогда среди эмигрантов настроениям, стремлениям к реставрации монархии с помощью внешних сил. Милюков призвал переосмыслить исторический опыт и реалии. Констатируя провал белого движения, он заявил о необходимости признания свержения монархии и учета происшедших в России перемен. На базе расколовшейся кадетской партии создавалось Республиканско-демократическое объединение ("эрдеков"). Платформа "эрдеков" - отказ от свержения вооружен-

ным путем власти советов в сочетании с "моральным неприятием большевизма", ставка на стихийную и постепенную эволюцию общества в России - стала основным политическим направлением газеты[2].

Важно также подчеркнуть, что Милюков был широко известен. Уже в конце XIX в. он опубликовал много научных и публицистических произведений по истории и внешней политике России. Ряд его трудов (трехтомник по истории русской культуры и другие) были переведены в нескольких странах и получили международное признание. В 1916 г. сенат Кембриджского университета присвоил ему степень доктора honoris causa. За плечами у него был значительный журналистский опыт: свыше 12 лет (в 1905-1917 гг.) он редактировал, вместе с И.В.Гессеном, кадетскую газету "Речь", запрещенную в декабре 1917 г. большевиками. Само имя Милюкова - человека феноменальной, энциклопедической эрудиции и необычайной интеллектуальной мощи - привлекало к сотрудничеству многих мастеров публицистики и талантливую молодежь[3].

Их участие в газете способствовало тому, что "Последние новости" стали влиятельной трибуной. Выписывали газету не только проживавшие во Франции и других странах Европы эмигранты. Очередного ее номера с нетерпением ждали русские читатели в Америке, Северной Африке и на Дальнем Востоке. "Последние новости" оказались самым жизнеспособным, многотиражным и долговечным из всех эмигрантских изданий межвоенного периода. Успех его был впечатляющим. За несколько лет тираж газеты вырос с 10 до 40 тысяч[4]. И это в то время, когда в Европе (исключая Россию) одновременно выходило более сотни русскоязычных изданий[5]. Газета Милюкова играла колоссальную роль в политической и культурной жизни русской эмиграции. По авторитетному признанию Г.П.Струве, "Последние новости" заняли в эмигрантской ежедневной печати "...бесспорно первенствующее место"[6].

Кто же определял лицо, уровень и значимость газеты? Политическая ее направленность была исключительной прерогативой Милюкова. Передовые статьи он старался писать сам. К моменту прихода в газету ему шел уже седьмой десяток, однако работоспособность была поразительной: Павел Николаевич, стремясь реализовать большие научные планы, перерабатывал старые и готовил новые труды. Обременен он был и многочисленными общественными обязанностями. В его лице Русское Зарубежье одновременно имело

председателя Академического союза во Франции, учредителя и главу Общества русских писателей и журналистов, члена Международной дипломатической Академии, главу Клуба русских писателей и ученых в Париже и т.д. и т.п.[7] Все это вынуждало к частым выступлениям и разъездам.

Среди тех, кому Милюков решался в этих случаях доверить подготовку передовиц, был **Александр Михайлович Кулишер** (1890-1942). Александр Кулишер-младший, третий сын известного историка и этнолога проф. М.И.Кулишера. Два других сына были профессорами Петербургского университета до революции (Иосиф - проф. экономики и Евгений - проф. уголовного права). Александр рано сформировался как ученый в области конституционного и международного права. Став после окончания университета приват-доцентом, он опубликовал оригинальные научные и публицистические труды по юриспруденции и социологии в журнале "Право" и газете "Речь". В эмиграции А.Кулишер напечатал ряд новых трудов по государствоведению, социологии, философии, истории и на иные темы. Среди опубликованного им следует особо выделить книгу "Сущность советского государства" (на немецком языке) и биографию раннего этапа жизни Дизраэли (на иврите и идиш).

Милюков высоко ценил талант, глубину и разносторонние знания Кулишера. Он привлек его в качестве лектора в руководимый им свободный университет в Париже, созданный для эмигрантов. Там, помимо этого, Кулишер - признанный знаток международного права - вел семинар по проблемам Лиги Наций и Ближнего Востока; участвовал он также и в сионистском движении.

В редакции "Последних новостей" Кулишер был один из самых близких к главному редактору сотрудников (по мнению коллег - "кардиналом" при "папе"). Тот считал Кулишера одним из своих "духовных сыновей"[8]. И действительно, Кулишер полностью разделял взгляды шеф-редактора по глобальным проблемам[9]. В газете он выступал не только с передовицами: под псевдонимом "Юниус" - постоянно публиковал статьи о политике великих держав, о состоянии мировой экономики и финансов, из истории мировой войны и др. Конец его был трагичен: в 1942 г. Кулишер погиб в концлагере Дранси[10].

Изредка Милюков поручал писать передовые и двум другим сотрудникам редакции, пользовавшимся его доверием. Один из них - специалист в сфере государственного права **Павел Павлович Грон-**

ский (1883-193?). В прошлом политический деятель и юрист, он в эмиграции совмещал журналистику с преподаванием на юридическом факультете - сначала Парижского, позже Каунасского университетов. Другой - **Игорь Платонович Демидов** (1873-1946). Впрочем, передовые он писал очень редко и, по правде говоря, без всякой охоты. Журналистика не была его призванием и не стала профессией. Происходя из известной семьи Демидовых, Игорь Платонович до революции занимался земской общественной деятельностью, был депутатом Думы от кадетов. Человек контактный, Демидов в эмиграции сохранил и расширил личные связи с представителями самых разных политических направлений - А.Ф.Керенским и митрополитом Евлогием, младороссом Шевичем и сионистом Жаботинским. В 1924 г. он заменил на посту помощника гл. редактора П.Я.Рысса, разошедшегося с Милюковым на принципиальной основе. В качестве редактора Демидов чувствовал себя неуютно. По этой причине и отчасти по лености (как свидетельствовал близкий к нему Н.П.Вакар) практическую работу в редакции исполнял без особого усердия[11]. Однако именно он докладывал Милюкову о текущих делах, и через него же, в основном, поступали распоряжения главного редактора.

Многие существенные функции в коллективе исполнял **Александр Абрамович Поляков** (1879-1970). В редакции он был, по образному выражению поэта, "... и ось, и винт, и смазчик"[12]. У Полякова был огромный опыт работы в таких изданиях, как "Одесские новости", популярные столичные "Биржевые ведомости" и прославленная сытинская газета "Русское слово", где он трудился в качестве секретаря редакции. По существу, и в "Последних новостях" Поляков тянул воз секретаря редакции. Никаких статей не писал. Но был, тем не менее, незаменим, ибо добросовестно вникал во все детали предварительной организации и редактуры рукописей, а также подготовки 6-8-страничной ежедневной газеты.

Каждый номер нужно было сделать оригинальным и интересным. Милюков был очень занят. Он приходил в редакцию обычно к 5 часам вечера с готовой передовицей. На столе у него уже лежали "разукрашенные" цветным карандашом Полякова рукописи (они были, скорее для порядка, просмотрены и Демидовым). За 2-3 часа Милюков прочитывал их, как правило от строки до строки, после чего они считались подготовленными. Русский язык Полякова был безупречен: с ним консультировались даже некоторые ма-

ститые авторы. Человек долга, требовательный к себе и преданный газете, он неустанно боролся с многословием и пошлостью. Обладая крутым нравом, был непримирим к разгильдяйству и халтуре. И по этой, видимо, причине пробрел в редакции прозвище "Савонарола". Часто он был выпускающим и в этом качестве "ночного редактора" держал последнюю корректуру. "Уложив газету спать", как выражались в редакции, - он поздним утром уходил домой. После второй мировой войны Поляков много лет проработал секретарем редакции нью-йоркской газеты "Новое русское слово"[13].



А. А. Поляков и его жена А. Я. Фонарева.
Из архива Н. А. Делуга-Поляковой.
Публикуется впервые.

Иностранный отдел в газете вел опытный и эрудированный журналист с широким диапазоном знаний и интересов **Михаил Уриевич (Юрьевич) Берхин** (1885-1952). Сын раввина, он после окончания юридического факультета Харьковского университета занялся журналистикой. Уже перед первой мировой войной приобрел известность - под псевдонимом "М.Бенедиктов" опубликовал большое число статей, фельетонов и скетчей для сцены. Позже прожил три года в Скандинавии и Англии, где читал курсы лекций по русской литературе и искусству. Тематика его публикаций изменилась - его стали все больше интересовать проблемы международных отношений и национальных меньшинств в России.

В 1921 г. Берхин прибыл в Париж и сразу же оказался в редакции "Последних новостей". В продолжении многих лет (вплоть до прекращения издания газеты в 1940 г.) он по несколько часов в

день занимался внутриредакционной работой - готовил статьи и заметки для первой полосы очередного номера[14]. Она посвящалась обычно событиям мирового значения и вопросам большой политики. По совместительству одно время он редактировал (без вознаграждения) парижский сионистский еженедельник "Рассвет", сотрудничал и в других изданиях. Под неизменным псевдонимом (М.Бенедиктов) печатал статьи и фельетоны о международной политике и на темы искусства. Человек большого личного обаяния, благородный и открытый, Берхин имел широкий круг знакомых-интеллектуалов. Близкие, переходившие иногда в дружественные, отношения поддерживали с ним Б.Шоу и М.Шагал, П.Милюков и В.Жаботинский, М.Мане-Кац и другие видные деятели культуры. Умер Берхин гражданином Израиля.

Одно время подготовкой ответственных материалов для первой страницы в очередь с Берхиным занимался **Марк Александрович Алданов** (Ландау; 1889-1957)[15]. Журналистика, по правде говоря, мало соответствовала темпераменту и творческим планам Алданова - известного писателя, автора исторических романов. Но он с большим пиететом относился к Павлу Николаевичу Милюкову и считал необходимым пойти навстречу пожеланиям редакции; тем более, что на страницах газеты часто печатались отрывки из его романов, исторические этюды и публицистические эссе.

В иностранном отделе газеты постоянно сотрудничали несколько знатоков международных проблем. Геополитические, социологические и страноведческие обзоры, кроме А.Кулишера и М.Бенедиктова, публиковали также известный специалист международного права, проф. Парижского университета барон **Борис Эммануилович Нольде** (1876-1948), молодой, в недавнем прошлом приват-доцент Петроградского университета, **Борис Сергеевич Миркин-Гецевич** (Б.Мирский) и другие. Опытный журналист, бывший сотрудник "Русского слова", Лев Моисеевич Неманов посылал из Женевы корреспонденции и статьи с обзором деятельности Лиги Наций. Многолетним постоянным корреспондентом газеты в Лондоне был известный публицист (дядя В.Б.Шкловского) **Исаак Владимирович Шкловский** (1865-1935). У него, находившегося в эмиграции в Англии еще с конца XIX в., давно сложились дружеские отношения с Милюковым[16]. Под псевдонимом "Дионео" Шкловский печатал очерки о жизни в Англии, британской политике и по различным вопросам культуры и искусства западноевропейских стран.



ПОСЛѢДНІЯ НОВОСТИ

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ П. Н. МИЛЮКОВА

Quotidien Russe "LES DERNIERES NOUVELLES" Directeur P. N. MILIOUKOV

80

Старшина эмиграціи

Юбилейный номер газеты, посвященной 80-летию П.Н. Милюкова

Одним из самых деятельных штатных сотрудников был **Николай Викторович Калишевич**. Первоклассный журналист, украинец по происхождению, он прошел школу киевских газет и "Русского слова"; в редакции выполнял с максимальной добросовестностью любую работу. Нередко подменял А.А.Полякова в его многочисленных обязанностях, в том числе выпускающего, что было связано с ночными бдениями. Под псевдонимом "Р.Словцов" регулярно, подчас дважды в неделю, в газете появлялись его статьи и заметки на разные сюжеты. Жизнелюб и поклонник книги, влюбленный в культуру России и Франции, Калишевич со вкусом и знанием дела писал о только что прочитанных новинках русской и иностранной литературы (от сборника стихов поэта-эмигранта до трудов по истории). Публиковались также его очерки, отчеты и рецензии о новых интересных спектаклях и выставках. Именно Калишевичу суждено было выпустить 13.06.1940, менее чем за сутки до вступления немцев в Париж, последний номер газеты. При нацистах он прожил недолго и вел себя достойно, как патриот России, - в отличие от некоторых других эмигрантов (к примеру, Д.С.Мережковского), сотрудничавших с гитлеровцами главным образом из-за ненависти к большевикам[17].

Активную роль в редакции играл сравнительно молодой журналист **Николай Платонович Вакар**, отвечавший за отдел хроники. Не в пример своему старшему другу И.П.Демидову он много редактировал и писал, подготавливая репортажи о жизни эмиграции и на другие темы. После войны Вакар, человек разносторонних способностей, стал преподавать русский и белорусский языки в одном из американских университетов. На склоне лет, выйдя на пенсию, занялся живописью. Он менял не только виды занятий, но и политические позиции[18].

Другим штатным работником в отделе хроники был **Соломон Гитманович Сумский-Каплун** (1891-1940). Старый и опытный журналист, проработавший многие годы в "Киевской мысли", после революции сотрудничал в берлинских "Днях". В молодости - социал-демократ (меньшевик), он, разочаровавшись, отошел от партии, но сохранил некоторую привязанность к марксистским теориям. Сблизившись в берлинский период жизни с Андреем Белым, потратил свои средства на издание его книг. В "Последних новостях" Сумский за своей подписью печатался все реже, но зато эффективно трудился, исполняя разнообразные редакционные поручения[19]. В штате редакции состоял также журналист **А.Б.Петрищев**, ранее - член редакции журнала "Русское богатство" и берлинского еженедельника "Дни".

В составе редакции находились не только маститые и искусные журналисты, но и творческая молодежь. У телефона одно время дежурил способный молодой литератор **Антонин Ладинский**. Начинавший как поэт, он после возвращения в 1955 г. в Москву опубликовал исторические романы.

Самым молодым штатным сотрудником редакции был талантливый репортер **Яков Моисеевич Цвибак** (1902-1994). После окончания в 1924 г. Парижского университета и Школы политических наук, он по инициативе Милюкова стал парламентским корреспондентом газеты и под псевдонимом "Андрей Седых" быстро вырос в "короля репортажа". Многие годы А.Седых готовил политическую информацию о Франции и парижскую хронику. В редакции, где его любили за "веселый нрав и несомненное остроумие"[20], он проработал до закрытия газеты.

Коммерческий директор Николай Константинович Волков к журналистике прямого отношения не имел. Бывший депутат Думы от кадетов, агроном по образованию, он занимался (при содействии ведавшего объявлениями В.А.Полякова) пополнением бюджета. Наконец, Александр Иванович Коновалов, в прошлом министр правительства А.Ф.Керенского, возглавлял правление газеты. Происходя из семьи известных московских миллионеров, старый общественный деятель-либерал и меломан (ученик пианиста Э.Зауэра), он в эмиграции был председателем Совета общественных организаций[21].

* * *

"Последние новости" выделялись среди других эмигрантских изданий. Прежде всего коллективом постоянных редакционных работников, как правило, искусных мастеров журналистики. Почти все они ранее прошли большую школу в таких изданиях, как "Русское слово", "Речь" и других, чрезвычайно разборчивых в выборе сотрудников. Подбором редакционного и авторского состава газета обязана была в первую очередь Милюкову, а также его ближайшим сотрудникам-журналистам со старыми, налаженными связями.

В "Последних новостях" была богато представлена публицистика. Каждодневно публиковались политические и социологические очерки и обзоры проблем эмигрантов и окружающего их мира. Написаны они, как правило, просто и доходчиво - об этом заботилась редакция.

В газете постоянно печатались известные публицисты супруги Е.Д.Кускова и Д.Н.Прокопович; самый авторитетный в эмиграции критик и литературовед Г.В.Адамович; упоминавшиеся А.Кулишер, М.Берхин, барон Б.Нольде, И.Шкловский, Н.Калишевич; автор научно-популярных статей на разные темы, большой эрудит Я.Л.Юделевский (под псевдонимом "Ю.Делевский") и многие другие.

Периодически на страницах издания появлялись "Листы из блокнота" мастера литературы и публицистики М.А.Ильина (под псевдонимом "М.Осоргин"); "Художественные письма" А.Н.Бенуа; "Actualités" М.А.Алданова; очерки на разные темы (в том числе и по вопросам культуры) В.Е.Жаботинского; публицистические обзоры Семена Осиповича Португейса (под псевдонимом "Ст.Иванович" и "В.Талин"), известного историка В.А.Мякотина и многих других авторов, публиковавшихся реже.

Часто печатался в газете опытный публицист **Соломон Львович Поляков-Литовцев** (1875-1945). Одаренный литератор, он до 15 лет практически не владел русским языком. Позже, пройдя большую школу многолетней корреспондентской деятельности в "Русском слове" и "Речи", - сложился как серьезный журналист. В годы эмиграции он интенсивно работал на литературном поприще. По отзыву хорошо знавшего его А.Седых, Поляков-Литовцев сочетал " в себе душу русского патриота в самом высоком смысле этого слова с душой еврея"[22].

В газете были широко представлены все жанры художественной литературы. С расширением газеты, - отмечал Н.В.Калишевич, - "... первым выигрывал от этого литературный и критический отдел"[22а]. Обычно по четвергам на специальной, третьей, странице публиковались крупнейшие мастера - литературные "боги первой и второй величины"[23]. Печатали свои рассказы, очерки и этюды И.А.Бунин и Б.К.Зайцев, А.И.Куприн, М.А.Алданов и М.А.Осоргин, А.М.Ремизов, С.Р.Минцлов и С.С.Юшкевич, Вас.Ив.Немирович-Данченко и А.А.Плещеев. В 20-е годы публиковались А.Н.Толстой, З.Н.Гиппиус (часто выступавшая под псевдонимом "Антон Крайний"), В.Ф.Ходасевич и Н.Н.Берберова. Позже, по разным причинам, они отошли от газеты. Из поэтов старшего поколения печатались К.Д.Бальмонт, М.И.Цветаева, Георгий Иванов, Н.А.Оцуп (брат поэта-"сатириконца" Сергея Горного), М.О.Цетлин ("Амари"), И.В.Одоевцева и др.

Появлялись в "Последних новостях" и новые имена литераторов молодого, эмигрантского поколения. Среди них: В.Набоков ("Сирин"), прозаики Л.Зуров, Августа Даманская, Б.Поплавский и др.; поэты - Довид Кнут, Г.Кузнецова, А.Ладинский, Г.Песков, М.Струве.

Жанр сатиры и юмора представляли в первую очередь авторы прославленного старого "Сатирикона": В.Азов (В.А.Ашкенази), рано умерший П.П.Потемкин, Саша Черный (А.М.Гликберг). Отдельно следует остановиться на двух именах. Надежда Александровна Тэффи (по мужу Бучинская; 1875-1952), дочь петербургского профессора и сестра рано умершей поэтессы Мирры Лохвицкой, - постоянный автор и любимица читателей. Уже в первом номере газеты появился ее рассказ "*Кэ-фер*"*, ставший знаменитым. В нем шла речь о старичке-генерале, который приехал в Париж, вышел на площадь, оглянулся и изрек: "Все это хорошо. Но кэ фер? Ферто кэ?"[24]

Своим автором в газете был и Аминад Петрович Шполянский (1888-1957) - Дон-Аминадо. Начав первые шаги еще в "Сатириконе", он стал в эмиграции одним из наиболее популярных поэтов. Окрашенные легкой грустью, его сатирические и юмористические

*Фр. - что делать.



И. П. Демидов



Н. В. Калишевич (В. Словцов)



И. В. Шкловский (Дионео)



А. М. Кулишер (Юниус)



Я. Л. Юделевский (Ю. Делевский)



Б. Ф. Шлецер



М. Ю. Берхин (Бенедиктов)



Н. П. Вакар



Л. М. Неманов

Сотрудники и авторы "Последних новостей"

фельетоны (преимущественно в стихах) приобрели широкую известность. Поклонниками его меткого чарующего слова, доставлявшего художественное наслаждение, были не только знатоки и ценители российской словесности. Многие из так называемых рядовых читателей (например, вчерашние юнкера и прапорщики, ставшие по большей части шоферами и разнорабочими) приобретали газету в поисках фельетонов Дон-Аминадо. Его стихи вырезали из номера, цитировали в разговорах. По свидетельству Л.Ф.Зурова, секретаря И.А.Бунина, "... не было в эмиграции ни одного поэта, который был бы столь известен"[25].

Массового читателя привлекали также публиковавшиеся с продолжением сериалы приключенческих романов первоклассных западноевропейских мастеров детектива. Отлично переведенные, они немало содействовали росту тиража издания.

В газете постоянно освещались темы и события культурной жизни эмиграции и стран ее обитания. О международных литературных явлениях писали Г.В.Адамович, Н.В.Калишевич, глубокий знаток русской литературы К.В.Мочульский, специалист по ранней литературе романских народов Г.Л.Лозинский, критик В.Вейдле, библиограф и соредактор "Временника русской книги" Я.Б.Полонский и другие. О театральной жизни и событиях художественной культуры публиковали очерки, обозрения, заметки и рецензии А.Н.Бенуа и быв. директор Императорских театров России князь С.М.Волконский, театровед Е.А.Зноско-Боровский (известный также как шахматный обозреватель), молодой философ и знаток балета Андрей Левинсон, музыковед Б.Ф.Шлецер.

Актуальные сюжеты военной истории освещали генералы Ю.Н.Данилов, генерал-квартирмейстер армии России периода первой мировой войны, и А.И.Деникин, военный публицист В.К.Шумский-Соломонов и отставной капитан А.П.Лукин, единственный из авторов газеты, кто с приходом гитлеровцев во Францию начал с ними сотрудничать[26]. Экономические и финансовые проблемы освещали несколько специалистов, и прежде всего - проф. А.М.Михельсон; биржевую хронику вел Я.Я.Кобецкий. Украшали газету карикатуры художников Мада и И.Линского (расстрелянного нацистами).

Редакторский и авторский состав сотрудников отличался большой политической пестротой. Правда, руководство редакции строго и неукоснительно следило за тем, чтобы в газете, особенно в пере-

довицах и статьях по проблемам большой политики, проводились взгляды, не противоречащие "новой тактике" Милюкова. В остальном редакционные работники по существу были свободны в своих политических симпатиях. Среди них встречались не только милюковцы-"эрдеки", но и "марксист" С.Г.Сумский (Каплун), и страдавший "неисправимой правизной" либерал Н.В.Калишевич; кстати, двое из разделявших платформу "эрдеков" (М.Берхин и А.Кулишер) отнюдь не скрывали своей приверженности и к сионистским идеям.

Авторский же состав был гораздо более широкого политического спектра: кроме названных политических направлений были представлены также эсеры (Ю.Делевский и др.), энесовцы (В.Мякотин и др.), полуанархисты (М.Осоргин), меньшевики (С.Португейс и др.) и значительное число авторов, по меткому выражению Дон-Аминадо, "косивших вправо", - вплоть до генерала А.И.Деникина. Как уже было сказано, исключались лишь сторонники экстремистских течений - правого (черносотенцы) и левого толка (большевики).

Между тем многие эмигрантские издания - правомонархическое "Возрождение", эсеровская "Воля России", правокадетский "Руль", "Социалистический вестник" и другие - придерживались более узкой партийной позиции. Да и круг их авторов, как правило, был более избирателен.

Толерантность отличала П.Н.Милюкова и в подборе кадров по их национальной и конфессиональной принадлежности. Евреи играли "... в газете, - отмечал А.Седых, - роль видную, но назвать ее руководящей было бы явным преувеличением"[27]. Однако значительное число евреев в составе сотрудников редакции и среди авторов давало повод для систематических нападок на издание Милюкова. Юдофобствующие элементы правомонархических черносотенных кругов называли Милюкова "жидо-масоном", а газету - "жидовской"[28].

Наиболее интенсивную атаку на "Последние новости" вела в продолжении своего существования редакция газеты "Возрождение" (1925-1936). Основанная на деньги богатого нефтепромышленника А.О.Гукасова, газета первые два с лишним года редактировалась старым соперником Милюкова на политической арене П.Б.Струве. После революции он резко ушел вправо, клеймил Милюкова за отход от традиций белого движения и настаивал на объ-

единении всех сил (включая и внешние) для вооруженного освобождения России от большевизма[29]. С приходом в 1929 году в "Возрождение" нового редактора Ю.Ф.Семенова газета стала публиковать откровенно черносотенно-антисемитские (позднее - и прогитлеровские) материалы, после чего некоторые видные авторы (например, И.А.Бунин) перестали в ней сотрудничать[30].

С газетой Милюкова полемизировали многие публицисты разных направлений - эсеры В.М.Чернов и А.Ф.Керенский, правые кадеты В.А.Маклаков и А.С.Изгоев и др. Частым оппонентом Милюкова выступал историк и публицист С.П.Мельгунов. Вокруг "Последних новостей" и их шефа постоянно кипели страсти. Дискутировались не только политические проблемы, но и проблемы культуры. В конечном итоге, соревнование с главным конкурентом, более скучным (по мнению читателей) "Возрождением", выигрывали "Последние новости"[31].

Полагаю необходимым обозначить еще одно немаловажное обстоятельство. В освещении жизни и быта в советской России милюковская газета резко отличалась от "Возрождения" и других правых эмигрантских изданий, где преобладали материалы скорее легковесные, поверхностные, с банальными пропагадистскими клише. В "Последних новостях" неприятие большевизма, острая критика советской действительности сочетались с анализом сложностей и противоречий внутреннего положения России. "Сменовеховских" иллюзий редакция не разделяла. За обзорами Милюкова и его газетой, кстати, внимательно следили руководители в Кремле[32]. Более того: есть свидетельства, что ГПУ пыталось (и на какой-то момент по-видимому, небезуспешно) внедрить в среду сотрудников газеты своего осведомителя[33].

* * *

Успеху газеты во многом способствовала дружеская обстановка в редакционном коллективе. В помещении у площади Палэ-Бурбон и позже - в более просторном - на рю Тюрбиго, 26 - часто задавали тон молодые люди, веселые и остроумные сотрудники (А.Седых, Дон-Аминадо и другие)[34].

О непринужденной обстановке в редакции можно судить и по стихотворному приветствию по случаю 10-летия прихода Милюкова в газету. Оно написано Дон-Аминадо и прочитано им на друже-



Слева направо: М. А. Алданов, его жена Татьяна Марковна, Н. М. Шполянская, А. П. Шполянский (Дон-Аминадо), А. Я. Фонарева.
Из архива Н. А. Делуга-Поляковой. Публикуется впервые

ском, походившем на "семейный праздник", юбилейном вечере 1 марта 1931 г. Текст приветствия пародирует строфы 3-ей песни поэмы А.С.Пушкина "Полтава", посвященные Петру I и его окружению - "птенцам гнезда Петрова". Не лишне объяснить, что обращение к образу Петра I имело особый подтекст: у П.Н.Милюкова был давний, глубокий и стойкий интерес к петровской эпохе (напомним о его магистерской диссертации 1892 г., посвященной эпохе Петра I, и ряде других последующих публикаций - в том числе и написанных в годы эмиграции)[35].

Горит восток зарею новой...
Уже на Пляс Палэ-Бурбон
Седой, решительный, пунцовый,
Свои стопы направил **он.**

Вокруг - сотрудников шпалеры.
Ползет молва из-за кулис.

В кустах рассыпались эсеры.
Гудят грузины. Брызжет Рысс.

Сквозь огнь окопов прет Изгоев.
На левом фланге - сам Чернов.
На правом, в качестве героев,
Застыли Марков и Краснов.

Отрядов пестрых Мельгунова
"Нависли хладные штыки".
Вдали мелькают вехи Львова.
Заходят в тыл меньшевики.

Тогда, не свыше вдохновенный,
На то он слишом атеист,
А точный, ясный, неизменный,
И как всегда позитивист,

Одной и той же предан думе,
И не витая в небесах,
Все в том же сереньком костюме,
Давно протертом на локтях,

"Идет, Ему коня подводят..."
Но таково его нутро -
Он лошадь роскошью находит,
И опускается в метро.

И, путь вторым проделав классом,
Слегка смущенный, весь в пыли,
К верхам, к низам, к эрдекам, к массам,
Выходит вновь из-под земли.
В его руках - передовая,
На пальцах кляксы от пера.
"И се, равнину оглашая,
Далече грянуло ура.
И он промчался пред полками",
Простой, решительный, седой,
Сверкая круглыми очками...
"За ним вослед неслись толпой"

Гнезда папаши Милюкова
Достопочтенные птенцы,

Его редакторского слова,
Как выражается Кускова,
Издревле верные жрецы:

Демидов, ласковый и смуглый,
И Волков, твердый как булат.
И Коновалов, с виду круглый,
А по характеру квадрат.

Маститый Неманов-Женевский,
Борисов, папин мамелюк,
Научный двигатель Делевский,
И просто двигатель - Зелюк.

И все проделавший этапы
Столь многочисленных карьер,
И посвященный буллой папы
В чин кардинала Кулишер.

И хмурый Марков, вождь казацкий,
Дитя землячеств и станиц.
И, наконец, профессор Шацкий,
"Одно из славных русских лиц"...

И, с анархического фланга,
Немного буйный Осоргин.
И, капитан второго ранга,
Отшвартовавшийся Лукин.

Князья - Барятинский, Волконский,
Князь Оболенский, Павел Гронский,
И Зуров, Бунинский тиун.
Последний римлянин Лозинский,
Всегда обиженный Ладинский,
И Сумский, он же и Каплун.
И Адамович ядовитый,
Чей яд опаснее боа,
И сей, действительно маститый
И знаменитый Бенуа.

И рядом маленький Унковский,
И Дионео, он же Шкловский, -

Полу-Эйнштейн, полу-Бергсон.
И Шальнев, харьковский иль тульский,
И проницательный Мочульский,
И тьма министров и персон.

И, с виду дож венецианский,
Не граф, но все-таки Сперанский,
И Мад, и вдумчивый Цетлин,
И Абациев, горный сын,
Наш Богом данный осетин.

И Оцуп, выдумавший "Числа".
И Мейснер, спирт и скипидар.
И на строку глядевший кисло
Братоубийственный Вакар.

И, по обычаю Прокруста, -
Рукой Абрамыча-отца
Усекновенная Августа
Без предисловья и конца.

И он, осолнечен, олунен,
Пред ликом чьим лишь ниц падешь,
О ком сказал директор: — Бунин
Уж очень дорог, но хорош!

И дважды крупный Калишевич,
Как таковой и как Словцов.
И Мирский, он же и Гецевич,
Из оперившихся птенцов.

И Кузнецова - дочь курганов,
И сам блистательный Алданов,
И Вера Муромцева, и -
Усердный Зноско, чьи статьи
Почище всяческих романов.
И Азов, старый сибарит.
И Поляков из объявлений.
И наш Ступницкий, наш Арсений,
Папашин новый фаворит.

И указательный, как палец,
Мякотин, местный иерей.

И Жаботинский, друг-скиталец,
И друг "Последних новостей".

И Бенедиктов благородный,
И Метцлей выводок дородный,
Зажатый Волковым в кулак.
И счастья баловень безродный,
Андрей Мойсеевич Цвибак.

И он, чей череп пребывает
В жестоковыйном декольте,
Кто культам всем предпочитает
Российский культ maternité.
Кто сам и ось, и винт, и смазчик,
Кто рвет, и мечет, и клянет,
И прячет рукописи в ящик,
И в тот же ящик и плюет.
Чьей нрав крутой и бесшабашный
Приемлет даже Милюков,
Кто Поляков, но самый страшный,
И самый главный Поляков...

...И с ними в бешеном галопе,
Под черной сотни стон и крик,
Промчался бурей по Европе
Сей поразительный старик.

Вокруг чернил бурлили реки,
Был пуст и мрачен горизонт.
Но плотным строем шли эрдеки
И вширь выравнивали фронт.

Ротационные машины
Гудели грозно...
И во мрак -
Уходит Струве сквозь теснины,
Сдается пламенный Вишняк.

По швам, по золоту лампасов,
Трещит светлейший Горчаков,
Ногою дрыгает Гукасов,
Рукою машет Маклаков.

Слюну в засохшие чернила
Семенов в судорогах льет.
Взбесясь, киргизская кобыла
В обрыв Карсавина несет.
И Мережковский Атлантиду
И рвет и мечет по частям,
И посылает Зинаиду...
На мировую к "Новостям".

...Но годы мчатся. Наступает
Тот день, когда средь мирных стен
"Как пахарь битва отдыхает",
И смелых чествует Potin.

И от работы ежедневной
Освободясь на миг один,
С женою, с Анною Сергевной,
Сверкая холодом седин,
Слегка взволнованный, смущенный,
Друзей вниманием польщенный
Старик пирует...[36]

* * *

Итак, в редакции "Последних новостей" сложилась свободная, творческая обстановка. С редакционным ядром тесно сотрудничало большое число постоянных авторов - мастеров и корифеев российской журналистики и литературы и представителей талантливой молодежи. И результат не заставил себя ждать. Газета с успехом выходила, предоставляя читателям огромную, разнообразную и интересную информацию.

Интеллектуалов она привлекала глубокими аналитическими статьями-обзорами сложных проблем окружающего мира. Удовлетворяла газета и запросы широкой массы любителей занимательного чтения, публикуя хорошие детективы, фельетоны, юморески. В ней бился пульс жизни - затрагивались самые злободневные стороны и явления бытия эмигрантов. Остро и доходчиво освещались больные темы. И никто не оставался равнодушным. Одним позиция редакции импонировала; других она задевала или даже раздражала. Многие читатели из враждебных Милюкову правомонархическимх кругов, - констатировал современник, - газету "...не-

навидели, но запоем, и от строки до строки читали". Феномен популярности "Последних новостей" имел множество составляющих. Раскрыть его полностью и убедительно удастся, вероятно, только в специальном и целенаправленном исследовании.

Примечания

1. См.: Струве Г. Русская литература в изгнании. Н.-Й., 1956. С. 20-21. О роли М.Л.Гольдштейна в литературно-издательских кругах зарубежья см.: Юниверг Л. "Иллюстрированная Россия" как зеркало эмигрантской жизни 20-30-х годов // Евреи в культуре Русского Зарубежья. Иерусалим, 1993. Т. II. С. 212, 216-217.

2. См.: Нильсен Е. П.Милюков и И.Сталин: О политической эволюции Милюкова в эмиграции // Новая и новейшая история. 1991. Т2. С. 127-135.

3. Биография П.Н.Милюкова, в первую очередь дореволюционного периода, освещена в ряде работ. Здесь следует назвать труды Н.Г.Думовой (Либерал в России: трагедия несовместимости. М.,1993. Ч. I: Жизнь в науке и др.), монографию М.Г.Вандалковской (М.Н.Милюков, А.А.Кизеветтер: История и политика. М.,1992) и книгу американского историка Riha Thomas. A Russian European. London, 1969. Однако наличие биографических трудов не восполняет отсутствие специальных публикаций о газете "Последние новости" и ее редакции.

4. См.: Блюм А. Печать русского зарубежья глазами Главлита и ГПУ // Новый журнал. Н.-Й. (дадее НЖ), 1991. Т. 181. С. 27; Гуль Р. Я унес Россию. Апология эмиграции. Т.II. Россия во Франции. Н.-Й. 1984. С. 86.

5. См.: Струве Г. Указ. соч. С. 21.

6. Там же. С. 20.

7. См.: Вандалковская М.Г. П.Н.Милюков... С. 69-71; Вишняк М.В. Годы эмиграции (1919-1969). Париж - Нью-Йорк (Воспоминания). Stanford. 1970. С. 100.

8. Андрей Седых. Русские евреи в эмигрантской литературе // Книга о русском еврействе. 1917-1967. Н.-Й. 1968. С. 428.

9. Характерно, что в сборнике, изданном к 70-летию Милюкова, А.Кулишер выступил с рефератом "Значение новой тактики" // П.Н.Милюков. Сборник материалов по чествованию его семидесятилетия. 1859-1929. Париж, 1929. С. 122-126.

10. Дон-Аминадо. Поезд на третьем пути. Н.-Й., 1954. С. 313.

11. Вакар Н. Игорь Платонович Демидов // НЖ. 1947. Т.16. С. 275-283.

12. Дон-Аминадо. Указ. соч. С. 333.

13. Там же. С. 311-317. Для характеристики облика А.А.Полякова использованы письма его дочери Н.А.Делуга-Поляковой к М.А.Пархомовскому (от 20.03.1993) и автору настоящей статьи (от 11.04.1994). Автор выражает им глубокую признательность. Автор благодарит также Н.А.Делуга за присланные фотографии и М.Гробмана - за предоставленную возможность использовать имеющийся в его библиотеке Юбилейный сборник газеты "Последние новости". 1920-1930. Париж, 1930.

14. См.: Седых А. Русские евреи... С. 434.

15. Там же. См. также: Седых А. Далекие, близкие Н.-Й., 1962. С. 34, 64.

16. Милюков П.Н. Воспоминания. М.,1991. С. 152, 290, 422.

17. Памяти ушедших // НЖ. 1942. Т.2. С. 370-373; Дон-Аминадо. Указ. соч. С.327.

18. См.: Вишняк М.В. Годы эмиграции... С. 247.

19. См.: Памяти ушедших // НЖ. 1942. Т. 2. С.373-374.

20. Дон-Аминадо. Указ. соч. С. 314; Седых А. Далекие, близкие. С. 165. Подробнее о творческом пути А.Седых см. публикуемую в томе статью Доры Штурман "Последние из Могикан".

21. Милюков П.Н. Воспоминания. С. 476, 506.

22. НЖ. 1945. Т. 11. С. 339-340.

22а. См.: Словцов В. Культурная роль "Последних новостей" // Юбилейный сборник... С. 35.

23. В.Е.Жаботинский в одном из опубликованных в газете очерков на темы русской литературы признавался, что он всегда с особенным интересом читал третью страницу четвергового номера "Последних новостей". См.: Жаботинский Е. Трактат о правописании. // Последние новости. 1932. 15 октября. N1693.

24. См.: Цетлин М. Н.А.Тэффи // НЖ. 1943. Т.6. С.384-386.

25. Зуров Л. Дон-Аминадо // НЖ. 1968. Т.90. С.114-119; Гуль Р. Указ. соч. С. 80-81. О Дон-Аминадо см. также помещенную в настоящем издании статью Ан.Иванова "Была война, была Россия".

26. Седых А. Далекие, близкие. С. 168.

27. Седых А. Русские евреи... С. 434.

28. Варшавский В.С. Незамеченное поколение. Н.-Й., 1956. С. 27.

29. См.: Милюков П.Н. Политическая деятельность "Последних новостей" // Юбилейный сборник газеты "Последние новости". Париж, 1930.

С.20-22, 25-26. Нильсен Е. Указ. соч. С. 126-127, 145-146.

30. См.: Струве Г. Указ. соч. С. 21; Седых А. Далекие, близкие. С. 157.

31. См.: Три юбилея Андрея Седых. Н.-Й., 1984. С. 184. Его же: Далекие, близкие. С. 159-160; Вишняк М.В. Годы эмиграции. С. 192, 196, 229.

32. См.: Нильсен Е. Указ. соч. С. 131-132.

33. См.: Седых А. Далекие, близкие. С. 99, 153-155.

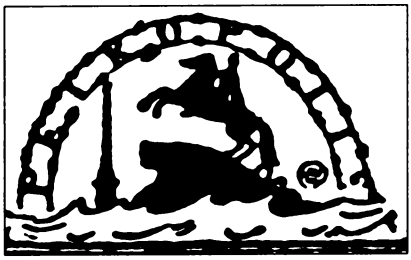
34. Дон-Аминадо. Указ. соч. С. 313, 329.

35. См.: Думова Н.Г. Либерал в России... С. 95-97, 102-103, 111-118, 160; Вандалковская М.Г. П.Н.Милюков... С. 151, 210-217.

36. Дон-Аминадо. Указ. соч. С. 328-334. Приветствие произвело большое впечатление на эмигрантов, близких к редакции. Сам И.Бунин, отсутствовавший на юбилейном вечере, одобрительно отозвался о тексте, прислав его автору следующую открытку: "Придворный льстец, но молодец!" (Там же. С. 335).

В самом деле, поэт в коротком приветствии представил целую галерею личностей, обрисовав (иногда одним-двумя словами) известных деятелей эмиграции. Среди изображенных - в основном ближайшие сотрудники редакции и постоянные авторы газеты (они в той или иной мере охарактеризованы в нашей статье). Не раскрытыми (за недостатком места) остались, к сожалению, лица из вспомогательных служб издания - типографии и т.п. (О.Зелюк, Метцли и др.)

В приветствии не обойдены и некоторые из наиболее активных оппонентов газеты. Тут и представители правого лагеря - генералы Краснов и Марков, известные публицисты Зинаида Гиппиус и Д.Мережковский, П.Струве и др. Названы и оппоненты-эсеры (В.Чернов, М.Вишняк), а также публицисты иных общественных направлений (А.Изгоев, Л.Карсавин, Г.Львов, В.Маклаков). Отдельные намеки поэта не поддаются пока расшифровке: это требует дальнейшего исследования.



Я.Н.Блох и издательство "Петрополис"

Письма к Я.Н.Блоху

Абрам Рейтблат
(Москва)

На страницах изданий, посвященных В.Мейерхольду, А.Блоку, М.Кузмину, А.Головину и другим литераторам, деятелям театра, художникам Серебряного века, нередко встречается имя Я.Н. Блоха. Однако специальных работ, посвященных этому издателю, внесшему немалый вклад в сохранение и развитие традиций русского книжного искусства в послереволюционный период, практически нет. Во многом это связано с бедностью сведений о нем в печатных источниках.

Восполнить этот пробел в какой-то степени позволяет личный фонд Блоха (ф.2853) в Российском государственном архиве литературы и искусства в Москве. Хотя он и невелик (всего 45 единиц), но содержит ряд документов, важных как для биографии Блоха, так и для истории отечественной литературы и культуры в целом (письма М.Алданова, Н.Альтмана, И.Бунина, М.Добужинского, Е.Замятина, Г.Иванова, И.Ильина, С.Маковского и др.). Недавно были опубликованы хранящиеся в фонде рукопись М.Кузмина "Печка в бане" и его же письма к Блоху[1]. Ниже публикуется небольшая подборка адресованных Блоху писем, характеризующих условия эмигрантского книгоиздания и роль Блоха в нем. Но вначале - о самом Блохе.

Он родился в 1892 г. в Петербурге в семье известного юриста, присяжного поверенного Ноя Львовича Блоха, состоятельного человека, в течение многих лет служившего юрисконсультом по постройке железных дорог[2].

Окончив романо-германское отделение Петербургского университета, Я.Н.Блох преподавал в педагогическом институте и других высших учебных заведениях. Предметом его научных интересов еще со студенческой скамьи стала история театра, прежде всего - итальянская комедия масок. Во втором десятилетии XX в. - период театрализации жизни и тяготения театра к условности - она была

очень популярна, и не случайно Блох вскоре сблизился с В.Э.Мейерхольдом, который в 1914-16 гг. издавал театральный журнал "Любовь к трем апельсинам". Там Яков Ноевич поместил целый ряд материалов, посвященных комедиа дель арте, - статью[3] и переводы нескольких пьес[4], а в 1916 году осуществлял основную работу по редактированию журнала[5]. В первые послереволюционные годы Блох продолжил свои историко-театральные штудии. Так, в декабре 1918 г. он составил список английских современников Шекспира и драматургов XVIII в., предлагаемых для издания Театральному отделу Наркомпроса[6], а в 1923 г., когда "Петрополис" свернул свою издательскую деятельность в России, под грифом издательства "Всемирная литература" выпустил двухтомник "Сказки для театра", в котором выступил в качестве составителя, автора обстоятельной вступительной статьи и переводчика большинства пьес; он по сути дела ввел Карло Гоцци в русскую литературу.

Другим увлечением Блоха было книжное дело. При его активном участии 31 декабря 1917 г. был создан книжный кооператив "Петрополис" - с целью покупки частных библиотек с последующей распродажей книг своим членам по умеренным ценам. Занимался кооператив и организацией выставок, проведением лекций по искусству. По воспоминаниям Г.Л.Лозинского, "первые недели 'Петрополис' пользовался гостеприимством своего бессменного секретаря правления Я.Н.Блоха, кипучая энергия которого и впоследствии много раз спасала кооператив в тяжелые минуты его существования. В 1918 г. кооперативу удалось выпустить (тиражом 200 экз.) одно издание - "Книжные знаки"[7], но по-настоящему развернуть издательскую деятельность удалось лишь с началом нэпа, в 1921 г. Тогда была создана редакционная комиссия под председательством М.А.Кузмина и издательский комитет (Блох, Абрам Саулович Каган и Григорий Леонидович Лозинский).

Ведущую роль в "Петрополисе" играл Блох. И. Одоевцева и Ю.Анненков вообще утверждали в своих мемуарах, что Блох "основал" это издательство, вовсе не упоминая о других членах комитета[8]. По воспоминаниям Одоевцевой, "он отдался своему делу всей душой и с невероятным энтузиазмом привлек к участию в нем не только поэтов, но и художников"[9]. Издатель "Петрополиса" разрывался от волнения и сомнений, страстно советовался с поэтами и с художниками, стремясь, по выражению Лозинского, создать "книгоиздательство, равного коему не было, нет и не будет на свете".

"Петрополис" выпускал современную поэзию (А.Ахматова[10], Н.Гумилев, Г.Иванов, М.Кузмин), библиофильские издания (Воинов В.В. Книжные знаки Д.И.Митрохина. Пг., 1921; Книжные знаки русских художников. Пг., 1922), альбомы графики (Анненков Ю. Портреты. Пб., 1922), переводы классической драматургии (в серии "Памятники мирового репертуара", выходившей под редакцией Д.К.Петрова и Я.Н.Блоха, были изданы: Джонсон Б. Эпсин, или Молчаливая женщина. Пб,. 1921; Леконт де Лиль. Эринии. Пб., 1922; Аристофан. Ахарняне. Пб., 1923). К оформлению были привлечены Д.И.Митрохин, А.Я. Головин, М.В.Добужинский и другие известные мастера графики[11].



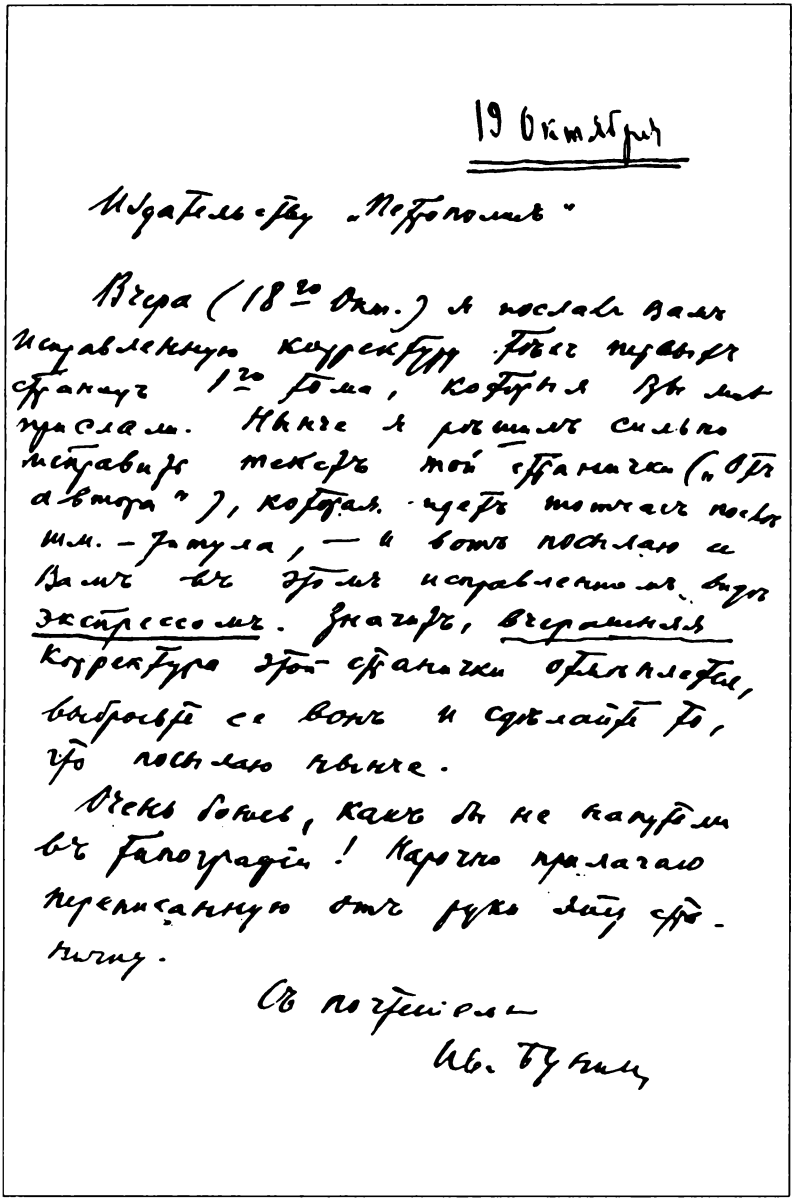
Из иллюстраций Д. Митрохина к книге Анри де Ренье "Семь портретов" (Петрополис, Пб., 1921)

В результате все книги "Петрополиса" (их тиражи редко превышали 1000 экземпляров) демонстрировали высокую издательскую культуру, а некоторые из них "представляли собой образцы графического и типографского мастерства"[12]. Крупный художественный критик и знаток книжного искусства И. Лазаревский, считал, например, "Портреты" Анненкова "значительнейшим достижением русской книжной техники послереволюционного периода"[13].

Все основные направления деятельности "Петрополиса" определялись вкусами и профессиональными интересами Блоха (Г.Лозинский в августе 1921 г. покинул Петроград, а проректор Петроградской сельскохозяйственной академии А.Каган в основном занимался, судя по всему, организационными и техническими вопросами)[14].

Был у Блоха интерес и к поэзии: он был ценителем и почитателем публикуемых "Петрополисом" поэтов; к тому же поэтессой была его родная сестра Раиса (1899-1943), которая в 1919-1921 гг. посещала переводческую студию М.Л.Лозинского, а в 1920 г. была принята во Всероссийский союз поэтов[15].

Планы "Петрополиса" были обширные, известность его росла,



19 Октября

Издательству "Петрополис"

Вчера (18-го Окт.) я послал Вам исправленную корректуру трех первых страниц 1-го тома, которые Вы мне прислали. Никак я не решился сильно исправить текст той страницы ("От автора"), которая идет тотчас после названия, — и вот посылаю ее Вам вместе с этим исправленным вновь экземпляром. Значит, вчерашняя корректура этой страницы отвергнута, выбросьте ее вон и сделайте то, что посылаю нынче.

Очень боюсь, как бы не напутали в Галлиполи! Крепко прилагаю переписанную мною руку эту страницу.

С почтением

Ив. Бунин

Письмо И. А. Бунина издательству "Петрополис" от 19 октября 1934 г.

но увеличивались и трудности. В ноябре 1922 г. А.Каган был выслан большевиками за рубеж в составе большой группы литераторов и ученых. Он осел в Берлине и занялся там издательским делом. Под бременем непосильных налогов в 1923 г. (юридически - в 1924 г.) деятельность издательства в Петербурге была прекращена. Однако издательство не погибло . В 1922 г. Блох переехал в Берлин и создал берлинское отделение "Петрополиса". Вначале книги выходили с двойным обозначением места издания (Пг.-Берлин), но вскоре, после ликвидации петроградского отделения, "Петрополис" был зарегистрирован в Берлине как самостоятельное издательство[16] (совладельцем его, наряду с Блохом, был А.С.Каган).

В Берлине "Петрополис" просуществовал более 15 лет (по 1939 г.). Вначале направление его деятельности было то же, что и в Петербурге. Выходили (многие из них - в переизданиях) сборники стихов М.Кузмина[17], Н.Гумилева, А.Ахматовой, книги по театру: Всеволодский-Гернгросс В.Н. И.А.Дмитревский (1923); Патуйе Ю. Мольер в России (1924); издания в серии "Памятники мирового репертуара": Тирсо де Молина. Дон Хиль-Зеленые штаны (1923), Макиавелли Н. Мандрагора (1924) (с большой статьей Блоха "Итальянская комедия эпохи Возрождения"); альбомы графики Н.Альтмана, Б.Григорьева и М.Добужинского, книга Б.Аронсона "Марк Шагал" (1923).

Издательство имело очень высокую репутацию. "Каждому, любящему русскую книгу, стал близким этот значок (издательская марка "Петрополиса" работы М.Добужинского - *А.Р.*) - Петр, взлетающий на вздыбленном коне над бушующими водами", - писал рецензент одной из выпущенных "Петрополисом" книг[18].

Позднее, со второй половины 20-х гг., по-видимому, из коммерческих соображений, издательство в значительной степени переориентировалось на прозу. Здесь вышли "Генерал Бо" Р.Гуля (1929), "Повесть о пустяках" Б.Темирязева (Ю.П.Анненкова) (1934), "Отчаяние" В.Сирина (В.В.Набокова) (1936), "Путешествие Глеба" Б.Зайцева (1937), "Жанна д'Арк" Д.С. Мережковского (1930), "Чайковский" Н.Н.Берберовой (1936) и многие другие книги эмигрантских авторов.

Наиболее масштабной акцией "Петрополиса" стало издание Собрания сочинений И.Бунина (11 томов вышли в Берлине в 1934-1936 гг., последний, 12-й, вышел без указания номера, под самостоятельным названием "Лика", в Брюсселе в 1939 г.). Всего, по на-

шим примерным подсчетам, "Петрополис" выпустил не более тысячи названий книг, но никак не 5000, как полагает Тимофеев, ссылаясь на заметку в "Журнале содружества"[19].

В целом Блох имел основания утверждать, что "издательство было тесно связано почти со всеми наиболее выдающимися представителями русской литературы, русского искусства, русского театра"[20]. Некоторые из них были и личными друзьями Блоха, нередко бывали у него в гостях и т.д. Так, например, философ И.А.Ильин писал ему после войны (в 1952 г.): "С <...> теплыми чувствами вспоминаю <...> я Ваше берлинское гнездо, где спокойно и уверенно произносилась правда о тиранах"[21].

После прихода фашистов к власти Блох перебрался из Берлина в Брюссель (в 1935 г.). В Берлине издания с маркой "Петрополиса" продолжали выходить до 1939 г., две книги А.Л.Бема о Достоевском вышли с этой же маркой в Праге (в 1936 г. и 1938 г.), а в 1939 г. несколько книг вышло в Брюсселе и Париже. Это был последний год существования "Петрополиса". Потом Блох уехал в Швейцарию и поселился в Женеве.

Во время и после второй мировой войны Блох руководил швейцарским отделением ОЗЕ (Общество охранения здоровья еврейского населения), принимал участие в создании санаториев для бывших узников концлагерей, устройстве детских домов, организации курсов профессионального переобучения инвалидов и т.д. После войны он, судя по переписке, собирался вернуться к издательской деятельности, но, насколько нам известно, это ему не удалось. Вскоре после смерти Блоха в 1968 г. его вдова передала в ЦГАЛИ часть его архива. Она собиралась продолжить передачу документов Блоха, но по неизвестным причинам эти планы не были реализованы[22].

Примечания

1. См.: Харер К. "Верчусь, как ободранная белка в колесе": Письма Михаила Кузмина к Я.Н.Блоху (1924-1928) // Шестые Тыняновские чтения: Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига; М., 1992. С. 222-243.

2. См. его книгу: Блох Н.Л. Из юридической практики по постройке казенных железных дорог. Спб., 1889.

3. Comedia dell'arte в Новом энциклопедическом словаре Брокгауза-

Ефрона // Любовь к трем апельсинам. 1915. N1-3. С. 80-88.

4. Локателло Б. Игра в Приму // Там же. 1914. N6-7. С. 66-69; Серсале А. Несчастия Пульчинеллы // Там же. 1915. N1-3. С. 39-56; (Аноним) Братья-соперники // Там же. 1915. N4-7. С. 117-128; Гоцци К. Женщина-змея // Там же. 1916. N 2-3. С. 9-82.

5. См. Мейерхольд В.Э. Переписка. М., 1976. С. 174, 182, 183.

6. Лозинский Г.Л. "Petropolis" // Книга: Исследования и материалы. М., 1989. Сб. 59. С. 159 (впервые воспоминания были опубликованы в 1928 г.).

7. Это издание вышло не случайно: Блох коллекционировал экслибрисы. См. его письмо У.Г.Иваску от 15 марта 1919 г. (ОР РГБ. Ф. 783. К. 5. Ед. хр. 35).

8. См.: Одоевцева И. На берегах Невы. М., 1988. С. 263; Анненков Ю. Дневник моих встреч. М., 1991. Т.1. С. 123.

9. Одоевцева И. Указ. соч. С.263.

10. О публикациях А.Ахматовой в "Петрополисе" см.: Чуковский К. Дневник. 1901-1929. М., 1991. С. 183-184.

11. История книги в СССР. 1917-1921. М., 1985. Т. 2. С. 278. См. также воспоминания А.Я.Головина о сотрудничестве с "Петрополисом": Александр Яковлевич Головин. Встречи и впечатления. Письма. Воспоминания о Головине. Л. - М., 1960. С. 134-139.

12. Лазаревский И. Русские художественные издания // Новая русская книга. 1923. N1. С. 7.

13. О "Петрополисе" см. также: Книговедение: Энциклопедич. словарь. М., 1982. С. 398; Санкт-Петербург-Петроград-Ленинград. М., 1992. С. 491; История книги в СССР. 1917-1921. М., 1985. Т. 2. С. 143, 180, 181, 276, 278; Московские и ленинградские издательства двадцатых годов: Указатель. М., 1990. Ч. 1. С. 102; Н.З‹алщупина› Петербургское издательство "Петрополис" // Новая русская книга. 1922. N1. С. 34-35; Юниверг Л. Евреи - издатели и книготорговцы Русского Зарубежья // Евреи в культуре Русского Зарубежья. Иерусалим, 1992. Вып. 1. С. 134, 136. Гуль Р. Я унес Россию // Новый журнал. 1979. N134. С. 104-105, 115-117; N136. С.85.

14. См.: Литературное наследство. Т. 92. Кн. 5. М., 1993. С. 184.

15. О Р.Н.Блох см.: Воронкова Т.П. Раиса Блох - русская поэтесса и историк западного средневековья // Проблемы источниковедческого изучения истории русской и советской литературы. Л., 1989. С. 54-85; Кельнер В. "Здесь шумят чужие города и чужая плещется вода..." (О поэтессе Раисе Блох) // Евреи в культуре Русского Зарубежья. Иерусалим,

1992. Вып.1. С. 253-263; Каннак Е. Памяти ушедших / Публ. А. Клементьева // Там же. С. 242-252.

16. См.: Beyer K., Kratz G. Werner X., Russische Autoren und Verlage in Berlin nach dem Ersten Weltkrieg. Berlin, 1987. S. 64-65.

17. Об отношениях Блоха с Кузминым см.: Тимофеев А.Г. Михаил Кузмин и издательство "Петрополис" // Рус. литература. 1991. N1. С. 189-209 (с публикацией писем Блоха Кузмину); Letter of M.A. Kuzmin to Ja. N. Bloh // Studies in the life and works of Mikhail Kuzmin. Wien, 1989. P. 173-185 (публикация Дж. Малмстеда); названную в прим. 1 Харер К. Указ. публикация; Книги и рукописи в собрании М.С.Лесмана. М., 1989. С. 122.

18. "Руль". 1923. 17 июня (рецензия О‹фросимова Ю.›).

19. См.: Тимофеев А.Г. Указ. соч.

20. Цит. по: Офросимов Ю. О Гумилеве, Кузмине, Мандельштаме... (Встреча с издателем) // Новое русское слово. 1953. 13 дек.

21. РГАЛИ. Ф. 2853. Оп.1. Ед. хр. 15.

22. Выражаю благодарность Н.А.Богомолову за ценные консультации по теме данной работы и сотрудникам Сектора истории книги, библиотечного дела и библиографии Российской государственной библиотеки за возможность использовать картотеки по отечественному книгоизданию 1920-х гг.

Письма к Я.Блоху* от М.Алданова, И.Бунина, Г.Иванова и С.Маковского

Письма С.К.Маковского** к Я.Н.Блоху

1.

Praha-Řevnice 28 мая 1923
Villa Gareš

Многоуважаемый Яков Ноевич,

Посылаю Вам рукопись о Григорьеве[1], с маленьким опозданием, как полагается. Но все же объясняется эта задержка обстоятель-

---

* Письма Блоху печатаются согласно хронологии их написания с сохранением орфографии оригиналов. Рукописи писем хранятся в РГАЛИ. Ф. 2853. Оп. 1. (Ед. хр. 5,37 - письма И.А.Бунина; ед. хр.1 - письмо М.Алданова; ед. хр. 20 - письма С.К. Маковского; ед. хр. 14 - письмо Г.В.Иванова).

** Сергей Константинович Маковский (1877-1962) - поэт, художественный критик, редактор и издатель журнала "Аполлон", сын художника-передвижника К.Е.Маковского. С 1921 г. - в эмиграции. Жил главным образом во Франции и США. Автор мемуарных книг, в том числе "На Парнасе Серебряного века (Мюнхен, 1961).

ством, которое никак не полагается. Приехав в Прагу, я сразу слег в постель и мучился две недели. Сильнейший приступ ревматизма в правой руке. И сейчас еще не совсем прошло.

Рукопись я просмотрел, кажется, тщательно, но это **единственнейший** черновик; такая уж манера моя писать - сразу. Простите за грязь поправок, писать же старался разборчиво. Не отдал перестучать на машинке, во-первых, потому что дорого: крон 30 (или теперь - 50 000 марок!), а во-вторых, не знал - какой орфографией. Да к тому же по новой никто здесь толком не умеет.

Большая просьба моя к Вам, когда Вы получите копии, прислать мне, не медля, одну, а лучше две. Я исправлю до набора. Это избавит Вас от необходимости присылать мне корректуру. Та же копия послужит и для сравнения с переводом, когда Вы его пришлете (все-таки лучше мне взглянуть, по-английски я знаю).

А затем очень прошу Вас передать гонорар П.А.Плетневу[2], который в свою очередь передаст моей belle soeur[3], моему "кассиру" в Берлине. Но только - непременно в валюте. Марки для Праги - абсолютное - nihil[4]. Меня очень интересует Ваше впечатление от этого предисловия. Конечно, я не мог сказать всего, что я думаю о Григорьеве; иначе он, пожалуй, остался бы недоволен. Полагаете ли Вы, что так - ладно? Если слишком много об Eitzeil'e - выбросьте! Книжка <нрзб.> обошлась мне - сто тысяч марок, а <нрзб.>, имейте в виду, я так и не получил, так что рассчитываю теперь на все 6 1/4 доллара. Я очень рад, что мне удалось исполнить обещание, данное Григорьеву. Но в других случаях, каюсь, мне было бы трудно взять на себя работу за такое ничтожное, по прежним меркам, вознаграждение. Все же, если Вы имеете в виду какую-нибудь работу, - черкните. Я надеюсь, что мы сговоримся. А пока буду ждать Вашей открытки о получении рукописи и принятии оной. Если не подойдет (что я совершенно не исключаю!), пришлите обратно <нрзб.>. Верьте, что это нисколько меня не обидит. Издателю лучше знать, что печатать. К тому же я еще на положении полубольного, и голова работает вяло.

Жму Вашу руку
Искренно преданный Вам

Сергей Маковский

2.

Řevnice, villa Gareš 20 июня 1923

Praha
Tschekoslovakia

Многоуважаемый Яков Ноевич,

Написать текст для монографии о М.В.Добужинском[5], в указанный Вами срок, я согласен и готов приступить к работе немедленно. Но предварительно мне необходимо знать: 1) что Вы подразумеваете под "графикой" Добужинского, 2) получу ли я, скажем, в течение ближайших двух недель (не позже) оттиски хотя бы главных репродукций, которые пойдут в книге, 3) можно ли рассчитывать на получение полного списка графических работ Добужинского за годы революции (я думаю, ему самому не трудно было бы составить такой список), 4) на какие языки оставляете Вы за собой право перевода текста.

Что касается гонорарных условий (по 12 1/2 долларов за печатный лист), то я их принимаю, хотя и признаю очень скромными, если Вы включаете сюда же оплату на перевод французский и английский. Принимаю, потому что очень люблю Добужинского и мне будет приятно написать о нем... Подумайте только: три листа - 37 1/2 долларов, да ведь это, вероятно, продажная цена не более, чем пяти экземпляров книги во Франции или в Америке! Если же представить себе, что всего будет отпечатано, на трех языках, 3000 экземпляров - какой же это выходит авторский процент?

Я обыкновенно не протестую, когда вопрос идет о русском или немецком издании, ибо естественно "по одежке протягивать ножки"; но представить три листа, т. е. основную часть текста роскошно изданной книги, в полную собственность издательства, с правом печатать сколько угодно экземпляров, на каких угодно языках, - это, согласитесь, другое дело.

Во всяком случае тут нужна абсолютная **ясность** между нами, во избежание каких бы то ни было неудовольствий с моей или с Вашей стороны. Лучше всего, если Вы мне пришлете маленькое договорное письмо в двух экземплярах: одно из них я верну с моей подписью и, затем, по внесении обещанного аванса в 10 долларов, через П.А.Плетнева, я начну писать. Думаю, что при усидчивости я

буду в состоянии прислать Вам рукопись и **ранее** 15 июня. **Весь вопрос** в том, чтобы у меня была уверенность в сроках получения денег. Иначе приходится размениваться на спешные статьи в пошлых газетах. Не сочтите это за упрек с моей стороны, но до 16-го июня вторая половина гонорара за "Григорьева" не была Вами внесена, и первые 100 000 марок я тоже получил с опозданием, причинившим мне убытки... Я очень рад, что предисловие мое Вам понравилось, и более не вернусь к этому "пункту", но в дальнейшем мне бы хотелось быть уверенным, что Вы пойдете навстречу не моему авторскому капризу, а действительным материальным моим обстоятельствам.

В ожидании ответа остаюсь
искренне уважающий Вас

Сергей Маковский

P.S. Очень прошу Вас также прислать мне корректуру "Григорьева", как только будет она готова - для **буквенной** сверки к верстке, а переводы я **безусловно** должен бы просмотреть. Это в Ваших же интересах!

3.

Praha - Řevnice 6 авг<уста> 1923

Villa - Gareš

Многоуважаемый Яков Ноевич!

Благодарю Вас за список работ Добужинского. Значит ли это, что Вами исполнено и второе Ваше обещание о десяти долларах? Боюсь, по примеру недавнего прошлого, что Вы не спешите... Между тем, статью о Добужинском я не только начал, но довел уже до середины, примерно. Я рассчитываю закончить ее и отослать Вам до моего отъезда в Карпатскую Русь[6], т.е. до 15 июля. Следуя Вашему пожеланию, я готов заняться здесь и перепиской ее на машинке и тщательным исправлением, до отправки Вам. Но для того, чтобы все это осуществить гладко и быстро, необходимо, чтобы Вы со своей стороны пошли мне навстречу и согласились на следующие маленькие "пункты".

1) Уплатить мне дополнительно за переписку 50 моих страниц. Это составит, считая низшую здесь оплату переписчика, по 2 кроны со страницы = 100 кр<он>, плюс - бумага; словом: около трех долларов. Для круглого счета я скидываю и считаю:

Три листа (120 000 б<укв>)	37.50 дол<ларов>
Переписка	2.50 дол<ларов>
Итого	**40 дол<ларов>**

2) Сейчас же, по получении этого письма Вы вносите аванс в 10 дол<ларов> (как было условлено), а я - par retour du courrier[7] - пошлю Вам первую половину уже перестуканной и просмотренной рукописи.

3) Затем, ровно через неделю Вы получите и вторую половину, м.б. только с несколькими страницами недостуканными... но я бы хотел, чтобы **на следующий же день** по получении всей рукописи Вами были внесены для передачи мне остальные **тридцать долларов** валютой по следующему адресу: Русский книжный магазин "Родина", Kantstrasse 24, Charlottenburg, под расписку (или от Б.Н.Марковина, если он в Берлине, или же просто от кассира). Телефон: Steinplatz 112-93 (не совсем уверен). Эту расписку надо **вложить в конверт**, надписать мой адрес и отправить мне в Ржевницу... Я не хочу занимать Вашего времени, но мне необходимо, чтобы все было сделано именно так. Магазину "Родина" Вы можете вполне довериться. Я не думаю, что моя просьба в такой **точной** форме неисполнима (вопрос срока), ибо зная вперед, что рукопись **как бы уже получена** Вами к 15 июля, Вы можете приготовить американские бумажки и автоматически препроводить их в "Родину" **немедленно по получении второй части** моей рукописи.

4) Затем я очень прошу до набора дать Добужинскому, если возможно, просмотреть статью мою с точки зрения **верности дат и фактов**: я мог кое-что и перепутать.

Я пишу Вам все-таки длинную статью в 120 000 букв, потому что предполагаю, что иначе Вам **не распределить иллюстрационного материала** (м.б. еще больше понадобится!). Но ежели это неверно, черкните мне, и я **очень охотно** (!!) сокращусь на 40 000 букв (конечно, тогда на 1/3 и дол<лары> сократятся).

Ответьте мне, **пожалуйста**, открыткой в тот же день: согласны ли Вы на мой план и верьте в искреннее уважение мое и преданность.

Сергей Маковский

Примечания

1. Григорьев Борис Дмитриевич (1886-1939) - художник, с 1922 г. - в эмиграции. Речь идет о статье для книги: Григорьев Б. Boui-Boui au bord de la mer: Альбом рисунков со вступительной статьей С.Маковского и текстом М.Осоргина. Берлин. Петрополис, 1924. С.59. См: письма Б.Григорьева - Я. Блоху за 1923 г.: РГАЛИ. Ф. 2853. Оп.1. Ед. хр. 38.

2. Сведениями об этом лице мы не располагаем.

3. Свояченица (франц.)

4. Ничто (лат.)

5. Добужинский Мстислав Валерианович (1875 - 1957) - художник, с 1924 г. - в эмиграции. Речь идет о статье для книги: Графика М.В.Добужинского. Текст С.К.Маковского и Ф.Ф. Нотгафта. Берлин: Петрополис, (1924).

6. Маковский уделял много внимания искусству этого региона: в 1922 г. им была подготовлена экспозиция для прошедшей в Праге выставки "Искусство и быт Подкарпатской Руси", а в 1925 г. там же вышла на русском, чешском и французском языках его книга "Искусство Подкарпатской Руси".

7. По возвращении курьера (франц.)

Письма И.А.Бунина в издательство "Петрополис"

1. /20 июля 1934 г./

Это значит, шм‹уц›-титул[1]. Я сделал два шм‹уц›-титула - вот этот и перед "Солнечным ударом" (который и состоит из этих двух слов: "Солнечный удар"). Но стоит ли тратить две страницы на этот **второй** шм‹уц›-титул? Предлагаю его выкинуть, т.е. **непосредственно** соединить две книги, составляющие этот том, а вот этот, первый, изменить так: 1923-1926

Впрочем, это только мое **предложение.**

2. 27 июля 1934

Повторяю то, что написал на открытке, посланной Вам нынче (27 июля): первые четыре листа этой книги нужно не только исправить, но и переверстать (причем, эта переверстка крайне легка): нужно всего навсего слегка передвинуть, - сдвинуть текст, ибо разбивки между главами нужно **уменьшить** и сделать везде **одинаковой** величины, а кроме того уничтожить пустоту, образовавшуюся вследствие того, что я нынче решил (вместо всяких поправок) **совсем уничтожить** конец XIII-ой главы, начиная со слов: "Он читал о юге..." и т. д. - и кончая словами: "Между кипарисами". (Эта глава, значит, должна кончаться строкой: "в чужом и далеком московском мире!").

Повторяю, кроме того, просьбу: непременно прислать мне еще раз (вместе с титулом и шм‹уц›-титулом) эти первые четыре листа. **Править не буду** - только взгляну.

Что же до этих **новых 4 листов** (стр. 65-128), то, исправив, их можно печатать. Надо только помнить, что и их нужно будет слегка переверстать **в зависимости от того**, что будут переверстаны **предыдущие 4** листа.

Ив. Бунин

27.VII.34

3.

Villa Belvédère, Grasse, a.m. 28.VII.34

Милостивые государи,

Вчера послал Вам экспрессом корректуру 4 следующих листов "Митиной любви" (стр. 65-128) и извещение о моем новом решении насчет страницы 41-ой (в первых 4-х листах): я решил, вместо тех поправок в конце XIII-ой главы (на этой странице), которые я сделал **позавчера,** совсем уничтожить последний абзац этой главы. Я написал Вам об этом точно и ясно, но нынче испугался все-таки: поймете ли Вы меня как следует? Поэтому шлю Вам **наглядный** образец того, о чем писал вчера: имея, по счастью, второй экземпляр корректурных страниц первых 4-х листов, шлю Вам эту злос-

частную 41-ю страницу, чтобы Вы **видели,** что именно надо с ней сделать.

С почтением

Ив. Бунин

4. /июль (?) 1934/

Очень прошу присылать мне **каждый отпечатанный лист** - не для поправок, разумеется, а просто для моего спокойствия, чтобы я видел, что все сделано, как надо!

Этот первый лист, повторяю, можно будет печатать только после того, как я получу, посмотрю и подпишу к печати **титул!**

Ив. Бунин

5. /конец июля (?) 1934/

Набрать и напечатать на обороте титула:

Tous droits de reproduction, de traduction et d'adaptation réservés pour tous pays

Copyright 1934, by Ivan Bunin[2]

6. 19 октября /1934/

Вчера (18 окт‹ября›) я послал Вам исправленную корректуру тех первых страниц 1-го тома[3], которые Вы мне прислали. Нынче я решил сильно исправить текст той странички ("От автора")[4], которая идет тотчас после шм‹уц›-титула, - и вот посылаю ее Вам в этом исправленном виде **экспрессом.** Значит, **вчерашняя** корректура этой странички отменяется, выбросьте ее вон и сделайте то, что посылаю нынче.

Очень боюсь, как бы не напутали в типографии! Нарочно прилагаю переписанную от руки эту страничку.

С почтением

Ив. Бунин

7.

Письмо И. А. Бунина к Я. Н. Блоху

30 VIII 1946

Дорогой Яков Ноевич, был сердечно рад узнать, что Вы живы и благополучны. "Имка пресс" мне сообщает, что осталось "очень небольшое количество" моей книги "Лика", изданной Вами[5]. Будьте добры написать мне, свободен ли я переиздать ее? (Вы, вероятно, издательством больше не занимаетесь). Жду Вашего ответа и прошу Вас верить моим наилучшим чувствам к Вам.

Ваш Ив. Бунин

Примечания

1. В этом и четырех следующих письмах речь идет о печатании седьмого тома Собрания сочинений Бунина (вышел в 1934 г.), которое издавал "Петрополис". В том входили повесть "Митина любовь" и рассказы. К письму подклеена корректура шмуцтитула, на котором зачеркнуты напечатанные слова "Митина любовь" и вместо них Буниным вписано "1923-1926". На листе зачеркнутая карандашная надпись сотрудника издательства: NB! Срочно возвращать непосредственно в Берлин. Продолжение следует. 20.VII.34" и записка Бунина: "Исправить (обязательно сделав все мои поправки) и печатать (если берете на себя ответственность, что все будет сделано хорошо).

Первое письмо датируется на основании карандашной надписи сотрудника издательства, четвертое и пятое - весьма условно на основе их содержания.

2. Все права на перепечатку, перевод и переделку во всех странах мира закреплены за владельцем авторских прав Иваном Буниным, 1934.

3. Имеется в виду первый том Собрания сочинений, выпущенный в 1935 г. (тома выходили не в порядке номеров).

4. Краткое предисловие "От автора" содержало обоснование состава издания и было подписано: "Приморские Альпы. 1935".

5. См.: Бунин И. Лика. Брюссель: Петрополис, 1939.

Письмо Г.В.Иванова* к Я.Н.Блоху



Георгий Иванов и Ирина Одоевцева

Апрель 1936 **

24 rue Bois le Vent
Paris XVI

Дорогой Яков Ноевич,

Все собирался написать, чтобы поблагодарить Елену Исаковну[1] и Вас за гостеприимство, которым был очень тронут и которого никогда не забуду. Не мог этого сделать из Риги, т.к. потерял записку с адресом. С большим опозданием делаю это теперь и шлю Вам обоим самый нежный привет.

Желаете ли Вы издать мои стихи? Если переменили решение, то я обижаться не буду. Если же нет, то я могу с обратной почтой прислать "Избранные стихи". 26 новых + 40 из "Роз"[2] + 30 из старых. Это единственная комбинация, которую я хотел бы издать. Ни новую книгу, ни переиздавать "Розы". Я думаю, что при моем теперешнем имени экземпляров 300 непременно раскупят. Но у меня есть еще претензия, чтобы книга не стоила очень дешево. Тем более что "Розы" продавались уже через три-четыре месяца по 25 франков, а сейчас я знаю несколько человек, которые покупали по 100.

Подумайте и ответьте. 100-120 страниц. Маленький формат. Хорошая бумага. Хорошо бы папку или переплет[3].

Теперь самое нахальное: если Вам не трудно, купите и пришлите мне 5-6 тубиков - **лиловая упаковка** с золотом Schwanenweiss -

---

* Георгий Владимирович Иванов (1894 -1958) - поэт, прозаик. В дореволюционные годы был близок к акмеистам. С 1922 г. - в эмиграции. Жил в Берлине, Париже, временами - в Риге. Автор десяти поэтических книг, романа "Третий Рим" (1931), воспоминаний "Петербургские зимы" (1928) и литературных портретов поэтов-современников.

** Письмо датируется по штемпелю на конверте.

EF - крем для веснушек. Это необходимо известному писателю И.Одоевцевой[4] от веснушек, здесь нет. Если будете посылать, то пошлите двумя пакетиками и напишите Echantilon S. Valeur[5] и сообщите, сколько заплатили и прислать ли Вам деньги или какую-нибудь вещь в обмен.

Простите за беспокойство. Папа кланяется сердечно Вам и Е.И.

Преданный Вам

Георгий Иванов

Проза моя будет готова - если не помру - осенью непременно.

Примечания

1. Жена Я.Н.Блоха.
2. См.: Иванов Г. Розы: Стихи. Париж: Родник, 1931.
3. Книга была издана: Иванов Г. Отплытие на остров Цитеру; Избранные стихи 1916-1936. Таллин: Петрополис, 1937.
4. Одоевцева Ирина Владимировна (урожденная Ираида Густавовна Гейнике, 1901-1990) - поэтесса, прозаик, жена Г. Иванова. С 1922 г. - в эмиграции., в 1987 г. вернулась на родину.
5. Образец, высылается бесплатно (франц.)

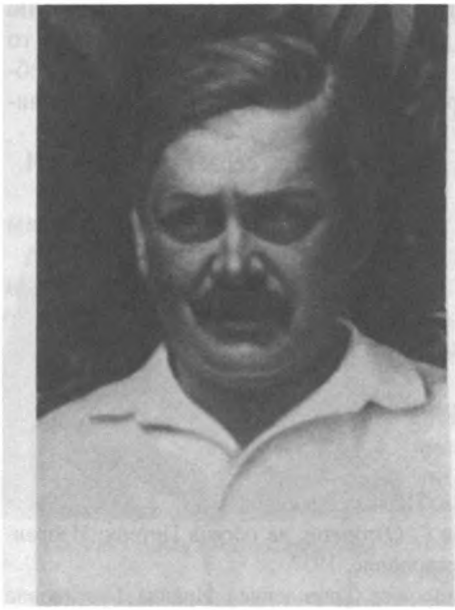
Письмо М.Алданова* к Я.Н.Блоху

16 avenue Georges Clemenceau, Nice, A.M. 3 августа 1947

Многоуважаемый Яков Ноевич,

Б.И. Элькин[1] сообщил мне, что Вы были бы склонны издать по русски мой последний роман "Истоки", кончающийся убийством Александра II и печатавшийся (не в полном виде, а в отрывках) в "Новом журнале" (книги 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)[2]. Я был бы этому очень рад. Роман осенью выходит по английски, как и преж-

* Алданов Марк (Ландау Марк Александрович) (1886-1957) - прозаик, с 1919 г. - в эмиграции.



М. А. Алданов

де, у Скрибнера[3] (под названием "Перед потопом"); будут, вероятно, и другие иностранные переводы, но русских издательств кроме ИМКА не осталось в эмиграции. Не будете ли Вы добры сообщить мне, что именно теперь у Вас есть: типография, аппарат? Роман мой длинный, в нем будет по русски около 800 страниц. Следовательно, его издать надо было бы в двух книгах, если не в трех. Однако это не то, что в моей тетралогии, которая состояла из **нескольких** романов, по разному называвшихся: "Девятое Термидора", "Чортов мост" и т.д.[4] Это именно один роман с одним заглавием, но в двух томах (по английски он выйдет в одном большом томе, но я для иностранных изданий всегда сокращаю мои книги, так как не все в них понятно и интересно иностранцам). Сколько экземпляров Вы хотели бы отпечатать? По какой продажной цене? Вы верно знаете, что "Девятого Термидора", вышедшего четырьмя изданиями, было по русски продано около семи тысяч экземпляров (три издания "Слова" и одно "Иллюстр<ированной> России"). Теперь, конечно, условия не те, и я печатал бы 1500 экземпляров, сохранив матрицу. Каковы были бы Ваши условия? Я **всегда** все свои книги во **всех** странах продавал с авансами, а теперь это особенно важно, так как и франк может обесцениться, и деньги мне во Франции нужны.

Буду ждать Вашего ответа[5]. Шлю Вам самый искренний привет. Рад буду повидать Вас. Не приезжаете ли во Францию?

Преданный Вам

М. Алданов

У меня есть только один экземпляр "Истоков": то, что было напечатано в "Новом журнале", в оттисках, а остальное - в рукописи на машинке. Но Вы, конечно, можете найти книги "Нового журнала" у русских в Швейцарии. Имеет их, например, Е.Д.Кускова[6].

Примечания

1. Сведениями об этом лице мы не располагаем.
2. Указанные номера журнала вышли в 1943-1946 гг.
3. Скрибнер Чарлз (1890-1952) - известный американский издатель.
4. См.: Алданов М. Девятое Термидора. Берлин: Слово, 1923; 2-е изд. - Берлин: Слово, 1928; 3-е изд., испр. и доп. - Таллин: Иллюстр. Россия, 1937; Чертов мост. Берлин: Слово, 1925; 2-е изд. - Таллин: Илл. Россия, 1937; Заговор. Берлин: Слово, 1927; Святая Елена, маленький остров. Берлин: Нева, 1923; 2-е изд. - Берлин: Слово, 1926.
5. Роман "Истоки" был выпущен издательством ИМКА-пресс в 1950 г. в двух томах.
6. Кускова Екатерина Дмитриевна (1869-1958) - публицист и политический деятель. В 1922 г. была выслана за границу. Жила в Праге, потом в Женеве, активно сотрудничая в эмигрантской печати.



М. О. Цетлин

Евреи и еврейский вопрос в парижском журнале "Современные записки"

Виктор Кельнер
(Санкт-Петербург)

В дни, когда от берегов Крыма отходили последние корабли, увозившие в эмиграцию "белую Россию", в Париже вышел в свет первый номер журнала "Современные записки". В уведомлении от редакции говорилось, что журнал "посвящен прежде всего интересам русской культуры" и "...открывает свои страницы - устраняя вопрос о принадлежности авторов к той или иной политической группировке - для всего, что в области ли художественного творчества, научного исследования или искания общественного идеала представляет объективную ценность с точки зрения русской культуры"[1]. На титульном листе стояли имена пяти учредителей: И.И.Фондаминский (Бунаков), В.В.Руднев, Н.Д.Авксентьев, А.И.Гуковский, М.В.Вишняк. Для человека, не приобщенного к русской общественной и литературной жизни начала века, могло показаться несколько неожиданным то, что, во-первых, все создатели нового "внепартийного" органа были известными деятелями партии социалистов-революционеров, а во-вторых, из пяти радетелей русской культуры трое были евреями: Фондаминский, Гуковский, Вишняк.

Не востребованная на родине, сохранившая все те традиции духовности, которыми было так богато последнее предреволюционное десятилетие, русская интеллигенция и теперь пыталась отстоять свои идеалы. В новых условиях для этого требовалась определенная степень единства. Журнал начал выходить на субсидии правительства молодой Чехословацкой республики. Название журнала родилось из соединения имен двух его великих предшественников XIX в. - "Современника" и "Отечественных записок".

Всего свет увидели 70 томов[2]. Журнал выходил до 1940 г. с разной периодичностью. Дороговизна бумаги и типографских работ

заставили переносить на время печатание из Парижа в Берлин. Неизменной оставалась лишь демократическая, общегуманистическая линия руководства "Современных записок". На его страницах был представлен весь цвет русского Серебряного века: Амари, Л.Андреев, К.Бальмонт, А.Белый, И.Бунин, М.Волошин, З.Гиппиус, Б.Зайцев, Е.Замятин, Вяч.Иванов, В.Короленко, Н.Минский, А.Ремизов, Н.Тэффи, В.Ходасевич, И.Шмелев. Среди ученых и публицистов достаточно упомянуть имена нескольких постоянных авторов, чтобы оценить, какие силы сосредоточились в этом журнале: Ю.Делевский, Дионео, Л.Карсавин, А.Кизеветтер, С.Лурье, П.Сорокин, Л.Франк, Л.Шестов. Высокий уровень публикаций привлек в "Современные записки" эмигрантскую молодежь. Впервые на его страницах появились имена М.Алданова, Г.Газданова, Д.Кнута. Практически в каждом номере журнала участвовали и его учредители. С развернутыми статьями, а то и с целыми книгами выступали И.Фондаминский, М.Вишняк. Значительное количество рецензий и заметок опубликовали в нем В.Руднев и Н.Авксентьев.

Среди пятерых учредителей журнала наиболее яркой фигурой являлся Илья Исидорович Фондаминский.

Уроженец Москвы, он вырос в богатой религиозной семье. Его отец был компаньоном известной чаеторговой фирмы Высоцкого. Уже в гимназические годы Фондаминский присоединился к одному из молодежных народнических кружков. Окончив университет в Германии, Фондаминский принял деятельное участие в нелегальной работе партии социалистов-революционеров. В период революции 1905-1907 гг. он был одним из лидеров московских эсеров, сражался на баррикадах в декабре 1905 г., был арестован и судим военным судом в 1906 г. после подавления восстания матросов на крейсере "Память Азова", счастливо избежал смертной казни и эмигрировал во Францию[3]. Из года в год Илья Фондаминский избирался в состав Центрального комитета, редактировал и издавал газеты и журналы партии, писал пропагандистские и теоретические статьи. Он был одной из самых колоритных личностей русской политической эмиграции. В свое время, при вступлении в партию, он передал ей значительную часть своего наследства[4]. Его друзьями детства были многие видные политические деятели той эпохи, в том числе Абрам Гоц и Владимир Зензинов. В эмиграции близкие личные отношения связывали Фондаминского с Борисом Савинковым, Зинаидой Гиппиус, Дмитрием Мережковским[5]. Сразу после Февральской революции он вернулся в Россию и с головой

ушел в политическую борьбу, вновь став членом Центрального комитета партии социалистов-революционеров, комиссаром Временного правительства на Черноморском флоте, депутатом Учредительного собрания. Октябрьский переворот, а затем разгон Учредительного собрания, заставили Фондаминского уйти в подполье, а позднее по приказу партии он нелегально пробрался на юг России, стал одним из представителей эсеров в "Союзе Возрождения" и присоединился к демократическому крылу белого движения. Поражение в гражданской войне, а также невозможность сколь-либо прочного союза с консервативно-монархическим большинством антибольшевистских сил привели его вновь в Париж.

Издание "Современных записок" стало основным занятием Фондаминского в 20-30-е годы. Человек энергичный, наделенный практической сметкой, он вел деловую сторону журнальной жизни и обеспечил своему детищу хоть и трудную, но долгую жизнь.

Как вспоминал И.Гессен, стоявший во главе газеты "Руль" и "Архива Русской революции", Фондаминский фактически возглавлял демократическое крыло парижской эмиграции. Кроме "Современных записок" он руководил или входил в редакции таких известных эмигрантских изданий, как "Новый град", "Новая Россия", "Круг", участвовал в деятельности литературно-философского объединения "Зеленая лампа". Гессен писал: "Фондаминский делает это самозабвенно, любовно, всегда бодро и весело, и, что особенно редко встречается, интерес общественный, любовь к дальнему дружно уживается с вниманием к ближнему, и все прибегают к нему в уверенности, что не уйдут без совета, без помощи, и никогда в этой уверенности не обманываются"[6].

Н.А.Бердяев отзывался о нем как о человеке "исключительно активном, жаждущем осуществления социальной правды"[7]. Самыми добрыми словами вспоминали о Фондаминском не только люди старшего поколения, помнившие его еще с дореволюционной поры, но и молодое поколение русских писателей и поэтов, пришедшее в литературу уже в эмиграции[8].

Через его руки проходил практически весь подготавливаемый к публикации материал. Сам же Фондаминский систематически печатал в журнале очерки, в которых стремился осмыслить исторический путь, пройденный Россией, этапы развития русской общественной мысли. Фондаминский принадлежал к тому поколению русских евреев, что полностью отдавшись борьбе за социальное об-

новление мира, фактически отрешились от своих национальных корней. Более того, в своих исканиях некоей абсолютной социальной истины Фондаминский ближе всего подошел к христианству и, по некоторым сведениям, даже крестился. Собственно говоря, национальные проблемы вообще и еврейские, в частности, очень мало занимали его. Как и многие социалисты-революционеры и социал-демократы той эпохи, Фондаминский был убежден, что национальные проблемы разрешатся сами собой по мере решения проблем социально-экономических.

Антисемитизм был постоянным фоном, на котором проходила жизнь русской эмиграции. Он был всего лишь продолжением все того же нескончаемого спора по еврейскому вопросу, что начался в России еще в 60-е годы XIX в. и, то затухая, то вспыхивая вновь, продлился вплоть до революции, а затем был перенесен и за рубеж. Однако оказалось, что это мало задевало Фондаминского, ведь в круг "Современных записок" юдофобы не допускались. У них были свои литературные прибежища типа "Двуглавого орла", "Призыва" или "Нового слова". Расцвет антисемитизма в Европе в 30-е гг. и, наконец, оккупация Германией Франции расставили все на свои места. Фондаминский погиб как еврей в гитлеровском лагере.

Я уже отмечал, что учредители журнала были людьми, хорошо знавшими друг друга по работе в партии эсеров. Особенно давнее знакомство связывало И.Фондаминского и М.Вишняка. По воспоминаниям М.Вишняка, он познакомился с Ильей Фондаминским еще в конце XIX в., когда они детьми посещали один молитвенный дом в Глебовском подворье московского Зарядья.

И в дальнейшем их жизненные пути не раз пересекались. Вишняк писал: с 1905 г., со вступления в партию эсеров, "... мне приходилось общаться с Фондаминским уже по 'партийной линии' - он был 'комитетчик', я же только через полгода попал в тот же комитет московской организации п.с.-р. Вместе мы провели дни московского восстания в декабре пятого года, подвергаясь одинаковому риску и опасностям. Оба были на 1-м съезде партии на Иматре"[9]. В дальнейшем их пути разошлись. Фондаминский был вынужден отправиться в эмиграцию, а Вишняк оставался в России, не раз подвергался арестам и ссылкам, учился, выступал в печати, вел общественную работу. Вновь встретились в 1917 г. Оба вошли в руководство партии социалистов-революционеров, были избраны

в Учредительное собрание. После его разгрома вместе скрывались от преследований[10].

При всей схожести их биографий, как личной, так и идейной, между Фондаминским и Вишняком было и существенное отличие, не имевшее, видимо, для современников особого значения, - Вишняк и в революционно-ассимиляционной среде тех лет оставался евреем не только по происхождению. Не будучи ортодоксальным иудеем, он все же соблюдал воспринятые с детства некоторые религиозные традиции, владел древнееврейским языком[11]. Судьбы евреев в России, их экономическое, юридическое и политическое положение постоянно интересовали его. Им он посвятил ряд специальных работ. Дважды в свет, в 1907 и 1917 гг., выходила его книга "Положение евреев в России". Этот интерес сохранил Вишняк и впоследствии, когда стал одним из руководителей и авторов "Современных записок". В журнале им было опубликовано более 100 статей и рецензий. Как вспоминал сам Вишняк, "главной мишенью, или 'врагом N1', был и оставался для меня все 20 лет большевизм и большевики. О чем бы я ни писал, а писал я о многом и разном, я всегда возвращался к этому первичному злу, которое отравляет политическую атмосферу во всем мире"[12]. Он не публиковал в журнале специальных работ по еврейскому вопросу, но "еврейские мотивы" присутствовали во многих его статьях.

На протяжении первых пяти лет существования журнала значительная часть организационно-издательской работы легла на плечи Александра Исаевича Гуковского.

Он был старше по возрасту остальных соучредителей журнала. Выходец из культурной еврейской среды, он еще в 80-е годы XIX в., будучи студентом юридического факультета Московского университета, приобщился к активной политической деятельности в рядах народнических организаций[13]. Гуковский неоднократно арестовывался, бывал в ссылке. В начале XX в., с созданием партии социалистов-революционеров, он вступил в ее ряды и отдавал все свои силы литературному делу партии. Он редактировал газеты "Жизнь Юга", "Воля народа", возглавлял юридический отдел "Дела народов", сотрудничал в "Русском богатстве". После Февральской революции был избран в Учредительное собрание. В период гражданской войны входил в "Верховное управление Северной области", возглавляемое его старым соратником по народническому движению

Н.В.Чайковским, был городским головой Архангельска. После ухода правительства Чайковского и начала террора консервативно-монархически настроенного белого офицерства Гуковский эмигрировал в Париж.

В "Современных записках" он отвечал за техническо-издательскую и организационную сторону дела, но как автор выступал нечасто. Гуковский мучительно переживал крах многих народнических иллюзий и более других - мифа об особом социалистическом характере русского крестьянства[14]. Собственный опыт времен "русского бунта" потряс его до глубины души. В январе 1925 г. А.Гуковский покончил собой. В оставленном предсмертном письме были и такие слова: "... не стало упругости, нет веры в себя, одна гордость, но нет силы жить"[15]. В некрологе, написанном Н.Д.Авксентьевым, отмечалось: "По своему душевному складу и облику Александр Исаевич Гуковский был русским интеллигентом в лучшем значении этого слова"[16]. Добавим от себя - это был типичный представитель целого поколения русско-еврейских революционеров, со всей их беззаветной преданностью идеям социализма, идеализмом, иллюзиями и самопожертвованием.

Кроме основных пяти редакторов большую роль в журнале играл Михаил Осипович Цетлин (Амари). Он заведовал отделом поэзии, написал сотни рецензий, в основном на произведения русской поэтической эмиграции, сам был одним из известных поэтов. Благодаря ему в журнал пришли такие признанные авторы, как В.Ходасевич, М.Цветаева, Н.Минский, Вяч.Иванов. Он оценил и помог обрести себя новому поколению русско-еврейских поэтов, привлек в "Современные записки" Довида Кнута, Раису Блох, Михаила Горлина, Ноэми Ландау, Лазаря Кельбрина.

Особенно близким журналу стал Марк Алданов (Ландау). Он не только опубликовал в "Современных записках" свои основные произведения, но, отказавшись от поста главы литературно-художественного отдела, на протяжении многих лет, был постоянным консультантом, советником и рецензентом редакции.

Евреи в редакции и в авторском коллективе "Современных записок" играли заметную роль, и в то же время еврейская тема не доминировала в журнале. Они не стремились выделять еврейский вопрос из череды других проблем духовной жизни тех лет. И это состояние национальной индифферентности продлилось для многих вплоть до трагических катаклизмов 30-х годов.

М.О.Цетлин писал: "Нельзя стоять ни лицом, ни спиной к России, как нельзя стоять лицом или спиной к самому себе. Каждый русский есть Россия. Россия это миллионы русских, с их прошлым и настоящим. Из бесконечных устремлений этих миллионов слагается то, что есть Россия. Пора перестать и нам самим и нашим врагам твердить, что мы 'народ, да не тот'"[17].

В первое десятилетие существования журнала его авторами были в основном те, кто приобрел известность в мире литературы и журналистики еще в предреволюционные годы. Тогда еврейская тема на русском языке воплощалась в творчестве Семена Фруга, Осипа Дымова, Давида Айзмана, Семена Юшкевича, Владимира Жаботинского. В российское искусство и литературу входила целая плеяда молодых авторов, евреев по происхождению, но уже полностью воспитанных на русской и европейской культуре: Саша Черный, Борис Пастернак, Осип Мандельштам. Тот же процесс происходил и в живописи, театре, критике, журналистике, науке. Это вызывало неоднозначную реакцию в обществе. "Еврейская тема" постоянно дебатировалась в печати. Как бы по инерции некоторые авторы "Современных записок" перенесли и сюда отголоски былых споров. По крайней мере тогда еще не приходило в голову обходить стороной еврейское происхождение, национальные истоки и импульсы творчества того или другого автора. Так Борис Зайцев в некрологе, посвященном Семену Юшкевичу, умершему в эмиграции в Германии, приводит слова Юшкевича, обращенные к нему и Ивану Бунину: "Вам хорошо, Вы рождены Москвой, а я Одессой". И Зайцев соглашается с ним, добавляя: "Сам-то он очень ярко и сильно выражал южно-русский народ, русско-еврейский - и в этом была главная его сила, как художника". Далее Зайцев защищал Юшкевича: "Юшкевич, будучи евреем, нередко будто бы евреев задевал в своем писании, давая так называемые 'отрицательные типы' (Леон Дрей) и даже, кажется, в еврейских кругах это ему ставили в минус ... у Юшкевича была сатира - но подо всем этим, конечно, пламенная, кровная, органическая любовь к своему народу". Анализируя последние произведения Юшкевича, созданные уже в эмиграции, Зайцев писал: "В каждой еврейской душе есть тоска по Земле Обетованной и горечь безродности. Для Юшкевича жизнь так сложилась, что на склоне лет солнечная и веселая, разноязычно-пестрая и яркая Одесса была отнята у него, и плач стал еще пронзительней"[18].



В. В. Руднев
1879-1940



Н. Н. Фондаминский-Бунаков
1880-1942



А. И. Гуковский
1865-1925



Н. Д. Авксентьев
1878-1943



М. В. Вишняк
1883-

ASSOCIATION DE LA BIBLIOTHÈQUE RUSSE

Редакторы "Современных записок".
Из архива Тургеневской библиотеки в Париже

Национальные истоки выделяет и Н.Минский в статье об исканиях философа Льва Шестова. В частности, он приходит к мысли, что наличие в работах Шестова антирелигиозных мотивов это "что-то вроде личных воспоминаний о методах борьбы с инакомыслием в еврейской религиозной школе"[19].

Еврейское происхождение своего героя подчеркивает и Владимир Ходасевич в эссе о Михаиле Гершензоне. Попутно он представляет Гершензона человеком, для которого научная объективность выше всего. Так Ходасевич рассказывает об эпизоде, происшедшем между Гершензоном и литературоведом С.П.Бобровым. Последний прислал Гершензону, признанному авторитету, свою книгу "Новое о стихосложении Пушкина". Книга была демонстративно завернута в номер газеты "Земщина" с антисемитской статьей того же Боброва. Причем статья была обведена красным карандашом. Ходасевич специально описывает спокойную реакцию Гершензона на этот демарш - он как ученый "отделял убеждения Боброва от его способностей пушкиниста"[20].

В 1930 г. в Париже на русском языке вышел в свет роман А.Высоцкого "Суббота и Воскресенье". В нем дана панорама еврейской жизни в России в начале XX в. В "Современных записках" его рецензировал М.Цетлин. И он не удержался от упрека автору в том, что тот, описывая столкновение героя - еврейского юноши - с жестокостью русской жизни, создает впечатление об отечественном антисемитизме как явлении всепроникающем, охватывающем все слои общества. В рецензии говорилось: "В то время, как евреи описаны изнутри, с сочувствием и любовью, русские даны чисто внешне. Мы не сомневаемся в добросовестности автора. Книга субъективно правдива, он писал о том, что видел, лишь слегка преувеличивая по свойству своего дарования. Но внешняя правда порой хуже злейшей лжи! Если бы русский так описал свои столкновения с евреями-комиссарами в нынешней России, его справедливо обвинили бы в антисемитизме. 'Суббота и Воскресенье' может вызвать обвинение во вражде ко всему русскому. Его тема может быть понята как столкновение еврея-идеалиста с русской жестокой стихией. Читатель может забыть, как это, вероятно, забыл и автор, что самый этот идеализм тоже продукт русской культуры"[21]. Но в целом Цетлин не отрицает наличие особого еврейского мироощущения. В рецензии на исторический роман "Самсон Назорей" Владимира Жаботинского, ставшего лидером радикального

течения в сионизме, Цетлин отмечал, что это книга "не только журналиста, но и национального вождя. У автора есть умное, любовное, но трезвое понимание еврейского народа, его достоинств и недостатков. У него обостренное внимание к сопровождавшей еврейский народ на всем долгом историческом пути проблеме, к вопросу об ассимиляции. Ведь трагедия Самсона изумительно близка к трагедии современного еврея. Это трагедия любви к чужим и кровной связи со своими"[22].

Из целой группы первоклассных поэтов Цетлин явно выделял молодого Довида Кнута. В отзыве на его сборник "Вторая книга стихов" (Париж, 1928) он писал: "Этот поэт, пишущий на русском языке, порою ощущает себя библейским евреем"[23]. Среди нескольких десятков стихотворений, опубликованных Д.Кнутом в "Современных записках", отметим его строчки, ставшие хрестоматийными:

Особенный еврейско-русский воздух.
Блажен, кто им когда-либо дышал[24].

В отличие от большинства пишущих по-русски еврейских поэтов Д.Кнут не утратил вместе с языком национальные интонации. Это не преминула подчеркнуть Зинаида Гиппиус:

Словно отрок древне-еврейский,
Заплакал стихом библейским
И плачет и плачет Кнут...[25]

Современники отмечали, что поэт настаивал на своем еврействе, гордился этим:

Я,
Довид - Ари бен Меир,
Сын Меира - Кто - Просвещает - Тьмы...,

хотел сказать свое слово "про тяжкий груз Любви и тоски - Блаженный груз моих тысячелетий"[26].

Я уже подчеркивал, что "Современные записки", прежде всего, факт русской культуры, и еврейская тема звучит в журнале почти исключительно во взаимосвязи с этой культурой. Специально общееврейским проблемам посвящено совсем немного материалов. Одним из них является статья М.Бейлинзона "Идеология нового еврейства", анализирующая философию Мартина Бубера. Под "но-

вым еврейством" Бейлинзон имел в виду те поколения, что родились уже после того, как в ходе XIX в. евреи Европы "вышли из гетто" и стали важнейшим фактором экономической, общественной и культурной жизни[27]. Резюмируя точку зрения Бубера, автор солидаризируется с ним в том, что "отдельная личность сильна, продуктивна только в органической связи со своим народом, и слабость современного еврейства заключается в частичной или полной потере этой связи, еврей может снова стать продуктивным и творческим, только найдя снова дорогу к вековым традициям еврейства и переживая их как свои собственные..."[28]

В журнале отмечались не только литературные достижения еврейско-русской эмиграции, но и события, связанные с другими сторонами ее культурной жизни. Так В.Вейдле в статье "Монпарнасские мечтания" отвел значительное место анализу тогдашнего состояния еврейской живописи. По мнению автора, в живописи Писсаро, Модильяни, М.Либермана не было ничего еврейского. В. Вейдле неожиданно объявляет участие евреев в художественной жизни в начале века "довольно вредным, так как они усилили те элементы брожения и распада, которые начали появляться к тому времени в живописи французской и европейской". Он даже считал, что "иные еврейские художники и до сих пор продолжают играть разлагающую роль, естественную потому, что никаких собственных живописных традиций у него (еврейского народа. - *В.К.*) не было и не могло быть. Можно добавить, что некоторая настроенность, неархитектурность всегда была свойственна многим проявлениям еврейского духа..." Вот такие, несколько неожиданные, положения выдвинул В.Вейдле в этой статье. Правда, в дальнейшем автор более благожелательно отнесся к современному ему этапу творчества Паскина, Шагала и Сутина. В финале статьи он задавался вопросом: "Определится ли до конца в своем единстве еврейская живопись, будет ли она чем-то похожим на то, чем стала современная еврейская поэзия на древнееврейском или на новоеврейском языке - сказать трудно. Но во всяком случае, это единственная живопись в современной Европе, где вместо процесса разложения национального искусства происходят процессы образования его"[29].

Но, бесспорно, главной проблемой при рассмотрении русско-еврейских отношений для любого органа печати той эпохи была роль евреев в революции. И "Современные записки" не были исключе-

нием. Эта тема поднималась в публицистических произведениях Марка Алданова. Исходя из того, что Алданов был не просто одним из авторов, а человеком близким к руководству журналом, можно предположить, что писатель выражал точку зрения, которая в целом совпадала с мнением редколлегии. Алданов не замалчивал активной роли, сыгранной евреями в политических катаклизмах революции и гражданской войны. Но он, во-первых, пытался разобраться в причинах поддержки, оказанной большевикам со стороны значительной части еврейского населения, а во-вторых, показывал и тех евреев, которые не только не приняли новую власть, но и активно ей противодействовали. В очерке, посвященном Леониду Каннегисеру, Алданов подробно останавливается на психологических аспектах осуществленного молодым поэтом террористического акта против Моисея Урицкого. Как одну из главных причин этого покушения Марк Алданов выделяет "чувства еврея, желавшего перед русским народом, перед историей противопоставить свое имя именам Урицких и Зиновьевых"[30].

С тех же позиций рассматривал эту проблему и М.В.Вишняк. Уж кому как не ему, участнику борьбы с большевизмом, было знать имена тысяч евреев-эсеров, кадетов, сионистов, социал-демократов, не только не принявших октябрь 1917 г., но и оказавших сопротивление новой власти. Распространение мифа о большевистской революции как о "чисто еврейском деле" волновало еврейско-русскую эмиграцию. В рецензии на опубликованные в Берлине мемуары выдающегося еврейского историка и политика Шимона Дубнова "Книга жизни" М.Вишняк полностью разделяет его точку зрения на то, что "активное участие евреев в революции предрекает неминуемую трагедию еврейского народа России"[31].

В "Современных записках" неоднократно публиковались материалы, направленные против имевших широкое хождение в эмигрантских кругах представлений о существующем будто бы в Советской России "еврейском засилье". Так, в рецензии на вышедшую в Берлине в 1932 г. и сразу же ставшую популярной книгу известного невозвращенца С.Дмитревского "Советские портреты" резкой критике была подвергнута попытка автора противопоставить членов Политбюро ВКП(б) Сталина, Молотова, Ворошилова, Куйбышева и Андреева как "истинно русских патриотов" некоей "еврейской группировке" и перевести внутрипартийную борьбу в разряд межнационального противостояния. В описании Дмитревского Л.Троцкий

стал революционером только потому, что "на него давила его принадлежность к еврейскому народу", что, по убеждению автора, породило в нем "болезненные стремления к власти именно в России и над Россией". Л.Каганович, по Дмитревскому, "вошел в революционную партию из ненависти не только к старому строю, но к русской нации"; Литвинов "серой, убогой России не любит вообще"; Ярославский "довел дело борьбы с христианством до самых крайних пределов, потому что это был лучший способ уничтожить лицо русской нации..."[32] В статье об этой книге рецензент справедливо задается вопросом, почему же С.Дмитревский, с его взглядами и при том, что к концу 20-х годов власть в стране находилась уже в руках "истинно русских патриотов от коммунизма", все же выбрал путь эмигранта.

Не прошла мимо темы "евреи и революция" и М.Цветаева. Вскоре после ее отъезда из России она напечатала в "Современных записках" большой мемуарный очерк "Вольный проезд". В нем воссоздается образ евреев, которые активно участвуют в гражданской войне, а точнее - в реквизициях, регулярно производимых отрядом, в который они входят. При этом один из них - Левит - это "идейный коммунист", а другой - Каплан - просто пользуется "большевистским прикрытием" для легального грабежа. Особенно отвратителен созданный Цветаевой образ матери Каплана, бывшей владелицы швейной мастерской, стремящейся использовать благоприятный момент и обогатиться. Очерк можно было бы расценить как антисемитский, если бы в нем не была создана галерея не менее омерзительных портретов русских солдат и командиров этого подразделения. При этом Цветаева, кажется, специально подчеркивает "природный", естественный антисемитизм русских в этом отряде. По-видимому, этот очерк проходил в редакции не без колебаний: в том же томе помещено написанное еще в 1916 г. известное стихотворение поэтессы "Евреям" с его концовкой:

По всей земле - от края и до края -
Распятые и снятые с креста.
С последним из сынов твоих, Израиль,
Воистину мы погребем Христа![33]

Пропаганде идей о "всесилии" евреев в "завоеванной ими России" противостояли многие произведения, публиковавшиеся в "Современных записках". Н.Д.Авксентьев в отзыве о книге В.В.Шуль-



Ю. Терапиано, Д. Кнут, В. Ходасевич. Париж, 1926 г.

гина "Три столицы. Путешествие в Красную Россию" назвал его приступы антисемитизма "нелепыми, злобными и жалкими"[34].

На рубеже 20-30-х годов у части русской эмиграции явственно стал проявляться интерес к германскому фашизму с его антисемитским запалом. В 1933 г. М.Вишняк посвятил специальную статью анализу гитлеризма. В ней, в частности, он писал: "Едва ли не наиболее культурный из 'русских националистов', П.Б.Струве доказывал как-то, что к политическим вопросам не следует подходить непременно с точки зрения еврейского вопроса. Отвлеченно рассуждая, Струве, может быть, и прав. Но жизненно - он жестоко ошибся. Германские события лишний раз показали взаимозависимость, существующую между "еврейским вопросом" и вопросами общей культуры и права, войны и мира. Эта взаимозависимость существовала в царский период русской истории, дала себя болезненно чувствовать в период гражданской войны, сказывается она и сейчас в 'пореволюционных' настроениях в России и эмиграции. Бывают редкие случаи, что отрицающие права человека и гражданина не впадают в вульгарный антисемитизм... не бывает зато обратного: антисемитизма, исходящего из политической свободы. В

этом смысле 'еврейский вопрос' является подлинной лакмусовой бумажкой, проявляющей отношение к демократии"[35].

Политическое чутье подсказывало устроителям журнала - видимая активность и "благополучие" евреев в Советской России - явление временное. Антисемитизм - формально объявленный вне закона, не только не исчез, а наоборот, уйдя на время из сферы государственной политики, накапливал мощный потенциал, питаясь как старыми "идейными" запасами, так и возбуждаемый неумными, бестактными действиями властей в решении национальных проблем в стране. Первые упоминания об антисемитизме в стране появились, кажется, в 1922 г. в очерке "Пестрые картинки" Е.Кусковой, высланной из СССР известной общественной деятельницы. Вспоминая о своей встрече с чекистами во время ареста, она приводит их юдофобские высказывания[36]. То, что "большевики широко и глубоко культивируют антисемитские настроения", было аксиомой и для М.Вишняка. Но он же подчеркивает, что "все-таки в кинетическую энергию эти настроения не переходят; при большевиках петлюровских и деникинских погромов нет и только при них погромов и не будет..." - к такому несколько неожиданному выводу приходит он в конце статьи[37].

Самой глубокой работой на эту тему был опубликованный в 1928 г. очерк известного экономиста и социолога Б.Бруцкуса "Еврейское население под коммунистической властью". В нем на основании многочисленных, тогда еще не закрытых статистических обследований, публикаций документов еврейских организаций Белоруссии и Украины, материалов прессы был сделан однозначный вывод: ликвидация нэпа - это смертельный удар по еврейскому населению. Автор отмечал, что введение новой экономической политики, когда евреи активно и повсеместно слились в мелкую и среднюю торговлю и кустарную промышленность, вызвало рост бытового антисемитизма. Теперь же государственное удушение нэпа поставило большинство евреев в необыкновенно тяжелые условия. Налоговый пресс привел к разорению частной торговли и ремесла - основы национальной экономики евреев страны. Одновременно сохранение социальных ограничений для "выходцев из этой чуждой пролетариату среды" сделало две трети евреев бесправными не по национальному, а по социальному признаку. Б.Бруцкус внимательно анализирует проблемы, возникшие из-за активного участия евреев в революции и гражданской войне. Он отмечал, что "первое появ-

ление евреев на высоких постах относится к начальным стадиям коммунистической революции, когда немногочисленные интеллигенты, входившие в состав партийной верхушки большевиков, в немалой части и евреи, распределили между собой важнейшие функции государственного управления". Далее Бруцкус подчеркивает тот факт, что "молодые еврейские комиссары не были, подобно своим русским товарищам, ни морально, ни интеллектуально подготовлены для несения тех ответственных обязанностей". Их появление в структурах власти в годы, когда "грубейшее насилие считалось нормальным методом управления, оставило глубокий след в психологии народных масс". Все это, по его мнению, заложило основы особого, "советского" антисемитизма. Экономический анализ позволил Бруцкусу заключить, что "интересы еврейского населения стоят в коренном и непримиримом противоречии с самими основами экономической и социальной политики коммунизма" и что подобное положение неизбежно ведет евреев страны к национальной катастрофе[38].



Б. Поплавский, Л. Червинская. Париж, 20-е годы

В "Современных записках" внимательно следили за эволюцией "еврейского вопроса" в СССР. В 1930 г. Ю.Сазонов в статье о творчестве Михаила Козакова немало места уделяет рассказу о его повести "Человек, падающий ниц". Эту повесть он расценивает как своеобразное исследование "идеологии всероссийского еврейского погрома, который кажется автору неизбежным и близким"[39].

Не оставляет журнал без внимания вопросы развития еврейской культуры. Известный музыковед Л.Сабанеев в 1936 г. опубликовал большую аналитическую статью "Музыкальное творчество в Советской России", в которую критик включил свои воспоминания о

музыкальной жизни Петрограда во время гражданской войны. Он писал: "Особую группу составляли композиторы, которые еще до войны выступали как пионеры 'еврейской национальной музыки'. Это Александр Крейн, Михаил Гнесин и Григорий Крейн. Они поставили себе целью создать еврейскую композиторскую школу наподобие русской национальной музыкальной школы, в которой сочетались бы тип еврейской напевности и мелодики с современным звуковым обрамлением". Сабанеев перечислил ряд созданных членами этой группы произведений: симфоническая поэма А.Крейна "Саломея", симфония Г.Крейна "Песнь Давида" и "Саул и Давид", вокальный цикл М.Гнесина[40]. Заканчивает свои воспоминания автор словами сожаления о том, что эти начинания в условиях культурной политики того времени не нашли своего продолжения.

Как и в большинстве русских эмигрантских газет и журналов, в "Современных записках" печаталось немало работ, посвященных будущему России. В журнале, являвшемся средоточием мыслящей части эмиграции, размышляли на эту тему крупнейшие отечественные историки и философы. Так, в статье выдающегося философа Г.Федотова "Проблемы будущей России" рассматривались и возможные варианты разрешения национального вопроса в постбольшевистский период. Самым острым, по мнению Г.Федотова, будет украинский вопрос, а вот "в отличие от него еврейский - считал философ - не имеет рокового значения для России... Современная острота еврейского вопроса заключается в неестественном удушении русской буржуазии и русской интеллигенции. Поэтому еврейский вопрос для России разрешается в общерусском хозяйственном и культурном возрождении". В финале автор утверждал:

"Разумеется, еврейский вопрос для евреев сохраняет свою мучительность. Это вечный вопрос о смысле и возможности национального сознания и еврейской культуры в пределах христианского мира"[41].

Журнал "Современные записки" был выдающимся культурно-общественным явлением русской эмиграции 20-30-х годов. Евреи играли в его руководстве заметную роль, входили в авторский коллектив и составляли "ближний круг" редакции. Еврейская тема, не будучи доминантной, постоянно звучала на его страницах, а еврейский вопрос рассматривался с общедемократических позиций.

"Современные записки" сохраняли блестящие традиции демократического общественно-политического и литературного журна-

ла. И.Фондаминский говорил: "...когда мы начинали 'Современные записки', наш пафос и главное наше задание было в собирании русских культурных ценностей. Революция разбила вдребезги старую русскую культуру, и, придя сюда, в изгнание, мы далеко не были уверены, сохранится ли русская культура, больше того - выживет ли сама Россия"[42].

Примечания

1. Современные записки. 1920. Т.1. С. 1.

2. Подробную библиографическую справку см.: Струве Г. Русская литература в изгнании. Париж, 1984. С. 50-57.

3. Зензинов В.М. Пережитое. Нью-Йорк, 1952. С. 200-205.

4. Вишняк М.Б. "Современные записки": Воспоминания редактора // Indiana University Publications. Graduate School. Slavic and East European Series. 1957, Vol. 7. P. 39.

5. Гиппиус З. Живые лица. Цит. по изданию: Тбилиси, 1991. С. 288-289.

6. Гессен И.В. Годы изгнания. Париж, 1979. С. 256-257.

7. Бердяев Н.А. Самопознание. СПб., 1991. С. 267.

8. Яновский В.С. Поля Елисейские. Нью-Йорк, 1983. С. 84.

9. Вишняк М.В. "Современные записки"..., С. 39. Подробнее об "эсеровской" деятельности М.В.Вишняка см. его мемуары: "Дань прошлому". Нью-Йорк, 1954.

10. Вишняк М.В. "Современные записки"... С. 42-50.

11. Среди евреев-эсеров он не был исключением. Известно, что видный деятель левого крыла этой партии, бывший даже какое-то время Наркомом юстиции в первом советском правительстве, Исаак Штейнберг был в то же время ортодоксальным иудеем. (См.: N.Steinberg-memorial book. N.Y., 1961; см. также: Дубнов С.М. Книга жизни. Нью-Йорк, 1951. Т.3. С. 36-40, 72, 119; Штейнберг А.З. Друзья моих ранних лет. Париж, 1991).

Отметим также попутно, что когда в середине 30-х годов перед Вишняком стал вопрос об уходе из "Современных записок" и отъезде из Франции, то он получил приглашение переехать в Палестину и начать работу в редакции сионистской газеты "Давар". В 1939 г. он выпустил в Париже одну из первых биографий Х.Вейцмана (Вишняк М. Годы эмиграции: Париж - Нью-Йорк, 1970. С. 108-109).

12. Вишняк М.В. "Современные записки"... С. 108-109.
13. Маклаков А.В. Воспоминания. Нью-Йорк, 1954. С. 66.
14. Чернов В.М. Перед бурей: Воспоминания. Нью-Йорк, 1952. С. 264.
15. Вишняк М.В. "Современные записки"... С. 117.
16. "Современные записки". 1925. Т. 23. С. 9.
17. Цит. по книге: Терапиано Ю. Встречи. Нью-Йорк, 1953. С. 61.
18. "Современные записки". 1927. Т. 31. С. 392-393.
19. "Современные записки". 1921. Т. 6. С. 217.
20. Там же. 1925. Т. 23. С. 135. Попутно отмечу, что подобная "объективность" не всегда была присуща Гершензону. Известно, что он на долгий период прервал переписку с В.Розановым, после того как тот опубликовал в печати целую серию антисемитских работ. (Переписка В.В.Розанова и М.О.Гершензона. 1909-1918. Вступ. статья, публ. и коммент. В.Проскуриной // "Новый мир", 1991. Т. 3).
21. "Современные записки". 1930. Т. 43. С. 497.
22. Там же. 1928. Т. 34. С. 503.
23. Там же. 1928. Т. 35. С. 537.
24. Там же. 1921. Т. 4. С. 170.
25. Терапиано Ю. Встречи. Нью-Йорк, 1953. С. 107.
26. Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека. Париж - Нью-Йорк, 1987. С. 223.
27. Цит. по: Струве Г. Русская литература в изгнании. Париж. С. 343.
28. Там же. 1926. Т. 29. С. 466.
29. "Современные записки". 1931. Т. 47. С. 467.
30. "Современные записки". 1923. Т. 16. С. 474.
31. Там же. 1935. Т. 58. С. 301.
32. Там же. 1932. Т. 50. С. 485.
33. Там же. 1924. Т. 21. С. 265.
34. Там же. 1927. Т. 31. С. 307.
35. Там же. 1933. Т. 52. С. 401.
36. Там же. 1922. Т. 12. С. 160.
37. Там же. 1924. Т. 17. С. 444.
38. Там же. 1928. Т. 36. С. 519; 530-531.
39. Там же. 1930. Т. 42. С. 502.
40. Там же. 1936. Т. 62. С. 428-429.
41. Там же. 1930. Т. 43. С. 432.
42. Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека. Париж - Нью-Йорк, 1966. С. 74.



Яков Двйч (Лович)

Харбинский "Рубеж"

Эммануил Штейн
(Орандж, США)

Комментарии Елены Таскиной
(Москва)

Великая страна, выплеснувшая после революции на Запад и Восток великую эмиграцию, не прогадала. Замечательный поэт-харбинец Алексей Ачаир выразил это предельно четко:

И за то, что нас Родина выгнала,
Мы по свету ее разнесли.

Русская периодика исхода помогала многим сохранить свой духовный стержень, к ней, как к огоньку, потянулись тысячи страждущих. Только этим и объясняется ошеломляющая статистика: за полвека русского рассеяния, с 1918 по 1968 год, выходило в свет более двух с половиной тысяч наименований журналов, которые печатались во Франции и США, Китае и Японии, Аргентине и Израиле, на оккупированной немцами территории и в лагерях "ди-пи". Океан этой россики еще мало изучен, хотя кое-что в этом направлении уже сделано.

В вышедшем в 1972 году в Нью-Йорке труде Михаила Шатова "Полвека русской периодики. 1917-1968" довольно подробно представлены газеты и журналы русского Китая - 300 наименований. Нынешний читатель с трудом воспринимает архаизм "русский Китай" - он навсегда исчез с лица земли.

Особенно нагляден пример Шанхая. В 1937 году его русско-еврейская колония насчитывала не более 25 тысяч человек, но там издавались четыре ежедневные газеты, одна вечерняя, пять еженедельников; бурлила театральная жизнь. Нет больше этих журналов и газет, нет и театров, нет читателей и зрителей. История, как когда-то заметил Иван Елагин, "перелицевала лица, передушила души".

Тематическое богатство журналов русского Китая ошеломляет. Что там только не издавалось: детские журналы, экономические издания, посвященные КВЖД, журналы по архитектуре, армейские, еврейские журналы на русском языке, восемь (!) казачьих журналов - от "Атаманского клича" до "Зова казака" и "Енисейских казаков". Четко был разграничен и политический спектр дальневосточного исхода: орган сменовеховцев "Дальняя окраина" сосуществовал с "толстым" журналом русских фашистов (партия К.Родзаевского) - "Нация".

Русский исход на Восток коренным образом отличался от эмиграции на Запад - в Европу и Америку[1]. На стороне дальневосточников было преимущество активной жизни, поскольку по сравнению с аборигенами русские эмигранты были носителями передовой культуры. Местное население не могло абсорбировать русских эмигрантов, помыслы которых были устремлены к России.

Небольшие русские "островки", разбросанные в китайском "океане", с 1917 по 1950 год выпускали в свет почти двести журналов (к сожалению, не все они учтены М.Шатовым). Самым популярным из них был харбинский "Рубеж". Когда-то главный редактор нью-йоркского "Нового Русского Слова" Марк Ефимович Вейнбаум повторял: "У эмиграции нет своего парламента, таким 'Национальным собранием' стала газета". Эту же роль играл и харбинский "Рубеж", который без преувеличения можно назвать "сеймом" русской эмиграции в Китае: на его страницах выступали русские и поляки, евреи и украинцы, грузинка и латыш. "Рубеж" просуществовал восемнадцать лет (с 1927 по 1945 год) и прекратил свое существование на 865 номере. По своему долголетию издание уступает только нью-йоркскому "Новому Журналу", парижским "Современным запискам" и брюссельскому "Часовому"[2].

Полный комплект номеров журнала мне видеть не пришлось, даже в Русском музее в Сан-Франциско не хватает многих экземпляров. В моем собрании - шестьсот номеров "Рубежа", ознакомление с которыми дает некоторые основания для оценки журнала (в коротком очерке, вероятно, недостаточно глубокой). Значение этого журнала для эмигрантов-дальневосточников трудно переоценить - это своеобразная энциклопедия жизни. Журнал был всеядным в самом лучшем понимании такого определения. Все читатели, несмотря на существенные различия в социальном статусе и культурном уровне, находили в номере что-то полезное и интересное.

№ 5. Харбинъ, 6 февраля 1928 г. 2-ой годъ изданія.

Цѣна № 50 к. въ Харбинѣ и др. гор. Китая. Цѣна № заграницей—25 к. зам. дол.

РУБЕЖ

литературно-художественный иллюстрированный журнал

Подписка:
1 мѣс.—90 к., 3 мѣс.—2 д. 50 к.
6 мѣс.—4 д. 50 к., 1 год—9 долл.

Объявленія:
1 стр.—50 д., пол. стр.—30 д., четв. стр.—15 д., посл. стр.—8 д.
Объявл. з краске—по особ. соглашенію.

Слѣдующій номеръ журнала выйдетъ въ субботу 18-го февраля и будетъ посвященъ масляницѣ.

Крещенскій карнавалъ в „Модернѣ".



Как веселятся харбинцы.

Группа костюмированных в залах „Модерна" на самом грандіозном в зимнем сезонѣ традиціонном „Крещенском балу". В центрѣ г-жа Маджар, в оригинальном костюмѣ „Кристальной маркизы", получившая первый приз.

Например, в США есть небольшая, но весьма активная группа собирателей шаляпинских реликвий, но ни у кого из них нет статей и рецензий о великом актере и певце во время его гастролей по Китаю и Японии, а в "Рубеже" они есть; у журнала даже был свой спецкор в Токио. В 1992 году вышла в США книга о сеансах одновременной игры Александра Алехина в Азии. В этом труде выступления шахматиста в Шанхае обозначены прочерками, а в "Рубеже" о них приведены подробнейшие отчеты. "Рубеж" был единственным журналом русской эмиграции, который регулярно проводил опросы среди выдающихся представителей зарубежной науки и культуры, причем анкета "Что ждет Россию в 1940 году" во многом оказалась пророческой.

В самом начале своего существования "Рубеж" принадлежал А.С.Цыганову, но вскоре перешел к Евгению Самойловичу Кауфману. Именно он сумел сделать из журнала главный печатный орган русского Китая и сплотить вокруг журнала лучшие силы российского исхода. Это он привлек в "Рубеж" Михаила Сергеевича Рокотова (Бибинова), поручив ему редактирование журнала. Они вдвоем открыли многие поэтические таланты. Именно в "Рубеже" начал свой поэтический путь Валерий Перелешин[3]. Непостижим поэтому факт, что в своих воспомининиях о литературной жизни Харбина и Шанхая - "Два полустанка" Перелешин ни словом не обмолвился о своем "первооткрывателе" Е.С.Кауфмане.

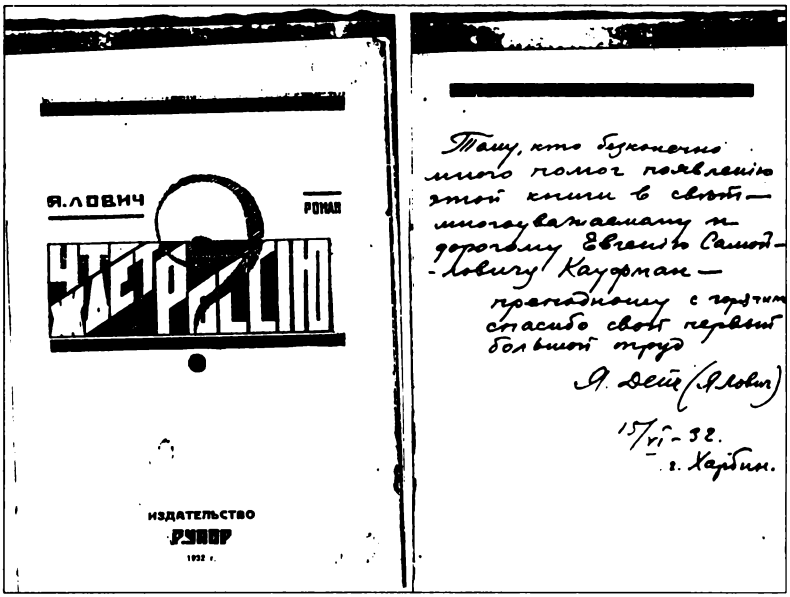
На страницах журнала были широко представлены различные политические спектры русской колонии, кроме явных просоветчиков и фашистских молодчиков Константина Родзаевского. Тут уместно сделать некоторое разъяснение. Идеи русского фашизма были тогда весьма притягательны для молодежи. Демократический журнал "Рубеж", отвергая любое проявление шовинизма и расизма, тем не менее широко печатал стихи популярной поэтессы Марианны Колосовой, которая состояла членом Всероссийской фашистской партии[4]. Поэт и писатель Арсений Несмелов, который под псевдонимом Н.Дозоров написал гимн русских фашистов - поэму "Георгий Семена"[5], был без преувеличения самым ценным автором "Рубежа". Это все не парадоксы, а особенности того времени.

Мое собрание журналов "Рубеж" начинается номером 5-м, вышедшим 6 февраля 1928 года (журнал в то время выходил еще нерегулярно). Номер открывался лирическим стихотворением Арсения Несмелова - "На рубеже". Рассказ известного на Дальнем Вос-

токе, а позднее и во всем мире, прозаика Якова Дейча - "Месть" соответствовал вкусам самых непритязательных читателей. Интересен и информативен по сей день фотоочерк "Иордан на Сунгари". Статья Георгия Париса "Голливуд, как он есть" представляет и сейчас интерес и может быть предметом самого тщательного изучения, поскольку в ней говорится об участии русских в киноиндустрии США. Тут и фотографии Ильи Львовича Толстого и Саши Черного, снимавшихся в американских фильмах[6]. Заметка Владимира Маяковского о Сергее Есенине; фотография юной японской актрисы Ямадзи, покончившей самоубийством из-за несчастной любви... Тут же стихотворение Леонида Ещина, посвященное этому грустному событию. Беседа - интервью журнала с актером-комиком Л.Розеном - еще один штрих к недостаточно изученной теме - русское искусство за рубежом. Наконец, "Конкурс прелестного ребенка", отдел крестословиц, задач, шарад[7].

Выше я упомянул имя Якова Дейча (псевдоним - Яков Лович). Всемирную славу ему помог обрести Евгений Самойлович Кауфман. Как это произошло и в чем заслуга главного редактора "Рубежа"? Это тема отдельной статьи, которая мною уже написана, - "Выстрелы Горгулова, предвидение Ловича". Вкратце история представляется так. 6 мая 1932 года в центре Парижа на ежегодной книжной выставке было совершено злодеяние: несколькими выстрелами в упор русский эмигрант Павел Горгулов смертельно ранил президента Франции Поля Думера. 27 июля того же года в Париже выносится приговор убийце и его отправляют на гильотину. В далеком Харбине в газете "Рупор" с начала 1932 года печатается роман Якова Ловича "Что ждет Россию" (во французском и испанском переводах - "Буря над Европой"). 15 апреля публикуется 16-я глава романа "Кровавый пролог", именно в ней предсказаны выстрелы в президента Франции. Яков Лович оказался пророком. Молниеносно роман был переведен на несколько европейских языков и фигурировал на процессе как улика против белогвардейского заговора. Газеты мира писали тогда почти ежедневно о романе "Буря над Европой" и его авторе.

Замыслом своим Яков Лович поделился еще в 1931 году с Евгением Кауфманом, который стал "крестным отцом" романа. Вдвоем они обсуждали сюжетную канву каждой главы, все "предприятие" финансировал Е.Кауфман. В моем книжном собрании хранится первый экземпляр этого романа (сейчас библиофильская



редкость) с автографом: "Тому, кто бесконечно много помог появлению этой книги в свет, многоуважаемому и дорогому Евгению Самойловичу Кауфман - преподношу с горячим спасибо свой первый большой труд. Я.Дейч (Я.Лович) 15.6.32. Харбин".

Широко освещалась в "Рубеже" еврейская культурно-просветительская деятельность. Так, например, номер 40 от 26 сентября 1936 года подробно проинформировал читателей о работе Еврейского клуба колонии в Дайрене, о его "ситцевых балах", о "королеве" - госпоже Бирбраер и ее "принцессах" - Коппельман и Белл. Где они сейчас?

Последний в моем собрании - 825-й номер журнала. Он отличается обилием военного материала, что и понятно: журнал вышел в 1944 году. Несмотря на строжайшую цензурную политику японских оккупационных властей, на предписание воздержаться от "прославления российских деятелей", редакции журнала все же удавалось публиковать такие материалы, как, скажем, статья Марии Ш. "Е.А.Баратынский - поэт-философ" или рассказ Василия Логинова "Врубель"[8].

Годы войны наложили свой "милитаристский" отпечаток на

журнал. Во-первых, стало значительно хуже его полиграфическое исполнение. Но самое главное - большое количество страниц было отдано славословию силы и могущества ниппонского оружия. Правда, редакции в этих сложнейших условиях удалось найти воистину золотую середину - обойти почти полным молчанием ситуацию на советско-германском театре мировой войны и замолчать первые успехи вермахта, что, бесспорно, было победой всего коллектива "Рубежа".

Журнал вынужден был публиковать ура-патриотические призывы японской военщины, Так, например, рождественский номер "Рубежа" от 7 января 1944 года открывается не обращением митрополита Мелетия к своей пастве, а приветствием начальника ниппонской Императорской военной миссии в Харбине генерал-майора А. Дои, в котором, в частности, военачальник призывал: "Российские эмигранты всех национальностей, принадлежащие к семье народов Маньчжу-Ди-Го, должны также участвовать в этой великой Священной войне, проводя в жизнь основной принцип: 'делить вместе с Ниппон и Маньчжу-Ди-Го и радость, и горе, и жизнь, и смерть...'" Но в этом же трескуче-пропагандистском номере опубликован большой отчет - "Смотр молодых харбинских художников", в котором воспроизведено тонкое психологическое полотно Моисея Раутмана "Опальный боярин".

В номере 815 от 30 марта 1944 года наряду, например, со статьей "Несокрушимая сила ниппонского духа" мирно сосуществовало эссе О.Штерна "Тайна Гоголя". Война шла своим историческим чередом, а, судя по объявлениям, у дантистов не было проблем с пациентами. Из номера в номер на протяжении многих лет "Рубеж" публиковал рекламу докторов Феликса Кона, Лазаря Ротенберга, Л.Цема и многих других.

Рассказ о "Рубеже" был бы не полон, если бы я умолчал о "Ласточке". Этот двухнедельный иллюстрированный журнал для детей младшего школьного возраста был приложением к "Рубежу". В год выходило 26 номеров журнала. "Творила" его почти в одиночестве "Юрка-Васильева, практически единственная детская писательница Русского Зарубежья. Ее персонажи - "Юрка" и "Бобка" - герои всех стихов в "Ласточке". Журнал "Ласточка" был очень популярен среди читателей-малышей. "Юрка"-Васильева, которой посвятил прекрасные стихи Арсений Несмелов, пройдя ад лагерей для перемещенных лиц на филиппинском острове Тубабао,

добралась все-таки до берегов Америки. Она умерла 5 июля 1979 года в Сан-Франциско. Незадолго до своей смерти она обратилась к своим бывшим читателям с письмом-прощанием: "Ау, маленькие читатели 'Ласточки', разбросанные по всему свету! Вы теперь взрослые папы и мамы, некоторые из вас даже бабушки и дедушки. Но вы помните свою 'Ласточку', помните свое детство, их нельзя забыть. И я тоже помню и 'Ласточку' и вас всех, мои дорогие! И я навсегда останусь с вами, ваша харбинская ЮРКА".



До моей американской "глубинки", миниатюрного городка Орандж, докатились слухи, что во Владивостоке собрались возобновить выпуск журнала "Рубеж" и что якобы уже вышел его первый номер. Если это действительно так, то, приветствуя появление журнала, я вспоминаю слова поэта: "кто сгорел, того не подожжешь..."[9]. Подобно многим этапам цивилизации, русский Китай навсегда исчез, стал лишь достоянием историков...

Ко времени написания этого очерка из авторов журнала "Рубеж" в живых остались единицы: в Австралии - Нора Крук и Михаил Волин; во Франции - Ларисса (с двумя "с") Андерсен; в Парагвае - забытая всеми Ирина Лесная; в Америке - Мария Визи, Ольга Скопиченко, Валерия Янковская. Должна быть жива и Наталья Резникова, которая вела отдел критики журнала, племянница Е.Кауфмана. В июне этого года в Калининграде скончался поэт Михаил Спургот, и жив ли теперь кто-нибудь в России из бывших авторов "Рубежа", мне неизвестно[10].

Примечания

1. Специфика российской эмиграции на Дальнем Востоке определилась возникновением в Маньчжурии еще в начале нынешнего столетия русских поселений - в связи со стоительством КВЖД. Город Харбин, построенный русскими инженерами и архитекторами, первоначально был административным и экономическим центром полосы отчуждения железной дороги, но позже стал культурным центром - и не только Маньчжурии, но и всего дальневосточного Русского Зарубежья. Датой его основания принято считать 1898 год.

Когда в 20-х годах в Китай хлынул поток беженцев и эмигрантов, в Харбине уже существовали русские школы и церкви, издавались газеты и журналы, печатались учебники. Образовавшееся в 1909 году научное общество российских ориенталистов издавало богатый по содержанию научно-популярный журнал "Вестник Азии". Уже в 1920 году был основан Русско-китайский техникум, со временем ставший крупнейшим на Дальнем Востоке Харбинским политехническим институтом, где молодые люди разных национальностей могли получить высшее техническое образование на русском языке. Позже в Харбине были основаны и другие высшие учебные заведения: юридический факультет (где готовились юристы по программе российских университетов), педагогический институт и др. В Харбине стала бурно развиваться культурная жизнь. Этому способствовала интеллигентная прослойка эмиграции "первой волны", в которой широко были представлены врачи, юристы, литераторы, художники, музыканты. Среди последних было много евреев: блистательные музыканты и педагоги Б.Лазарев, В.Трахтенберг, У.Гольдштейн, В.Диллон, Н.Шиферблат, И.Ультштейн и многие другие не только поддерживали высокий уровень музыкальной жизни города, но и воспитали целую плеяду талантливых молодых музыкантов.

2. Журнал "Рубеж" не был печатным органом какого-либо литературно-художественного объединения (как, например, шанхайский "Понедельник"). Это было коммерческое детище издательства "Заря", имевшего свои типографии в Харбине, Шанхае и Тяньцзине. Редакция и контора размещались на квартире присяжного поверенного Семена Яковлевича Резникова, а его жена Людмила Самойловна и дочь - литератор Наталья Резникова принимали самое непосредственное участие в выпуске журнала. "Рубеж" выходил еженедельно по субботам и имел высокую деловую репутацию: харбинцам-подписчикам регулярно доставлялся свежий номер, а читателям из других городов он отправлялся по почте.

Как правило, объем журнала составлял 24 страницы, праздничные но-

мера увеличивались до 30-34 страниц (при формате 31х22 см.). Журнал был хорошо иллюстрирован. Начиная с обложки он отражал не только быт и реалии Востока, но и был своеобразным окном на Запад, так как множество материалов перепечатывалось из европейских и американских изданий тех лет. Отражалась на страницах журнала и местная жизнь российской диаспоры. Популярностью пользовались снимки фотографов Скамони-Шапшинского, Абламского, Алина и многих других.

3. На страницах журнала появлялись произведения всех известных на Дальнем Востоке литераторов разных поколений - А.Несмелова, А.Ачаира, А.Паркау, М.Колосовой (Е.Инсаровой), О.Скопиченко, А.Хейдока, В.Логинова, К.Сабурова, Б.Юльского, М.Шмейссера. Кроме В.Перелешина "Рубеж" стал началом творческого пути и для многих других авторов: Е.Недельской, О. Тельтофт, Ф.Дмитриевой, Е.Рачинской, Н.Резниковой и др. Редакция журнала охотно предоставляла место для публикации произведений победителей литературных конкурсов, а также молодых поэтов - членов литературно-художественного объединения "Чураевка".

Следует отметить,что у "Рубежа" были не только местные, но и зарубежные корреспонденты. В 30-е годы в их число входили: А.Амфитеатров (Рим), В.Унковский (Париж), Т.Баженова (Сан-Франциско) и др. Присылал свои произведения Саша Черный, печатались и другие авторы Русского Зарубежья.

4. Редакция не располагает данными о членстве М.Колосовой в фашистской партии, хотя Колосова действительно писала ура-патриотические стихи. Членом партии был ее муж Покровский, который позже отрекся от фашистов.

5. Гимн русских фашистов и поэма "Георгий Семена" - не одно и то же. Гимном фашистов, по утверждению американского историка Дж. Стефана, опубликовавшего исчерпывающее исследование о русском фашизме, были стихи "Вставайте с нами, братья!", которые пели на мотив Преображенского марша.

6. Редакция не нашла подтверждения участия Саши Черного в американских фильмах. Не исключена возможность, что журнал опубликовал непроверенные слухи.

7. Как правило, в каждом номере "Рубежа", особенно в 30-е годы - период его расцвета, - печаталось семь-восемь стихотворений, два-три рассказа местных авторов, а также один-два рассказа и "роман с продолжением", переведенные с иностранных языков. Популярные очерки, хроника местной жизни, "крестословицы", полезные советы, библиография современных изданий, выходивших на Западе, - все это привлекало широкий круг читателей.

8. В годы второй мировой войны на страницах журнала, помимо очерков на военные темы, стали публиковаться материалы этнографического характера по Востоку, советы о рациональном ведении хозяйства.

Внешне журнал несколько изменил свой прежний облик: сократился его объем, стал меньше формат, ухудшилась печать. Однако, несмотря на сложности военного времени и материальные трудности, связанные с общим положением в крае, "Рубеж" продолжал пользоваться популярностью у русских читателей.

9. Первый номер альманаха "Рубеж" вышел во Владивостоке в 1992 году. Его издатели поставили в скобках номер 863 - как бы следующий номер, продолжающий еженедельный харбинский "Рубеж". Можно приветствовать появление на страницах этого альманаха перепечаток неизвестных современному читателю произведений поэтов и писателей дальневосточного Русского Зарубежья, как и вообще все начинание. Однако с решением считать альманах продолжением "того" "Рубежа" трудно согласиться: композиционная структура, периодичность, содержание владивостокского "Рубежа" значительного отличаются от харбинского еженедельника, прекратившего свое существование в августе 1945 года - почти 50 лет тому назад.

10. Редакции настоящего издания известно, что, кроме М.Спургота, из авторов "Рубежа" в России умерли: А.Несмелов, А.Ачаир (Грызов), М.Шмейссер, Б.Юльский, А.Паркау, Ф.Дмитриева, Н.Щеголев, Н.Светлов, Н.Хаиндрова, А.Хейдок. Отметим, что, помимо перечисленных в очерке авторов, ныне здравствуют В.Слободчиков, И.Пасынков и др.

АРХИВЫ И МЕМУАРЫ

Редактор Сима Векслер

Ицхак Саде

Сэр Исайя Берлин (Англия)
Перевод и комментарии Симы Векслер (Израиль)

М. О. Гершензон в Берлине
(Из воспоминаний Наталии Гершензон-Чегодаевой)

Публикация Марии Чегодаевой (Россия)

Константин Бальмонт
Вечно бодрствующие. Встречи с евреями

Публикация, вступительная заметка и примечания
Виктора Юзефовича (США)

Листы из архива

Василий Катанян (Россия)

Годы войны 1939 - 1945
Фрагмент из автобиографии Сергея Гессена
"Моя Жизнь"

Публикация и примечания Андрея Рогачевского (Англия)



Ицхак Саде

Сэр Исайя Берлин *(Оксфорд, Англия)*

Перевод с английского и комментарии
Симы Векслер (Иерусалим)

Ицхак Саде известен сегодня главным образом как один из героев Войны за Независимость Израиля. Этим он прежде всего и заслужил право на бессмертие, однако предшествующая его жизнь была столь необычайной, исполненной столь разительных контрастов, что она заслуживает нашего интереса едва ли не в той же степени.

Отец Ицхака, Яков Ландоберг, был богатый купец, человек большого обаяния и энергии, он знал толк в удовольствиях и обладал глубоко чувственной натурой, что делало ограничения ортодоксального еврейского брака для него невыносимыми; следствием этого было то, что он оставил свою жену Ревекку, пышнотелую красавицу, дочь одного из самых набожных и прославленных тогда раввинов, которого боготворили евреи люблинской общины (российская Польша), и стал вести бездумную, несчастную, но не лишенную интереса жизнь, покуда не промотал свое некогда значительное состояние и, как говорят, умер в бедности и недугах.

Сын его, порядком избалованный в детстве обожавшей его матерью, рос богатым, отлично физически развитым, не по годам сообразительным мальчиком и был твердо настроен, достигнув совершеннолетия, порвать с удушливой обстановкой мещанской респектабельности и традиционной религии, в которой жили тогда состоятельные еврейские семьи, с их глубоко провинциальными взглядами; впрочем, против этих ограничений он резко выступал на протяжении всей своей жизни.

Исаак был своенравным, упрямым и поразительно красивым молодым человеком. Он получил обычное для России гимназическое образование, но в университет поступить отказался, ибо это, по его мнению, означало попусту растрачивать свои способности[1].

Острая реакция на тогдашнюю жизнь российских евреев, заключенных, по сути, в обширное гетто, вызвала у Ицхака фанатическую страсть к физическому самосовершенствованию. Он стал боксером, борцом и, что было и в самом деле редкостью в России на рубеже веков, - заядлым футболистом, он играл в футбол, когда только удавалось, обучал этому других и сделался заметной фигурой в спортивной жизни своего (и моего) родного города Риги.

Рига была в те времена городом, где явно преобладала немецкая культура, сложившаяся, с одной стороны, под влиянием прибалтийских баронов, владевших обширными поместьями и составлявших касту надежных и преданных слуг российской монархии, а с другой - солидного немецкого среднего класса, создавшего в Риге форпост германской культуры девятнадцатого века, немецкую оперу, немецкий театр; сословие это, с его националистическими убеждениями, противостояло всем попыткам ассимиляции, предпринимавшимся его русскими повелителями. На нижней ступеньке общественной иерархии находилось коренное население страны - латыши - суровое, трудолюбивое и угнетенное крестьянство, которое в то время начинало создавать основы своей интеллигенции, делавшей большие успехи, в особенности в графических и пластических видах искусства. В пазах этого общественного здания можно было обнаружить небольшое по численности российское чиновничество, управлявшее прибалтийскими губерниями, и, наконец, евреев, разделенных на высший слой, чьи язык и привычки были немецкие (сюда входили и немногочисленные потомки еврейской общины, существовавшей здесь еще в допетровскую, шведскую эпоху[2]), и слой низший - русских евреев, говоривших преимущественно на идише; дети их говорили по-русски и примыкали к одному из трех направлений, разделявших российское еврейство в тот период: либерально-буржуазному, социалистическому или сионистскому.

Исаак Ландоберг, как рассказывают ближайшие родственники, глядел на все эти три движения с одинаковым презрением. Он был проникнут романтическим идеалом самосовершенствования личности, принявшим на первых порах форму физического самосовершенствования; достигнув этого, он обратился к самообразованию в сфере моральной и умственной. Он порвал с родителями, которые к тому времени уже разошлись. Второго мужа матери, Исаака Гинцбурга, он презирал и едва ли когда-нибудь говорил с ним. С деньгами, оставленными ему отцом, Исаак Ландоберг решил сам

строить свою жизнь и карьеру. Специалист лишь в боксе и борьбе, он был слишком ленив и слишком богемен по природе, чтобы стремиться приобрести какую-либо профессию. В результате он решил заняться торговлей произведениями искусства: это должно было шокировать его круг и, как он надеялся, дать ему возможность вести беззаботную и яркую жизнь, встречаться с живописцами, скульпторами и другими свободными умами - жить независимо, весело, а главное - не так, как евреи, вырваться из узких рамок чрезмерно умственного, ортодоксального образа жизни еврейских купцов и ученых, составлявших его семейство.

Распорядок жизни Исаака Ландоберга был необычен: по утрам лавка его оставалась запертой - время это он посвящал боксу, организации футбольных матчей, борьбе, а также позированию художникам и скульпторам. Он гордился своею внешностью, и то обстоятельство, что его ладная фигура вызывала подчас интерес некоторых молодых художников-натуралистов, встречавшихся тогда в Риге, чрезвычайно ему льстило, он также наслаждался мыслью о том, насколько возмутят мать и родных рассказы о его языческих занятиях. Он прочел Ницше и принялся культивировать дионисийскую сторону своей натуры. В сексуальном отношении он был в тот период, видимо, вполне воздержан, хотя позднее ему предстояло стать любовником, знаменитым своим непостоянством.

В 1912 году Исаак женился на сестре моего отца Евгении (Жене) Берлиной, приходившейся ему двоюродной сестрой: матери их были сестрами[3]. Дама эта, полная противоположность Ландобергу во всех отношениях, социалистка, намеревавшаяся посвятить себя улучшению жизни рабочих и крестьян, закончившая два факультета, серьезная, порядочная, идеалистичная, лишенная юмора и женских совершенств, чрезвычайно некрасивая, чуть косившая на один глаз (что придавало ей вид типичной гувернантки), страстно влюбилась в великолепного дикаря, коего Ландоберг со вкусом изображал. Он не отвечал ей взаимностью, но ее интеллектуальные достоинства, а также тот факт, что она, презрев возмущение родителей и респектабельных своих друзей, активно участвовала в революции 1905 года, что ее два года разыскивала полиция, произвели на него впечатление, и потому он позволил ей женить его на себе. Свадьба, к вящему облегчению их общих родственников, была вполне пристойной и увенчалась огромным банкетом в лучшем буржуазном стиле, где жених несколько перепил, возбудив в

невесте смешанное чувство ужаса и гордости. Прежняя жизнь, состоявшая из бокса, борьбы и торговли предметами искусства, продолжалась до 1914 года.

Едва только началась война, Ландоберг пошел добровольцем в армию. Как единственный сын и человек женатый он не подлежал по закону обязательному призыву, и богатые родственники быстро внесли за него отступное. Он соизволил согласиться на возвращение к тосковавшей по нему жене и маленькой дочке, нареченной Азия. По прошествии нескольких спокойных недель он оставил жену и снова тайно вернулся в армию. Его "выкупили" снова. Он сбежал в армию в третий раз и исчез - родня, обескураженная двумя его прежними побегами, перестала о нем беспокоиться.

В 1917 году Ландоберг появился в Петрограде членом партии эсеров, преданным крестьянскому делу; он был вооружен огромным маузером и носил нарукавную повязку, свидетельствовавшую о его принадлежности к народной милиции. Он был в ту пору полон революционного энтузиазма и по-детски гордился своим новым мундиром, своим револьвером и своим опьянением революцией. Явившись в петроградскую квартиру, где жил его достопочтенный свояк и двоюродный брат Мендель Берлин с женой Марией (мои родители), он принялся похваляться своими революционными подвигами с такой наивностью и такой младенческой увлеченностью совершавшимся тогда насильственным переворотом, что всех нас очаровал. Хозяйка дома, также приходившаяся ему двоюродной сестрой, забрала у Исаака револьвер и положила его в ванну с холодной водой, словно это была бомба, способная взорваться. Ландоберг разрешил себя разоружить и просидел в нашей квартире до трех или четырех утра, потчуя изумленных родичей рассказами о собственных и своих товарищей подвигах, совершенных этими героями революции под командованием Пинхаса (тогда Петра) Рутенберга[4], чье мнение о Ленине и Троцком разделял: помню, он сказал, что это пара опасных фанатиков, которых необходимо остановить. Жена его более серьезно смотрела на происходившие события, но и она позволила себе увлечься обуревавшим Исаака восторгом, полнейшей беззаботностью и безответственностью.

Ландоберг был человеком колоссального темперамента, одаренный актер и поразительно умел располагать к себе людей, особенно женщин. Восторженные дамы бегали за ним с одного революционного митинга на другой, правда, слышавшие его не могли потом

припомнить, о чем же он конкретно говорил. Он был прирожденный оратор, пылкий, убежденный, красноречивый и вдохновляющий. Все это приправлялось веселой и циничной фривольностью в духе величайшего из российских революционных трибунов девятнадцатого столетия Михаила Бакунина. Подобно Бакунину, Ландоберг был в основе своей анархистом - любителем удовольствий, его сковывали любые узы и границы, он бессердечно (как бывают бессердечны невинные дети) добивался какой-нибудь цели, на которой сосредоточилась его фантазия, но был, подобно детям, наивен, откровенен и ласков.

В 1917 году он носился по Петрограду, но, возможно, ничего так и не совершил. После большевистского путча он снова исчез. На протяжении нескольких месяцев жена его не имела представления о том, где он находился. Ей пришлось жить на иждивении у родни. Ландоберг оставил ее безо всяких средств к существованию и, как видно, не проявлял ни малейшего интереса ни к ней, ни к ребенку. Затем обнаружилось, что он вступил в Красную гвардию - просто из любви к действию, как он рассказывал мне впоследствии, и кочевал со своим отрядом по центральной, а позднее - по южной России. Потом он снова объявился в Петрограде, отправился повидаться с женой в Москву, где та жила со своими братьями. Она была слишком счастлива видеть мужа и не задавала вопросов. Он проявил озабоченность болезнью дочки, но почти сразу же снова исчез, пообещав вскоре вернуться. В свой черед Ландоберг дезертировал из Красной гвардии, придя к выводу, что она чересчур жестока и непримирима, и в начале 1919 года прибился где-то к соединению белых. Тем временем умерла его мать - известие это оставило Исаака равнодушным. Один из его единоутробных братьев был расстрелян за торговые спекуляции, другой стал членом ЧК или какой-то другой тайной полиции. Ни то ни другое не причинило Ландобергу ни малейшего беспокойства, он ни с одним из них не поддерживал связи и скитался по свету в веселой беспечности, изобличая ужасы коммунизма. С полком белых он оказался на берегу Черного моря, у окраин Феодосии.

В этот момент жена, с величайшими трудностями выяснившая, куда ведут его следы, приехала к нему вместе с ребенком. Он выказал радость при встрече и сумел добиться от командира белых разрешения разместить их в одной из пустых квартир портового городка, брошенной жителями. Малютке становилось все хуже, она

умирала от крупа. Мать ее, не видевшая на свете ничего, кроме Исаака, ухаживала за дочкой так, как способна это делать рассеянная непрактичная "эмансипе", раздираемая мыслями о революции, крестьянстве, рабочем классе, соперничавшими между собой идеями марксистов и антимарксистов, а в особенности - причудливыми метаниями мужа между белыми и красными. Они обсуждали возможность вступления в войска зеленых - дикие банды крестьян-мародеров, принадлежавшие к анархистскому движению и воевавшие равно против белых и красных, - и в ходе всех этих дискуссий маленькая Азия умерла. Мать ее была сломлена горем, но сам Ландоберг, кажется, не слишком переживал.

В то время у него развилась колоссальная страсть к музыке, и когда выдавалась минутка между маршами и контрмаршами, он ходил слушать любительский квартет, членом которого был Николай Набоков, впоследствии известный композитор и музыковед. Набокову хорошо запомнился Ландоберг, составлявший неотъемлемую часть маленькой неформальной аудитории, собиравшейся послушать квартет на побережье Черного моря в разгар гражданской войны; по воспоминаниям музыканта, это был человек неотразимой непосредственности, теплоты и очарования.

Ландоберг принимал участие в нескольких, не имевших решающего значения боях между белыми и красными. Однажды, сидя возле костра с горсткой белых офицеров, он прислушался к разговору, вращавшемуся вокруг одной из основных в Белой армии тем: ненависти к евреям - членам международного заговора, поклявшимся разрушить Россию, убийцам царя, которых надлежало истреблять во что бы то ни стало, и в ближайшем будущем, и после окончательной победы над силами тьмы.

Разговор этот испугал Ландоберга. Он тут же решил убраться от столь опасных союзников и, прихватив жену, всеми правдами и неправдами умудрился очутиться на корабле, увозившем беженцев из черноморских портов в Турцию. Неясно, как сумел он пробраться на такой корабль без надлежащих документов, но он был человеком неистощимой изобретательности, а его безыскусное очарование и тогда и позднее явно способно было размягчать сердца ответственных лиц.

Он решил отправиться в Палестину. Сионистом Ландоберг никогда прежде не был; в сущности, он всегда считал сионизм типичной буржуазно-еврейской причудой, попыткой жертв создать по-

чтенное либеральное государство или общину самого ограниченного, самого викторианского типа, увековечив все наиболее мещанские, подлые и чудовищные черты общества своих угнетателей. Тем не менее теперь он вдруг решил, что в Палестине перед евреями открывается новый мир, вспомнил про свои еврейские корни, проникся чувствами к еврейству и вступил в сионистскую группу Хе-халуц[5], действовавшую в Крыму. Неизбежным образом он сделался ее руководителем после того, как прославленный воин Иосиф Трумпельдор[6], организовавший в свое время отряды еврейской самообороны для борьбы против российских погромщиков, уехал из Крыма в Палестину.

Во главе группы халуцов, состоявшей из 31 человека, Ландоберг прибыл в начале 1920 года в Яффу с женой, небольшой котомкой и двумя рублями обесцененных российских денег в кармане. Члены группы имели коллективную визу, предоставленную британскими властями. Позднее Ландоберг рассказывал, что его ребята представлялись беженцами из Палестины, возвращавшимися на родину; когда их спрашивали, сколько времени им пришлось находиться на положении беженцев, они отвечали "две тысячи лет". Это было очень в духе тогдашних российских сионистов.

Как и прочие иммигранты, они попали в лагерь для новоприбывших, где их встретили очень хорошо. Когда Ландоберга спросили, какую профессию он намерен избрать, он ответил, что предпочитает физический труд. Желание это было удовлетворено. Он стал чернорабочим и занимался дроблением камня в каменоломне. Мы знаем, что затем он принимал участие в антибританских выступлениях в Яффе вместе с последователями вождя еврейских ревизионистов Жаботинского[7], чей тогдашний военно-романтический национализм был полной противоположностью тому, во что верили Ландоберг и его жена. Однако же, где была открытая борьба, туда с неодолимой силой тянуло Ландоберга. Англичане были символом всего умеренного, ограниченного, скучного, официального, напыщенного, мертвого. Более того, они в большинстве своем были настроены проарабски, их привлекал ближневосточный полуфеодализм. Ревизионисты же принадлежали к крайне правому крылу сионистского движения, они символизировали страсть, воинственность, сопротивление, отстаивание своих прав, гордость и национальную мистику. Впрочем, Ландоберг никогда фактически не вступал в партию ревизионистов и оставался в рядах Хаганы[8].

Ландоберг не отличался постоянством в преданности какому бы то ни было идеалу или человеку. Он менял взгляды, образ жизни, все в своем существе с легкостью, с наслаждением, радуясь новизне, вдохновляясь своей способностью бить в любой барабан, носить любую одежду, если она только была достаточно броской, - жизнь была для него карнавалом, где люди меняли обличье, чтобы поднять настроение себе и другим. Как и следовало ожидать, он был арестован за участие в беспорядках и оказался в тюрьме. Леди Сэмюэл, жена тогдашнего Верховного комиссара Палестины сэра Герберта Сэмюэла[9], регулярно навещавшая заключенных, стала его расспрашивать. "Я леди Сэмюэл," - представилась она. - "А я Исаак Ландоберг," - ответил он тотчас, уставившись на нее с дружелюбной наглостью. "В чем ваше преступление?" - спросила она. - "Я сражаюсь за свободу повсюду, где нахожусь. Все чиновники - мои враги. Я сражался с красными против белых, я сражался с белыми против красных, я сражаюсь с евреями против англичан. Готов допустить, что однажды я буду с арабами сражаться против евреев или еще кого-нибудь другого." Это было воспринято как непростительная дерзость и срок его заключения был удвоен.

Выйдя из тюрьмы, Ландоберг продолжал дробить камни с таким успехом, что был вскоре назначен директором одной из каменоломен еврейской кооперативной компании "Солел Боне". Родственники не имели от него никаких известий. В 1924 году он написал письмо моему отцу, поселившемуся к тому времени в Лондоне, и сообщил, что счастлив, что он патриот-сионист, что перед ним расстилается блестящее будущее, и убеждал всех родичей обосноваться в своей новой великолепной стране, где царствует равенство, братство, а в один прекрасный день воцарится и свобода, - в маленькой стране, где можно делать такие вещи, которые невозможно в странах более обширных и неповоротливых.

В том же году Ландоберг стал представителем евреев Палестины в палестинском павильоне на Всемирной выставке, проводившейся тогда в Лондоне. Он был в самом радужном расположении духа. Навестил моего отца и подарил мне, тогда школьнику, сочинения Овидия, которого любил (латынь была одним из немногих и странных его достижений на поприще учености), и книгу Уорда Фаулера, озаглавленную "Общественная жизнь в Риме во времена Цицерона", которая, по его мнению, была подходящим чтением для школьника. Он был полон энергии, изумительно говорил, пы-



Командиры Хаганы: Ицхак Саде (в центре), Игал Алон (справа), Моше Даян (слева)

лал интересом к происходящему и обладал огромным обаянием. Он был веселым, беззаботным, милейшим собеседником. Учил нас последним ивритским песням. Я узнал от него новую мелодию к известным словам "Бе цет Исраэль ми Мицраим" ("Когда вышел Израиль из Египта"[10] - тем самым, что были в свое время совсем иначе положены на музыку Мендельсоном) и другие новые ивритские песни, до- и послевоенные. Говорил он по-русски предельно красочно, с неподражаемой живостью и воображением, о самых разнообразных предметах. Я был совершенно очарован и остался под этим впечатлением на всю жизнь. Он пригласил всю нашу семью посетить палестинский павильон в Уэмбли. Здесь мы увидели Исаака сидящим закинув ногу на ногу на каменной рельефной карте Палестины. Представители палестинских арабов, которые вынуждены были делить павильон с евреями, взирали на него с изумлением и ужасом - а он поедал бутерброды со снедью из Эрец-Исраэль и пил одну бутылку вина за другой.

В отличие от большинства евреев своего поколения, Ландоберг был человеком веселым и компанейским, человеком заразительно-

го остроумия и самого дружелюбного нрава. Его угрюмая жена, знавшая, что муж часто заглядывался на других, и отнюдь не убежденная в значении сионизма, постольку поскольку эта националистическая, патриотическая концепция не сочеталась с социал-демократическими идеями, за которые она пострадала в 1905 году и которым до сих пор была душевно предана, пыталась смутить его необузданную веселость, но безуспешно. Ландоберга это раздражало. Он жаловался моему отцу на сухую, лишенную воображения, доктринерскую натуру его сестры и сказал, что если положение не изменится, он будет вынужден, ради долга перед новой своей родиной, которой должен служить всей душою, оставить жену: неспособная летать, она подрезает крылья и ему. Отец пытался его отговорить, опасаясь того, что может произойти с сестрой, если ее оставит муж, которого она по-прежнему любила с пылкой и все возрастающей страстью, хотя тот не проявлял к ней интереса и попрекал тем, что ей не хватает joie de vivre[11].

После Уэмбли Ландоберг вернулся в Палестину и продолжал работать в своих каменоломнях. Как и следовало ожидать, он оставил жену, на смену ей пришел целый ряд женщин, которых приводило в восторг общество этой привлекательной, необузданной романтической личности, превосходившей обычные человеческие размеры. Чувства Ландоберга к еврейству были, можно сказать, совершенно внешние; хотя он был евреем по рождению и по воспитанию, но вел себя как счастливый попутчик, которого чистая случайность прибила к незнакомым берегам, а он, сочтя, что здешние люди, с их идеалами, ему по душе, пусть и не ощущал себя связанным с ними какими-либо глубокими чувствами (несмотря на кровные узы), готов был с величайшим рвением работать бок о бок с ними ради достижения их целей.

Все это могло измениться за те годы, о которых мне не удалось получить никаких надежных сведений относительно психологического настроя Исаака. Его качества лидера, его отчаянная, львиная храбрость, полное отсутствие физического или любого другого страха (несмотря на бегство от белых, свидетельствующее о том, что у него все же был некий инстинкт самосохранения), его богатое воображение и любовь к товарищам, самая его детскость сделали Ландоберга дорогим для многих. Доктор Вейцман[12] во время своего приезда в Палестину в 1936 году назначил его своим телохранителем и отзывался о нем как о приятном, живом и интелли-

гентном русском, составлявшем радостное исключение среди напряженных и озабоченных лиц, которые приходилось ему видеть вокруг, отвлекавшем его от политических интриг и проблем, на которые Вейцман был обычно обречен. Иначе относился к Ландобергу Давид Бен-Гурион[13], видевший в нем, как мне кажется, напрасно, опасного честолюбца.

Жена Ландоберга, отчаявшись завоевать его привязанность, вернулась в Москву к братьям, где, само собой, принялась изматывать себя добрыми делами и безвременно угасла. Родным трудно было простить Исаака за то, что он ее бросил, но, судя его согласно нормам собственной морали, они, как и следовало ожидать, оказались слепы к его героическим качествам. Он был по натуре кочевником-партизаном, и правила, выработанные оседлым населением, на него не распространялись. В тридцатые годы, когда из еврейских отрядов самообороны постепенно вырастала Хагана - подпольная еврейская армия, Ландоберг естественным образом влился в ее ряды и стал главным инструктором по ударным операциям. Ему принадлежит основная заслуга в создании Палмаха, этой force de frappe[14], образованной в 1941 году из существовавших ранее подразделений. Сам Ландоберг видел в Палмахе ведущую силу сопротивления враждебным властям. Мне представляется, что арабы беспокоили его не больше, чем весь прочий ишув[15].

Ландоберг стал одним из высших руководителей Хаганы. В начале войны, когда он сражался бок о бок с солдатами британской армии (союзницей которой выступила Хагана), те прозвали его "Большой Исаак". Воевал он против вишистских войск в Ливане и Сирии. После окончания войны Ландоберг отрастил бороду, перешел в подполье и принимал участие в движении еврейского сопротивления, направленном против британских мандатных властей. За его голову назначили награду, но он так и не был пойман.

Я пытался найти Исаака, когда впервые приехал в Палестину в 1934 году, но никто из тех, кого я знал, не мог сообщить мне, где он находится. По-видимому, он в то время был занят созданием первых отрядов, которые впоследствии превратились в Палмах, но об этом мне тогда не полагалось знать. Следующая наша встреча состоялась в 1947 году, когда я останавливался у доктора Вейцмана в Реховоте. Каким-то образом разговор зашел о моих родственниках из России. Я упомянул про Ицхака Саде (он стал пользо-

ваться этой фамилией в 1938 году), и Вейцман сказал, что знаком с ним и очень ему симпатизирует. Вейцман шутя называл его "Реб Ицхок". То обстоятельство, что Реб Ицхок не питал особой любви к Давиду Бен-Гуриону, не слишком глубоко огорчало Вейцмана[16]. Он сказал, что, как ему кажется, сумеет разыскать моего дядю. Дело это было не слишком простое, поскольку того разыскивала палестинская полиция. Но нам все же удалось тайно встретиться с ним в задней комнате тель-авивского кафе, где мы провели вместе два великолепных часа. Он был в самом радужном настроении. Рассказывал про свои подвиги в английской армии. Заверял меня, что никто не донесет о нем властям. Оказалось, что он ошибся.

Что же до отношения к англичанам, то Исаак говорил что не таит на них злобы. Некоторые из них ему нравились, он восхищался их достоинствами. Но раз англичане ведут именно такую политику, то иного выхода не остается - приходится бороться против них не на жизнь, а на смерть. Подчинение арабам - чего явно желало Министерство по делам колоний - вещь немыслимая. Он сказал, что палестинская администрация в двадцатые-тридцатые годы была для него поистине невыносима: чиновники, даже доброжелательные и не придерживавшиеся открыто антиеврейских или антисионистских взглядов, оставались чересчур мелочны, чересчур педантичны, чересчур узколобы. Они были прежде всего мещане, им не хватало того, что он называл подлинной культурой; за редким исключением, с ними невозможно было говорить о книгах, идеях, музыке, истории, а тем более о древней еврейской традиции, сознанием важности которой были, разумеется, преисполнены евреи. Настоящего контакта с ними не возникало, эти отношения никогда не были и никогда не могли стать подлинным любовным союзом, а потому чем скорее настанет черед полного развода, тем лучше - быть может, потом отношения улучшатся.

Когда я впервые увидел Саде, он был строен, элегантен и определенно гордился своей внешностью. Теперь он располнел, отрастил бороду, одежда его пообтрепалась, он явно не заботился о том, как выглядит, его совершенно не интересовали "прелести жизни". Что он по-настоящему любил, так это действие, борьбу, он наслаждался существованием человека, за которым ведется охота. Он, несомненно, был счастлив, когда мы встретились в этом кафе, в нем не было ни малейшей нервозности, страха или подлинной тревоги за будущее - каждый день приносил свои трудности,

каждый день приносил свои удовольствия, он попросту переходил от одного приключения к другому с ненасытным аппетитом к жизни.

В 1948 году, после ухода англичан из Палестины, Саде стал командующим "летучими отрядами", он захватывал египетские крепости, брал пленных. Метод Саде, как рассказывали люди, которыми он командовал (к примеру, внук той самой леди Сэмюэл, с которой он в свое время столь нагло обошелся), состоял в том, что он попросту несся на египетские аванпосты с гранатой в каждой руке и с громким криком, приказав своим бойцам делать то же самое. Египтянам ничего не оставалось, как бежать, бросая башмаки. Крови проливалось немного. Потом он подбирал приглянувшееся ему оружие.

Собранные трофеи - ружья, кинжалы, ятаганы - впоследствии гордо украшали его дом в Яффе. Мы встретились с ним в этом доме после Войны за Независимость. К тому времени Саде стал чем-то вроде народного героя. Он показывал мне многочисленные фотографии, где был заснят в бою против египетских войск или при взятии укрепленных позиций. Когда я сказал, что он, пожалуй, еврейский Гарибальди (прославленный герой Италии, сражавшийся в девятнадцатом веке против австрийцев), Ицхак Саде был в восторге. Оказалось, что он знает про Гарибальди все и всегда восхищался его жизнью и походами, а открытку, посланную мне вскоре после этой встречи, он подписал "Гарибальди".

У себя во дворе Ицхак Саде держал привязанную к дереву козу - не потому, что ему нужно было козье молоко, а просто потому, что это запрещалось новыми израильскими законами, он же верил, что идиотские правила надо нарушать. Мне показалось, что он ничуть не переменился. Слава, к тому времени немалая, не вскружила ему голову; он был по-прежнему прост, безо всяких формальностей, в нем была та же веселость и запал и, конечно, та же энергия и любовь к жизни во всех ее фазах, любовь к действию, к переменам, к событиям, ко всему, что может произойти, и та же ненависть к покою, тишине, скуке, оседлости. На столе стояла большая бутылка водки. "Это я держу для советского посла", - сказал он.

Роль Саде в израильской политике отличалась такою же беззаботностью и безответственностью, как и все, что он делал. Зачарованные дети восторженно глазели на него на улицах. Коммунисты

и попутчики собирались у него по субботам. Он выпивал с членами советского посольства и раздумывал, не стоит ли ему съездить в Москву, поглядеть, что произошло в его отсутствие. Свое просоветское поведение он объяснял тем, что, по его мнению, американцы и англичане никогда не станут бомбить Израиль, а вот русские могут: отсюда необходимость поддерживать с ними хорошие отношения - он отрицал симпатии на идеологической почве. Он сказал мне тогда в Яффе: русским бы хотелось, чтобы возникла большая арабская федерация, а в ее составе была бы наша маленькая страна, но это невозможно: мы никогда не будем коммунистами. Израильская компартия - партия смешная, да и арабы коммунистами не станут, что бы там ни говорили. Хорошие отношения с Советским Союзом возможны, коммунизм - никогда. Наша проблема не политическая, она заключается в отношениях с арабами, а это проблема морального и личного толка. Одно время я верил в возможность двунационального государства евреев и арабов, но вижу, что это невозможно - они нас слишком сильно ненавидят, и это мне вполне понятно. Мы должны жить каждый своей жизнью. Конечно, мы постараемся относиться к своему арабскому меньшинству как можно лучше, но боюсь, это их с нами не примирит. А все же знать наперед не дано - будущее есть будущее, всякое может случиться, нельзя терять надежду, а главное - нельзя бояться, надо просто на все смотреть как на материал, из которого мы строим свою жизнь, и стараться сделать ее как можно богаче и полнее.

Он особенно гордился дружбой со своими учениками - так он о них думал - Моше Даяном и Игалем Алоном, в которых души не чаял. Есть известная фотография (одно время она была в широкой продаже), где он обнимает за плечи двух этих воинов. Саде решительно не желал, чтобы его принимали совсем всерьез. Он обожал рассказывать про свои подвиги, как отставной мексиканский революционный генерал, но даже его тщеславие было исполнено такой простоты, так привлекательно, что ни у кого не возбуждало ревности.

К тому времени он уже был счастливо женат на известной партизанке, успев оставить много других женщин на своем победном пути. Он тепло расспрашивал о родственниках и потчевал меня рассказами о своем славном прошлом. В стране, исполненной трений, напряженности и серьезной целеустремленности, - как и должно быть в любом обществе, закладывающем свои основы, - этот

огромный ребенок вносил элемент предельной свободы, неистребимой веселости, легкости, очарования и естественного полубогемного-полуаристократического изящества, слишком большая доля которого уничтожила бы всякую возможность порядка, но частица которого должна непременно быть в любом обществе, если ему суждено остаться свободным и достойным выживания.

Он был в жизни солдатом нерегулярных войск, из тех, что великолепны на войне, но скучают мирным, упорядоченным существованием, где нет ничего захватывающего. Троцкий однажды сказал, что те, кто желал спокойной жизни, ошиблись, родившись в двадцатом веке. Ицхак Саде наверняка не желал спокойствия. Он от души наслаждался жизнью и передавал свое наслаждение другим, он вдохновлял людей, волновал их и радовал. Мне он нравился чрезвычайно.

Его подвиги, подготовка израильских воинов и дружба с ними, его роль легендарного героя не относятся к моему рассказу, они принадлежат истории Войны за Независимость и создания государства Израиль. А я попытался всего лишь рассказать то, что помню о своем близком родиче, изложить некоторые факты, относящиеся к поре его молодости. Он был человек щедрый и смелый, сыгравший неповторимую роль в истории своего народа, человек, чьи слабости привлекали меня по крайней мере не меньше, чем добродетели. Его памяти я посвящаю эти скромные заметки, написанные с глубокой любовью. Зихроно ле-враха[17].

* * *

В эти воспоминания входит короткая беседа, переданная израильским радио на английском языке, а затем опубликованная на иврите в газете "Давар" 5 сентября 1986 года, с.17. Я хотел бы поблагодарить Иорама, сына Исаака Саде, а также Цви Дрора, которые уберегли меня от ряда ошибок и сообщили некоторые дополнительные подробности. Я благодарен также Хенри Ниру, приведшему в порядок предшествующую публикацию, за то, что он от моего имени проконсультировался с этими авторитетами.

Примечания

1. У него все же была жажда знаний - он любил читать и учиться. Служа в армии во время гражданской войны, он в 1918-20 годах стал студентом

Симферопольского университета в Крыму, где изучал - изо всех дисциплин! - философию и лингвистику. (Прим. автора).

2. Первое свидетельство о пребывании евреев в Риге относится еще к 1536 г. При шведских королях в городе существовала еврейская община, пользовавшаяся рядом привилегий, которые были подтверждены после того, как в 1729 г. город перешел под власть России.

3. Меня взяли на его свадьбу, но как мне потом рассказывали, там было так много гостей, а музыка была такая громкая, что я расплакался и сказал: "Ненавижу эту кричащую музыку", - и меня пришлось увести. Самого жениха я так и не видел. (Прим. автора).

4. ***Рутенберг Пинхас (Петр Моисеевич***; 1878-1942) - талантливый инженер, активный участник русского революционного движения, руководитель боевой организации партии эсеров. Придя к выводу, что революционные круги России заражены антисемитизмом, в 1919 г. переселился в Палестину, где в 1923 г. основал электрическую компанию; под его руководством было введено в строй несколько электростанций, полностью удовлетворивших потребности страны в электроэнергии. Авторитет Рутенберга признавали представители различных сионистских партий, и он пытался примирить их между собой. В 1930 г. Рутенберг был избран президентом Ваада Леумми - исполнительного органа Собрания депутатов еврейского населения подмандатной Палестины.

5. ***Хе-халуц*** (ивр.: букв. пионер, первопроходец) - молодежное движение, возникшее в конце 1910-х гг. в среде русских сионистов. Состояло из трудовых коммун, участники которых стремились получить специальность, чтобы затем заняться поселенчеством в Эрец-Исраэль.

6. ***Йосеф Трумпельдор*** (1880-1920) - выдающийся деятель сионистского движения. За храбрость, проявленную в русско-японской войне, стал полным георгиевским кавалером и первым офицером-евреем в царской армии. В 1912 г. приехал в Эрец-Исраэль и занялся сельскохозяйственным трудом. В период 1-ой мировой войны организовал первое еврейское соединение - "Отряд погонщиков мулов", входившее в британскую армию; затем, вернувшись в Россию, создавал отряды еврейской самообороны. В 1920 г. Трумпельдор вместе с несколькими товарищами героически погиб при защите еврейского поселения Тель-Хай (в Верхней Галилее) от нападения арабов.

7. ***Жаботинский Зеев (Владимир Евгеньевич***; 1880-1940) - писатель и публицист, один из лидеров сионистского движения. В годы 1-ой мировой войны был инициатором создания Еврейского легиона, сражавшегося в Палестине в составе британской армии. В 1920 г., несмотря на возражения Жаботинского, Еврейский легион был распущен, однако его бойцы участвовали в отрядах еврейской самообороны во время антиеврейских арабских выступлений в Иерусалиме (1920 г.), а также в Яффе и др. городах (1921 г.), за что многие из них подверглись тюремному заключению по решению британских вла-

стей. Именно в этих событиях принимал участие И.Ландоберг.

Союз сионистов-ревизионистов был создан Жаботинским лишь в 1925 г. после того, как Исполнительный комитет Всемирной сионистской организации отверг предложенные им меры борьбы за создание еврейского государства по обе стороны р.Иордан и пошел на компромисс с британскими мандатными властями.

8. ***Хагана*** (*ивр.*; букв. оборона) - еврейская подпольная военная организация, созданная в 1920 г. под руководством сионистских социалистических партий; после провозглашения государства Израиль составила ядро израильской армии.

9. ***Сэмюэл Герберт Льюис*** (1870-1963) - британский государственный деятель и философ еврейского происхождения; первый верховный комиссар Палестины (1920-1925) в период мандата.

10. ***"Когда вышел Израиль из Египта"*** - Псалом 114:2.

11. ***Joie de vivre*** (*фр.*) - радость жизни.

12. ***Вейцман Хаим*** (1874-1952) - известный химик, один из лидеров сионистского движения, президент (1920-1931; 1935-1946) Всемирной сионистской организации; первый президент Израиля.

13. ***Бен-Гурион*** (Грин) Давид (1886-1973) - лидер еврейского рабочего движения в Эрец-Исраэль, первый премьер-министр Израиля.

14. ***Force de frappe*** (*фр.*) - ударные силы.

15. ***Ишув*** (*ивр.*, букв. "население") - собирательное название еврейского населения Эрец-Исраэль до создания государства Израиль.

16. В тот перид Бен-Гурион призывал к борьбе против политики Англии путем демонстраций и усиления нелегальной репатриации, тогда как Вейцман занимал более умеренную позицию; на отношения ними наложило отпечаток и соперничество в борьбе за власть в сионистском движении.

17. "Да будет благословенна память о нем" (*ивр*).



М. О. Гершензон в Берлине

(Из воспоминаний Н.М.Гершензон-Чегодаевой)

Публикация Марии Чегодаевой
(Москва)

Предлагаемые вниманию читателей страницы - отрывки из воспоминаний моей матери Наталии Михайловны Гершензон-Чегодаевой (1907-1977), дочери Михаила Осиповича Гершензона (1869-1925). В этих отрывках рассказывается о пребывании семьи Гершензона в Германии в 1922-1923 годах. Поездка была предпринята преимущественно для лечения: у Михаила Осиповича резко обострился туберкулез; туберкулезный процесс начинался у детей - 17-летнего Сережи и 15-летней Наташи. Из весьма обширного (около 100 машинописных страниц) повествования о жизни Гершензонов в Германии, их лечении на курорте в Баденвейлере мною выбраны страницы, рассказывающие о кратком пребывании в Берлине осенью 1922 года, а затем о проведенной в Берлине и Фрейбурге весне 1923 года, когда после лечения в Баденвейлере встал вопрос о возвращении в Россию.

Родители наши решили поехать лечиться в Германию, которую папа хорошо знал[1]. Вероятно, здесь имело значение и то, что в то время существовало международное издательство "Эпоха", отделения которого находились в Москве и в Берлине. С этим издательством папа имел деловые сношения; оно издавало некоторые его работы. Директор "Эпохи" - Белицкий был папин хороший знакомый[2]. Находясь в Германии, папа мог опираться на связь с издательством, а также получать от него материальную поддержку ‹...›

Дорога до Берлина неоднократно прерывалась проверкой документов и осмотром багажа, которые, впрочем, производились очень поверхностно. К Берлину мы подъезжали рано утром, часов около восьми; поезд шел уже по самому городу - от одного берлинского вокзала к другому. Постепенно наши спутники прощались

и сходили. Наконец пришел и наш черед. Верная своему темпераменту, я первая соскочила со ступенек вагона и ступила на перрон. Обстановка заграничного вокзала меня ошеломила. На перроне было много народу, громко звучала немецкая речь, тогда мне совершенно незнакомая. По платформе катились тележки с газетами, журналами и открытками, повсюду пестрели яркие рекламы. В то время как я стояла в ожидании пока сойдут родители и Сережа и будет вынесен наш багаж, ко мне подошел худенький молодой человек небольшого роста, который спросил меня по-русски: "Скажите, ваша фамилия Гершензон?" Это оказался сотрудник издательства "Эпоха" Меерович, которого послали нас встречать. Он провел нас в буфет, а сам вместе с папой пошел нанимать автомобиль или извозчика. ‹...›

Мы разместились в большом экипаже и поехали по улицам Берлина. Ехать пришлось далеко. Я во все глаза смотрела на широкие и очень чистые улицы, на непривычное для меня оживленное городское движение. Хорошо помню, как мы проезжали мимо Тиргартена и я любовалась на красивые деревья и многочисленные статуи. Экипаж наш остановился на сравнительно тихой улице, где для нас снята была меблированная комната. ‹...›

В краткий период нашего пребывания в Берлине мы успели все же кое-где побывать. С особенным чувством повел нас папа в хорошо знакомую по его юным годам (когда он две зимы проучился в Берлинском политехникуме) картинную галерею. Но я оказалась недостаточно подготовленной для восприятия произведений старых мастеров. Довольно равнодушно смотрела я на любимые папины картины (особенно Рембрандта), которые он с восторгом нам показывал. Почему-то мне хорошо запомнилась только одна вещь - "Святой Себастьян" Рубенса (я порадовалась, что мне довелось ее увидеть, когда, через 20 с лишним лет, узнала, что эта, одна из лучших картин Рубенса, погибла в конце второй мировой войны).

В то время, когда мы попали в Германию, т.е. осенью 1922 года, значительная часть русской эмиграции находилась в Берлине. Большинство писателей и профессоров, высланных летом 1922 года из России[3], жили в Берлине. В течение тех 2-3 дней, которые мы провели тогда в Берлине, папа почти никого не успел повидать. Вероятно, он виделся с работниками берлинского отделения издательства "Эпоха", а также из знакомых встретился с сестрой нахо-

дившегося в Париже Льва Исааковича Шестова и ее мужем - философом Ловцким[4]. <...>

За дни, проведенные в Берлине, папа и мы с Сережей[5] успели показаться профессору - специалисту по легочным заболеваниям, и нам было рекомендовано поехать лечить легкие в Шварцвальд. Кто-то из русских, думаю, что это были Ловцкие, посоветовал курорт Баденвейлер, расположенный недалеко от города Фрейбурга в Бренау, в Шварцвальде. Так и было решено. ‹...›

Сборы и отъезд из Баденвейлера, так же как и дорогу в Берлин, я не запомнила. В Берлине мы остановились в хорошем пансионе. Ходасевич приготовил для нас две комнаты в том же пансионе, где сам в то время жил. Пансион этот помещался на 4 или 5 этаже большого дома на Виктория-Луизе плац, круглой площади, от которой в две стороны прямыми стрелками отходила Мотуштрассе. Мы заняли в этом пансионе две небольших смежных комнаты; вход в них был с площадки лестницы, отдельно от всего пансиона. Таким образом у нас получалась как бы отдельная квартирка. Пансион этот был очень приятен; он носил совсем другой характер, чем пансион Эккерлин в Баденвейлере. Публика в нем жила не курортная, а деловая. Во время табльд'отов, которые происходили в общей столовой, по-семейному сходились за одним длинным столом люди разных национальностей. Помню даже какую-то пару - старую даму и мужчину португальцев из Бразилии. Были там и русские. В.Ф.Ходасевич жил с молоденькой женой - поэтессой Ниной Берберовой[6]. За стеной нашей комнаты помещалась семья, глава которой, не старый еще человек, был тяжко болен почками. Он очень страдал, до нас доносились его стоны.

Мы приехали в Берлин с тем, чтобы, показавшись врачам, ехать обратно в Россию. Однако все сложилось совсем не так, как мы предполагали. Очередности событий я теперь уже не помню. Помню только, что врачи категорически запретили папе ехать в Россию, найдя, что за время его полугодового пребывания в Баденвейлере в его болезни не произошло улучшения. Русские берлинцы уговаривали папу вообще остаться за границей, как и они, перейдя в эмиграцию. Родители наши не знали, что им предпринять, и находились в смятенном состоянии. К тому же, у папы деньги были на исходе и приходилось изыскивать пути к их добыванию, что, по-видимому, доставалось ему нелегко. В таком томительно-неопределенном положении мы прожили в Берлине целый

месяц. Каждый день возникали разговоры: "Ехать? Не ехать? Возвращаться ли вообще в Россию?" Мы с Сережей страстно хотели домой, не мысля себе возможности остаться навечно за границей[7]. Папа и мама душою также хотели этого, но, по-видимому, тревожились разными деловыми соображениями, связанными с состоянием папиного и нашего здоровья, с трудностями и неустройством жизни в России[8].

Однажды папа обратился ко мне со словами:

- Скажи, ехать нам или не ехать. Только скажи не думая, реши это не головой, а "животом".

Этот вопрос, характерный для папы, очень смутил меня. Я совсем растерялась и не знала, что сказать. Я не могла отделить своего душевного чувства от тех жизненно-важных соображений, которые служили повседневной темой обсуждения всех членов нашей семьи. "Живот"-то мой знал, чего хотел, а головой я мучилась мыслями о папиной болезни и обо всем остальном, что смущало родителей. Так из моего ответа ничего не вышло.

Томились не только папа с мамой, но и мы с Сережей. Когда нами овладевала тоска, мы вдвоем отправлялись смотреть Берлин. Одну меня ходить по берлинским улицам не пускали, т.к. боялись, что я могу заплутаться или попасть под машину. На Сережу же смотрели как на старшего - почти взрослого, и с ним меня отпускали спокойно. Обычно мы забирались на крышу автобуса и ехали туда, куда пролегал маршрут избранной нами машины. Места на крышах автобусов были некрытыми, так что в лицо дул ветер и голову пекло солнце. Но мы были молоды, весенние дни стояли не жаркие, а в меру теплые; ехать высоко над городом было ново и интересно.

Ходили мы часто и всей семьей. В общем Берлин, несмотря на свою импозантность, мне не нравился, благодаря присущей ему холодности и однообразию. Мне казалось скучным, что большинство улиц похожи одна на другую, что все они - прямые и обстроены одинаковыми серыми пятиэтажными домами. Но все же, огромный город, шумный - с разноязычной толпой, двигавшейся по тротуарам, со множеством несущихся машин и пролеток давал богатую пищу юношескому воображению. Особое мое внимание привлекали многочисленные рестораны и кафе, из которых сквозь раскрытые окна и двери на улицу вырывались громкие звуки входившей тогда в моду джазовой музыки, а также то и дело попадавшиеся фигуры

русских эмигрантов. Русская речь слышалась беспрестанно - на улицах, в ресторанах, трамваях, автобусах.

Один раз всей семьей мы зашли в русский ресторан поужинать. Во время ужина мы заметили, что в углу одиноко сидит молодой человек. Он был пьян в стельку и спал, уронив голову на заставленный бутылками и стаканами стол. Помнится, официанты разбудили его и волоком протащив через зал, вытолкали за дверь. Эта сцена поразила меня; в облике этого пьяного опустившегося человека, выброшенного не только за дверь ресторана, но и за пределы своей родной страны, мне мыслилась большая человеческая трагедия, которую я всячески расцвечивала своим юношеским воображением.

Мне кажется, что у моих родителей в этот раз, благодаря сложности наших обстоятельств, не было настроения осматривать достопримечательности Берлина. Помнится, мы посетили только берлинский зоопарк, славившийся как один из лучших зоопарков в мире.

Мы долго стояли перед вольерой со слонами. Животных разрешалось кормить, и они привыкли выпрашивать у публики угощения. Но случилось так, что у посетителей, глядевших на слонов, ничего в руках не было. Огромный слон, близко подойдя к решетке, долго приседал и кланялся, надеясь на подачку. Когда же он понял, что его просьбы остаются безрезультатными, он повернулся к бочке с водой, набрал в хобот воды и окатил публику с ног до головы; досталось и нам. Унижение умного животного, за которым последовала вспышка его справедливого гнева, было очень впечатляющим.

В берлинском зоопарке содержали много обезьян. В одной большой, высокой клетке обитали мартышки. Там были и крупные, и совсем маленькие, всего штук десять-двенадцать. На этот раз мы запаслись угощением, не то яблоками, не то апельсинами. Я протягивала между прутьями клеток лакомые кусочки, которые неизменно доставались самым крупным и сильным животным, безжалостно оттеснявшим маленьких. Мою особую симпатию и жалость вызывала самая маленькая мартышка, которая сжавшись в комочек, сидела в уголке и не смела подойти к решетке. Но наступил такой момент, когда все большие были удовлетворены и заняты едой. Малышка робко подкралась к краю клетки и протянула между железными прутьями крошечную лапку, в которую я поспе-

шила положить кусочек. Эта черненькая дрожащая лапка в точности напоминала человеческую руку. Такой она и запомнилась мне на всю жизнь.

В Берлине у нас было много встреч с разными людьми, особенно, конечно, с русскими писателями. Наиболее тесные отношения установились с Ходасевичем[9], с которым мы общались ежедневно, живя под одной крышей. Я хорошо знала Ходасевича еще в Москве, т.к. он часто бывал у папы, но теперь воспринимала его иначе, т.к. глядела на людей уже почти взрослыми глазами. Он был нервен, желчен и зол, но очень талантлив и умен. Для его характеристики как человека интересно вспомнить хотя бы то, как он проявлял себя во время игры в шахматы с Сережей. Если Сереже, мальчику 17-ти лет, случалось у него выиграть, Ходасевич по-настоящему злился, и, выражая свою досаду, старался найти слова, которые могли уколоть самолюбие счастливого партнера и снизить значение его выигрыша. Ходасевич часто и охотно читал по папиной просьбе вслух свои прекрасные стихи, которые мы все слушали с величайшим удовольствием. Иногда читала стихи своего сочинения и его молоденькая жена, поэтесса Нина Берберова, хорошенькая женщина с большими светлыми глазами (впоследствии, когда мы были уже в России, до нас дошли слухи, что Ходасевич с ней разошелся).

Как-то вечером мы всей семьей отправились на собрание русских берлинских писателей. Не помню сейчас, кто именно там присутствовал и о чем шла речь. Запомнилось только то, что велась какая-то дискуссия и речи произносились очень горячие, страстные. Внимание мое приковала к себе фигура Ильи Эренбурга, выступавшего с особым остроумием и пафосом. Он показался мне немолодым и несколько чудаковатым, каким-то испитым и потрепанным[10].

Часто встречались мы с матерью нашего друга - товарища детских игр Кики Давыдова - Наталией Михайловной Давыдовой[11]. Эту замечательную женщину, очень любимую моими родителями, постигла страшная судьба, о которой мы узнали из ее рассказов во время наших берлинских встреч. Октябрьская революция застала Наталию Михайловну в Киеве, куда она уехала вдвоем со своим младшим любимым сыном Кикой, очевидно, спасаясь от большевиков. В Киеве они пережили то время, когда там многократно сменялась политическая власть. После воцарения красных Наталия

Михайловна с Кикой были арестованы. В тюрьме им довелось испытать страшные истязания. В один из тех раз, когда ее вели на допрос, она увидела Кику, сидящего на подоконнике окна на площадке внутренней лестницы тюрьмы. Он был страшно худ, бледен и казался больным. Через некоторое время ей сообщили, что ее сын скончался от тифа. Она получила разрешение посмотреть сквозь оконное стекло на мертвого Кику, гроб которого для этого поднесли на несколько минут к окну. После освобождения из тюрьмы Н.М.Давыдовой удалось уехать за границу. В Берлине она жила одна. Я как-то была у нее вместе с мамой и хорошо запомнила ее комнату, где повсюду - на стенах, этажерках, столах - висели и стояли портреты так хорошо мне знакомого красавца Кики с кудрявой головой и чудесными глазами. Наталия Михайловна описала события своей жизни в записках, которые ко времени нашего приезда в Берлин были изданы отдельной книжкой[12]. Эту книжку она дала моим родителям для прочтения; мне тоже хотелось ее прочитать, но папа с мамой не дали мне ее, сказав, что все описанное там настолько страшно, что они находят эти зарисовки неподходящими для чтения подростка.

Старшие сыновья Н.М.Давыдовой - Денис и Василий — также находились за границей (отец их, вероятно, к этому времени уже умер; впрочем, точно не помню). Об этих двух своих сыновьях Наталия Михайловна говорила с горькой иронией. По ее рассказам, старший - Денис жил в Париже, где владел шляпной мастерской. Второй - Василий находился в Берлине. Он вел легкомысленную, рассеянную жизнь, кутил, играл на скачках и т.п. Василия Давыдова я хорошо помню, т.к. он раза два навещал нас в нашем берлинском пансионе. Это был молодой человек лет 26-ти с мягкими, добродушными чертами лица. Он производил впечатление славного, неглупого малого, прекрасно сознававшего никчемность собственного существования, но весело и беспечно смотревшего на жизнь. Помню, папе понравился Василий Давыдов, и он охотно с ним беседовал. А существование несчастной Наталии Михайловны кончилось трагически. Вскоре после нашего возвращения в Россию, до нас дошло известие, что она покончила жизнь самоубийством.

В Берлине нас нашел также сын Б.А.Кистяковского[13] - Игорь, которого в детстве звали Гориком. Случилось так, что после смерти отца Горика его мать Мария Владимировна с двумя младшими сыновьями осталась в Киеве, а ему - старшему (кажется, в связи с

призывным возрастом) устроили отъезд за границу, где он оказался один. Это был худой стройный молодой человек с тонким интеллигентным лицом. Мне он очень понравился; помню, что когда он пришел к нам вторично, я находилась в задней комнате. Услышав его голос, я не сразу вышла к нему, а сперва долго стояла перед зеркалом, поправляя волосы и то застегивая, то растегивая воротник своей блузки и мучаясь тем, что выгляжу, как мне казалось, недостаточно интересной. Игорь Кистяковский являл собой резкий контраст с Василием Давыдовым, отличаясь явной значительностью и во всяком случае - глубокой серьезностью. Тогда еще было неясно, что из него получится, а через много лет я прочла в какой-то статье упоминание о живущем в Париже известном юристе профессоре И.Кистяковском.



Постоянными были также наши встречи с Андреем Белым, который незадолго до нас приехал в Берлин и жил в том же пансионе, где и мы[14]. Когда, уезжая за границу, Белый в Москве зашел к нам проститься, он сказал моей маме: "Еду узнать, почему меня жена за-

была". А.Белый был женат на Асе Тургеневой[15]. Они оба были антропософами и перед первой мировой войной вместе участвовали в постройке антропософского храма под руководством главы европейских антропософов доктора Штейнера[16] (в Дорнахе, в Швейцарии). Когда началась война, Белый как военнообязанный вернулся в Россию; жена с ним не поехала и по слухам, дошедшим до мужа, нашла себе за границей нового друга. Появление Белого в Берлине ознаменовалось удивительным событием. Выйдя из поезда на привокзальную площадь, он встретил свою жену. И это - в огромном многомиллионном городе! Оказалось, что она действительно его бросила и сошлась с поэтом Кусиковым[17] - совершенным ничтожеством. Когда Белый удостоверился в своем несчастье, им овладело отчаяние, которое разрешилось самым причудливым образом. Он принялся ходить по берлинским злачным местам, глуша себя не столько вином, сколько танцами. Люди, которые видели Белого танцующим, рассказывали, что это была унизительная картина, на которую больно было смотреть. Он танцевал самозабвенно, но плохо, не так, как было принято в то время, представлял собой мишень для насмешек присутствовавших при этом немцев. Русские друзья, в первую очередь Ходасевич и папа, употребляли все усилия, чтобы вытащить Белого из этого омута, который затягивал его все больше. Но им это не удавалось. Белый упрямо продолжал пропадать в берлинских кабаках. Очевидно, до московских антропософов дошли слухи о положении А.Белого за границей, и они решили его спасти. В Берлин была откомандирована некая Клавдия Николаевна Васильева, которой поручалось вызволить Белого и привезти его в Москву[18].

Однажды за табльд'отом в нашем пансионе появилась женщина лет сорока с характерным для антропософов "ангельским" лицом. Она сумела блестяще выполнить свою миссию. Андрей Белый не только вскоре после ее приезда в Берлин покорно последовал за ней в Россию, но настолько попал под ее влияние, что стал ее мужем и благополучно прожил с ней вплоть до своей смерти в 1934 году.

Одно из самых ярких впечатлений, относящихся ко времени нашего пребывания в Берлине весной 1923 года, связано с посещением спектаклей Вахтанговского театра, приехавшего тогда на гастроли в Германию. Театр Вахтангова, незадолго перед тем похоронивший своего гениального основателя[19], находился в лучшей поре

расцвета. Актеры были молоды, заветы Вахтангова сохраняли всю свою благоуханную свежесть. Мы пошли на "Принцессу Турандот". Этот спектакль был поистине гениален во всем - в режиссерском решении, в художественном оформлении, актерской игре, музыке. Весь он искрился и сиял, безоговорочно покоряя зрителей. Актеры играли радостно, темпераментно. "Маски" изощрялись в остроумных шутках, посвященных злободневности берлинского существования театра. В дополнение ко всему мы наслаждались звуками русской речи, а я, со своей стороны, была совершенно покорена обаянием Завадского-Калафа, изящного красавца с тонкой гибкой фигурой, приобретавшей особую элегантность благодаря великолепно сидевшему черному фраку. Как сейчас вижу также небольшую тоненькую фигурку Труфальдино - в то время совсем еще юного Рубена Симонова.

Потом мы пошли на "Чудо святого Антония"[20] - тоже очень интересный спектакль, более значительный по глубине созданных актерами образов. Как актер Завадский был еще интереснее в образе св.Антония (думаю, что это была лучшая его роль за всю жизнь); но глядя на него, игравшего согбенного старца, я втайне вздыхала о пленительном изящном Калафе.

Случилось так, что нам довелось встретиться с вахтанговскими актерами за одним чайным столом. Один из берлинских богачей (фамилия его ускользнула из моей памяти)[21], культурный и образованный человек, страстный поклонник и знаток русской литературы и русского языка, устроил в своем особняке вечер в честь находившихся в Берлине русских писателей. В числе приглашенных оказался и мой отец; приняв приглашение, папа попросил разрешения прийти на вечер всей семьей. Хозяин радушно отозвался на эту просьбу, и в назначенный вечер мы отправились. Впервые увиденная мною обстановка богатого дома меня совершенно ошеломила. Когда мы вступили в вестибюль и поднялись по нарядной лестнице, перед нами открылась анфилада парадных комнат, роскошно убранных и залитых светом. Мягкие ковры, изящная мебель, прекрасные люстры, зеркала, картины - ничего подобного я еще не видела, тем более, что все носило не старинно-музейный характер, как в Рудице[22], а служило обстановкой повседневного существования постоянно живших в этом доме людей. Гостей раздевали и провожали наверх лакеи во фраках или нарядно одетые горничные.

Мы уселись в одной из гостиных вместе с тщедушным, худень-

ким А.М.Ремизовым и его величавой толстой женой Серафимой Павловной[23]. Ремизов, связанный с папой многолетней дружбой, был одним из тех русских писателей, с которыми мы встречались в Берлине. За границей он держался чудаком (налет наигранной "юродивости" был вообще ему свойствен), так что в берлинской писательской среде о нем ходили анекдоты. Не зная ни одного иностранного языка, он, по-видимому, бравировал этим, допуская в адрес немцев эпатирующие выходки. Так, рассказывали, что однажды он явился в магазин покупать галстук и будучи уверенным, что русское название этого предмета происходит от немецкого Hals Tuch, просил дать себе таковой. Продавец не мог его понять. Ремизов знаком пояснил, что ему надо. Поняв, продавец воскликнул: "Krawatte!" "Нет, - ответил Ремизов, - не нужна мне кровать, я пришел покупать галстук". Находясь в Лондоне и желая купить апельсины, он требовал "апельсейшен" и т.п.

Когда мы расселись вместе с Ремизовым в мягких креслах узорной гостиной, Серафима Павловна подсела ко мне, стала всячески меня ласкать, бесконечно повторяя мое имя "Наташа, Наташа", сопровождая его вздохами и едва не плача. Ее поведение смущало меня и возбуждало недоумение. После мама рассказала мне историю семейной трагедии Ремизовых, послужившую причиной повышенного внимания этой женщины к моей особе. Когда Ремизовы поженились, у них родилась дочь, которую назвали Наташей. Они были молоды, хотели жить свободно, ребенок их связывал, и они отослали девочку в имение, где жила бабушка и тетка - сестра матери. Там и выросла Наташа, без отца и матери. Когда девочке было лет 15-16, бабушка умерла и родители захотели взять дочь к себе. Но Наташа наотрез отказалась оставить тетю и переехать к ним, сказав, что коль скоро они не захотели ее растить, она их не признает за родителей, а матерью считает воспитавшую ее тетку, с которой и будет жить. Наказанные за свой эгоизм, Ремизовы так и остались без дочери, и, уехав из России, потеряли ее навсегда[24]. Вот почему Серафима Павловна, встретив приглянувшуюся ей девочку-подростка, носившую дорогое для нее имя "Наташа", так расчувствовалась.

Когда все гости были в сборе, нас позвали в большой зал, где стоял длинный великолепно сервированный стол. Я не могу восстановить в памяти состав расположившегося вокруг стола общества. Помню только, что было человек 30-40, все русские (немцев,

не понимавших русского языка, присутствовало не более 2-3), так что разговор шел по-русски. Часто звучало имя Льва Исааковича Шестова, с которым хозяин дома был очень дружен. Шестова ждали к этому вечеру из Парижа, где он в то время жил, но что-то помешало ему приехать. Это было большим разочарованием для папы, который в годы революции особенно сблизился с Л.И.Шестовым, считал его своим самым близким другом.

В разгаре ужина, вероятно часов в 10, а может быть и позже, раздался сначала зконок, а потом звуки оживленных голосов. В зал вошла большая группа актеров Вахтанговского театра, приехавших после окончания спектакля. Они ворвались как свежий ветер, нарушив царствовавшую атмосферу "хорошего тона". Стало непринужденно и весело; все оживились, начали пересаживаться, раздвигая стулья, освобождая место для новых гостей. Мне повезло. Рядом со мной посадили Завадского, рядом с ним села Мансурова, которая в моем воображении олицетворяла прелесть принцессы Турандот. Я смотрела на них широко открытыми глазами. В первый раз довелось мне видеть актеров вне театра, так близко, рядом с собой. Они казались мне необыкновенными существами, не такими, как все люди. Это чувство еще возрастало из-за того, что держали они себя действительно не так, как остальные гости, сидевшие за столом. Свобода и даже фривольность их обращения одновременно и поражали, и пленяли меня. Они обнимали друг друга, чуть ли не целовались; Мансурова, сидя рядом с Завадским, положила голову ему на плечо. По просьбе присутствующих они спели очаровательные песенки из "Турандот", чем доставили всем огромное удовольствие. Что касается меня, то я не только была в полном восторге, но сохранила воспоминание об этой встрече как об одном из самых прекрасных мгновений моей молодости.

Вечер окончился очень поздно, так что нам пришлось долго идти по весеннему ночному Берлину пешком. Было часа 4 утра и уже почти светло. Берлинские улицы, которые мы привыкли видеть шумными и оживленными, поражали своей завороженной тишиною. Особое наше внимание привлекли кувшинчики с предназначенными для молочниц деньгами на крышках (нечто совершенно невозможное в России!), которые стояли на многих крылечках и ступеньках парадных ходов.

Между тем шли дни за днями, время проходило впустую, надо было принять какое-то решение. По совету врачей склонялись к

тому, чтобы снова поехать на юг Германии, в теплый климат, и там постараться устроить папу в санаторий. Во Фрейбурге жил в то время высланный из Москвы профессор, папин добрый знакомый, философ Федор Августович Степун[25] со своей женой. Папа с ним списался, и мы поехали. Степуны сняли для нас комнаты в пансионе, где мы на несколько дней остановились.

От этого краткого пребывания во Фрейбурге у меня осталось двойственное воспоминание. С одной стороны это были беспокойные дни, полные волнений и хлопот, из которых в конце концов ничего не вышло. С другой - мы наслаждались всем, что нас окружало, и не могли оставаться равнодушными к неповторимому обаянию этого города. Именно в это время Фрейбург открылся для нас во всей своей прелести.

Облик этого старинного города с одним из самых старых в Европе университетов, со знаменитым готическим собором и множеством средневековых и ренессансных построек, еще больше выигрывает от чудесного расположения в долине. Он окружен горами, которые виднеются в конце едва ли не каждой улицы. Повсюду растут каштаны и другие южные деревья. Стояла весна, дома утопали в цветах - олеандрах, гиацинтах, вьющихся розах; вдоль тротуаров бежали ручейки, заключенные в асфальтовые желобки. Готический собор меня поразил. Я не могла себе представить, что архитектура способна в такой степени воздействовать на сознание человека, подчинять себе его чувства. Потрясла меня вся обстановка собора: притягивающий к себе взоры стрельчатый свод, таинственная игра света на тонких пучках колонн, окна, составленные из цветных стекол. Душевный трепет вызывало зрелище коленопреклоненных одиноких людей, молившихся в разных уголках огромного помещения собора, и одетых во все черное женщин, просунувших головы под занавески исповедальных кабинок.

Как-то гуляя по городу, мы подошли к зданию университета. Папа сказал, что ему хочется на несколько минут зайти внутрь. Мы вошли в вестибюль. На стене против входа висело расписание лекций. Папа простоял довольно долго и внимательно прочитал. Он был взволнован, видимо, возвращаясь мыслями ко дням своей юности, когда в течение одного семестра ему довелось слушать лекции в Гейдельбергском университете. Как всегда, его чувство сообщилось и нам. Он сумел придать этому моменту торжествен-

ность, как бы приобщив нас на несколько секунд к великому таинству многовековой мировой науки.

Университет накладывает печать на городскую жизнь Фрейбурга. Улицы были полны студенческой молодежи; то и дело встречались молодые люди в разноцветных шапочках студенческих корпораций - чаще всего голубых или красных. Нередко можно было увидеть молодое лицо с рассеченной свежим шрамом щекой[26].

Начались поиски пристанища для папы во Фрейбурге. Один день мы, вместе со Степунами, посвятили поездке в пригородное курортное место, где находился какой-то санаторий. Но место это нам не понравилось, санаторий же оказался слишком дорогим. А дни проходили, деньги уплывали. Не зная, что предпринять, мы решили съездить в Баденвейлер, где у нас были знакомые, с которыми можно было посоветоваться. Кончилось тем, что мы снова поселились все вместе в любимом своем Баденвейлере, решив остаться в Германии до осени[27].

Примечания

1. В 1887-89 гг. Гершензон жил в Берлине, учась в Шарлоттенбургском политехникуме и одновременно слушая в университете лекции по истории и философии.

2. *В издательстве "Эпоха"*, имевшем отделения в Петербурге (а не в Москве, как ошибочно утверждает мемуаристка) и в Берлине, вышли следующие книги Гершензона: Ключ веры. Пг., 1922; Судьбы еврейского народа. Пб.- Берлин, 1922; готовился к изданию также сборник статей "Пальмира" (в него, в частности, должны были войти очерки Гершензона "Пальмира" и "Человек, одержимый Богом", опубликованные автором в период его пребывания в Германии в "Современных записках" 1923, кн.IX), но это издание "не состоялось по особым причинам, хотя книга была набрана и сверстана" (Я.З.Берман. М.О.Гершензон. Библиография. «Одесса», 1928. С.46. Понятно, что работавший в советских условиях библиограф имел в виду цензурные затруднения, о которых сам Гершензон писал Льву Шестову 3 января 1924 г.; см.: М.О.Гершензон. Письма к Льву Шестову (1920-1925) / Публ. А. д'Амелия и В.Аллоя // Минувшее. Ист. альманах. Вып. 6. Paris, 1988. С.294). Руководителя петербургского отделения "Эпохи" *Ефима Яковлевича Белицкого* Гершензон в письме к Шестову от 26 февраля 1922 г. характеризовал как "очень порядочного человека" (Минувшее. С.249).

3. Об "изгнании людей мысли" - см. воспоминания Б.Лосского в 1 томе наст. изд., с.273-287.

4. *Лев Шестов* жил в Париже с начала 1921 г. Его младшая сестра *Фаня Исааковна Шварцман* (1873-1965) и ее муж - философ, композитор и музыковед *Герман Леопольдович Ловцкий* (1881, по др. сведениям 1871 -1957), с середины 1910-х гг. жившие в Швейцарии, в 1921 г. переселились в Берлин, где находились до отъезда в Палестину в 1933 г. (подробнее о них см.: Н.Баранова-Шестова. Жизнь Льва Шестова. Paris, 1983. Т.2. С.299-302).

5. *Сергей Михайлович Гершензон* (р.1906) - ученый-биолог, действ. член АН Украины. С конца 1930-х гг. живет в Киеве.

6. В конце июня 1922 г. *В.Ф.Ходасевич* вместе со своей третьей женой *Ниной Николаевной Берберовой* (1901-1993) - поэтессой, впоследствии прозаиком и мемуаристом - переехал из России за границу. В Германии - и позже в Италии - Ходасевич и Берберова жили до весны 1925 г., когда они переехали в Париж. Их брак распался в 1932 г.

7. В 1920-1922 годах дети Гершензона жили в детской колонии под Москвой, созданной известной теософкой Л.М.Арманд. Дети обожали колонию; Н.М.Гершензон-Чегодаева считала годы, проведенные в колонии, самыми счастливыми в своей жизни. Любовью к колонии и объясняется страстное желание детей вернуться в Россию. Жизнь в колонии, по-видимому, действительно замечательная, подробно описана в воспоминаниях.

8. См. характеристику положения России в письме Гершензона к Шестову от 7 декабря 1922 г.: Минувшее. С.275-276.

9. В.Ф.Ходасевич и Гершензон познакомились в 1915 г. Подробный очерк их взаимоотношений, а также их переписку 1916-1925 гг. см.: Переписка В.Ф.Ходасевича и М.О.Гершензона / Публ., подг. текста и прим. Инны Андреевой // De Visu. 1993. N5. С.12-51.

10. Очевидно, имеется в виду одно из собраний в берлинском Доме Искусств, созданном в ноябре 1921 г. Об участии *И.Г.Эренбурга*, с июня 1921 до конца 1923 г. жившего в Берлине, в деятельности Дома Искусств см.: А.Рубашкин. Илья Эренбург. Л., 1990. С.96-98.

11. *Наталия Михайловна Давыдова* - по сообщению А.д'Амелиа и В.Аллоя - "художница, чл. супрематического общ-ва 'Супремус' (Малевич, Удальцов, Клюн, Попова <...>)" (Минувшее. С.258). Летом 1922 г. Н.М.Давыдова помогала Гершензону в устройстве его литературных дел в Германии; см. письмо Гершензона Шестову от 1 ноября 1922 г.: Минувшее. С.271.

12. Наталия Давыдова. Полгода в заключении; дневник 1920-21 г. Берлин, 1923.

13. Социолог и юрист *Богдан Александрович Кистяковский* (1869-1920) был другом семьи Гершензонов и являлся одним из авторов сб. "Вехи" (1909), "инициатором, составителем и радактором" которого был Гершензон (подробнее см.: К истории создания "Вех" / Публ. В.Проскуриной и В.Аллоя // Минувшее. Ист. альманах. [Вып.11], Paris, 1991. С.249-291; в составе публикации - письма С.Л.Франка, С.Н.Булгакова, П.Б.Струве, А.С.Изгоева, Н.А.Бердяева к Гершензону).

14. С *Андреем Белым* (Б.Н.Бугаевым) Гершензон познакомился в 1907 г. и был дружен до самой смерти (Белому принадлежит некролог Гершензона: Россия. 1925, N5(14). С.243-258). В Берлин Белый приехал 18 ноября 1921 г.; весной 1923 г. Белый и Гершензон жили в пансионе Крампе на Виктория-Луиза-Платц.

15. *Анна (Ася) Алексеевна Тургенева* (1890-1966) - художница, автор мемуаров (см. ее мемуарный очерк "Андрей Белый и Рудольф Штейнер". Мосты. 1970. N15. С.236-251).

16. *Рудольф Штейнер* (1861-1925) - немецкий философ, основатель антропософии, в 1912-1916 гг. оказывал определяющее влияние на жизнь и творчество Андрея Белого, до конца жизни остававшегося - несмотря на кризис в личных взаимоотношениях со Штейнером - адептом антропософского учения (см.: Андрей Белый. Воспоминания о Штейнере. Paris, 1982).

17. *Кусиков Александр Борисович* (наст. фам. Кусикян; 1896-1977) - поэт, примыкал к имажинизму. Приехал в Берлин в начале 1922 г. (вместе с Б.Пильняком) по советской командировке; в Россию не вернулся.

18. *Клавдия Николаевна Васильева* (урожд. Алексеева, во втором замужестве Бугаева; 1886-1970) - из круга московских антропософов, с 1931 г. - жена Белого, позднее автор воспоминаний о нем (отд. изд. - Berkeley, 1981). Приехала в Берлин в январе 1923 г. и находилась там до конца июля 1923 г. Сам Белый вернулся в Россию 26 октября 1923 г.

19. Е.Б.Вахтангов скончался 29 мая 1922 г.

20. Пьеса М.Метерлинка; театр показывал 2-ю редакцию спектакля, оформленного Игнатием Нивинским.

21. Возможно, имеется в виду *Владимир Пименович Крымов* (1878-1968) - предприниматель и литератор. О частых литературно-художественных "приемах" у него в доме см.: Р.Б.Гуль. Я унес Россию. Т.1. Россия в Германии. Н.-Й., 1984. С.264.

22. Рудица, имение М.В.Ломоносова, принадлежало его праправнучке

Е.Н.Орловой, близкому другу Гершензона. Гершензоны провели в Рудице одно лето.

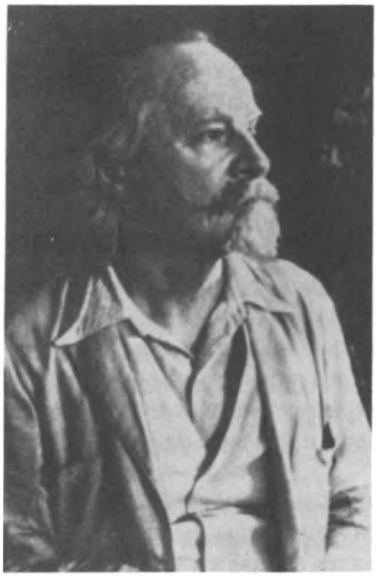
23. А.М.Ремизов и его жена С.П.Ремизова-Довчелло покинули Россию 21 сентября 1921 г. и до отъезда 5 ноября 1923 г. в Париж жили в Берлине.

24. О судьбе М.А.Ремизовой (1904-1943) и о семейной трагедии Ремизовых, связанной с потерей дочери, подробнее см.: Н.В.Резникова. Огненная память. Berkeley, 1980. С.44-60; а также главу "Наташа" в кн. Ремизова "В розовом блеске" (Н.-Й., 1952).

25. *Ф.А.Степун* (1884-1965) - философ, социолог, литератор, член Временного правительства при А.Ф.Керенском, впоследствии профессор Мюнхенского и Дрезденского университетов. Одна из его книг - "Из писем прапорщика-артиллериста" (М., 1918) - была издана "по настоянию М.О.Гершензона" (Ф.Степун. Бывшее и несбывшееся. London, 1990. Т.1. С.358).

26. В немецких университетах сохранился обычай устраивать поединки между студентами.

27. Семья М.О.Гершензона вернулась в Москву в августе 1923 г.



Константин Бальмонт
Вечно бодрствующие
Встречи с евреями

Публикация, вступительная заметка и примечания

Виктора Юзефовича
(Вашингтон)

Константин Бальмонт (1867-1942) - трагическая фигура русской эмиграции. Один из самых тонких, музыкальных поэтов "серебряного века", на стихи которого писали музыку Рахманинов и Прокофьев, человек, объездивший полмира и прошедший через многие увлечения и искусы, в том числе увлечение революционными идеями, за что дважды высылался из России, и идеями Освальда Шпенглера, Бальмонт не мыслил себя вне родины. Уезжая из Москвы в июне 1920 года, он не ведал, что расстается с Россией навечно. Но уже весной 1921 года поэт, органически не принимавший никакого насилия, писал: "Вспыхнул Кронштадт и погас... Несчастное русское имя. Я рву последние нити, связующие меня с Россией, и уже отрезал себе путь возвращения в Москву. Это совсем по-русски. Из проруби в прорубь. Но я бодрее, и так лучше"[1].

Рвать с Россией легче было на словах, чем на деле. Бальмонт пытался найти спасение в интенсивном труде, продолжал писать и стихи, и прозу, делать переводы. Но постоянно давило ощущение того, что творчество его никому в эмиграции не нужно. Франция не была ему близка по духу. "Современные французы плоски, неинтересны, душевно бессодержательны", - писал он [2]. Русский Париж отталкивал нескончаемыми распрями. "Зарубежные русские или потопли в своей беде, или занимаются политическим переливанием из пустого в порожнее" [3]. И в другом письме: "... если большевизм в России лишь собирается умирать, зарубежная Россия помирает, духовно, весьма усердно" [4].

Бальмонт был, конечно, не прав. Мы знаем, как много истинных духовных ценностей было создано на чужбине деятелями культуры, в том числе им самим. Его автобиографическую прозу и стихи зарубежного периода предстоит еще собирать и изучать.

Бальмонт метался между Парижем и атлантическим побережьем Франции, где его привлекало одиночество, манил океан, но нигде душа его не находила покоя. "Тяжко быть одному, быть отъединенному и видеть лохмотья жизни. И не знать, кому отдать свою красоту, свое достижение, свою работу..." [5]. "Мне хочется вернуться в Москву. Мне нестерпимо хочется нашего воздуха, нашего ветра, наших красок на вечернем небе, и вербы, и медленного колокольного звона, - писал поэт, на стихи которого созданы знаменитые рахманиновские "Колокола" [6]. "Пока пишу Вам, - признается он Рахманинову, - я душой в Москве, в переполненном зале, и упоительно рассыпают Ваши волшебные пальцы алмазный дождь хрустальных созвучий" [7].

Друзья были, однако, далеко: Рахманинов и Кусевицкий (одни из немногих, кто поддерживал Бальмонта материально) - в Америке, Прокофьев, подобно метеору, появлялся в Париже, чтобы снова исчезнуть в нескончаемых гастролях по миру. Ощущение безысходности, внутреннего раздвоения, "летаргическая тоска по России" [8] привели Бальмонта к тяжелому душевному недугу, и лишь в просветах между приступами болезни он мог писать стихи. В одном из них, названном "Безветрие души" и помеченном 2-4 ноября 1936 года (его удалось обнаружить в коллекции Кусевицкого), есть такие строки:

Когда ушел за горы вечер знойный
И очертанья скал так хороши,
Я чувствую душой своей спокойной,
Как хорошо Безветрие души... [9].

Обращался Бальмонт в эти годы и к старым своим работам. Одну из них - эссе "Встречи с евреями", написанное еще в 1918 году, он посылает вместе с новыми стихотворениями в середине 20-х годов дирижеру Сергею Кусевицкому, многолетнему музыкальному директору Бостонского симфонического оркестра.

Это эссе публикуется ниже по машинописи, выверенной К.Бальмонтом и хранящейся ныне в фондах Библиотеки Конгресса (Ва-

шингтон). Орфография и пунктуация первоисточника сохранены (кроме вышедших из употребления букв "i" и "ять").*

1.

Когда ребенком я читал Евангелие, помню, меня особенно поразила притча о мудрых и неразумных девах. Маленькая неосмотрительность, а из-за нея невозможность войти к Жениху на брачный пир. Слова "Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа..." показались мне жутко-пронзительными, и они запали в детскую душу глубоко. С детской серьезностью я принял решение всегда думать неотступно о том, чего хочешь, чтоб желанное, придя, ни в какой час не могло застать меня врасплох.

Юношей читал я Коран, и меня восхитил и поразил особенно этот замечательный стих:

О, пророк, завернувшийся в плащ свой,
Стой на молитве всю ночь...

Всю-ли ночь или половину ея, или более половины, только помнить всегда, что Высшее Око, которое не дремлет никогда, тебя видит. Бодрствуй и помни.

Мало по малу, умножался жизненный опыт, углублялось наблюдение, утончалось знание мира и людей. Мне стало ясно, что всех людей, к какому бы разряду ни принадлежали они, можно и должно разделить на две огромные толпы, на две точные разновидности. Есть люди бодрствующие и люди дремотные, люди неспящие и люди сонные.

Бодрствующий человек может и заснуть, и спать крепко, да вдруг проснется, когда это нужно. Человек сонный, человек дремотный не может проснуться воистину - никогда. Он спит, когда спит, и спит, когда не спит. Дрема владеет им, и медлительны его движения, ненаходчивы его предприятия, нерешительна его душа. Человек бодрствующий смотрит зорко, теряется нескоро, или не теряется никогда, знает, что в его жилах течет горячая кровь, ко-

---

* Я благодарю сотрудников Библиотеки Конгресса за содействие в подготовке настоящей публикации *В. Юзефович.*

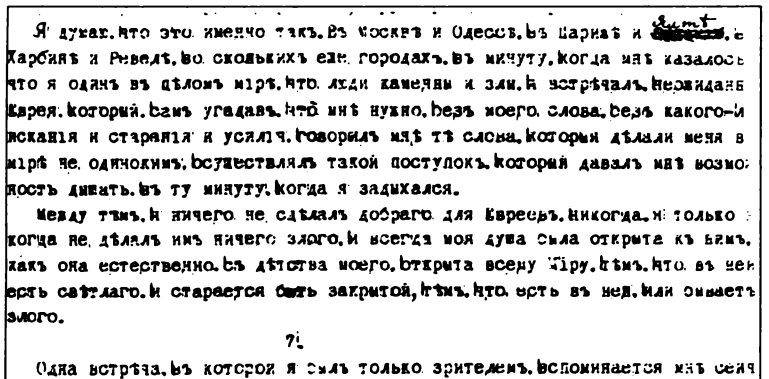
торая умеет хотеть и достигать, знает, что глаз человеческий может смотреть далеко, чувствует, что есть Нечто, зовущее душу гореть и быть крылатой, не примиряться с действительностью, когда хочешь действительности иной. Ведь действенность ведет к действию, а повторность действий видоизменяет действительность. Только слушай и помни свой внутренний голос. Только знай, что твоя душа слита с чем-то высшим, чем ты теперешний. Только помни, что есть горящий куст, который не гаснет, и изсеченныя на молнегромной горе священныя таблицы, на которыя дунуло нечеловеческое дыхание, и вот оно изваялось, дыхание жизни, в словах повелевающих, на тысячи и тысячи лет.

Мне в жизни случалось видеть бодрствующих людей довольно, и я их люблю.

2.

Первые три встречи мои с Евреями произошли в моей юности, в обстановке все три раза неравноценной и разной, все три встречи закрепили мое душевное влечение к Евреям, а встречи позднейшия лишь подтверждали первое впечатление.

Вспоминаю мой родной городок. Шуя, Владимирской губернии. Городок фабричный и достаточно грубый. Мне шестнадцать лет. Мой товарищ по гимназии, моложе меня класса на два, еврей Б. пригласил меня раз к себе чай пить. Это было летом, в воскресный день. Отец моего товарища был плохенький часовщик. Я в первый раз был в еврейском доме, и меня поразило, как дружна была вся эта семья, состоявшая из нескольких старых и совсем юных людей, лицами своими непоходившими на все окружающее и уводившими мою мысль куда-то далеко, в страны, где солнце горячей и где у людей поэтому больше порывистости и живости в движениях. Мне нравилась чисто восточная, я бы сказал теперь - пряная, преувеличенность любезности и хлебосольнаго радушия хозяев, которые в комнатках, совсем скромных и даже скудных, угощали меня так, как если бы они были во дворце и принимали знатного гостя. Старушка-мать старалась, чтобы я съел все печенья, которыя были на столе, и подкладывала мне столько сахару в каждый стакан, что пожалуй я пил не чай, а сироп. В то время, как мы все наслаждались угощением и мирной беседой, мимо низких окон домика прошла ватага нетрезвых людей, каких в Русских



Я думал, что это именно так. В Москве и Одессе, в Париже и [illegible], в Харбине и Ревеле, во скольких еще городах, в минуту, когда мне казалось что я один в целом мире, что люди каменны и злы, я встречал неприязнь. Евреи, которой, сам угадав, что мне нужно, безо моего слова, безо какого-нибудь искания и старания и усилий, говорил мне те слова, которые делали меня в мире не одиноким, вселяли такой поступок, который давал мне возможность дышать. В ту минуту, когда я задыхался.

Между тем, я ничего не сделал доброго для Евреев. Никогда, я только никогда не делал им ничего злого. И всегда моя душа была открыта к ним, как она естественно, в детства моего, открыта всему миру, тем, что в нем есть светлого, и старается быть закрытой, тем, что есть в нем, или бывает злого.

7.

Одна встреча, в которой я был только зрителем, вспоминается мне сейчас как нечто особо выразительное. Это было в Вильне или в Минске, куда я приезжал прочесть какую-то лекцию, не помню города, но помню улицу. Было ясное, солнечное утро. Я шел по тротуару и с любопытством смотрел на лица и места, которые видел в первый раз. Вдруг мое внимание приковалось к двум странно-живописным старикам-евреям. Они шли по противоположному тротуару. Один был слепой, другой, будто по тусклости его глаз и неуверенности движений, полуслепой. Явно было, что это старинные друзья. И полуслепой ласково вел слепого, говоря ему что-то утешающее, при переходе через пер

городах бывает довольно и в праздничные дни, и в будни. Два-три озорника, заглядывая в окна, крикнули глупое оскорбление, а один простер свою наглость до того, что швырнул в закрытое окно камень. Небольшой был камень и несильно был он брошен, но жалко звякнуло стекло, и наш покой, грубо и несправедливо, был нарушен. И я, и мой младший товарищ, оба вспыхнув гневом, вскочили и устремились к выходу. Но старик-хозяин, болезненно моргая своими печальными глазами, остановил нас, говоря: "Не надо. Не надо". Мы смущенные вернулись к столу. Хозяйка с удвоенной энергией стала угощать меня. А юная девушка, сестра моего товарища, преувеличенно-спокойным голосом, но медленно, как будто она не говорила, а поднимала слишком большую тяжесть, сказала, обращаясь ко мне: "Это они потому так, что мы Евреи". О, как много слов хотелось мне сказать тогда этой девушке! Я не сумел их сказать, и не знаю, сумел-ли бы теперь. Я могу только сказать, что вот, через столько десятилетий, все, что есть светлаго в моей душе, устремляет к ея образу ласку и цветы.

Тот скудный часовщик маленького городка, живший в самой

скромной обстановке, всю жизнь наклонял свои глаза над часовым механизмом, до тех пор, пока эти полуослепшие глаза не закрылись совсем. Что они читали в сочетаниях этих малых колесиков и зубцов? Должно быть что-то хорошее и великодушное, потому что, сам проведя свою жизнь в скудости, он дал возможность одному своему сыну стать врачом, а другому писателем.

3.

Вторая моя встреча с запомнившимся мне лицом из Еврейскаго мира произошла в том же моем родном городке, где, кстати, сколько я припомню, никогда среди жителей не было предубежденно-отрицательнаго отношения к Евреям, что делает, быть может, только что мною разсказанное еще более тягостным. У меня заболели глаза от непомернаго чтения. Ехать в Москву денег у меня не было, а глазного врача в моем городке не имелось. Кто-то сказал мне: "Пойдите к еврейскому врачу, он хороший и понимает в глазных болезнях". Я пошел к еврею-врачу, - более не помню к сожалению его фамилию. Он жил в двух маленьких комнатках, а больных у него каждый день бывало столько, что, ожидая очереди, они толпились у входа в домишко, где он жил. Он скоро вылечил мои глаза, но, когда я спросил его, сколько я ему должен, он сказал: "Ничего". Располагая небольшими средствами, позволявшими ему быть сытым и одетым и жить в квартире, за которую он платил пятнадцать рублей в месяц, он всех больных, которые к нему приходили, лечил даром. Мне разсказали это о нем. Я стал настаивать, что я хочу, чтобы он взял с меня что-нибудь за свой труд, потому что я - из семьи, хоть и не очень богатой, но зажиточной. Лицо врача сделалось трогательно-строгим и выразило ощущение той ответственности человека перед самим собой, которое всегда делает человеческие глаза красиво глядящими внутрь себя. "Нет", сказал врач тихим и твердым голосом. "Благодарю вас, но, когда ко мне приходит больной, я должен помочь ему безвозмездно. Это путник в беде, который приходит в мой дом".

Я виделся еще несколько раз с этим пленившим и удивившим меня человеком, не как больной с врачом, а как человек с человеком, чтобы истинно по-человечески говорить о человеческом. Некоторое время спустя, он уехал из нашего города, и я не знаю о нем больше ничего.

Но не посылает-ли нам судьба, иногда, болезнь глаз или боль сердца для того, чтобы мы узнали, что, когда мы духовно спим сном оцепенелым, есть в мире бодрствующие?

4.

Навсегда незабвенной и прекраснейшей была третья моя встреча с лицом из Еврейскаго мира, ибо лицо это было безсмертное лицо Иова.

Я только что кончил гимназию и, преисполненный самых горячих замыслов и сложных размышлений о Мире и Судьбе, мечтал о том, что, если доселе никто не разгадал, как сделать всех людей счастливыми, почему бы эту загадку не мог разгадать я?

Среди множества книг, которыя я ненасытно поглощал с большим увлечением, я читал казавшуюся мне вдохновенной, книгу Карлейля "Герои и героическое в истории"[10]. Уважительным казался мне Карлейль и заманчивыми его разсуждения. Тем странней и неожиданней прозвучала для меня одна его строка, где он говорит, что Книга Иова - лучшая из книг, написанных на Земле. До этого я едва знал Библию и не чувствовал к ней влечения. Совсем другия книги владели моим вниманием. Давно уже узнав, многия, почти все, вершинныя достижения родной художественной словесности, я был под особым гипнозом отдельных образцов литературы мировой, как "Фауст" Гете, "Манфред" Байрона, "Макбет" и "Буря" Шекспира, "Сакунтала" Калидасы. Мне казалось, что лучшая книга из всех, написанных на Земле, "Фауст" Гете. Но нужно было проверить, для душевнаго спокойствия, слова Карлейля.

Есть книги, читая которыя наслаждаешься и мучаешься, и оне оставляют в тебе глубокий след. Есть книги, более сильныя, прочтешь их, и это настоящее открытие, новый мир. Есть книги, которыя больше всего этого, оне пересоздают душу совершенно. Прочтя такую книгу, ты уже навсегда другой.

Было утро, когда я прочел простыя слова, сразу восхитившия меня своею простотой и прямотой: "Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла". Солнце склонялось к закату, когда с лицом, многократно омоченным слезами, я кончил книгу разговора Человека и Бога лицом к лицу, книгу единственную по высокому свое-

му смыслу, и несомненно лучшую книгу из четырех или пяти равноценно лучших книг, когда-либо написанных на Земле. В тот день я не пошел обедать. Еще не прочел я и пяти страниц, как встал и запер дверь, сказав себе, что я не отопру никому и не выйду из комнаты, пока не прочту до конца это изумительное видение.

Многим-многим сильней и поразительней показался мне Иов, нежели владевший мною Фауст. Ни одна из книг, до того прочитанных, не вызывала еще во мне той умственной бури, той взметенности, пронзительности, растроганности, того ощущения тождества чувствующей и мыслящей души человека вообще - с Иовом, тождества меня самого с Иовом, которое пересоздает и заставляет без конца повторять, как слова горькой молитвы, этот возглас: "Ты поднял меня, и заставил носиться по ветру".

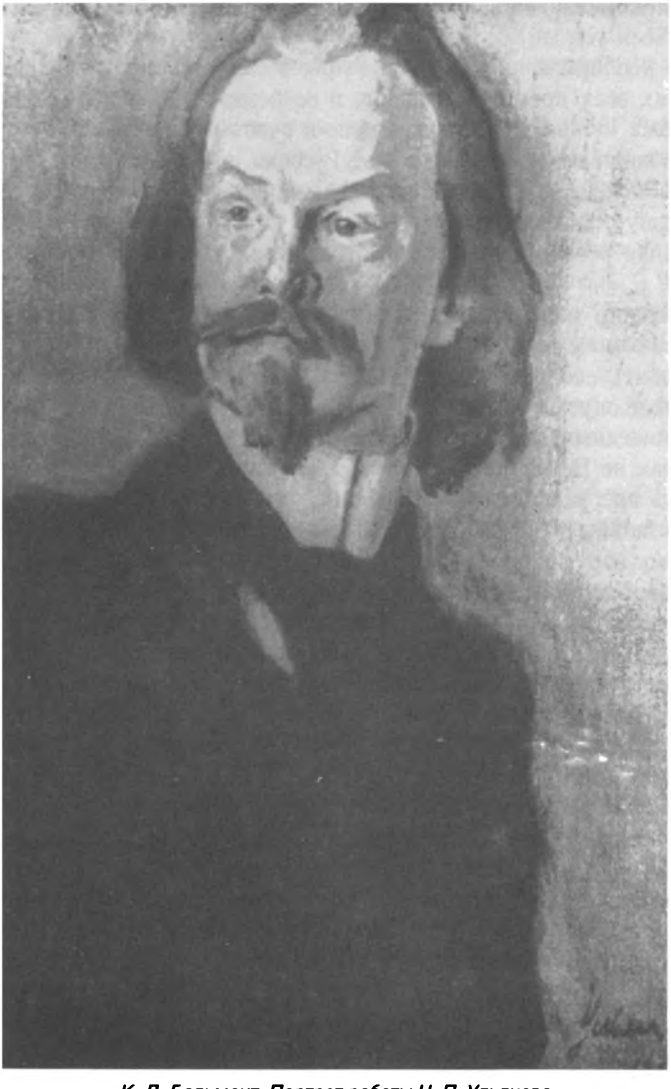
Книга Иова побудила меня прочесть неоднократно всю Библию, которую, втечении многих лет, я брал с собой, в числе любимых книг, всюду, куда бы ни лежали мои пути. И, если в юности я подумал, что Книга Иова - правдивейшая запись беседы Человека с Богом, глаза в глаза, я думаю это и теперь. Я с тем же волнением и восторгом перечитывал в пятнадцатый или двадцатый раз эту книгу - несколько дней тому назад.

5.

Когда с истинной горячностью и с полной искренностью человек чувствует то, что он чувствует, и всю душу вносит в свое размышление, у него вырываются слова такой глубинности, что они идут прямо в сердце, в сердца разныя, разных людей, разных народов, различных времен, проникают прямым и близким прикосновением в самыя причудливыя и чужеродныя сочетания, создаваемыя Человеком и Природой, Человеком и Судьбой.

В чем уж никак нельзя отказать Еврею, это в такой искренности и такой горячности, которыя вольно или невольно, ваяют для многих, ваяя для себя, живописуют многих, живописуя лишь себя. Когда Псалмопевец, восхищаясь зверями и снегом, словом и ветром, огнем и горами, великими рыбами и безднами, самозабвенно взывает ко всему миру: "Хвалите! Хвалите!" - не очищенный-ли человеческий дух, вне временных и племенных различий, поет славу Мирозданию, пленившись его красотой?

Не прозвучала-ли Песнь Песней из конца в конец Земли, повто-



К. Д. Бальмонт. Портрет работы Н. П. Ульянова

ренная в нежном шелесте роз неотцветающих, что зовутся влюбленными устами?

Не подбирала ли скромная Руфь, Моавитянка, забытые колосья в полях всех времен и народов, и не везде-ли благодатная тропинка, межа чужая и своя привела ее к счастью с Воозом?

Не вникаем-ли мы ныне, мы, Русские, в великом нашем разсеянии, в огненные слова Еврейских пророков? Не читаем-ли мы в них нашу собственную правду и судьбу? К кому, как не к нам - эта железная речь обличения, золотое это слово оживляющаго обетования?

Сказано, что так сложен и труден Закон этого разбросанного в тысячелетиях народа, что и самый мудрый праведник не в силах выполнить его весь. Казалось бы, что Еврей весь в паутине, весь скован и опутан неисчислимыми, его собственными, его личными, историческими, племенными, ограничениями и утверждениями. А кто, как не Еврей, так скоро устремляется к воле и торопится разрушить преграды?

Когда мне хочется быть сонным и дремотным, слово, сказанное Евреем, вдруг пробуждает меня, и мои мышцы делаются напряженными, и мое слово становится полетным, и моя песня звенит как стрела, покидая тетиву. Данте и Микель Анджело, Кальдерон и Мильтон, целыя множества поэтов и художников с огненными глазами - не говорят-ли сейчас, что говорю я правду?

И в малой-малой Русской деревне, когда застенчивый юноша, но и смелый, - это я говорю о себе, впервые почувствовал себя воистину поэтом Божией милостью, - кто был с ним тогда неразлучно? Его любимая. И родная природа. И родная звучащая речь, подобная серебряным и золотым разливам. Но также еще страница Библии. И также еще, обрызганная слезами глаз ослепших, ибо много видели и бодрствовали, Книга Песен Гейнриха Гейне.

6.

Какое море лиц и встреч вмещается в несколько десятилетий человеческой жизни. Если я мысленно начинаю смотреть в зеркало своих воспоминаний, я вижу встречи, я вижу все мои странствия по Земному Шару, и мне кажется, что людей на Земле слишком много, и что в общем - не радость, а мучение встречаться с людьми. И мало везде того, что зовется добрыми людьми. И

мало ума, и мало зрения и зрячести. Жизнь сурова и трудна, даже беря ее вне тех исключительных трудностей, которыя безмерным комком давят сейчас человечество, как давит иногда отдельного человека дурной тяжелый сон.

Меня давит одна особенность моей судьбы. Я люблю Россию и счастлив и горд, что я Русский. Я люблю много разных стран и много разных языков, но мне кажется, что Руский язык самый красивый, и я не знаю среди любимых стран такой, чтоб я любил ее, как я люблю Россию. Утверждают также иные, что я достаточно любим, как Русский поэт, как русский писатель, - может быть, любим, как человек. Почему же такая странность, что много раз в моей жизни, в самых разных местах, в самых разных обстоятельствах, когда мне было особенно трудно, так что вот кажется, нет исхода, - добрым словом или добрым действием мне помог не Русский, а Еврей? Иногда Еврей - случайный знакомый. Иногда Еврей вовсе не знающий меня лично.

Быть может, это совсем не личное свойство моей судьбы, а душевное свойство Еврея, который, в силу своей горячности и чуткости, в силу своей зоркости и отзывчивости, видит, часто, чужую душу, когда другие ее не видят, бодрствует, когда другие дремотны, вдруг увидит и прямо подойдет?

Я думаю, что это именно так. В Москве и Одессе, в Париже и Ялте, в Харбине и Ревеле, во скольких еще городах, в минуту, когда мне казалось, что я один в целом мире, что люди каменны и злы, я встречал неожиданно Еврея, который, сам угадав, что мне нужно, без моего слова, без какого-либо искания и старания и усилия, говорил мне те слова, которыя делали меня в мире не одиноким, осуществлял такой поступок, который давал мне возможность дышать в ту минуту, когда я задыхался.

Между тем, я ничего не сделал добраго для Евреев, никогда. Я только никогда не делал им ничего злого, и всегда моя душа была открыта к ним, как она естественно, с детства моего, открыта всему Миру, тем, что в ней есть светлаго, и старается быть закрытой, тем, что есть в ней, или бывает, злого.

7.

Одна встреча, в которой я был только зрителем, вспоминается мне сейчас, как нечто особенно выразительное. Это было в Вильне

или в Минске, куда я приезжал прочесть какую-то лекцию. Не помню города, но помню улицу. Было ясное солнечное утро. Я шел по тротуару и с любопытством смотрел на лица и места, которыя видел в первый раз. Вдруг мое внимание приковалось к двум странно-живописным старикам-евреям. Они шли по противоположному тротуару. Один был слепой, другой, судя по тусклости его глаз и неуверенности движений, полуслепой. Явно было, что это старинные друзья, и полуслепой ласково вел слепого, говоря ему что-то утешающее. При переходе через перекрестную улицу на них внезапно налетел парный экипаж. Еще секунда, две секунды, они должны были быть смяты и изуродованы, может быть, убиты. В это мгновение, с того тротуара, по которому шел я, с громким воплем бросилась к лошадям какая-то девушка. Лошади метнулись в сторону, прежде чем кучер успел их осадить или направить куда-нибудь. Опасность, как по крику заклинания, исчезла. Старый слепец и старик полуслепой были спасены. Девушка перевела их на тротуар и пошла своей дорогой. А я встал и почувствовал, что у меня нет больше ни сил, ни желания идти туда, куда я шел. Я лишь смотрел, точно зачарованный, вслед этим двум удаляющимся жизням, спасенным случайно - или предназначенно - мимо проходившей юной зоркой жизнью. Полуслепой старик крепко держал своей правой рукой старого слепого, своего друга, а другой рукой, свободной, ласково трепал его по этой старческой руке слепца, и, наклоняясь к нему, - было явно, - повторял ему успокоения, потому что, конечно, слепой испугался вдвойне, ведь вдвое кажется страшной нам опасность, когда мы ее не видим.

Эта сила братской любви, в полной «нрзб.», в теснинах старости, в водовороте безучастной жизни, казалась мне красивой, как самый красивый цветок, прекрасной, как слово о безсмертии нашего человеческаго духа.

К. Бальмонт

Примечания

1. Письмо к Наталье Кусевицкой от 13-26 марта 1921 года, Париж. Библиотека Конгресса, Вашингтон. Публикуется впервые.

2. Из письма к Андрею Седых. Цитируется по его книге "Далекие, близкие". Нью-Йорк. 1962. С.70.

3. Там же.

4. Там же, с.71.

5. Письмо к Наталье Кусевицкой от 30 января 1922 года. Библиотека Конгресса, Вашингтон. Публикуется впервые.

6. Письмо к Дагмар Шаховской от 6 апреля 1923 года (публикация Ж. Шерона). Новый журнал. 1989. N176. С.225.

7. Письмо к Сергею Рахманинову от 3 апреля 1925 года (публикация Ж. Шерона). Новый журнал. 1990. N178. С.346.

8. Письмо к Дагмар Шаховской от 9 мая 1923 года (публикация Ж. Шерона). Новый журнал. 1989. N176. С.229.

9. Коллекция С.Кусевицкого. Библиотека Конгресса, Вашингтон. Публикуется впервые.

10. Имеется в виду книга английского писателя Томаса Карлейля (1795-1881) "Герои, культ героев и героическое в истории" (1841, русский перевод 1891).



Листы из архива*

Василий Катанян
(Москва)

Французская писательница Эльза Триоле родилась в Москве в 1895 году. Отец ее Урий Каган был присяжным поверенным, работал юрисконсультом в австрийском посольстве, а также занимался проблемами, связанными с правом жительства евреев в Москве. Мать Эльзы, Елена Юльевна Каган (урожденная Берман), родом из Риги, окончила Московскую консерваторию по классу рояля. Эльза и ее старшая сестра Лиля[1] (впоследствии Лиля Брик, муза Маяковского) получили блестящее воспитание и образование[2], с детства говорили по-французски и по-немецки, играли на рояле. Эльза увлекалась чтением, особенно поэзией. "Поэзию я всегда любила, органически, сама того не зная, и с детских лет помню живущую во мне тяжесть коричневого однотомника Пушкина и красного - Лермонтова. И как целая эпоха вспоминается только оттого, что повеет сиренью или талым снегом, так и какая-то сторона прошлого вспоминается мне только стихами..."[3]

И первый девичий роман был у нее с поэтом, тогда с безвестным и бедным Владимиром Маяковским[4], которого она оценила сразу же, едва услышав от него:

Послушайте!
Ведь если звезды зажигают,
Значит это кому-нибудь нужно?..

Она пришла в восторг от его ранней лирики, но за этим восторгом не скрывались ни влюбленность, ни поэтические принципы или

*Статья печатается с сокращениями.

теории, это был непосредственный восторг, который ощущаешь перед красотой пейзажа, морем или вечными снегами. Это была неосознанная благодарность за то человеческое, что было сказано, выражено стихами и тем самым приносило облегчение страждущим.

Сорок лет она была замужем за французским поэтом Луи Арагоном[5], который воспевал ее в своих поэмах, оставив ее имя поколениям читателей[6], - хотя она и сама в достаточной степени прославилась своим творчеством. Но это - позже. А в 1918 году она выходит замуж в Москве за французского офицера Триоле и уезжает с ним в Париж.

Вскоре судьба забросила ее с мужем на далекий Таити, откуда она переписывалась с друзьями в Москве и Берлине - там тогда было много русских. Письмо с Таити было написано и Виктору Шкловскому[7] в Берлин - обыкновенное, нелитературное письмо - но оно так ему понравилось, что он познакомил с ним Максима Горького. Тот ответил Шкловскому письмом, завершавшимся словами: "Мне кажется, автор ‹...› мог бы дать очень яркое изображение своих впечатлений, которые вызваны Таити и это было бы свеже и ново, если б удалось сохранить тон, взятый в письме. А.Пешков"[8].

Шкловский переслал это письмо Эльзе. Когда Эльза вернулась в Европу, Горький пригласил ее к себе в Сааров, недалеко от Берлина. Она учла его замечания и внесла исправления в рукопись.

В 1968 году Эльза Юрьевна говорила мне, что несколько дней, проведенных у Горького, и его письма очень помогли ей, делавшей перые шаги в литературе. Ей нелегко было писать в еще чужой для нее Франции, не с кем посоветоваться - что плохо, что нет, что лишнее, что интересно.

"На Таити" вышла в Москве в 1925 году в издательстве "Атеней" и была переведена во Франции. Свои первые книги Эльза Триоле писала на русском языке - "Земляничка", "Защитный цвет". Впоследствии она сочиняла романы и рассказы, статьи и эссе преимущественно по-французски[9].

Много сделала Триоле для знакомства французов с русской культурой, и советских (в то время) людей - с французской.

Сегодня она пишет роман и театральную рецензию, завтра - хлопочет об иллюстрациях к своему переводу "Капитана Федотова" В.Шкловского. Я видел ее на репетиции "Дяди Вани", перева-

денного ею, где она помогала режиссеру ценными советами, почерпнутыми из своей московской юности. Кстати, она перевела все пьесы Чехова и у нее в изголовье висела засушенная роза из палисадника его ялтинского дома. ... Вот она с Константином Симоновым (соавтором-сценаристом) просматривает материал фильма "Нормандия-Неман" и спорит с продюссером Каменкой, добиваясь своего. Это она - одна из активных устроителей выставки в Лувре неизвестного французам Пиросманашвили. Это она организовала и прокомментировала выставку Маяковского и провезла ее по городам Франции. Это она придумала, чтобы Любовь Орлова сыграла в Москве "Милого лжеца" Килти, переведенного ею и поставленного Ниной Михоэлс. Это она на страницах газет представляла парижанам юную Майю Плисецкую, последнюю роль Николая Черкасова или первую повесть Чингиза Айтматова.

В начале шестидесятых годов Триоле и Арагон решили подыскать себе к надвигающейся старости загородный дом и в конце концов остановили свой выбор на полуразрушенной водяной мельнице неподалеку от Парижа, в местечке Сен-Арну. Мельницу перестроили, получился уютный и оригинальный дом, ставший культурным центром: Арагон и Триоле распорядились, чтобы после их смерти там могли бы время от времени жить и работать молодые неимущие писатели и пользоваться огромной уникальной русско-французской библиотекой "Мельницы". Архив Триоле-Арагона стал национальным достоянием французов. В качестве "дара Франции, каким бы ни был тип ее правительства", они завещали стране все свои рукописи, документы и письма. В архиве содержатся адресованные Э.Триоле письма Горького и Бунина, Эренбурга и Шкловского, Шагала и Альтмана, но мы ограничимся в данной публикации лишь несколькими письмами, которые она писала сестре Лиле Брик в Москву. Их переписка длилась более пятидесяти лет: с 1918 по 1970 год. Обе они учитывали, что письма в СССР перлюстрировались и любое неосторожное сообщение или одиозное имя могло повлечь за собой не только изъятие письма, но куда более серьезную акцию.

Во время второй мировой войны Эльза Юрьевна вместе с Луи Арагоном была активной участницей Сопротивления. Эта ее деятельность, жизнь и борьба французов против фашистов, нашли отражение в рассказах военных лет, которые печатались в подполье. "Авиньонские любовники", "Порванное сукно стоит двести фран-

ков", "Тетради, закопанные под персиковым деревом" (за них она была удостоена Гонкуровской премии в 1946 году). О жизни во время войны можно прочесть в ее письме к сестре в Москву. Это было первое известие со времени оккупации немцами Франции.



Лиля Брик. 1929 г.

"Февраль 1945. 18, rue de la Sourdière, Paris I-er. Родная моя Лиличка, Жан-Ришар[10] привез от тебя письмо и книжечку. Я уже знала, что ты жива, какие-то люди видели тебя на улице.

Маму жалко. Я была убеждена, что ее нет в живых. Значит от немцев ее спасла смерть, спасибо смерти[11].

Наше хождение по мукам началось в 39-м году. 2-го сентября Арагона призвали, 3-го октября был у меня грандиозный обыск. Ходили за нами шпики. Когда Арагоше это надоело, он отпросился из своего, в некотором роде дисциплинарного, батальона на фронт. Оказался он в танковой дивизии, которая отступала только по приказу, в конце мая пришлось им спасаться морем, если помнишь отступление из Бельгии, через Dunkerque в Англию, оттуда в Брест и через всю Францию, не переставая драться до армистиса[12]. За мной в это время неотступно следили и несомненно бы посадили, если б не подоспело повальное бегство из Парижа.

Мы нашли друг друга невероятно быстро, в конце июня 40-го года, чудом.

В Париж мы, конечно, не вернулись. Остались в Zone libre[13]...

С 'организацией'[14] связались в июне 41 года. Нам прислали из Парижа 'язык' (мы тогда жили в Ницце), который должен был переправить нас через демаркационную линию. Тут нас сцапали немцы и посадили. Но они нас не признали и продержали всего десять дней для острастки.

В Париже Арагоша обо всем договорился (домой мы не ходили, даже почти на улицу не выходили), и его отправили на работу в свободную зону. Жили мы тогда еще легально, Арагошу было неловко сажать, т.к. с фронта он вернулся героем, весь в орденах, а героев тогда было мало. Под шумок напечатали 'Crève-coeur'[15] и

Виши не успело обернуться, как Арагошины стихи обежали Францию, Англию, Америку... Опять таки сажать было неловко.

На нелегальное положение мы перешли 11-го ноября 42-го года, когда итальянцы заняли Ниццу. Сначала прожили шесть месяцев в Лионе, потом, когда от недостатка жиров мы начали шелестеть как сухие листья, организация подыскала нам домик в деревне, где мы дотянули до освобождения, выезжая оттуда два-три раза в месяц как бы на фронт: в Лион, в Париж, на юг и т.д.

Работали мы с intellectuelles, Арагоше была поручена вся Zone libre. Выпускали газету 'Les Étoiles' и основали издательство: 'La Bibliothèque Française'. Нелегально, конечно. Сеть наша очень быстро охватила все отрасли науки, искусства, в организацию вошло примерно 50 тысяч человек, во всех городах начали выходить местные газеты докторов, юристов, учителей и т.д.

Из первых зачинщиков организации в живых только Арагоша да я, парижское отделение переарестовали и расстреляли. Люди были замечательные, близкие, будем по ним плакать всю жизнь (среди них Danielle Casanova[16] и Georges Politzer[17], о смерти которых вы, может быть, слыхали).

Между 'вылазками на работу' было свободное время. Мы ужасно много писали. Если б не писание, я бы кажется руки на себя наложила - так временами бывало трудно и тяжело. Я очень пристрастилась к этому делу, оно заменяет мне молодость, друзей и много чего другого, чего нехватает в жизни. Выпустила я две книги 'Mille Regrets'[18] - сборник рассказов и 'Le Chevale Blanc"[19] - толстый роман. Сейчас набран другой сборник рассказов: 'Le premier accroc coûte deux cent francs'[20], выйдет, когда будет бумага. Мечтаю послать вам все мои книги, кроме них вышла еще мелочь и две нелегальные книжицы, одна из них перепечатана в Канаде, Алжире, Швейцарии ('Les Amants d'Avignon'[21]).

Арагоша стал совсем знаменитый, за эти годы вышло два романа и несколько томов стихов (легально и нелегально). Партизаны его чтут и любят, только его стихи и читают, публика своя и чужая принимает, как принимали Маяковского.

В Париж мы вернулись 25-го сентября 44-го года, после освобождения. Гестапо было у нас несколько раз с обысками, приходила также французская полиция, они только все перерыли, но ничего не унесли... В себя не могу прити от счастья, от Парижа, от друзей... Хотя в Париже сейчас и не весело, мне море по колено!



Эльза Триоле и Луи Арагон

Вот тебе наша краткая биография. Я о вас столько думала и плакала, что девять лет прошло как девять дней, словно бы и не расставались. Без мамы стало скучно жить, оказывается, что жила я немножко и для нее: когда случалось что-нибудь плохое, думала - слава Богу, мама не знает, а хорошее - мама будет рада!

Может быть и кончится когда-нибудь война, может быть вы приедете, или мы к вам приедем.

Арагоша прихварывает, устал очень. Он совсем седой, но очень красивый. Я постарела, но морщины пока что приличные, а то бывает, что с души воротит. Седых волос не видно оттого, что волосы белокурые. Я уже привыкла к себе немолодой, Бог с ней с молодостью, тоже хорошего мало"...

...Послевоенные годы. Выходят романы Триоле, выходит "Театр Чехова" - пьесы, переведенные на французский; выходит биография Маяковского и переводы его стихов. Потом многие будут переводить, но она была первая, и во Франции это помнят и ценят. Она регулярно шлет отчеты о парижских премьерах в московский журнал "Театр", и его читатели узнают о последних французских спектаклях.

В 1961-64 годах Эльза Триоле составляла и редактировала "Антологию русской поэзии" - толстенный том, где ею собраны лучшие стихи от Ломоносова до Ахмадулиной. Ею выбраны переводчики, написаны краткие биографии всех поэтов, переведены Хлебников, Маяковский, Цветаева, Слуцкий, Вознесенский.

"Лиля-Вася[22], издательство Sechers обратилось ко мне с просьбой составить 'Антологию русской поэзии' с самых истоков ('Слово о полку...') и по сегодняшний день. А кстати, уж и все перевести!"

Так начиналось письмо от 28 апреля 1961 года, которое Эльза Триоле написала Лиле Юрьевне и ее мужу, литератору Василию Абгаровичу Катаняну. Так, собственно, началась и сама "Антология".

"Я поступлю так, - продолжала Эльза, - составлю и наберу переводчиков. Составить не так трудно, оттого что ВСЮ поэзию нужно вставить в какие-нибудь 500 страниц, значит взять самые верхушки, самое известное. Для меня дело упирается в трудности практические, т.е. в отсутствие некоторых книг. Делаю я это из любви к искусству, оттого что уж очень не хочется, чтобы какие-

нибудь 'переводчики', не знающие ни русского, ни французского и к поэзии не причастные, взяли бы это в свои нечистые руки.

Надо найти людей. Таких, которые могли бы сделать подстрочники для французских поэтов и даже посидеть с ними, объяснить... Поэтов, знающих русский и французский язык, можно сказать, нету, и даже людей, в достаточной мере знающих поэзию, чтобы сказать - 'такой-то размер, похоже на такого-то французского поэта' - и то трудно найти... Если я это сдвину с места, начну, то, может, само собою покатится, так бывает".

Но "само собою" не очень-то катится, Эльза Триоле много времени тратит на поиски переводчиков, часто отрываясь от письменного стола: "Роман опять отложила, - пишет она 4.07.61. - Сегерс так мало платит переводчикам, что я не знаю, удастся ли мне в конце концов все это организовать должным образом".

И хотя она сама не собиралась заниматься переводами, извечная любовь к поэзии взяла верх. Она обратилась к поэтам, наиболее чтимым.

"Перевела лакомый кусочек из Хлебникова, - пишет она 3.11.61 - Прозу. Две странички. Так решают крестословицы. У меня никогда не получаются крестословицы! Но по сравнению с существующими переводами я - гений! Сейчас я смотрела три антологии, и мне больно и смешно и даже страшно, до того это бездарно. Раз в сто хуже переводов с французского на русский. А прозу здесь переводят лучше - иногда".

Получив от сестры "Тарусские страницы", Эльза благодарит и пишет: "замечательные стихи Цветаевой, яростные, отчаянные... В жизни она была другой. Понравился мне Булат Окуджава - кто он? Что написал? Случайно он написал это хорошо или он настоящий писатель?

Я купаюсь в поэзии, с любопытством открываю старые книги... Перелистываю, точно старые фотографии. Демьян Бедный - это до того плохо, что мне не найти переводчика.

Предисловие мне нужно о русской поэзии, о стихосложении и это Рома[23] сделает, конечно, отлично с научной точки зрения - переход от силлабического стиха к тоническому, от языка псевдоклассического к разговорному, от оды к народной песне и т.д. Я вовсе не стремлюсь к личной оценке кого бы то ни было, а к общей картине развития русской поэзии с университетским, историческим указанием на факты".

В это время у Триоле идет корректура романа, она пишет статью в "Леттр франсез" о выставке Шагала, дает интервью на радио о русских молодых композиторах и пишет Александру Тышлеру просьбу сделать иллюстрации к ее роману "Инспектор развалин". Ее письма в Москву пестрят вопросами - например, как сшить косоворотку для Пети Трофимова. В театре, который ставит ее перевод "Вишневого сада", косоворотку никогда не видели. И нельзя ли прислать рисунок "колотушки ночного сторожа"? Но этот наплыв дел не прерывает ее забот об "Антологии":

"Перевела два стиха Пастернака, Арагоша говорит, что получилось. Но от Слуцкого я принимала двойные порции веганина - не выходит! Прочла весь словарь - найти эквивалент 'брезжит' и 'брызжет' не удалось - что теперь делать? На поэтов, не знающих русский язык, надежда плоха. Буду еще стараться.

Чехова сдала в четверг, целый день потом убирала на столе и в ящиках - стало просторно. Выползла 'Антология'. Не хватает Саши Черного, Северянина, Гумилева, Панкратова, Андрея Белого, Бальмонта. Может быть, что-нибудь найдете? Хорошо бы, если бы Кирсанов и Асеев послали мне их последние 'избранные'. Да также и Сельвинский, у меня их стихов много, но ничего из последних".

Лиля Юрьевна и Василий Абгарович "организовали" Асеева, Кирсанова, Сельвинского и те послали в Париж свои последние стихи.

21.03.62: "Вчера у нас была первая встреча с уже переведенными стихами - надо сказать, маловато перевели. Неплохо и даже несравненно выше, чем все, что было до сих пор сделано в этой области. Самый большой успех у моего перевода Хлебникова - очень все радовались. Неожиданно хорошо получился мой Козьма Прутков, басни Крылова... А перевести Лермонтова - да это почти невозможно! Гийевик перевел 'Сон', 'Лошадей' Слуцкого - так себе (он же перевел прекрасно Крылова и 'Ничего' Некрасова). Словом - продолжаем, переводчики вчера оживились - соревнование! Но я вернулась домой около трех часов утра и сегодня никуда не гожусь".

Работая над "Антологией", Эльза Юрьевна заново вчитывается в поэтов. Снимая с них хрестоматийный глянец, она как бы познает их изнутри. В поэзии ей хочется "дойти до самой сути".

15.04.62: "Перевела из Цветаевой четыре стихотворения. Она поэт настоящий - тяжелый, невыносимый и со своим даже не голо-

сом, а криком - отзвуки, скажем, Володи[24], Пастернака есть, но есть свое, из нутра и из таланта идущее. Когда переводишь и начинаешь соскабливать глянец, то тут-то она и оказывается. Труднее всего переводить таких поэтов, как Лермонтов, Пушкин, чей гений без экзотики и со словами такими обыкновенными, что для перевода нужна почти равносильная гениальность. За таких поэтов я не берусь, у меня несколько получается только когда надо донести особенность, оригинальность, атмосферу равносильными словами и ходом мысли".



Эльза Триоле. 1945 г.

Эльза Триоле в своей жизни переводила много, особенно в начале литературной деятельности. С французского на русский и наоборот. Но перевод поэзии - при всей ее любви и приверженности к стихам - отнимает у нее много сил, она мучается, у нее опускаются руки, и все же она вновь садится к письменному столу за перевод и редактуру, дабы "Антология" получилась достойной тех больших поэтов, которых она выбрала. Стихи решено печатать и по-русски и по-французски.

Из писем видно, что "Антология" появилась только благодаря энтузиазму, настойчивости и стремлению Эльзы Триоле познакомить читающую публику с лучшими образцами русской поэзии. Ей пришлось затратить уйму времени на организацию - один переводчик уехал, другой заболел, третий вовремя не принес, Якобсон исчезает, и она ищет его по всему свету, чтобы вынуть из него обещанное предисловие. "Вчера разозлилась и с ходу, одним духом на-

писала предисловие, покончив с неверным Ромой. Теперь книга закончена!"

"Антология" имела большой успех - и у французов и у русских, живущих за рубежом. Вышел дополнительный тираж. В архиве хранится много хвалебных отзывов - из газет и литературоведческих журналов. Здесь же - отчет о презентации, на которую стараниями Эльзы Юрьевны были приглашены молодые поэты из России. И вот последнее письмо, связанное с "Антологией":

22.10.65: "Вышла 'Антология'... Посылаю. Глазам не верю. Теперь идет подготовка к вечеру. Если все это сбудется и я еще буду жива, то буду лежать и лежать, ничего не делать, пытаться не переживать, не огорчаться, не волноваться и не позволять брать меня за горло!"

Тридцать лет прошло, но лучшей и более полной антологии русской поэзии, чем созданная стараниями Эльзы Триоле, во Франции так и не появилось. И не одно поколение французских читателей, открывая этот том, приобщалось к вершинам русской поэзии.

Примечания

1. Брик Лили Юрьевна (1891-1978) занималась литературоведением, переводами, скульптурой, кинематографом. Оставила неоднократно публиковавшиеся мемуары "Из воспоминаний". Ее переписка с В.Маяковским издана в Москве, переведена на шведский, английский, французский языки. Подробнее см.: Lilja Brik: Schreib Verse für mich. Erinnerungen an Majakowski und Briefe. Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Wassili Katanjan. München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1993.

2. После гимназии Эльза Юрьевна окончила Московский архитектурный институт (1918 г.).

3. Триоле Э. Воспоминания. Публикация В.В.Катаняна // Слово (Москва). 1990. N5-7.

4. С Эльзой Маяковский познакомился осенью 1913 г., более чем за полтора года до встречи с Лилей Брик (см.: Янгфельд Б. В.В.Маяковский и Л.Ю.Брик: переписка 1915-1930. Uppsala, 1982).

5. Арагон Луи (1897-1982), писатель и общественный деятель, во Франции более известен как поэт. Много лет редактировал газету "Леттр франсез". Л.Арагон и Э.Триоле познакомились в 1928 г.

6. Из поэтического наследия Арагона, посвященного Э.Триоле, наибо-

лее известны поэмы "Глаза Эльзы" (1945) и "Эльза" (1959). Для поэта ее глаза - олицетворение Франции.

7. Виктор Борисович Шкловский (1893-1984), писатель и литературовед. Был влюблен в Э.Триоле, что нашло отражение в его книге "Zoo, или письма не о любви" (Берлин, 1923).

8. Письма А.М.Горького были переданы Эльзой Триоле в его музей в пятидесятых годах. Фотокопии хранятся в архиве Лили Брик в РГАЛИ. Письма опубликованы в "Литературной учебе" (Москва), 1988, N2.

9. Переведенные на русский язык ее романы "Авиньонские любовники", "Неизвестный" (М.,1958), "Розы в кредит", "Луна-парк" (М.,1960; оба последних из серии "Нейлоновый век"), "Душа" (М.,1967) и др. были популярны в Советском Союзе.

10. Жан-Ришар Блок (1884-1947), французский писатель и общественный деятель, во время второй мировой войны - корреспондент в Москве.

11. Елена Юльевна Каган умерла в эвакуации в Армавире в 1942 г.

12. Armistice (*фр.*) - перемирие.

13. Фр. - Свободная зона.

14. Организация - Французское Сопротивление.

15. Crève-coeur (*фр.*) - кручина, досада.

16. Казанова Даниэль (1909-1943), героиня французского Сопротивления. Погибла в фашистском концлагере.

17. Политцер Жорж (1903-1942), французский философ-марксист, участник Сопротивления, расстрелян фашистами.

18. Фр. - тысяча печалей.

19. Фр. - белая лошадь.

20. В русском переводе эта книга вышла под названием "За порчу сукна - штраф двести франков" (1945).

21. Фр. - авиньонские любовники.

22. Катанян Василий Абгарович (1902-1980) - писатель, критик, специалист по творчеству Маяковского. Последняя книга - Маяковский. Хроника жизни и деятельности. М.,1985. Муж Л.Ю.Брик с 1938 г.

23. Роман Осипович Якобсон (1896-1982), лингвист, философ, стиховед и литературовед, друг детства Эльзы Триоле. См. статью О.Малевича "Роман Якобсон в Чехословакии" во II т. наст. издания.

24. Речь идет о Владимире Маяковском.



Годы войны 1939-1945

Фрагмент из автобиографии Сергея Гессена "Моя жизнь"

Публикация и примечания Андрея Рогачевского *(Лондон)*

Автобиография "Моя жизнь" была написана С.И.Гессеном в Лодзи в 1947 году. Это ценный источник по истории конца 19 - первой половины 20 в., где рассказано о многих знаменательных событиях, политических и общественных деятелях - Г.В.Плеханове, П.Н.Милюкове, В.Д.Набокове и др., многочисленных коллегах С.И.Гессена по университетам разных стран. Важное место занимают в воспоминаниях философские и педагогические идеи автора (на фоне соответствующих им современных концепций), его неосуществленные замыслы и погибшие в войну труды. К сожалению, в русскоязычном машинописном варианте, который хранится в библиотеке School of Slavonic and East European Studies (шифр - BC 5/1) и которым мы пользовались, отсутствуют главы "Университет", "Логос", "Начало преподавательской деятельности", "Годы войны" (первой мировой - А.Р.) и "Революция". Нам известно также о существовании более полной версии мемуаров на польском языке (неопубликованной и в настоящее время недоступной), итальянский перевод которой вышел в 1956 году в Риме (см.: Hessen S. Autobiografia. La pedagogia russa del XX secolo. A cura di L.Volpicelli. Roma, "Avio", 1956. P.9-62). Предлагаемый читателю фрагмент "Моей жизни" (с.39-54 упомянутой выше машинописной рукописи) - первая публикация воспоминаний С.И.Гессена на русском языке. Минимальная редакторская правка, а также приведение оригинального текста в соответствие с современными нормами орфографии и пунктуации специально не оговорены.

Война меня застала в Варшаве. Вернувшись с летнего отдыха, я спешил закончить статью о педагогике в государствах тотальных, заказанную мне редакцией лондонского Year Book of Education[1]. В

своем легкомысленном оптимизме я был убежден, что все как-то образуется, а война будет в последний момент предотвращена[2]. Уже через неделю после начала военных действий нам пришлось переехать в центр города (к сестре жены[3]). Когда после сдачи Варшавы мы вернулись на свою квартиру, то нашли ее нетронутой внутри, но с выбитыми стеклами и поврежденными рамами окон и дверей от осколков снарядов. К тому же центральное отопление не действовало из-за полного отсутствия кокса и угля, электрическая станция и водопровод были разрушены. Кое-как прожили мы в нашей квартире до конца ноября. Наступала зима, деньги все вышли, заработков не было никаких (все высшие учебные заведения были немцами закрыты, а здание Wszechnicy[4] с прекрасной библиотекой, в том числе превосходной библиотекой моего семинария, сгорело во время военных действий). Жена настояла на моем отъезде в деревню, нашедши мне место домашнего учителя в семье знакомого деревенского мельника в 60 км от Варшавы и 12 км от станции железной дороги. Сама же решила остаться в Варшаве, живя у своей сестры и работая в польской организации самозащиты. В кухне нашей (единственном теплом помещении с целыми окнами) остался жить мой сын[5], которому удалось убежать из лагеря военнопленных (он пошел добровольцем на войну и попал в плен после капитуляции). Жена несколько раз в неделю приходила домой, готовила сыну обед, а весною начала понемногу с помощью сына приводить квартиру в порядок, ремонтировать окна, стены и т.д. Я тем временем готовил дочку мельника на аттестат зрелости, а сына его и племянницу в первый класс гимназии. Раз в 3-4 недели я приезжал в Варшаву, привозя жене и сыну деревенские продукты. Хотя в деревне условия жизни были вполне сносные (главное, чудесная природа и полное отсутствие немцев), я был так ошеломлен происшедшим, что не мог приняться за работу над своими темами и в глубине души с удовольствием сам учился со своей милой и способной ученицей физике, химии, польской литературе, всеобщей истории и другим предметам, входящим в программу экзамена на аттестат зрелости, с особенным наслаждением я решал задачи по математике и физике. В июне жена приехала ко мне в деревню, а в июле мы вернулись на нашу квартиру, тем временем совсем уже отремонтированную. За месяцы моего отсутствия жизнь в Варшаве как-то наладилась. Жена получила работу в учреждении, в ко-

тором она работала до войны (Институт общественного хозяйства) и которое, замаскировавшись в легальном комитете самопомощи, занималось социологическим обследованием жизни варшавского населения под немецкой оккупацией. Академическое начальство (нелегальное) начало выплачивать профессорам скромное жалование, а студенты дополнительно платили за участие в начавшихся *комплетах* (группах в 5-15 человек) и за экзамены[6]. У меня появились еще несколько учеников средней школы (средние школы были тоже закрыты немцами). Сын же мой специализировался на уроках немецкого языка. После более чем полугодового бездействия (в своей области) в деревне я жадно принялся за работу: в течение двух месяцев я написал большой очерк (давно уже мною задуманный и лежавший несколько лет без движения в подробном конспекте) "Философия религии Достоевского". Написал я его вчерне по-русски, потом по-немецки, а потом начисто по-русски. Из всех моих работ о Достоевском эта, несомненно, была наилучшая. Я намеревался издать ее как последнюю главу книги, в которую вошли бы все мои статьи о Достоевском, Вл.Соловьеве и Льве Толстом[7]. До окончания этого очерка я тотчас же принялся за писание большого очерка "Платоновские и евангельские добродетели" (доклад на эту тему я прочел весною 1939 г. в Варшавском историческом обществе). Очерк этот я написал вчерне по-русски, потом по-польски и потом начисто по-русски. Из всех копий обеих этих моих работ сохранилась только польская копия "Добродетелей". Я собираюсь ее в ближайшее время заново пересмотреть и дополнить, издатель для нее уже есть[8].

Зима 1941 г. (почти все время без электричества при карбидовой лампе, при железной печурке в одной комнате) была тяжелая. Но мне уже не хотелось покидать Варшавы, где были ученики, были последние новости (не только немецкие газеты, но и нелегальные бюллетени, начавшие уже регулярно выходить[9]), были жена и друзья. Зимой этой организовался собиравшийся у нас в квартире семинарий, в котором принимали участие некоторые мои ученики, коллеги жены и мой коллега, проф. Суходольский[10]. В этом семинарии я изложил свою теорию развития социализма от утопического социализма до гильдеизма и свою концепцию марксизма. Дискуссия расширила рамки моего изложения: я включил в него разбор итальянского фашизма и немецкого национал-социализма, так же как и развитие советского хозяйства.

Постепенно в уме моем складывался план большого труда, состоявшего из трех частей: 1.Мнимое и подлинное преодоление капитализма, 2.Упадок демократии и ее возрождение, 3.Духовный кризис и его преодоление. В мае 1941 г. группа моих бывших слушательниц (учительниц и руководительниц движения молодежи) обратилась ко мне с просьбой изложить мои мысли о плановом хозяйстве, демократии, организации школы. Так начались мои лекции на указанные выше темы, имевшие очень большой успех в варшавском обществе. Каждая лекция, на которой присутствовало от 6 до 20 участников тайного *комплета*, длилась 2-3 часа (я говорил 1,5-2 часа, причем лекция перемежалась вопросами и дискуссией, бывшей более или менее оживленной в зависимости от состава слушателей.

Обыкновенно квартира менялась, чтобы не вызывать подозрений немецкой полиции и шпионов. Чаще всего я укладывал весь курс в 12 лекций (четыре на каждую из трех частей), но были *комплеты* в 9 и в 15 лекций. За все время я провел более 20-ти таких *комплетов*. Состав слушателей был очень разнообразный: были *комплеты* студенческой молодежи, учителей, писателей, общественных работников и иных. Один комплет я провел в деревне - в нем участвовали сельские учителя и хозяева (крестьяне). Другой - в салоне графини С., участниками его были представители варшавской аристократии (впрочем, очень левого радикального умонастроения). За каждую лекцию (2-3-часовую) я получал от 20 до 30 злотых, а так как очень скоро я уже почти ежедневно имел *комплет* (или на тему "моего" курса или университетский - на педагогическую или философскую тему), я ежемесячно зарабатывал более 500 злотых, что было уже в то время большим подспорьем. Разумеется, вознаграждение это было совершенно несоизмеримо ни с трудом, ни, главное, с опасностью, связанной с нелегальными лекциями. Часто приходилось тащиться в переполненных трамваях и пешком по затемненным улицам на другой конец города с риском наткнуться на немецкий патруль, обыскивающий всех проходящих и арестовывающий в зависимости от интуиции офицера. Неожиданный перерыв в трамвайном сообщении мог вызвать задержку и несоблюдение "полицейского часа" при возвращении домой (всех прохожих, не имеющих специального пропуска, патрули задерживали после полицейского часа, который устанавливался на 8, а иногда на 9 или 7 часов вечера, в зависи-

мости от вдохновения коменданта Варшавы). Обыкновенно лекции назначались на 4-7 часов вечера, так как большинство слушателей работали, утренние *комплеты* были ред-костью. Несколько раз я был уже на границе ареста, но какая-то интуиция опасности меня хранила. Два раза я только благодаря случаю не пришел в условленную квартиру, где неожиданно немцы устроили обыск. Несколько участников этого *комплета* были арестованы и отправлены в лагеря, такая же участь постигла бы и меня, если бы не перерыв в трамвайном сообщении, благодаря которому я не смог приехать в условленное время, во второй раз меня успели предупредить об обыске. Несмотря на все это, я с удовольствием ходил на *комплеты,* на которых всегда можно было услышать какую-нибудь военную или политическую новость, а вопросы слушателей и дискуссии очень помогали мне при разработке моего курса, а впоследствии и при писании книги.

Из *комплетов* этого года особенно удачным был один в предместье Жолибож, куда трамваем надо было ехать три четверти часа. Участниками его были члены организации бойскаутов[11]. Все они принадлежали к боевой организации, и трое из них вскоре погибли в уличном бою с немцами. Руководитель организации был организатором и заведующим подпольной типографией, издавшей между прочим и его собственную книгу "Kamienie na szaniec"[12] о борьбе скаутской организации с немцами. Книга эта была сенсацией во время оккупации. Он усиленно убеждал меня написать конспект моих лекций на 100 страницах мелкой печати, чтобы издать его в подпольной типографии, обещал мне за него солидный гонорар. Но я уже начал в это время писать задуманный двухтомный труд на тему моих лекций, так что должен был отказаться от его предложения. Сейчас А.Каминский[13] (настоящее его имя, известное мне до этого по изданным им до войны прекрасным книжкам о скаутском движении, я узнал только после войны) состоит ассистентом Лодзинского университета, является моим ближайшим сотрудником, и год тому назад я имел удовольствие быть руководителем его докторской диссертации.

Я принялся за писание первого тома "Мнимое и подлинное преодоление капитализма" в мае 1942 г. При работе я пользовался кроме собственной библиотеки библиотекой Института общественного хозяйства, часть которой была укрыта в нашей квартире, а также богатой библиотекой Высшей коммерческой школы, которая

хотя и была под надзором немецкого чиновника, но фактически оставалась в распоряжении польского персонала, хорошо меня знавшего. Работа пошла очень быстро. К ноябрю 1942 г. было уже написано 150 страниц (Глава 1. Обострение внутренних противоречий в финансовом капитализме. Глава 2. Фашизм и нацизм мнимо преодолевают капитализм для его поддержания. Глава 3. В СССР компартия в бешеном темпе "переваривает" одну шестую часть земного шара в котле капитализма, одновременно стремясь к его реальному преодолению. Глава 4. Процесс преображения собственности в последней фазе капитализма. Глава 5. Что такое подлинная социализация собственности?). Последние две главы я написал в деревне около Седлец, где провел несколько недель в гостях у своего ученика И.Петрончука, выдающегося крестьянского деятеля (сельского учителя), уже после войны убитого политическими бандитами за то, что, вступив в Польскую рабочую партию, он своим большим авторитетом поддерживал польское правительство, образовавшееся в Люблине[14]. Смерть этого любимого моего ученика и близкого друга была большим для меня ударом.

Опасаясь все возрастающей популярности моих *комплетов,* жена решила увезти меня в деревню. К тому же жизнь в Варшаве очень вздорожала, и наших заработков не хватало на пропитание. Наконец, в нашей квартире мы укрывали сына моего друга и коллеги, погибшего в начале войны, профессора Змигридера-Конопки[15], которого я в течение годичного его пребывания у нас подготовил на аттестат зрелости. В связи с участившимися обысками в поисках укрывавшихся за границами гетто евреев очень возросла опасность, что нападут на след и нашего Юрека, и тогда бы нам не сдобровать (хозяев квартиры, в которой находили укрывавшихся евреев, обыкновенно расстреливали на месте). Мы знали, что Юрек, выдержав в нелегальной комиссии экзамен зрелости, вступил не только в университетский *комплет,* но в подпольную боевую организацию, что увеличивало шансы его ареста и обыска в нашей квартире. В конце ноября 1942 г. мы выехали в деревню в 60 км от Варшавы, сняв комнату у местного учителя за обучение его детей всем наукам в объеме 4-го класса гимназии. В нашей квартире остался хозяйничать Юрек (сын мой, недавно женившийся, еще раньше уехал от нас). Через несколько месяцев и он оставил нашу квартиру - после того, как гестаповцы, арестовавшие

его товарища, пришли к нам с обыском, но, к счастью, никого не застали дома и ничего не нашли подозрительного. Юрек погиб во время Варшавского восстания с оружием в руках как офицер подпольной армии. Это была не первая и не последняя жертва войны среди моих учеников и друзей[16].

В Грабове (так называлось село, где мы поселились, время от времени приезжая в Варшаву за книжками и новостями), а потом в соседнем лесничестве мы прожили почти год, зарабатывая уроками (платили частично деньгами, частично натурой). Раз в неделю я выезжал на лошадях в соседнее лесничество, где тоже была группа молодежи. Жена учила польскому и французскому языкам, географии, истории. Я учил латинскому и немецкому языкам, математике, физике. Все свободное время я работал над своей книгой и закончил ее в конце августа. Пять новых глав, написанных в деревне, были: Гл.6. Эволюция предпринимательских организаций. Гл.7. Эволюция профдвижения рабочих и служащих. Гл.8. Эволюция кооперативного движения (потребительской кооперации). Гл.9. Эволюция сельскохозяйственной кооперации. Гл.10. Что такое плановое хозяйство?

Мое обоснование в этой книге "правового социализма" (G.D.H.Cole[17], концепция которого более всего приближается к моей, пользуется термином "liberal socialism") охватывало не только богатый конкретный материал, но и включало несколько теоретических экскурсов (о понятии ценности, о прибыли, о проценте, о соотношении хозяйства и права). Один из моих учеников, прочитавший впоследствии машинописный экземпляр моей книги, назвал ее "курсом политической экономии для гуманистов". Мне самому по написании ее казалось, что я мог бы с успехом занять кафедру "общей" политической экономии в университете. Среди слушателей моих *комплетов* были экономисты, разговоры с которыми только увеличивали мою уверенность в себе.

Пребывание наше в Грабове кончилось трагически. Вскоре после экзамена учеников *комплетов,* происходившего в лесничестве в присутствии приезжего члена подпольной школьной инспекции, лучший из моих учеников, 16-летний юноша, сын нашего хозяина, был убит немцами во время облавы. Он был убит почти на моих глазах, и только хладнокровие спасло меня от подобной же участи. Вскоре после этого мы переехали в лесничество, где условия жизни были превосходны. Мы были на полном пансионе у наших

учеников и заняты были в нашей "школе" только по утрам (от 9 до 1 ч.). Идиллия эта была прервана новой облавой, во время которой все обитатели лесничества были арестованы и, вместе с сотнею других арестованных, перевезены в тюрьму в Радоме. Что жену и меня после нескольких дней пребывания в тюрьме выпустили на свободу (тогда как нашего милого хозяина и его жену, вместе с большинством арестованных во время облавы, отправили в концлагеря, где оба умерли), я рассматриваю до сих пор как необъяснимое для меня чудо. Гестаповец, отдельно допрашивавший меня и жену, по-видимому знал меня по моим сочинениям или лекциям. Может быть, это был мой слушатель из Немецкого университета в Праге[18], а может быть, из отделения Wszechnicy в Лодзи, где среди студентов была группа местных немцев, преимущественно учителей начальных школ (польских и немецких), отношения между ними и их товарищами-поляками до войны не оставляли желать лучшего. Забрав из лесничества наши вещи, в том числе и нетронутую рукопись моей книги (немцы искали оружие, радиопередатчик, печатный станок, а книги и рукописи их не интересовали), мы вернулись в Варшаву в твердом убеждении, что оставаться в Варшаве все же безопаснее, чем в деревне.

Последний год перед Варшавским восстанием (1943-44) прошел в напряженной работе над вторым томом моего труда. В течение 9 месяцев, прошедших от начала работы над ним до восстания, мне удалось написать первые 6 глав из следующих 10, из которых должна была слагаться вся книга: 1. Историческое определение демократии как третьего этапа в развитии правового государства. 2. Концепция демократии по Руссо и судьба ее в развитии современной демократии. 3. Диалектика борьбы партий в современных демократиях. 4. Симптомы вырождения традиционных демократических учреждений. 5. Ослабление пульса демократии в концепциях ее новейших теоретиков. 6. Отрицание демократии в фашизме и нацизме - не преодоление демократии, а усугубление всех отрицательных факторов, разлагающих демократический строй. 7. От отрицания демократии к ее утверждению в СССР. 8. Симптомы возрождения и преображения демократии в западно-европейской практике и теории. 9. Опыт характеристики преображенной демократии как четвертого этапа в развитии правового государства. 10. Существо и назначение права.

Оба тома были куплены у меня издательством Кооперативного

института, организовавшего переписку на машинке первого тома и сдаваемых мною по мере написания глав второго тома, а также выплачивавшего мне ежемесячно в счет гонорара по 1000 злотых. Немедленно по окончании издательство предполагало приступить к печатанию моего труда. Увы! Из всех глав его сохранилась только глава 5-я, случайно оставленная мною в квартире свояченицы. Две копии первого тома и шесть переписанных глав второго, хранившиеся у издателей, так же как копии хранившиеся у меня в квартире, погибли в огне восстания[19].

В течение 43-44 г. я возобновил свои *комплеты,* хотя и в меньшем количестве и преимущественно *комплеты* в рамках подпольного университского преподавания. В начале лета я вследствие ареста двух участников университетского *комплета,* имевших при себе рефераты, приготовленные для прочтения в моем семинарии, выехал в имение Института психической гигиены около Варшавы, где меня просили прочитать курс педагогики. Я там отдохнул, как на даче, а перед самым восстанием вернулся в Варшаву. Мой неисправимый оптимизм опять жестоко обманул меня. Поспешный уход немцев с правого берега Вислы, напоминавший бегство, я принял за их уход из Варшавы, по слухам будто бы окружаемой уже советскими войсками. Поэтому я не последовал приглашению своих учеников поселиться у них в Ченстохове или в Ловиче, а остался в Варшаве.

От своих учеников я узнал о предполагаемом восстании и был даже предупрежден, что восстание начнется 1 августа. Но, как и все участники восстания, с которыми мне пришлось говорить, я был убежден, что оно начнется поздним вечером, в сумерки. В 16 часов жена, я и наш жилец (мой ученик) пошли на наш огородный участок (полчаса ходу от дома), чтобы на всякий случай запастись на несколько дней картофелем, овощами и фруктами (у нас в саду росли превосходные вишни и ягоды). Восстание началось в 17 часов, и так как все улицы, ведущие к Мокотовскому полю, где был наш огородный участок, попали под жесточайший обстрел, мы уже не могли вернуться домой. 10 дней мы оставались на огороженном поле вместе с 70-80 товарищами по несчастью, застигнутыми, как и мы, во время работы на своих участках. Все это время мы питались овощами и фруктами и спали в беседке, прикрываясь соломой. На 6-й день нашего сидения банда озверелых власовцев ворвалась через сетчатый забор,

огораживавший наши участки. Они ограбили нас полностью (часы, кольца, деньги) и всех неперебитых сразу мирных жителей погнали на расстрел. Спасли нас в последнюю минуту (я уже простился с женой, ожидая залп из пулемета) трое немецких солдат-летчиков из расположенного по соседству дивизиона. Они уже до этого приходили на наши участки за фруктами и ягодами и знали, что мы не повстанцы, а застигнутые восстанием мирные жители. Увидев наставленный против нас (в нашей группе были и малые дети) пулемет, они быстро отбросили его в сторону, а банду власовцев прогнали. Похоронив убитых, мы оставались еще несколько дней на нашем участке, а потом перешли в находящийся поблизости дом, в котором жила подруга жены. Таким образом, мы все время оставались на территории, занятой немцами и наблюдали систематическое уничтожение ими Варшавы. Дом, в котором мы нашли убежище, был в одном из лучших, новостроенных районов города. Из нашего дома мы видели, как немцы выгоняли население, забирая все ценное, что можно было унести, а потом поджигали дом. Так как почти все дома были в этом квартале бетонные, дом выгорал, но каркас оставался, а пожар не перекидывался на соседний дом. Были дни, когда почти нельзя было дышать от чада и гари. Здесь я пережил первый страшный приступ, длившийся более десяти часов (впоследствии я узнал, что это был первый приступ моей болезни - грудной жабы). Через три дня после приступа очередь дошла до нашего дома, и все жильцы его, так же как соседних домов, нашедшие в нем убежище, были выгнаны немцами. Огромная процессия, растянувшаяся на километр, - старики, женщины, дети, здоровые и больные - медленно двигались, неся на плечах чемоданы и мешки, в направлении сборного пункта для выселяемых из Варшавы жителей. Мы ничего не несли, так как у нас не было никакого имущества. Благодаря счастливой случайности нам удалось избежать страшного пересыльного лагеря в Прушкове под Варшавой, откуда неминуемо нас отослали бы в концлагерь или на работы в Германию, и после двух дней пути мы благополучно, хоть и с приключениями, достигли имения наших друзей в дачной местности. Положение наше было, казалось, безвыходное. У нас ничего не было - ни денег, ни платья (приближалась уже осень), ни белья. Кое-что нам дали друзья, сестра жены, вынесшая из своего дома в Варшаве кое-

какие деньги и драгоценности, и Комитет помощи варшавским беженцам.

Оправившись физически и пришедши в себя после всего пережитого, мы решили поехать к старшей сестре жены, жившей в Челяди около Катовиц. Она и муж ее настойчиво приглашали нас к себе, обещая устроить в своем скромном хозяйстве. Челядь, как и Катовице, находилась в границах так называемой "Третьей Империи", и переход (нелегальный) границы из "Генерал-Губернаторства" в "Drittes Reich"[20] был сопряжен с большими трудностями. Счастливо преодолев их, мы достигли Челяди, где за взятки местным немецким властям нас согласились прописать на временное жительство. Жена была записана как работница в хозяйстве шурина (бывшего президента города Томашова, укрывавшегося под видом "Landwirt'a"[21], а я был прикреплен как служащий к складу металлических изделий одного "Volksdeutsch'a"[22]. Работа эта, в значительной мере фиктивная, не отнимала у меня много сил. Сидя в складе по утрам от 8-9 до 1 часа пополудни, я проверял счета и бухгалтерские книги на арифмометре, но большую часть времени читал и даже писал конспект своей новой работы "Существо права и его назначение". После обеда мы с женою давали уроки группе девочек, среди которых была и племянница жены. В Челяди я еще надеялся, что копии моих работ, находившихся у издателей, сохранились. Не имея под руками ни своих записок, ни библиотеки, я решил приняться за обработку последней главы второго тома ("Существо права"), теоретической по содержанию и давно сложившейся в голове. Во время писания ее глава разрослась, и когда уже в Лодзи я узнал, что все копии моих работ погибли, я решил обработать эту главу как отдельную книгу. В Лодзи я узнал не только о гибели всех моих рукописей и всех копий последних своих работ, которым я придавал такое значение, но и о том, что все жильцы нашего дома и случайные гости, застигнутые в нем восстанием, были частью перебиты, частью вывезены в Освенцимский концлагерь. Только немногие из них вышли из этого страшного лагеря живыми.

Примечания

1. Вероятно, имеется в виду статья С.И.Гессена Education and Economic Life // The Year Book of Education. London, 1949. P.47-86.

2. Ср. сходную самооценку в главе "Возвращение в Петербург и выезд за границу: "...я не раз еще жестоко поплатился за свой легкомысленный оптимизм, который соблазнял меня выдавать собственные желания за реальную действительность..." (Гессен С.И. Моя жизнь... С.17).

3. См. примечание 13 к статье "Curriculum vitae профессора Гессена" в рубрике "Философия".

4. См. примечание 19 к статье "Curriculum vitae профессора Гессена". Wszechnica *(польск.)* - университет.

5. Дмитрий. О нем см. примечание 15 к статье "Curriculum vitae профессора Гессена".

6. Подробнее о деятельности польских ученых и преподавателей в годы второй мировой войны см.: Walka o oświatę, naukę, kulturę w latach okupacji 1939-1944. Zebrali i opracowali S.Dobraniecki i W.Pokora. Warszawa, 1967.

7. См. "Избранную библиографию работ С.И.Гессена на русском языке (1923-1935)".

8. См.: Hessen S. Le virtú platoniche e le virtú evangheliche. Roma, "Avio", 1952.

9. Свод данных о нелегальной польской прессе в годы гитлеровской оккупации см.: Dobroszycki L. Centralny katalog polskiej prasy konspiracyjnej. 1939-1945. Warszawa, 1965.

10. Суходольски Богдан (р.1903) - ученый-педагог, историк культуры, получил образование в университетах Польши, Франции, Германии и Швейцарии. Автор множества научных трудов, в том числе "Uspotecznienie kultury" (1937), "Wychowanie dla przyszłosci" (1947).

11. Скаутское движение существовало в Польше с 1910 года. У истоков его стояли Анджей Малковски, Ольга Драгановска-Малковска, Ежи Гродыньски, Евгениуш Пясецки и др.

12. "Камень для бастиона" (польск.).

13. Каминьски Александр (1903-1978) - педагог, историк, активист скаутского движения. В 1939-1944 годах главный редактор нелегального "Информационного бюллетеня" - центрального органа Армии Крайовой (тираж этого издания доходил до 43 тыс. экземпляров). В 1943 году под псевдонимом Юлиуш Горецки выпустил книгу "Камень для бастиона". Впоследствии - профессор Лодзинского университета.

14. Имеется в виду польское Временное правительство, существовавшее с 31.12.1944 по 28.07.1945 годы. Премьером его стал Е.Осубка-Моравский, а вицепремьерами - В.Гомулка и С.Януш. Первоначально, до освобождения Варшавы, правительство находилось в Люблине.

15. Змигридер-Конопка Зджислав (1897-1939) - специалист по истории античности. Учился в Варшаве, Берлине, Риме, Неаполе. С 1937 года профессор Wolnej Wszechnicy Polskiej, автор трудов "Oblicze prawne ekspansji rzymskiej" (1934), "Dyktatura i cezaryzm" (1935).

16. В годы второй мировой войны в гитлеровских лагерях погибли также первая жена С.И.Гессена, его старший сын и сводный брат Роман, а в 1943 году в Нью-Йорке умер отец.

17. Коул Джордж Дуглас Ховард (1889-1959) - крупный английский историк, экономист и социолог, автор многочисленных трудов, в том числе монументальной "Истории социалистической мысли" (1953-1960).

18. В начале 1930-х годов С.И.Гессен читал лекции по русскому языку в Немецком университете в Праге.

19. Вот список трудов С.И.Гессена, погибших во время Варшавского восстания: "Философия религии Достоевского" (80 страниц; в двух вариантах - по-русски и по-немецки), "Istota demokracji" (40 страниц), "Rzeczywiste a urojene przezwyciężanie kapitalizmu" (300 страниц), "Upadek i odrodzenie demokracji" (12 глав; случайно уцелела лишь одна).

20. "Третий Рейх" (нем.).

21. Фермер (нем.).

22. Этнический немец (нем.).

РУССКИЕ ЕВРЕИ В ПАЛЕСТИНЕ (ИЗРАИЛЕ)

Редактор Виктор Радуцкий

Встреча в бесконечности, или
Светское мессианство Шмуэля Эттингера

Ицхак Орен (Израиль)

“Лишь о себе рассказать я умела...“
Рахель: страницы биографии

Виктор Радуцкий (Израиль)

Альфред Мансфельд

Наталья Лакерник (Израиль)

Он увидел Иерусалим изнутри.
Слово о художнике Александре Копеловиче

Савва Дудаков (Израиль)

Между Обломовым и Самсоном Назореем
(о российских истоках творчества Ицхака Орена)

Марк Амусин (Израиль)



Встреча в бесконечности,

или Светское мессианство Шмуэля Эттингера

Ицхак Орен
(Иерусалим)

22 сентября 1988 года скончался один из крупнейших еврейских историков нашего времени профессор Шмуэль Эттингер. Он родился в 1919 году в Киеве, где получил религиозное воспитание; среднюю школу закончил в Ленинграде. В 1936 году Ш.Эттингер прибыл в Эрец-Исраэль и поступил на факультет иудаистики Еврейского университета в Иерусалиме. Во время второй мировой войны, будучи человеком крайне левых взглядов, он прервал учебу и занялся активной политической деятельностью, став одним из основателей Союза еврейских коммунистов. Идеологии союза были присущи национальные элементы - в противовес программе тогдашней Палестинской компартии, всецело поддерживавшей борьбу арабов против еврейского заселения Эрец-Исраэль. В конце сороковых годов Эттингер посетил страны Восточной Европы, после чего порвал с коммунизмом и всецело посвятил себя изучению еврейской истории. С 1952 года он преподавал в Иерусалимском университете; в 1956 году защитил докторскую диссертацию, а в 1965 году стал профессором еврейской истории Нового времени.

Исследования и работы Ш.Эттингера посвящены в основном трем темам: еврейству России и СССР; антисемитизму и его корням; хасидизму. В каждой из этих областей он пытался создать свою научную концепцию. Эттингер рассматривал еврейскую историю как непрерывный творческий процесс, в котором действуют центробежные и центростремительные силы. С одной стороны, плодотворное общение с нееврейской средой, с другой - замкнутость

и стремление выжить, сохранить свой религиозный и национально-культурный облик. Лишившись родины, суверенного государства и других атрибутов национального существования, народ создал новые, беспримерные в истории формы сомосохранения. Этингер подчеркивал уникальность еврейства, которое на протяжении трех тысяч лет продолжало создавать единую преемственную культуру. Относясь к истории как к строго научной дисциплине, он ни на йоту не отступал от объективного исследования фактов, от сугубо рационального подхода к истории, ему были чужды проявления религиозного и национального фанатизма, в частности, мистическое мировоззрение, усматривающее в Государстве Израиль буквальное осуществление библейских пророчеств о грядущем избавлении и пришествии Мессии. Однако по существу Этингер оставался на позициях еврейского мессианизма в его светской форме. Убежденный гуманист и либерал, он рассматривал мессианизм как веру в прогресс человечества, в сотрудничество народов, в совершенствование человеческого общества. Все это может быть достигнуто путем гуманистического воспитания и рациональной государственной политики. Он считал, что еврейский народ, который внес огромный вклад в культуру мира и развитие гуманистических идей, предназначен и даже обязан с новой силой продолжать на своей возрожденной родине, в своем государстве дело, начатое им в глубокой древности.

Во всех областях своей деятельности профессор Этингер был энтузиастом. Трудно перечислить учреждения, которыми он руководил и в работе которых принимал горячее участие. Многие из них он основал. Упомянем лишь Израильское историческое общество, Центр по изучению еврейской истории им. Шазара, Исторический центр имени Динура, Центральный архив истории еврейского народа, Международный центр по исследованию антисемитизма. Особое внимание уделял Этингер советскому еврейству. Он был многолетним председателем Общества по исследованию еврейских общин, которое издает Краткую Еврейскую Энциклопедию на русском языке. Этингер был ее движущей силой - бессменным председателем редакционного совета и научным консультантом. По его инициативе была создана "Библиотека-Алия", издавшая свыше двухсот книг, посвященных еврейской литературе и культуре. До последнего времени он возглавлял Центр по исследованию и документации восточно-европейского еврейства. Под его редакцией вышел в изда-

тельстве "Алия" двухтомный "Очерк истории еврейского народа" на русском языке, в котором ему принадлежит авторство раздела о еврейской истории Нового времени. Донести еврейскую культуру до евреев СССР он считал чуть ли не миссией своей жизни. Эту миссию он осуществлял страстно и с пламенным энтузиазмом. Не менее пламенно с исключительной душевной теплотой он помогал и интеграции в Израиле еврейской интеллигенции из СССР.

Сравнительно с другими учеными его диапазона Эттингер выпустил немного книг. Его работы разбросаны по журналам и научным публикациям в Израиле и за рубежом. Израильский историк Я.Шавит писал о своем учителе: "Его книги - это его ученики, которые еще долго будут рассказывать об Устном учении профессора Эттингера".

Из множества статей, некрологов, речей, лекций и воспоминаний, посвященных Эттингеру, я выбрал приведенный выше некролог не только потому, что он принадлежит моему перу и я не нуждаюсь в получении авторских прав на него, но и потому, что он заканчивается словами: "Устное учение Эттингера". На иврите "тора ше б'ал пе" (буквально устное учение, или устный закон) обозначает всю систему развития иудаизма с тех пор как был завершен библейский канон, точнее Пятикнижие, "Тора ше-бихтав" - "Письменное учение". Устное учение охватывает многовековой процесс создания религиозного законодательства, которое базируется на библейском своде законов.

Этот процесс заключается в изучении Торы, углублении в ее текст и его толковании, а главным образом, в методе применения законов Торы к реальной действительности в течение двух с половиной тысяч лет, что в известной мере продолжается и до наших дней. Но еврейское законодательное творчество достигло своего апогея уже в конце пятого века н.э., когда был завершен Талмуд - гигантский свод законов, который стал важнейшим культурно-религиозным достоянием еврейского народа. Название "свод законов" не отражает богатство и размах Талмуда. В нем приведены не только законы, но и прения, дебаты, легенды, притчи и высказывания мудрецов и законоучителей по вопросам этики, метафизики, мистики, теологии и правил поведения в каждодневной жизни. В отличие от законов Торы, приписываемых самому Богу и переданных народу Моисеем, Талмуд - уникальный монумент коллективного творчества. На протяжении веков вплоть до современности во

всех странах, куда судьба забрасывала евреев, они усердно изучали Талмуд, воспитывались на нем и, создавая бесчисленные комментарии к нему, развивали свое духовное творчество. Как пишет проф. Сафрай, автор раздела о талмудическом периоде в "Очерке истории еврейского народа", "действительность и происходящие на глазах евреев события на Востоке и Западе казались многим из них проходящей случайностью; подлинной реальностью для них был Талмуд".

Талмуд не был предметом академической деятельности Эттингера. Однако, как было принято в ортодоксальных семьях, он начал изучать его в возрасте пяти лет и продолжал учение до последних лет своей жизни. В свое время, по настоянию Эттингера, я примкнул к группе ученых, в основном профессоров Иерусалимского университета, которая, под руководством профессора Сафрая, посвящала еженедельно целый вечер урокам Талмуда. Все члены группы, кроме ее руководителя, не были специалистами в области Талмуда. Среди них были физики, математики, историки, литературоведы, библеисты и писатели. Занятия происходили у Эттингера на дому. И хотя я уже долгое время до того был знаком с ним и мы несколько лет очень часто встречались по совместной работе (о нашем первом знакомстве речь пойдет ниже), мне впервые бросилось в глаза, что именно на этих уроках он пребывал в своей стихии. Глубоко эрудированный в еврейской культуре, он, бывший коммунист, с явным удовольствием принимал участие в прениях и дебатах о мельчайших подробностях какого-либо синагогального ритуала и даже храмового культа, а также в дотошных определениях легалистической казуистики, не говоря уже о вопросах этики и социальной справедливости.

Тональность Устного учения импонировала Эттингеру как в его научной, так и в политической деятельности. Он не раз признавался, что не любит писать. Он предпочитал живое общение со слушателями или оппонентом. "Очерк истории еврейского народа в Новое время" - самая крупная работа Эттингера - создан по записям его лекций. В замечательной статье Михаила Хейфеца ("Книга моего учителя" - "Вести" 13.03.94) автор мастерски охарактеризовал историка Эттингера:

"Особенность его таланта заключалась в умышленном стремлении профессора к исторической объективности. Беда же его заключалась в том, что как раз по свойствам натуры Эттингер не был

спокойно-объективным исследователем. Это был человек взрывчатого общественного темперамента, политически заряженный куда больше нас, молодых, - он ходил на разные демонстрации и митинги, подписывал политические декларации и т.д. Но личные политические страсти последовательно вытеснялись им же из сферы профессиональной работы, ибо в науке он стремился сам и нас учил искать только одно - истину. Отсюда проистекала некоторая зажатость, скованность его сочинений - от этого несоответствия человеческой натуры и поставленной самому себе задачи".

Как один из литредакторов упомянутых очерков я могу рассказать, что мне стоило немало труда разбавить его сгущенные экстракты каплями живой воды, для того чтобы придать им бóльшую читабельность, памятуя, что книга адресована не только студентам и ученым.

Устное учение, как свидетельствует сам Талмуд, со временем превращается в письменное. Уже при жизни Эттингера вышли в свет некоторые сборники его статей и лекций на иврите. Они продолжают выходить и теперь. Совсем недавно "Библиотека-Алия" выпустила в русском переводе такого рода сборник под названием "Россия и евреи". Статьи, собранные в сборнике, посвящены истории евреев в России. Приложение к этой книге включает список всех работ Эттингера - в общей сложности 154 названия.

В предисловии к русскому изданию преемник Эттингера профессор И.Барталь указывает на противоречивые влияния, напряженно взаимодействовавшие в душе Эттингера: с одной стороны, немецкие и русские социально-философские теории, наследие радикалистского периода в его жизни, а с другой - современные еврейские национальные идеи в своем восточно-европейском обличье; диалектические противоречия между универсализмом и партикуляризмом, между частным и общим, между "общечеловеческим" и "сугубо еврейским" присутствуют во всех его работах. Профессор Барталь цитирует интервью, которое Эттингер дал одной иерусалимской газете:

"Меня интересует то, что будет. Поэтому я не историк в общепринятом смысле. Полное слияние с прошлым означает примирение с тем, что человек прекращает действовать или что его способность к деятельности сильно ограничена".

Эттингер не мог примириться с тем, что светское мессианство так же утопично, как и религиозное. Реальная действительность в

настоящем разбивает вдребезги системы рационально исторических доводов с той же жестокостью, с какой она рушила мистические верования в прошлом. Треугольник: антисемитизм, хасидизм и русское еврейство - не просто случайная геометрическая фигура. Этот треугольник в сознании (а может быть, правильнее сказать в "вере") Эттингера отражал три ипостаси мессианства. Антисемитизм - первородный грех греко-римской цивилизации, принявший чудовищные формы в христианском и мусульманском мирах, - ощущается им как некое дьявольское начало. Лишь создание независимого еврейского государства сможет искоренить это зло и таким образом принести не только избавление еврейскому народу, но и излечить страшный недуг европейского общества и стран Ислама.

В последние годы Эттингера тревожило, что после шестидневной войны мировое общественное мнение стало все более и более наделять Израиль чертами сатанинского стереотипа еврея, созданного церковью средневековой Европы, превращая облик государства в своего рода олицетворение коллективного еврея, ненавистного всему миру. Но и такой вариант антисемитизма с некоторой натяжкой вписывается в диалектический процесс осуществления массианской идеи.

Величайший исследователь еврейского мистицизма Гершом Шолем рассматривал возникновение хасидизма как косвенный результат крушения мессианского движения Саббатая Цви. Падение многообещавшего и долгожданного избавителя привело к тому, что Мессия как бы раскололся на множество локальных "спасителей", харизматических духовных вождей - чудотворцев, приносивших избавление не еврейскому народу в целом, а каждой общине в диаспоре в отдельности. Глава такой общины - *цадик* (буквально праведник) являлся для его приверженцев посредником между ними и Богом. Сам Эттингер не принимал эту точку зрения. Он, как отмечает проф. Барталь, раскрывал противоречия в такого рода теориях, но в то же время воплощал их в своем творчестве и в академической деятельности.

Анализу третьей стороны "мессианского треугольника" - русскому еврейству - посвящены дальнейшие рассуждения настоящего эссе, в ходе которых будет, - я надеюсь, - оправдано его заглавие "Встреча в бесконечности". Я намереваюсь начать с моей первой встречи с Эттингером, но еще до того считаю уместным привести

цитату из знаменитого рассказа Исаака Бабеля "Сын рабби"*: __ "Я, видевший его в одну из скитальческих моих ночей, стал складывать в сундучок рассыпавшиеся вещи красноармейца Брецлавского. Портреты Ленина и Маймонида лежали рядом. Узловатое железо ленинского черепа и тусклый шелк портрета Маймонида. Прядь женских волос была заложена в книжку постановлений шестого съезда партии, и на полях коммунистических листовок кривые строки древнееврейских стихов. Печальным и скупым дождем падали они на меня - страницы 'Песни Песней' и револьверные патроны... Он умер - последний принц среди стихов, филактерий и портянок... И я, едва вмещающий в древнем теле бури моего воображения, - я принял последний вздох моего брата".

Одно из моих первых впечатлений по прибытию в Эрец-Исраэль было общее собрание студентов Иерусалимского университета, состоявшееся в начале 1937 года. На повестке дня стоял вопрос: следует ли обязывать студентов "соблюдать субботу" в студенческой столовой. Практически речь шла о запрете курить в субботу и о необходимости еще до наступления субботы приобрести талоны для того, чтобы избежать пользования деньгами, запрещенное в этот день. Как видно, никто не возражал против кашерной кухни.

Вдруг на сцену вскочил высокий худощавый парень в синей рубашке с красным шнурком на груди, заменявшим пуговицы. Он завопил неистовым голосом:

- Из монастырей стреляли по республиканской армии в Испании!

Правда, дело было во время гражданской войны в Испании. Но не имея ни малейшего опыта в прениях такого рода, я поначалу никак не мог уловить связь между этим возгласом и курением в субботу. Только тогда, когда студент, принадлежавший к одной из правых партий, поднялся на сцену после возмущенного левого трибуна и заявил, что нам образ жизни будет диктовать не учение "выкреста Маркса", а Моисеев закон, мне стало ясно, что стрелявшие из монастырей олицетворяли собой черные силы универсального клерикализма, который включает в себя все религии на нашей планете и замышляет запретить уплату наличными за наши обеды в святую субботу.

Так поочередно воинственная группа крайне левых нападала на

---

*Рассказ Бабеля "Сын рабби" был впервые опубликован в 1924 году в журнале "Русская новь".

"опиум для народа", а правые героически защищали "национальные святыни". Мое внимание привлек шагавший по сцене юноша в темном пиджаке и фетровой шляпе - одеяние из ряда вон выходящее для студента. Он объявил, что принадлежит к "Антифа" (антифашисты - замаскированное название кружка студентов коммунистов; ПКП - Палестинская коммунистическая партия — была нелегальной в период британского мандата). Ко всеобщему удивлению он произнес пламенную речь о необходимости блюсти субботу и соблюдать другие предписания еврейской традиции в учреждениях студенческой организации Иерусалимского университета (других университетов не было в подмандатной Палестине). "У каждого народа, - говорил он, - есть своя традиция и свой уклад жизни. У нас, более чем у какого-либо другого народа, они связаны с обычаями и ритуалами, обязанностями и запретами, источником которых является религия. Если мы их 'поголовно' отвергнем, создастся vacuum, пустота, и народ превратится в сброд, у которого нет своего национального облика".

Услышав такие высказывания из уст коммуниста, я решил, что наступил момент доказать всей этой публике, что следует четко разграничить понятия *религия* и *нация*. Не менее воодушевленно, чем предыдущий оратор, выступил я против тех, кто проповедует нам продолжение традиционного образа жизни. "Сионизм это революция, - заявил я, - и его назначение занять в жизни нашего народа место, занимаемое до сих пор религией, которая перестала выполнять свою историческую миссию - сохранение нашего народа. На первых порах любая революция ставит перед собой те же цели: отрицание (пусть даже лишь временное) прошлого, уничтожение закоснелых форм существования и их восстановление в обновленном виде в процессе приспособления к новому миру. В диалектике разрушения и становления обновится и суббота, которая предстанет во всей своей красе, сбросив допотопные одеяния дотошного формализма. Такие несущественные мелочи, как курение или употребление денег, отпадут сами собою. Я бетаровец, я обожаю Жаботинского и всецело воспринимаю его идеологию. Однако мне кажется, что именно в киббуцах формируется в наши дни образ жизни народа, вновь пускающего корни в землю древней родины. Еще в галуте я читал о том, что в киббуцах принято совершать церемонию сбора первых полевых плодов в ознаменование древнего библейского завета о ритуале приношения плодов в Иерусалимский

храм в праздник Шавуот. Я еще не успел посетить киббуц, но с наступлением праздника я надеюсь своими глазами увидеть эту церемонию, если найдется киббуц, который будет готов оказать гостеприимство бетаровцу".

В перспективе почти шестидесяти лет смешно серьезно оценивать упрощенный подход двух юношей. Но на студенческую публику тех времен они произвели впечатление главным образом потому, что, принимая во внимание их партийную принадлежность, они говорили неожиданно, пожалуй даже экстравагантно, как бы глядя друг на друга в зеркало, где правая сторона превращается в левую, а левая в правую.

Как бы то ни было, с этого момента мы оба почувствовали некоторую близость друг к другу. Она выражалась в улыбках при встречах, в обмене короткими замечаниями, а иногда даже в непродолжительных беседах, которые, по-видимому, ничем выдающимся не отличались и не оставили следа в моей памяти. Помнится только, что мы очень обрадовались, узнав, что у нас обоих родной язык русский. Лишь по прошествии тридцати лет наши дороги скрестились в работе по ознакомлению с еврейской культурой евреев Советского Союза. Первым этапом совместной деятельности был "Очерк еврейской истории", а ее апогеем - "Краткая Еврейская Энциклопедия". Эттингер уже давно отрекся от коммунизма и стал убежденным сионистом, но крайне "голубиного" толка. Я политикой не занимаюсь, но употребляя "крылатые определения", могу с чистой совестью назвать себя весьма умеренным и зачастую колеблющимся "ястребом". Несмотря на многие разногласия и споры, нам всегда удавалось добиться нейтрального и объективного изложения не только исторических событий, но и самых животрепещущих проблем современности, вызывающих острую полемику и ожесточенные идеологические споры в израильском обществе. Двадцать лет интенсивной совместной работы выявили нашу подспудную близость со дня первого столкновения, и мы стали истинными друзьями. Памяти Эттингера я посвятил сборник своих рассказов в русском переводе.

Десять лет спустя в Тель-Авиве вышел в свет сборник стихов одного из ведущих поэтов тридцатых и сороковых годов Авраама Шленского "Камни хаоса". В нем есть стихотворение озаглавленное "Рамбам* и Бакунин", где рисуется книжный шкаф как отра-

*Рамбам (Маймонид) - аббревиатура "Рабби Моше бен Маймон" (1135-1204). Величайший еврейский философ, раввин-кодификатор.

жение духовного мира мальчика. Цитирую три строфы стихотворения в переводе И.Бауха:

Вечер входит на цыпочках в сумрачный зал.
О, как давят меня стены эти.
Реб Моше бен Маймон строго смотрит в глаза
Бакунина - на портрете.

Среди стен, среди тайн полумрак, полусон
Хор "Эй ухнем" - раскатисто-ровный.
А в углу голоса, и дядя с отцом:
"Ха-шилоах", Хабад**, Центр духовный.*

Все так странно, таинственно, трепет в груди -
Мальчик слышит (навострены ушки):
*Спорят в книжном шкафу Мохарар ми-Ляди****
И Александр Сергеевич Пушкин.

Стихотворение Шленского явно перекликается с рассказом Бабеля. Оба автора принадлежат к поколению наших предшественников, и в их произведениях отражены компоненты духовного развития Эттингера. Сходство произведений бросается в глаза, но мы обратим внимание на их различие. У сына рабби лежали рядом портреты Ленина и Маймонида, страницы Песни песней, коммунистические листовки и филактерии. В шкафу семьи будущего израильского поэта - "Ха-шилоах", Хабад, Мохарар из Ляд, а главное: Бакунин, "Эй ухнем" и Александр Сергеевич Пушкин.

Сын рабби, как и многие евреи того времени, увидел в Октябрьской революции мессианские времена. Им казалось, что наступает пора социальной справедливости, братства народов, равенства всех людей на свете и мир во всем мире - т.е. воплощение всех идеалов библейских пророков. Полное равноправие евреев, эфемерный расцвет советской культуры на идиш, оторванной от исторических корней еврейства, руководящие посты, которые занимали евреи в большевистской верхушке, наплыв евреев во все отрасли советской литературы, науки, искусства, экономики и администрации, запрет антисемитской пропаганды и даже попытка соз-

---

*"Ха-шилоах" - популярный журнал на иврите, основанный еврейским мыслителем Ахад-хаамом, проповедовавшим создание духовного центра в Эрец Исраэль.

**Хабад - одно из центральных течений в хасидизме.

***Шнеур Залман из Ляд - основатель и вождь Хабада.

дания показной автономной еврейской области - все это вызвало эйфорию среди многих слоев еврейской интеллигенции. Им казалось, что они свидетели осуществления еврейской эсхатологии. Зверства Сталина рассматривались как неизбежное наступление предсказанного в еврейской мистике переходного периода страданий и даже мученичества, который должен предшествовать мессианской эре. Как известно, это эйфорическое ожидание "светлого будущего" легко привилось западно-европейской интеллектуальной элите. Оно усилилось после второй мировой войны и продолжало существовать вплоть до девяностых годов. Достаточно упомянуть хотя бы одно имя: Сартр. Лишь развал СССР подействовал как антибиотик против этой эпидемии.

Надо сказать, что концепция мнимого мессианства не была бы совершенной и, так сказать, красочной без одного из основных компонентов мессианства - идеи избранного народа. Таким народом стал русский народ - народ-богоносец. Осталось лишь исправить первый слог этого эпитета и заменить слово *Бог* словом Маркс. Вся русская история воспринималась как прелюдия (в первоначальном смысле этого музыкального термина) к "героической симфонии" коммунизма. Иосиф Виссарионович вполне вписывается в историю России как воплощение русского мессии - Ивана Царевича, роль которого предлагает Верховенский Ставрогину в "Бесах" Достоевского. Напрашивается параллель между этой историософией и отношением христианства к Ветхому завету. Светское Евангелие стало достойным преемником Третьего Рима, существование которого получило легитимацию как этап исторической диалектики.

Вот почему отблеск книжного шкафа в детстве Шленского не отражал бы полностью корни, питавшие творчество Шленского и духовную жизнь его поколения в подмандатной Палестине и Государстве Израиль в первые годы его существования, если бы в нем не промелькнули Бакунин, "Эй ухнем" и, конечно, Александр Сергеевич Пушкин наряду с Маймонидом, Хабадом и его основателем. Если я не ошибаюсь, современная неэвклидова геометрия определяет параллели как линии, которые пересекаются (встречаются) в бесконечности. В шкафу Шленского они встретились в мессианстве.

Трудно себе представить, в какой мере русская литература (именно русская, не только советская) была популярна среди левых движений в Израиле, каковы бы ни были взгляды русских писателей и поэтов - от Гоголя до Шолохова и от Пушкина до Мая-

ковского. К счастью, во втором выпуске альманаха "Евреи в культуре Русского Зарубежья" было опубликовано обширное эссе Амоса Оза "Опаленные Россией, или русские корни израильской культуры", в котором перечислены и описаны эти корни. Я, естественно, отсылаю читателя к этому очерку с чувством признательности к его автору, освободившему меня от обязанности проделать огромную работу, без которой настоящее эссе было бы неполным и отчасти даже непонятным. Я прибавляю лишь три характерных примера:

Репатрианты третьей алии пионеры-халуцим (1919-1923 годов), после изнурительного труда на полях киббуцов под жгучим израильским солнцем, распевали по ночам свой чуть ли не гимн ("Мы будем первыми") на мелодию "Эх, полна, полна моя коробушка". Библией Палмаха (боевых отрядов еврейской самообороны в Эрец-Исраэль) во время второй мировой войны была книга Александра Бека "Волоколамское шоссе", а несколько лет спустя после окончания Войны за Независимость, когда на заседании Кнесета Бен Гурион отверг предложение, которое, по его словам, могло бы привести к появлению чужой армии в Израиле, один из руководителей крайне левой рабочей партии (Мапам) подал реплику с места: "Красная армия - не чужая армия".

Книжный шкаф Эттингера по духу почти не отличался от шкафа Шленского. Я подробно остановился на еврейских истоках Эттингера - человека, политического деятеля и историка. Что касается русских корней, то я лично никогда не сталкивался со старожилом Израиля, который бы более, чем он, был сведущ в русской истории и культуре. Он досконально знал русскую литературу, начиная с былин и "Жития протопопа Аввакума" до Солженицына и Пастернака. Не думаю, что мы когда-либо провели вместе два часа без того, чтобы он не процитировал Пушкина или Чехова. Все источники, касавшиеся русского еврейства, были ему знакомы - от текстов о ереси жидовствующих до еврейского самиздата в Советском союзе. В свое время у меня было впечатление, что он читал все, что только когда-либо было издано в этом самиздате и дошло до Израиля.

В первом номере израильского журнала "Еврейская интеллигенция в Советском союзе" была напечатана статья Эттингера "Еврейская интеллигенция СССР в собственных глазах". Журнал на-

чал выходить в период упадка алии из Советской России, после большой волны конца 60-х и начала 70-х годов. Эттингер призывает правительство Израиля приложить все усилия к улучшению интеграции русского еврейства. Историческое наследие еврейского народа и достижения евреев почти во всех областях человеческого творчества доказывают, что Государство Израиль может не только занять почетное место среди стран мира, но и стать светочем для народов*. Осуществление этой миссии требует немедленного обновления нашего общества, которое придает его формированию новую притягательную силу. Из слов автора вытекает, что в фокусе такого обновления будет стоять русско-еврейская интеллигенция.

Прочтя эту статью, я признался Эттингеру, что его бурная и неутомимая деятельность в области культурной интеграции советской алии уже давно вызывает во мне подозрение, что разочаровавшись в русском коммунизме, он перенес свои мессианские чаяния на русское еврейство в Израиле не столько потому, что оно *еврейство,* сколько потому, что оно *русское.* Я хорошо помню его ответ: "Я уже давно знаю, что ты не можешь обойтись без иронии, не только в литературе, но и в общении с людьми. Я лично люблю иронию и поэтому с удовольствием читаю не только тебя, но и Сократа. Что касается сути дела, то тебе дозволено беспредельно пользоваться твоим диким (на иврите "паруа" - обычно переводится - *распущенный, необузданный, растрепанный*) воображением, а мне нет. Ты писатель, а я официально историк".

И не случайно историк Эттингер заканчивает свое предисловие к "Очерку истории еврейского народа в Новое время" цитатой из произведения не кого иного, как Ф.М.Достоевского:

"Приписывать status in statu одним лишь гонениям и чувству самосохранения - недостаточно. Да и не хватило бы упорства в самосохранении на сорок веков, надоело бы и сохранить себя на такой срок. И сильнейшие цивилизации в мире не достигали и до половины сорока веков и теряли политическую силу и племенной облик. Тут не одно самосохранение стоит главной причиной, а некоторая идея, движущая и влекущая, нечто такое мировое и глубокое, о чем человечество еще не в силах произнести свое последнее слово".

---

*Я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли (Исайя 49:6).



"Лишь о себе рассказать я умела..."

Рахель: страницы биографии

Виктор Радуцкий*
(Иерусалим)

Когда ее не стало, на письменном столе были найдены стихи, которые назывались - "Моя смерть". Их предварял эпиграф, поражающий горечью провидческого осознания судьбы поэта: "Только мертвые больше не умрут"...[1]

Рахель родилась 20 сентября 1890 года в Саратове. Вскоре семья переехала в Полтаву - там прошли детство и юность поэтессы, которой суждено было оставить неумирающие - сегодня, на исходе столетия, мы уже вправе сказать о них так - строки в ивритской поэзии.

Отец Рахели, Исер Лейб Блувштейн, сын богатого полтавского купца, восьми лет был выкраден из отцовского дома и отдан в кантонисты. Мальчика отправили в маленькую деревушку под Вяткой, где воспитали в строгой православной семье. Родители его не вынесли удара - отец умер от разрыва сердца, мать наложила на себя руки. Когда через четверть века, отслужив свой срок в царской армии, участник обороны Севастополя Исер Лейб Блувштейн получил право вернуться к семье, у него никого не было в целом мире... Но человек этот обладал незаурядной силой характера: он сумел начать жизнь сначала - создал свое дело, стал богатым че-

---

*Сердечная благодарность моему литературному редактору Инне Шофман, оказавшей мне серьезную помощь в подготовке очерка о Рахели к печати, и моим дорогим друзьям: д-ру Ури Мильштейну, предоставившему мне все материалы для данной работы, и инженеру Яакову Лаху из Беэр-Шевы, которому принадлежит подстрочный перевод стихотворений Рахели, послуживший основой для поэтического перевода, сделанного Львом Друскиным.

ловеком, обзавелся семьей. Он не забыл заповедей еврейской религии, которые изучал до своего похищения (преподаватели прочили мальчику большое будущее на поприще еврейской учености), и ревностно исполнял их. В Полтаве его почитали как знатока Писания.

После смерти первой жены Исер Лейб женился на Софье Мандельштам.

Все "русские" Мандельштамы - ветви одного генеалогического дерева. Это утверждение принадлежит вдове Осипа Мандельштама Надежде Яковлевне. Если это так - можно говорить о наличии родственных связей между семьями двух поэтов - Рахели и Осипа Мандельштама. Само же "дерево" уходит корнями в глубину веков. Доктор Эльтон из США, который тоже принадлежит к семейству Мандельштамов, проследил его историю до 11 века и пришел к поразительному открытию: их родословная восходит к рабби Шломо бен-Ицхаки - Раши, гениальному комментатору Библии, который, по традиционным утверждениям, принадлежал к дому царя Давида...

Стоит, наверно, назвать некоторые из "ветвей" этого дерева, расположенных в непосредственной близости к самой Рахели. Ее прадед по материнской линии Элиэзер Дилон был советником царя Александра I во время Отечественной войны 1812 года (в этот период среди советников царя было два еврея - Дилон и Розенберг). В российской истории остались имена многих членов этой семьи - государственных деятелей, представителей литературы и искусства. Упомянем, к примеру, скульптора Марию Дилон, получившую в 1905 году царскую награду за скульптуру "Сестра милосердия читает письмо раненому солдату". (Рахель в свое время подумывала о принятии фамилии Дилон - поэтессу привлекало ее ивритское звучание.)

Общественные роли в этой семье волей судьбы распределялись порой достаточно полярно. Так, дед Рахели был главным раввином Риги, затем - Киева, в то время как брат его в середине девятнадцатого века стал первым еврейским студентом в России. Брат Софьи Мандельштам, матери Рахели, - Макс, известный глазной врач, президентствовал на Пятом Сионистском конгрессе в Базеле (1902 год). Судьба двоюродной сестры Рахели Розы Мандельштам могла бы стать темой отдельной статьи, а возможно, и захватывающего романа: юной девушкой уехала она в маленькую волжскую дере-

вушку учить крестьянских детей, со временем стала членом "Народной воли", была среди тех, кто 26 августа 1879 года приговорил к смерти царя Александра II, и самым активным образом участвовала в подготовке покушения на него (из ее квартиры велось наблюдение за царским поездом и именно отсюда предполагалось взорвать подготовленную бомбу). Волей случая едва ли не в последний момент Роза была отстранена от непосредственного осуществления покушения, смогла уехать в Германию, изучала там философию и прожила оставшиеся годы так, что близко знавшие ее люди называли эту женщину "святой"...

Мать Рахели, Софья Мандельштам, "была женщиной образованной... знала языки... состояла в переписке с выдающимися деятелями русской культуры, в частности со Львом Николаевичем Толстым, который писал ей, что она - Софья Мандельштам одна из самых образованных его корреспонденток" (из воспоминаний сестры Рахели Шошаны). Чтобы составить себе некоторое представление о характере и взглядах этой незаурядной женщины, приведем лишь одно ее высказывание: "Только интеллектуальные революции и есть подлинные революции, только они и способны изменить ситуацию". "В нашем доме, - вспоминала Шошана, - бывал великий писатель Владимир Галактионович Короленко... Среди друзей нашего дома была и семья Бороховых и Шимшелевичей". (Напомним читателям, что Бер Борохов - основатель "социалистического сионизма", а из полтавской семьи Шимшелевичей вышел человек, известный нам как Ицхак Бен Цви - второй президент Израиля[2].)

Став женой Исера, Софья Мандельштам приняла на себя заботу о его четырех детях и родила ему еще восьмерых. Воспитанию и образованию детей она уделяла огромное внимание: достаточно сказать, что, учась в гимназии, Рахель занималась музыкой, рисованием, писала стихи, изучала иврит и идиш.

Мать умерла, когда Рахели было шестнадцать. Умерла от туберкулеза, болезни, которая впоследствии настигнет и Рахель...

В тринадцать лет под влиянием старшего брата Якова Рахель, так же как и сестра ее Шошана, присоединилась к сионистскому молодежному движению. В год, когда умерла их мать, многие из полтавских сионистов были арестованы, среди них - и Бер Борохов. В доме Ицхака Бен Цви, тогда еще носившего фамилию Шимшелевич, полиция обнаружила склад оружия, предназначенного для еврейской самообороны, - арестована была вся семья, отца сослали в

Сибирь, но самому Ицхаку удалось бежать, и уже в следующем году он поселяется в Эрец-Исраэль.

То было время Второй алии[3], когда за одно десятилетие - с 1904 по 1914 год - в Эрец-Исраэль переселилось более 40 тысяч человек, в основном - выходцев из России. Эта алия выдвинула целую плеяду выдающихся лидеров, возглавивших борьбу за создание Государства Израиль и определивших ту особую духовную атмосферу, в которой родились и пресса на иврите, и национальный театр, и политические дискусии - все то, что блестящий публицист и незаурядный мыслитель Берл Кацнельсон[4] характеризовал как "создание еврейской цивилизации", спектр которой был необъятно широк: от организации литературного издательства до создания еврейских вооруженных сил.

Рахели предстояло стать - в историко-культурной перспективе - одной из самых значительных фигур Второй алии. А пока она провожает своих друзей в Палестину. Вот что пишет она в 1908 году из Полтавы своему другу Моше Узиэлю, который был на пути в Эрец-Исраэль: "Что пожелать тебе, Моше? Будь сильным. Сильным, чтобы противостоять судьбе, всем жизненным бурям..." Она еще не подозревает (а впрочем, кто знает: поэтам нередко дан дар провидения), насколько эти слова могут быть обращены к ней самой - каким "жизненным бурям" предстоит ей противостоять и какой силы и стойкости потребует это противостояние.

В 1909 году вместе с сестрой Шошаной взошла Рахель на борт корабля, отплывающего из Одессы в Эрец-Исраэль. После двухнедельного плавания открылся перед ними порт Яффо: "Мы подошли к берегу и остановились. В спешке поднялась я на палубу корабля. О, Боже! Что за картина! Небо сливается с землей, став единым целым. Черной мантией окутывает их ночь. Но тысячи, многие тысячи огоньков дрожат тут и там. Серебряные тропки прочерчиваются от этих огоньков к морю. Глубокая тишина. А я будто стою в самой сердцевине ночи, вслушиваясь в голоса тишины..." Так восторженно пишет Рахель о своей первой встрече с землей предков, и с тем же романтическим восторгом сестры клянутся в верности этой земле и даже поют национальный гимн "Тикватейну" ("Наша надежда"). Действительность довольно быстро опускает их "на землю" - в утлой лодчонке, до отказа набитой пассажирами, арабы перевозят девушек на берег и бесцеремонно швыряют на пристань их вещи, которые разлетаются в разные стороны. Потря-

сенные столь негостеприимным приемом, сестры собирают свои пожитки...

И все-таки их начало в Эрец-Исраэль вовсе не предвещает той терпкой горечи разочарований и утрат, которая через годы так явственно проступит в стихах Рахели, как будто самой судьбой "смонтированных" с тем первым ее описанием усеянного огнями ночного берега:

Лишь о себе рассказать я умела.
Узок мой мир, словно мир муравья.
Ноет под тяжестью бедное тело
Груз непомерный сгибает меня.
Тропку к вершине сквозь холод тумана,
Страх побеждая, в муках торю,
Но неустанно рука великана
Все разрушает, что я создаю.
Мне остаются слезы печали,
Горькие ночи, горькие дни...
Что ж вы позвали, волшебные дали?
*Что ж обманули, ночные огни?**

До "горьких дней" еще далеко... Сестры поселяются в Реховоте, который был тогда "столицей" халуцианского движения[5]. Вспоминает Шошана:"Рахель была стройной красавицей. Глаза - голубые, бездонные, волосы - золотые. Молодежь Реховота приняла нас с воодушевлением ‹...› После рабочего дня молодежь Реховота собиралась на 'холме любви', на околице поселения, пели песни. Вскоре присоединилась к нам младшая сестра Бат-Шева. Было ей только семнадцать лет, но она уже училась в консерватории Лейпцига. Отец прислал нам денег, и мы купили рояль. Парни и девушки, возвращаясь с работы на виноградниках, слушали игру Бат-Шевы. Наша комната, которую здесь прозвали 'Башней', очень быстро стала культурным центром Реховота и его окрестностей".

Здесь, в Реховоте, Рахель знакомится с Накдимоном Альтшуле-

---

*К сожалению, у нас нет возможности дать русскоязычному читателю истинное представление о поэзии Рахели. На русский язык переведена лишь небольшая часть ее творческого наследия, и далеко не все переводы можно назвать удачными. Те несколько стихотворений, которые цитируются в этой статье, даны в переводах Льва Друскина, сделанных по подстрочникам Якова Лаха.

ром. Уроженец Эрец-Исраэль, не знающий комплексов изгнания-галута, великолепный наездник, неутомимый работник, он становится для Рахели воплощением того - здорового духовно и физически - "нового еврея", о котором мечтали Жаботинский и Бен-Гурион и на которого Рахель так хотела бы походить. У них сложились особые любовные отношения, где наивысшими точками близости были танцы на "холме любви" и бешеные скачки вдвоем на одной лошади...

Накдимон Альтшулер окажется последним из друзей Рахели, кто увидит ее в живых. Он проживет долгую жизнь и до конца своих дней сохранит любовь к этой встреченной в юности женщине. На склоне лет со слезами сожаления и отчаяния скажет он: никогда не прощу себе, что мы расстались, что я не был рядом с ней в дни ее болезни...

Весной 1910 года в Реховоте были устроены празднества, на которые съехались сотни сельскохозяйственных рабочих, члены боевой организации "Хашомер", писатели и артисты. Во время этих празднеств Рахель впервые встретилась с Аароном Давидом Гордоном, пророком халуцианства и проповедником "религии труда". "Я отряхнусь изо всех сил, сброшу с себя эту жизнь в изгнании... Начну все здесь заново, все заново! С азов начинаю я новую жизнь на нашей земле. Я ничего не меняю, я не исправляю, ибо я все делаю наново! И первое, с чего я начинаю новую жизнь, - это работа, труд! Не труд, чтобы прожить, и не труд как обязанность, а труд во имя жизни... Физический труд - одно из слагающих жизни, один из самых глубинных жизненных корней!.. И - я тружусь!! Труден путь, что избрал я. Многие перешептываются за моей спиной, качают головой и жалеют меня. ‹...› Но я смотрю на дело рук своих, и вот, благодаря моим трудам и усилиям разгорается уголек, становясь источником великого света. ‹...› И это не только воплощение моей мечты, это - воплощение мечты всего народа, собирающегося на своей родине, строящего новую, здоровую жизнь. Жизнь труда!" Так писал Гордон, и приняв эту "религию труда", многие сотни молодых людей устремлялись в Эрец-Исраэль - "строить новую, здоровую жизнь".

Этот круг ценностей стал близок Рахели еще в России. В идеях Гордона она явственно слышала знакомые толстовские мотивы. И хотя ни мать Рахели, переписывавшаяся, как мы уже упоминали, с Л.Н.Толстым, ни сама Рахель не были безоглядными его последо-

אַרְבָּה וְרוֹנָה

יֵצֵן בּוּז תִּכְלִתִּי הַנּוֹחֵל כָּבוֹד.
וְיִזְבְּלוּ יִסְעָר וְיִתְעַשׁ בּוֹעֵם.
וְאַתְּ: כְּאֶפֶס אֶחָד חֲבְרוּ שְׁנֵיהֶם לָעַד.
אַךְ עוֹד לָהֶם אֶפֶס — כִּי יִפְגְּשׁוּ אֵי־פַּעַם:
כֵּן בְּנַפְשִׁי מְהוּלִיכִ רַךְ אַהֲבָה וְשִׂנְאָה.
מִרְעָם סַהַר וַחֲשִׁי בְּמֵי יָנוֹן תֵּצֵם.

АРВА И РОНА

В одной лазурная и кроткая вода,
а другая гневная в одежде мутно-пенной;
в одном русле — родные навсегда,
в одном русле — чужие неизменно...

В моей душе к тебе и нежность и вражда
как Рона с Арвою струятся сокровенно...

27/XI 18

Арва и Рона

В одной лазурная и кроткая вода,
другая гневная в одежде мутно-пенной;
в одном русле — родные навсегда,
в одном русле — чужие неизменно...

В моей душе к тебе и нежность и вражда
как Рона с Арвою струятся сокровенно...

27/XI 18

Страница с автографом Рахели из книги Ури Мильштейна "Рахель". Тель-Авив, 1994

вательницами, обе они испытали сильное влияние великого русского писателя. Рахель была человеком, глубоко и своеобразно мыслящим, широко образованным, и в ее отношении к толстовству, так же, как и к учению А.Д.Гордона, ощущается легкий налет иронии. Та же, едва заметная ирония проглядывает и в ее отношении к Накдимону Альтшулеру, который, казалось бы, воплотил в жизнь устремления пророка "религии труда" в большей степени, чем сам пророк - А.Д.Гордон. И все-таки решение последовать призыву Гордона было естественным для Рахели: ей хотелось испытать себя, приобрести иной жизненный опыт. Безбедная жизнь в Реховоте (отец присылал дочерям достаточно денег) была в полном противоречии с идеями "нового человека" и не вписывалась в проект построения "нового мира", новых общественных отношений. И даже то, что мог предложить ей Накдимон Альтшулер, живущий на своей земле и обрабатывающий эту землю своими руками, обаятельный и сильный "новый человек", - даже это казалось ей слишком спокойным и размеренным существованием.

И она избирает другой путь - уезжает в Галилею и становится ученицей на опытной ферме для девушек, созданной на берегу озера Кинерет. Возможно, что решение ее ускорила встреча с Гордоном на том самом реховотском празднестве. Несмотря на более чем тридцатилетнюю разницу в возрасте, они вскоре станут близкими друзьями, и именно Гордону будет посвящено первое стихотворение Рахели, опубликованное на иврите. Их свяжет глубокая духовная близость, но в этой связи уже просматриваются зачатки будущей трагедии - той трагедии, что проявится в отношениях Рахели и сообщества реформаторов "нового мира", трагедии, извечно сопутствующей столкновению идеала с его воплощением в жизнь. Такова судьба всех, кому выпало быть первопроходцем в мире новых идей, такова цена, которую им суждено заплатить, и лишь немногим из них, подобно Сократу - как об этом пишет Платон, - дано с достоинством принять эту цену и, не теряя достоинства, испить свою чашу с ядом. Поэзия Рахели - выражение героического примирения с трагической судьбой, и в этом - один из ключей к пониманию загадки притягательности ее поэзии. Но, подобно Иову, о котором писала она в одном из стихотворений и с чьей судьбой сравнивала свою жизнь, Рахель знала и боль сомнений, и беспросветность отчаяния...

...В последний день своей жизни Рахель "вернулась" к Накдимо-

ну. Они встретились - умирающая, измученная болезнью и нуждой поэтесса и крепкий, полный жизни крестьянин, чей путь не знал колебаний, чей дом - полная чаша. Может быть, это ее последнее, предсмертное желание повидать Накдимона Альтшулера - знак сожаления, что в свое время она пошла вослед Гордону.

Но в тот солнечный апрельский день 1931 года она уже была не властна над своей судьбой: ее земной путь подошел к концу, а тому немногому, что она успела создать, - уготована долгая жизнь, ибо "израильское мироощущение" невозможно представить без стихов и песен Рахели, выразившей это мироощущение с такой силой, с такой прозрачной и пронзительной искренностью, с такой тоской и с таким порывом к радости.

Можно сказать, что и сам избранный ею жизненный путь - это тоже выражение "израильского мироощущения". В конечном счете, тот путь, на который она по своей воле ступила тогда, в 1911 году, решив отправиться на Кинерет, именно он и вывел ее в число самых ярких личностей нарождающегося нового израильского общества.

Дни, прожитые ею там, на берегу озера Кинерет, стали самыми прекрасными в ее жизни. Долину Иордана считала она своей истинной родиной, той, к которой стремятся отовсюду и о которой тоскуют вечно, утратив ее. Судьба свела ее здесь с удивительными людьми, навсегда оставившими яркий след не только в биографии Рахели, но и в истории Эрец-Исраэль. Даже в этой блистательной плеяде будущих знаменитостей выделялся триумвират - Берл Кацнельсон[5], Аарон Давид Гордон и Рахель Блувштейн. Для них высшей целью сионизма было создание на земле предков нового общества, которое воплотит лучшие идеалы человечества. Это была мечта о *коллективе индивидуалистов*, где каждая *личность* обладающая высоким интеллектом и общественным сознанием, сотрудничает с себе подобными в *творческой гармонии*.

На Кинерете судьба свела ее и с тем, кому она посвятит не одно из своих лирических стихотворений, - с Залманом Рубашовым, будущим президентом Израиля Залманом Шазаром.

Вспоминает Залман Шазар:

"И вот отворяются ворота, и со двора с криком и гоготаньем высыпает стадо гусей, рассеивающееся по всему холму. А за стадом - стройная пастушка в белоснежном платье, с голубыми глазами. Легка, как серна, прекрасна, как Киннерет. В руке у нее -

пальмовая ветвь. Размахивая ею, как дирижерской палочкой, голосом теплым и молодым, всей гибкостью парящего тела, нежностью и силой властвует она над необузданным гусиным семейством.

Затаив дыхание, спрятавшись за забором, наблюдал я за этим караваном, проходившим мимо меня.

Пастушка-поэтесса Рахель.

Рахель торопится. Взобралась она на рожковое дерево на вершине холма. И оттуда, в белом платье, позолоченном сиянием, обращается к нам с песней. ‹...› В устах ее древний иврит, сефардийский, сохраняющийся во всей чистоте. Казалось мне, что здесь - все наши предки, наши праотцы, пастухи Иудеи и девы Израиля рассыпаны по горам во дни веселия и во дни печали...“

Похоже, все они, объединившиеся тогда на Кинерете, были поэтами-романтиками, склонными видеть только то, что хотелось видеть: во всяком случае воспоминания будущего президента страны и очерк поэтессы Рахели “На берегу Кинерета“, который написан ею в 1929 году, полны одинакового безмятежного восторга и высоких слов:

“Мы пробуждали зарю. Казалось, опереди мы лишь на один миг - и застигнем ночь врасплох. Заслоняют ночь склоны гор, и улавливают они тайны ночных разговоров. Первый взгляд - на озеро. В эти часы погружено оно в дрему. Темны его воды, обрамленные голубыми дремлющими горами.

Как проходил день на Киннерете? Заря занималась с началом нашего рабочего дня. Нас было одиннадцать. Мозолистые руки, ноги босы; загорелые, в ссадинах... Воздух был наполнен нашими песнями, нашими разговорами и смехом. Мотыги наши поднимались и опускались без перебою. Остановись на мгновение. <...> Окинь озеро взглядом, полным любви. Как хорошо! Голубизна, голубизна, голубизна. Безмолвие. Несущее умиротворение, излечивающее душу...

В полдень возвращались мы на ферму. И озеро снова с нами. Голубой глаз заглядывал в окно нашей столовой. Голубой глаз земли родной. И чем скуднее была наша пища, тем веселее становились наши голоса. Благополучия мы опасались. Мы тосковали по жертвенности, по мукам, по страданиям, которыми освятим высокое имя родины...“

Надо было быть очень счастливым человеком, чтобы тосковать “по страданиям“, потому что обычных трудностей им хватало и

тогда. Чтобы представить себе, как тяжел был их труд (а Рахель никогда не отличалась крепостью сложения), стоит привести несколько дневниковых записей, сделанных в 1911 году агрономом Элиягу Блюменфельдом[6]:

4 января.

Жарко. Хана Майзель[7] и Рахель разбивают грядки под посадку миндаля. Много камней. Тяжело.

5 января. Сильный восточный ветер. Хана и Рахель копают лунки под посадку миндаля.

16 января. Переменный дождь. Майзель и Рахель наполняют канавы землей. Посадки масличных саженцев...

Почти через два десятилетия Рахель посвятит Хане Майзель стихи, и в них будут такие строки:

Ты ведь помнишь? Утро и счастье...
Это было, и этого нет...

Вот что нашла Рахель на берегах Кинерета -"утро и счастье". Оптимизм переполнял ее. Несмотря на критический склад ума и уже упомянутую нами склонность к иронии, она почти заставила себя поверить, что здесь, в долине Иордана, на Кинерете воплотятся в жизнь те идеалы, о которых ее старший брат Яков, убежденный сионист, говорил в Полтаве, а А.Д.Гордон - в Реховоте. Сегодня, увы, можно с уверенностью сказать, что "новый мир" и "новый человек" не родились на берегах Иордана, как не родились они позднее и на берегах Невы. Прав был Экклесиаст:"Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем". (Экклесиаст. 1:9) Но так хотелось юной Рахели верить, что двухтысячелетняя мечта еврейского народа воплощается у нее прямо на глазах, и она - активная участница воплощения. В пережитом тогда на Кинерете душевном подъеме Рахель будет черпать силы до конца своих дней.

Надо сказать, что ощущение приближающегося несчастья всегда сопутствовало ей - оно было присуще Рахели с детства и особенно обострилось после смерти матери,- и она словно торопилась быть счастливой. Она наделяла окружающих ее людей самыми возвышенными качествами (которых у них порой вовсе не было!) и влюблялась в них. Не в кого-то одного, а во всех сразу. Разумеется, отношения с некоторыми из них - это подлинная любовь во всей многозначности этого слова.

Внезапное свиданье, трепет рук,
Бессвязные и сбивчивые речи...
И вал любви во мне взметнулся вдруг
И катится, врачуя и калеча.
Он все сметает - пусть, я не боюсь!
Заслон из строчек я образовала.
И к стиховому озеру припала,
И буду пить, покуда не напьюсь.

Она умела быть счастливой - ибо и в этом была человеком одаренным. Все, с кем сводила ее жизнь, ощущали незаурядность личности Рахели - задолго до того, как современники узнали, оценили и полюбили ее поэзию.

В 1914 году в письме Гордону Рахель сетует, что ее личность представляется ей недостаточно самобытной, и Гордон отвечает: "...Я думаю, что суть твоей души - это, в основном, то, что находится за порогом сознания... Ты самобытна в жизни, в своей деятельности, в непосредственности твоих чувств... И не отнесись к этому легкомысленно: самобытность в жизни, самобытность непосредственная, она, быть может, более важна, чем самобытность мышления и самобытность таланта..."

А вот письмо Рахели (1930 год), адресованное подруге тех, кинеретских, дней Хае Исраэли, - несмотря на иронический тон Рахели, легко увидеть, какой воспринимали ее тогда окружающие: "Одна вещь в твоем письме меня весьма удивила, а именно - какой ты меня видишь, ту, на Кинерете. Я никогда не думала, что Рахель времен Кинерета - смешливая девушка, танцорка, легкомысленная - могла быть в чьих-то глазах 'великая и умная', поскольку даже сегодня я и не великая, и не умная... (эту тайну ты никому не открывай)".

Мы уже говорили о том, что Рахель обладала аналитическим складом ума, и потому, стремясь всем сердцем исповедовать "религию труда", она в то же время не могла не понимать, что труд на земле требует не только рук, но и знаний. И когда Хана Майзель предложила ей поехать во Францию, в университет, чтобы получить диплом агронома, Рахель - после довольно серьезных колебаний - согласилась. Так она оказалась в Тулузе. Далеко не все ее друзья и соратники восприняли это решение с пониманием. Это хорошо видно из ответа Рахели на письмо Шмуэля Даяна[8] (отца ле-

гендарного израильского полководца Моше Даяна): "Почему ты произносишь надо мной надгробное слово, дружище? Я еще не умерла. О, огорчил ты меня своими словами, Шмуэль, не понял ты меня... В чем, по-твоему, цель моей поездки? Разве не в том, чтобы усовершенствоваться в работе?.. Разве не в том моя цель, чтобы вдохнуть душу животворящую в комья праха и тем украсить облик моей земли? Да, я оставила свою землю, но я вернусь спустя два года, вернусь в пору весны..."

Через два года она не вернется - но не по своей вине: ее отрежет от Эрец-Исраэль первая мировая война. Но она еще не знает этого, и пока что переживает, может быть, первое в своей жизни серьезное разочарование: письмо Шмуэля Даяна явно выражает общее мнение той группы, что собралась на берегах Кинерета, и первая заметная трещина пролегает между ними и Рахелью. Она даже пишет А.Д. Гордону, что "сжигает мосты", соединяющие ее и "кинеретскую группу". Гордон мыслит куда шире большинства своих последователей и учеников: "'Сожжены мосты', - пишешь ты. Почему? - обращается он к Рахели. - Разве нет моста, соединяющего Эрец-Исраэль со всем миром; моста, соединяющего еврея и Эрец-Исраэль? И разве Эрец-Исраэль не принадлежит Европе, если европеец живет здесь, считая Эрец-Исраэль своей родиной? Есть границы между народами, есть культурные границы - но только по отношению к образу жизни, а не по отношению к САМОЙ жизни, и не по отношению к жизни вечной. Твой ОБРАЗ жизни у тебя никто не отберет, где бы ты ни жила. И твоя жизнь - это твоя жизнь, где бы она ни протекала. Почему бы тебе не жить в Европе, как ты жила в Эрец-Исраэль?.."

Прежде чем все поломает война, Рахели еще будет дарована одна из самых прекрасных (и долгое время почти не известных ее биографам) страниц жизни.

Рассказывает Сара Мильштейн[9], племянница Рахели, ухаживавшая за ней в последние годы жизни поэтессы:

"Как-то я спросила Рахель: 'Любила ли ты кого-нибудь так, что хотела выйти за него замуж, но этого не случилось в силу стечения обстоятельств?'

Она улыбнулась своей мягкой улыбкой и ответила: 'Когда я училась во Франции, повстречался мне еврейский студент Михаэль Бернштейн. Мы любили друг друга, но он вернулся в Россию, а я в Эрец-Исраэль. Михаэль был моей большой любовью'".

Два свои стихотворения, опубликованные в газете "Давар", подписала Рахель этим мужским именем - Михаэль Бернштейн.

Продолжает Сара Мильштейн: "После смерти Рахели, когда были собраны ее стихи, я обратила внимание Залмана Рубашова - в будущем президента Израиля Залмана Шазара - на этот псевдоним, рассказала о Михаэле Бернштейне.

'Я знаю, - ответил З.Рубашов, - Михаэль Бернштейн никогда не существовал. Она его придумала. Чтобы не говорить о другом'.

А кто он - тот другой - Залман не пояснил".

После смерти Рахели З.Шазар забрал все оставшиеся после нее бумаги, часть из которых передал в архив Гистадрута (Всеобщая конфедерация трудящихся Израиля), а остальные, носящие личный характер, он хранил у себя до конца своих дней. И только после смерти Шазара исследователи творчества Рахели узнали о существовании папки писем - писем Михаэля Бернштейна к Рахели. Первое датировано 1915 годом, а последнее - 1926-м. Написаны они по-французски - и из Франции, и из России. Но в одном из писем есть приписка на иврите: "Рахель, дорогая, я тоскую по тебе очень сильно".

К сожалению, письма Рахели к Михаэлю не найдены. Но и по его письмам можно судить о силе взаимного чувства: "...Ты любишь меня не так, как любят брата, и не так, как любят некий образ - произведение искусства, - ты любишь меня так, как любят живое существо, плоть и кровь, чью близость ищут, как любят человека, с которым вместе взыскуют радости и полноту жизни. Моя милая, прими мой поцелуй, посланный издалека, не взирая на тысячи, тысячи верст, нас разделяющих, но и эти расстояния не ослабят силу и страсть поцелуев... В буднях жизни есть у меня праздник... Этот праздник - ты. ‹...› целую тебя до боли, до слез, до потери сил. Твой и только твой..."

Что развело их - война, несовпадение целей (Михаэль, судя по всему, никогда не стремился в Эрец-Исраэль) или что-то еще, чему нет названия? И чему сами они не могли дать объяснения: "... и еще одна мысль приходит ко мне, когда опираюсь я на ствол старого дерева: почему я здесь, а не в ином месте? Кого обвинить? Мое бессилие, судьбу? Далеко-далеко была Сольвейг!.."

Как мы уже сказали, ответные письма Рахели не найдены. Но есть у нее стихи, написанные в 1926 году и ставшие впоследствии народной песней. Песню эту принято называть по первой строке:

"Мой далекий...", и кажется, никто уже не помнит, что в поэтическом сборнике Рахели это стихотворение называется "Грустный напев". По свидетельству Сары Мильштейн, эти стихи - отголосок тех дней, что были проведены когда-то с Михаэлем, отклик на его письма...

В 1915 году Рахель, с отличием окончив Тулузский университет и получив диплом агронома, уезжает в Россию. Эрец-Исраэль, чья территория входила в состав Османской империи, союзницы Германии, была для Рахели, российской подданной, закрыта. В России ее настигает революция, а вместе с ней - бедность, голод, скитания, обострение туберкулеза (болезнь обрушилась на нее в 1916 году - возможно, она заразилась от одного из ребятишек-беженцев, о которых заботилась, работая в детском доме в Бердянске). Судьба приводит ее в Одессу. Здесь она переводит с иврита на русский прозу Х.Н.Бялика, стихи Я.Фихмана и З.Шнеура, публикует в еженедельнике "Еврейская мысль" свои написанные на русском стихи и очерки об Эрец-Исраэль. И, может быть, именно здесь она впервые осознает, что ее путь - это путь поэта, пером зарабатывающего на хлеб.

Наконец, в 1919 году на первом же корабле, отплывшем после войны и революции в Эрец-Исраэль, она покидает Россию, чтобы вернуться на берега Кинерета.

Шошана, встретившая Рахель в порту, с трудом узнала в этой изможденной женщине свою красавицу-сестру, "Я, - рассказывает она в своих воспоминаниях, - увидела ее бледной, покашливающей. 'Что с тобой?' - спросила я ее. Она ответила: 'Пустяки. Слегка простудилась'". В этом ответе - вся Рахель: даже от родной сестры не приемлет ее гордый нрав жалости и сочувствия - со всеми невзгодами, уже подступившими и еще только поджидающими ее, она попытается справиться сама. Правда, в этот миг - миг долгожданного возвращения на родную землю - она еще, возможно, и не осознает всей серьезности своего положения. Она рвется туда, на Кинерет, она уверена, что работа на земле вернет ей силы.

Она становится членом "квуцы" "Дгания-алеф" ("квуца" в переводе с иврита - "группа"; предшественница "киббуца" - сельскохозяйственной коммуны в Израиле). Никому не нужны ее агрономические знания, и она готова выполнять любую предложенную работу. Из писем Шошане:

"Шошанеле, шалом! Я вернулась к моему спокойному Кинерету

- и мне хорошо. Работа чуть тяжела мне. Но будем надеяться, что зимой будет легче. Странно: я думала, что нелегко мне будет привыкнуть к жизни 'квуцы', про которую я слышала только плохое. Но я и не почувствовала перехода. Видимо, все дело случая. Может, все потому, что товарищи мои в большинстве - люди интеллигентные. ‹...› Хорошо здесь. Пока - очень хорошо..."

"Три часа свободного времени посреди дня - совсем неплохо. Как ты думаешь? И хотя мне придется крутиться на кухне до восьми вечера, в то время, как все остальные 'изопьют до дна благодать отдыха', но эти три часа приносят удовлетворение. Я пойду на гумно, полежу на соломе... И все.. Кинерет видится мне младенцем. ‹...› Так странно вернуться к обычной жизни, и даже чистить луковицы к ужину. О, луковицы! Они - трагедия нашей кухни, и из-за них сколько уже пролилось слез..."

"Состояние здоровья все ухудшается... Душевный настрой, несмотря ни на что, ясный. Хорошо проснуться рано-ранешенько и еще при свете звезд работать во дворе... Хорошо в жаркий день посеять тысячи луковок, высадить сотни саженцев... Иордан голубеет вдали, за кипарисами, и белеют первые снега на Хермоне..."

Члены "квуцы" подобрали ей работу полегче - заботиться о детях (одним из ее питомцев был, между прочим, Моше Даян). Но болезнь все обострялась, и вызванный из Тверии врач определил: туберкулез в открытой форме - контакты с детьми запрещены. И тогда те же члены "квуцы", которых она называла в своих письмах "людьми интеллигентными", приняли решение - Рахель должна быть изгнана из Дгании. Передать это ей взялся один из молодых парней Гилад Шметерлинг (имена таких "решительных" людей тоже стоит иногда напоминать). И тогда же, ночью, сразу после совещания членов "квуцы", он поспешил прийти к Рахели, чтобы, не подбирая слов, сказать ей: "Ты - больна, а мы - здоровы, и потому ты должна оставить Дганию". Они говорили с глазу на глаз, но, повторившись в разных воспоминаниях, фраза эта дошла до нас такой, какой услышалась и запомнилась она Рахели. В перспективе времени то, что произошло той ночью в Дгании, видится не только как личная трагедия Рахель, но и как неизбежная трагедия определенного типа общественных отношений. Потом, через много лет, когда Рахели уже не будет в живых, и останутся только стихи и слава, напишет Двора Даян, жена Шмуэля и мать Моше Даяна:

"...Еще и письма ее рассеяны между друзьями, и многие вещи

мы не умели сохранить и сберечь, как не умели сохранить и нечто более значительное: желание Рахели остаться здесь, несмотря на болезнь. Я не могу забыть ту безмерную тяжесть, что испытывали мы в те дни: излишняя практичность была характерной в самом начале нашего пути... Но нельзя избавить нас от черной тени той жуткой ночи, когда Рахели было сказано: 'Ты больна, ты не можешь оставаться среди здоровых'. Прямолинейная правда. И не держали мы тогда совета, не постарались в должной мере найти выход..."

Много раз рассказывала Рахель о "той ночи", которую запомнила до мельчайших подробностей: "Черное тяжелое облако опустилось на меня, оно душило меня, хотела кричать и не могла..." Изгнание из Дгании для нее - полное крушение: рушится цель ее жизни: непосредственное участие в строительстве "нового общества" в Эрец-Исраэль. Об этом ее стихи "Ночью явился глашатай..." "Та ночь" - поворотный пункт в ее жизни: начались скитания, бедность, неустроенность и - родилась поэтесса Рахель.

Из письма, написанного в те дни одному из друзей (мы цитируем столь подробно именно это письмо, потому что рана, нанесенная Рахели, еще так свежа, что вся ее боль и все метания в стремлении обрести цель жизни рвутся на бумагу, одолевая все барьеры ее привычной сдержанности):

"Изо всех сил я стараюсь быть сильной, но это не удается мне. Я не хочу сдаваться! Выше моих сил признаться, что навсегда покинула я список людей живых и здоровых. Я хотела излить свое горе, может, станет мне легче. Я не могу исповедоваться перед людьми, и никогда не была в состоянии рассказать кому-либо о себе - уж слишком я горда..."

Прервем на мгновение чтение письма, чтобы заметить: эта, уже отмеченная нами, черта Рахели - ее гордость - не позволит ей даже в самых критических ситуациях обратиться к кому-либо из друзей за помощью. И никто из них - ни Берл Кацнельсон, ни Залман Шазар, ни Бен-Гурион, положение которых было к тому времени весьма устойчивым, - почти ничего для нее не сделали...

Но продолжим чтение письма:

"... Я обязательно должна писать. Мне плохо, и я зла на весь мир...

Эта 'особая болезнь', ее называют 'болезнью писателей', но не подумай, что только в силу этого я хочу быть причислена к их клану. Нет, нет!

... Я вовсе не обманываю себя: я знаю, что такое туберкулез. И все же дважды надежда подмигнула мне, и я сажусь за учебу. Не смешно ли? Приговорена к смерти и - теорема Пифагора... А зачем мне есть и читать?

И все же я ем и читаю. Бывают минуты, когда я думаю: мне безразлично, если этот мир перевернется вверх тормашками, даже с 'еврейским вопросом'. Пусть все летит в пропасть. Мне это уже безразлично!

Мысли путаются, и внутри - растерянность и пустота. Что мне делать? И кому я нужна?

Что мне делать? Где набраться мужества?

Если на улице ветрено - мне запрещено выходить. Вечером - запрещено. Однажды я так хотела увидеть закат, цвета его так переливались. Но... нельзя!..

Перечитала написанное. Плохо. Могут подумать, что ничто в мире меня не интересует, и песенка моя уже спета. Нет, вовсе нет! Мне остаются книги, и никогда не была столь дорога мне каждая поэтическая строка, как сейчас".

Можно прочертить маршрут ее скитаний - из-за постоянных денежных затруднений и опасения стать кому-либо в тягость она нигде не может осесть надолго.

Петах-Тиква, работа преподавателем сельского хозяйства в женской школе. Затем - Иерусалим, опытная ферма, частные уроки. Квартирные мытарства. Флигелек на улице Невиим с грушевым деревом под окном - этому дереву посвящены знаменитые стихи Рахели, под ним и сегодня любят сидеть поклонники ее поэзии. Цфат, где она почти полгода провела в больнице, поскольку наступило резкое обострение болезни. Переезд в Тель-Авив, стихи родившиеся по дороге туда: "И вновь простор полей и дух свободы... Тюрьмою был мне долгий черный сон". Там, в Тель-Авиве, на улице Бограшова, нашлась, наконец, маленькая комнатка, которая и стала ее последним пристанищем. "Была там только кушетка, маленький кухонный столик, стул, кресло", - описывает эту комнатку ее хозяйка Ривка Левинсон. Но даже это убогое жилье становится предметом поэзии - мы узнаем его в стихотворении "Моя новая комната" (поневоле вспоминается Ахматова: "Когда б вы знали, из какого сора растут стихи...")

Рассказывает доктор Моше Кригер:

"Выписавшись из цфатской больницы, Рахель переехала в Тель-

Авив. Я тоже переехал в Тель-Авив и навещал ее время от времени. Всегда сворачивала Рахель беседу с обсуждения своей болезни к темам литературы, духовной жизни. Когда я возвращался домой, то всегда находил в карманах своего белого халата голубые листочки, на которых были записаны ее стихи."

Большая часть ее стихотворений была создана в последние шесть лет жизни - словно автобиография человека, знающего о приближающейся смерти и подводящего итоги: в них все, что было пережито и перечувствовано, все устремления и разочарования, все, что видят глаза вокруг и к чему рвется стреноженная болезнью душа... "Лишь о себе рассказать я умела..." - признается поэтесса, но ее скромный лирический голос не только не затерялся среди голосов куда более громких - он звучит и сегодня, многие из ее стихотворений положены на музыку и стали народными песнями. На один и тот же текст Рахели существует несколько мелодий, как и на слова великого поэта Х.Н.Бялика.

Алит Ишурун, поэтесса, редактор одного из элитарных израильских литературных журналов, пишет: "Мне кажется, что почти не было в Эрец-Исраэль женщины в тридцатые-шестидесятые годы нашего столетия, которая не нашла бы в стихах Рахели - в тот или иной период своей жизни - непосредственное выражение своего духовного мира, своих тревог. Поэзия Рахели оказала существенное влияние на нашу жизнь, проникнув во все поры. Трудно преувеличить мощь присутствия этой поэзии и личности Рахели в жизни еврейского ишува и в создании сионистского эпоса".

Странно звучит определение - "эпос" в применении к поэтессе, которая, по ее собственным словам, " не пела песен своей стране", "не возвеличивала ее имя", а "лишь посадила дерево", "проложила тропинку в полях". Но кому из поэтов дано предугадать, как его слово отзовется ...

Творчество Рахели еще ждет своих русскоязычных исследователей и переводчиков. Наверно, в ее литературном наследии не все равноценно; влияние русской поэзии начала XX века (особенно - Ахматовой и Есенина) - несомненно. Кстати переводы Рахели из Пушкина, Ахматовой, Есенина и других русских поэтов считаются образцовыми. Всеми критиками безоговорочно признается свойственное ей удивительное чувство языка.

Поэзия Рахели - загадка, которой нет объяснения. Ей было двадцать, когда иврит стал для нее языком общения, ей было уже за тридцать, когда литература стала делом ее жизни, - она умерла

в сорок один год, став национальной поэтессой Израиля, творческое наследие которой - заметнейшая веха в развитии новейшей ивритской литературы. Ее словарный запас уступает словарю многих других современных ей ивритских поэтов, но пронзительная лиричность ее стихов воздействует на читателей порой сильнее любых словесных изысков. Она не "упрощала" язык - она искала совершенство в простоте. По воспоминаниям Сары Мильштейн, рядом с ее подушкой всегда лежали две книги: Библия и словарь.

"Не запас слов важен, - говорила Рахель, - а то, как им пользоваться. Важны идеи. Если есть идея - найдутся и слова".

Она сознательно обратилась к иному языковому пласту, к разговорному ивриту, к языку улицы, языку молодежи. Рахель первой ввела этот языковый слой в израильскую поэзию, указав новые пути последующим поколениям ивритских поэтов, о которых, перефразируя известное высказывание Достоевского о гоголевской "Шинели", можно сказать, что вышли они из двух поэтических сборников Рахели - "Сафиях" и "Минегед".

Кстати, перевод этих двух ивритских слов далеко не так прост, как это может показаться на первый взгляд, - убедительный пример того, что язык Рахели был достаточно богат . И "Сафиях" и "Минегед" не переводятся одним словом. "Сафиях" - колосья, вырастающие на незасеянном поле из зерен, оставшихся там после жатвы. "Минегед" - слово из Пятикнижия (Второзаконие 32:52): Моисей, по велению Бога, должен взойти на гору Нево, ИЗДАЛИ (минегед) увидеть Землю Обетованную и умереть, не войдя в нее. В венском издании (1886 г.) Пятикнижия с параллельным русским текстом в переводе Меира ха-Леви "минегед" переведен как "издали". Иегощуа Штайнберг (Вильна) также переводит это слово как "издали". Синодальное же издание Пятикнижия дает иной перевод - "перед собою". Толковый словарь А.Эвен-Шошана дает два слова: "со стороны" и "издали". Замысел Рахели, на мой взгляд, был в том, чтобы подчеркнуть: увидеть ИЗДАЛИ, ПЕРЕД СОБОЮ, СО СТОРОНЫ Землю Обетованную, но не иметь возможности войти в нее...

У подлинной поэзии есть непременно национально-культурные истоки. Свои истоки Рахель ощущала необычайно остро. Еще в юности она сделала свой выбор. Эрец-Исраэль - вот ее выбор: здесь она хотела жить, работать, петь, обрабатывать землю, "играть на мотыге", "рисовать граблями". Но творчество ее взросло не только на этой почве: русскую культуру, литературу, рус-



Накдимон Альтшулер

скую народную речь она любила столь же глубоко, как и еврейскую. В ее письмах то и дело встречаются написанные по-русски народные пословицы и поговорки. К своим стихам не раз выбирала она эпиграфы из русских поэтов. И, как мы уже говорили выше, блистательно переводила этих поэтов на иврит. Кстати, стоит отметить еще один любопытный факт: некоторые из стихов Рахели, написанных на русском языке, были позднее переведены другими поэтами на иврит и так прочно вошли в израильскую поэзию, что многие и не подозревают об их русском источнике, считая, что они изначально существовали в двух вариантах. Пример тому - одна из популярнейших в Израиле песен "Еш венидме... - перевод написанного Рахелью по-русски стихотворения "Мне часто кажется, что лгут воспоминанья..." Творчество Рахели выросло на перекрестке двух культур и двух языков (не хочу при этом обидеть другие языки и культуры: ведь Рахель знала, любила и переводила на иврит французскую поэзию, владела итальянским и немецким).

Весной 1931 года состояние Рахели резко ухудшилось. Считать ли это простым совпадением или сработал все тот же данный поэтам дар предвидения, но в одном из самых первых своих стихотворений она предсказала: "Как богиня весной, я умру..." 15 апреля ей стало совсем плохо. Было решено перевезти ее из частной больницы в Гедере в тель-авивскую больницу. Денег на то, чтобы нанять автомобиль, не было, и умирающую Рахель в сопровождении врача и медицинской сестры отправили на повозке, запряженной двумя лошадьми. По дороге она обратилась к врачу: "Я хочу про-

ститься с Реховотом и одним человеком". И хотя врач понимал, что они должны торопиться в больницу, понял он и то, что отказать ей нельзя. Они свернули к Реховоту и остановились у усадьбы Накдимона Альтшулера.

"...Я стоял, вглядываясь в нее, - вспоминал через много лет Накдимон Альтшулер, - и не мог сдержать рыданий. Ее голубые глаза, походившие на весеннее небо, вглядывались в меня, и одинокая слеза скатилась по ее щеке. Я чувствовал, что она не в состоянии плакать, ее вопль был безмолвным, как у раненого животного, которое всем своим существом ощущает приближение смерти. Она произнесла: 'Шалом, Накдимон'. Я ответил: 'Шалом, Рахель'... Повозка удалялась в сторону Тель-Авива. Я знал, что больше мы не увидимся..."



Рахель

Она умерла той же ночью. В больничной палате. Одна. Боли были мучительны, и дежурная сестра предложила ей болеутоляющее. "Не надо, - ответила Рахель, - я хочу все почувствовать до конца..." Никого из тех, кого она любила, кто любил ее, кто боготворил ее,- никого из них рядом не было. Они будут рыдать на ее похоронах, съехавшись со всей страны, и, убитые горем, понесут ее гроб на руках, и будут сквозь рыдания читать ее стихи, и никогда не смогут ее забыть. Но пока она была жива, никто из них не отозвался на крик, звучащий в ее стихах: "Протянула я руку, прося милосердия, горсть милосердия, малую горсть..." Может быть, потому что крик звучал только в стихах - в жизни Рахель так никогда и не протянула руку за помощью...

В стихотворении "Коль приговор судьбы..." Рахель написала:

"Коль приговор судьбы - мне жить вдали от берегов твоих, То дай мне, Кинерет, успокоиться на твоем погосте". Это ее поэтическое завещание было выполнено: она похоронена на берегу Кинерета, на знаменитом кладбище, где покоятся многие из выдающихся деятелей страны. Рядом с могильным камнем в специальном хранилище лежат книги стихов Рахели. Я не раз видел, как люди доставали томик, читали стихи. Помню школьницу, которая, прочитав одно из стихотворений Рахели, удивленно сказала: "Разве это не народная песня? Я слышу ее с детства, и даже не подозревала, что ее написала Рахель..."

Примечания

1. Строка из песни поэта Ш.Каценеленбогена "Бутоны".

2. Борохов Бер (Дов; 1881-1917) - еврейский ученый и общественный деятель, один из виднейших идеологов и лидеров социалистического сионизма.

Бен Цви (Шимшелевич) Ицхак (1884-1963) - второй президент Государства Израиль (с 1952 года и до его смерти в 1963 году).

3. Алия (иврит. "восхождение") - переселение евреев в Эрец-Исраэль на постоянное жительство. Этим же словом принято называть группы евреев, прибывших в Эрец-Исраэль из какой- либо страны или в какой-либо определенный период.

4. Берл Кацнельсон (Дов Бер; 1887-1944) - руководитель и идеолог рабочего движения в сионизме.

5. Халуц - так назвали на иврите пионеров-поселенцев, приехавших в начале XX века в Эрец-Исраэль, главным образом из России, чтобы работать и жить на земле.

6. Блюменфельд Элиягу - выдающийся еврейский агроном, чьими трудами и заботами озеленены склоны горы Кармель. Публикуемые нами выдержки из его дневниковых записей относятся к тому периоду из жизни Рахель, когда она - перед отъездом на Кинерет - впервые попробовала работать на земле, участвуя в посадках на горе Кармель.

7. Хана Майзель - организатор первой в Эрец-Исраэль учебной сельскохозяйственной фермы для девушек, созданной в 1911 году на берегу озера Кинерет.

8. Шмуэль Даян (Китайгородский; 1891-1968) - один из организаторов первых кооперативных поселений в Эрец-Исраэль - "мошавов" входил в число основателей "квуцы" "Дгания-Алеф", член израильского парламента (Кнесета) первого-третьего созывов.

9. Сара Мильштейн - актриса, мать ученого-историка д-ра Ури Мильштейна, подготовившего самое полное собрание стихотворений Рахели (второе, дополненное издание вышло в 1994 году), включающее также ее переводы, прозаические наброски, переписку, черновики.

Альфред Мансфельд

Наталья Лакерник
(Иерусалим)



А. Мансфельд. Автопортрет. 1931 - 1932 г.

В нашу эпоху узкой специализации архитектор должен использовать свой творческий потенциал для того, чтобы восстановить нарушенное равновесие между материей и духом; объединить гуманизм и гармонию в столь разнородной человеческой среде. Эти мечты - основа реальности; целесообразность - не всегда практицизм...

А.Мансфельд. "Я верю".

Музей Израиля в Иерусалиме расположен на вершине холма, напротив Кнессета, и виден издалека. Оба они - Музей и Кнессет - доминанта этой части города. Но архитектурный комплекс Музея воспринимается с разных точек обзора совершенно по-разному. Со стороны долины Святого Креста - плавное, замедленное движение изящных прямоугольников зданий на вершину пологого холма; перед самым входом в Музей - монолитная композиция из белого камня и темного стекла в обрамлении зелени парка. И, наконец, когда посетитель оказывается на территории Музея, он повторяет в своем восхождении к Главному зданию тот лейтмотив плавного движения, который и составил первое зрительное впечатление. Все же остальное - до мельчайших деталей продуманная планировка парка, скульптурные и археологические сюжеты, - сопровождение, обогащающее и усложняющее основную мелодию.

Автор всех этих превращений - Альфред Мансфельд, один из тех людей, что приехали на эту землю задолго до образования государства Израиль и во многом определили его интеллектуальную жизнь.

Альфред - Аль - родился в России, в Санкт-Петербурге, в 1912 году и уже в 3-летнем возрасте узнал, что такое дорога. Его родители переехали в Москву и поселились в одной из старых слобод недалеко от бульвара Чистые Пруды. До сих пор не забыл Мансфельд деревянные дома - срубы с выступающими на углах бревнами - своеобразный конструктивизм старой деревянной России; совершенно чеховского кучера, лошаденку под дугой, вечно дремавших в конце слободской улицы, по осени и весне заполненной глубокими колеями грязи, а зимой сверкающей снегом или льдом. Особенно же сохранила память сам бульвар с его прудами и тончайшей графикой переплетений тонких темных линий ветвей рябины с яркими красными пятнами ягод.

События первой мировой войны и революционные потрясения не изменили жизни Мансфельдов. Отец Аля, уроженец Латвии, получивший в Риге образование и профессию инженера-механика, по тем временам много значившую, у местных московских властей "буржуем" не числился, хотя и имел нечто вроде дачи под Москвой. Увлекался живописью, да и Аля учил с малолетства. Запомнилось путешествие вместе с отцом в 30-градусный мороз через всю Москву на художественную выставку; большие валенки, проложенные изнутри газетой для тепла, огромная московская толкучка тех лет. Аль учился в немецкой школе - это в революционной-то Москве! Бывало и такое.

Отец хлопотал о получении пропуска беженца - разрешения на выезд из революционной России. В голодную зиму 1921 - 1922 годов мальчик Мансфельд начал свой путь эмигранта. Но разве он мог тогда об этом знать?

6 недель двигался вдоль застывших белых полей товарный поезд со встроенными в вагоны печками-буржуйками. Темные полосы голых лесов то подступали совсем близко к дороге, то уплывали к самому горизонту, и бесконечные деревянные заборы словно повторяли линию рельсов. Опять входила в жизнь черно-белая графика зимы, остро воспринимавшаяся маленьким художником. Он пытался потом восстановить это впечатление на бумаге; рисунок навсегда вошел в его жизнь как сокровенный разговор с самим собой.

Пробыв в Риге самое малое время, четверо Мансфельдов[1] отправились дальше, в город Либау (теперь он называется Лиепайя). Братья отца занимали достаточно солидное положение в тамошнем

обществе - старший, Лео, был директором банка, а брат Моня - владельцем аптеки; именно к ним предстояло Мансфельду-отцу отправиться через 10 лет в Палестину. А пока, по прибытии в Либау, отец продолжал поиски работы, а Аль - уроки рисования. Через год отец получил в Германии, в маленьком городке Хамм в Вестфалии, место директора фабрики по производству шоколада. С 1923 года 11-летний Аль начинает накапливать свои немецкие впечатления. В провинции их немного: скучное здание фабрики из красного кирпича; мрачный пыльный двор без единого деревца, маленький домик рядом с фабрикой, в котором жила семья директора; почти полное отсутствие друзей и бешеная инфляция.

Прогулки за город, к холму, у подножия которого расположился город. Подняться на этот пологий холм с бумагой и карандашом - какие открываются просторы, зелень лесов до горизонта, вся романтика Вестфалии. Вот когда знаешь, что жизнь не ограничена Хаммом. Альфред переносит свои впечатления на бумагу.

Но вот перед глазами уже 16-летнего Аля Берлин Веймарской Республики, по-настоящему европейский город. Аль окунулся в полную впечатлений, интеллектуально напряженную жизнь столицы.

То было время "Трехгрошовой оперы" Брехта, журналов "Вельтбюне" с блестящими политическими памфлетами Курта Тухольского, - Альфред бережно собирал их, - время бесконечной череды кинозвезд: шли "Голубой ангел" и "Под крышами Парижа". Хотя журналы и фильмы немало занимали Аля, для него Берлин тех лет - это прежде всего выразительная, изогнутая архитектурная пластика торгового дома "Колумбус", а игра ярких бликов световой неоновой рекламы на мокром асфальте - символ большого города, как когда-то черно-белое переплетение ветвей в зимней Москве его детства.

Шло время. 20-летний Альфред заканчивал школу и стоял перед выбором профессии. Он уже давно предполагал, что не станет художником-профессионалом. Рисованию он учился у эмигранта из России, Дмитрия Фалилеева, ставшего близким другом Алю и его отцу. Фалилеев был профессиональным графиком и рисовальщиком, тонким пейзажистом. Его "тихие" работы, увы, мало интересовали публику бурлящего политическими страстями Берлина. Он умел, к восхищению Аля, "читать по руке". Именно таким способом Фалилеев предсказал своему ученику успех - не скорый - на поприще архитектуры.



Добрая Слободка. Москва. 1919 г.

Алю предстояли экзамены в Высшую техническую школу Берлина. Полгода отработав на стройке учеником каменщика - таковы были условия вступительных экзаменов на архитектурный факультет ВТШ, - будущий архитектор, умевший без посторонней помощи возвести кусок кирпичной стены, поступил в семинар Эдуарда Зидлера и навсегда увлекся системой обучения, принятой в Школе: архитектор должен уметь и знать все.

Собственно, идея архитектора-универсала отнюдь не нова и бытует в европейской практике уже более двухсот лет. Но в ВТШ Берлина она проводилась в жизнь настойчиво и планомерно. Через много лет, уже в Израиле, будучи профессором кафедры архитектуры Техниона в Хайфе, Аль попробует построить обучение израильских архитекторов по этому принципу и - потерпит фиаско.

1 апреля 1933 года фашисты объявили бойкот всем еврейским торговым предприятиям и фирмам, а через несколько дней началось систематическое удаление евреев из всех существовавших в то время в Германии учреждений, в том числе и учебных. Еще в феврале 1933 года все евреи и иностранцы обязаны были покинуть курс ВТШ. Учебу удалось продлить до апреля, и вот - два воору-

женных гитлеровца выводят Альфреда Мансфельда из аудитории архитектурного факультета и из здания ВТШ, не дав даже взять пальто с вешалки.

Хотя большинство немецких евреев не могли и не хотели расстаться с иллюзиями, порожденными эмансипацией, с немецкой культурой и языком, все же до 1938 года Германию покинуло около одной трети еврейского населения. Среди уехавших был и Аль Мансфельд.

В его положении недоучившегося студента нечего было и думать о сколько-нибудь серьезной работе. Нужно было продолжать учебу, теперь уже во Франции, в Париже. Поселившись в одной из "меблирашек" на улице Rue de la Santé, Аль начал готовиться ко вступительным экзаменам в Высшую Архитектурную Школу, в ателье Огюста Перре, учеником которого он стал.

На занятиях у Перре господствовали те же идеи - архитектор-универсал, единство проекта; но дисциплина в отношении занятий, подготовки учебных и экзаменационных проектов была жесточайшей - в отличие от Берлина, где "вечные студенты" не были редкостью.

Перре славился остроумнейшими сентенциями. Однажды Аль отважился спросить знаменитого мастера, что же он, собственно, считает истинной архитектурой? Последовал ответ Перре: "Архитектура - это то, что оставляет прекрасные руины". Аль позволил себе усомниться в том, что железобетонные конструкции XX века будут приятно смотреться в качестве руин.

Много времени уходило не только на учебу, но и на отчаянные попытки хоть как-то заработать на жизнь. Конструирование замочков для дамских сумочек и работа над клише для кинотитров не помогали. Денег не было. Впервые прозвучала тема Палестины, когда младший брат Кира, не найдя работы в Брно, уехал к родителям в Тель-Авив; к тому времени отец совместно со своим братом-аптекарем уже организовал там небольшую фармацевтическую фабрику.

Шел 1935 год. Заканчивалась учеба у Перре. Именно в это время британские эмиграционные власти Палестины увеличили квоту на легальный въезд евреев Европы. За два года, 1935 и 1936, в Палестину уехало 135 000 репатриантов. Необходимы были соответствующие документы, сертификат на 2000 фунтов стерлингов. Родители прислали все необходимое, и молодой архитектор отправился в Палестину.

Порт Яффо без всяких признаков причала встретил Аля дикими криками арабов, перевозивших пассажиров и багаж на берег, и английскими чиновниками в пробковых тропических шлемах. Родители привезли старшего сына в скромную квартиру в Тель-Авиве, тогда, в 1935 году, уже достаточно большом городе со 150 000 жителей. Аль приехал в Палестину через год после празднования 25-летия Тель-Авива, когда именем его первого мэра, Меира Дизенгофа, была названа одна из центральных улиц города. Начиналась новая жизнь и поиски работы. Но то, что казалось несбыточным в Париже, здесь пришло сразу. Нужен был архитектор в фирме, организованной эмигрантом из России Львом Сапожниковым, ставшим в Палестине Арье-Эль-ха-Нани. Он был прекрасным рисовальщиком и еще лучшим организатором. Взглянув на рисунки Аля, он сразу принял его на работу, назначив средний гонорар 7 фунтов - сумма по тем временам фантастическая для начинающего. Сапожников - ха-Нани верил в процветание палестинской науки. Его ателье занималось проектированием выставочных стендов для крупных фирм.

Через год после приезда в Палестину, в 1936 году, Мансфельд создает проект городской площади Нетании - одного из быстро растущих сельскохозяйственных поселений[2].

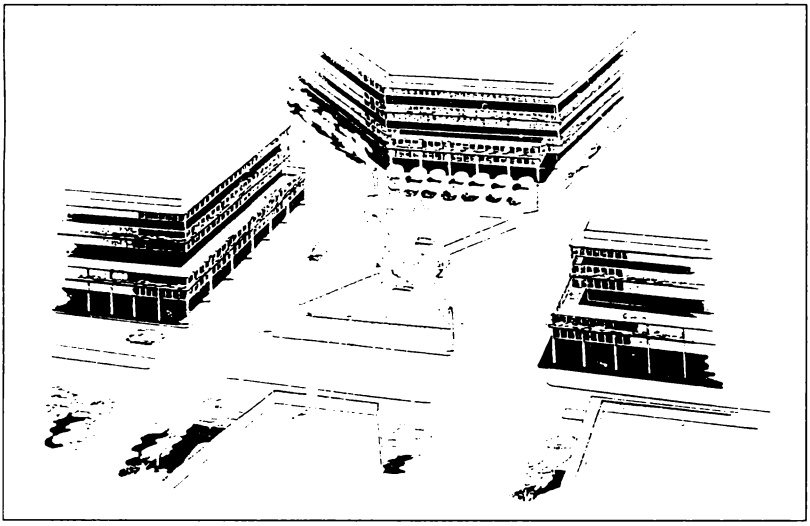
Уже в этом проекте архитектор выразил один из основных постулатов своего творчества:

Нет разницы в том, что планирует архитектор - город, или его часть, или всего один дом. Позиция архитектора во всех случаях должна оставаться неизменной: то, что сам Мансфельд называет "единством идеи". Архитектурный образ должен быть лаконичным без сухости, а его простота элегантной; гармония его линий должны давать возможность развития иной мелодии, в другое время, иными архитекторами - именно по такому принципу и была спроектирована 24-летним архитектором площадь Нетании: трехлучное пространство классицистической архитектуры, открытое в будущие застройки. Кто знает, как выглядела бы сейчас Нетания, если бы идея Аля была реализована.

Много лет спустя соратник Аля, профессор кафедры архитектуры хайфского Техниона, Даниэль Хавкин, напишет в связи с очередной выставкой архитектурных проектов Мансфельда: "Все у него подчинено его профессии - от таланта и хорошего вкуса до поразительной работоспособности. Его архтитектурная позиция -

сочетание лучших традиций классицистического и современного течений, которые он впитал в себя будучи студентом в одном из блестящих классов Огюста Перре".

Наивно было бы думать, что Мансфельд был единственным архитектором, занятым обустройством быстро растущих городов Палестины. В 30-е - 40-е годы здесь работал один из крупнейших мастеров архитектурного модерна, родившийся на четверть века раньше Аля; архитектор, прошедший тот же путь творческого становления, но задолго до Мансфельда. Его имя - Эрих Мендельсон. Архитектура его "Колумбус-хауза" в Берлине 1929 года притягивала к себе юношу Мансфельда пластикой динамических геометризированных форм; по его проектам создавался сочный модерн универмагов Нюрнберга, Штутгарта и других городов Германии; это он, Мендельсон, в конце тех же 20-х годов проектировал фабрику "Красное знамя" в Ленинграде, а в 1932 г. представил на конкурс проект Дворца Советов в Москве, используя везде все тот же контраст стекла и бетона, смелые ракурсы геометрических линий, применяя самые современные методы строительства. Звезда Мендельсона привела его в Палестину в 1934 году, за год до приезда Мансфельда. И в то же время, когда Аль создавал первые проек-



Проект городской площади в Нетании. 1936 г.

ты фрагментов будущих городов своей новой родины, нащупывая, определяя собственную творческую позицию, прославленный архитектор старшего поколения проектировал и строил крупные больницы и банки в Хайфе и в Иерусалиме, безусловно, во многом определившие облик израильских городов.

Но - как бы ни было значительно созданное Мендельсоном[3], мир его архитектурных интересов раз и навсегда был упорядочен, очерчен рамками его сформировавшегося стиля. Самая широкая география творчества - Германия, Россия, Палестина, Америка - ничего не изменила в его "почерке": Эрих Мендельсон не воспринял стилевого и культурного многообразия мира.

В 1941 году 54-летний Мендельсон покинул Палестину. 29-летний Мансфельд остался. Повторяя географически тот же учебный "путь", Аль прошел дорогами нового поколения архитекторов, дорогами иного направления, конструктивизма; тогда, в 30-е - 40-е годы, молодого, открытого для других культур и традиций.

Аль Мансфельд, недавно приехавший в Палестину и почти сразу приобретший роскошь свободы творчества и признание, - I премия за проект площади в Нетании стала безусловной победой, и немалой, - был полон идей. Способность тонко наблюдать и чувствовать; сплав гибкой концепции стиля, на волне которого он учился и формировался, собственное дарование - были залогом создания его шедевра, Музея Израиля.

В следующем, 1937 году, он переехал в Хайфу и навсегда связал с этим городом свою жизнь и творчество. Совместно с молодым архитектором Мунио Вайнраубом он организовал свое собственное бюро, которое существует и по сей день и давно стало семейным делом: Аль возглавляет и координирует работу своих сыновей и невесток. В годы второй мировой войны бюро Мансфельда проектировало в основном жилые дома, коттеджи в Хайфе, на горе Кармель, не создавая глобальных проектов.

Зато середина 50-х годов и последующее десятилетие явились эпохой в творчестве Аля - эпохой, связанной с уникальным явлением в жизни Израиля. Сегодня об этом уже никто практически не помнит, а тогда, в течение целых 10-ти лет, израильские архитекторы, дизайнеры и художники, сотни людей во Франции и Германии создавали корабли израильского пассажирского флота. В эту работу были вложены колоссальные средства. Сам Аль назвал это время "эпохой кораблей". В середине 50-х, 60-х годов Израиль обла-

дал весьма значительным торгово-пассажирским флотом: число судов среднего водоизмещения превышало сотню. И именно в первое десятилетие существования Израиля и были созданы большие корабли и жемчужина флота - флагман "Шалом". Все они создавались как один из видов репараций послевоенной Германии государству Израиль - сначала в самой Германии, на знаменитой Гамбургской "Немецкой Верфи", затем во Франции - там и был построен "Шалом". Месяцами, сменяя друг друга, работали архитекторы Мансфельд, Вайнрауб и дизайнер Дора Гад. Творчество архитектора флота давало возможность постоянных поездок - это было время плодотворных контактов с современной архитектурой Европы.

Вот что об этом периоде говорит сам архитектор: "'Шалом', - флагман молодого израильского флота, трансатлантический лайнер водоизмещением 25 000 тонн, апогей торгово-пассажирского флота навигационной компании 'ЗИМ'. Когда в 1962 году нашей команде было поручено создать дизайн корабля, самого большого в компании, у нас уже был некоторый опыт в планировании корабельных интерьеров; опыт, накопленный в процессе архитектурного оформления кораблей 'Израиль', 'Сион', 'Теодор Герцль', 'Иерусалим' и 'Родина', сконструированных в доках Европы в 1956-61 годах. Приглашение создать дизайн самого большого судна международного класса, который по праву считается израильским плавучим посланцем, вынуждало нас по-новому отнестись к нашим архитектурным целям. Казалось уже недостаточным, чтоб этот корабль сочетал в себе последние конструктивные достижения и безопасность для пассажиров; или чтобы комфорт не был навязчивым; или чтобы архитектурные формы были гармоничны.

Мы решили создать то, что можно определить как 'единство частностей', где каждая отдельная часть подчинена общему замыслу и в то же время существует сама по себе. Конечной целью было создание совершенно особенной атмосферы плавания на израильском корабле. Но это должно было быть сделано ненавязчиво. Нам кажется, что на 'Шаломе' все виды искусств успешно сочетались и наша цель была в основном достигнута благодаря тесному сотрудничеству художников и архитекторов"[4].

В статье "Кредо" ("Я верю")[5] Мансфельд пишет о том, что оформление кораблей полностью отвечало его художественным принципам. "Я верю в ответственность архитектора перед обще-

ством. Я верю, что результатом этой ответственности является отношение к дизайну как важнейшей составляющей, а именно: нет существенной разницы между дизайном города, здания, стула, ложки..."[6]

"Настоящий архитектор должен стремиться к универсальности восприятия".

В 1963 году флагман "Шалом" отправился в свое первое плавание по Средиземному морю с заходом в Стамбул, Афины, Венецию и Дубровник. Столь триумфальное начало явилось одновременно закатом; 10 лет труда ради одного мгновения триумфа; то ли потому, что середина 60-х годов стала началом быстрого развития воздушного пассажирского флота; то ли потому, что не было средств на содержание больших кораблей; кроме того, строгие предписания кашрута отнюдь не способствовали популярности этого вида туризма на израильских кораблях. Но так или иначе, трагедия свершилась. Пустовавшие корабли были распроданы один за другим, последним - "Шалом". Новые хозяева поспешили освободиться от всего, что напоминало прежнего владельца, - исчезли панно, витражи и мебель. Остались только плохонькие черно-белые фотографии. Так бесславно закончилась "эпоха кораблей". Сегодня израильского пассажирского флота в глобальном смысле этого слова не существует. А "Шалом" совершает круизы по Средиземному морю под греческим флагом...

В 1957 году Мансфельд представил на Международный конкурс проект Музея Израиля в Иерусалиме и получил I премию. Музей - огромная глава в книге жизни архитектора. На холме, до тех пор совершенно пустом, был оформлен фрагмент города, в котором реализовалась глобальная идея, - помните, "Шалом"? - "Каждая отдельная часть подчинена общему замыслу и в то же время существует сама по себе". А ведь корабли и Музей создавались в одно и то же время. "Каждая составляющая, будучи совершенно сама по себе, составляет возможность для развития пространства вокруг нее, что позволяет добавлять, развивать композицию, не нарушая ядра и образа в целом". Проект Аля был ответом на кардинальный вопрос - каким же, собственно, должен быть главный музей Израиля? Одно большое здание или система построек? Подражание крупным и известным музеям мира или что-то принципиально новое? Обсуждение вопроса об облике музейного здания, территории, его окружающей, - проблема глобальная. Для Манс-



Музей Израиля

фельда с самого начала было ясно - его проект должен нести двойственную идею Музея: фрагмента Иерусалима и Музея как части общечеловеческой культуры. И то, что вызревало и "виделось" в душе и в сознании, превратилось в идеальный сплав европейской, средиземноморской и арабской культур. Вряд ли посетители Музея Израиля в Иерусалиме анализируют свои ощущения, начиная движение к вершине холма. Изящные, пропорциональные, созданные по единому модулю объемы - ступени здания Музея утонули в парковой зоне, гармоничной, продуманной до мелочей. Ощущение гармонии пространства, впитавшего в себя еврейские мозаики эпохи Византии и современную скульптуру; а внутри самого Музея нарядность внутренних двориков и неутомительная бесконечность уютных залов.

"Имеющий в кармане мускус не кричит об этом на улицах. Запах мускуса говорит за него", - эти слова принадлежат великому Саади. Он произнес их несколько столетий тому назад, но они соотносятся с мансфельдовским творением.

Холм заполнялся архитектурным узором в течение 25-ти лет. Иерусалим, с его простором и пластикой гор и их величественной панорамой, способной поглотить все лишнее, несовершенное, лю-

бую дисгармонию, - трудный экзамен для архитектора. Мансфельд выдержал его. Для координации действий с другими архитекторами, участниками конкурса, и с меценатами, была организована поездка Мансфельда в США и Канаду. Его миссия в Монреале была весьма щекотливой: просить семью Бронфман о финансовой помощи Музею в размере 1 млн долларов - для создания выставочных залов археологического отдела. На вопрос Бронфманов, как долго пробудет господин Мансфельд в Монреале, архитектор ответил: "Столько, сколько времени потребуется, чтобы изложить Вам планы нашей работы". Чек на 1 млн долларов был получен незамедлительно, ибо оказалось, что Мансфельд был первым израильтянином, обладавшим нужным временем для детального обсуждения проблемы, - значительно большим, нежели между двумя самолетами.

Свое стремление к проектированию и возведению развернутых архитектурных композиций Аль пытался реализовать неоднократно. В 1977 году был объявлен конкурс на проект нового жилого района "Шаар Алия" в Хайфе, между морем и горой Кармель; этот район должен был стать первой в Израиле системной жилой застройкой, создаваемой единым индустриальным методом. Проект Аля получил первую премию, и строительство началось. Но радость была преждевременной. По проекту построили лишь небольшую часть домов, его ядро. А вся идея, в ее единстве, не была доведена до конца, и "мансфельдовские" дома были "потоплены" среди скучных, стандартных зданий. Сработал принцип сиюминутной дешевой экономии. Город заплатил за него отсутствием красивого, удобного и уютного жилого массива, так же как и отсутствием единого культурного и торгового центра на горе Кармель, на ее "столе" - вершине, над просторами Средиземного моря. Финал работы над проектом нам уже знаком - 1-я премия на конкурсе, всеобщий восторг и - возведение единственного здания из всего проекта, известного как "Аудиториум". Он вырван из архитектурного контекста, лаконичен по форме, изящен и звучит как цитата из всего замысла, отражая тонкий вкус автора.

Отнюдь не случайно в одно и то же десятилетие в различных городах Израиля возникла потребность в создании единых крупных архитектурных центров. В 1963 году проходил конкурс проектов на создание муниципалитета в Иерусалиме. Мансфельд предложил два независимых варианта: проект с высотной доминантой и - как анти-

тезу - постройку, растворяющуюся в окружающей архитектурной среде. После продолжавшейся несколько дней дискуссии жюри отдало предпочтение первому варианту, получившему, соответственно, первую премию. Проект предполагал иерусалимский муниципалитет как "единство частностей"- соотношений разновысотных прямоугольных зданий, образующих городскую площадь, с царившей над ней доминантой, и парка, - целый фрагмент города. Но - началась эпоха Тедди Коллека, и новые архитектурные решения определили выбор нового пространства для строительства. С этого момента в творческой судьбе Аля проявляется нечто роковое; на пути осуществления его идей встают политические события.

В середине 60-х годов Мансфельд проектирует Правительственный центр - целый город в столице Нигерии, Энугу, - достаточно увлекательный сюжет в истории взаимоотношений Израиля с африканским государством, стоявшим в то время на пороге получения независимости. Мансфельд отправился в Нигерию, чтобы принять участие в конкурсе проектов. Его проект получил первую премию, и строительство Центра казалось вполне реальным. Но из-за коррупции, пропитавшей нигерийский государственный аппарат, заказ был, за спиной Мансфельда, передан некоей лондонской фирме, впоследствии также потерпевшей фиаско в этом начинании. А Мансфельд тем временем по личному заданию тогдашнего президента Нигерии Намди Ацикива работал над проектом университета, долженствующего быть возведенным на территории родной деревни президента - Нзукка. Только через год был подписан контракт на строительство Правительственного центра, но у Нигерии, ставшей за это время независимой, появились иные проблемы, ей было не до стоительства и, кстати сказать, не до гонорара архитектору. Однако хорошо знавшие проект и видевшие по истечении некоторого времени этот район столицы с самолета, утверждали, что часть идеи архитектора была Нигерией осуществлена. Назревал громкий скандал. Но государство Израиль отнюдь не было склонно подавать жалобу на Нигерию в Международный кассационный суд в Гааге.

Подписание Кемп-Дэвидского мирного договора между Израилем и Египтом явилось высшей точкой в цепи созданных Мансфельдом архитектурных проектов международного значения, находивших всеобщее признание и фатально не реализованных.

Еще до подписания договора, в сентябре 1979 года, Садат вы-

сказал идею основания у горы Моисея, на Синае, Центра трех монотеистических религий - иудаизма, христианства и мусульманства - с целью изучения истории религий, создания места для некоего интеллектуального паломничества, для мира, согласия, взаимопонимания. Как профессионала и творца в самом широком смысле слова Мансфельда захватила глобальность замысла. Он начал напряженные поиски архитектурного решения и предложил президенту Международного Союза архитекторов - Пьеру Ваго - учившемуся так же, как и Аль, у Перре, тройственный союз: он, Пьер, католик-француз; Мансфельд - еврей из Израиля; и - кто третий? Пьер выдвинул кандидатуру молодого египетского архитектора Хассана Мухаммада Хассана. Впоследствии сам Садат выразит желание включить в этот союз еще одного египетского архитектора. Но вначале эта неповторимая "троица" дружно начала работу над небывалым в истории архитектуры проектом. Хассан Хассан весьма способствовал продвижению работы: министр реконструкции, он прекрасно знал всю правительственную иерархию и самого Садата. Первая встреча "троицы" после основательного индивидуального обдумывания рабочего варианта проекта произошла через полгода на нейтральной греческой территории, вблизи Афин. За основную была принята концепция Мансфельда: на высоком мощном каменном подиуме у подножия горы Моисея возводится композиция из трех архитектурных сюжетов - символов, своими формами олицетворяющих пути монотеизма.



Проект Центра трех религий

Прошло еще полгода, и все трое встретились уже в Париже, где к ним присоединился Эль Римали, получивший архитектурное образование в Цюрихе; его идеи относительно проекта совпадали с

уже разработанными. У себя в бюро, в Хайфе, Мансфельд готовил модель для презентации и в связи с этим три раза посетил Египет по приглашению канцелярии Садата.

Презентация проекта состоялась в летнем доме президента, длилась около часа; от встречи осталось теплое чувство надежды - уж очень большое значение Садат придавал созданию Центра. Работа двигалась вперед быстро, слишком быстро. После стольких срывов и драматических совпадений едва верилось в реальность счастливого финала. Прошел еще год, и наступил октябрь 1980 года - юбилей посещения Садатом Иерусалима.

20 октября 1980 года на Синае состоялась торжественная церемония подписания договора о создании Центра трех религий. Коллектив авторов представлял израильтянин Мансфельд. Через некоторое время, находясь в Швейцарии, в Асконе, Аль услышал переданное по телевидению сообщение о попытке государственного переворота в Египте и о трагической гибели Садата. Сказка так и не стала былью...

Архитектура вобрала в себя многие формы творчества. В сущности, вся человеческая жизнь ограничена определенным пространством, создаваемым самим же человеком. Поэтому всегда так велика ответственность архитектора по отношению к обществу, в котором он живет с мечтой о совершенном создании своих рук.

Архитектура, безусловно, требует универсальных знаний. Идея универсальности шире понятия профессии - это мировоззрение. Это и есть то, что Мансфельд в своем "Кредо" называет "восстановлением равновесия между материей и духом".

Будучи руководителем кафедры архитектуры хайфского Технион-а, Мансфельд еще 20 лет тому назад сделал попытку организовать весь процесс обучения студентов по принципу "студии" или "ателье". Он убежден в правильности этого пути - научить будущих архитекторов воспринимать проект как единое целое, включая все "вспомогательные" дисциплины: "архитектор должен уметь и знать все". Этим планам не суждено было осуществиться - необходима была перестройка всего "учебного процесса"; кроме того, такая система требует весьма высокого уровня всего преподавательского состава.

Аль Мансфельд не только прекрасный организатор, он - путешественник, стремящийся увидеть мир; художник, не расстающийся со своим альбомом и сейчас. Вернее, это уже целая серия аль-

бомов, рассказов - зарисовок его впечатлений о людях и странах. И сейчас его волнует переплетение ветвей деревьев, которые он посадил уже почти 40 лет тому назад во дворе своего дома в Хайфе, на горе Кармель; одно из них своими ярко красными зимними ягодами напоминает Москву его детства.

Мансфельд вышел из архитектурной школы, носящей название "конструктивизм". Он учился и создавал свои первые проекты тогда, когда это направление переживало "героические времена" своего расцвета. Называя себя "конструктивистом", Аль имеет в виду нечто большее, чем узкостилевое направление. Собственно, он не до конца последователен в нем: его талант, как писал профессор Хавкин, чудесным образом соединил универсальные идеи архитектора - гражданина классицистической эпохи и молодого и сильного приверженца конструктивизма 30-х годов с его тесной связью технической стороны творчества, эстетики и дизайна. Неосуществленные проекты отнюдь не поражение архитектора. Его тонкий вкус и мастерское владение линией и формой - как, например, в проекте Мавзолея в Рангуне, в Бирме, у подножия самой большой пагоды в мире - Шве Дагон - "переливание" друг в друга геометрических объемов, создающих центральный зал Мавзолея, - вся его творческая концепция, - новый виток архитектурных идей в непрерывной цепи творчества.

Большая часть проектов мастера не была реализована. Так что же это? Поражение? Гибель творца? Или наоборот - победа? Победа нереализованной идеи.

Несколько отвлекаясь от сюжета нашего повествования, хочу напомнить читателю об известной легенде, связанной с именами короля Артура и волшебника Мерелина.

Совсем тогда еще молодой король после поражения в войне с волшебным рыцарем едет с Мерелином по глухому лесу. Мысль о поражении не дает ему покоя и без своего королевского меча он не чувствует себя рыцарем. Мудрый Мерелин успокаивает Артура: "Победивший может ощущать себя побежденным и побежденный - победителем. Все относительно. Победа или поражение внутри самого человека".

Вероятно, сам Мансфельд ощущает себя победителем. И не может быть иначе, потому что его идеям принадлежит будущее. Будущее израильских городов.

Примечания

1. Младший брат Аля, Оскар (Кира), родился в Москве.

2. Нетания получила статус города в 1948 году.

3. Эрих Мендельсон род. в 1887 г. в гор. Ольштын (Вост. Прусия, ныне - Польша). Закончил ВТШ в Берлине, Архитектурную школу в Мюнхене, Высшую архитектурную школу в Париже. В Палестине конца 30-х годов спроектировал и построил две больницы в Хайфе (одна из них - больница "Рамбан"); в Иерусалиме - б-ца "Хадасса" на горе Скопус; Англо-Палестинский банк, известный нам как "Банк Леуми ле Исраэль"; дом Хаима Вейцмана и др. С 1941 г. жил и работал в США, где построил несколько синагог в различных городах страны. Умер в 1953 г. в Сан-Франциско.

4. "Shalom" - Integration of Art and Design // Ariel: A Review of the Arts and Sciences in Israel (Jerusalem). 1966, N13. P.5-12.

5. Mansfeld A. Credo (I believe) // The Kokusai-Kentiku: The International Revue of Architecture: Issue devoted to the Work of Al.Mansfeld. - Tokyo, 1967. P.9.

6. Сейчас на наших глазах возник - недалеко от стен Старого Города - новый муниципалитет Иерусалима, "вписанный" в остававшийся практически нетронутым современной застройкой архитектурный ландшафт центра города. Инвеститоры проекта - семья Райхман (Канада); авторы проекта - архитектурное бюро Джека Даймона (Канада) и иерусалимское бюро А.Колкер, О.Колкер и Р.Эпштейн.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Werkzeitung Deutsche Werft (Hamburg). 1955. N2. S.2, 8-9.

2. Strukturformen der modernen Architektur von Kurt Siegel. München, 1960. S.199.

3. Competition for the Architectural Treatment of the Central Square, Natanya. First Prize - A.Mansfeld // Habinyan Bamisrah Hakarov (Tel-Aviv). 1936. N9-10.

4. Architect's own House at Haifa // Architectural Design (London). 1963. Oct. P.469.

5. "Shalom": a Seaboard Gallery of Modern Art and Design // Interiors (NY). 1964. Nov. P.82-89.

6. Rathaus in Jerusalem (Modell). (S.9); Israel Museum in Jerusalem (S.25, XII); Mausoleum in Rangun (Modell) (S.43); Wohnblock in Haifa (S.198, XXIV) // Neues Bauen in der Welt. 1965.

7. Mansfeld A. Architecture in Israel. Past and Future // Technion-Magazine (Haifa). 1970. Feb.

8. The Israel Museum at twenty // Ariel: A Review of Arts and Letters in Israel (Jerusalem). 1985. N60. P.16-17.



Он увидел Иерусалим изнутри

Слово о художнике Александре Копеловиче

Савва Дудаков
(Иерусалим)

Вот и прошло четыре года с того дня, как не стало моего друга Александра Давидовича Копеловича. Ушел из жизни Человек и Художник. Ушел - так и не дождавшись открытия своей выставки в России. Уже были отправлены в Москву картины, напечатаны каталог и афиша. За два дня до отъезда он внезапно скончался. Выставка состоялась - но художнику не дано было присутствовать на ней. Подобно Моисею, не смог он войти в Землю Обетованную...

Все, чего с юности ранней не видывал,
Милое сердцу, ему улыбалося.
Тут ему Бог позавидовал.
*Жизнь оборвалася...**

Александр Копелович родился 3 мая 1912 года в Петербурге в семье известного врача М.А.Хавина. В доме Копеловича сохранилась старая фотография: доктор Хавин в форме русского офицера (в царской армии врачам присваивалось офицерское звание, в том числе и врачам-евреям - даже если они отказывались принять крещение) - в окружении медицинского персонала Варшавского военного госпиталя. Начальником этого госпиталя он служил в начале первой мировой войны. После занятия Варшавы немцами доктор

*Из стихотворения Н.А.Некрасова "На смерть Шевченка".

Хавин был послан в Туркестан на борьбу с эпидемией холеры и погиб, как выражались тогда, "смертью врача-героя", заразившись этой страшной болезнью. Было это в конце 1916 года.

Мать Александра - Полина (Паулина) Осиповна происходила из семьи Либо (из этого разветвленного семейного клана вышел один из выдающихся сионистских деятелей Артур Рупин, чьим именем названы улицы в разных городах Израиля). Была она необыкновенно красива - в этом легко убедиться, взглянув на ее портрет кисти М.В.Добужинского. Овдовев, Полина Хавина вышла замуж за Давида Наумовича Копеловича, который усыновил маленького Сашу.

В 1925 году семье Копеловичей удалось эмигрировать в Латвию, а накануне второй мировой войны, в 1939 году, - в Эрец-Исраэль. С тех пор и до конца жизни Александр Копелович жил в Иерусалиме.

Как пробуждается, как формируется талант художника? Два человека, безусловно, сыграли свою роль в становлении творческих пристрастий Александра. Один из них - его отчим Давид Копелович, страстный собиратель картин русских художников, другой - его учитель живописи Сергей Арсеньевич Виноградов. К роли Виноградова в судьбе молодого художника мы еще вернемся (как не раз возвращался к воспоминаниям о нем сам Александр), а сейчас, мне кажется, стоит немного подробнее рассказать о коллекции Копеловича-старшего, поскольку среди этих полотен рос будущий художник и - хотел он того или нет - должен был испытать на себе их воздействие.

Начало художественному собранию Давида Копеловича было положено еще в дореволюционной России. В годы пребывания в Латвии он продолжал интенсивно пополнять его. То, как удалось переправить эту коллекцию в Эрец-Исраэль, могло бы стать сюжетом приключенческого фильма. Расскажу лишь об одном эпизоде, известном мне со слов его непосредственного участника - брата Давида Виктора Наумовича Копеловича, живущего сейчас в Тель-Авиве. Груз (он включал в себя работы русских и западноевропейских мастеров, старинную мебель и антикварный фарфор) застрял в начале войны в Триесте и - как это ни удивительно - уцелел, несмотря на бомбардировки союзников и реквизиции военного времени. Виктору Наумовичу, который был тогда британским офицером, удалось в мае 1945 года на "студебеккере" проникнуть в Триест, занятый югославскими партизанами, и в одном из пакгаузов отыс-



Зима. Масло. 1929 г.

кать запломбированный груз из Риги. Он сумел перевезти коллекцию в Неаполь, а оттуда морем ее отправили в Эрец-Исраэль.

Жемчужиной собрания являлся портрет "смолянки" Д.Г.Левицкого. Как известно, серия "смолянок" (воспитанниц Смольного института) была создана Левицким по заказу Екатерины II в 1773-1776 годах. Картина, принадлежавшая Копеловичу, числилась в каталоге одной из выставок, устроенных С.П.Дягилевым. Установить, какая именно из "смолянок" изображена на картине, сложно. Но ее прекрасные глаза и сегодня - сквозь двухвековую "патину" - светятся добротой и чистотой. Этой картине посвящена специальная работа искусствоведа Л.Маркиной "Загадка 'Неизвестной с розой'", опубликованная в журнале "Наше наследие"[1]. Другое известное полотно в коллекции - "Пикник" В.М.Кустодиева, написанное, по-видимому, весной 1920 года. Александр Копелович особенно любил этого художника: может быть потому, что мир Кустодиева - это утраченный мир прошлого... Интересно представлен в коллекции М.В.Добужинский: кроме уже упомянутого портрета Полины Копелович, здесь хранится созданная им декорация к пьесе И.С.Тургенева "Месяц в деревне". Датируется эта работа скорее всего 1909 годом, когда К.С.Станиславский ставил этот спектакль в Художественном театре. Правда, художник неоднократно возвращался к

темам, навеянным тургеневской пьесой, и в 1912 и 1919 годах по мотивам "Месяца в деревне" написал еще несколько картин. В домашнем музее Копеловичей можно увидеть работы В.Д.Поленова, С.В.Жуковского, К.А.Коровина, А.С.Степанова, С.Ю.Судейкина. Были в коллекции и произведения В.А.Серова и Ф.А.Васильева, но, по завещанию отчима, они перешли к его второй жене.

Особое место и в собрании картин и, шире, - в духовном мире Александра Копеловича - занимал Сергей Арсеньевич Виноградов (1869-1938). Несколько великолепных работ академика живописи Виноградова, среди них - большое полотно "Ледоход на Двине" (1927), украшали иерусалимский дом его любимого ученика. Бережно хранились в семейном архиве письма Виноградова к матери Александра, в которых ее сыну предсказана блестящая будущность.

Александр Копелович был человеком громадной эрудиции. Достаточно сказать, что он свободно владел пятью европейскими языками и двумя семитскими - ивритом и арабским. Уже на склоне лет, имея деловые отношения с Югославией, он освоил еще и сербохорватский. Но на вопрос об образовании он должен был бы ответить: незаконченное среднее. Так в свое время ответил писатель Илья Эренбург девушке, заполнявшей опросный лист в связи с переписью населения. Девушка обиделась: "Вы надо мной смеетесь. Я читала Ваши книги". Но это было правдой: будущего писателя некогда исключили из гимназии. Александр Копелович свой "курс наук" тоже прошел не в гимназии - его школой стала студия Виноградова, которой академик с середины 20-х годов руководил в Риге, перенеся туда свой пятнадцатилетний опыт преподавания в Строгановском училище. Здесь Александр проучился шесть лет и впоследствии так вспоминал об этих годах: "Сергей Арсеньевич не только учил меня, как и чем писать и рисовать, то есть технике, 'кухне' живописи, но воспитал меня как художника и человека всесторонне. Он придавал этому гораздо большее значение, чем тому, что ‹...› снисходительно называл 'ремеслом'. Он считал, что настоящий художник должен быть эстетом и знать и любить все прекрасное. Художник должен быть чистым, честным, искренним. Все было важно Сергею Арсеньевичу: выбор книг, выбор друзей, образ жизни. Он никогда не навязывал нам свою манеру писать, свое мировоззрение. Но он 'открывал' ученикам то своего любимого Сислея, то рисунки Иванова и Рябушкина, картины Нестерова

и 'Ложу' Ренуара. Мы зачитывались его любимыми 'Очарованным странником' Лескова, 'Викторией' Гамсуна, повестью о 'Первой любви' Тургенева, 'Холстомером' и 'Смертью Ивана Ильича', 'Митиной любовью' (он особенно ценил Бунина) и Аксаковым. Сергей Арсеньевич ненавидел всякое позерство и кривлянье и требовал от своих учеников внутренней, художественной правды" (Из письма, посланного Копеловичем из Парижа в 1969 году Н.И. Станкевич, работавшей над книгой о Виноградове[2]).

И еще одно признание Александра Копеловича, сделанное им в конце жизни: "... У меня есть особая, личная причина любить все русское. После приезда в Ригу, я тринадцатилетним мальчиком начал учиться у большого русского художника академика С.А.Виноградова. У Сергея Арсеньевича не было детей, и он воспитал меня как собственного сына. Он открыл мне не только законы рисунка и колорита, но и богатство русской литературы <...>. Мы вместе любовались березами в инее и осенними мотивами в усадьбе в Латгалии <...>. Я всегда буду хранить память о моем любимом учителе и духовном отце Сергее Арсеньевиче"[3].

Талант Александра Копеловича проявился рано. По свидетельству бывшего рижанина, ныне профессора Иерусалимского университета Д.Р.Тименчика, в дневнике Добужинского (Копеловичи и Добужинские были знакомы домами) есть строки о большом даровании "сына Копеловича". Это дарование проявилось уже в первых, представленных на суд зрителей и критиков работах, - на студийной выставке 1930 года. В 1935 году Александр едет в Париж, где продолжает свое художественное образование под руководством Оттона Фриеза. Он выставляется в Весеннем салоне и сразу же получает признание - его картина продана. В Париже он знакомится с Зинаидой Серебряковой[4], которая пишет его матери письмо, предрекающее Александру большое будущее. Одновременно с занятиями живописью Копелович проходит курс по изготовлению красок в Академии художеств. Этот его интерес к изготовлению красок сыграет впоследствии особую, благотворную роль в его судьбе...

На каникулы Александр ездил из Парижа в Палестину. Собственно, он бывал здесь и раньше. Во всяком случае уже в 1934 году в журнале "Рассвет", издаваемом сионистами-ревизионистами во главе с Жаботинским в Париже, появилось несколько статей за подписью А.Копеловича. Собственному корреспонденту было едва



Обнажённая. Масло. Рига, 1939 г.

за двадцать, и со всей непримиримостью молодости он писал тогда в связи с процессом по делу об убийстве Арлозорова[5]: "Последним выстрелом по сионизму должен был быть приговор, который имеет целью обострить и надолго затянуть гражданскую войну в еврейском народе и в результате очистить путь для бесповоротной и окончательной ликвидации сионизма[6]". Его статьи имели резонанс: их не только печатали в Париже и Риге (последнее можно объяснить тем, что отчим его в это время занимался в Риге издательским делом), но и перепечатывали в далеком Харбине - в выходящем на русском языке журнале "Га-Дегель".

В 1936-37 годах Александр Копелович бывал в Эрец-Исраэль регулярно - изъездил ее вдоль и поперек. Время было неспокойное, напоминающее сегодняшнюю "интифаду". Художественный критик профессор Василий Синайский писал: "Он в священной Палестине, пишет свои пейзажи и портреты, опять в шуме человеческой злобы, под выстрелами прямо из-за углов, рискуя своей жизнью, пишет евреев и арабов в их селеньях. Но воинственная душа араба чувствует, как дитя природы, что молодой художник не просто человек, а он - Божий избранник, и с восточным благоговением ко

всему божественному, она охраняет его и бережет, как мать..." Простим профессору его наивную выспренность, но отметим здесь, что до конца своих дней Александр Давидович Копелович ратовал за израильско-арабскую дружбу - сам он сохранял самые дружеские отношения с арабскими рабочими и интеллигентами, всегда приглашал их на свои выставки, бывал гостем на их торжествах.

Два года неустанного труда дали свои плоды. Работы, сделанные в Эрец-Исраэль, были привезены в Ригу, где состоялась персональная выставка художника. В интервью, данном в связи с открытием выставки одной из газет, он рассказывал о трудностях работы в Палестине, о том, как боялись приходить в его мастерскую арабы, о немилосердной жаре, когда масляные краски "текут", как водяные. И продолжал: "Истинное художественное произведение должно как можно полнее отражать душу художника, и если художнику это удается, то в его вещах никогда не будет пустых и скучных мест. И само его произведение уподобится старинной мозаике, составленной из драгоценных камней. А Палестина обязывает художника к такому подходу..."

К этой выставке Александр Копелович издал альбом "Еврейские портреты и пейзажи", предисловие к которому написал профессор В.Синайский: "Художник идет своей дорогой, - утверждал он. - Палестина для него, прежде всего, - сама природа, ее душа, ее камни, ее белые, без крыш, домики, ее зелень деревьев с разнообразными кронами. Она - Палестина, как и тысячи лет тому назад, осталась той же извечно-мистической колыбелью великих дум и чудных песен, столь неподражаемо вдохновенно отображенных в Великой Книге человечества - в Священной Библии". И далее: "Он искал характерного в своих оригиналах и передал бесспорно большое разнообразие еврейских типов, родиной предков коих была Палестина. Чувствуются почти во всех лицах необыкновенная подвижность ума, воли и сердца. Эти рисунки передают души людей, связанных духовно крепкими историческими узами с Палестиной. Глядя на некоторые из них, можно легко оживить в себе образ ветхозаветных пророков. Следует внимательно перелистывать альбомы, неспешно, чтобы почувствовать и здесь порывистую светлую душу самого художника, дисциплинированную, однако, современной культурой..."

Судя по всему, готовилось второе издание этого альбома, исправленное и дополненное. Оно не состоялось, о чем можно пожа-

леть вдвойне, поскольку этому изданию должно было быть предпослано предисловие великого историка Семена Марковича Дубнова[7]. Сохранилось лишь несколько фраз Дубнова, приведенных в анонсе, но и по ним можно судить о том, как высоко оценивал он работу Копеловича: "...Будучи писателем и ученым, я хочу указать на необходимость этого альбома с общественной и педагогической точек зрения... Сын нового поколения сможет исполнить старый завет: "Да увидят Твои глаза Твоих Учителей".



А. Копелович. Фотография 1939 г.

Нетрудно предположить, что выставку Александра посетил его учитель Виноградов. Вероятно, именно тогда он написал о своем ученике: "Он весь в искусстве, в великой любви к нему... Он идет большим настоящим путем к идеалу утонченного, прекрасного, отметая весь пошлый вздор, который иногда тоже принимают за искусство"[8]. Тогда, в январе 1938 года, семья Копеловичей последний раз сфотографировалась с Сергеем Арсеньевичем. В начале февраля его не стало...

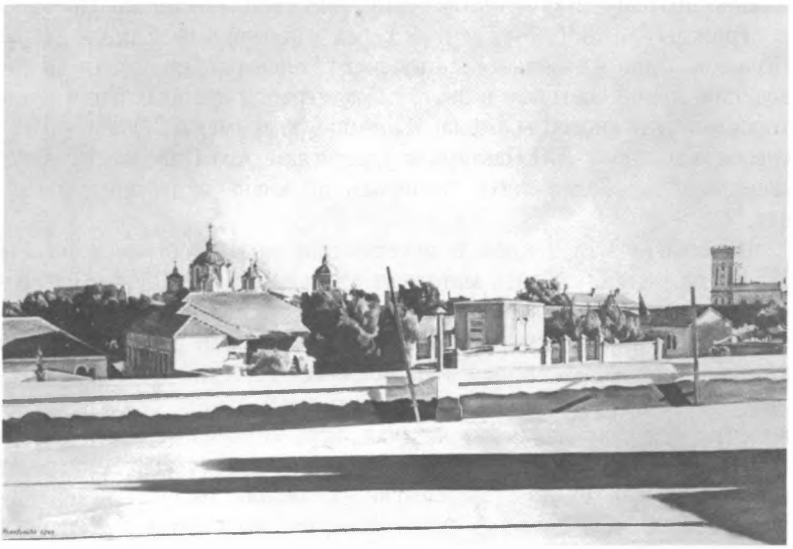
Последняя выставка Александра Копеловича в Риге состоялась в 1939 году, когда в Европе уже полыхала война. Для художника начиналась новая страница жизни. Он и его жена Рей оказались в Иерусалиме без денег, без нужных специальностей (Рей была балериной). И тогда Александр решил в домашних условиях производить краски - пригодились знания, полученные в Париже. "Мы растирали с Рей краску пальцами, - рассказывал мне мой покойный друг.- Дома, в кухне, наполняли тюбики и затем продавали их". Первыми покупателями были художники Блюм и Штейнгарт, которые, как они впоследствии признавались, никогда этими красками

не пользовались, выбрасывая их нераспечатанными, - их целью было поддержать своего собрата по искусству. Поначалу единственным потребителем своей продукции был сам художник. Но постепенно его краски привлекли к себе внимание и начали завоевывать рынок. Так родилась фабрика "Блюко" - название составлено из первых слогов фамилий компаньонов - Блюм и Копелович. С 1948 года фабрика производит краски для полиграфии, при ней создана экспериментальная лаборатория. Александр

Копелович оказался незаурядным химиком - он автор многих патентов на производство промышленных красок. С начала шестидесятых годов продукция созданного им предприятия уже экспортировалась в Данию, Грецию, Турцию, Югославию и даже в такую "химическую" страну, как Западная Германия.

Положение владельца крупнейшей на Ближнем Востоке фабрики промышленных красок освободило Александра Копеловича не только от изнурительной борьбы за кусок хлеба, но и позволило ему стать свободным художником в полном смысле этого слова - свободным от необходимости продавать свои картины, независимым от моды и высказываний политиканствующих невежд. Великий Генрих Шлиман полжизни потратил на приобретение "миллиона", а вторую половину - на поиск и открытие древней Трои. Копелович "раскроил" свою жизнь по-иному: с 6 до 11 утра он, по его ироническому определению, - "акула капитализма", но с одиннадцати - время принадлежало искусству. Каждый день - шел ли дождь, стоял ли хамсинный зной - живописец устраивался в своей мастерской напротив Дамасских ворот - и рисовал...

Художник долго выбирал место для своего ателье. Поначалу он работал неподалеку от Яффских ворот в старой - времен турецкого владычества - гостинице. В этой гостинице, как не без гордости любил сообщать Александр Давидович, некогда останавливался Иван Алексеевич Бунин (многие страницы "Весны в Иудее", так же как и стихотворение Бунина "Гробница Рахили", Копелович знал наизусть). Спустя годы художник нашел иное место для своей мастерской: в старом турецком доме напротив Дамасских ворот. С высоты третьего этажа открывалась перед ним дивная панорама Старого города. Но главным чудом были сами, неповторимой красоты, Дамасские ворота, через которые всегда льется красочный людской поток. Набожные евреи в огромных лисьих шапках и шелковых халатах стремятся к Стене Плача... Арабы в цветных



Вечер. Иерусалим. Масло 1944 г.

одеяниях спешат в мечеть, на рынок, домой - в узкие улочки... Идут христианские паломники, только что прошедшие по Виа Долороса к Храму Гроба Господня... И тысячи туристов - со всех концов света... Весь этот пестрый, яркий, бесконечно разнообразный и постоянно меняющийся мир запечатлен на полотнах Копеловича.

Работать художнику в Старом городе в последние годы было опасно. В доме, где располагалось ателье, бывало, раздавались выстрелы, порой случались убийства. Но умолить Александра Давидовича оставить эту мастерскую не удавалось никому - ни жене, ни детям, ни друзьям. И то сказать, кто хоть раз побывал у него там, не мог не почувствовать, что с "горней высоты" его могла снять лишь смерть. Так оно и произошло: он скончался внезапно - у недописанного холста в своей мастерской у Дамасских ворот...

И до Копеловича многие художники писали Иерусалим. Среди них были признанные русские мастера: В.Д.Поленов (один из его этюдов хранился в коллекции Копеловича), И.Я.Билибин, Л.О.Пастернак, В.В.Верещагин. Но - беру на себя смелость это утверждать! - никто из них не смог приблизиться к душе этого города. Никто - кроме Копеловича. Возможно, я излишне категоричен, но

именно поэтому хочу проиллюстрировать свою мысль поподробнее.

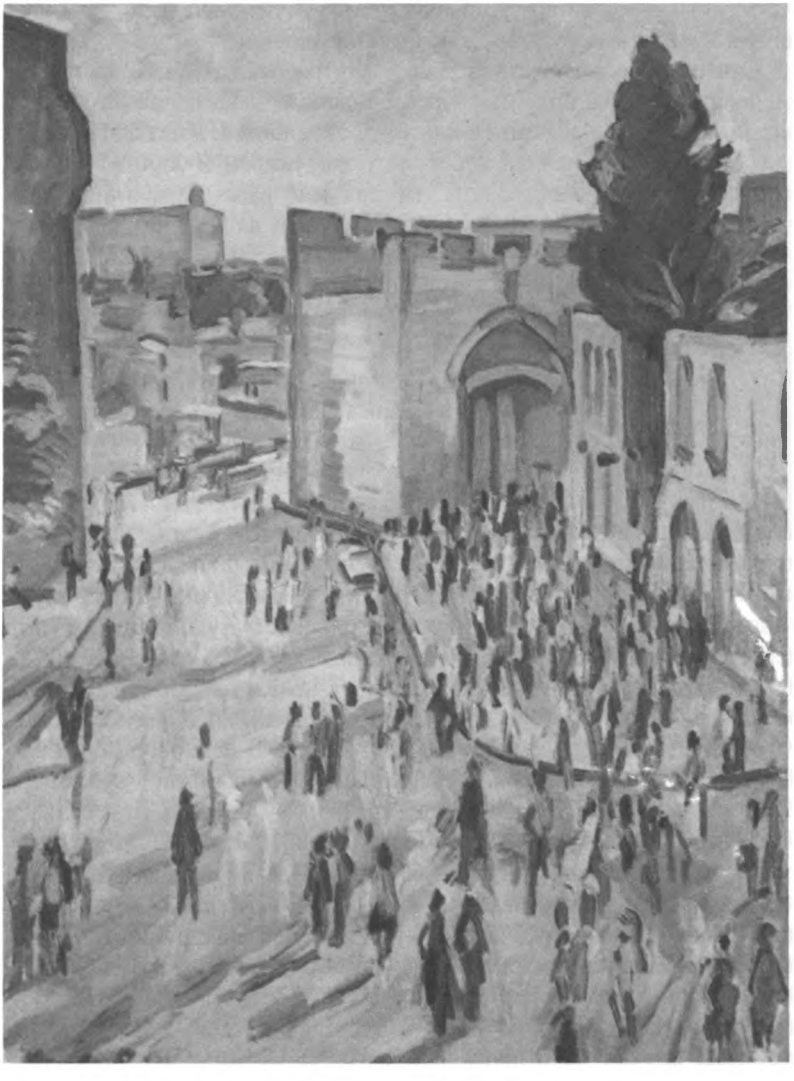
Трижды - в 1881, 1882 и 1899 годах - побывал на Святой Земле Поленов. Один из зачинателей русского "пленэра", он создал произведения, яркие световые и цветовые контрасты которых были новаторскими для своего времени. Напомню, к примеру, "Оливу в Гефсиманском саду". Л.О.Пастернак утверждал, что Поленов "глубоко зачерпнул" и, более того, "исчерпал до конца палестинский пейзаж"[9].

Верещагин отправился в путешествие по Палестине в начале 1884 года, чтобы собрать материал для картины "Распятие на кресте у римлян". Возможно, поэтому большинство его этюдов палестинского цикла носило чисто этнографический характер. Хотя картина "Гробница королей в Иерусалиме" (Русский музей) отличалась по темпераменту от обычно суховатых работ художника: на полотне передано движение воздуха, игра солнечного света в контрасте с холодными тонами. Здесь уместно привести выдержку из венской газеты тех лет: "Верещагин - славянин; он русский до мозга костей. О чем думают, что чувствуют, чего хотят в обширной империи, то отражается ‹...› в его произведениях ‹...› Что и Палестина включена в будущие русские планы, тому служит свидетельством картина 'Русский госпиталь в Иерусалиме'... Побывав на священной земле, художник подчинил своему искусству эту землю и ее людей"[10].

Билибин прожил на Ближнем Востоке пять лет - с 1920 по 1925 год. Здесь он впервые обратился к городскому пейзажу. Художник рисовал тихие улочки, восточная застройка которых веками оставалась неизменной. Рисовал он обычно как бы с высоты птичьего полета, что позволяло развернуть панораму домов с глухими стенами, плоскими крышами и глухими переходами ("В старом Иерусалиме", 1924).

В 1924 году в составе художественной экспедиции побывал в Палестине Л.Пастернак. Сделанные в этой поездке этюды отличаются верностью натуре и заостренностью. Таков, например, этюд "Палестина. Жара и ослик", где художнику удалось передать хамсинное марево, которое как бы поглощает очертания гробницы и всадника.

Как мы видим, у Копеловича были талантливые предшественники в его родной художественной школе - школе русской живописи. Но у него было громадное преимущество перед ними: он жил в этой стране и она открывала ему себя, как открываются только



Яффские ворота. Масло. 1971 г.

тому, кого знают и кому доверяют. Потому и дано было ему увидеть и показать Иерусалим как бы изнутри.

Святой город Александр Давидович рисовал полвека и, кажется, никогда не был удовлетворен созданным - на одной из последних выставок он представил картину "Уходящая Палестина", работа над которой была начата сорок лет тому назад. Я люблю все его работы иерусалимского цикла. Но как мне рассказать о них читателю? Как "пересказать" картины тому, кто их еще не видел? Попытаюсь сравнить их с чем-то знакомым. Скажем, с произведениями Павла Кузнецова[11], чьи туркестанские полотна заинтересовали Александра Давидовича в конце 70-х годов, - в работах этих двух художников явственно звучат родственные мотивы. Есть нечто общее у живописи Копеловича и с таким далеким "предком", как Питер Ластман[12], учитель Рембрандта: сравните ту же "Уходящую Палестину" с "Возвращением Авраама в Ханаан".

Никому, кроме Копеловича, не дано было так передать смену красок иерусалимского пейзажа в разное время дня - от первых лучей солнца и до заката. Невозможно забыть этюды, запечатлевшие цветение миндаля: переходы оттенков - от белого до почти лилового. Вот серия этюдов, сделанных у Масличной горы, когда сквозь цветущий миндаль просматривается луковичный купол церкви Марии Магдалины... А иерусалимское небо на полотнах Копеловича в первое мгновение поражает неожиданностью: оно - серое, а не "вечно-голубое", каким, в соответствии с расхожим эпитетом, мы привыкли его себе представлять. В нем ощущается дыхание Иудейской пустыни. А знакомое нам по картине Александра Иванова "Явление Христа народу" вечноголубое небо Палестины - это... небо Италии, равно как и ивановский миндаль тоже итальянского происхождения (на Святой земле Иванов не бывал, хотя в скобках заметим, что знал он древнееврейский язык, часто посещал римские синагоги в поисках типажей для своего монументального полотна, и евреи, бывало, принимали его за своего соплеменника). Лично мне иерусалимское небо Копеловича чем-то напоминает серое петербургское небо, а в стенах вечного города на его полотнах нет-нет да и проглянет вдруг знакомый с детства силуэт Петропавловской крепости (это мое восприятие, конечно, очень субъективно, но есть у него и оправдание: стены Иерусалима были возведены в XVI веке итальянскими мастерами, башню Давида так и называли - Пизанская башня, а из какой страны происходили зод-

чие Петербурга - мы тоже знаем).

Копелович никогда не ставил перед собой в живописи широкомасштабных задач. Где бы ни писал он - против Дамасских ворот или в Булонском лесу (а он по несколько раз в год приезжал во Францию и много рисовал в Париже и Париж) - всюду и всегда его кисть отображала только то, что было ему близко и дорого. Но дыхание мира неотвратимо врывалось в его полотна. Перед нами "Портрет жены", выполненный в 1942 году, когда немцы были на Волге, а войска Роммеля - на египетской границе. Одинокая женщина в кресле-качалке спиной к зрителю. Ее фигура словно теряется в квадратах белого холодного пола. Ощущение тревоги и неуверенности в будущем охватывает нас, и хужожник добивается этого, не прибегая, казалось бы, ни к каким сильнодействующим средствам. А вот другой портрет жены, написанный совсем в иное время и навеянный стихотворением Н.А.Заболоцкого "Жена". Усталое, одухотворенное лицо много пережившей женщины - и, вглядываясь в него, я читаю повесть о любви и всепрощении...



Портрет С. Ю. Дудакова с надписью "Савелию Юрьевичу на добрую память от Копеловича. Иерусалим, 1979 г."

Как художник, воспитанный в традициях русской школы, Копелович во главу угла всегда ставил не "как", а "что". Так, во всяком случае, говорил о своих принципах он сам. Но мне кажется, его определение не совсем точно: просто для него, столь свободно владеющего ремеслом, уже не существовало проблемы "как". Само слово "ремесло" он не жаловал и заменял его другим - "профессионализм". Однако при этом любил цитировать Каролину Павлову[13]: "Моя напасть! мое богатство! мое святое ремесло!"

Копелович часто повторял, что он продолжил ту линию русской живописи, которую начал Крамской, развил его ученик Поленов,

затем - ученик Поленова Виноградов, а теперь он - ученик Сергея Арсеньевича. Но русско-израильского еврея Александра Копеловича считают своим художником и французы - как Пикассо, как Шагала...

Тут мне хочется сделать небольшое отступление. Когда Марк Захарович Шагал приезжал в 1961 году в Израиль, он высоко отозвался о творчестве Александра Копеловича. Тогда же произошел любопытный инцидент. Хайфский муниципалитет устроил торжественную встречу прославленному художнику. Именитый гость стремительно влетел в зал, мгновенно оглядел присутствующих и на виртуозном идише обратился к ним: "Посмотрите на этого идиота! В 1921 году он отказался купить у меня иллюстрации к 'Мертвым душам' Гоголя. Я просил сто червонцев, а он пожалел. А сейчас это стоит сотни тысяч долларов!" Этим "идиотом" был Давид Наумович Копелович. Александр Давидович так комментировал этот эпизод: "Как же больно должно было быть художнику, чтобы даже через сорок лет он узнал своего 'обидчика'. Но у отца было всего сто червонцев, и он колебался. Они были потрачены на 'Смолянку' Левицкого. Я не жалею о выборе отца."

Признание пришло к Александру Копеловичу, можно сказать, в самом начале его творческого пути. Еще перед войной критика отмечала его "художественный дар", "оригинальность и художественную самостоятельность". И с годами слава не отвернулась от него. В 1980 году он вошел в число лучших пятидесяти художников Франции, чьи работы были представлены на международной выставке в Осаке, и именно его картина была удостоена там особой награды. В 1983 году он получил от Международной ассоциации искусств в Нью-Йорке диплом, которого до нынешнего времени удостоились лишь несколько десятков художников. Его выставки проходили в Иерусалиме и Тель-Авиве. Его работы экспонировались в лучших галереях Парижа. Они совершили кругосветное путешествие - от Америки до Японии. А он всю жизнь мечтал о выставке в Росссии. И умер накануне ее открытия...

Выполняя его последнюю волю, Рей Моисеевна Копелович передала картину Д.Г.Левицкого и две живописные работы Александра Копеловича "Иерусалим. Старый город" и "Улица в Иерусалиме" в дар русскому народу.

Слово о моем друге художнике Александре Копеловиче я бы хотел завершить строками Афанасия Фета:

Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет, уходя.

Примечания

1. Наше наследие. М.,1991. N4. С.137-139.

2. См.: Станкевич Н. Сергей Виноградов. Л.: Искусство. 1971. С.108.

3. См.: Художник и его собрание. М.: Сов. художник. 1990.

4. Серебрякова Зинаида Евгеньевна (1884-1967) - русская художница, дочь скульптора Е.А.Лансере, член "Мира искусства", автор получивших мировое признание картин "За туалетом", "Жатва", "Беление холста" и др.

5. Арлозоров Хаим (1899-1933) - один из руководителей сионистского рабочего движения. Был убит в Тель-Авиве во время прогулки по берегу моря. В его убийстве были обвинены члены ревизионистской партии, впоследствии оправданные за недостаточностью улик.

6. Рассвет. Париж, 1934. N12. С.4.

7. Дубнов Семен (Шимон) Маркович (1860-1941) - еврейский историк, публицист и общественный деятель, автор монументального труда "Всемирная история еврейского народа".

8. Цитируется по статье Софьи Рубашевой "Блюко"// Наша страна. Тель-Авив, 1969, 25 дек.

9. Пастернак Л.О. Записки разных лет. М.: Советский художник. 1975. С.92-93.

10. Цитируется по монографии Лебедева А.К. В.В.Верещагин. М.: Искусство. 1972. С.341.

11. Кузнецов Павел Варфоломеевич (1878-1968) - русский живописец. Его поэтичные, декоративно-обобщенные по цвету полотна посвящены Востоку, в частности Средней Азии ("Мираж в степи", 1912; "Отдых пастухов", 1927 и др.).

12. Ластман Питер (1583-1633) - голландский живописец, автор композиций на мифологические и библейские темы.

13. Павлова Каролина Карловна (1807-1893) - русская поэтесса и переводчица.



Между Обломовым и Самсоном Назореем

(о российских истоках творчества Ицхака Орена)

Марк Амусин
(Иерусалим)

Давно уже стала общепризнанной идея "русских корней" израильской культуры, в частности, оплодотворяющего воздействия русской словесности на израильскую литературу, особенно в период формирования последней. Не следует, однако, забывать о тонкой природе духовных взаимодействий, об "избирательном сродстве", существующем в сфере межкультурных контактов, которые невозможно описывать в терминах ньютоновой механики. Влияния и перцепции распространяются нелинейными путями, притяжения перемежаются отталкиваниями. Одни "черенки" богатейшей российской традиции, прививаемые дереву ивритской литературы, давали побеги, другие засыхали или вызывали реакцию отторжения. Эмблемой этих напряженных, амбивалентных отношений может служить творчество одного из оригинальнейших израильских прозаиков Ицхака Орена.

Ицхак Орен (настоящая фамилия - Надель) родился в 1918 году в Улан-Удэ, где его отец, Лев Исаакович Надель, убежденный сионист, обучал ивриту немногочисленных еврейских детей, которых судьба забросила в этот "медвежий угол Прибайкалья" В Сибирь Лев Исаакович попал после революции 1905 года, но по доброй воле, дабы стать, как написано было впоследствии на могильном камне, "наставником юных поколений отдаленных общин Израиля"[1].

Интересно, что до середины 20-х годов этому народному учителю удавалось выполнять свою миссию - вдали от недреманного ока ассимиляторов из Евсекции. Однако в 1924 году в школу, где директорствовал и преподавал Лев Надель, прибыл наконец инспектор из Иркутска, уроженец галицийского местечка. Для него не составило труда понять, что в школе обучают не идишу, а

именно ивриту, языку клерикалов и реакционеров. Спустя несколько месяцев Лев Исаакович Надель с семьей вынужден был, покинув пределы СССР, перебраться в Харбин.

В Харбине Надель продолжал заниматься преподавательской и общественной деятельностью, не упускал из виду, естественно, и еврейское воспитание собственного сына. Ицхак Надель рос в атмосфере специфического восточного космополитизма, подвергаясь разнородным, порой экзотическим, культурным влияниям. Он учился в 1-м Харбинском общественном коммерческом училище, где приобрел неромантическую, но оказавшуюся в будущем чрезвычайно полезной профессию бухгалтера. Из этого же училища Ицхак вынес отличное знание английского - в дополнение к русскому и ивриту.

В этот же период юноша стал горячим приверженцем идей Жаботинского. Он присоединился к молодежному движению сионистов-ревизионистов "Бейтар" и даже редактировал в 1934-36 годах издававшийся в Харбине ревизионистский журнал "Ха-Дегель" ("Знамя").

Семейные традиции и собственные идеологические пристрастия естественным образом привели Ицхака Наделя к решению репатриироваться в Эрец-Исраэль. В 1936 году с согласия родителей он отправился в Палестину и поступил в Еврейский университет, где изучал литературу, историю и философию. Правда, полностью курс он не закончил. Этому помешали как житейские обстоятельства, так и некие "антиакадемические" наклонности его натуры.

К началу 40-х годов относятся первые литературные опыты молодого автора, выбравшего для себя псевдоним Орен. Его рассказы были напечатаны в литературных приложениях к газетам. Позже рассказы Орена публиковались в журналах "Мознаим" ("Весы"), "Кешет" ("Радуга"), "Ха-Умма" ("Народ") и других. Первые его книги - сборники рассказов "Где-то в N-ской части" (1950), "Похождения Биньямина Пятого" (1958), роман "В тылу" (1953). Путь Ицхака Орена в израильскую литературу был достаточно сложен. Его авторский статус с самого начала был особым, отличавшим его от большинства других израильских писателей "поколения Пальмаха", к которому по формально-возрастному критерию принадлежал и сам Орен. Такие ведущие представители этого поколения-направления, как С.Изхар, М.Шамир, А.Мегед, Х.Бартов, были уроженцами страны или приехали сюда в раннем дет-

стве. У них не было непосредственных контактов ни с языками, ни с культурами стран галута.

Эти литераторы по большей части были выходцами из сионистско-социалистических молодежных движений. Они росли (и в человеческом, и в творческом плане) в условиях киббуцной жизни, в атмосфере идеалов коллективизма, солидарности, общей борьбы за общие, ясные и очевидные, цели[2].

За годы жизни в Харбине Ицхак Надель поневоле опробовал на себе модель эмигрантского существования с его неукорененностью, аутсайдерством. Он успел приобщиться там и к русской, и к мировой литературе. Наконец, он испытал сильное влияние внутренне конфликтного мировоззрения Жаботинского - индивидуалистического, либерального и в то же время проникнутого национально-романтическим пафосом. Естественно, что в произведениях молодого писателя Орена должен был отразиться совсем иной, чем у уроженцев страны, психологический опыт.

Еще более существенными были расхождения эстетических установок. Проза "поколения Пальмаха" была - и тематически, и стилистически - глубоко традиционной, реалистической, склонной к изображению жизни в формах самой жизни. Социальная реальность, в которую молодые строители и защитники государства были погружены с головой, заполняла все поле их зрения, не оставляя "степеней свободы" для вымысла, фантазии. Темы, достойные и насущные, властно диктовались этой действительностью. Единственно возможными представлялись и средства реалистической выразительности. В плане стилистики прозаики этого направления, за редкими исключениями, как раз и были верными последователями (чтобы не сказать эпигонами) русской реалистической школы[2].

Иначе обстояло дело с Ореном, на которого словно не влияла эта густая атмосфера ангажированности и целенаправленности. Уже первые его рассказы отмечены сочетанием реалистических зарисовок с выходами в пространство ирреального, воображаемого. В рассказе "Где-то в N-ской части" (1942) автор, еще несколько компромиссно, мотивирует вторжение в сюжет фантастических элементов не то сном, не то бредом героя. Однако уже вскоре, в новых рассказах и в романе "В тылу", имеющем автобиографическую основу, Орен гораздо более смело и раскованно пользуется сюрреалистическим инструментарием.

Зрелая проза Ицхака Орена эпатирующе свободна от всяких канонов - жанровых, тематических, стилевых. Житейские и психологические посылки его сюжетов очень нежестко связаны с фантасмагорическими протуберанцами авторского воображения. Невозмутимо, порой даже подчеркнуто протокольно (стиль отчета - одна из любимых повествовательных масок Орена), рассказывает писатель о самых невероятных ситуациях и метаморфозах, которыми расцветает под его пером обыденная действительность. Один из его персонажей перевоплощается в собаку ("Антиметаморфоза"). Другой превращается в машину по генерации идей ("Коррида"). Учреждается Отдел по разрушению устоявшихся мифов ("Моя каменоломня"). Наконец является Мессия - и в связи с этим высшим военно-политическим руководством осуществляется тщательно спланированная и законспирированная операция ("Монумент возрождения")[3].

Вполне в духе общих мировоззренческих концепций Орена, о которых речь пойдет дальше, главным предметом его анализа и изображения становятся приключения человеческой мысли - научной, философской, художественной - ее экстравагантные траектории, созидаемые ею земные и воздушные замки.

На страницах рассказов Орена тесно от причудливых научных и квазинаучных гипотез, от пространных рассуждений и обстоятельных выкладок, воспроизводящих (а иногда пародирующих) стиль академических дискуссий. Однако это вовсе не значит, что писатель задался целью ввести нас в курс научных достижений, повысить наш общеобразовательный уровень. Наука для Орена - наиболее концентрированное выражение активности человеческого духа, преобразующего реальность, бросающего вызов очевидностям, нарушающего постулаты здравого смысла. Автор охотно и увлеченно вплетает в ткань своего повествования нити парадоксов, которыми полнятся современные физика, математика, логика, эстетика. Цель его при этом - передать читателям ощущение "неизбежности странного мира".

В рассказах сборника "Похождения Биньямина Пятого" главным и сквозным героем выступает физик Биньямин, который оказывается участником самых головокружительных экспериментов и попадает в самые неожиданные ситуации. Вот, к примеру, рассказ "Мнимое число". Он начинается с появления в доме Биньямина незнакомца, утверждающего, будто в юности они с Биньямином были неразлучными друзьями. Ничего подобного рассказчик не



Обложка книги И. Орена "Путешествие вокруг оси"

помнит, но предоставляет неожиданному гостю кров и гостеприимство. Затем возникает тема некоего имущества, которое гость Биньямина некогда приобрел в Палестине еще во времена британского мандата и все следы которого с той поры испарились. Начинаются хождения по административно-бюрократическим кабинетам и коридорам, абсурдность которых соответствует абсурдности предмета хлопот. Порочный круг абсурда Биньямину удается разорвать только благодаря лекции о парадоксальных свойствах иррационального числа —1, уничтожающего четкую грань между существующим и несуществующим.

Рассказ этот очень показателен для повествовательной манеры Ицхака Орена. Здесь есть и сочетание невозмутимой серьезности тона с подспудной ироничностью, и переключения смысловых регистров, и характерный прием провоцирования и обмана авторских ожиданий. Рассказ, начавшийся как гротескная бытовая история, переходит в типично кафкианскую фазу, развивается в манере логико-философского трактата, а завершается в стилистике судебного постановления. Житейский казус становится поводом для глубокомысленных физико-математических и метафизических рассуждений, за незначительным и явно выдуманным биографическим эпизодом открываются экзистенциальные глубины...

В подобной манере, конечно, явно ощутимы влияния современной западной литературы. Здесь и Томас Манн, с его пристрастием к обстоятельным и ироничным научно-философским отступлениям и аналогиям. Здесь и Кафка, с поразительной силой выразивший подверженность человеческого существования воздействию сверх-

личных метафизических начал, абстрактных сущностей, зачастую порожденных человеческим сознанием, а потом возобладавших над ним. Не прошел Орен и мимо опыта Джойса, с его самоценной словесной игрой, порождающей новые смыслы и обновляющей старые мифы. Можно обнаружить типологическое сходство произведений Орена с творчеством Борхеса - оба склонны облекать в словесную плоть отвлеченнейшие представления, закручивать в игровом хороводе эпистемологические концепции, житейские ситуации и мистические откровения (в случае с Борхесом речь не может идти о влияниях - израильский писатель познакомился с сочинениями знаменитого аргентинца в зрелом возрасте, когда его собственная манера уже вполне сложилась).

Ну, а как же быть с российской словесностью, с гипотетическим статусом Орена как "русского еврея в Палестине", как одного из проводников "русских влияний" в литературу Израиля? Вопрос этот требует особого рассмотрения. Начнем с того, что Ицхак Орен, разумеется, прекрасно знает русскую литературу, особенно классическую. Он активно знакомил с ней израильскую читательскую публику, переводя на иврит произведения Гоголя, Гончарова, роман Жаботинского "Самсон Назорей". (Имел место и обратный процесс: Орен переводил на русский произведения Агнона и Альтермана.) Реминисценции из русской классики очень часто встречаются на страницах его произведений. Среди пяти авторов, книги которых Орен взял бы с собой на необитаемый остров, назван и Достоевский. А одно из первых и самых острых его читательских воспоминаний - это "Бармалей" Чуковского. Вот как он сам пишет об этом: "Я заболел тогда какой-то детской болезнью и просидел взаперти шесть недель. Только маме разрешалось подходить ко мне. Она приносила мне книги и читала вслух. Потом книги оставались у меня в постели, и я рассматривал картинки. Больше всего очаровал меня 'Бармалей' Корнея Чуковского... Я так полюбил эту книгу, что без конца перелистывал ее, пока не выучил наизусть. А встав после болезни, - до школы было еще далеко - уже умел читать и писать (по-русски, на иврите я прочел "Бармалея" в замечательном переводе Натана Альтермана много лет спустя). Кроме умения читать, 'Бармалею' я обязан понятием 'Африка'"[4].

На первый взгляд, все эти контакты с миром русской литературы остаются периферийными фактами писательской биографии Орена. Влияния не просматриваются. В самом деле, его интеллек-

туальные эскапады и дерзкие перелеты от действительного к воображаемому, его парадоксалистское моделирование очень мало напоминают о мощной реалистической традиции русской прозы - с властной и тщательной лепкой характеров, с любовным воспроизведением всего богатства природного и предметного мира, окружающего человека, с подробным анализом многообразнейших связей, в которые герои вступают друг с другом и с обществом.

Однако при ближайшем рассмотрении становится очевидным, что тянутся от русской литературы к творчеству Орена нити влияний, что есть здесь отношения наследственности и преемственности, хотя и выборочной. При всей любви израильского писателя к Достоевскому, нельзя сказать, что все в Достоевском одинаково близко Орену. Но ему, несомненно, сроднен Достоевский, рассуждающий о топоре, запущенном в космос и превратившемся в искусственный спутник Земли, родственна вся эта зыбкая, колеблющаяся между явью и бредом атмосфера беседы Ивана Карамазова с Чертом - порождением его раздвоенного сознания. Или рассуждения Петруши Верховенского о смуте, которую можно поднять на Руси, если сделать Ставрогина воплощением нового мифа.

Есть внутри массива русского реализма эта рудоносная жила - линия гротескового фантазирования, насмешливого и безответственного, облачающего обыденную действительность в иллюзорно-яркие одежды. Гоголь, с его "Носом", "Шинелью" и "Записками сумасшедшего", стоит у истоков этого направления, решительно отметающего законоуложения логики и здравого смысла. Линия эта была продолжена фантастическими повестями молодого Достоевского, например "Двойником". Но Достоевский же дополнил ее новым качеством. Он создал жанр идеологического повествования, в котором идеи, доктрины, верования оказываются не менее важны, не менее насущны для героев, чем хлеб, вино, деньги или страсть. Вспомним Раскольникова, ищущего экспериментального подтверждения своей теории (один из рассказов Орена назван, кстати, "Преступление и наказание"), Кириллова, с его апологией сознательного самоубийства, братьев Карамазовых, спорящих в трактире о том, к чему обязывает человека наличие или отсутствие Бога. А Легенда о Великом Инквизиторе, драматизированный философский трактат, помещенный в рамки романного текста, послужил, похоже, Орену образцом для многих его композиционных построений.

Линия эта не прервалась и в русской литературе XX века. Ее

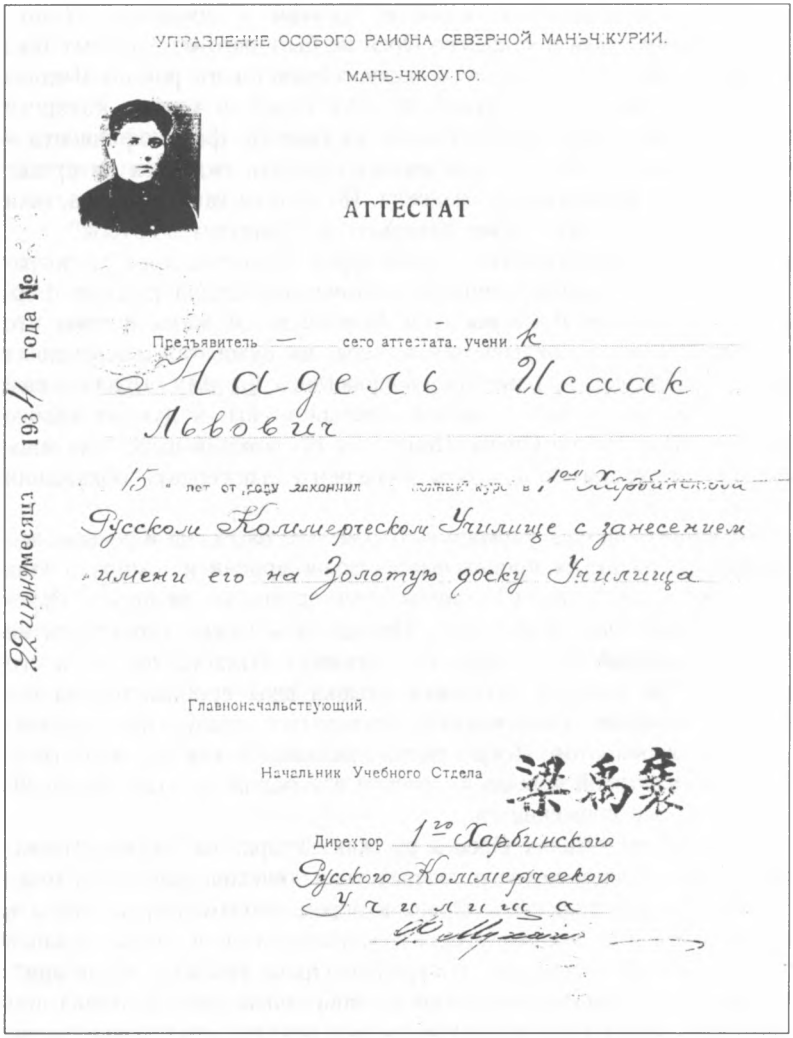
продолжателями были и Белый, и Замятин, и, по-своему, Платонов. С творчеством последнего Орен не был знаком. Зато ему был близок пафос и стиль раннего экспрессионистского романа Федина "Города и годы". Да и Эренбург 20-х годов, в книгах которого странно совмещались фельетонная желчность, философичность и интерес к конкретным человеческим судьбам, оказался интересен и важен для израильского писателя. По словам самого Орена, особенно нравились ему "Хулио Хуренито" и "Тринадцать трубок".

Насколько мне известно, Ицхак Орен "не встретился" с пограничной, научно-художественно-эссеистической прозой русских формалистов, скажем, Шкловского и Эйхенбаума. А жаль, потому что их саркастическая, отрывистая манера, их суховатая, насыщенная мыслью образность, наверное, понравились бы ему. Правда, еще большее удовольствие и пользу доставили бы, я думаю, самим формалистам тексты Орена. Ибо в них Шкловский нашел бы множество ярких примеров столь любезного его сердцу "обнажения приема".

Не забыть бы еще упомянуть о том, что рассказы и романы израильского писателя пронизывает стихия иронии и юмора, столь характерная для Гоголя (недаром Орен переводил на иврит "Вечера на хуторе близ Диканьки"). Правда, для Орена характерен не юмор положений или откровенно лукавого балагурства, а та его ипостась, при которой авторская улыбка едва пробивается на поверхность сквозь строй чинных, витиеватых, подчеркнуто серьезных фраз и оборотов. Искры смеха высекаются как раз несоответствием между этой чопорной манерой изложений и сутью ситуаций, к которым она применяется.

Однако тема "Ицхак Орен и русская литература" не исчерпывается установлением некоего соответствия, генетической связи между писательской практикой Орена и определенным направлением в российской словесности. Откроем удивительный и очень важный для понимания творческой биографии Орена рассказ "Комиссия". В этом тексте, являющем собой своеобразный сеанс психоанализа художника, весьма наглядно проявились многие характерные мотивы и приемы, придающие неповторимость стилю писателя.

Завязка рассказа, точнее повод к завязке, - рутинная и как бы случайная, необязательная история дисциплинарного конфликта, случившегося между двумя чиновниками. Затем герой-рассказчик (которого с небольшой долей условности можно отождествить с



УПРАВЛЕНИЕ ОСОБОГО РАЙОНА СЕВЕРНОЙ МАНЬЧЖУРИИ.

МАНЬ-ЧЖОУ-ГО.

АТТЕСТАТ

29 июня месяца 193 // года №

Предъявитель — сего аттестата, ученик

Надель Исаак Львович

15 лет от роду закончил полный курс в 1-ом Харбинском Русском Коммерческом Училище с занесением имени его на Золотую доску Училища

Главноначальствующий.

Начальник Учебного Отдела 梁禹襄

Директор 1-го Харбинского Русского Коммерческого Училища

Ореном), принимавший участие в разбирательстве конфликта, внезапно сам становится объектом расследования некоей Комиссии, пытающейся с помощью вопросов докопаться до потаенной сути его личности, до истоков его поступков.

Строго-официальный стиль судебного заседания, проявляющий-

ся в однообразии и безличной вежливости вопросов, дискредитируется и перечеркивается произвольностью, ассоциативной раскованностью ответов, которые в совокупности своей образуют личностно-творческую исповедь протагониста. Он вспоминает о событиях своей жизни, о людях, с которыми его сталкивала судьба, свободно вплетая в повествование эпизоды литературных произведений, оказавшихся особенно важными для него. Рядом с именами Сартра и Симоны де Бовуар, де Голля и Леи Гольдберг, Шленского и Агнона здесь возникают имена Солженицына и Гончарова, Чуковского и Жаботинского, а также фигуры их персонажей: уже упоминавшегося тут Бармалея, Ивана Денисовича и Олега Костоглотова, Обломова. Роман Гончарова протагонист называет одним из самых важных факторов своей духовной биографии. Образу Обломова, его всемирно-историческому значению в рассказе даже посвящена отдельная вставная новелла.

Это кажется странным - ведь Гончаров-то не Гоголь и не Достоевский. Он - добротнейший реалист, запечатлитель социально-психологических типов, место которых изначально на страницах хрестоматий. У Гончарова господствует принцип пластической точности и законченности, сплошного, без щелей и зазоров, воссоздания жизненной органики, совершенно чуждый писательской манере Орена. Так почему же Гончаров?

Одно из объяснений, предлагаемых протагонистом, лежит в сфере историософской и связано с весьма оригинальной концепцией образа Обломова. В рассказе концепцию эту излагает старый приятель протагониста, каменотес-интеллигент Володя. Он отмечает, что во всех трактовках фигуры Обломова, особенно принадлежавших революционерам - Добролюбову, Кропоткину, Ленину, - подчеркивается вегетативная, растительная основа этого характера и присущего ему modus vivendi. Но, восклицает Володя, таким же представлялось взгляду постороннего наблюдателя двухтысячелетнее существование еврейского народа, выпавшего из истории. Знаменитый историк Тойнби утверждал, что еврейство окаменело, перестало быть живым организмом. Чтобы опровергнуть этот взгляд, говорит Володя, нужно перейти на новый уровень понимания энергетических процессов. В неживой природе, согласно современным представлениям, тоже кипит бурная деятельность: происходят перемещения, накапливаются потенциалы. Перенося эту аналогию в сферу истории, можно сказать, что у сонного прозябания Обломо-

ва (символизирующего русскую пассивность, созерцательность) и у многовековой самозамкнутости еврейского народа, существовавшего в раковине неизменных религиозных законов и установлений, сходная природа и сходная историческая функция: вынашивание грядущих перемен, аккумуляция энергии, которой предстоит со временем обнаружить себя в мире разрушительным взрывом или созидательным, творческим импульсом. Это и случилось в XX веке. Обломов - согласно парадоксальной логике автора - совершил русскую революцию. А высвободившаяся энергия еврейского духа проявилась и в активном участии евреев в русской революции, и в процессе национального возрождения. Рассуждение Володи устанавливает связь между, выражаясь фигурально, "Обломовым" Гончарова и "Самсоном Назореем" Зеева Жаботинского.

Однако в преклонении Орена перед образом Обломова (и в его лице перед породившей его русской литературой) можно усмотреть и другой смысл. Ни в одной другой национальной культуре литературные персонажи не играли такую активную, стимулирующую, формирующую роль, как в культуре российской. Чацкий и Онегин, Чичиков и Обломов, Базаров и Рахметов, Раскольников и Ставрогин были в России не просто олицетворениями неких комплексов психологических свойств (такое случалось и в западных литературах: Гамлет, дон Кихот, Тартюф, Вертер, Растиньяк). Нет, в глазах русского общества они становились партийными паролями, инструментами анализа общественной жизни, духовными ориентирами или жупелами.

Нет смысла обсуждать сейчас, хорошо это или плохо для российской литературы и российской истории. Для нас важно, что такой статус литературного героя - порождения писательского воображения - безусловно повлиял на идею Орена о творчестве как высшей ценности бытия.

Во многих своих текстах, художественных и публицистических, писатель рассуждает о том, что человек - не венец, не конечная цель мирового развития. Плоды его интеллектуальной активности - религиозно-философские идеи, научные теории, художественные образы - существуют так же реально, как и человек, и к тому же превосходят его степенью одухотворенности. Поэтому именно они - цвет мироздания, самые привилегированные его объекты. Человек же - лишь инструмент (правда, очень тонкий, высокоорганизован-

ный) реализации эволюционной потенции, изначально присущей Вселенной. Эту концепцию сам Орен определяет как "антиантропоцентричную".

И тут надо сказать, что образ Обломова, в ряду других "вечных" образов русской литературы, порвавший пуповину связи с намерениями своего создателя, обретший самостоятельное существование, наделенный, благодаря многочисленным интерпретаторам, новыми и взаимопротиворечащими смыслами, сам начавший порождать и излучать смыслы, - несомненно, послужил катализатором ореновской концепции.

Все в том же рассказе "Комиссия", в заключительной его части, основные положения этой концепции формулируются, аргументируются обстоятельно и суховато. Зато чуть раньше дается иллюстрация, фантасмагорически-карнавальная, представляющая собой отрывок из более раннего рассказа Орена: "Нечто, над чем я не властен, совершается в моей комнате. В ней возникли новые круги. Раскольников из 'Преступления и наказания' бегает вокруг Платона Каратаева из 'Войны и мира'. Фауст вертится на оси, имя которой Вильгельм Телль; Сирано де Бержерак носится вокруг Жана Вальжана, Дориан Грей следует за Гамлетом, Гайавата отплясывает индейский танец перед Джорданом, по которому звонит колокол.

Что это? Балет?

Нет, что-то совершенно иное. Из стен выступают фигуры женщин. Некоторые из них знакомы мне, других я вижу впервые. Нора Ибсена и Линор Эдгара По, Татьяна Пушкина и Аннет Роллана. Круги распались. Ицхак Кумер пьет коктейль с Офелией, и Шифра, жена Кумера, танцует танго с Дорианом Греем. Дина, возлюбленная Йосефа, подмигивает Платону Каратаеву, и Сирано де Бержерак посылает воздушный поцелуй Аксинье, казачке с берегов Тихого Дона.

Может, это великосветский бал?"[5].

(Для сведения читателей, гораздо лучше знакомых с мировой, чем с израильской литературной классикой, сообщу, что Ицхак Кумер - герой романа Агнона. Орен, в духе своей концепции, ввел Кумера в собственное повествование.)

Конечно, у этой парадигмы, выстроенной Ореном, есть и другой источник - Библия, с ее неизмеримым влиянием на судьбы еврейского народа и мира, с явленной ею могучей властью слова. Не будучи человеком религиозным, Ицхак Орен принимает (и пере-

осмысляет в секулярном духе) многие постулаты иудаизма, в частности, идею избранности еврейства. В рассказе "Пир" (явной реминисценции платоновских диалогов) он пишет: "...народ Израиля - это закваска, превращающая бесформенное тело человечества в великий фактор истории Космоса... И государство Израиль было создано именно для того, чтобы, в свою очередь, создать условия для выполнения в новую технологическую эру возложенной на наш народ глобальной задачи - подобно тому, как другие средства служили этой же цели в эпоху традиционных монотеистических религий"[6].

Итак, при всей своей открытости мировой культуре, при всех своих русско-европейских привязанностях, Ицхак Орен - писатель глубоко израильский. В глубине самых экстравагантных и фантастических его построений присутствуют мысли об Израиле, о его судьбе, предназначении, проблемах. И хотя поначалу, как уже говорилось, произведения Орена воспринимались критикой и читающей публикой как экзотические и даже чужеродные явления, постепенно творчество писателя стало органичной и существенной частью израильского литературного пейзажа. В Израиле вышло двенадцать книг Орена на иврите и сборник рассказов "Моя каменоломня" - в переводе на русский. Книга его рассказов издана и в США (на английском). Еще в 50-е годы об Орене восторженно отзывался видный писатель и историк литературы Шимон Галкин. Позже его творчество анализировали известные литературоведы Гилель и Гершон Шакед. Доктор Арна Голан включила разбор рассказа "Монумент возрождения" в пособие по литературоведческому анализу для студентов заочного университета. Серьезные критики и литературоведы утверждают, что именно Орен был одним из немногих авторов 50-х годов, подготовивших почву для грядущего успеха представителей Новой волны - А.Аппельфельда, А.Оза, А.-Б.Иехошуа, И.Элираза. Эти писатели, утвердившие, кстати, высокую репутацию израильской прозы в Европе и Америке, многим обязаны Орену, вводившему экзистенциальную проблематику и неканонические, сюрреалистические повествовательные формы в обиход читателей.

В течение почти 40 лет Ицхак Орен совмещал литературную работу с государственной службой - профессия, полученная в коммерческом училище Харбина, обеспечила писателю "экономическую независимость". В 1978 году Орен получил премию премьер-

министра Израиля по литературе и в том же году ушел со службы. Не прервалась, однако, его активная общественная деятельность, которая была во многом связана опять же с русскими мотивами. Орен долгое время был одним из руководителей русской службы "Голоса Израиля". Сейчас он является главным редактором Краткой Еврейской Энциклопедии, издающейся на русском языке в Иерусалиме.

Видный израильский литератор, всегда писавший на иврите, убежденный сионист и сторонник скорейшей духовно-языковой абсорбции новых репатриантов становится деятелем русскоязычной израильской культуры, ее учреждений и институтов. Парадокс? Один из многих, которыми насыщены современная культура и современная израильская ситуация. И в том и в другом активно присутствует ироничный мечтатель Ицхак Орен-Надель родом из Улан-Удэ.

Примечания

1. Подробнее о личности и биографии Льва Моисеевича Наделя см.: Ицхак Орен. Боги ивритские, или Книга странствий Иехезкеля Наделя - Ковчег. 1992. N3. С.58-86.

2. См. Краткая Еврейская Энциклопедия. Т.2, статья "Иврит новая литература". С.597-631.

3. Все рассказы, о которых идет речь в настоящей статье, опубликованы по-русски в книге: Ицхак Орен. Моя каменоломня. Библиотека-Алия, 1988. См. также: Itzhak Oren. The Imaginary Number. Benmir Books, Berkeley, California.

4. Орен И. Моя каменоломня. С.245.

5. Там же. С.261.

6. Там же. С.244.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
ТЕАТР

Редактор Марина Генкина

Из воспоминаний о Воловике

Ирина Гржебина (Франция)

Лазарь Воловик, художник Парижской школы

Марина Генкина (Израиль)

Хана Ровина: портрет в пейзаже бытия

Ольга Левитан (Израиль)

“Великая жрица“ голландского балета

Йоси Тавор (Израиль)



Л. Воловик в возрасте 22 лет

Из воспоминаний о Воловике

Ирина Гржебина *

(Париж)

В предисловии к помещенному в этом томе списку художников Русского Зарубежья, которые стали жертвами Катастрофы, упоминается Лазарь Воловик, художник Парижской школы. Он, к счастью, остался жив, но большинство его работ довоенного периода были уничтожены нацистами во время оккупации Франции. До последнего времени в Париже жила сестра жены Л.Воловика, Ирина Зиновьевна Гржебина, которой мы многим обязаны. Ирина Зиновьевна активно сотрудничала с нами в подготовке материалов, посвященных ее отцу Зиновию Исаевичу Гржебину (в 1 и 2 томах нашего издания), помогала подыскивать авторов, а в последнее время - делилась своими воспоминаниями о Воловике.

Привожу отрывки из ее писем.

"Мне помнится, что Вы писали о проекте издать статьи о русских художниках-евреях за рубежом. Хотела Вам послать и не успела монографию Лазаря Осиповича Воловика. Моя сестра была за ним замужем, и они прожили вместе 50 лет! <...> Он художник был изумительный, и все считают, что он лучший из École de Paris".

В сентябре 1993 года названная монография была получена; в сопроводительном письме И.З.Гржебина писала:

*"В книгу кладу фотографию 1934 года, снятую перед ателье Воловика в La Ruche. Слева сидит наш брат Алексей - крестник Горького и названный в его честь**, рядом - Воловик, потом - Лия. Стоит Тэва - младший брат, тогда еще мальчик - он родился в Берлине в 1922 г. Ателье в La Ruche много лет было главным в творчестве*

---

* Ирина Зиновьевна Гржебина скончалась 17 августа 1994 г.

** Алексей Зиновьевич Гржебин (1918-1988), биолог, преподавал в университетах Парижа, Мадагаскара, в других странах Африки. Автор большой монографии о сонной болезни.

Воловика. Об этом Вы прочтете в книге Hubert Juin. Этот писатель, поэт, эссеист был моим близким другом и прожил в нашей семье три года. Так что он хорошо знал Воловика. С моим племянником Андреем (нашим с сестрой наследником) мы мечтаем сделать большую выставку Лазаря Воловика в Израиле".

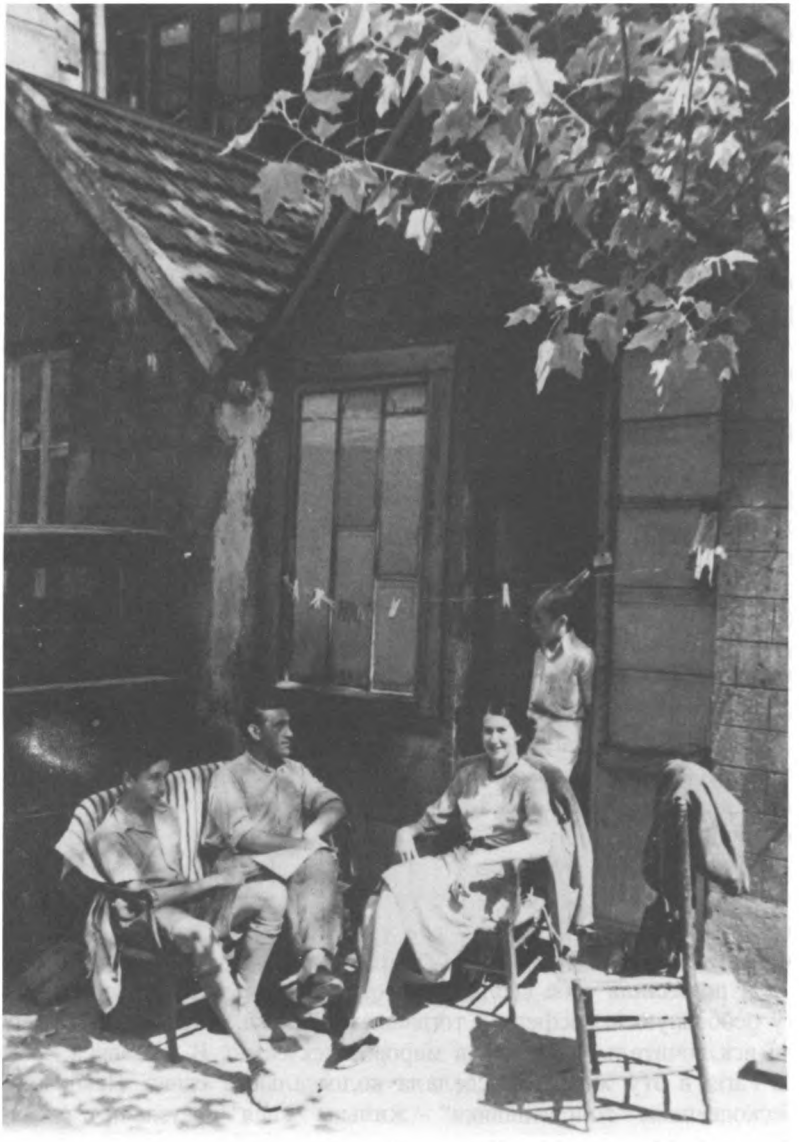
В конце концов Ирина Зиновьевна согласилась написать о художнике. К этому же времени была закончена статья искусствоведа Марины Генкиной о Лазаре Воловике. Помещая оба материала, полагаем, что субъективная оценка мемуариста прекрасно дополняет объективный взгляд специалиста и наоборот.

Составитель

Мне кажется, что редко творчество художника настолько явно отражает его личность, как это происходит с произведениями Воловика. Какая-то особая сосредоточенность, задумчивая лирика и эта его изумительная способность схватить суть изображаемого объекта, будь то портрет, натюрморт, пейзаж или просто серьезный диалог с собеседником. Элементы "на показ" совершенно отсутствовали как в его картинах, так и в его личной жизни. С Воловиком нельзя было просто "поболтать" о том, о сем, зато спорить и рассуждать на самые разнообразные темы (культуры он был исключительной) - об искусстве, о политике, о литературе - было всегда чрезвычайно интересно. И именно так, вслушиваясь в его своеобразные мысли, удавалось подойти неизбитыми путями к пониманию его творчества.

Вспоминаю бесконечные кипучие доводы скульптора Грановского ("Грано" для монпарнасцев), доказывающего, что произведение искусства обретает ценность лишь тогда, когда оно утилитарно, полезно для существования человека. Его убежденность похожа была на "бесспорную" концепцию многих религиозных людей, считающих, что только факт рождения ребенка способен придать смысл сожительству мужчины с женщиной. О роли и цели искусства Воловик был обратного мнения и только отмахивался от напористого потока резонерских фраз Грано: "Да что ты все чепуху несешь?!" Спор возобновлялся на прерванном слове при следующем визите к нам симпатичного Грано.

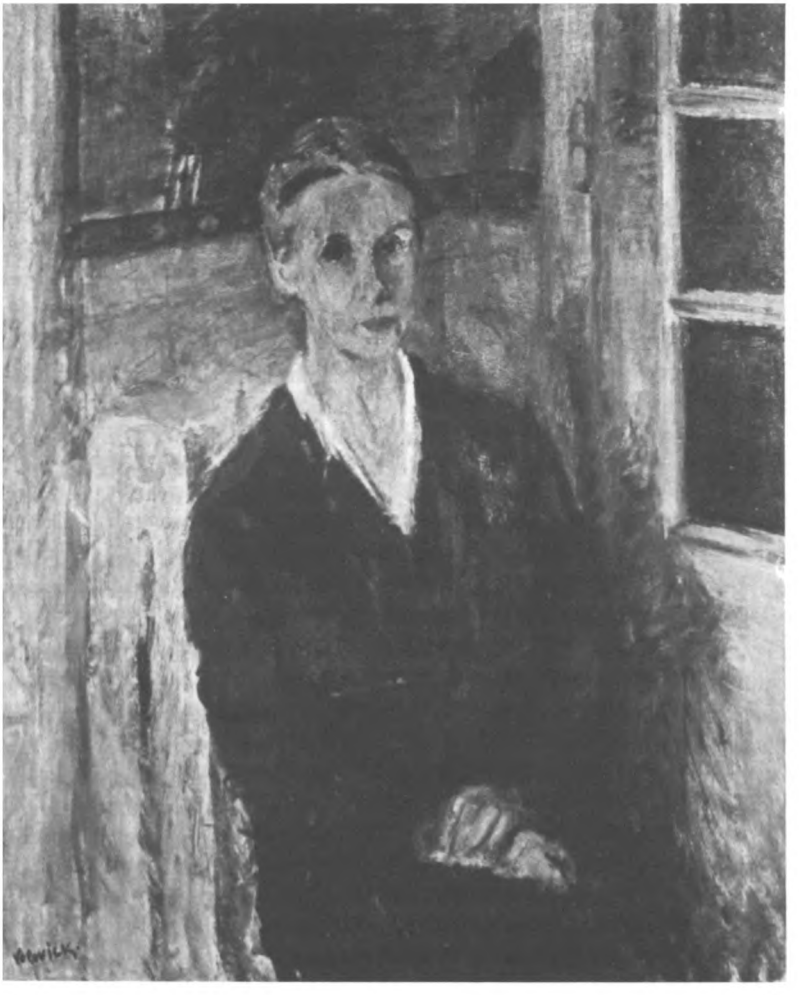
Думаю, что талант живописца Воловика, признанный всеми его коллегами (феномен довольно редкий, надо добавить), да и самый характер Воловика создавали к нему отношение совсем особое, не стандартно обычное, доминирующее в их кругу. Это отношение сохранилось до самой смерти Воловика.



Лазарь Воловик с женой перед своим ателье в La Ruche

Лазарь Осипович Воловик (по имени-отчеству обращалась к нему только наша мама, которую я называла "Маманя"; на Монпарнасе же звали его только по фамилии, такой был стиль той эпохи и той среды) бежал с Украины в 1920 году в Стамбул, откуда зайцем в компании своего товарища, художника Константина Терешковича, прячась в трюме судна за углем и машинами, добрался до Марселя, а затем уже попал в Париж. Он поселился среди монпарнасских братьев по искусству в знаменитом "La Ruche" - "Улей" - (кстати, во 2-м томе неправильно сказано, что "Улей" находился в квартале Монпарнаса: он был ближе к пассажу Данцига в 15-м районе, около Порт де Версай). Красивый, хорошо сложенный Воловик смог зарабатывать, позируя в Школах живописи, где заодно наверстывал то, чему недоучился на родине. С моей сестрой Лией (Лялей) его познакомила наша подруга Ирина Рачек, первая жена Натана Альтмана. С рыжей гривой волос, очень самоуверенная в своей роли "покорительницы сердец", она много позировала товарищам Альтмана и, зная, насколько материально трудной была жизнь нашей семьи после смерти папы (увы, и до!), привела сестру в "Улей", дабы дать ей возможность хоть немного заработать. Мы с сестрой тогда работали в Русской Частной Опере в Théâtre des Champs Élysées - потрясающей организации, созданной племянником композитора Массне. Миллиардер, много старше известной певицы Марии Николаевны Кузнецовой, женившись на ней в 1928 году, он, в виде свадебного подарка, организовал труппу в 250 человек. В ее составе были знаменитые певцы, балетмейстеры, постановщики, декораторы, дирижера, танцоры, хор в 40 человек, выписанный из Латвии. В верхней части театра были созданы мастерские для декораций, шитья костюмов, сапожная. Годы прожила эта изумительная труппа, менялись директоры и состав, но репертуар, совершенно незнакомый французам, все увеличивался, и колоссальная роль, которую Русская Частная Опера сыграла за рубежом, была несомненно не менее важной, чем знаменитый балет Дягилева.

Я позволила себе сделать это отступление, чтобы подчеркнуть ту особенную атмосферу в тогдашнем Париже, когда русские внесли исключительный вклад в мировое искусство. В живописи École de Paris в эту же эпоху сделала колоссальный сдвиг. Некоторые бескопеечные "голоштанники" - жильцы "Улея" преуспели и оказались вскоре в зените славы, другие же перебивались с хлеба на воду, участвуя в групповых выставках или получая неожиданный заказ. Воловик был в числе последних. После спектаклей в "Рус-



Портрет Марии Гржебиной (1935)

ской Опере" сестра неслась в Лидо или в какое-нибудь кабаре, где танцевала до 2-х утра. Братья Алексей и Товий были в университетах, и мы с сестрой старались изо всех сил, чтобы дать им возможность приобрести максимум знаний. После нескольких сеансов позирования сестры в ателье Найдича и Воловика друзья последнего заметили резкую перемену в нем: он сокращал часы сеансов, или, наоборот, нервничал, часами оставаясь один в ателье, был как-то угрюм, молчалив, неуверен в своей работе. Вскоре он по ночам начал ходить через весь Париж встречать сестру после работы, покупая за последние "шиши" фунтик с засахаренными крошками каштанов. Этот факт объяснил все, и никто не удивился, что Ляля вскоре переехала жить в "Улей". Состояние ателье было в полном смысле слова плачевное, и когда шел дождь, Ляля раскрывала большой зонт, чтобы укрыться хоть отчасти.

В апреле 1938 года я решила открыть балетную школу, и мне удалось настоящим чудом найти в самом центре Монпарнаса пустующее 25 лет ателье знаменитого светского портретиста Каролюса Дюрана. В маленькой улочке, где на мостовой еще росла трава, оказалось старое здание с двумя незанятыми ателье. Нанять одно, заплатив за первый триместр 100 франков, помогла мне Генриетта Романовна Паскар (Либерман), для которой я оформляла ее весьма любительские сценки с разными масками. Мебель ограничилась одним диваном, подаренным той же Паскар, и различными деревянными цоколями, подаренными мне кузеном-архитектором при ликвидации советского павильона Всемирной выставки. Из них мы с Андрюшей Шайкевичем смастерили столы, скамейки и полки.

В 1939 Воловик с Лялей переехали ко мне. Перед этим они побывали в Америке и Лондоне, где Ляля работала с французским балетом и куда Воловик ее сопровождал. Там ему удалось познакомить со своими холстами многих любителей, и имя Воловика начало становиться понемногу известным как в Америке, так и в Париже.

Пришла злополучная пора войны. Увы, никто не мог себе представить, какой кошмар всех ожидал, как и то, что уже творилось и в Германии и в дьявольском царстве Сталина. Помню афиши 3-го сентября, приказывающие всем евреям объявиться в комиссариате. Ни фамилия Воловика, ни тип его лица не были семитскими, но вот ... он, "как все", явился и получил соответствующие желтые звезды для нашивки на одежду. Ну как теперь это себе представить?!

Накануне входа немцев в Париж мы решили бежать. Целый день простояли мы в огромной очереди на последний уходящий с Гар д'Аустерлиц поезд. Маманя, Воловик с Лялей, сестра Елена, младший брат Товий (старший - Алексей был мобилизован, что, однако, не давало прав Мамане получить от французских властей противогаз: французы быстро склонились к расизму правительства Виши), мне и моему другу той эпохи писателю Яновскому удалось все же сесть в поезд. Куда он шел, было неважно. Главное было то, что он идет в "свободную" зону, подальше от "немчуры". Конечной станцией оказался город Пуатье, где все мы сразу начали помогать Красному Кресту кормить толпы беженцев и бегущих с "фронта" (громко сказано - при сдаче Линии Мажино) солдатиков, брошенных французскими офицерами.

На третий день вокзал Пуатье подвергся сильной немецкой бомбежке, и беженцы устремились подальше на юг.

Воловик решил, что разыщет семью Найдичей в Ля Рошель. Он и Ляля двинулись туда. Но Найдичи уже бежали в Испанию, а немцы были рядом, заняв глубоко по побережью океана все порты. Воловику ничего не оставалось, как вернуться в Париж и жить у меня на Монпарнасе. Мы с Маманей и всей оставшейся компанией ночью добрались до какого-то товарного поезда и в теплушке в обществе все еще растущей толпы солдат покатили в Бордо. Не буду описывать сложные этапы бегства. Через год Маманя с Еленой, Товием и демобилизованным Алексеем вернулись в Париж. Я же с Яновским оказалась в деревне под Монпелье, где Янушу (Яновскому) за ежедневные уколы (он был доктором) больному владельцу дома удалось получить комнату в ожидании бумаг для отъезда в Америку.

Вероятно, в 42 году однажды вечером к Воловикам прибежал наш друг француз, провизор лицея Монтень, находящегося рядом с Люксембургским садом, чтобы предупредить их, что лицей реквизирован немцами и надо ожидать облавы на евреев. Быстро собрав самое необходимое и предупредив также пожилую еврейскую даму, жившую в нашем доме, Ляля и Воловик перебрались жить к Мамане в Булонь-Бийанкур. Тут Воловик прожил до конца немецкой оккупации, не выходя даже, когда были налеты и бомбежки. Никто не должен был быть в курсе его проживания у Мамани, где во время визита каких-нибудь чужих он сразу же прятался в дальней комнате. Чтобы не было запаха масляной краски, Воловик совсем

перестал заниматься живописью, но зато в 1943 г. написал потрясающей красоты две пастели. На одной из них Маманя за швейной машиной и я, сидя спиной. Все это изображено с такой легкостью, такой элегантностью и, несмотря на то, что все еле-еле вырисовано, сходство с моделью до такой степени явно, что трудно себе представить, чем и как это достигнуто.

Вблизи от дома Мамани находился автомобильный завод Рено, поэтому американцы часто бомбили весь квартал от Порт де Сан-Клу до Сены в Бийанкуре. При звуке сирен все жители дома сразу спускались в бомбоубежище, но Воловик оставался в квартире и однажды увидел из окна, как снесло целиком дом, стоявший как раз напротив Маманиного. А я в одну из таких бомбежек, в феврале 43 года, возвращаясь в Париж, из окна поезда наблюдала за огненным небом, - зрелище было незабываемое. Бумаги Яновского пришли и позволили ему вовремя укатить в Нью-Йорк, мое же "дело" было утеряно в Марсельском консульстве, затем Америка вступила в войну и выехать было невозможно. Товарищи по балету устроили меня давать классы в частной школе в Ницце, потом Опера Монте-Карло пригласила меня возобновить фокинские "Половецкие пляски". В конце 42 года оказалось, что я жду ребенка от Януша... Увы, вернувшись в Париж, чтобы рожать, изможденная морально и физически, я попала в госпиталь, где меня медицинский персонал просто оставил мучаться 36 часов без всякой помощи. Была война... "ну, одной умученной больше..." После вмешательства Мамани доктор заявил, что кесарево сечение я уже не в состоянии перенести, и ради меня пожертвовали жизнью ребенка. Потом меня спасла только любимая работа.

После освобождения Парижа Воловики снова переехали ко мне на Монпарнас. Боже, какой это был праздник - слышать военную музыку армии генерала Леклера, вошедшей в Париж как раз через ближайшие от нас Орлеанские ворота и проходившей прямо по "нашему" бульвару Распай. И как горько было за тех, кто не дожил до этого дня. Среди погибших были накануне убитые немцами наш двоюродный брат Юра Дориомедов с женой, которые перевозили оружие для русской группы Сопротивления. В Люксембургском саду оставалось последнее гнездо немцев, засевших в подземных бункерах. Оттуда, а иногда с крыш еще раздавались пулеметные очереди, для оккупантов все еще было непонятно, как могли победить их, "сверхлюдей", "властителей вселенной".

Постепенно жизнь стала налаживаться. Мы с сестрой возобно-

вили работу "Школы Русского Балета", создав затем труппу в 40 человек из танцоров, певцов, музыкантов на народных инструментах. Воловик часто сопровождал нашу труппу, пользуясь случаем, чтобы набросать из окна театра какой-нибудь красивый пейзаж, бродячий забавный маленький цирк и т.д. Атмосфера наших странствий Воловику очень нравилась, ведь мы изъездили вдоль и поперек всю Францию, Испанию, Португалию, Швецию, Норвегию...

Личные выставки картин Воловика участились с нарастанием успеха. Надо добавить, что сам Воловик никогда не содействовал ни их организации, ни пропаганде своего искусства, оставляя это заботливым друзьям. Добавлю, что многие пользовались этим его доверием, и после смерти Воловика Ляле трудно было доказать, что за многие картины, оказавшиеся в руках хозяев галерей или даже "друзей", никогда не было Воловику уплачено! Таков был нрав Воловика.

Круг монпарнасских друзей снова собирался ежедневно под вечер в кафе. В ту эпоху избран был "Селект", где гарсоны знали своих клиентов по имени, знали, что кто пьет, какие у кого привычки.

Вечерами по пятницам многие страстные картежники собирались у нас дома и, дико куря, засиживались до 2-х - 3-х часов утра. Сестра, съежившись как кошка, укладывалась на скамью раздевалки учеников в ожидании окончания покера, но, Боже, как долго потом мы не могли разогнать едкий дым папирос.

О последнем этапе жизни Воловика писать мне не хочется: здоровье его резко ухудшилось, после операции им овладела депрессия, которую доктора лишь ухудшали модными успокаивающими средствами, убивая в больном последнюю силу воли. Так было грустно видеть, как сдает талантливый умница, теряя все то, что было дано ему свыше.

Утешение лишь в том, что созданные Воловиком дивные полотна не только его пережили, но продолжают все больше утверждать свою особую ценность. С моим племянником Андреем мы зорко следим за этим заслуженным восхождением.

Невольно сравниваю преимущество творений живописи над созданиями хореографа. Последние уже при жизни авторов искажаются или совсем гибнут, забытые.



Лазарь Воловик, художник Парижской школы

Марина Генкина
(Иерусалим)

Во все времена - и XX век не составляет исключения - рядом со знаменитыми мастерами работали и другие; они не принадлежали к числу первооткрывателей, но шли своим путем, пользуясь современным им художественным языком, перерабатывая его в соответствии со своей индивидуальностью.

Сегодня искусствоведение, занимающееся XX веком, начало интересоваться ими. Тому есть много объяснений: и обострившееся во всем мире стремление к национальной самоидентификации, результатом которого является широчайший спектр явлений - от идущих по всему свету национально-религиозных войн до академических исследований истории своего народа; и понимание того, что в наше время постоянных миграций, и добровольных и вынужденных, мы рискуем потерять всякие следы даже недавнего прошлого; и, наконец, небескорыстный интерес специалистов, ищущих "белые пятна" - собственный, еще неизвестный объект исследования.

Одно из таких почти забытых имен - Лазарь Воловик.

Он был художником Парижской школы и работал рядом - в буквальном смысле слова - с Шагалом, Цадкиным, Сутиным; поддерживал дружеские отношения с Альтманом и Эренбургом, Пикельным и Пюни, Гончаровой и Ларионовым; выставлялся вместе с Браком, Дереном, Леже, Модильяни. О Воловике писали восторженные рецензии; он был очень известен.

Правда, и тогда мало кто мог сказать, что хорошо знает его. Воловик рассказывал о себе редко, не участвовал в бурных дискуссиях, не писал ни воспоминаний, ни манифестов. Трудно пред-



Ирина Гржебина (1938)

ставить себе, что можно было спрятаться от окружающих при такой бурной творческой жизни и таком обширном круге общения; и при том, что он жил в "Ла Рюш" - так называемом "Улье". Через "Улей" прошли почти все художники-эмигранты, приезжавшие в Париж, чтобы стать знаменитыми; и почти все они, став знаменитыми, покидали "Улей". Это было что-то вроде гостиницы, а вернее, меблированные комнаты, которые устроил парижский скульптор Дюбуа, приспособив для этого почти разрушенный павильон Всемирной выставки 1900 года. Строение вышло достаточно нелепое и эксцентричное, чтобы привлечь парижскую богему; а главное, комнаты там были очень дешевы. Однако за возможность постоянного общения с себе подобными, что тоже было весьма привлекательно, приходилось платить существованием в тесноте и скученности, совместными мастерскими и жизнью на виду.

Воловик, в отличие от других, не покинул "Улей" при первой же возможности, а прожил в нем с 1923 года до второй мировой войны, когда он был просто вынужден это сделать. Человеком он был настолько самодостаточным и обладал такой способностью к уединению, даже в самом шумном обществе, что суета "Улья" ему нисколько не мешала. По свидетельству Ж.Жюэна, относящегося, правда, к более позднему времени, жизнь художника была строго регламентирована: "... Чтение 'Комба' по утрам, 'Ле Монд' вечером; работа в ателье после полудня; кафе 'Селект' на Монпарнасе; и, раз в неделю, партия в покер с друзьями в его квартире на ул. Жюль-Шаплен, которая затягивалась за полночь"[1]. Ж.Жюэн называет Воловика "крестьянином" за обстоятельность во всяком деле, за которое брался, даже если всего-навсего "возился в крошечной кухне, готовил несколько традиционных русских блюд, всегда одни и те же"[2].

Размеренная, спокойная жизнь, во всяком случае на посторонний взгляд. И - тоже на посторонний взгляд - гораздо более благополучная, чем у большинства его товарищей по искусству.

Лазарь Воловик родился в 1902 году на Украине, в Кременчуге, в семье коммерсанта. Ему не пришлось, как Сутину, вступать в конфликт с семьей из-за пристрастия к рисованию: "Все мужчины в семье занимались живописью как любители. Дома всегда были краски. Мои братья делали копии со знаменитых картин, всегда любительские и всегда по репродукциям"[3].

Его, строившего свои мечты на "солидной основе"[4], ни "люби-

тельство", ни "репродукции" не устраивали; и Воловик поступил учиться сначала в художественную школу в Харькове, а потом в Академию живописи в Киеве.

Затем - Париж, работа; жизнь в "Улье"; женитьба на балерине Лие Гржебиной, с которой они прожили вместе до самой смерти художника; близкие друзья - лишь те, с кем сблизился в молодости: художники Кикоин, Кремень, Найдич.

Но, судя по произведениям Л.Воловика, это спокойствие и размеренность были только частью правды о нем.

Однажды Воловик сформулировал свою основную задачу в живописи: "выразить безмолвие" ("traduit du silence"). Но безмолвие, тишина могут быть наполнены самым разным смыслом. Воловик видел в них внутреннюю напряженность и глубокую печаль. Откуда эта меланхолия, так похожая на меланхолию остальных художников-евреев Парижской школы, если все так благополучно?

Есть и другая биография Воловика.

Ему было семь лет, когда умер отец, оставив семерых детей. Когда Воловику было пятнадцать лет, произошла революция в России. Сдержанно, как это было ему свойственно, он рассказал однажды, почему оказался в Академии искусств именно в Киеве: "Шел 1918-й. Я приехал в Академию в Киев. Была гражданская война, и невозможно было отправиться в Академию в Москву или Ленинград. Тогда у меня возникла идея выучиться в России и отправиться в Париж. Я доучился до конца 1919-го и еще год был в Турции, и жил так, как я хотел"[5].

Девятнадцатилетним юношей Воловик прибыл в Париж, без денег, без знакомств, без связей и рекомендательных писем, имея единственный адрес: "кафе на Монпарнасе" (кафе - во множественном числе); художественное образование у него было минимальное. Через три года состоялась первая выставка работ Воловика - в Париже, в галерее "Ла Ликорн"; два других участника были Сутин и Кремень.

Воловик действительно прожил большую часть жизни на одном месте, но он объездил при этом полмира, несколько раз - с балетной труппой, в которой танцевала его жена. Именно в этих первых турне, в начале 1930-х годов, Воловик серьезно работал как театральный художник, делал эскизы костюмов; тогда же он сблизился с Гончаровой и Ларионовым. Много лет спустя, уже после войны, он снова отправился в "театральный вояж": в 1946 году жена

Воловика и ее сестра Ирина Гржебина основали новую труппу "Русские балеты".

Во время войны, так же, как другие евреи, Воловик вынужден был скрываться от облав; два года он провел вблизи Парижа, в доме матери своей жены. Его мастерская в "Улье" была занята немцами, и все работы, находившиеся там, исчезли; не надо объяснять, что это значило для сорокалетнего художника. Уцелели лишь те, что находились в других собраниях, и сегодня почти невозможно составить представление о раннем творчестве Воловика.

"... Я жил так, как я хотел", - сказал художник. Эта фраза может быть поставлена эпиграфом ко всей его жизни, а главное, к его искусству: и в жизни, и в искусстве он всегда делал то, что считал нужным, не обращая внимания ни на чье мнение.

"Я приехал в Париж в 1921-м. Я не искал ни профессора, ни школы. Я понимал, что только работа, только внимательное изучение произведений других художников, только посещение музеев - единственно возможный для меня путь. Я не могу подражать даже бесспорно великим мастерам, потому что великий мастер не принадлежит к школе"[6].

Определяя место Воловика в искусстве XX века, его обычно располагают между импрессионизмом и фовизмом. К этому, безусловно, есть основания.

Если говорить об "импрессионизме" его работ, то многие из них иногда прямо напоминают Дега: "Купальщица в ванной" (1931), "Сцена русского театра" (1933), "Скачки" (1937-1967). По свидетельству современников, метод его работы тоже как будто был ближе всего к импрессионистскому: художник "... словно хотел схватить на лету первое впечатление... и он отказывается рисовать сначала на бумаге. Пусть это будут исчезающие мгновения - постоянное ощущение времени. Эскиз он намечает всегда на холсте"[7].

Но если сравнить многочисленные "Скачки" Дега со "Скачками" Воловика, становится совершенно очевидно, что он художник другого поколения и другого отношения к жизни. В импрессионистской композиции движение всегда направлено или из глубины к первому плану, или параллельно плоскости холста и по диагонали: мгновение словно проплывает перед зрителем, готовое в следующую секунду смениться новым кадром; и никогда персонажи не станут удаляться от зрителя, полностью повернувшись к нему спиной, как это происходит в "Скачках" Воловика; и не станут дви-

гаться от первого плана по направлению к глухой стене, преграждающей им путь, тянущейся слева направо и не оставляющей никакого выхода. Это уже искусство XX века, с его ощущением безысходности: движение, которое неизбежно будет остановлено, пространство, замкнутое в глубине непреодолимым препятствием. И никаких диагоналей импрессионистов - диагональ дает ощущение развития, потенциальной возможности изменений; перпендикуляр, на котором построена картина Воловика, - это тупик, конец пути.



Грум (1936)

И даже в одной из самых "импрессионистских" работ Воловика - "Портрет мадам Воловик" (1957) - на светлое изображение первого плана наплывает сзади густая коричневая тень и лицо женщины слишком напряжено, и взгляд слишком сосредоточен для того, чтобы это было "первое впечатление". Приведенное выше описание того, как художник работал, имеет продолжение: "В ходе работы основная конструкция то проступала яснее, то затушевывалась, в зависимости от интенсивности световых пятен, которые создавала рука художника, раскидывая цвета иногда густыми, а иногда тонкими слоями"[8].

То же с принадлежностью живописи Воловика к фовизму: сходство, безусловно, есть, и влияние идей фовизма присутствует в его произведениях, но внимательный взгляд обнаруживает обманчивость этого сходства. Конечно, "Отдыхающая обнаженная" (1927),

"Обнаженная-натюрморт" (1929) или более поздняя "Обнаженная на ковре" (1954) близки к этому направлению. Но рассмотрим одно из самых характерных в этом смысле полотен Воловика - "Обнаженная-натюрморт"; при его абсолютно "фовистском" названии в нем очень много того, что никак не укладывается в рамки этого "изма". Художник не пользуется открытым цветом, его живопись подчеркнуто материальна и предметы осязаемы. Яснее всего разница видна при сравнении этой "Обнаженной" с "Одалиской" Матисса, написанной годом раньше. Общая композиция почти аналогична (в зеркальном отражении); обе женские фигуры совершенно соответствуют окружающей их обстановке комнаты: но при этом "Одалиска" - часть общего арабеска, она подобна декоративному ковру, изысканному кувшину и причудливой формы креслу, на которое она опирается; ее личико - плоское пятно, трактованное так же, как узор на ковре, служащем для него фоном. А "Обнаженная" Воловика так же тяжеловесна, как и окружающие ее предметы; сумрачный нейтральный фон, написанный широкими стремительными мазками, не имеет самостоятельной ценности, а лишь оттеняет крупное лицо с четко обозначенными чертами. В этом "натюрморте" есть драматическое начало, которое принципиально отсутствует и у импрессионистов, и у фовистов.

Это можно сказать о любой работе Воловика: драматизм. Таковы все его портреты, почти все пейзажи и натюрморты: опущенные плечи, падающие вниз линии, крупные тяжелые предметы, сопоставленные друг с другом. Излюбленные цвета - коричневое, зеленое, синее, фиолетовое и иногда красное как знак тревоги, как вырвавшееся изнутри напряжение. Но это - основная гамма художников Парижской школы, что совершенно естественно, потому что Воловик одновременно и один из участников процесса ее возникновения, и ее порождение, какие бы другие источники в живописи его ни привлекали и насколько бы он сам ни считал себя независимым от школ: при всех реминисценциях он прежде всего экспрессионист Парижской школы.

Французский вариант экспрессионизма отличался от немецкого, но возник параллельно ему и независимо от него. Распространено мнение, и видимо, справедливое, - что экспрессионизм Парижской школы обязан своим возникновением художникам-евреям, эмигрантам из разных стран: они принесли в искусство свою внутреннюю напряженность, свои душевные переживания и противоречия,



Обнаженная - натюрморт (1929)

страсть, сдерживавшуюся в детстве строгостью традиционных установлений.

Однако часто упускается из вида второй фактор, сыгравший большую роль в творчестве тех евреев-эмигрантов, которые приехали из России: влияние русской культуры.

В отношении Воловика оно было несомненным, причем это скорее относится к литературе, чем к живописи. Как для всякого русского интеллигента - а просвещенные российские евреи безусловно принадлежали к ним, - литература была чрезвычайно важной частью его жизни и во многом определяла его мировоззрение. Мы располагаем и документальными свидетельствами этого - воспоминаниями современников о той огромной роли, которую играли для Воловика его любимые писатели и поэты - Чехов, Пушкин, Блок; и еще Рильке, в творчестве которого он выделял прежде всего его связь с русской литературой и с русским пониманием мира, этой литературой воспитанным[9]. Но мы располагаем и другим докумен-

тальным свидетельством - картинами самого Воловика. "... От картин Воловика исходит ощущение сопричастности. Мы словно находимся внутри картины, аура которой мягко обволакивает нас. Это похоже на атмосферу чеховского театра, где актеры не играют перед публикой, а переживают пьесу вместе с ней, приглашая безмолвных партнеров принять участие в действии"[9]. Это впечатление француза, человека, видящего влияние русской культуры со стороны и потому воспринимающего самое характерное, прежде всего бросающееся в глаза.

Конечно, экспрессионизм Воловика отличается от экспрессионизма Сутина, Модильяни или позднего Руо: неистовство, страсть, отчаяние и разочарование чужды ему, так же как и радостное, оптимистическое восприятие действительности. Как и у других французских экспрессионистов, творчество Воловика пронизано ощущением надвигающейся катастрофы, а его герои тоже чувствуют себя дискомфортно в этом мире; но его живопись - драма, а не трагедия; там, где другие живописцы кричат от боли и ярости, он глубоко печален. Воловик не считает для себя возможным испускать вопль - он слишком закрыт, слишком интравертен для этого; его экспрессионизм - внутренняя напряженность души, напряженность печали.

Картина Воловика, написанная в 1936 году, — "Рассыльный" — почти буквально повторяет одного из "Слуг" Сутина из серии конца 20-х годов. Но если у Сутина этот портрет - апокалиптическое видение, некто, принадлежащий страшному будущему, почти карикатура на человека; если Сутина не интересует ни психология, ни социальная принадлежность изображенного им "Слуги" - он видит в нем лишь один из элементов безумного мира, - то Воловик пишет прежде всего человека - усталого, растерянного деревенского мальчика, на котором нелепо и неуклюже выглядит форменная одежда гостиничного рассыльного, похожая на военную форму; это человек, вырванный из своей среды и оставшийся чужим там, где он очутился.

В отличие от своих прославленных современников, Воловик не открыл новых путей в живописи; он полностью принадлежал своему времени и пользовался тем живописным языком, который был этому времени свойственен. Но он упрямо следовал собственным ощущениям в искусстве, имея мужество не пытаться, в погоне за славой, быть более "современным", чем то было присуще его человеческой натуре, он оставался самим собой.

Примечания

1. H.Juin. Pour un portrait de Volovick. P.25. В кн.: P.Mazars et H.Juin. Volovick. Paris, Tchou, 1979. Это единственная существующая монография, посвященная творчеству Л.Воловика. Все ссылки в статье относятся к этому изданию.
2. Там же. С.32.
3. Там же. С.89.
4. Там же. С.25.
5. Там же. С.92.
6. Там же. С.92.
7. P.Mazars. La musique de chambre de Volovick. С.19.
8. H.Juin. Указ. статья. С.54, 60.
9. P.Mazars. Указ. статья. С.10-11.



Хана Ровина: портрет в пейзаже бытия

*Ольга Левитан**
(Иерусалим)

Ее называли первой леди израильского театра. Или просто первой леди. Поэты посвящали ей стихи, художники писали ее портреты. Самый звук ее имени - Хана Ровина - волновал современников.

В двадцатом веке не принято делить актеров на трагических и комических. В театре двадцатого века с легкой и гениальной руки Станиславского в злом следует искать доброе, в добром - злое и хорошему актеру надо быть актером универсальным.

Хана Ровина с этими неписаными строгими правилами никогда не считалась. С начала и до конца своей карьеры она была актрисой трагической. Ее первую большую работу - роль матери Мессии в спектакле "Вечный жид" Л.Пинского (режиссер В.Мчеделов) - называют одним из великих мгновений истории еврейского театра. Когда героиня Ровиной узнавала страшные новости о гибели Иерусалима, жуткий и протяжный вопль вырывался из ее груди. Говорят, что "слышавшие этот вопль много лет спустя помнили ту странную дрожь в спине, рожденную голосом Ханы, будто бы предвещавшим грядущие ужасы Катастрофы"[1].

Хана Ровина родилась в 1888 году в небольшом местечке Березино Минской губернии. Ее отец - любавичский хасид Давид Рубин - торговал лесом. Мать, Сара-Ривка, была белошвейкой и вышивальщицей. В раннем детстве Ровина училась в модернизированном хедере, потом закончила русскую муниципальную школу. От роди-

*Автор благодарит сотрудников Иерусалимского театрального архива им. Исраэля Гура за помощь в подготовке настоящей статьи и предоставление фотографий Ханы Ровиной.

телей она унаследовала знание традиций хасидизма и певческий талант и беспрерывно ссорилась с ними из-за любви к театру и школьных самодеятельных спектаклей. Руководителем этих постановок был школьный учитель Рубинчик, дедушка будущего актера "Габимы" Израиля Рубинчика. Все темы, изучаемые на уроках литературы, учитель Рубинчик превращал в спектакли, прививая своим ученикам любовь к театральному действию. "Так, - вспоминает Ровина, - воображаемый мир драмы вошел в мою жизнь тогда, когда я еще не знала, что это называется театром"[2].

После окончания школы, мечтая о жизни в большом городе, Ровина уехала в Екатеринослав. Там давала уроки русского языка, работала гувернанткой в богатых семьях и бедствовала. Узнав о варшавских ивритоязычных учительских курсах, она в кратчайшие сроки восстановила свой иврит и отправилась в Варшаву. В Варшаве Ровина познакомилась с Нахумом Цемахом, основателем еврейского национального театра "Габима".

В судьбе "Габимы" актрисе Хане Ровиной принадлежит исключительная роль. В 1917 году вместе с Н.Цемахом и М.Гнесиным она занималась организацией этого театра. В 1922 году в легендарном спектакле "Диббук" С.Ан-ского (режиссер Е.Вахтангов) сыграла роль Леи. И взыскательная театральная Москва признала ее работу шедевром актерского искусства. М.Гнесин описывает, как "Вахтангов, только начав репетировать с Ровиной, пришел к выводу, что она - та самая, необходимая нам Лея. Без всяких предварительных репетиций Ровина сыграла собственное индивидуальное понимание сущности трагической героини, душа которой одержима высшими силами. Вахтангов, сидевший все эти дни с полуприкрытыми глазами, раскрыл их широко и приобрел вид счастливого человека. "Для меня лично,- говорит Гнесин,- первая же репетиция Ровиной была праздником. Ибо это была Лея из наших снов. Мягкая, прекрасная девушка, целомудренная дочь еврейского народа, о которой поют поэты и мечтают юноши"[3]. Позднее, во время зарубежных гастролей "Габимы", этой работой актрисы единодушно восхищались немецкие, французские и американские критики, среди поклонников Ровиной оказались Артур Шницлер, Ричард Хофман и Макс Рейнхардт. Рецензии на "Диббук" напечатали крупнейшие газеты мира - "Нью-Йорк Таймс", "Лондон Таймс", "Нью-Статесмен". А.Эйнштейн после просмотра спектакля сказал: "Ваш театр дал мне больше, чем все другие виденные мной спектакли". А

великий реформатор театра Гордон Крэг писал в 1926 году: "Европа прославляет высокий артистизм мастеров "Габимы"[4].

В 1927 году, когда "Габима" выступала в США и одна часть труппы хотела остаться в Америке, а другая вернуться в Москву, Ровина твердо заявила: я еду в Палестину. Так было предопределено будущее национального театра Израиля.

Между тем, несмотря на мировой успех Ровиной в "Диббуке", значение этого спектакля в истории ивритского театра неоднозначно и заслуживает отдельного разговора. Еще в Москве "Диббук" на сцене "Габимы" был безоговорочно воспринят как шедевр театрального искусства. При этом толкования спектакля театральной критикой оказались не просто разными, но почти взаимоисключающими. Н.Евреинов был убежден, что уникальность спектакля в его мистериальности. Он восхищался Вахтанговым, создавшим современную мистерию из сплава каббалистической мистики с фольклором. Еврейское в спектакле он определял лишь как оттенок, фон, на котором разворачиваются события мистериального значения[5]. Аким Волынский, блистательный критик начала века, еврей по происхождению, получивший традиционное религиозное образование, напротив, восхищен был воплощением в "Диббуке" национального еврейского характера, экспрессии, пластики и даже плача: "Ни один народ не плачет так, как евреи. Этот плач стал уже частью мировой поэзии. Это, можно сказать, исторический плач, сохранивший в себе искренность индивидуального выражения чувств"[6]. Наконец, Р.Кугель, воздав должное таланту Вахтангова, заявил, что спектакль "Габимы" ничего общего не имеет с еврейством и еврейской культурой. Описывая спектакль, он указывал на "русскость" происходящего на сцене: "Этот медленный ритм, все эти паузы представляют русскую правду, правду русской души... Этот особый русский шарм, выражающий себя в неторопливых ритмах, в ленивых движениях. Существует психологическая и физиологическая связь между этим театральным стилем и русской душой. Но если вы ставите еврейскую пьесу как некую последовательность драматических ситуаций, вы заливаете странное вино в еврейские бутыли"[7].

Эти три мнения в той или иной форме сопровождали спектакли "Габимы" на протяжении многих лет. И на протяжении многих лет актеры "Габимы", создавшие национальный еврейский театр, не могли ответить себе на вопрос: кто мы и какой культуре принадле-



жим. Пребывание на границе двух культур определяло драматичность судьбы театра и его ведущих актеров. В этой ситуации Хана Ровина - человек необычайной силы и цельности натуры - попыталась переломить судьбу. Сознательно выбрав еврейскую - и не идишистскую, а ивритскую - культуру, она стала фигурой символического значения в истории израильского театра, сыграв особую роль в формировании израильского культурного пространства, "русские" же элементы ушли в подтекст ее искусства.

В 1928 году вместе с "Габимой" Ровина окончательно поселяется в Палестине. В 30-е годы на сцене "Габимы" актриса создает целую галерею трагических женских образов. Воспитанная в стилистике экспрессионистского театра, она с поразительным мастерством соединяет несоединимое. Так, исполняя роль Юдит в спектакле "Уриель Акоста" К.Гуцкова (режиссер А.Грановский), актриса виртуозно превращала традиционный танец невесты в танец скорби. В историю "Габимы" эта сцена вошла под названием "танец смерти". Ровина-Юдит появлялась на верхней ступени лестницы и, пританцовывая, медленно-медленно начинала спускаться; спустившись, она продолжала те же легкие, зачарованные танцевальные движения и заканчивала сцену глубоким обмороком героини. Рассказывают, что впечатление от этого трагического танца было столь сильным, что, когда на репетиции Ровина спросила режиссера спектакля, должен ли обморок означать смерть героини, Грановский ответил: "Все в твоей власти"[8].

На протяжении всей своей актерской жизни Хана Ровина сочувствовала своим героиням... В течение многих лет она отказывалась от роли леди Макбет, говоря, что ей понятны все женские чувства, кроме одного - жажды власти[9]. Позднее, когда актриса все-таки сыграла эту роль, леди Макбет оказалась в ее исполнении очаровательной и любящей женщиной. Но в отношении Ровиной к своим героиням не было элемента мелодрамы. Напротив: историк израильского театра М.Коханский, описывая спектакль "Мирелѐ Эфрат" Я.Гордина, отмечает, что "только изумительная актерская работа Ханы Ровиной, передавшей героине глубину и мощь собственной натуры, спасла спектакль 'Габимы' от дешевого мелодраматического пафоса"[10]. Ведущие израильские критики, всегда много и охотно рассуждавшие об актерском феномене Ровиной, говорили о том, что с годами важнейшими чертами ее искусства стали психологическая точность деталей и благородная трагическая сдержанность"[11].

Сдержанность, впрочем, была не только сценическим свойством актрисы, но и образом ее жизни. Ровина никогда ни на что не жаловалась, никогда не вмешивалась во внутритеатральные конфликты и не входила в коалиции. Она всегда была над ссорами и склоками. Ее личная жизнь была сферой, закрытой для постороннего вторжения. "Я простая женщина, - говорила Хана Ровина. - На сцене я актриса, частная же моя жизнь не представляет никакого интереса"[12]. Даже любимая единственная дочь Илана не имела действительного представления о чувствах и увлечениях своей матери. В личной жизни Ровиной особую роль играл русский язык, который она знала прекрасно. На русском она переписывалась с Хаимом Вейцманом, первым президентом Государства Израиль. Уже совсем недавно, в восьмидесятые годы, эти письма попали в руки историков, и они попытались разгадать тайну отношений первого президента и первой леди страны. Разгадать ничего не удалось. Вейцман и Ровина были очень сдержаны в словах. И только одна фраза президента - "я не выношу, когда вы смотрите на другого" - позволяла строить догадки об их отношениях[13].



Хана Ровина в роли Тамар в пьесе "Корона Давида". 1929

Любопытно, что среди лучших работ Ханы Ровиной практически не было ролей русского репертуара. В 1939 г. она, правда, сыграла роль Раневской в "Вишневом саде" А.Чехова. Но спектакль не имел успеха и после двадцати трех представлений сошел со сцены. Шедевры актерского искусства Ровиной - роли экспрессивные и трагические: Донна Изабелла в "Марранах" М. Цвейга, Мирале в "Мирале Эфрат" Я.Гордина, мать в одноименной пьесе К.Чапека. Позднее к этому списку прибавятся мамаша Кураж Б.Брехта и Ме-

дея Еврипида. Потом она появится в пьесах израильских молодых драматургов: "Кинерет-Кинерет" Н.Альтермана и "Тетя Лиза" Н.Алони. Русская культура останется фактом внутренней жизни Ровиной: отсюда и способность к сопереживанию своим трагическим героиням, и частная переписка, и "Евгений Онегин" на русском в личной библиотеке актрисы; и главное - особое этическое отношение к театру, безоглядная преданность искусству. Ее понимание роли актера как королевской было своеобразным вливанием русской культуры в культуру израильскую. "Некоторые специалисты утверждают, что были актрисы лучше ее и что были женщины красивее ее, но Ровина была единственной в своем роде. Она стала легендой и символом израильского театра, и все остальные дети человеческие рядом с ней были подобны муравьям. Когда она входила в комнату, все вставали, как перед королевой. Когда она шла по улице, непреклонная и элегантная, все оборачивались. Даже люди, проводившие с ней день за днем, не позволяли себе называть ее иначе, как 'госпожа Ровина', и только те, кто был знаком с ней долгие годы, говорили просто - Ровина, но ни в коем случае не Хана - это уже звучало как святотатство"[14].

Сохранив русский язык для своей частной жизни, Ровина, по мнению израильского театрального критика М.Хендельзальца, была актрисой, узаконившей иврит на современной израильской сцене. "Для целого поколения израильских зрителей, а возможно и для двух поколений, - пишет Хендельзальц, - Ровина была не только актрисой, но именем собственным, не повседневностью театра, но его легендой"[15]. И легенда эта строилась на редком единодушии израильской публики, критиков, коллег по сцене, утверждавших, что невозможно рационально объяснить и проанализировать тайну магических взаимоотношений Ровиной и зрительного зала. "Работа, - говорила Хана Ровина, - для меня источник жизни. И это не пустая фраза, это действительно так"[16]. Актер Иегуда Эфрони вспоминает, как вскоре после тяжелой операции у Ровиной начались сильные боли, ее положили в больницу, и все в театре думали, что придется на какое-то время отменить спектакль "Мирале Эфрат", в котором она играла главную роль. Однако Ровина из больницы известила, что будет играть. Она прибыла в окружении врачей и медицинских сестер. Выйдя на сцену, актриса начала произносить свой текст тусклым, надтреснутым голосом. И вдруг силы стали возвращаться к ней; на протяжении всего действия



было видно, как она буквально освобождается от болезни. Финал спектакля был сыгран блистательно, и шквал аплодисментов завершил это представление[17].

В годы второй мировой войны Ровина выступала перед солдатами Еврейской бригады в Египте, в Европе и на подпольных собраниях Хаганы. Она проклинала войну и благословляла еврейских солдат. На израильской сцене и для израильской публики Хана Ровина была не только замечательной актрисой, но и национальным воплощением женственности. Ровину обожали даже те, кто никогда не видел ее на сцене. Когда после рождения дочери Иланы она долгое время не могла оправиться от болезни, израильские газеты ежедневно давали сводку о состоянии ее здоровья. А журналисты как документ эпохи записывали уличные разговоры прохожих. К примеру, вопросы старушки и ответы молодого человека, читающего газету:

- Что о ней пишут?
- О ком?
- Что значит о ком? О Ровиной.
- Состояние здоровья улучшается.
- Слава тебе, Господи.
- Она что, ваша родственница?
- Нет.
- Знакомая?
- Нет.
- Вы видели ее в театре?
- Ни разу не видела, но говорят, что звук ее голоса оживляет души[18].

Хана Ровина не любила давать интервью. На почтительные обращения израильских критиков Ровина отвечала ироническим отказом: "Почему я вообще должна давать какие-то интервью?.. Я никогда не знаю, отчего я поступаю на сцене так, а не иначе. Нет у меня по этому поводу теорий, и я далека от всех 'измов'"[19]. На вопрос любопытных журналистов - как удается ей в течение шестидесяти лет работать на сцене с такими разными поколениями актеров, когда меняются стиль игры и театральная мода? - Ровина отвечала односложно: "Я приспосабливаюсь. Приспосабливаюсь к режиссерам, партнерам и текстам"[20]. И все же иногда, когда надо было рассказывать не о себе, а о других, Ровина говорила с удовольствием. В пятидесятые годы, вернувшись из поездки по Евро-

пе, она дала большое интервью о лондонских и парижских театрах, о великолепной театральной дикции французских актеров и о том, как "за день до отъезда из Лондона была на концерте Давида Ойстраха, изумительного скрипача"[21].

В 1955 году Хана Ровина была награждена премией Цемаха и удостоена звания "Дочь и слава нашего народа". В 1957 г. Ровина оказалась первой израильской актрисой, получившей высшую национальную награду страны - "Премию Израиля". В 1975 году актрисе Ровиной одновременно с классиком литературы XX века Э.Ионеско и выдающимся литературоведом нашего времени Р.Якобсоном было присвоено звание почетного доктора философии тельавивского университета.

В 1977 году актриса в последний раз вышла на сцену в роли герцогини Йоркской в "Ричарде III" Шекспира. В 1978 году на своем девяностолетии Ровина сказала: "Я хотела бы умереть на сцене".

На открытии мемориального зала Ровиной в "Габиме" израильский драматург Н.Алони, написавший для нее три свои лучшие пьесы, сказал: "Ровина играла на сцене из любви к самому актерскому искусству. И не будет преувеличением сказать, что она была актрисой всегда, все дни и ночи своей жизни. Она появлялась и любила появляться в самых разных пьесах, в меняющихся декорациях, с разными режиссерами и актерами. Имя ее окружено мифами и легендами"[22].

В 1988 году, к 100-летию со дня рождения Ровиной, в Тель-Авиве в доме-музее Реувена Рубина открылась выставка "Портреты Ханы Ровиной". На выставке собраны были работы ведущих израильских художников. Хана Ровина снова восхитила свою публику, появившись в картинах Н.Гутмана и С.Мирон, Р.Литвиновского и М.Кадишмана. Выставка открывалась великолепным скульптурным портретом Ровиной работы Ханы Орловой.

В судьбе Ровиной эта посмертная выставка, своего рода выражение любви народа к артисту, была трогательной и забавной рифмой к событиям ранней юности. До того, как Ровина стала великой актрисой, она некоторое время работала воспитательницей в детском саду. Пела детям песни на русском языке и на идиш. А дети в честь ее дней рождения устраивали выставки своих рисунков.

Примечания

1. Коханский М. Ивритский театр. Иерусалим, 1969. С.32.
2. Бен-Закай Т. Интервью с Х. Ровиной. // Маарив. 1974. 20 сент.
3. Гнесин М. Моя жизнь в ивритском театре. Тель-Авив, 1946. С.158.
4. Габима - национальный театр Израиля. Тель-Авив. 1987. С.89.
5. Цит. по: Коханский М. Указ. соч. С.43.
6. Там же. С.44.
7. Там же. С.46.
8. Там же. С.124.
9. Охед М. Ровина. // Давар ха-шавуа. 1957. 8 дек.
10. Коханский М. Указ. соч. С.137.
11. Гур И. Герои ивритской сцены. Иерусалим, 1965. С.31.
12. Бен-Закай Т. Указ соч.
13. Морим Ш. "Другу души моей, с любовью, Хаим Вейцман": Женщины в жизни Вейцмана. // Едиот Ахронот. 1987. 26 марта.
14. Неэман Э. Немного о нашей богине. // Едиот Ахронот. 1983. 17 июня.
15. Хендельзальц М. Ровина. // Давар ха-шавуа. 1980. 8 февр.
16. Неэман Э. Указ. соч.
17. Иясмин Н. Смерть королевы. // Ха-олам ха-зе. 1980. 6 дек.
18. Гурари М. Никого не обижай. // Маарив. 1986. 23 янв.
19. Бен-Закай Т. Указ. соч.
20. Там же.
21. Левин В. О гастролях. // Израиль: жизнь и письма. 1953.
22. Хана Ровина: каталог выставки в честь столетия со дня рождения. Тель-Авив, 1988. С.4.



"Великая жрица" голландского балета

Йоси Тавор*
(Иерусалим)

В одной из самых маленьких стран Европы, в Голландии, сегодня существуют два балетных коллектива, которыми могла бы гордиться любая страна мира: Нидерландский национальный балет (Het Nationale Ballet) и Нидерландский танцевальный театр (Niderland Dans Theater). У истоков обоих коллективов стояла Соня Гаскель (Gaskell), балерина русской школы, приехавшая в Голландию в возрасте 36 лет, проделав долгий, полный поразительных перипетий путь от маленького литовского городка Вилкавишки до Гааги и Амстердама. Соня Гаскель родилась 14 апреля 1904 года в семье состоятельного еврейского торговца и была средней из пяти сестер. При рождении она получила имя Сарра, но с первых дней все называли ее Соней. Под этим именем она и вошла в историю мирового балета. Отец Сони часто находился в разъездах, и все заботы о воспитании дочерей легли на плечи матери, глубоко религиозной женщины, которая, несмотря на это, дала детям вполне светское, по тем временам, образование. Вскоре после рождения Сони семья Гаскелей перебирается в Харьков, а затем в Киев. Там Соня учится в гимназии, которую заканчивает в 15-летнем возрасте. Уже в годы учебы проявляется ее яркая натура, но главным увлечением становится чтение; в мечтах

*Автор выражает глубокую благодарность Фанни Розеляр, оказавшей помощь в переводе материалов с голландского.

она даже видит себя писательницей. Как и полагается барышне из состоятельной буржуазной семьи, Соня получает уроки фортепиано и балета.

Революцию в октябре 1917 года Соня принимает восторженно, надеясь, что она принесет светлое будущее и положит конец антисемитизму в России. Бойня гражданской войны, кровавые погромы, устраиваемые как белыми, так и красными, быстро развеяли все иллюзии. Жестокость и насилие, с которыми ей пришлось столкнуться воочию, наложили отпечаток на всю ее жизнь, выковали характер и определили ее основные принципы: полагаться только на себя, принимать решения и не отступать от них, ибо нерешительность "смерти подобна", а главное - всегда добиваться поставленной цели.

Сразу по окончании гимназии в 1919 году Соня решает оставить родительский кров. Ее путь лежит в Палестину, далекую загадочную страну, где она наконец сможет осуществить свою мечту и стать писательницей. С группой еврейских юношей и девушек она решает добраться поездом до Владикавказа, а оттуда, через Турцию, в Эрец-Исраэль. Рядом с ней неизменно находится Зелиг Ривкинд, страстно влюбленный в Соню. Одно из первых сохранившихся свидетельств тех лет - фотографию Зелига - она пронесла через все границы и сохранила до конца своих дней. Переход турецкой границы в районе Владикавказа оказался невозможным из-за ее блокады, и было решено совершить новую попытку, на этот раз через Москву и Прибалтику. С помощью сионистской молодежной организации "Ха-шомер Ха-цаир" эта попытка увенчалась успехом, и через два года, после того как Соня Гаскель оставила родительский дом, она добирается до Палестины и поселяется в киббуце Эйн-Харод. Здесь она встречает Авраама Гольдензона - человека, который становится ее первым мужем. Это был математик, философ; человек исключительной эрудиции; его интересы и интеллектуальный уровень куда больше соответствовали Сорбонне, нежели киббуцу; с Авраамом Соня Гаскель, на грузовом судне, добирается до Марселя, а оттуда в Париж.

О первых годах жизни Сони Гаскель во Франции известно не так уж много. Потеряв во время долгих скитаний документы об окончании гимназии, она не может быть принята в Парижский университет. И Гаскель возвращается к своему детскому увлечению - танцу, которому с этой минуты отдает всю свою жизнь.

Понимая, что ее юношеского опыта в области балета явно недостаточно, она берет уроки у знаменитой российской танцовщицы Любови Егоровой, в прошлом примы-балерины Мариинского театра. Егорова танцевала в труппе Русского балета Дягилева, а затем открыла свою студию. Именно Егоровой Соня Гаскель была обязана сохранившейся на всю жизнь приверженностью к академизму русской школы и стремлению избегать самоцельных эффектов. Другим ее педагогом в этот период был балетмейстер Парижской оперы Лео Стаатс, который позднее писал о Гаскель: "Она была слишком интеллигентна и образована для рядовой балерины, прекрасно знала профессию. Но у меня всегда было ощущение, что она постоянно наблюдает за собой со стороны, критически оценивая каждое свое движение, каждый жест".

Гаскель уже 23 года, начинать карьеру балерины слишком поздно, к тому же нужно содержать и себя и мужа-студента. Она трудится с утра до ночи, дает уроки, занимается репетиторством, не гнушается никакой мало-мальски приемлемой работой: танцует в маленьких труппах в кабаре, ревю, ночных клубах, казино. По ее словам, в период между 1927-1929 годами она несколько раз выступала в кордебалете труппы Сергея Дягилева, но в программах "Ballets russes" за те годы ее имя не значится. Несомненно одно: именно дягилевский подход - никогда не отказываться от техники классического балета - произвел на Соню Гаскель сильнейшее впечатление и оказал влияние на всю ее дальнейшую деятельность. Она познакомилась с такими знаменитостями "русского Парижа" того времени, как хореографы Георгий Баланчин, Сергей Лифарь, Леонид Мясин, танцовщик Давид Лишин, художники Михаил Ларионов и Наталья Гончарова... Дружеские беседы, полуночные дискуссии, обмен мнениями с этими людьми были чрезвычайно увлекательными и плодотворными для Сони Гаскель, но не способствовали ни в какой мере ни материальному достатку, ни каким-либо перспективам на будущее. В личной жизни также наступает кризис, и она расстается с Авраамом Гольдензоном. С подругой-танцовщицей Соня создает балетный дуэт "Arianne et Arielle", выступает в Италии в варьете Côte d'azur, зарабатывая лишь на пропитание. Перенесенные лишения и образ жизни не могли не сказаться на ее здоровье: Соня тяжело заболевает, у нее обнаружены признаки туберкулеза. После операции она долго выздоравливает в санатории неподалеку от Парижа. Деятельности балетного дуэта приходит ко-

нец, тем более, что ее подруга выходит замуж, уезжает в Южную Африку. В течение года Соня Гаскель дает частные уроки балета и занимается репетиторством в маленьких балетных труппах. В 1936 году она открывает свою первую настоящую балетную студию, сняв для этого большое помещение на Елисейских полях, и два года спустя ставит спектакль "De Perzen" для Théâtre Antique de la Sorbonne.

В это время на ее пути встречается голландский архитектор Хайнрих (Хайни) Баухенс, часто наведывавшийся в Париж и вращавшийся в кругах изысканной богемы, к которой принадлежала и Соня Гаскель. Именно в те годы, несмотря на свое положение в парижском обществе, Соня начинает ощущать антисемитизм, растущий с приближением второй мировой войны. Гаскель принимает предложение Хайни выйти за него замуж и переехать в Голландию, где она, как ей кажется, будет в большей безопасности. Они поженились 11 января 1939 года в Амстердаме, и вскоре Соня Гаскель открывает собственную студию в центре Амстердама, которую называет "Седьмое небо": 76 ступенек по крутой лестнице вели в огромное, очень холодное помещение, где из окон, занимавших всю внешнюю стену, открывалась захватывающая дух панорама южного Амстердама. Среди учеников ее первой группы было несколько подающих надежду танцоров: Хая Гольдштейн, Луки ван Оувен, Мария Матессон, Беа Леони, Арт Ферстеген, Дженифер Родерс и Римке ван дер Фурт, которая впоследствии стала известна под именем Анна Римская.

Но действительность, от которой Гаскель бежала с Украины, а затем и из Парижа, вновь безжалостно заявила о себе: в ее удостоверении личности жирным шрифтом пропечатана буква "J" - еврейка. Все годы гитлеровской оккупации Голландии Соня скрывается у друзей, продолжая тем не менее преподавать в своей студии, которая была переписана на имя ее ученицы, Дженифер Родерс. И, как бы невероятно это ни звучало, но именно в годы войны и именно в этой студии у Сони Гаскель брали уроки многие танцоры группы "Ивон Георги Балет" при Амстердамской муниципальной опере. С 5 мая 1945 года в студии Сони Гаскель появляются многие танцоры, скрывавшиеся, как и она, в подполье. Наконец она может осуществить идею, которую вынашивала в своем сердце долгие годы, - создать балетную труппу. Рядом с ней немало мо-

лодых единомышленников, безоговорочно признающих ее авторитет и руководство.

Дебют ее первой профессиональной труппы "Студио 45" состоялся в сентябре 1945 года в театре Хаарлеме (в одном из районов Амстердама). Это была серия выступлений с русским репертуаром и русской музыкой. Балетный критик Йооп Шултинг, побывав на одном из выступлений, называет Соню Гаскель "уникальным явлением" на голландской балетной сцене. Ее первое начинание, несмотря на идеализм его участников - девяти балерин, трех танцоров и двух пианистов, продержалось не более полугода - из-за финансовых проблем.

9 марта 1948 года скончался Хайни Баухенс. 11 лет спустя, в интервью для книги Дэйвида Конинга и Йоопа Шултинга, она выскажет свое "кредо", которому была верна всю жизнь: "После смерти мужа, когда у меня не осталось ничего, кроме танца, я решила посвятить себя полностью созданию балетной труппы в Голландии, этой большой, великой цели, на пути к достижению которой меня ожидало немало препятствий и подстерегало еще больше 'ловушек' <...>

Безусловно, в основе моей идеи лежали необычные принципы. Я всегда считала, что искусство должно быть обращено к тем, кто ждет от тебя новых свершений, к мыслящим прогрессивно людям. Я всегда стремилась объединить в своем творчестве смелый поиск с академическими традициями.

<...> Я искала молодых танцоров, которые, не требуя высокой оплаты, были готовы идти со мной по новому пути с предельной преданностью и самоотдачей, ибо считаю, что поиск нового куда более важен, нежели совершенствование уже существующих форм.

<...> Кроме того, я осознаю, что отказалась акцентировать свое внимание на вещах эффектных, внешне красивых и неизменно привлекательных во имя вещей куда более принципиальных, отражающих мой мир. Я также решила отказаться от некоторых своих достижений, если они не несли в себе новый смысл и таким образом превращались в ординарные, рядовые. И если в этом есть необходимость, я готова всякий раз, как прилежная ученица, начинать все заново, хорошо осознав, что для этого нужно артистическое мужество и что это всегда сопряжено со страданиями. Я всегда считала, что важнейшим в балете были и остаются танцоры. Для развития их индивидуальности необходимо изменить предвзятое отношение к

ним со стороны публики и истеблишмента. Молодые танцоры должны видеть в своем наставнике в первую очередь друга и коллегу по работе. Такой воспитатель должен обладать качествами лидера, быть стимулирующим началом и талантливым педагогом для того, чтобы определить и развивать артистические данные артиста. На пути поиска и закрепления этих артистических моментов нельзя забывать о многообразии таланта, его многогранных проявлениях, в выявлении которых я вижу высшую свою цель."

В короткий срок становится ясно, что Соня Гаскель в работе со своими танцорами предпочитает высокий художественный уровень количеству выступлений. К 1949 году она уже собрала вокруг себя группу молодых талантливых танцоров. Некоторые оставили для работы с ней обеспеченные контрактами места в других ансамблях: Мари-Жан ван дер Вен пришла из труппы "Дер лаге ланден", Питер ван дер Слог - из Королевского балета, Луки ван Овен и Мария Хайсман до этого танцевали у Дарии Коллин в балете Амстердамской оперы. И это несмотря на то, что Гаскель возвращает их к куда более тяжелым занятиям, что денег постоянно нет (балетные пачки изготовляются из марлевых бинтов, украшения и декорации - из папье-маше, все остальное - из подсобных материалов), она заставляет их выкладываться с предельной самоотдачей. Притом Гаскель не ставит своей целью подготовку определенного концертного репертуара для будущих выступлений.

В это время Соня Гаскель получает приглашение из Роттердама прочитать лекцию о балете. Она решает посвятить ее трем векам истории балетного искусства и сопроводить демонстрацией примеров из балетных спектаклей: Гранд па-де-де из "Щелкунчика", "Лебедь" Сен-Санса, Па-де-де из "Сильфид" и "Интермеццо".

Успех лекции превзошел все ожидания, и за ней последовала вторая, под названием "Любовь в балете", уже в Амстердаме. С трудом собрав необходимые средства, Соня посылает нескольких танцоров труппы в Париж, к своей первой учительнице Любови Егоровой для более близкого знакомства с классическим наследием русского балета, например Па-де-труа из "Лебединого озера". У себя в Амстердаме она обращает внимание не только на солистов, но и на исполнителей маленьких партий, "petit-rat" (маленький мышонок). Кстати, третья лекция так и называлась - "От 'petit-rat' - до солиста". Среди исполнителей этих партий - Янина ван Тор, Марианна Хиларидес, Япп Флиер, Конрад ван дер Ветеринг и Карла



Соня Гаскель

Липп - будущие ведущие голландские танцоры. Так рождается труппа Сони Гаскель "БАЛЛЕ РИСАЙТЛ I", первое официальное выступление которой в сопровождении оркестра состоялось 7 июня 1950 года в Арнеме. В программе были работы Сони Гаскель и Питера ван дер Слота. Рецензии, полные восхищения и эпитетов в превосходной степени, производят впечатление по сегодняшний день, даже если некоторые выражения свидетельствуют о том, что

не все хорошо понимали, каким путем идет и к чему стремится в своем творчестве Соня Гаскель. Тогда же в прессе появляются и первые намеки на то, что Голландии необходим свой Национальный балетный театр и Соня Гаскель, вне сомнения, может претендовать на право быть его руководителем. Но это мнение критиков; до принятия подобного решения официальными инстанциями пройдет еще немало времени.

Гаскель вывозит свою труппу на гастроли в Германию, Швейцарию, Бельгию, расширяет репертуар. Денег по-прежнему не хватает, и только ее неистребимая энергия позволяет сохранять энтузиазм и уровень исполнения. Дается это нелегко, ибо Соня Гаскель не желает делить ни с кем руководство труппой или обращаться к кому-либо за помощью. Некоторые утверждают, что она "терроризирует" своих танцоров, что вся работа строится по принципу "мое желание - закон". В своих оценках и комментариях Гаскель не готова ни к малейшему компромиссу, и в большинстве случаев ее замечания резко негативны, а отсутствие реакции и молчание означают, что уровень исполнения удовлетворителен, но можно еще лучше. Все это не раз приведет к конфликтам, скандалам и разрывам отношений, но изменить своей натуры Соня Гаскель не может. И тем не менее, многие из тех, кто был с ней в то время, навсегда сохранили теплые воспоминания об устраиваемых ею ужинах для всего ансамбля (благо, участников было не так уж много), во время которых она знакомила их с русской и французской поэзией и литературой, читала отрывки из Ветхого Завета - любовь к нему она сохранила еще из родительского дома. Гаскель принадлежала к породе "книжников", у нее была огромная библиотека, и, главное, она всегда стремилась передать свои знания ученикам. Много лет спустя, в интервью журналу "DANS MAGAZINE", танцор и хореограф Руди ван Данциг, один из самых талантливых и знаменитых питомцев Сони Гаскель, ее преемник на посту руководителя Нидерландского национального балета, скажет: "Для меня она всегда останется моей первой учительницей. Она была лучшей из всех. Она сумела убедить меня, что во мне заложен огромный потенциал и я могу добиться всего, что пожелаю. У нее был ансамбль из 12 танцоров (в 1954 году). Я уверен, что меня она взяла лишь потому, что ей нужны были мужчины-танцоры, а для меня танцевать в маленьком ансамбле было чрезвычайно важно и полезно, ибо с самого начала, с первых шагов, я был солистом и тяжело работал.

Она была потрясающим человеком, но с другой стороны, она была одержимой: желая добиться чего-то, она превращалась в самого дьявола. Я одновременно бесконечно любил ее и также безумно ненавидел. Сейчас я понимаю, что только это было приемлемым для нее: быть фанатично-сатанинской по отношению к своим танцорам. Она всегда умела дать нам почувствовать, что мы просто обязаны быть самыми лучшими из всех".

Летом 1950 года Амстердам отмечал свое 675-летие. На центральной площади Дам, рядом с королевским дворцом, был построен макет города в половину человеческого роста, и в нем выступали лучшие голландские коллективы. Труппа Сони Гаскель "БАЛЛЕ РИСАЙТЛ I" давала там спектакли четыре раза в день. Но довольствоваться пришлось лишь похвальными рецензиями, ибо за выступления они не получали ни гроша.

В начале 1951 года появляются первые серьезные планы о создании в Голландии своего национального балетного театра, и сразу же разгорается "балетная война" между различными хореографами, труппами, группами и группировками. Одной из центральных претенденток на пост руководителя будущего ансамбля называется Соня Гаскель. В качестве компромисса предпринимается попытка поделить эту должность между двумя ведущими хореографами - Соней Гаскель и Максом Дуесом, который вместе с Машей тер Веме руководил в то время балетом "Дер лаге ланден". Под большим секретом с этой инициативой обращаются к Соне Гаскель, и та, скрепя сердце, соглашается. Но Макс Дуес отказывается: с одной стороны, он ощущает себя "вонзающим нож в спину" Маши тер Веме, а с другой, он хорошо знает характер Сони Гаскель и желает избежать неизбежных упреков и споров. Гаскель воспринимает это как пощечину. Тайна становится всеобщим достоянием и вызывает волну взаимных обвинений и оскорблений. Глубоко разочарованная, Гаскель решает оставить Голландию. "БАЛЛЕ РИСАЙТЛ I" дает свое последнее выступление в городе Дельфт 31 октября 1951 года. Соня с несколькими своими учениками уезжает в Париж.

Однако в Голландии продолжаются дискуссии о необходимости создания национального балетного театра. Назначается комиссия, состоящая из ведущих балетных критиков, которая склоняется к тому, что Соня Гаскель, с ее стремлением к созданию нового, продуктивной деятельностью и решительностью в подходе, больше

кого-либо другого достойна места руководителя театра. Но с этим согласны не все, и в конце концов предлагается компромисс - пригласить на первое время двух иностранных хореографов для отбора танцоров в будущий ансамбль.

Но, как не раз уже бывало в истории, дело решает случай. Директор Института народного образования в Гааге приглашает Соню Гаскель прочитать одну из ее знаменитых лекций и предлагает ей гонорар в размере 300 гульденов, что было немалой суммой по тем временам. Гаскель, получив это приглашение в Париже, не обратила на него внимание и, даже не прочитав, от кого оно, машинально положила письмо в карман пальто. Лишь несколько недель спустя, собираясь отдать пальто в чистку, она обнаружила приглашение и ответила согласием. Вновь собрав участников ансамбля "БАЛЛЕ РИСАЙТЛ I", 21 сентября 1952 года, она дает ставшую легендарной лекцию-концерт. По сегодняшний день неизвестно, откуда поклонникам Гаскель, заполнившим до отказа зал в две с половиной тысячи мест, стало известно об этой лекции. Потрясающий успех, восхищенные отклики критики и восторг публики подтолкнули Соню Гаскель к решению вернуться в Голландию и, на основе своей старой труппы, создать новый ансамбль - "БАЛЛЕ РИСАЙТЛ II". Танцевать в нем она пригласила своих учеников - Марианну Хиларидес, Яппа Флиера, Конрада ван дер Веттеринга и Руди ван Данцига.

В сентябре 1954 года было наконец-то принято официальное решение о создании в Гааге (а не при Амстердамском оперном театре, как предполагалось ранее) отдельного ансамбля Нидерландского балета, который стал первым балетным коллективом, субсидировавшимся правительством. Соня Гаскель была назначена руководителем этого ансамбля, ядро которого составили ее танцоры из "БАЛЛЕ РИСАЙТЛ II". Расширив состав нового коллектива до сорока танцоров, Гаскель, как всегда быстро, энергично и бескомпромиссно, заявляет о своей концепции: большие балетные спектакли из классического репертуара: "Жизель" А.Адана, балеты Михаила Фокина, Леонида Мясина, Сержа Лифаря, новые работы Мориса Бежара и первые хореографии молодых голландских артистов. В качестве гастролеров она приглашает таких звезд, как Виолетт Варди, Иветт Шовире и Светлану Березову. Выступления нового ансамбля предназначены уже не для узкого круга балетоманов, а для широкой публики, но в кальвинистской пуританской Голландии

это не так уж просто: у многих балет вызывает ассоциации с кафе-шантаном или кабаре. В одном из своих интервью Соня Гаскель рассказывает, что на первых выступлениях вид балетных пачек и голых ног танцовщиц вверг зрителей в шоковое состояние. А перед другим выступлением за кулисы явился пастор, который решил проверить, достаточно ли пристойна одежда балерин, в которой они собираются появиться на сцене. Но это курьезы, положение же в самом ансамбле вызывало тревогу. Уже в "БАЛЛЕ РИСАЙТЛ II" некоторые танцоры начали высказываться против политики "железной руки" Сони Гаскель. Но тогда это была маленькая труппа подвижников, в которой можно было поддерживать некое равновесие "мать-дети" или "любовь-ненависть". В большом ансамбле было куда сложнее контролировать подобную систему взаимоотношений. Руди ван Данциг: "Некоторых из нас все более охватывало чувство неудовлетворения. Гаскель была единственной преподавательницей в ансамбле, единственным репетитором, она принимала все решения. Это было слишком много для одного человека, но она ни с кем не хотела делиться полномочиями. Она все всегда делала одна и не могла, да и не хотела быть другой. Думаю, что она просто никому не доверяла вести занятия в классах и репетиции. Мы считали, что и она и мы нуждаемся в других людях, которые помогут нам. Когда однажды мы решились спросить ее, почему бы ей не взять в помощь еще одного балетмейстера, она была взбешена! Она работала очень-очень тяжело, и мы были на грани истощения. Сейчас, глядя назад, я могу понять ее позицию, но не до конца. Жаль, что она все воспринимала как личные выступления против нее в то время, как мы хотели сделать как можно лучше для ансамбля".

В 1959 году группа танцоров Нидерландского балета вышла из состава этого ансамбля и организовала "Нидерландский театр" (NIDERLAND DANS THEATER). Среди ушедших были лучшие и любимейшие ученики Сони Гаскель: Ханс ван Манен, Тур ван Схайк и Руди ван Данциг. Через два года было принято решение перевести ансамбль Нидерландского балета в Амстердам и объединить его с балетной труппой Амстердамской оперы под общим названием Нидерландского национального балета (HET NATIONALE BALLET), руководимого Соней Гаскель. Три года спустя в составе ансамбля уже насчитывается 96 танцоров и в его репертуаре более 60 балетных спектаклей, уже существует и своя балетная школа,

студенты которой нередко присоединяются к выступлениям основной труппы. Правда, этого "национального" пополнения не всегда хватает, и Соня Гаскель часто приглашает на долгосрочные контракты талантливых артистов из-за рубежа. Каждый сезон Гаскель стремится ввести в существующий репертуар от 8 до 10 новых постановок, и это в дополнение к тому, что ежегодно восстанавливаются несколько репертуарных спектаклей, которые не танцевались в прошедшем сезоне. Мечта Сони Гаскель наконец-то осуществляется: Нидерландский национальный балет становится коллективом, где танцоры одновременно танцуют и балетную классику и работы современных хореографов: от одного из старейших в мире балетных спектаклей "Проделки Купидона" (1786 год!), через романтическую классику - "Сильфида", "Жизель", "Спящая красавица", "Лебединое озеро", "Баядерка" и возобновленные спектакли дягилевской труппы - "Шопениана" ("Сильфиды") Фокина, "Жар-Птица", "Петрушка", до наисовременнейшего репертуара - "Зеленый стол" Курта Йосса, "Мрачные элегии" Энтони Тюдора, хореографии Поля Тейлора и Перл Янг, и конечно же, Джорджа Баланчина, любимого Соней Гаскель - "Сомнамбула", "Кончерто барокко", "Серенада", "Четыре темперамента", "Симфония в 'До'"... Для подготовки такого огромного и разнообразного репертуара она приглашает Наталью Орловскую из Москвы, которую затем сменила Елена Чкваидзе, Игоря Бельского из Ленинграда, Кареля Шука из США, Ролана Касенаву из Парижа; уроки техники американского современного танца ведет Карен Канер. Кстати, именно Наталья Орловская поставила с танцорами Нидерландского национального балета Сони Гаскель два дивертисмента: "Весенние воды" и "Московский вальс", которые до этого исполнялись на Западе лишь представителями советской балетной школы. Весь этот плюрализм направлений и интернациональный состав труппы Соня Гаскель называет "маленькими Объединеными Нациями". Что же касается амбициозного, по определению некоторых, репертуара, то она объясняет его тем, что в Голландии нет слоя страстных балетоманов, как в Нью-Йорке или Лондоне, и необходимы постоянные премьеры, новые спектакли, дабы поддерживать постоянно интерес голландской публики к балету. По ее мнению, Нидерландский национальный балет должен иметь в своем репертуаре "балетные жемчужины" как классического направления, так и современного. "У нас есть балетные школы для танцоров, но единственной школой для хореогра-

фов и публики остаются талантливые работы других мастеров балета", - говорит она. И с гордостью называет имена трех голландских хореографов, постановки которых входят в репертуар Нидерландского национального балета: Конрад ван де Ветеринг, Роберт Карсен и Руди ван Данциг. Да, да, тот Руди ван Данциг, который с группой коллег оставил ее ансамбль в 1959 году и основал "Нидерландский танцевальный театр". Соня Гаскель - один из считанных руководителей-хореографов, подготовивших своего преемника. И сделала она это, как и свойственно ей, весьма необычным путем. Руди ван Данциг:

"Проработав в Нидерландском танцевальном театре один год, я ушел из ансамбля, ибо чувствовал, что меня ограничивают как хореографа. Год не танцевал вообще, а потом получилось так, что я дал интервью, в котором сказал, что Соня Гаскель создала меня как танцора и хореографа, и я бесконечно уважаю ее, несмотря на разногласия и противоречия между нами. Я знал, что моя откровенная оценка ее достойных качеств будет не всеми воспринята с одобрением, но я был обязан сделать это, пусть даже для собственного хорошего ощущения. И я сделал это."

Примерно через полгода после этого интервью Соня Гаскель должна была поехать со своим ансамблем на гастроли в Париж, и в репертуар был включен хореографический спектакль Руди ван Данцига. Она пригласила его для репетиций, и ван Данциг согласился на весьма "гаскелевских" условиях: не имея возможности оплатить его работу, она разрешает ему участвовать в балетном классе известного ленинградского хореографа Игоря Бельского, работавшего в то время с Нидерландским национальным балетом. Ван Данциг согласился. "В одно прекрасное утро Соня зашла в студию и спросила: 'Что ты делаешь здесь? Ты не танцор ансамбля и у тебя нет никакого права принимать участие в этом уроке'. Мы вместе прошли в ее оффис и она заявила, что не помнит ни о каком соглашении и, если я действительно так уж хочу принимать участие в этих занятиях, то должен вернуться в ансамбль. Я был очень расстроен, но поразмыслив, решил, что возвращаюсь. Гаскель добилась своего. Это было так характерно для нее. Однако она ни на йоту не изменилась. Гаскель была, как мне кажется, безумно одинока. Она очень тяжело восприняла уход ее лучших танцоров, создавших Нидерландский танцевальный театр, и никогда не простила им: они были ее любимцами, они были лучшими ее

танцорами, она создала их, а они оставили ее. Но наши с ней взаимоотношения изменились: она знала, что я уважаю ее и, как мне кажется, отвечала взаимностью. Как бы то ни было, когда наш ансамбль стал Национальным балетом, Гаскель присоединила меня и Роберта Карсена к составу художественного руководства, объявив, что я займу ее место после ее ухода. Она сделала это."

3 января 1966 года в зале Амстердамского оперного театра состоялся торжественный вечер, которым был отмечен 20-летний юбилей деятельности Сони Гаскель в Голландии. Балетный критик Арнольд Хаскелл, посвятивший этому событию статью в лондонском журнале "The Dancing Times", описывает украшенную цветами сцену, на которой министр культуры объявил о присвоении Соне Гаскель титула кавалера ордена "Orange Nassau" - одной из высших наград королевства Нидерландов, которой впервые в Голландии удостоена деятельница балета. Арнольд Хаскелл с гордостью вспоминает, что в 1954 году именно он и немецкий балетмейстер Курт Йосс в своих рекомендациях голландскому правительству назвали Соню Гаскель единственной достойной претенденткой на пост руководителя Голландского национального балета. Описав достижения ансамбля, он заканчивает статью словами: "Браво, Соня Гаскель!"

Примерно через два года после юбилея, в 1968 году, Соня Гаскель передает руководство Нидерландского национального балета Руди ван Данцигу. Она скончалась в Париже 9 июля 1974 года, на несколько месяцев пережив свое 70-летие. Соня Гаскель, еврейская девочка из литовского городка Вилкавишки, Великая Жрица голландского балета.

В статье использованы материалы из следующих источников:

1. Schaik Eva van. Op gespaanen voet. Dans Magazine, July 1964.
2. Anderson Jack. Big company in small country. Там же.
3. Haskell Arnold L. Sonia Gaskell jubilee. The Dancing Time, March 1966.
4. Loney Glen. Evolution of an ensemble: Rudi van Danzig on the National Ballet of Holland. Dans Magazine, March 1974.

МУЗЫКА

Редактор Яаков Сорокер

“Темперамент и грусть“.
Скрипач Наум Блиндер (1889-1965)

Яаков Сорокер (Израиль)

Идеальный скрипач: Яша Хейфец

Белла Бергинер-Тавгер (Израиль)

Натан Мильштейн

Эрнст Зальцберг (Канада)

“Брамин со скрипкой:

Яаков Сорокер (Израиль)

Плодотворный опыт Модеста Альтшулера

Виктор Юзефович (США)



"Темперамент и грусть". Скрипач Наум Блиндер (1889-1965)

Яаков Сорокер
(Иерусалим)

Уже стало тривиальным говорить о скрипке как о "сугубо еврейском инструменте". Наверное, это началось с Шолом-Алейхема. Помните его рассказ "Скрипка"? "Скрипка - лучший, замечательнейший инструмент... Первый скрипач на свете был Тувалкаин[1]... Второй скрипач был царь Давид, третий - Паганини звали его, тоже еврей. Все лучшие скрипачи в мире - евреи"[2].

Впрочем, как хотите... но ведь создал же венгерский еврей Леопольд Ауэр петербургскую скрипичную школу, из которой вышли Миша Эльман, Иосиф Ахрон, Эфраим Цимбалист, Мирон Полякин и "король скрипачей" Яша Хейфец. А крупнейшие скрипачи Польши Генрик Венявский и Бронислав Губерман? А Петр Столярский и его одесская "фабрика талантов", давшая миру Натана Мильштейна, Давида Ойстраха, Бориса (Бусю) Гольдштейна? А Фриц Крейслер, о котором Бруно Вальтер сказал: "Крейслер не просто играет на скрипке, он сам олицетворяет собой скрипку"? А Ида Хендель, вот уже более полувека не уступающая мирового первенства среди скрипачек? Некоронованным королем скрипачей в наши дни признан 50-летний израильтянин Ицхак Перельман.

Сейчас пойдет речь о скрипаче, не сделавшем карьеры Хейфеца или Ойстраха, но ничуть не уступавшем им в таланте и художественной индивидуальности. Имя его Наум (Нахум) Блиндер. Он родился в Евпатории (Крым), в семье врача. С детства проявлял исключительное дарование. Учился у прекрасного педагога (со "скрипичной" фамилией) Рувима Фидельмана, ученика Ауэра и первого учителя Эльмана. После Фидельмана Науму крупно повезло: он попал в руки Адольфа Бродского - того самого, кому Петр Ильич Чайковский посвятил свой Скрипичный концерт, после того как Леопольд Ауэр, не оценив по достоинству это необычное для того времени сочинение, отказался стать его первым исполните-

лем[3]. В конце прошлого века Бродский, к тому времени прославившийся как профессор Московской, Лейпцигской и Манчестерской консерваторий, посетил Одессу, и тут к нему "косяком", как говорят одесситы, хлынули местные вундеркинды. Более всего впечатлил гостя Нюма Блиндер. Бродский взял его с собой в Манчестер, стал его ментором и в июле 1910 года написал о своем абитуриенте: "Сим удостоверяется, что ученик скрипичного класса Наум Блиндер окончил курс Королевской Манчестерской консерватории с блестящим успехом. На публичном экзамене он вызвал всеобщий восторг. Я его считаю уже теперь одним из выдающихся скрипачей нашего времени. Д-р Адольф Бродский, директор Королевской Манчестерской консерватории"[4].

Из Англии Блиндер возвратился в полюбившуюся ему с детства Одессу. Чтобы напомнить о себе, молодой виртуоз дал концерт в знаменитом Зале Биржи - своего рода одесском "Карнеги-Холле". Успех был полным, и его приглашают на должность профессора консерватории, а кроме того, дают место 1-го скрипача квартета Русского Музыкального Общества.

Но вспыхивает война, мобилизации подлежат все, в том числе и Наум. "Жизнь консерватории за истекший 1915-16 год, - писала одна одесская газета, - испытала много затруднений. По мобилизации в ноябре 1915 года Блиндер был взят на военную службу. Никакие хлопоты не могли предотвратить этого факта, и консерватория лишилась одного из талантливейших сотрудников, а квартет потерял свою первую скрипку. Художественной жизни нанесен удар, острота которого чувствуется поныне".

Одесский период, длившийся 10 лет (1911-20), завершается по демобилизации Блиндера: его приглашает в Москву народный комиссар просвещения А.Луначарский. В 1920-27 гг. Блиндер - ведущий профессор Московской консерватории и концертант-солист. В этой роли ему довелось быть одним из первых исполнителей Скрипичного концерта А.Глазунова (посвященного Л.Ауэру), в том числе и с оркестром под управлением самого композитора. Другие партнеры скрипача в симфонических концертах были такие дирижеры, как О.Клемперер и О.Фрид, а в камерной музыке - пианист Г.Нейгауз. В 20-х годах Блиндер выступает также и с сольными реситалями в городах России и Украины (Москва, Ленинград, Киев, Харьков, Одесса и др.).

Особенно теплые творческие отношения завязываются у Блин-

THE ROYAL

MANCHESTER COLLEGE OF MUSIC.

STANLEY WITHERS, REGISTRAR.

Манчестер

26 Июня 1916 года.

Сим удостоверяется, что ученица сержантских классов Петрогр. Консерватории Елизавета Ивановна Кузина была принята в Манчестерскую Королевскую Школу Музыки со вступительным испытанием по музыкальным знаниям и игре на скрипке в сентябре 1914 г. и с тех пор до настоящего времени.

(Директор Школы Вальтер Вейлер)

Заведующая Бюро Информации Дирекции Королевской Манчестерской Консерватории

дера с еврейскими музыкальными деятелями - композиторами М.Гнесиным и Й.Энгелем, пианистом, профессором Московской консерватории Давидом Шором[5], скрипачом Л.Цейтлиным, организатором первого в мире оркестра без дирижера - "Персимфанса", солистом которого, среди других, выступал и Наум Блиндер.

Михаил Гнесин рассказывал Блиндеру о своих путешествиях в Эрец-Исраэль в 1914 и 1922 годах, о своих сочинениях, связанных с библейской тематикой, с фольклором и образами древней родины евреев.

Скрипач загорелся желанием посетить Страну Обетованную. Однако путь этот, уже в те годы, был непрост и нелегок. Он решил действовать "обходным маневром": добился визы в Турцию, где выступил с шестью концертами в Константинополе. Успех и отклики прессы об артисте были таковы, что сам Мустафа Кемаль, прозванный Ататюрк ("Отец турок"), первый президент Турецкой республики[6], приглашает Н.Блиндера в Анкару и после выступления в президентском дворце вручает ему почетную награду турецкого правительства.

Из Анкары - рукой подать в Тель-Авив. И вот 18 марта 1926 года Блиндер дает концерт в местном зале "Эден". Публика и газеты по достоинству оценили искусство скрипача. Израильский поэт, прозаик, сионистский деятель Авигдор Хамеири писал в статье "Игра Нахума Блиндера" ("Хаарец", 19.03): "Я все еще нахожусь под впечатлением его скрипки и не представляю себе, как можно писать о Блиндере объективную рецезию?! Я ощущал (и, уверен, все сидевшие в зале) что-то особое, неповторимое, что присуще ему и что, невидимыми нитями, связывает нас с ним. Но что, что именно? И лишь в антракте я услышал, как простой еврей, не то из Одессы, не то из Киева, изрек то, о чем мы думали, но сказать не сумели: 'Ер хат а идишн таам!' (На идише: 'Его игра по-еврейски вкусна!')... В чем проявляется еврейство Блиндера-скрипача? По-моему, в двух вещах: в его еврейском темпераменте и в извечной еврейской грустной ноте. В этом весь Блиндер - скрипач с истинно еврейской душой".

Отмечу, что центральным номером программы был Концерт Чайковского, который Блиндер в свое время включил в репертуар, получив его от самого Адольфа Бродского, первого исполнителя посвященного ему произведения.

По возвращении в Москву Н.Блиндер столкнулся с волной не-

приязни со стороны организаторов концертной жизни. Раздавались, впрочем, и другие голоса. В частности, ученый и музыкальный критик, профессор Евгений Браудо писал в "Правде" (25 января 1927): "Не совсем понятно, почему один из наиболее видных русских скрипачей, профессор Московской консерватории Н.Блиндер, так редко выступает в Москве. У Блиндера в наличии все качества, необходимые, чтобы увлечь широкую аудиторию: прекрасный, сильный тон, выпуклая фразировка, разнообразный репертуар <...>. При таком мастерстве отсутствие его выступлений в Москве несомненно составляет пробел в нашей концертной жизни".



Ни этот, ни другие подобные ему голоса не изменили, однако, официального отношения к Блиндеру, и в 1927 году он покидает Россию. Сперва едет в Японию, где дает 7 концертов в Токио и 23 в других городах страны, а затем - через Гонолулу, что на Гавайских островах, - в США.

1 января 1928 г. Н.Блиндер прибывает в Нью-Йорк. Преподает в "Институте музыкального искусства" (ныне знаменитая Джульярдская школа) и выступает в концертах - солистом и в составе квартета.

С 1932 года Блиндер, по рекомендации Исайя Добровейна (он же Ицхок Барабейчик - пианист, игравший Ленину бетховенскую "Аппассионату"...), назначен помощником концертмейстера, а вскоре концертмейстером симфонического оркестра Сан-Франциско (уже в те годы одного из лучших в мире) - должность, на коей скрипач проработал 25 лет. Тогда же организует смычковый квартет, выполняя в нем должность первого скрипача и руководителя в течение 20 лет.

Блиндер один из старейших концертмейстеров ("первых скрипачей") США - страны богатейших традиций исполнения симфонической музыки оркестрами, признанными непревзойденными, и среди них оркестр "столицы" американского Запада - Сан-Франциско. Уйдя на пенсию в 1957 (в возрасте 68 лет), он был удостоен титула Concertmaster emeritus (Заслуженный концертмейстер). Тогда же американская газета писала, что "Наум Блиндер - один из первоклассных концертмейстеров, проработавший 25 лет и (в отличие от многих его коллег) не стремившийся сменить смычок на дирижерскую палочку"[7].

Кафедру скрипки консерватории в Сан-Франциско Н.Блиндер возглавлял с 1932 года и последний урок провел за месяц до своей кончины. В его классе воспитывались такие скрипачи, как Исаак Стерн (в 1932-37 гг.), Глен Диктеров, Давид Абель, Аустин Реллер, Натан Рубин, Сабина Скалар и другие. Скрипач И.Стерн не нуждается в том, чтобы мы его представляли читателю. Он называет Наума Блиндера своим "основным педагогом" и добавляет: "Блиндер научил меня, как нужно самому учиться - а это главное назначение учителя"[8]. Ту же мысль подтверждает и сам Блиндер: "И.Стерн, бывший моим учеником, обладает большим дарованием. Но, что не менее важно, также умением учиться на своих ошибках"[9]. Не без гордости говорит заслуженный педагог о том, что воспитал девять скрипачей, принятых на работу в симфонический оркестр Сан-Франциско: "Они были приняты в этот, едва ли не лучший в США оркестр, отнюдь не по моей рекомендации или от моего имени, а на основе своих собственных достоинств. Лишь после прохождения ими всех туров конкурса, они открыли 'тайну', сообщив, что являются моими воспитанниками"[10].

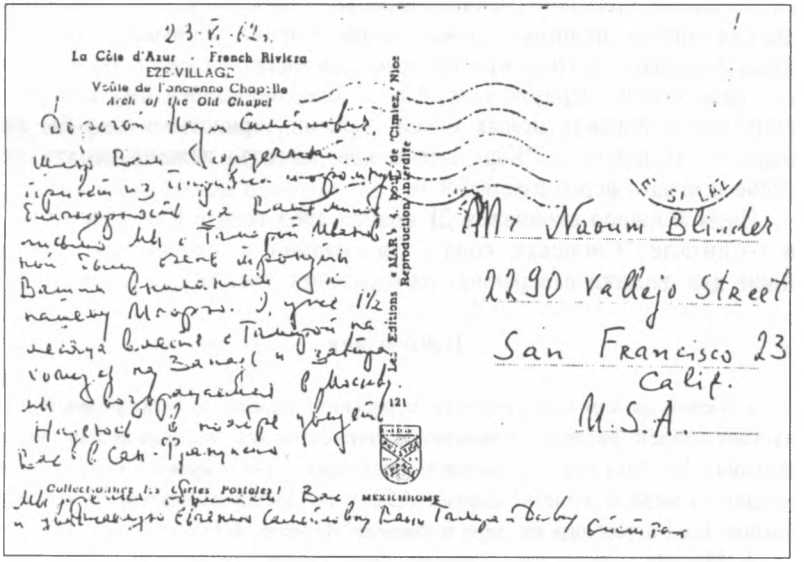
15-летний Стерн дебютировал в Сан-Франциско, сыграв с Блиндером Концерт Баха для 2-х скрипок в сопровождении оркестра. Блиндер же подготовил Стерна к концерту-дебюту в Нью-Йорке (октябрь 1937 г.). Другой питомец Блиндера - Диктеров - стал лауреатом конкурса имени Чайковского в 1970 году, а позднее концертмейстером нью-йоркского и сан-францискского оркестров.

Многолетняя дружба связывала двух крупнейших скрипачей современности - Наума Блиндера и Давида Ойстраха (который был младше на 19 лет). В 20-х годах он слушал Блиндера в Одессе и, как пишет историк скрипичного искусства Борис Шварц, "был впечатлен его широким, певучим смычком и поэтической интерпрета-

цией“[11]. В своей статье “Гастроли в США“ (раздел “Музыканты Америки“) Д.Ойстрах пишет: “Более молодое поколение американских скрипачей воспитано в большинстве своем русскими профессорами. Так, один из крупнейших исполнителей США Исаак Стерн является учеником Наума Блиндера“[12].

Во время своих многочисленных посещений США, в перерывах между репетициями и выступлениями, Давид Ойстрах (и нередко его сын, концертирующий скрипач, Игорь) посещали гостеприимный дом Наума и Евгении Блиндер в Сан-Франциско. “Дорогой Наум Семенович, - писал Д.Ойстрах 23 июня 1962 г., - шлю Вам сердечный привет из Парижа и огромную благодарность за Ваше милое письмо. Мы с Тамарой Ивановной (жена Д.Ойстраха. - *Я.С.*) были очень тронуты Вашим вниманием к нашему Игорю. Я уже полтора месяца вместе с Тамарой нахожусь на Западе, и завтра мы возвращаемся в Москву. Надеюсь в ноябре увидеть Вас в Сан-Франциско. Мы крепко обнимаем Вас и уважаемую Евгению Самойловну. Ваши Тамара и Давид Ойстрах“.

Другой прославившийся на весь мир одесский скрипач Натан



Открытка Д. Ойстраха Н. Блиндеру. Публикуется впервые

Мильштейн (младше Блиндера на 14 лет) слушал его игру в Одессе (10-е годы). "Наум Блиндер, - писал Мильштейн в последние годы жизни, - был очень хорошим скрипачом с истинно европейской выучкой. <..> Вспоминаю его исполнение 1-го концерта Прокофьева. Звучание было изящным и одновременно качественно-добротным, но порой что-то, лично мне, мешало ощутить аромат и поэтичность музыки"[13].

Американский музыковед и историк скрипичного искусства Анри Рот, слушавший Блиндера в американский период его жизни, пишет: "Он очаровал меня своим выдающимся талантом, неповторимым техническим мастерством, могучей экспрессией, богатым звуком и музыкальностью, отмеченной тончайшим вкусом. При других, более благоприятных обстоятельствах, Блиндер мог бы сделать блестящую мировую карьеру"[14].

Подводя итоги своей музыкальной жизни, Наум Блиндер формулирует некоторые основы своей педагогики и мировоззрения: "Скрипка - инструмент жестокий и бессердечный. Тот, кто желает овладеть ею, должен стать ее ...рабом... Артист обязан подчиняться велениям времени. Он обязан расти. Он не может жить одними достижениями прошлого, почивать на лаврах... Пример Яши Хейфеца убеждает в том, что прогресс большого артиста зависит от его решимости свернуть с тропы юности, принесшей ему славу, и ринуться в поисках новых путей, какими тернистыми они бы ни были"[15]. И наконец: "Куда легче критиковать, нежели стоять на сцене и играть перед публикой"[16].

Наум Блиндер скончался 21 ноября 1965 года в Сан-Франциско, в госпитале "Сионская гора". Он оставил, к сожалению, всего лишь два десятка наигранных на пластинки пьес малой формы.

Примечания

1. Герой шолом-алейхемовского рассказа (Нафтоле Безбородько) допускает (волею автора, желавшего подчеркнуть его постыдное для еврея незнание Библии) грубую ошибку: он путает Тувалкаина - "ковача всех орудий из меди и железа" (Бытие, 4:22) с его сводным братом Иувалом - "отцом всех играющих на лире и свирели" (Бытие, 4:21).

2. Мнение о том, что Паганини был евреем по происхождению, не просто домысел героя рассказа "Скрипка": его высказывали и некоторые современники и биографы легендарного скрипача. Ф.Матиессон, в частно-

сти, писал о "еврейских чертах лица" Паганини. Известна его соната, озаглавленная "Синагога", очевидно, плод впечатлений композитора от еврейской религиозной службы. На рисунке И.Лизера (немецкого писателя и художника) Паганини изображен играющим в окружении некоих "персонажей" и магических знаков его музыки. В их числе шестиконечная "Звезда Давида" - Маген-Давид. (См. иллюстрацию в кн.: Израиль Ямпольский. Никколо Паганини. М., 1961. С.73).

3. Скрипач А.Бродский исполнил впервые Концерт Чайковского в Вене 21.11.1881 г. На второй день крупнейший в те годы критик Э.Ганслик писал в газете "Neue Freie Presse": "Финал Концерта г-на Чайковского вызывает в уме дикие, грубые лица, ругань, дыхание, затрудненное водкой..." На портрете, подаренном Бродскому, композитор написал: "Воссоздателю концерта, признанного неисполнимым, от благодарного Петра Чайковского".

В наши дни Скрипичному концерту Чайковского принадлежит одно из первых мест среди любимых исполнителями и публикой классических скрипичных концертов.

4. Здесь и далее цитируются некоторые материалы, любезно посланные скрипачом, композитором и музыкальным писателем Михаилом Гольдштейном (1917-1989). Приведенный фрагмент газетной заметки - без выходных данных. М.Гольдштейн писал автору (в письме от 1 марта 1988 г. из Гамбурга): "В январе с.г. был в Америке. Дал 4 концерта в Калифорнии с большим успехом. Силы нашлись (после перенесенной тяжелой операции. - *Я.С.*) сыграть трудную программу. В Сан-Франциско посетил вдову Наума Блиндера. Ей уже 92 года. Была интереснейшая беседа... Надо рассказать правду о Блиндере. В будущем году 100 лет со дня его рождения. Надо отметить эту дату..."

5. Об Й.Энгеле см. подробнее статью автора "Говорят, есть такая страна" ("Евреи в культуре Русского Зарубежья", вып.2, Иерусалим, 1993). После репатриации Энгеля, в 1927 г., Блиндер вел с ним переписку.

Давид Шор (1867-1942) - пианист и музыкальный деятель, профессор Московской консерватории, репатриировался в 1927 г., был активным строителем музыкальной жизни Эрец-Исраэль вплоть до последних дней жизни. До репатриации Д.Шор, вхожий в Кремль как участник концертов для советских руководителей, неоднократно ходатайствовал (порой с успехом), чтобы сионистским деятелям России ссылка была заменена высылкой в Палестину.

6. По мнению некоторых биографов Ататюрка, его род восходит к

секте Денме - евреев из города Салоники, вслед за лжемессией Саббатаем Цви перешедших в ислам.

7. Naoum Blinder Celebrates 25th Year as Concertmaster. By Rafael Kammerer. "Musical America". Jan. 1, 1957. Далее ссылки на эту статью-интервью даются сокращенно: 25th Year as Concertmaster.

8. Henry Roth. Great Violonists in Performance. Critical Evaluations of over 100 Twentieth-Century Virtuosi. Los Angeles, 1987. P.86.

9. 25th Year as Concertmaster.

10. Там же.

11. Boris Schwarz. Great Masters of the Violin from Corelli and Vivaldi to Stern, Zukerman and Perelman. New York, 1983. P.451-452.

12. Давид Ойстрах. Гастроли в США. "Сов. культура", 1956, 24 янв.

13. From Russia to The West. The Musical Memoirs and Reminiscences of Nathan Milstein by Nathan Milstein and Solomon Volkov. Translated from Russian by Antonina W.Bouis. <...> Henry Holt and Comp. N.Y.,1990. P.36.

14. Henry Roth. Указ. соч. С.190.

15. 25th Year as Concertmaster.

16. Там же.



Идеальный скрипач: Яша Хейфец

Белла Бергинер-Тавгер
(Иерусалим)

Я росла в семье врачей и химиков, но в доме любили музыку, особенно скрипку. С раннего детства я привыкла к звукам классической музыки - радио, граммпластинки, концерты, не говоря уже о насвистывании, напевании и наигрывании на скрипке моего отца. А с 5 лет и меня стали обучать игре на скрипке. Естественно, имена многих музыкантов - композиторов, дирижеров, инструменталистов, певцов - часто упоминались в нашем доме и были мне известны.

Имя Яши Хейфеца выделялось среди остальных. Это было не имя, это была легенда. Что-то похожее на Паганини, но из другой сказки. Паганини был итальянцем, жившим давным-давно, возможно сотни лет назад. Он играл так виртуозно, что всем вокруг было ясно: обычный человек так *не может*, значит тут замешана нечистая сила, дьявол... От рассказов о его игре на одной струне, когда, неведомо почему, рвались одна за другой остальные, захватывало дух и становилось страшно - как бывает в детстве после сказки, когда боишься одиночества и темноты...

Яша Хейфец - это было тоже что-то сказочное, легендарное, но не страшное, не демоническое: он был символом Скрипичного Гения, Идеального Скрипача. И поэтому совсем неважно было, жив ли он или давно умер, такой вопрос просто не возникал по отношению к Абсолютному Скрипичному Совершенству. И также не имело значения, в каком месте земного шара он живет или жил ког-

да-то: Абстрактный Идеальный Скрипач - вне времени и пространства...

От имени Хейфеца тоже захватывало дух, но, в отличие от Паганини, страшно не было. Может быть потому, что его так просто звали - Яша, и это как-то подсознательно связывало его с близкой, реальной, "остап-бендеровской" Одессой, со школой Столярского - школой "имени мене"[1]. А может, в детском мозгу даже такого ассимилированного ребенка, каким была я, сочетание "Яша Хейфец" воспринималось как что-то свое, родное, еврейское.

В отличие от многих других музыкантов, чьи имена мне были известны с детства, Яшу Хейфеца мне никогда не пришлось услышать в концерте, в *живом* исполнении. И только много лет спустя, будучи уже взрослым музыкантом с большим профессиональным опытом, я узнала про *реального* Яшу Хейфеца то, что я знаю о нем сейчас.

Начало музыкальной жизни Яши Хейфеца - это почти начало Моцарта: отец - Рувим, скрипач, начал обучать сына игре на скрипке в три года[2]. Но в отличие от Леопольда Моцарта отец Яши Хейфеца быстро понял, что сын "перерос" его, и отдал мальчика известному в Вильне педагогу Илье Давидовичу Малкину (ученику Леопольда Ауэра). В 5-6 лет Яша уже выступает публично (в том числе - с Концертом Мендельсона). С 10 лет он - студент Петербургской консерватории.

С профессиональной точки зрения мальчику-"вундеркинду" не представляло труда поступить в консерваторию. Однако требовалось разрешение на проживание в Петербурге, находящемся за "чертой оседлости". Да и как можно было оставить 10-летнего ребенка одного в далеком, официальном и холодном городе?

Выход нашли профессор Л.Ауэр и директор Петербургской консерватории А.Глазунов: в студенты были зачислены сразу два скрипача - Иосиф (Яша) и Рувим Хейфец (отец). Их имена и сейчас еще можно найти в архивах Петербургской консерватории (список класса Ауэра, 1911-1916 годы[3]). Как пишет Л.Раабен, А.Глазунова даже прозвали "царем иудейским"[4], так успешно он умел добиваться "вида на жительство" в Петербурге для одаренных еврейских студентов. Об этом же вспоминает Д.Шостакович: "М.Гнесин рассказал мне, что перед Революцией премьер-министр Столыпин послал запрос в консерваторию: сколько там студентов-евреев? И Гнесин, еврей, с радостью передал мне ответ Глазунова: 'Мы не считаем'.

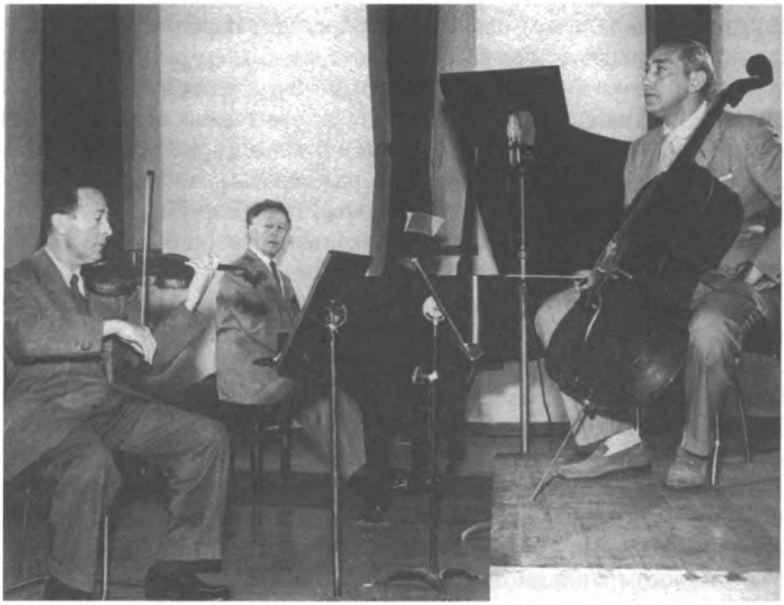
И это были годы погромов, когда евреи <...> были очень сильно урезаны в правах. Им не разрешалось учиться в вузах. Такой независимый и даже вы-

зывающий ответ мог создать проблемы для Глазунова. Но он не боялся. Антисемитизм был ему органически чужд. В этом смысле он следовал традиции Римского-Корсакова...

Каждый еврейский музыкант знал, что Глазунов сделает все, чтобы достать ему разрешение жить в Петербурге. Глазунов <...> твердо знал, что каждый имеет право жить там, где ему хочется, и искусство не пострадает от этого[5]".

Будучи студентом Петербургской консерватории по классу Л.Ауэра, Яша в 1912 году впервые с огромным успехом выступил в Европе - в Берлине и был приглашен сыграть с оркестром под управлением А.Никиша Концерт Чайковского. В последующие годы, выезжая вместе с Л.Ауэром на лето в Германию и Норвегию, Яша Хейфец играл в концертах, вызывая восхищение слушателей (в их числе короля и королевы Норвегии[6]).

В 1917 году Хейфец получил приглашение на концерт в США. Благодаря этому вся его семья - родители и две сестры - весьма вовремя - покинула Россию и после утомительной, долгой поездки через Сибирь и Японию прибыла в США. 27.10.1917 г. Яша Хейфец, в сопровождении пианиста Андре Бенуа, дал свой первый кон-



Яша Хейфец, Артур Рубинштейн, Григорий Пятигорский

церт в нью-йоркском Карнеги-Холле. Программа включала произведения Вивальди, Моцарта, Бетховена-Ауэра, Шуберта ("Ave Maria"), Шопена-Вильгельми, Венявского, Чайковского и Паганини-Ауэра.

Это был триумф 16-летнего скрипача, который немедленно и единогласно был признан гением (что, однако, "не помешало" ему прождать "положенные" 8 лет, прежде чем получить американское гражданство).

С тех пор Яша Хейфец покидал США только для концертов (в Европе, Америке, Азии, Австралии). В Россию он приезжал один раз, в 1934 году[7].

У Хейфеца было несколько скрипок и смычков. В концертные турне он ездил обычно с двойным футляром, в котором покоились две его лучшие скрипки - Страдивариус и Гварнери дель Джезу, 1742 года. Из смычков он долгое время предпочитал тот, что подарил ему профессор Л.Ауэр.

Яша Хейфец неоднократно приезжал с концертами в Палестину-Израиль. Как пишет Я.Сорокер, еще в 1926 году он передал выручку от своих концертов в фонд культурных нужд Тель-Авива[8]. Неожиданно скандальным оказался его приезд в Израиль в 1953 году. Скрипач включил в программу одного из концертов произведение Рихарда Штрауса - музыку которого в Израиле не играли в знак протеста против сотрудничества композитора с нацистами во время второй мировой войны. Это вызвало не только критические статьи в газетах, но и попытку одного из разгневанных слушателей разбить скрипку музыканта во время концерта в Беэр-Шеве[9].

Яша Хейфец славился исключительной требовательностью к самому себе, к своей игре. В этом он всегда оставался суперперфекционистом. Поэтому он никогда не давал чрезмерно большого количества концертов. И не один раз Хейфец вообще прерывал на длительное время концертную деятельность (например, с апреля 1947 до января 1949 года). После 1972 года и до конца жизни (Яша Хейфец умер в 1987 году) он не выступал.

В выборе партнеров для ансамблевой игры Хейфец был очень строг и требователен. И если уж он находил подходящих партнеров, то работал с ними годами. Так было с виолончелистом Григорием Пятигорским, который стал одним из его самых близких друзей, альтистом Уильямом Примрозом, пианистом Артуром Рубинштейном.

Яша Хейфец играл и на других инструментах, хотя не считал эту игру серьезным делом. Так, он любил аккордеон, хорошо владел фортепиано.

Перу Хейфеца принадлежит очень большое количество транскрипций произведений мировой музыки для скрипки. Писал он и собственные сочинения, но они мало известны. Объяснение этому дает один из биографов скрипача, доктор Герберт Р.Аксельрод: "Его музыка не была популярной, потому что он сам записывал ее на пластинки, и очень немногие скрипачи хотели, чтобы их непосредственно сравнивали с Хейфецом![10]"

Яша Хейфец, "Король", "Император" скрипачей считал, что жизнь музыканта должна быть насыщенной, разносторонней, что он не должен замыкаться на многочасовых каждодневных занятиях, и он не тратил свой день на одни лишь технические упражнения. Еще в интервью 1918 года он говорил: "Я не думаю, что мог бы вообще прогрессировать, если бы занимался по 6 часов в день. Прежде всего, я никогда не верил в слишком большое количество занятий ... это так же плохо, как заниматься слишком мало! И потом - есть еще так много других вещей, которыми я люблю заниматься".

Он знал несколько языков, любил работу в своем саду, коллекционировал почтовые марки, занимался спортом - теннис, пинг-понг, плавание, лодки, яхты, знал толк в автомобилях и даже приобрел автомашину с электромотором как символ борьбы с ужасающим загрязнением воздуха в Лос-Анджелесе. В юности был страстным фотолюбителем, участвовал в костюмированных вечерах, в дружеских "розыгрышах". Все, кому посчастливилось быть близкими к Яше Хейфецу (а допускал он к себе далеко не всех, бескомпромиссно отстаивая свое право на обычную семейную жизнь, на круг близких друзей, вдали от репортеров и прочих "охотников за сенсациями"), подчеркивают его прекрасное чувство юмора - на занятиях со студентами, например, он уморительно имитировал на скрипке характерные типы учеников и их недостатки.

Яша Хейфец всегда старался, чтобы головокружительная карьера не отбирала его у семьи[11]. Он мечтал, чтобы хоть кто-нибудь из детей пошел по его стопам. И как в свое время его отец, Яша Хейфец дал первый урок скрипки своему младшему сыну, когда тому исполнилось 3 года. Но мечты эти не осуществились, и никто из детей великого скрипача не стал "вторым Хейфецом".

Из класса Хейфеца (он преподавал с 60-х годов в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе) тоже не вышло большого числа выдающихся скрипачей. Наиболее известные его ученики - Эрик Фридман (с которым Хейфец даже играл вместе) и Юджин Фодор, с успехом участвовавшие в Международном конкурсе им. П. И. Чайковского в Москве.

Стремясь к совершенству и в педагогике, он тщательно и придирчиво отбирал учеников в свой класс, нисколько не стремясь увеличить его, требовал строгой дисциплины от студентов, начиная с педантичной точности во времени начала урока (среди студентов Академии музыки в Иерусалиме бытует легенда, переданная "по наследству" от предыдущих поколений израильских музыкантов, учившихся в США, о том, что Яша Хейфец запрещал входить в класс не только опоздавшим на несколько секунд, но и явившимся ... раньше на полминуты).

Принципы педагогики Хейфеца основывались на художественном направлении и методике его петербургского учителя - профессора Л.Ауэра[13], которого Хейфец всегда ценил исключительно высоко[14]. Яша Хейфец был сознательным продолжателем и "пропагандистом" русской школы в скрипичной игре и преподавании скрипки. Эта школа стремилась к высокому профессионализму. В области скрипичной техники она требовала упорной, серьезной, тщательной и систематической работы над всеми элементами - интонацией, двойными нотами, вибрато, постановкой пальцев левой руки, пиццикато как правой, так и левой рукой, качеством звука, штрихами (в особенности - стаккато), одинаковым владением смычка в каждой из его частей и т.д.

Это предполагало ежедневные занятие гаммами, этюдами, виртуозными пьесами. Как и Ауэр, Хейфец всегда приходил на урок со скрипкой и очень много показывал ученикам в игре. Он вспоминал, что Ауэр "никогда не был удовлетворен просто объяснением, если не был уверен, что все понятно. Он всегда мог демонстрировать вам, взяв свою скрипку и смычок". "Искусство владения смычком было одним из самых важных моментов в преподавании профессора Ауэра <...>. Движения смычка становятся более легкими, намного более грациозными[14]". Хейфец рассказывал и о том, как профессор Ауэр помог ему овладеть правильной методикой игры стаккато. А. Ю. Фодор, ученик Хейфеца, подчеркивал, что Хейфец всегда заставлял его во время урока работать 15 минут над разными видами стаккато, в том числе и на материале каден-

ции из первой части фадиез-минорного Концерта Венявского, которая помогла ему самому овладеть игрой стаккато, когда он учился в классе Ауэра. Показательно, что критика отмечала Ю.Фодора как одного из известных "специалистов" в исполнении стаккато, взятого как в движении смычка вверх, так и вниз[15].



Одновременно огромное внимание уделялось интерпретации, постижению художественного смысла произведения, соответствию технических приемов особенностям стиля композитора, определению рамок хорошего вкуса, выбору репертуара.

В области репертуара основой основ была музыка классической эпохи - Бах, Моцарт, Бетховен, Брамс, Мендельсон.

Все эти принципы сохраняли значение и для Яши Хейфеца, он был убежден в их "художественной правоте" и никогда не опасался, что они - и он с ними - устареют, выйдут из моды. Поэтому в репертуаре Хейфеца произведениям русской и европейской классики всегда отводилось самое почетное место. Он еще в юности говорил о художественных особенностях Концертов Брамса, Бетховена, подчеркивая, что трудности их исполнения - не столько технические, сколько художественные, интерпретационные. "Я думаю, что Скрипичный концерт Брамса - это как музыка Шопена для фортепиано <...> стоит <...> особняком от другой скрипичной музыки <...>. Концерт Брамса технически не так труден, как, скажем Паганини, но в интерпретации он, несомненно, намного сложнее. <...> Простота в Концерте Бетховена - особый род ясной красоты - делает его намного труднее для исполнения, чем многие другие произведения, которые технически более сложны"[16].

Яша Хейфец совершенен и в игре музыки Баха и Моцарта.

Стильное исполнение мызыки этих композиторов - достаточно редкое явление, удел избранных музыкантов, в моих глазах это своего рода "лакмусовая бумага" на артистическую зрелость, показатель уровня художественного вкуса исполнителя. Инструментальная музыка Баха и Моцарта - это, условно говоря, "чистая музыка", "сама музыка", не сдобренная никакими дополнительными "приправами" (как, скажем, программность романтиков). И умение выразить богатейший эмоциональный мир произведений этих композиторов, не выходя за рамки благородной сдержанности, не снижая ее высочайший художественно-эстетический тонус никакими преувеличениями, - такое умение дано лишь немногим Мастерам. Так Яша Хейфец исполнял Концерты Моцарта, сольные Сонаты и Партиты Баха.

В этой связи нельзя не упомянуть и об одной особенности исполнительской манеры Яши Хейфеца, которая вызывала в свое время массу откликов, прежде всего критиков и журналистов. Речь идет о поведении на сцене в процессе игры. Все газеты писали о его неподвижности, об отсутствии признаков эмоций на его лице (по-английски его лицо называли "Poker-face", то-есть бесстрастное, ничего не выражающее и даже сознательно скрывающее истинные чувства лицо покерного игрока), и даже о "холодности" Хейфеца. Многочисленные описания "феномена Яши Хейфеца" сопровождались и попытками его объяснения. Здесь и музыкально-духовное наследие отца, который сумел внушить сыну, что эмоции должна выражать игра, звучание скрипки, а не внешнее поведение музыканта: вскидывание рук, закатывание глаз, раскачивание и тому подобные эффекты. Здесь и традиции русской музыкальной школы (и более специфически - скрипичной школы Л.Ауэра), которая тяготела к благородно-классическому стилю, в частности, к игре без преувеличенного вибрато (в отличие, например, от "бурно"-романтического стиля Паганини). Здесь и черты характера Яши Хейфеца, его абсолютизм и перфекционизм, высокая организованность, которые отражаются в его творчестве продуманностью, скульптурной чеканностью формы[17].

У нас - тех, кому не посчастливилось видеть Яшу Хейфеца на концертной эстраде, есть в этом смысле преимущество, - мы можем судить об игре Хейфеца не по тому, что мы *видим,* а по тому, что мы *слышим,* то-есть по самой музыке.

Игра Хейфеца очень эмоциональна, его звук - сочный, экспрессивный, полный множества выразительных оттенков. И эта внешне

сдержанная манера - еще одно достоинство гениального исполнения артиста, свидетельство его аристократического благородства, тонкого вкуса и высокой культуры.

За свою жизнь Яша Хейфец сыграл почти всю музыку, написанную для скрипки, как классическую, так и более позднюю, включая произведения современников, американских и европейских композиторов; некоторые произведения были специально написаны для Хейфеца и по его инициативе, например Концерты Уильяма Уолтона, Марио Кастелнуово-Тедеско, Эрика Вольфганга Корнгольда, Луиса Грюнберга и др.

Слушать сегодня записи исполнения Хейфеца - особенно интересно и в чем-то даже поучительно. Ведь мы настолько избалованы музыкально-техническими новшествами (магнитные аудио- и видео кассеты, компакт-диски и т.д.), что заранее, априорно скептически морщимся при одной мысли о прослушивании музыки в одном из "старых" ("вчерашних") звуковых воплощений. Но когда звучат старые записи Хейфеца, технические шероховатости перестают существовать: остается только Великое Чудо Настоящей Музыки.

Самое удивительное то, что звучание скрипки Яши Хейфеца, даже записанной недостаточно совершенными (по сегодняшним понятиям) средствами, как раз заставляет вспомнить о давно и едва ли не сознательно забытой первозданной акустической основе этого инструмента, о резонировании его корпуса, о его полнозвучии и богатстве акустических оттенков.

Я убеждалась не раз, предлагая прослушать музыку в исполнении Яши Хейфеца самой различной аудитории - взрослым, детям профессионалам, студентам, неискушенным любителям музыки, - уже после нескольких тактов устанавливается какая-то особая тишина - тишина полного растворения в мире этих Чарующих Звуков, перед которыми не может устоять никакое ухо, никакая душа.

Трудно сказать, что впечатляет больше - те качества тембра его скрипки и "укрощенный", благородный темперамент, о которых я уже писала, или бесконечно разнообразные проявления высочайшего скрипичного мастерства. Сам Яша Хейфец в юности (1918 год) так говорил об этой стороне скрипичной игры: "Чтобы исполнять музыку как следует, необходимо избавиться от технических трудностей, преодолеть их; публика не должна чувствовать, что артист 'борется' с ... трудными пассажами. Вы должны работать над трудными пассажами более интенсивно, так, чтобы они не были трудными, когда вы исполняете их перед публикой".

"... Говорят, что у меня есть природная техника потому, что она выглядит так, будто я не работал очень уж тяжело, чтобы приобрести ее. *Это просто неверно!* Я должен был развивать ее, быть уверенным в ней и довести ее до совершенства. Если вы начинаете играть на скрипке в 3 года, как начал я, на маленькой скрипке ('четвертушке'), я полагаю, что скрипка с течением времени станет вашей второй натурой"[18].

И, действительно, игра Яши Хейфеца - совершенно естественный для него процесс. Поэтому такие моменты, как точность интонации, скорость исполнения, филигранность пассажей (в частности, четкое прослушивание каждой из мелких длительностей в быстром темпе, без малейшего их "смешиванния") воспринимаются не как какие-то достижения, а как естественные, само собой разумеющиеся качества исполнения. Динамическая палитра в его игре очень богата - от нежнейшего пиано до сильного, полного энергии форте. Темп всегда очень четкий, и замедления - "истинные", связанные с музыкальной выразительностью, а не "предлог", за которым скрывается необходимость преодолеть какой-то сложный технический переход. Аккорды берутся очень точно, по-настоящему "вертикально"-прозрачно. Исключительно богато двухголосие, что особенно впечатляет в полифонических произведениях, например в Сонатах и Партитах Баха для скрипки соло. Два голоса звучат у Хейфеца как два инструмента, иногда они представляют разные типы игры на скрипке, разные штрихи, например связные напевные



Я. Хейфец играет для раненых в Морском госпитале. 1943 г.

звуки легато в одном голосе и одновременно четкие, отграниченные звуки деташе во втором без "грязи" задевания соседних струн. Также по-разному звучат у Хейфеца различные регистры скрипки.

В целом выразительные эффекты в исполнении Яши Хейфеца настолько богаты и многообразны, что, слушая, например, те же Сонаты и Партиты Баха для скрипки соло, поражаешься каждый раз заново тому, что это всего лишь один инструмент, причем даже без сопровождения, и что он дает такое разнообразие совершенно разных по характеру, часто контрастных танцев и нетанцевальных частей.

Как уже говорилось, в исполнении Яши Хейфеца нет излишнего вибрирования. Но в целом его звук (даже "до вибрации") очень экспрессивный. "Экономное" использование вибрации - это только одно из качеств, которые отличали игру Яши Хейфеца от игры других скрипачей, его современников.



Надо сказать, что в его время не было недостатка в выдающихся скрипачах, начиная с представителя предыдущего поколения, Ф.Крейслера, включая сверстников Хейфеца - И.Менухина, М.Эльмана, Е.Цимбалиста, М.Полякина, Д.Ойстраха, И.Стерна, более молодых Л.Когана, М.Ваймана и многих других. Однако музыкальная критика всегда подчеркивала, что именно появление Яши Хейфеца ознаменовало начало новой эры скрипичного искусства, установление иных, несравненно более высоких критериев скрипичного мастерства. Яше Хейфецу единогласно и безоговорочно был присужден титул "Короля скрипачей", и с этой "коронацией", с его неоспоримым превосходством публично или в глубине души фактически согласились все его талантливые коллеги.

И - несколько слов в заключение. Узнав Яшу Хейфеца сознательно, профессионально, я что-то нашла и что-то потеряла по сравнению с моим детским, волшебным представлением о нем. Исчезло чудо, появились трезвые суждения, возник образ живого человека. В целом это неизбежные находки и потери профессиональной реакции на музыку, когда подлинное удовлетворение от глубинного понимания достигается достаточно дорогой ценой меньшей непосредственности восприятия.

С этим нам, музыкантам-профессионалам, приходится мириться. Но когда "объектом" познания является Яша Хейфец, в душе остается глубокая благодарность, искреннее восхищение и преклонение перед его бессмертным Великим Талантом.

Примечания

1. Песах (Петр) Соломонович Столярский (1871-1944), основатель и бессменный руководитель одной из первых и лучших в Советском Союзе специальных музыкальных школ, давшей миру таких музыкантов, как Д.Ойстрах, Э.Гилельс и др. Столярский был не совсем "в ладах" с русским языком, и если верить распространенным рассказам, он с гордостью говорил об этой школе в Одессе, названной при жизни его именем, - "школа имени мене".

2. Яша (Иосиф) Хейфец родился в Вильне 2.02.1901 г. Когда он начал играть на скрипке, его звали уменьшительным именем - Яша. Таким оно и осталось за ним навсегда, превратившись в "своеобразный артистический псевдоним". См.: Л.Раабен. Жизнь замечательных скрипачей. М.-Л.: Музыка, 1967. С.222. Далее ссылки на это издание даются сокращенно: Л.Раабен.

3. Л.Раабен. С.223.

4. Там же.

5. Testimony. The Memoirs of Dmitri Shostakovich (as related to and edited by Solomon Volkov). N.Y., 1979. P.166-167, 168.

6. В книге И.Нестьева "Прокофьев" (М.: Гос. Муз. Изд., 1957. С.147) содержится любопытное упоминание об участии Яши Хейфеца в литературно-музыкальном вечере 12.02.1917 г. вместе с М.Горьким и С.Прокофьевым.

7. По свидетельству Л.Раабена, эта поездка состоялась по приглашению М.Литвинова. См.: Л.Раабен. С.225.

8. Я.Сорокер. Российские музыканты - евреи. Часть 2. Иерусалим, 1992. С.102.

9. "Heifetz". Edited by Dr.Herbert R.Axelrod. Second revised edition. N.Y., 1981. P.102, 103. Далее ссылки на это издание даются сокращенно: Heifetz.

10. Heifetz. P.410.

11. Heifetz. P.123.

12. Хейфец был дважды женат. От первого брака с известной в прошлом актрисой немого кино Флоренс Видор у него было двое детей, дочь и сын. От второго брака с Франчес Шпигельберг родился сын.

13. Леопольд Ауэр (1845-1930), венгерский еврей, учился и работал в Венгрии, Австрии и Германии. С 1868 по 1917 гг. жил в России, с 1917 г. - в США. Л.Ауэр выступал как скрипач (солист, участник камерных ансамблей, концертмейстер оркестра) и дирижер. Однако наиболее велик его вклад в музыкальную культуру в качестве скрипичного педагога, профессора Петербургской консерватории, создателя русской скрипичной школы.

Замечательна творческая судьба Л.Ауэра: еврей, впитавший соки европейской культуры, он создал русскую скрипичную школу, выходцы из которой оказали решающее влияние на развитие мирового исполнительского искусства.

14. Heifetz. P.128, 129.

15. Heifetz. P.131.

16. Heifetz. P.134.

17. Л.Раабен. С.229.

18. Heifetz. P.123, 124.



Натан Мильштейн

Эрнст Зальцберг
(Торонто)

21 декабря 1992 г. в Лондоне в возрасте 89 лет скончался выдающийся скрипач Натан Мильштейн. Он был последним представителем плеяды замечательных скрипачей, таких, как М.Эльман, Я.Хейфец, Е.Цимбалист и Д.Ойстрах, родившихся в дореволюционной России и составивших славу мирового музыкального искусства.

Натан Мильштейн родился 31 декабря 1903 г. в Одессе, в семье купца первой гильдии Мирона Мильштейна, занимавшегося импортом шерсти и тканей из Англии. С раннего детства мальчик отличался непоседливым характером и склонностью к различным, порой весьма рискованным, проказам и шалостям. Для того, чтобы направить неуемную энергию пятилетнего ребенка в какое-то русло, было решено учить его игре на скрипке.

"Я не был вундеркиндом, - вспоминал Н.Мильштейн много десятилетий спустя. - Я начал играть на скрипке не по влечению, а по настоянию мамы. Меня заставляли заниматься и грозили наказать, если я не буду делать этого. Когда я начал играть на скрипке, я никогда не думал ни о музыке, ни о своем исполнении - это делала за меня мама"[1].

После начальных уроков скрипичной игры с частным преподавателем Н.Мильштейн поступил в класс известного одесского педагога П.Столярского, с которым занимался немногим более двух лет. К девяти годам мальчик обладал изрядной, явно не ученической техникой и обширным репертуаром, включающим несколько скрипичных концертов. К этому времени относится первое публичное выступление юного скрипача с Одесским симфоническим оркестром. Заменив внезапно заболевшего солиста, Мильштейн исполнил Концерт А.Глазунова, удостоившись похвалы композитора, ди-

рижировавшего оркестром.

В 1915 г. игру Натана услышал гостивший в Одессе профессор Санкт-Петербургской консерватории Леопольд Ауэр, который предложил ему приехать в столицу и начать регулярно заниматься с ним в консерватории. Сопровождаемый мамой, мальчик прибыл в столицу и, минуя всякие формальности, был зачислен в класс прославленного профессора. Непредвиденные трудности возникли, однако, с совершенно неожиданной стороны - у мамы не было вида на жительство в столице Российской империи. Потребовалось вмешательство Л.Ауэра и А.Глазунова, звонок которого министру внутренних дел немедленно уладил деликатную проблему.

Вскоре после прибытия состоялось первое публичное выступление Н.Мильштейна в Петербурге. Скрипач вспоминает, что перед концертом Л.Ауэр напутствовал его следующими словами: "Ты не получишь за это ничего, но само выступление будет для тебя полезно. В действительности, - продолжал Мильштейн, - я получил пять рублей, коробку шоколада и аплодисменты. Тогда я решил, что игра на скрипке - это лучшая профессия: ты на виду, тебе платят деньги и ты получаешь шоколад"[1].

Учениками Ауэра были в то время такие (вскоре ставшие знаменитыми) скрипачи, как Я.Хейфец, М.Эльман, Е.Цимбалист, М.Полякин, Т.Зейдель, Цецилия Хансен. Юный Мильштейн слушал их в классе Ауэра и сам нередко играл перед ними своему учителю. Впоследствии Мильштейн неоднократно подчеркивал, что роль педагога в развитии музыкального таланта ученика обычно сильно преувеличена и что ни Столярский, ни Ауэр не оказали большого влияния на развитие его собственного дарования. Однако некоторые педагогические принципы Ауэра запомнились Мильштейну на всю жизнь, и он впоследствии применял их на практике. Так, однажды на вопрос Мильштейна, как разучивать какую-то вещь, Ауэр ответил: "Разучивай ее головой, а не пальцами". В этом лапидарном ответе заключалось многое - и то, что интеллект должен преобладать над техникой, и то, что исполнительская концепция должна определять характер исполнения.

В декабре 1917 г., сразу после октябрьского переворота, Л.Ауэр навсегда покинул Россию. С его отъездом закончилось, по существу, формальное музыкальное образование Н.Мильштейна. Сам скрипач считал, что столь раннее завершение консерваторского образования пошло только на пользу, заставив его самосовершен-

ствоваться, и предохранило от слепого копирования исполнительской манеры своего учителя и его выдающихся учеников.

В 1919 г. начинается интенсивная концертная деятельность Н.Мильштейна. Вместе со своей сестрой-пианисткой молодой скрипач выступает во многих городах Украины, где ему неизменно сопутствуют благожелательные отзывы критики и восторженный прием у слушателей.

Зимой 1921 г., во время гастролей Н.Мильштейна в Киеве, состоялась его встреча с Владимиром Горовицем, сыгравшая большую роль в жизни обоих музыкантов. Вот как описывает эту встречу сам Мильштейн: "Я никогда раньше не встречал Горовица, но я много слышал о нем. Говорили, что нередко во время его выступлений рвутся струны. В Киеве мне аккомпанировал Сергей Тарновский, бывший в это время учителем Горовица. Через Тарновского В.Горовиц и его сестра Регина попали на мой концерт и после его окончания пришли ко мне за кулисы. 'Мои родители приглашают Вас на чай', - сказал Горовиц. Я принял приглашение и застал в доме Горовицей несколько профессоров местной консерватории, включая Генриха Нейгауза, будущего учителя Святослава Рихтера. Во время чаепития мы были вынуждены слушать нескончаемые разговоры взрослых. Каждый старше 30 лет казался нам тогда уже старым! Тогда Регина, которая тоже была пианисткой, предложила: 'Пойдемте в мою комнату, там есть рояль'. Она играла Шопена и Шумана, затем Горовиц сыграл свои собственные аранжировки опер Пуччини и Вагнера. Время летело быстро. Вошла Володина мама и сказала: 'Дети, обед на столе'. После обеда мы продолжали музицировать и сыграли вместе с Володей несколько сонат и концертов. Было уже так поздно, что родители Володи предложили мне остаться у них на ночь. Мы спали вчетвером в одной комнате: Володя, его папа, брат и я. Когда я проснулся на следующее утро, меня попросили остаться еще на день. Так, придя на чай, я остался в доме у Володи на целых три года"[2].

С этой встречи началось музыкальное содружество двух выдающихся исполнителей, которое продолжалось в течение многих последующих лет. В 1921-1925 гг. Н.Мильштейн и В.Горовиц гастролировали во многих городах Белоруссии, Украины и России. Эти концерты не только упрочили материальное положение молодых артистов, но и принесли им широкое признание профессионалов и любителей музыки.



Натан Мильштейн с Владимиром Горовицем. 1950 г.

Во время гастролей музыкантов в Москве в 1925 г. на одном из концертов побывал народный комиссар просвещения А.В.Луначарский. Будучи сам музыкантом-любителем, он написал о выступлении молодых исполнителей восторженную рецезию, в которой назвал их "детьми Советской Революции". Впоследствии Н.Мильштейн, вспоминая эту рецензию, заметил не без сарказма: "Дети Советской Революции? Мы были детьми императорских консерваторий!".

Однако рецензия комиссара просвещения сыграла неожиданную роль в судьбе музыкантов. Прочитав ее, Л.Троцкий решил, что для демонстрации культурных достижений молодой Советской России было бы полезно отправить В.Горовица и Н.Мильштейна в длительное концертное турне за границу. В результате, в том же 1925 г., оба музыканта получили разрешение на выезд на Запад

сроком на два года. В конце 1925 г. Н.Мильштейн покинул Россию и прибыл в Берлин.

Дав несколько концертов в Германии, музыкант уехал в Брюссель, надеясь завершить здесь свое музыкальное образование под руководством выдающегося бельгийского скрипача Е.Изаи. Вот как описывает Н.Мильштейн свою первую встречу с ним: "Я прибыл на виллу Изаи близ Остенде без предупреждения из опасения, что если я предварительно позвоню его секретарю, то мне будет отказано в встрече. Секретарь Изаи, американка Джанет, встретила меня очень холодно. 'Мэтр устал, он отдыхает, он не может принять Вас'. Я продолжал настаивать и сказал, что у меня нет денег на обратный билет. В разгар моих объяснений с Джанет появился Изаи, огромная фигура которого была совершенно обнажена. 'Что за шум?' - спросил он. По-видимому, маэстро вздремнул после пляжа и наш спор разбудил его. 'Тут какой-то парнишка хочет поиграть Вам', - ответила Джанет. 'Почему бы и нет? Если он играет плохо, мы просто отправим его домой.' Затем он провел меня в дом, накинув по пути купальный халат, который с трудом покрывал его рыхлое тело. 'Что Вы будете играть?' - спросил Изаи. 'Что бы Вы хотели послушать, маэстро?' - 'Каприс Паганини!' Поскольку я знал все Каприсы, я вкрадчиво спросил: 'Какой из 24 Каприсов Вы бы хотели услышать?' Изаи попросил исполнить первый Каприс, и я сыграл его. Затем он попросил исполнить последний Каприс, но, недослушав его до конца, спросил: 'Что Вы играете Баха?' И снова я ответил вопросом: 'Какое произведение Баха Вы хотите послушать, маэстро?' Взглянув на меня скептически, Изаи попросил сыграть ему труднейшую Фугу из Первой Сонаты-соло. Не дав мне доиграть ее до конца, он прервал меня вопросом: 'Почему Вы играете так быстро?' - 'Вы бы хотели, чтобы я играл Фугу более медленно, маэстро?' - 'Нет' - поспешно ответил Изаи. Затем он сказал: 'Послушайте, детка, что Вам от меня нужно? Вы хорошо играете Паганини, Вы хорошо играете Баха, что еще Вы хотите?' Эта оценка была очень лестной, но я был разочарован: мэтр отправлял меня домой! Заметив мое разочарование, Изаи сжалился надо мной: 'Знаете что, приходите ко мне вечером, мы поиграем камерную музыку'[3]. Это домашнее музицирование продолжалось несколько месяцев и доставило взаимное удовольствие как молодому Н.Мильштейну, так и его знаменитому коллеге.

Е.Изаи представил Мильштейна бельгийской королеве Елизаве-

те, большой любительнице скрипичной музыки, вместе с которой они неоднократно музицировали и в доме Изаи, и в королевском дворце. Не переоценивая музыкальных способностей августейшей скрипачки, Н.Мильштейн на всю жизнь сохранил к ней чувство глубокого уважения и, в свою очередь, пользовался ее дружеским расположением. Характерен следующий случай, рассказанный Мильштейном. Как-то, выступая в Брюсселе, скрипач исполнил во втором отделении скрипичные Концерты Мендельсона и Сен-Санса. Отчасти под влиянием несколько затянувшегося концерта публика наградила его вежливыми аплодисментами. Исполнив короткую вещь на бис, он ушел за кулисы, положил свою скрипку в футляр и вышел для заключительного поклона. Выйдя на эстраду, Мильштейн с удивлением увидел, что королева, стоя в своей ложе, продолжает аплодировать. По существующей в Бельгии традиции, публика не может покинуть концертный зал до того, как это сделает глава государства. Поэтому слушатели продолжали вежливо аплодировать, глядя не на сцену, а на королеву, в ожидании момента, когда она покинет свою ложу. Стремясь как-то разрядить ситуацию, Мильштейн попросил скрипку у концертмейстера оркестра и исполнил второй бис, после которого королева вышла из ложи. К несчастью, концертмейстерская скрипка была настолько плохой, что даже искусство Мильштейна оказалось здесь бессильным. По заведенному этикету, после концерта скрипач подошел к королеве. "Мильштейн, после Вашей скрипки та скрипка, на которой Вы только что играли, звучала, как деревянный ящик, на который натянули струны!" - заметила ему Елизавета. "Ваше Величество, почему Вы заставили страдать Ваших бедных подданных, слушая мой второй бис?" - спросил в ответ скрипач. "Я сделала это намеренно", - ответила королева. - Слушатели - неблагодарный народ. Они не понимают, как много музыканты отдают им. Аплодируя, я просто заставила их обратить на это внимание"[3].

Расставшись с Изаи, Н.Мильштейн направился в Париж, где концертировал с громадным успехом. В течение последующих трех лет, выступая и как солист, и как участник дуэта и трио с В.Горовицем и виолончелистом Григорием Пятигорским, Мильштейн побывал с гастролями почти во всех европейских странах и в Южной Америке. Европейская, а следом за ней и американская пресса окрестила музыкантов "тремя мушкетерами" за их молодость, энергию и сопутствовавший им успех.

29 октября 1929 г. Н.Мильштейн впервые выступил в США, исполнив Концерт А.Глазунова с Филадельфийским оркестром под управлением Л.Стоковского. После этого концерта состоялась продолжительная гастрольная поездка по Северной Америке. В последующие предвоенные годы музыкант выступал во всех американских штатах, Центральной и Южной Америке, а также во многих европейских и азиатских странах.

В 1931 г. в Нью-Йорке Мильштейн познакомился с Сергеем Рахманиновым. До начала второй мировой войны музыканты часто встречались и совместно музицировали в Швейцарии, где оба проводили свои летние каникулы. К этому времени за Мильштейном укрепилась репутация одного из лучших интерпретаторов сольных скрипичных произведений Баха. Поэтому неудивительно, что, когда скрипач давал в Люцерне концерт из произведений этого композитора, Рахманинов был в числе слушателей. Исполнение Мильштейна произвело на Рахманинова настолько глубокое впечатление, что вскоре после концерта он сделал фортепианное переложение Прелюдии, Гавота и Жиги из баховской скрипичной Партиты N3. Когда Рахманинов решил впервые исполнить эти переложения в Париже, он пригласил на концерт Мильштейна и попросил его подойти в антракте и высказать свое мнение об услышанном. "Я пошел на концерт и слушал внимательно, во все уши, - вспоминал Мильштейн. - Мне не понравился один пассаж в транскрипции Прелюдии, звучавший, как мне показалось, не 'по-баховски'. Во время антракта я подошел к Рахманинову и, боясь прямо высказать свое мнение, начал издалека: 'Сергей Васильевич, у меня возникли некоторые сомнения, мне кажется, что в Прелюдии Вы употребили хроматическую секвенцию, которая звучит не совсем хорошо...' 'Подите к черту!' - прервал меня со злостью Рахманинов. Конечно, идти к черту было не обязательно, но и оставаться с Рахманиновым, видя его в таком состоянии, было не очень приятно." После концерта дочь композитора, Татьяна Конюс, пригласила Мильштейна в свой дом на обед. Видя растерянность и нерешительность Мильштейна, жена Рахманинова, Надежда Александровна, подошла к нему и сказала: "Пойдемте с нами, Сергей Васильевич не хотел Вас обидеть. Он просто очень волновался во время концерта." По словам Мильштейна, он принял приглашение с таким чувством, как будто идет на гильотину или, по крайней мере, на допрос в ЧК. Придя на обед, Мильштейн стремился держаться подальше от композитора.

За столом были друзья Сергея Васильевича, композиторы А.Глазунов, Н.Метнер и А.Гречанинов. Поначалу Рахманинов выглядел несколько раздраженным, но после обеда его настроение заметно улучшилось и он позвал всех, включая и Мильштейна, в библиотеку. Здесь завязался общий разговор, и Рахманинов спросил Глазунова: "Саша, ты заметил какие-нибудь 'грязные' хроматические пассажи в моей транскрипции?" "Нет, - ответил Глазунов - я не слышал ничего такого." С таким же вопросом Рахманинов обратился к Метнеру и получил тот же ответ. "Я знал эту Партиту очень хорошо и много раз исполнял ее сам. Но тут я начал сомневаться - может быть, я нахожусь под влиянием баховских транскрипций Годовского, а может быть, мне просто изменил хороший вкус", - вспоминал Мильштейн. После обеда скрипач отправился в свой отель, где остановился и Рахманинов. Консьерж, увидев Мильштейна, сказал ему; "Вас хочет видеть мистер Рахманинов, он в своем номере." Ожидая новой вспышки гнева, Мильштейн осторожно приоткрыл дверь в номер композитора. "Входите, входите, Вы были правы!" - услышал он громкий возглас Рахманинова[3].

О том, насколько высоко ценил Рахманинов мнение и мастерство Мильштейна, свидетельствует и такой малоизвестный факт. Перед исполнением своей "Рапсодии на тему Паганини" с Филадельфийским оркестром под управлением Л.Стоковского Рахманинов отправил партитуру Мильштейну с просьбой расставить штрихи для струнных групп так, чтобы музыкантам было удобно играть свои партии. Естественно, что Мильштейн с удовольствием выполнил просьбу своего маститого друга.

В 1942 г. Н.Мильштейн стал американским гражданином, а в 1943 г. женился на Терезе Кауффман. Свою единственную дочь они назвали Мария-Бернадетт.

В 40-е годы исполнительская манера Мильштейна претерпела существенные изменения. Если в ранние годы в ней преобладали энергия, некая "атлетическая бравада" неограниченными техническими возможностями, то со временем в игре скрипача стало преобладать глубокое проникновение в характер и стиль исполняемой музыки, утонченный артистизм и благородство. Не случайно американский критик Э.Кернер назвала в одной из своих статей Натана Мильштейна "Брамином со скрипкой." К этому, пожалуй, следует добавить необычный по тембру - "серебристый" звук, который артист стремился извлечь из своего инструмента и который так зачаровывал слушателей.

Громадный репертуар исполнителя сформировался в первые годы его концертной деятельности и впоследствии пополнялся лишь незначительно. Он включал произведения Баха, Генделя, классиков и романтиков XVIII и XIX веков и немногих современных композиторов (Глазунова, Шимановского, Прокофьева, Стравинского, Бартока, Берга).

Интересен ответ Н.Мильштейна на вопрос, почему он мало исполняет современную музыку, данный им в 1977 г. уже упоминавшейся журналистке Э.Кернер. "Композиторы больше не знают, как писать для скрипки. Никогда прежде в музыкальной истории не наблюдалось такой деградации качества. Связь между Бетховеном, Шубертом, Шуманом, Брамсом, Вагнером продолжалась, подобно цепной реакции, в этом развитии не было ни одной паузы. От Римского-Корсакова, русской и французской школ и их взаимного влияния друг на друга мы получили Стравинского, начавшего сочинять в XIX веке. Прокофьев написал свои лучшие произведения еще до первой мировой войны. Стравинский, Барток, Берг - и это конец! Все это было написано 45 лет тому назад. Теперь у нас есть цементная музыка, электронная музыка, атональная музыка, которая ведет к разрушению творчества... Если Вы спросите меня, кто внес наибольший вклад в развитие музыки, я отвечу: Бах, Бетховен, Моцарт, Гайдн, Шуберт, Шуман"[1].

Н.Мильштейн считается одним из величайших интерпретаторов произведений Баха и Бетховена. В 1956 г. он сделал запись всех сольных Сонат и Партит Баха, однако эта работа не удовлетворила требовательного музыканта. В 1976 г. Н.Мильштейн сделал повторную запись этих же произведений, которая удостоилась многих наград, включая "Грэмми" Международной Академии звукозаписи. Помимо сольных произведений Баха, большинство остальных записей Мильштейна составляют произведения для скрипки с оркестром, в числе которых концерты Баха, Вивальди, Моцарта, Бетховена, Мендельсона, Брамса, Дворжака, Бруха, Чайковского, Сен-Санса и Глазунова.

Н.Мильштейн выступал на сцене и осуществлял звуковые записи почти со всеми выдающимися дирижерами века, и лишь немногие из них удовлетворяли взыскательному вкусу скрипача. Послушаем мнение самого Мильштейна о людях этой профессии: "Говорят, что такой-то и такой-то - великий дирижер. Но он не может быть великим в возрасте 25 лет. Дирижер - это артист, яркая ин-

дивидуальность, человек, который может обучать оркестр. Сейчас почти нет таких дирижеров. Если Вы великий пианист, скрипач, виолончелист, певец, Вы - целиком в музыке, Вы делаете музыку. Дирижеры не делают музыку, они заставляют других делать ее. Я сделал много записей с оркестром и некоторые из них были неплохими. И случалось это потому, что я, а не дирижер, многое объяснял оркестрантам. Часто я останавливал дирижера и говорил оркестрантам, что и как нужно делать"[1]. В другом интервью Мильштейн снова возвращается к теме дирижерского искусства: "Я бы готовил оркестр к выступлениям так же, как театральный режиссер (Оливье, Станиславский) ставит пьесу. Я бы работал с музыкантами так же, как режиссер работает с актерами. Например, я бы взял "Патетическую" симфонию Чайковского и разучивал бы только ее в течение двух недель. Я выучил бы ее с такой тщательностью, что мое присутствие на эстраде стало бы необязательным. Во время первого концерта оркестранты чувствовали бы себя скованными без дирижера, но на следующих концертах эта скованность исчезла бы. Затем музыканты почувствовали бы себя раскрепощенными, они сами стали бы добавлять соль, перец и кетчуп в исполняемую музыку. Если не сковывать обретенное трудом чувство свободы, тогда оркестр станет подобным одному прекрасному солисту"[2].

Как не вспомнить в связи с этим высказыванием Мильштейна созданный профессором Л.Цейтлиным "Персимфанс" - Первый симфонический оркестр без дирижера, существовавший в 20-30-е годы в Москве!

В 1979 г. в США широко отмечалось 50-летие американского дебюта Мильштейна и 75-летие музыканта. В этот год он дал несколько сольных концертов, а также выступил с ведущими американскими симфоническими оркестрами. Признанием выдающихся музыкальных заслуг скрипача явилось присуждение ему многих наград и орденов, включая французский орден Почетного легиона и американскую медаль имени Дж.Кеннеди.

Подобно таким своим великим современникам, как Л.Стоковский, Арт.Рубинштейн, П.Казальс, Н.Мильштейн продемонстрировал редкое музыкальное и творческое долголетие, продолжая активную концертную деятельность до последних дней жизни. В зрелые годы скрипач уделял также значительное внимание педагогической деятельности, ведя в течение многих лет мастер-классы в Нью-Йорке и Цюрихе.

Помимо исполнительской деятельности и преподавания, Н.Мильштейн не без успеха пробовал свои силы и в композиции. К числу наиболее известных его произведений относятся "Паганиниана", вдохновленная Каприсами Паганини, транскрипция для скрипки "Мефисто-вальса" Ф.Листа и каденции (сольные заключения) для скрипичных концертов Бетховена, Паганини и Брамса.

Хотя музыка была безусловно главным делом жизни Н.Мильштейна, ею не ограничивался круг его художественных интересов. На протяжении всей своей жизни он увлекался живописью и добился заметных успехов как художник-любитель. Однажды он участвовал в выставке "Музыканты-художники", организованной музеем "Метрополитен" в Нью-Йорке. Среди участников выставки были А.Шенберг, Дж.Гершвин, А.Леман. Акварель Мильштейна "Петербург в мае", представленная на выставку, была продана за 500 долларов, к великой гордости музыканта.

Литература о Мильштейне сравнительно невелика. Единственная посвященная ему монография - книга-альбом Б.Гавоти, написанная в 1956 г. Несколько статей о Мильштейне в американской музыкальной периодике связаны с юбилейными датами в жизни замечательного музыканта [1, 2, 4]. Краткие биографические сведения о его жизни и творчестве можно также найти во многих американских справочных музыкальных изданиях [5, 6, 7].



Президент Рейган поздравляет Натана Мильштейна с присуждением ему премии Центра Кеннеди. Слева — Нэнси Рейган

В 1990 г. вышла книга воспоминаний Н.Мильштейна "Из России на Запад", написанная им совместно с музыковедом Соломоном Волковым[3]. Воспоминания содержат интересные и зачастую окрашенные живым юмором зарисовки музыкальной жизни России и Америки, а также яркие портреты выдающихся русских (до- и послереволюционной эпохи) и западных музыкантов, с которыми встречался скрипач. В 1991 г. книга вышла повторным изданием в Нью-Йорке и Англии.

Имя Натана Мильштейна, принадлежащее в равной мере России и Западному миру, навсегда останется в истории мирового музыкально-исполнительского искусства.

Литература

1. Kerner E. Nathan Milstein, Brahmin with Violin. // High Fidelity Magazine, November 1977. P.84-87.

2. Soria D.J. Artist Life. High Fidelity//Musical America, July 1974. P.7-9.

3. Milstein N. and Volkov S. From Russia to the West. Henry Holt and Company, Inc., N.Y., 1990.

4. Roth H. Nathan Milsteyn at 85// The Strad, vol.100, December 1989. P.1011-1012.

5. International Who's Who in Music and Musicians' Directory. Editor D.Cummings, Cambridge, England, 1992.

6. Lyman D. Great Jews in Music. J.David Publishers, Inc., 1986.

7. Slonimsky N. Music Since 1900, 4th Edition, C.Scribner's Sons, 1971.

Статья канадского музыковеда и публициста Эрнста Зальцберга о "сказочном" (по выражению Давида Ойстраха) скрипаче Натане Мильштейне вызвала желание поделиться мыслями о некоторых особенностях личности музыканта. Что я и прошу читателя великодушно мне разрешить.

Яаков Сорокер

"Брамин со скрипкой"

В отличие от многих (едва ли не всех) знаменитостей нашего века, Мильштейн не выступал в печати. Единственный труд, написанный им (скорее всего продиктованный соавтору Соломону Волкову) и впервые опубликованный за два года до кончины, книга "Из России - на Запад"[1], содержит много достойных внимания сведений.

Основным учителем Мильштейна был ставший уже легендарным Петр Соломонович Столярский, гениальный *клейзмер* из Одессы. О нем, создателе уникальной системы обучения игре на скрипке и педагоге, одаренном редкой интуицией при отборе детей, основателе знаменитой "одесской школы", существует богатая литература. Мильштейн счел возможным вспомнить лишь то, что когда его впервые привели к Столярскому, тот, зная, что отец мальчика состоятельный человек, был весьма любезен, похвалил "хорошие руки, пальцы - прекрасно для скрипки!". "Чепуха, - заключает свою мысль Мильштейн, - Столярский просто боялся лишиться потенциального ученика". И еще: "Когда меня спрашивали о Столярском, я отвечал, что его репутация преувеличена <...>. Я находил его потешным <...> он не был особо глубоким музыкантом, но скрипку - знал"[2]. А о системе обучения: "Столярский, собственно, ничему не учил. Играющему он говорил лишь: 'плохо' или 'хорошо'"[3].

Это все, что пожелал сказать великий скрипач о том, кто научил его водить смычком по струнам. А ведь это так непросто!

До окончательного отъезда из СССР (1925 год) едва ли не важнейшей вехой в творческой биографии артиста было исполнение им ("мировая премьера") Первого концерта С.Прокофьева, правда, не с оркестром, как положено, а в сопровождении фортепиано, партию которого сыграл неизменный партнер тех лет Владимир Горовиц. Новизна, непривычность языка и технических средств прокофьевского Концерта отпугнули крупнейших скрипачей тех лет Ф.Крейслера и Бр.Губермана, и они не пожелали стать первыми исполнителями этого шедевра русской музыки. Тем большей похвалы достойны два молодых и еще не признанных артиста - Мильштейн и Горовиц, - исполнивших Концерт в Москве 21.10 1923 г., затем в Петрограде 6.11 того же года (в программу этого концерта был включен также скрипичный Концерт N1 К.Шимановского, композитора, впоследствии признанного вторым, после Шопена, музыкальным классиком Польши). Один из критиков, отдав дань скрипачу и пианисту, восклицал: "Посвятить целый вечер Прокофьеву и Шимановскому - во всяком случае смело. Смело и необычно <...> Можно пожалеть об отсутствии на концерте обоих авторов, - вряд ли они услышат лучшее исполнение своих творений"[4]. Другой рецензент - о тех же концертах: "Горовиц и Мильштейн - молодые художники, полные юношеского задора, кипения страстей, буйной взволнованности, темперамента"[5].

Казалось, Мильштейн - в потенции - скрипач-подвижник, способный в будущем совершать подвиги И.Иоахима, А.Бродского, С.Душкина, Й.Сигети, Д.Ойстраха[6], способный, рискуя профессиональным благополучием, карьерой, принимая на себя инсинуации критиканов, ломать копья, пробивая путь талантливым сочинениям современников, воплощая - а по сути *рождая* - их на концертной эстраде.

Обладая мастерством Натана Мильштейна это "было так возможно"!

Но... исключая опыт юных лет, Мильштейн за свою долгую и, безусловно, прекрасную артистическую жизнь, не вдохнул жизнь ни в одно новорожденное скрипичное произведение. "Шимановский и Прокофьев являют собой пределы его, Мильштейна, постижения современной музыки <...>; он назвал Концерт Берга 'выдающимся' и даже намеревался сыграть его. Но это была всего лишь мимолетная мысль <...> он безусловно не пионер новой музыки"[7].

Вот его объяснение (данное в 1977 г.): "Композиторы больше не знают, как писать для скрипки. Никогда прежде в музыкальной истории не наблюдалось такой деградации качества. <...> Прокофьев написал свои лучшие произведения еще до первой мировой войны. Стравинский, Барток, Берг - и это конец!"[8]

На первый взгляд трудно понять - то ли неосведомленность, то ли нежелание познать музыку, творимую современниками, пусть только для твоего инструмента - скрипки. Ведь после (и кроме) Стравинского, Бартока и Берга были еще Элгар, Сибелиус, Энеску, Равель, Хиндемит, Хачатурян и Шостакович (если говорить лишь о "самых-самых"), чьи сочинения для скрипки не нуждаются в нашей рекомендации.

Нет, конечно, такой артист, каким был Мильштейн, обо всем хорошо знал: при всей своей занятости, он посещал концерты, слушал радио, пластинки (позднее смотрел и слушал видеоленты), наконец, если не читал, то перелистывал специальную литературу, книги, журналы и газеты (в книге From Russia есть бесчисленные тому доказательства).

Дело в другом: в характере, темпераменте человека, музыканта, художника, в профиле его дарования.

* * *

В названной книге-исповеди, в книге-альбоме французского музыкального писателя Бернара Гавоти[9] и других публикациях

Н.Мильштейн запечатлен на множестве снимков, в разных позах: сам и в кругу семьи, анфас и в профиль, везде - красавец-мужчина (вплоть до снимков последних лет!), со скрипкой и без нее, элегантно одет, видать - по последней моде (одесситы любят франтить!); аристократический тип, на лице - невозмутимость, спокойствие, полная уверенность в себе и своих силах.

Музыкальный критик Е.Кернер назвала Натана Мильштейна "брамином со скрипкой". Он был замкнут в себе, берег силы (и какие!), лелеял свое "сказочное" мастерство, всю жизнь делал то, для чего родился, - играл на скрипке (и как!), играл то, к чему привык за многие годы и что хорошо получалось. Гордое одиночество выражалось и в том, что он не оставил ни одного достойного себе питомца. Почти не играл камерной музыки (как в юные годы с Владимиром Горовицем).

Он был одинокой звездой...

* * *

В 1925 году Н.Мильштейн стал "невозвращенцем". Но не таким, как множество ему подобных, а совсем другого рода: на веки. Он не приезжал ни с частными визитами в СССР, ни на гастроли, несмотря на настойчивые приглашения, в том числе от "короля" американских менеджеров Сола Юрока. Никаких сентиментов ностальгического характера у Мильштейна, по его признанию, никогда не возникало. И даже к родному городу, коренные жители которого, как принято считать, пламенные патриоты своей "Одессы-мамы".

Объяснение этому дает сам Натан Мильштейн, притом вполне недвусмысленное: "Я - антисоветский человек" ("I'm anti-Soviet")[10]. Его, всю жизнь неиссякавшая ненависть к советской власти и советской системе находит отражение на многих страницах часто цитируемой здесь книги воспоминаний и свидетельствует об осведомленности артиста во всем, что касается экономической, политической, культурной жизни "страны победившего социализма", о притеснениях и физическом уничтожении людей искусства. "Революция ограбила моего отца, она же ограбила семью моего друга Вл.Горовица <...>. Отец Владимира погиб в сталинском концлагере"[11].

82-летний Горовиц все же посетил, за три года до кончины, СССР и выступил в ряде концертов.

Натан Мильштейн - нет.

Примечания

1. From Russia to The West. The Musical Memoirs and Reminiscences of Nathan Milstein by Nathan Milstein and Solomon Volkov. Translated from Russian by Antonina W.Bouis. <...> Henry Holt and Comp. N.Y., 1990. Далее ссылки на эту книгу даны сокращенно: From Russia.

2. From Russia. P.6.

3. Boris Schwarz. Great Masters of the Violin. N.Y.,1985. P.443.

4. "Красная газета" (Петроград), 8.12. 1923. В зрелые годы Мильштейн наиграл на пластинки оба скрипичных концерта Прокофьева (2-й создан в 1935 г.) соответственно с дирижерами К.М.Джулини и Р.Фрюбеком де Бургос. Но на сцене почти не играл их.

5. В.Каратыгин. Semper idem. "Жизнь искусства" (Петроград), 1923, N51.

6. *Йожеф Иоахим* был первым исполнителем посвященного ему Концерта для скрипки Брамса, написанного в традиции Бетховена, но в ту пору (70-е годы XIX в.) далеко не всеми оцененный по достоинству.

П.И.Чайковский посвятил *Адольфу Бродскому* свой Концерт для скрипки, признанный некоторыми критиками "неисполнимым" и даже ... "дурно пахнущим". "Г-н Бродский играл <...> концерт повсюду, повсюду его за это упрекали критики <...>, но дело было сделано, концерт мой спасен, и теперь очень нередко его играют в Западной Европе..." (П.И.Чайковский. Музыкально-критические статьи. М.,1953. С.340).

Игорь Стравинский избрал *Самуила Душкина* на роль первого исполнителя своего Концерта для скрипки. Между тем Мильштейн не преминул вставить несколько едких слов по адресу своего коллеги (не из ревности ли?): Душкина, по его мнению, предпочли по причине ... отсутствия у него яркой индивидуальности - Стравинский опасался музыкантов, "интерпретирующих" музыку по-своему... (From Russia. P.134).

Венгерско-еврейский скрипач *Йожеф Сигети* - пропагандист современной музыки - зачастую сталкивался со стеной непонимания, косности и даже враждебности по отношению к творчеству исполняемых им авторов (Бартока, Прокофьева, Равеля, Блоха - классика еврейской музыки, Берга и др.).

В пору страшных гонений и террора (40-е - нач. 50-х гг.) Давид Ойстрах исполнял сочинения композиторов, ходивших тогда в "формалистах", - Прокофьева, Мясковского, Хачатуряна, Шостаковича; написал и опубликовал статьи, в которых отстаивал элементарные принципы художественного творчества.

7. H.Roth. Great Violinists in Performance. Los Angeles, 1987. P.54.

8. Цит. по статье Э.Зальцберга.

9. Bernard Gavoty. Nathan Milstein. Geneva, 1956.

10. From Russia. P.208.

11. Там же. P.208 и 211.



Плодотворный опыт Модеста Альтшулера

Виктор Юзефович
(Вашингтон)

Среди эмигрировавших в Америку русских музыкантов было несколько дирижеров, которые сыграли большую роль в музыкальной жизни США, определяя своей деятельностью художественный "климат" ее крупных центров. Осип Габрилович возглавлял симфонический оркестр в Детройте, Николай Соколов - в Кливленде, Сергей Кусевицкий четверть века руководил Бостонским симфоническим оркестром, основал знаменитые музыкальные фестивали в Тенглвуде, Василий Сафонов был главным дирижером Нью-Йоркской филармонии и директором консерватории в Нью-Йорке. Заметное место в этой плеяде принадлежит Модесту (Моисею Исааковичу) Альтшулеру (1873-1963). Альтшулер прожил в Америке жизнь, был не только современником, но и зачинателем и участником многих музыкальных событий. Довелось ему быть и свидетелем неоднократных изменений во взаимоотношениях между Россией и Америкой, общаться с посольствами, представлявшими Царскую Россию, Временное правительство России, наконец, в продолжение нескольких лет, посольство, неведомо кого представлявшее, ибо Временного правительства давно уже не существовало, советское государство тогда признано Америкой не было, а небольшая группа русских дипломатов во главе с Борисом Бахметьевым продолжала работать в Вашингтоне вплоть до 1922 года. "Они очень тверды в своем отрицательном отношении к большевизму и в своем благожелательстве к русскому народу", - писал об американцах работавший тогда секретарем посольства Михаил Карпович[1].

Впервые публикуемое письмо Модеста Альтшулера к первому послу СССР в США Александру Трояновскому написано вскоре по-

сле того, как в 1934 году дипломатические отношения между странами были восстановлены. Письмо хранится в Музыкальном отделе Библиотеки Конгресса, сотрудникам которой публикатор очень признателен за содействие в работе над русскими музыкальными архивами.

18 января 1934 года, Голливуд
А.А.Трояновскому, Послу СССР в США
Вашингтон

Мой дорогой Александр Антонович!

Автор письма надеется возобновить с Вашей помощью работу, которой он всецело предан вот уже на протяжении 38 лет своего пребывания в Соединенных Штатах и которая была прервана войной, разрывом отношений с Россией и другими неблагоприятными обстоятельствами. Эта работа направлена на пропаганду русской музыки в Америке.

Вскоре после окончания Московской консерватории, где моими соучениками были Скрябин, Рахманинов, Левин, Игумнов, Гедике, Гольденвейзер, Крейн, а среди учителей были Ипполитов-Иванов, Аренский, Танеев, после службы в армии и концертного турне по России в составе "Московского Трио" я покинул Россию и приехал в Соединенные Штаты. Здесь, преодолев большие трудности, я основал "Русский Симфонический оркестр".

С этим своим оркестром в течение двадцати лет я исколесил всю Америку и могу сказать, что в немалой степени способствовал тому, что американской публике стали известны и любимы ею имена и произведения плеяды русских композиторов, включая Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина, Мусоргского, Ипполитова-Иванова и многих других композиторов. С оркестром под моим управлением дебютировали в Америке многие выдающиеся русские артисты, такие как Иосиф Левин, Эльман, Сергей Прокофьев, Анна Павлова, Мордкин, невозможно назвать здесь всех. Я организовал приезд в Соединенные Штаты Америки Скрябина и могу утверждать, что был первооткрывателем его творчества в Америке, равно как творчества Глазунова и Стравинского. В то же время я был у дирижерского пульта во время последнего выступления Айседоры Дункан после ее возвращения из Москвы. Чтобы описать всю проделанную мной работу по пропаганде русской музыки в Соединенных

Штатах, потребовался бы целый том. Кстати, я работаю над такой книгой с моим другом, русским журналистом, Александром Браиловским, помогающим мне в литературной обработке.

В прошлом сезоне я организовал на кооперативных началах "Нью-Йоркский симфонический оркестр". Из проспекта, который я прилагаю, Вы увидите преобладание в наших программах русской музыки.

Теперь я решил восстановить мой Русский Симфонический Оркестр, чтобы познакомить Америку со всем тем новым, что было создано русскими композиторами за последний период социалистического строительства. Я хочу показать произведения как мастеров старшего поколения, которые живы и активно работают, так и в особенности и произведения композиторов нового, послереволюционного поколения.

Принимаясь за эту работу, я бы хотел быть уверенным в Вашей помощи и в возможности быть в будущем в постоянном контакте с Советским Представительством в Соединенных Штатах.

Основываясь на своем большом опыте работы с "Русским Симфоническим Оркестром", я считаю необходимым организовать Комитет из таких американцев, которые симпатизируют Советскому Союзу по идеологическим причинам или потому, что интересуются развитием деловых контактов с ним, из любителей музыки вообще, и русской школы в особенности. Такой Комитет позаботится о создании Гарантированного Фонда, как это было и раньше. Мне бы хотелось отметить, что среди поручителей "Русского Симфонического оркестра" было много предпринимателей, промышленников, которые в то время занимались бизнесом с Россией, таких, как Чарльз Крейн, Вестингхаус, Мак-Кормик и другие. Последним президентом Фонда был генерал В.Томпсон, чье имя, возможно, знакомо Вам как имя одного из сторонников признания Советского Правительства во времена Президента Вилсона. Мне бы хотелось упомянуть, что дочь президента Вилсона, мисс Маргарет Вилсон, будучи сама музыкантом, в значительной мере способствовала успеху нашей работы.

Хотелось бы, чтобы во главе такого Комитета стояли два Президента - один представитель Америки, другой - СССР. Представителем Америки мне видится человек типа инженера Купера, что касается Почетного Президента, представляющего СССР, я бы счел за честь, если бы Вы приняли эту миссию на себя.

Я не сомневаюсь, что значительная часть тех, кто спонсировал работу "Русского Симфонического оркестра", присоединятся к работе нового Комитета. Я не сомневаюсь, что мой план встретит максимальное взаимопонимание также и с Вашей стороны.

Если Вы в принципе одобряете изложенные мной выше основные принципы, согласны с ними - надеюсь, что это так, и готовы оказать свое содействие, я буду рад сообщить Вам обо всех частностях, которые Вам могут понадобиться.

В связи с планом возобновления "Русского Симфонического Оркестра" в очень недалеком будущем я полагаю посетить Советский Союз с двойной целью: изучить материал, накопившийся за последние годы, как я обычно делал это в прошлом, а также установить контакт с молодым поколением русских композиторов и познакомить их со всем новым, что появилось в американской музыке.

По возвращении из России я надеюсь начать серию симфонических концертов с программами современной советской музыки, совершить ряд турне по Америке с новыми, "свежими" произведениями, а также осуществить радиотрансляции новой русской музыки.

Я надеюсь, что Вы с должным вниманием отнесетесь к моему плану и дадите свое согласие сделаться Почетным президентом.

С уважением,
Модест Альтшулер

Комментировать это письмо Модеста Альтшулера непросто. И потому, что сам он достаточно подробно и убедительно сказал в нем о том, что составляло суть его творчества, суть всей его жизни в США. И потому, что до сих пор не обнаружен архив дирижера, материалы которого дополнили бы наши отрывочные представления о том, как разворачивалась его деятельность в этой стране.

Альтшулер родился в Могилеве. Музыкальное образование начал в Варшавской консерватории под руководством Й.Гебельта (класс виолончели), затем, в 1886 году поступил в Московскую консерваторию, где учился игре на виолончели у В.Фитценгагена и Э. фон Глена. Московская консерватория оказала решающее воздействие на формирование творческой личности Альтшулера. Его учителями, кроме названных, были такие музыканты, как С.Танеев, В.Сафонов (под управлением которых он не раз играл соло с оркестром), А.Аренский, а также его консерваторские сверстники, составлявшие, подобно учителям, цвет музыкальной культуры Рос-

сии. Среди них выделялись корифеи пианистического мира начала века С.Рахманинов, А.Скрябин, И.Левин, творческие контакты с которыми Альтшулер сохранит, избрав впоследствии дирижерское искусство своей основной профессией.

Достоин упоминания факт участия виолончелиста Альтшулера в премьере одного из прекрасных камерных сочинений П.И.Чайковского - секстета "Воспоминание о Флоренции" (1892 г.). В том же году вместе с Давидом Крейном и Давидом Шором[2] Альтшулер основал Московское трио, которое явится главным участником ими же основанного цикла концертов "Исторические камерные утра". Просветительская направленность этого получившего в Москве известность цикла стала в жизни Модеста Альтшулера своеобразной прелюдией к последующей его деятельности в Америке, где он создал Русское симфоническое общество и Русский симфонический оркестр. За два десятилетия своей истории оркестр сделал очень много для пропаганды в Америке русской музыки и русских музыкантов-исполнителей. Характерно, что Николай Слонимский включил в летопись крупнейших музыкальных событий века дебют Русского симфонического оркестра в Нью-Йоркском Купер Юнион холл (28 января 1904 г.), мировую премьеру "Поэмы экстаза" Скрябина (10 декабря 1908 г.), американскую премьеру его же симфонии "Прометей", сыгранную, по воле автора, со световым сопровождением (20 марта 1915 г.) и дебют в Америке Сергея Прокофьева со своим Вторым фортепианным концертом (10 декабря 1918 г.)[3]. Всеми этими событийными концертами дирижировал Модест Альтшулер.

Подобных музыкальных событий было на самом деле гораздо больше. Именно Альтшулер организовал в 1906 г. поездку в Америку Скрябина. Композитор дебютировал в Нью-Йорке в Карнегихолл 7/20 декабря 1906 г. в концерте Русского симфонического оркестра. Вся программа, как бывало нередко у этого оркестра, состояла из произведений русских авторов: Третьей симфонией Глазунова и Цыганским каприччио Рахманинова дирижировал Альтшулер, аккомпанировать Скрябину в его Фортепианном концерте вызвался Сафонов. "После концерта мы засиделись с Сафоновым и братьями Альтшулерами в ресторане чуть ли не до утра, - писал Скрябин. - Успех, который я имел (о г р о м н ы й), по мнению Сафонова и Альтшулера, есть гарантия для ангажементов в будущее время"[4].

В феврале и марте 1907 г. Русский симфонический оркестр представил Америке Первую и Третью симфонии Скрябина. Автор, присутствовавший на премьерах, писал по возвращении в Европу: "Модест Альтшулер дирижировал симфонии удивительно"[5]. В доме Альтшулера в Нью-Йорке Скрябин провел немало часов, заполненных музыкой и спорами. "Мы имели великое множество интереснейших дискуссий, подробности которых изложены мною в подготавливаемой к печати книге, - вспомнит много лет спустя Альтшулер. Сокровенным желанием Скрябина было остаться здесь, он на самом деле замышлял исполнение последней своей композиции - 'Мистерии' в индейском храме в США"[6].



М. И. Альтшулер и В. И. Сафонов. Америка. 1907 - 1908 г.

Тогда же, в Америке, Скрябин познакомил Альтшулера с незавершенной еще "Поэмой экстаза", музыкой которой он особенно дорожил. "'Поэма экстаза' безумно понравилась Альтшулеру...", - читаем мы у Скрябина[7]. "Он хочет поставить ее со всей возможной роскошью и даже применить в первый раз световые эффекты", - писал композитор, давая тем самым понять, что дирижер тогда уже был посвящен в его замысел синтеза звука и света, который окажется реализованным лишь в симфонии "Прометей"[8]. Мировая премьера "Поэмы экстаза" прошла в Нью-Йорке с большим успехом. В этой же программе Русского симфонического оркестра впервые в Америке выступил юный Миша Эльман. Вдохновенное исполнение Концерта Чайковского открыло блистательную американскую карьеру скрипача. Любопытные воспоминания мы находим в книге отца скрипача, Шаула, сопровождавшего его в первом американском турне. Оба они - отец и сын - не знали английского языка и волновались, что не найдут по этой причине взаимопонимания

с оркестром и дирижером. Но от волнения не осталось и следа на первой же репетиции - большая часть оркестрантов говорила на идиш...[9].

Сергея Рахманинова Альтшулер пытался пригласить в Америку еще в 1905 г. "В Америке у меня есть только один знакомый, это Модест Альтшулер", - писал композитор[10]. Приехал в Америку Рахманинов впервые только в конце 1919 г., Альтшулер встречал его на нью-йоркском пирсе - точно так же, как три года назад Скрябина. 14/27 января 1910 г. - двумя месяцами спустя после своего американского дебюта (15 и 17/28 и 30 ноября 1909 г., Карнегихолл, мировая премьера Третьего фортепианного концерта с Нью-Йоркским филармоническим оркестром под управлением Вальтера Дамроша) - Рахманинов в концерте Русского симфонического оркестра исполнил под управлением Альтшулера свой Второй фортепианный концерт. В программе впервые в США прозвучала также его симфоническая поэма "Остров мертвых".

В 1918 году Рахманинов получил одновременно три приглашения из Америки. Одно из них исходило от Альтшулера и обещало ему 25 выступлений в качестве пианиста. Вскоре после эмиграции Рахманинова в Америку (ноябрь 1918 г.) состоялись новые его выступления с Русским симфоническим оркестром и Альтшулером. На этот раз звучал Первый фортепианный концерт (28 и 29 января 1919 г., Нью-Йорк).

Рахманинов не играл с Альтшулером часто, но тем не менее постоянно материально поддерживал Русский симфонический оркестр. Помогал оркестру и Сафонов. Примечательно, что Николай II наградил президента Русского симфонического оркестра Ф.Хастингса орденом Станислава "за его заслуги в пропаганде русской музыки в Америке"[11]. Тем самым давалась высочайшая оценка (но не награда!) и миссии Альтшулера. Тогда еще в России хорошо понимали, что интересам отечественной культуры можно служить и вне пределов России.

Публикуемое письмо Модеста Альтшулера свидетельствует об отличной организационной стороне работы Русского симфонического оркестра. Упомянутый в письме чикагский промышленник Гарольд Мак-Кормик экспортировал в Россию сельскохозяйственные машины. Летом 1917 г. он посетил Петроград с миссией сенатора Рида, приветствовавшего советскую Россию, познакомился с Про-

кофьевым, а по приезде композитора в Америку ввел его в музыкальные круги Чикаго.

Приехав в США в 1918 году почти одновременно с Рахманиновым, Сергей Прокофьев не сразу выступил с Альтшулером. Он успел до этого сыграть в Бруклине на открытии выставки русского художника Бориса Анисфельда, выступить с программой из своих сочинений в Нью-Йоркском Эолиан холл и с двумя симфоническими концертами в Чикаго под управлением Фредерика Стока. Только после этого, 10 и 11 декабря 1918 года, он играл в Карнеги-холл с Русским симфоническим оркестром. "Альтшулер был хороший музыкант, но плохой дирижер, - писал композитор впоследствии. - ...После этих концертов пресса единодушно ругала и оркестр, и Альтшулера, а тут же и меня"[12].

Резкость подобной характеристики объясняется как строжайшей творческой требовательностью Прокофьева, так и его склонностью к иронии и сарказму - в том числе по отношению к высоко ценимым им музыкантам, скажем Стравинскому или Мясковскому. Что же до отзывов прессы на первые выступления Прокофьева в Америке, то "градус" их измерялся не присутствием на эстраде Альтшулера, а вкусом и квалификацией критики. Об исполнении Прокофьевым своей Второй фортепианной сонаты было, к примеру, написано следующее: "Когда дочка динозавра заканчивала консерваторию своего времени, в ее репертуаре был Прокофьев". Все это только подчеркивает, с какими серьезными препятствиями постоянно сталкивался М.Альтшулер, настойчиво пропагандируя в Америке новую русскую музыку.

Параллельно с публикуемым письмом послу Альтшулер направил письмо известному меценату миссис Элизабет Спрэг Кулидж, прося о поддержке своего проекта. Ответ ее был отрицательным: всю свою меценатскую деятельность Кулидж связывала с камерной музыкой.

Ответа А.Трояновского на письмо Альтшулера обнаружить не удалось, но по некоторым косвенным данным он был в целом весьма обнадеживающим. "Русский посол, как Вы увидите из прилагаемого мной письма, вполне одобряет этот проект", - писал Альтшулер[13]. Восстановить Русский оркестр, однако, так и не удалось. Причины, как представляется, были глубже, чем личное отношение к проекту того или иного посла или мецената.

Первая из них заключалась в изменении музыкального "клима-

та" Америки. В начале века Альтшулер был истинным и едва ли не единственным пионером в деле пропаганды русской музыки в США. В середине 30-х годов форпостами ее пропаганды сделались оркестры Кливленда и Детройта, возглавлявшиеся с 1918 года, соответственно, Николаем Соколовым и Осипом Габриловичем. В истинный культурный мост между США и СССР Сергей Кусевицкий превратил руководимый им к тому времени уже более десяти лет Бостонский оркестр. Да и американские дирижеры все чаще включали новинки советской музыки в свои программы. Характерно в этой связи, что в 1933 году Леопольд Стоковский осуществил с Филадельфийским оркестром запись на пластинки Первой симфонии Дмитрия Шостаковича, в 1934-м Фредерик Сток в Чикаго - мировую премьеру Тринадцатой симфонии Николая Мясковского, заказанной композитору Чикагским оркестром, в 1935-м - Артур Родзинский поставил в нью-йоркском театре "Метрополитен" оперу Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда".

Отметим в этой связи ошибку, допущенную в публикуемом письме Альтшулером относительно того, что Стравинский и Глазунов дебютировали в США якобы с Русским симфоническим оркестром. Американский дебют Стравинского в качестве дирижера состоялся 8 января 1925 года с оркестром Нью-Йоркской филармонии. 23 января того же года Стравинский исполнил свой Фортепианный концерт вместе с Бостонским оркестром под управлением Кусевицкого. Дирижерский дебют Глазунова состоялся в США 21 ноября 1929 года с Детройтским оркестром. Затем композитор выступал с Бостонским оркестром.

Не менее серьезным тормозом для реализации проекта Альтшулера являлись причины политического характера. Ужесточавшийся террор внутри Советского Союза (всего три года отделяли восстановление дипломатических отношений с Америкой от пика репрессий в 1937 году), изоляционистская внешняя политика СССР мало способствовали развитию культурного сотрудничества между странами. Достаточно идеалистичными в этой связи выглядят планы Альтшулера регулярных поездок в СССР для ознакомления с музыкальными новинками и приглашения в США советских музыкантов. Этого не удалось сделать, несмотря на исключительно настойчивые хлопоты, даже Сергею Кусевицкому - ни в предвоенные, ни в послевоенные годы. И лишь в 1955 году первыми советскими артистами на американском континенте стали Эмиль Гилельс и Да-

вид Ойстрах, а годом спустя Мстислав Ростропович, которому суждено было сделаться в наши дни продолжателем миссии Кусевицкого, Габриловича, Соколова, Альтшулера, всех русских музыкантов, живших в США и внесших неизмеримый вклад в формирование американской культуры.

Альтшулер был человеком очень настойчивым, целеустремленным. Объективность причин, ставших помехой реализации его проекта, он, вероятно, хорошо сознавал. В середине 20-х годов в Нью-Йорке Модест вместе с братом Якобом организовал Симфонический оркестр штата Нью-Йорк, одна из главных задач которого состояла в том, чтобы "помочь молодым американским композиторам слышать свои произведения в реальном исполнении на репетициях"[14].

В 50-е годы в Лос-Анжелесе Альтшулер дирижировал "Популярными концертами", руководил основанными им Юношеским оркестром Южной Калифорнии и Академией оркестрового мастерства, выпускников которой можно было встретить во всех лучших симфонических оркестрах Америки.

Альтшулер был уже совсем немолод и мечтал передать свой опыт молодым музыкантам, сохранить документы архива. Многое не ладилось. Архив, о принятии которого в Библиотеку Конгресса была уже достигнута договоренность, по непонятным причинам так туда и не попал. Книга воспоминаний, занимавшая Альтшулера в последние его годы и завершенная им, не находила издателя. Увы, сегодня неизвестно и местонахождение ее рукописи. А ведь в ней - семь десятилетий истории музыки в России и в Америке! Альтшулера выручали природная энергия, оптимизм, остроумие. "Чего еще можно пожелать в возрасте 85 лет? - писал он. - Я сохраняю отличное состояние здоровья и духа и с присущей мне иронией взираю на жизненную борьбу - ведь никто из нас не покинет этот мир живым"[15]. Альтшулер скончался в 1963 году в возрасте 90 лет...

Размышляя о необходимости обобщения творческого опыта нескольких поколений русских музыкантов, живших и работавших в США, невольно возвращаешься к деятельности Модеста Альтшулера. Идея воссоздания Русского симфонического общества - своеобразной Музыкальной академии со своим оркестром, своей, основанной на русских исполнительских традициях профессиональной школой, становится особенно актуальной сегодня, когда Россия и Запад находятся на пороге новой эры отношений, когда противосто-

явшие прежде друг другу державы перестают смотреть друг на друга враждебно, когда на Западе - будь то в США или в Израиле - живет много музыкантов из бывшего Советского Союза.

Авторитет, которым пользуются русская система музыкального образования и взращенная ею исполнительская школа, делают музыку одним из наиболее устойчивых в своем рейтинге "товаром" на ее потенциальном рынке торговли с Россией. Если идея эта будет осознана не только многочисленными любителями музыки, но и современными Мак-Кормиками и инженерами Куперами, успех Российской музыкальной академии за рубежами окажется предопределенным.

Примечания

1. М.Карпович. Письмо к историку Г.В.Вернадскому, 28.05.1922. "Новый журнал". N188. С.284.

2. Давид Абрамович (после перехода в христианство - Сергеевич) Крейн (1869-1926), брат композиторов Александра и Григория Крейнов. Окончил Московскую консерваторию по классу скрипки И.Гржимали. Концертмейстер и солист оркестра Большого театра, профессор Московской консерватории. Выступал в концертах, играя соло и в ансамбле, в т.ч. с С.Рахманиновым. Заслуженный артист Республики. В юные годы пытался покончить жизнь самоубийством вследствие преследований антисемитского характера.

Давид Соломонович Шор (1867-1942), брат пианиста Александра Шора. Окончил Моск. консерваторию по классу фортепиано В.Сафонова. Выступал в городах России и Украины солистом (в т.ч. с оркестром под управлением С.Танеева) и ансамблистом. Обрел известность как педагог и лектор. Преподаватель (с 1919 профессор) Московской консерватории. Сионист по убеждению, Д.Шор в 1927 г. репатриировался в Эрец-Исраэль, став одним из первых и наиболее активных строителей музыкальной жизни страны: преподавал, консультировал молодых музыкантов, выступал с концертами и лекциями. Умер в Тель-Авиве. (Прим. ред.).

3. N.Slonimsky. Music Since 1900. N.Y., 1937. P.39, 85, 159, 192.

4. А.Скрябин. Письмо к жене - Татьяне Федоровне Шлецер-Скрябиной от 10/23.12.1906 из Нью-Йорка. А.Скрябин. Письма. М.,1965. С.447.

5. А.Скрябин. Письмо к М.К.Морозовой от 10/23.04.1907 из Парижа. Указ. изд. С.466.

6. М.Альтшулер. Письмо Н.Л.Слонимскому от 17.09.1952. Музыкаль-

ный отдел Библиотеки Конгресса. Вашингтон. Коллекция Слонимского. Публикуется впервые.

7. А.Скрябин. Письмо к М.К.Морозовой от 15/28.12.1906 из Нью-Йорка. Указ. изд. С.449.

8. А.Скрябин. Письмо к М.К.Морозовой от 22.08/04.09.1907 из Беатенбурга. Указ. изд. С.477.

9. См.: S.Elman. Memoirs of Mischa Elman's Father. N.Y. 1933.

10. С.Рахманинов. Письмо к М.Л.Пресману от 26.06.1905 из Ивановки. С.Рахманинов. Литературное наследие. Т.1. М.,1978. С.357.

11. "The New York Times", 21.07.1910.

12. С.Прокофьев. Автобиография. Сб.: С.С.Прокофьев. Материалы. Документы. Воспоминания. М.,1961. С.164.

13. М.Альтшулер. Письмо к Джесси Джонсу от 05.04.1934. Музыкальный отдел Библиотеки Конгресса. Вашингтон. Коллекция Кулидж. Публикуется впервые.

14. Я.Альтшулер. Письмо к Карлу Энгелю от 02.09.1925. Музыкальный отдел Библиотеки Конгресса. Вашингтон. Публикуется впервые.

15. Письмо Альберту Гольдбергу от 08.03.1958 из Вашингтона. Музыкальный отдел Библиотеки Конгресса. Вашингтон. Публикуется впервые.

ИСТОРИЯ

Редактор Марк Амусин

Вера Евсеевна Слоним, или
Служение русской словесности

Борис Носик (Франция)

Соломон Познер и "Русский дом" в Париже

Виктор Кельнер (Россия)

Юлий (Иегуда) Марголин

Виктор Каган (Израиль)



Вера Евсеевна Слоним, или Служение русской словесности

Борис Носик
(Париж)

Рассказывая о помощи парижских меценатов бедствующим литераторам времен первой русской эмиграции (т.1 настоящего издания), я упомянул о роли еврейских женщин (М.Цетлиной, С.Прегель и др.) в этом благороднейшем деле и об их особой преданности русской словесности. Прежде чем остановиться здесь на одном, совершенно особом случае подобной преданности и подобного служения, хотелось бы задаться вопросом (пусть даже риторическим) - откуда идет это служение и эта беззаветная преданность? Какие-то намеки на объяснение можно, наверно, найти уже в произведениях Шолом-Алейхема, где появляются ищущие иной жизни девушки из еврейских местечек, открывающие наряду с Книгой другие книги, которые словно сулят ответ на мучительные вопросы о возможности жизненных перемен и затрагивают запретные проблемы чувства. А когда некоторые из этих девушек получали доступ к столичному образованию (к чему они проявляли недюжинные способности), им открывались и сокровища одной из самых прекрасных и проникновенных литератур мира. И тогда дочери Народа Книги - в полном соответствии с тогдашней русской интеллигентской традицией (которой наше поколение, возможно, последняя жертва) - проникались бесконечным пиететом к русской книге и учителям жизни - русским писателям. Историки еврейской и русской культуры найдут, вероятно, этому девичьему благоговению перед русским словом и другое, более научное (или хотя бы более наукообразное) объяснение, а я лишь изложу вкратце один пример такого служения, одну биографию, не вполне, впрочем, заурядную.

1922 год был, вероятно, самым страшным годом в жизни молодого берлинского литератора Владимира Набокова-Сирина. От руки

черносотенцев-антисемитов погиб в зале Берлинской филармонии его горячо любимый отец Владимир Дмитриевич Набоков, один из лидеров кадетской партии и один из благороднейших общественных деятелей России. Потом родители его невесты Светланы Зиверт, здраво рассудив, что вряд ли юноша с литературными фантазиями начнет в ближайшие десятилетия зарабатывать на жизнь себе и жене (они не ошиблись, кстати, в этом прогнозе), объявили ему о расторжении их помолвки. Отвергла его ухаживания и Романа Клячкина, прелестная девушка полуеврейского происхождения, которая уже была к этому времени влюблена в поэта, правда, в турецкого. Юность, здоровье, талант и исступленные занятия литературой помогали Володе (по-семейному - Лоди) Набокову выбираться из пучины горя. Он писал стихи, посвященные отцу и возможной встрече с ним, писал стихи, посвященные Светлане, их разрыву:

Не надо плакать. Видишь, там - звезда,
там, над листвою, справа. Ах, не надо,
прошу тебя! О чем я начал? Да,
- о той звезде над чернотою сада...

Он читал стихи на каком-то вечере в Берлине, и в зале находились две или три еврейские девушки, влюбленные в этого длинного, худого как жердь, знаменитого уже романтического поэта в оксфордском блэйзере с гербом Тринити-колледжа. Может, их было и больше, чем три. Во всяком случае там была Вера Слоним, не пропускавшая таких вечеров. Была Женя Залкинд (будущая мадам Каннак), в черновиках которой (предоставленных мне любезно господином Рене Каннаком) я нашел стыдливо вычеркнутую фразу о том, что она была в Набокова "влюблена по уши". Одной из девушек, влюбленных в стихи Набокова и в него самого, суждено было стать его женой. Она сама сделала первый шаг, а в его жизни настал тот самый (иные называют его роковым) момент, когда мужчина хочет, должен жениться: погиб отец, мать и сестры уехали в Прагу, невеста ушла, он горевал и томился одиночеством... Нет, нет, он не сидел дома, он вовсе не был домоседом, одиночкой, не чурался ни общества, ни общественной жизни (как он позднее рассказывал интервьюерам, создавая для потомства свой "имидж"). Среди прочего он посещал и процветавшие в ту пору в эмиграции балы. И вот, согласно "официальной", самим Набоко-

вым предложенной его биографам версии, именно на таком балу в Берлине 8 мая 1923 года произошло его знакомство с Верой Слоним. Итак, знакомство с девушкой в маске на балу, потом ночной разговор, прогулка - такова примерно эта "официальная" версия. Однако, работая над биографической книгой о Набокове, я слышал в семьях старых эмигрантов в Париже и другие версии, в которых повторялся один, показавшийся мне вполне правдоподобным, мотив: она сама назначила ему свидание в полночь у моста в парке и пришла в маске (утверждение о том, что она пришла на это свидание с пистолетом и сказала:"Женись", - я сразу отверг как противоречащее тому, что я уже знал о ней). Не желая все же оставлять ни одну из версий без проверки, я попросту сел в скорый поезд и через каких-нибудь три с половиной часа в женевской квартирке Елены Владимировны Сикорской-Набоковой, любимой сестры писателя, ожидал опровержения главного парижского слуха. Опровержения не последовало. Елена Владимировна попросила меня снять с полки ардисовское издание стихов брата и открыть книгу на 106 странице, где я прочел читанные уже когда-то без должного внимания стихи:

Как бы из зыбкой черноты
медлительного маскарада
на смутный мост явилась ты.

Дальше было про "профиль волчий" маски (значит, маска была) и догадка о причине ее прихода:

И романтическая жалость
тебя, быть может, привела
понять, какая задрожала
стихи пронзившая стрела?

Речь, конечно, шла о стихах, обращенных к Светлане ("Не надо плакать...") и напечатанных в "Руле". Что бы ни привело Веру на мост, стихи свидетельствовали, что она пришла сюда в маске одна - по своей воле...

Елена Владимировна не раз упоминала в нашем разговоре роман "Дар", в котором, по ее мнению, все было очень близко к реальной истории любви Веры и Владимира - все, как в жизни.

Роман подтверждал, что она была знакома с его стихами, видела его самого раньше, была поклонницей его поэзии (что может больше растрогать начинающего поэта?). Герой автобиографического романа отметил еще при первом знакомстве особую речь молодой женщины, родство их душ и то, "что его больше всего восхищало в ней": "ее совершенную понятливость, абсолютность слуха по отношению ко всему, что он сам любил". У нее было живое воображение, и она подхватывала его игру на ночных берлинских улицах. "...Не облака, а горные отроги; костер в лесу - не лампа у окна. О поклянись, что до конца дороги ты будешь только вымыслу верна..." Было, конечно, и другое - "какая-то давно знакомая, золотая летучая линия", был "наплыв безнадежного желания, вся прелесть и богатство которого были в неутолимости", но это вот поклонение его Дару, которому он и сам служил, эта затрепанная, зачитанная книжечка его стихов, которую она (героиня романа Зина Мерц) принесла ему надписать при первом разговоре, - это было, наверное, главное.

Потом была их переписка, их встречи на страницах "Руля", где она печатала переводы, подписывая их теми же инициалами, что у него: "В.С." Они шли неотвратимо к браку, но оба знали, что она всегда будет занимать в его жизни не первое, а второе место, ибо первой была Муза, навещавшая еще в Кембридже его студенческую келью. И Вера соглашалась на второе после Музы место, догадывалась о том, о чем он писал позднее в "Даре" про своего героя: "Если в те дни ему пришлось бы отвечать перед каким-нибудь сверхчувственным судом... то вряд ли он бы решился сказать, что любит ее, - ибо давно догадывался, что никому и ничему всецело отдать душу неспособен: оборотный капитал ему был слишком нужен для своих частных дел..."

25 апреля 1925 года Вера стала его женой. Они расписались в ратуше, и когда он заплатил какую-то скромную сумму за процедуру, в кармане у него не осталось ни гроша. Вечером они ужинали у Слонимов, и Вера как бы невзначай обронила за ужином: "Нынче утром мы поженились". Родителям пришлось проглотить и это: она была самостоятельная девочка и не потерпела бы никакого вмешательства в свою жизнь. У Евсея Слонима хватило мудрости не давать зятю мудрых жизненных советов... Что ж, в прежней России писательство было когда-то очень престижным занятием. А что он - не еврей, так он все-таки сын этого замечательного

В.Д.Набокова, который первый написал про кишиневский погром и всю жизнь дружил с евреями... Что думала по поводу великого В.В.Набокова его теща Слава Фейгина, мы не знаем вовсе.

Отец Веры Евсей Слоним, как и отец его нынешнего зятя, изучал право в Петербурге, но юристом не стал, ибо обходить процентную норму посредством крещения (хоть и был равнодушен к иудаизму) счел ниже своего достоинства. Он стал лесопромышленником и лесоторговцем, вел хозяйство по-новому и требовал сажать новое дерево на месте всякого поваленного. На юге России он начал строить какой-то образцовый город, но достроить не успел: пришлось бежать от большевистской расправы. В Германии ему сперва повезло, он даже открыл издательство - хотел издавать в английских переводах русскую литературу. Инфляция его разорила.

Вера получила в Петербурге прекрасное образование. Гувернантки научили ее неплохому французскому и хорошему английскому. У нее была блестящая память. Она посещала гимназию княгини Оболенской, собиралась изучать физику и математику, как все русские подростки, читала запоем и писала стихи. Языки она знала не хуже, чем муж, но все это - сходство в воспитании, образовании, сходство вкусов - все это не имело бы значения, если б не было у нее веры в высокое назначение литературы, а также веры в то, что муж ее будет звездой первой величины, в то, что ради этого стоит жертвовать всем - всей жизнью. Ведь из всех нежных слов, которые говорит героиня "Дара" своему возлюбленному, автор выделяет вот это:

"Мне жалко, что ты так и не написал своей книги. Ах, у меня тысяча планов для тебя. Я так ясно чувствую, что ты когда-нибудь размахнешься. Напиши что-нибудь огромное, чтобы все ахнули... Все, что хочешь. Но чтобы это было совсем, совсем настоящее. Мне нечего тебе говорить, как я люблю твои стихи, но они не всегда по твоему росту, все слова на номер меньше, чем твои настоящие слова". Не правда ли, необычное признание в любви? А дальше вот это: "...Россия будет прямо изнывать по тебе, - когда слишком поздно спохватится". Теперь всем ясно, что в этих словах нет преувеличения. Но Вера знала это с первых дней знакомства.

Можно было предсказать, как сложится их жизнь. Теперь он писал спокойно - у него был союзник. Она ходила на службу. Потом перепечатывала ("перебеливала") написанное им за день. Иног-

да позволяла себе сказать что-либо по поводу написанного. Набоков считал, что у нее абсолютный вкус.

В первом написанном по-английски романе Набокова есть описание (настолько близкое к жизни, насколько может быть близкой романная версия этого очень автобиографичного "выдумщика чистейшей воды") их совместных трудов 1924 года:

"... множество летних вечеров двадцать четвертого обратились для нее в белые листы, заползавшие в каретку, чтобы выкатиться наружу сплошь в черных и лиловых буковках. Вижу, как она стучит по блестящим клавишам взапуски с теплым дождем, шумящим в темных вязах за распахнутыми окнами, а голос Себастьяна... разгуливает по комнате... Клэр, в жизни не сочинившая ни одной поэтической или прозаической строчки, так хорошо видела (и в этом состоял ее персональный феномен) все перипетии Себастьяновых борений, что выходившие из машинки ее слова были для нее не столько носителями присущего им смысла, сколько отмечали изгибы, провалы, зигзаги, которые он одолевал, двигаясь наощупь вдоль некоей идеальной линии выражения... А еще я знаю, что Клэр, печатая под диктовку слова, которые он освобождал из рукописного хаоса, порой вдруг останавливалась, поднимала, чуть хмурясь, верхушку плененного листа и говорила, перечитав строчку:

- Нет, милый, так по-английски не говорят"*.

Здесь многое сказано. Сама Вера писать действительно не могла. Лишь после его смерти она решилась подписать один-два перевода. Но зато сотрудницей и редактором она была идеальным.

Набоковеды отмечают, что после женитьбы он сразу высоко "поднял планку": резко возрос уровень его прозы. Зачарованные колдовством этой прозы и вечным своим поиском тайны, иные из набоковедов высказывают предположение, что Вера шепнула ему некое слово, раскрыла глаза на литературу. Думаю, что я догадываюсь, какие слова она ему шепнула - они были приведены мной выше: слова о его высоком назначении, о его литературном всемогуществе, о том, что Россия будет просто изнывать по нему... Это были слова, которых он ждал, чтоб развернуться во всю силу, слова, которых ждет от близких любой писатель (но, увы, не всег-

---

* Истинная жизнь Себастьяна Найта. Перевод А. Горянина и М. Мейлаха // Вл. Набоков. Романы. М.: ГИХЛ, 1991.



В. Е. и В. В. Набоковы. С фотографии 1968 г.

да может дождаться - об этом есть очень смешной монолог Тимофея Павловича Пнина в романе "Пнин" - о женщинах Тургенева и Толстого, писателей, которым повезло меньше, чем автору "Пнина" и "Лолиты"). Справедливость требует отметить, что Вера была не единственной, кто утверждал его в сознании своей правоты и силы, - были еще Ходасевич, Фондаминский, редакция "Современных записок" и "Последних новостей", весь цвет берлинской и парижской интеллигенции (за исключением Адамовича, Иванова, "па-

рижской ноты"). Но Верина поддержка была ежедневной и еженощной, она была самой существенной - оттого так велик вклад Веры Слоним в российскую словесность. Ее борьба за его литературное существование и его победу (а он одержал ее дважды - в конце тридцатых годов в Европе и в конце пятидесятых в Америке и во всем мире), ее стойкость и мужество (в том числе и физическое) были последовательны и неколебимы. После прихода Гитлера к власти она видела, возвращаясь со службы в посольстве, как штурмовики жгли книги и громили еврейские лавки. Но в Берлине у нее была работа, работа нужна была, чтобы дать ему возможность писать, чтобы кормить мужа и сына, - и она оставалась в Берлине. Когда к власти в гитлеровской администрации, ведавшей делами эмигрантов, пришел убийца ее тестя В.Д.Набокова, Вера настояла на немедленном отъезде мужа в Париж. Сама она долго еще оставалась в становившемся все опаснее Берлине.

Позднее, во Франции, на Лазурном Берегу, их брак пережил серьезное испытание. Во время разлуки у Набокова возникла, вероятно, единственная за время их супружества внебрачная (если не считать внебрачными литературные его воображаемые романы с нимфетками, с самим собой, с кем угодно) связь. Он не решился уйти из семьи (к Ирине Гваданини) и потом всю жизнь подбадривал себя образом пушкинской Татьяны, которая сохраняет верность, поскольку "другому отдана". Чувство вины и раскаяние пронизали бесконечной нежностью к Вере последнюю главу "Дара", написанную как раз в ту пору.

Вера проявила твердость и сама предлагала ему уйти. Она вообще была человек твердый, и характер (по свидетельству многих, в том числе Е.Залкинд, В.В.Сикорского) у нее был нелегкий. Набоков, вероятно, тяготился иногда этой жесткостью, но нуждался в ней и привык к дисциплине. Племянник Набокова В.В.Сикорский рассказывал мне, что когда Вера уезжала из Монтрё ненадолго, дядя резвился, как школьник в отсутствие строгого учителя. Племянник тетю Веру побаивался, и по его признанию, это был единственный человек, которого он боялся.

Сам Набоков (и его герой Годунов-Чердынцев) среди немногих тяжелых черт Веры-Зины упоминает лишь ее болезненную чувствительность к ущемлению (мнимому или реальному) ее национального достоинства. С этой ее чертой связан изложенный З.А. Шаховской в ее книге "В поисках Набокова" (единственной мемуар-

ной книге о Набокове времен европейской эмиграции, а главное - единственной русской книге о его жизни*) эпизод, которым можно было бы пренебречь (ибо он не подтверждается другими источниками), если бы книга эта не оказала столь негативного влияния на первые шаги русского набоковедения и не касалась впрямую предмета этого очерка. Шаховская рассказывает, что отрывки из своей довоенной автобиографической книжки (вышедшей много позднее в Москве) она дала читать своему другу Набокову. Заглянув после этого (речь идет о последнем предвоенном годе) к Набоковым, она не застала писателя дома, и у нее произошел неприятный разговор с Верой. Речь зашла об одном из эпизодов воспоминаний Шаховской, в котором комиссар-еврейка, обнаружив в поезде мальчишек-кадетов, уводит их на расстрел (там описано время гражданской войны, и сам эпизод не вызывает сомнений с точки зрения его правдоподобия). Вера, по утверждению Шаховской, была раздражена, обнаружила в разговоре "религиозную нетерпимость" и "ненависть к ... России", огульно обвиняла "весь русский народ", и это "презрение к русскому народу" Шаховскую не обрадовало, она была обеспокоена позицией Набокова по этому поводу, тем более, что антисемитские настроения "в эмигрантской среде в то время вряд ли существовали". Если предположить, что описанное З.А.Шаховской происходило на самом деле (свидетелей не было, воспоминаний ничьих не осталось), то раздражение Веры, бежавшей от погромов из Германии, легко объяснимо. Тем более, что объяснение З.Шаховской насчет отсутствия антисемитизма в "эмигрантской среде" по меньшей мере неточно: антисемитизм и даже фашизм были распространены в то время среди эмигрантов и на бытовом, и на теоретическом уровне ("золотой телец Израиля", "господство сионистов" и т. д. - у младороссов, "утвержденцев", будущего НТС и еще, и еще). Однако вызывает сомнение и точность передачи этого эпизода через десятилетия, на закате жизни, и слова о "религиозной нетерпимости", о "ненависти к ... России" и о "презрении к русскому народу" в применении к неверующей Вере, жене ностальгирующего русского писателя, изнывавшего по России и оставившего самые трогательные литературные свидетельства этой ностальгии. Анализ перемен, происшедших в Набокове-чело-

* Русская семисотстраничная биография Набокова, написанная автором этой статьи, пережив в Москве крах нескольких издательств, еще ждет своего издателя.

веке, даваемый обиженной бывшей подругой З.Шаховской, вообще грешит непониманием набоковских текстов, хотя и поражает зачастую бытовой наблюдательностью и остротой характеристик. Ну как можно было ностальгически-кровоточащему набоковскому "Прощанию" приписать "антирусские" грехи? К сожалению, книга З.А.Шаховской раньше других привезенная в Россию, где так велик был в те годы интерес к Набокову, лила воду на мельницу критиков-монополистов из числа "почвенников", которым, в сущности, до самого Набокова дела было мало, а "жидовство" его (женитьба, вечная дружба с евреями) казалась чертой, компрометирующей его творчество. Сама З.Шаховская тридцать лет спустя напечатала еще и рассказ о писателе, похоронившем тиранившую его жену... Но авторская фантазия не сработала: Вера Евсеевна на добрых 12 лет пережила мужа.

Во Франции Набоковых ждала привычная для здешних эмигрантских литераторов нищета. Бегство в Америку на последнем пароходе (для ускорения оформления паспортов Вера дала первую в жизни взятку - благопристойному чиновнику парижской префектуры) перенесло супругов в иной мир. Америка поставила Набокова, так дорожившего своей "золотой нищетой" и "нищей свободой", к станку: он стал преподавать и кормить семью. Вера больше не ходила на службу, но круг ее обязанностей стал намного шире: она не только перепечатывала, выполняла секретарские функции, вела дом и растила сына - она ведала финансами, отвечала на письма, имела дело с издательствами, научилась водить машину и выполняла шоферские обязанности.

С годами она, оставаясь такой же стройной, по мнению многих, становилась еще красивей. В Швейцарии она освобождала Набокова от всякой ненужной переписки, помогала заниматься переводами, переизданиями... А он бесконечно благодарил ее за все.

Во всех новых изданиях он поставил перед романами одно и то же посвящение - "Вере". Да и какое могло быть более высокое признание ее жизненной роли, чем то, что содержалось в последних его стихах, обращенных к ней, где мельтешат цветные ромбы из его романов и слышны берлинские пересуды поры их юности:

Только ты, только ты все дивилась вослед
черным, синим, оранжевым ромбам...

"N" писатель недюжинный, сноб и атлет,
наделенный огромным апломбом...

Швейцария была идиллией, наградой за подвиг жизни...
А в Париже, в Лондоне появлялись время от времени публикации, где упоминалась прежняя Вера.

"В Берлине они жили неподалеку от нас, и мне часто приходилось видеть, как они летят по тротуару, в ногу, одинаковым шагом, оба высокие, стройные, быстрые, в похожих непромокаемых пальто, с обнаженными светлыми головами, и мне всегда казалось, что они созданы друг для друга..."

/Из воспоминаний Е.Залкинд-Каннак/

"4.1.31... Очень приятный, и жена его, евреечка, образованная, знает языки, очень мила... На отца не похож... Ивана Алексеевича обожает. Показывал бабочек. Влюблен в них."

/Из дневниковой записи В.Н.Буниной - о визите к Набоковым в Берлине/

Я сидел у сестры писателя Елены Владимировны Набоковой-Сикорской в ее скромной женевской квартирке, когда раздался звонок из Монтрё. Звонила Вера Евсеевна. Елена Владимировна сказала о моем посещении, назвала мое имя. Потом вдруг отвела взгляд, и я понял, что Вера Евсеевна вспомнила, о ком идет речь. Я совершил в ту пору святотатство - дерзнул заново перевести "Пнина", хотя уже существовал перевод Г.Барабтарло, на титуле которого Вера Евсеевна разрешила поставить свое имя (при жизни Набокова она разрешала ставить свое имя лишь в посвящениях): "при участии Веры Набоковой". Без сомнения, она участвовала в работе над этим переводом, давала советы Г.Барабтарло. Может, именно это и лишило неопытного переводчика смелости. И вот некто в Москве дерзнул переводить роман заново*, а издательство, как водится, решило никому ничего не платить. В этом контексте

* Подробнее об этом см.: Б.Носик. Набоков-переводчик и переводчики Набокова. Иностранная литература. 1993. N11.

мое имя не внушало, видимо, героине моего очерка никаких приятных воспоминаний. Но я спросил вполне светски по окончании телефонного разговора:

- Как она себя чувствует?

- Не очень хорошо, - сказала милейшая Елена Владимировна, - забывает, где она, что... Но про Его дела помнит все.

Я не стал подтверждать, что только что имел случай в этом убедиться.

Библиография

1. Набоков В. Дар. Н.-Й.: изд-во им. Чехова, 1963.
2. Набоков В. Другие берега. Н.-Й.: изд-во им. Чехова, 1954.
3. Набоков В. Пнин. Пер. Б. Носика. М.: "Худож. лит.", 1991.
4. Набоков В. Стихи. Ардис, Анн Арбор. 1979.
5. Шаховская З. В поисках Набокова. La Presse Libre. Paris, 1979.
6. Field Andrew. Nabokov: His Life in Part. Hamish Hamilton Ltd. 1977.
7. Brian Boyd. Vladimir Nabokov, Russian Years. /Vol.I./ Princeton University Press. 1990. The American Years. /Vol.II/. Princeton University Press. 1991.
8. Nabokov V. Selected Letters. N.-Y. Harcoust Brace. 1989.
9. Каннак Е. Берлинский кружок поэтов // Русский альманах. Париж, 1981.
10. Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны... Посев, Франкфурт-на-Майне, 1981, том 2.
11. Носик Б. "Есть женщины - их волосы, как шлем..." Новое русское слово, 30. 07. 1993.



Соломон Познер и "Русский дом" в Париже*

Виктор Кельнер
(Санкт-Петербург)

В истории культуры, как, впрочем, и в истории любого рода человеческой деятельности, всегда есть люди, которые, находясь в тени, на самом деле являются ее подлинно движущей силой. Чаще всего им достается черновая, неблагодарная работа. К таким "чернорабочим" культуры в полной мере можно отнести Соломона Владимировича Познера (1876-1946). Выходец из культурной семьи, он окончил юридический факультет Петербургского университета и еще в студенческие годы принимал участие как в общедемократическом движении, так и в еврейских объединениях. Интересно, что в 1898-99 гг. он входил в один студенческий кружок самообразования вместе с сыном известного еврейского издателя Адольфа Ландау - Григорием, впоследствии известным публицистом и философом. В ту же группу входили Борис Савинков и... будущий чекист номер два Рудольф Менжинский. Еще в университете Соломон Познер увлекся не только еврейской общественной деятельностью, но и историей евреев Западной Европы и России. В начале века в русскоязычной еврейской печати один за другим стали появляться его исторические очерки. Позднее, уже в 1911 г., он написал книгу "Евреи в начальной школе". Энергичный, образованный молодой человек был сразу же замечен видными еврейскими общественными деятелями

---

*При написании этой работы я опирался на письма и документы, хранящиеся в частном семейном архиве Познеров в Париже. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить признательность семье Познеров: мадам Поль Кригер-Познер и внучкам Соломона Познера Валери и Констанс-Софи: они не только предоставили мне возможность ознакомиться с хранящимся в их доме архивом, но и окружили меня теплом и заботой в дни работы.

А.И.Браудо, Г.Б.Слиозбергом, М.М.Винавером, теми, кто входил в нелегальную организацию "Бюро защиты". Ее члены собирали информацию и документы об антисемитской политике и действиях царской администрации. Эти сведения главным образом передавались в западноевропейскую прессу. После Кишиневского погрома и в годы революции 1905-1907 г. "Бюро защиты" издавало за границей собственные газеты*. Соломон Познер находился тогда во Франции, где по поручению этой организации руководил как изданием собственного печатного органа, так и снабжением французской прессы объективной информацией о событиях в России. Позднее, в десятые годы, он жил в Петрограде, где возглавлял издательство "Разум". Фактически это было еврейское издательство, выпускавшее литературу на русском языке. В "Разуме" была издана целая серия книг по истории евреев в России и работ, направленных против антисемитизма. Вплоть до 1917 г. С.Познер фактически был координатором Петроградского бюро при депутатах Государственной Думы. Это была специальная организация, призванная содействовать работе евреев - депутатов Думы и прогрессивных политических деятелей, входивших в различные думские фракции. В бюро не только собиралась необходимая депутатам информация, но и готовились документы (запросы, выступления) по еврейскому вопросу.

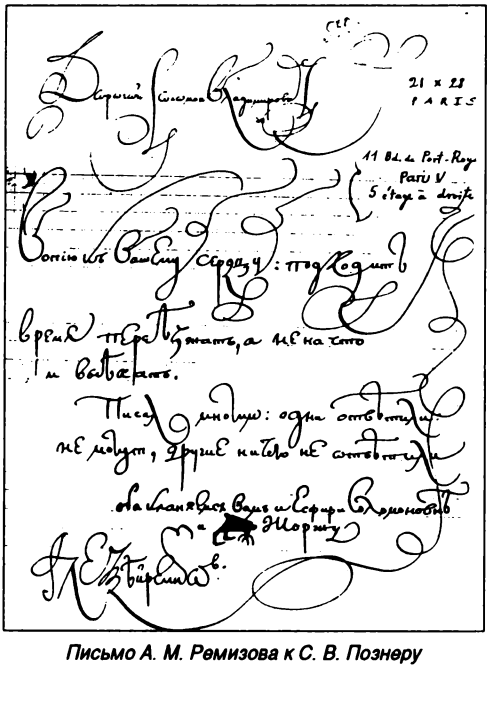
За годы работы в издательстве "Разум" в Бюро при депутатах Государственной Думы Соломон Познер познакомился со многими еврейскими и русскими политическими деятелями, писателями, поэтами, драматургами. Особенно расширился круг его общения в период первой мировой войны. В 1915-17 гг. он был секретарем Общества борьбы против антисемитизма и фактически возглавлял издание знаменитого сборника "Щит". Именно тогда он познакомился с М.Горьким, Л.Андреевым, Ф.Сологубом, А.Чеботаревской, А. Калмыковой, П.Милюковым, Ф.Родичевым. Как секретарь общества Познер вел переписку с авторами сборника "Щит" Н.Бердяевым, С.Булгаковым, Д.Овсяннико-Куликовским, В.Короленко, Вяч. Ивановым, З.Гиппиус, Дм.Мережковским.

В годы гражданской войны Соломон Познер жил в основном в

---

* Кельнер В.Е. А.И.Браудо и борьба с антисемитизмом в России //Вестник Еврейского университета в Москве. 1993, N2.

Петрограде, занимался издательской работой, сотрудничал с возглавляемым М.Горьким издательством "Всемирная литература". Позднее он вспоминал об этом периоде своей жизни: "Много пришлось испытать страданий за эти годы военного коммунизма. Учение детей в школе не ладилось. Жена тяжко хворала от систематического недоедания..." В 1919 г. он впервые сделал попытку выехать за границу. За содействием пришлось обратиться к бывшему некогда товарищем по университету Р.Менжинскому. С письмом в Москву, в ВЧК, поехал старший сын Владимир. Ознакомившись с просьбой, Менжинский "просил передать поклон и сказал, что уважить моей просьбы не может, -'Скажите отцу, что мы не можем отдавать наших подданных нашему злейшему врагу - Франции'". Но "отдать" все же пришлось. В 1921 г., в период Кронштадтского восстания, С.Познер был арестован и вместе с большой группой петроградской интеллигенции находился в заключении несколько дней. Вскоре после этого и, видимо, не без содействия М.Горького Познер получил разрешение на отъезд за границу. Через некоторое время он вместе с семьей обосновался в Париже и влился в жизнь русской эмиграции. Как публицист, историк и литературный критик он сотрудничал в "Последних известиях", "Народной мысли", "Еврейской трибуне" и в других известных периодических изданиях эмиграции.



Письмо А. М. Ремизова к С. В. Познеру

В 1924 г. Соломон Познер стал секретарем Комитета помощи русским писателям и ученым во Франции. Комитет был создан в 1919 г. с целью "оказания моральной и материальной помощи русским ученым и писателям во Франции,

пострадавшим от событий в России". У истоков этого объединения стояли И.Бунин, М.Алданов, Н.Чайковский, И.Фондаминский, М.Цетлин. Позднее к активной работе в обществе приступили С.Иванов, С.Сватиков, Б.Зайцев, И.Ефремов*. На плечи Соломона Познера как секретаря легли обязанности по координации всей разнообразной деятельности общества: сбор денег и распределение ссуд, устройство благотворительных вечеров, огромная деловая переписка, подготовка заседаний Комитета и контроль за выполнением их решений. На протяжении 20-х - первой половины 30-х гг. Комитет неоднократно обращался за финансовой помощью как к коллегам, так и к официальным правительственным организациям Франции, США, Чехословакии. Однако основной доход поступал от организуемых Комитетом спектаклей, балов, концертов и чтений произведений его членов. Это позволяло выдавать пособия размером 200-300 франков, что было буквально спасением для многих ученых и литераторов, оказавшихся во Франции без средств к существованию. С.Познер был секретарем Комитета с 1924 по 1933 г. На его плечи легли не только сложные организаторские функции, но и тяжелая моральная нагрузка: ведь именно в его обязанности входило распределение скудных материальных средств Комитета среди нуждающихся литераторов и ученых.

Кроме чисто распределительных Комитет взял на себя и многочисленные обязательства по поддержанию и пропаганде российских культурных традиций. Создать и сохранить "Русский дом" на чужбине - такова была главная цель Комитета. Для этого регулярно организовывались лекции и вечера, посвященные деятелям отечественной культуры, проводились "дни российской культуры". К участию в них привлекались литераторы и ученые, чье мнение было не только авторитетным, но и неоднозначным, ведущим к полемике, вызывающим общественный резонанс. Так, доклад о творчестве Ф.Сологуба прочла З.Гиппиус, о Ф.Тютчеве сделал доклад К.Бальмонт. Был проведен вечер, посвященный памяти В.Г.Короленко. Специальные вечера были посвящены памяти А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого, М.Е.Салтыкова-Щедрина. Заметными явлениями общественной и культурной жизни эмиграции стали творческие юбилеи Н.В.Чайковского, Л.И.Шестова, Б.К.Зайцева. Большую аудито-

*Кельнер В. Познер В. Комитет помощи русским писателям и ученым во Франции //Russian studies. 1994, N1.

Комитетъ Помощи Русскимъ Писателямъ и Ученымъ

ВО ФРАНЦІИ

Встрѣча Русскаго Новаго Года

13 ЯНВАРЯ 1927 г. (31 декабря 1926 г. ст. ст.)

Традиціонный Новогодній Костюмированный Балъ

въ залахъ отеля „Лютеція“

(43, Boulevard Raspail, 43)

„СВАДЬБА“

пьеса въ 1 дѣйствіи А. П. Чехова.

Въ исполненіи писателей: **М. А. Алданова, И. А. Бунина, А. Ф. Даманской, Донъ Аминадо, Бориса Зайцева, А. И. Куприна, В. Н. Ладыженскаго, Б. А. Лазаревскаго, Ирины Одоевцевой, М. А. Осоргина, А. Ремизова, И. Сургучева, Теффи, И. С. Шмелева, Саши Чернаго и Сем. Юшкевича.**

БОЛЬШАЯ КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

КАБАРЭ

Американскій баръ

Вѣнское кафе

Китайская чайная

Русскій буфетъ

Два джаза. **Танцы до утра.**

ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ ПО 25 ФР. МОЖНО ПОЛУЧАТЬ У Г-ЖЪ:

В. Н. Буниной - 1, rue Jacques Offenbach, тел. Auteil 16-25.

С. Н. Гольдштейнъ - 15, rue Fourcroy, тел. Wagram 84-27.

Ф. О. Ельяшевичъ - 3, rue Boccador, тел. Elysées 91—51.

М. С. Цетлинъ - 7, rue Raynouard, тел. Auteil 36-94.

и при входѣ на балъ, въ отелѣ «Лютеція».

Imp. de Navarre, 5, rue des Gobelins, Paris.

рию собирали благотворительные музыкальные вечера, традиционные новогодние спектакли, лекции по истории России. Высокий уровень научной и культурной деятельности Комитета определяли активные участники всех его инициатив: С.П.Мельгунов, М.А.Алданов, И.А.Бунин, М.А.Осоргин, И.С.Шмелев, С.Г.Сватиков, Д.М.Одинец, М.С. и М.О.Цетлины, Н.А.Тэффи, А.М.Ремизов, А.В.Карташев, П.П.Гронский, Б.К.Зайцев. До 1925 г. во главе Комитета стоял ветеран русского освободительного движения, известный публицист Н.В.Чайковский. Затем его сменил И.Н.Ефремов - юрист, историк, бывший некогда депутатом Государственной Думы и позднее послом России в Швейцарии.

С.В.Познер находился на посту секретаря Комитета десять лет и за эти годы стал одной из заметных фигур в культурной жизни эмиграции. Непосредственно к нему обращались многие писатели, так как видели в нем не только энергичного администратора, но и литератора, издателя, одним словом - человека их круга, свободно ориентирующегося в подлинных ценностях русской культуры.

В частном семейном архиве Познеров сохранилось значительное количество писем и обращений к С.В.Познеру от выдающихся представителей культуры и литературы. Есть среди них и письма И.А.Бунина. Писатель и его жена принимали горячее участие в жизни эмиграции, не раз хлопотали за попавших в беду товарищей. В декабре 1927 г. Бунин обратился к Познеру с просьбой помочь Е.Н.Яценко - ученице известного историка и искусствоведа академика Н.П.Кондакова, умершего в 1925 г. В.Н.Бунина писала: Яценко "больна и лежит в какой-то деревушке под Ниццей, - случай очень экстренный... Очень прошу Вас отнестись к этому случаю внимательно и постараться сделать все возможное, а невозможного для Вас нет... Нужно помнить, что она сохранила Никодима Павловича (Кондакова - *В.К.*) для науки, без нее он погиб бы еще в Одессе".

В 20-30-е гг. близкими людьми для семьи Познеров были А.М. и С.П.Ремизовы. Писатель и его жена отчаянно нуждались, и не раз скромная ссуда от Комитета становилась единственным источником их существования. А.М.Ремизов так часто был вынужден обращаться за поддержкой в Комитет, что сам С.Познер уже не мог взять на себя решение о выдаче ссуды и в особо экстренных случаях обращался к руководителю Комитета И.Н.Ефремову. Так, в феврале 1927 г. Познер писал: "Многоуважаемый Иван Николае-

вич, вчера вечером посетила меня С.П.Ремизова, жена Алексея Михайловича, и рассказала, что днем за невзнос денег им закрыли газ. Они теперь крайне нуждаются, так как им сократили пособие в Праге, они получают оттуда всего 375 фр.

А.М.Ремизову у нас дали всего 300 фр., т.е. то же, что мы даем начинающим писателям. Я очень прошу Вас своею властью разрешить выдачу ему 200 фр. (больше боюсь просить, ибо у нас мало денег).

Будьте добры свое решение сообщить мне: я дам А.М. пока из имеющихся у меня..."

В тяжелом материальном положении оказались в эмиграции и некогда популярные авторы, те, кто имел в России многотысячную читательскую аудиторию. Среди был и К.Бальмонт. В конце 20-х гг. он обратился к С.В.Познеру со следующим письмом: "Многоуважаемый Соломон Владимирович, 28 января Б.К.Зайцев сообщил мне открыткой, что Комитет Писателей и Ученых постановил оказать мне ссуду в 300-400 франков... Этих денег я напрасно ждал до последних дней, послал запрос, пересланный В.А.Зайцевой М.С.Цетлиной. От Марии Самойловны получил сообщение, что она уезжает из Парижа и чтобы я обратился к Вам.

Так я и поступаю. А в ожидании денег, - и в полной своей безмонетности, - славлю на своих скромных гуслях великую Вселенную".

Но если К.Бальмонт мог рассчитывать на благодарную память своих былых почитателей, многие из которых оказались в эмиграции, то на что же оставалось надеяться в ту пору менее именитым авторам? Комитет был не в состоянии оказывать помощь всем бедствовавшим литераторам. Решать приходилось проблемы чрезвычайно тонкие и деликатные, требовавшие душевного чутья и способности определять место в отечественной культуре того или иного писателя или потенциальные возможности начинающего литератора.

М.Цветаева на протяжении всей своей эмигрантской жизни отчаянно нуждалась. Личное знакомство с С.В.Познером и его женой позволяли ей обращаться за помощью непосредственно к ним. В декабре 1927 г. она сообщала: "Милый Соломон Владимирович, не была на писательском собрании потому, что лежу бритая (после скарлатины) и по возможности не показываюсь. Та же бритая голова, не говоря уже о моей нелюдимости, полная обеспеченность моей всяческой непригодности в делах вечера.

Будьте другом, скажите кому, куда и когда подавать прошение, боюсь меня забудут. (Говорю о деньгах с будущего вечера писателей.)

Заранее благодарная Вам

М.Цветаева.

P.S. Еще просьба! Помните, Вы в прошлом году говорили мне, что есть возможность получить от русских американцев ежемесячное пособие. Я тогда сообщила г-же Ельяшевич свой адрес, но затем дело и кончилось.

Как его получить? Кого и как просить? Я очень нуждаюсь".

Новое поколение русских литераторов, выросшее уже в условиях эмиграции, также видело в Комитете чуть ли не единственный источник существования. Георгий Адамович, тогда еще только входивший в большую литературу, не раз бывал в доме Познеров, поэтому в экстренных ситуациях обращался к секретарю Комитета непосредственно. Весной 1927 г. он писал: "Дорогой Соломон Владимирович, пишу Вам из Ниццы, где пробуду еще дней 7-8. У меня к Вам просьба: Нельзя ли отложить уплату причитающихся с меня 250 франков до 15-20 мая? Если надо внести сейчас, без промедления, я конечно это сделаю (по приезду в Париж). Но лучше бы это отложить. Надеюсь, что Вас не затруднит написать мне, как поступить.

Всего лучшего, жму Вашу руку. Искренний привет Эсфири Соломоновне".

С различного рода просьбами обращались к Соломону Познеру и В.Ходасевич, и В.Вейдле.

Комитет согласно уставу обязывался оказывать помощь тем российским писателям и ученым, что жили во Франции. Подобные комитеты были в Германии, Швейцарии, США. Но эмиграция охватила не только эти страны, и повсюду проблема выживания была наиболее актуальной. Не раз в Париж к Соломону Познеру приходили просьбы о помощи из других стран, часто они подкреплялись ходатайствами со стороны известных писателей. Одним из таких случаев было обращение активного члена Комитета Ивана Шмелева к С.Познеру с просьбой оказать содействие жившему в Италии старейшему русскому писателю А.В.Амфитеатрову. В 1928 г. Шмелев писал:

"Дорогой Соломон Владимирович,

Нездоровье помешало мне быть на вечере. Благодарю Комитет

и Вас за билет. Благоволите доложить Общему Собранию Комитета, на случай, если мне не удастся приехать, - чувствую себя последние дни больным. Сообщаю о тяжелом материальном положении Александра Валентиновича Амфитеатрова. Он прямо в критическом положении, в долгах, болеет, сын заболел тифом, кажется в Милане, а у А.В. даже на билет нет свободных денег. Возможно, что это временно, но сейчас обстоятельства материальные сложились так, что придется оставить насиженное место.

Не найдет ли Комитет возможность уделить для старого нашего писателя и журналиста 500-600 франков? Это было бы только справедливо..."

Соратники по Комитету, деятели русской культуры ценили С.В.Познера не только за отзывчивость и тонкий литературный вкус. Они отмечали и его бесспорные дипломатические способности, абсолютно необходимые в таком многотрудном деле, как работа Комитета. За десять лет, что С.Познер был секретарем, от него не раз требовались "дипломатические ухищрения". Особенно для того, чтобы получить финансовую поддержку от правительственных организаций и различных фондов Франции, США и некоторых других стран. Те же способности требовались при решении финансовых вопросов с крупными, известными писателями. Подобная ситуация сложилась в 1933 г., когда И.А.Бунин получил Нобелевскую премию. Всемирно известный писатель с первых дней существования Комитета активно участвовал в его деятельности. Однако в имеющихся в архиве Познеров письмах писателя, в документах Комитета мы не нашли практически ни одного, которое содержало бы просьбу о себе - только о бедствующих собратьях по перу. Теперь же, когда Бунин должен был стать обладателем крупной суммы денег, появилось немало желающих получить от него какую-нибудь помощь. Рассчитывал на это и Комитет, тем более, что он организовал чествование писателя в Париже. Перед руководством стояла довольно деликатная задача. Председатель Комитета И.Н.Ефремов писал С.В.Познеру в ноябре 1933 г.:

"Глубокоуважаемый Соломон Владимирович. Вчера мы втроем были у Бунина... Я предложил прочесть немедленно Бунину адрес, что и было принято и мною исполнено... Про адрес я добавил приблизительно следующее: 'Позвольте обратить Ваше внимание на один результат получения Вами Нобелевской премии. Мне пришлось слышать от эмигрантской молодежи, что они испытали глу-


CARTE D'IDENTITÉ

Nom Mastrup

Prénoms Niels Peter Sorensen

Nationalité Française

Profession retraité

Né le 22 avril 1877

à Viborg en Danemark

Domicile Rouen (C.-du-N.)

Place du Marché 15

SIGNALEMENT

Taille 1m69

Cheveux gris

Moustache rasé

Nez Dos Base moy.

Dimension moy.

Visage ovale

Yeux marrons

Teint ord.

Signes Particuliers naturalisation par décret du 17-4-2[illegible]

Le Titulaire,

N. Mastrup

Témoins :

Vu pour la légalisation des Signatures

Le 11 JANVIER 194[illegible]

Signatures

13 FRANCS

EMPREINTE DIGITALE

Удостоверение личности С. В. Познера в годы, когда он скрывался под чужим именем

бокое удовлетворение и ободрение, узнав, что русский, эмигрант получил такое яркое международное признание своих заслуг. А ободрение нам всем нужно. Энергия борьбы за существование слабеет, и были уже случаи среди писателей и ученых самоубийств, под влиянием безысходно полуголодного существования. А кому же, как не нашему Комитету знать, как велика нужда среди писателей и ученых, наших клиентов?' При упоминании Комитета Бунин сочувственно закивал головой...

Таким образом, мы Бунину напомнили о существовании Комитета и о громадности нужды. Но окажется ли это достаточно, чтобы он дал Комитету разновременно полученные им и протежируемыми им писателями деньги?..

Мы наметили возможность даже непосредственного обращения к Ив.Ал., по его возвращении из Стокгольма, с выражением желания прийти на встречу по естественному намерению и сообщить ему, для облегчения его действия, подробный список с указанием сумм и числа выданных ему лично и его протеже пособий. Для возможности такого действия я прошу Вас, ничего не предрешая, приготовить этот список.

С другой стороны, несомненно, что многие ученые и писатели ждут поступления денег от Бунина, будут к нам обращаться с требованием пособий, и при нашем ответе, что ничего Бунин не дал, начнутся резкие на него нарекания, могущие попасть в печать и вообще, навлечь неприятные для него последствия. Поэтому намечаем деликатное воздействие на близких Бунину людей... Я не упомянул о том, что Вы в хороших отношениях с Верой Николаевной. Вам же считаю долгом написать, не представится ли Вам случай, или не найдете ли Вы возможным... предостеречь Веру Николаевну и Ивана Алексеевича от возможных неприятных последствий, предотвратить которые Комитет не в силах... Предостеречь Веру Николаевну в дружеской беседе, пожалуй, лучший и наиболее деликатный способ воздействия..."

В 1934 г. С.В.Познер ушел с поста секретаря Комитета помощи русским писателям и ученым во Франции. Он сосредоточил свои усилия в двух областях: научной и национальной. Как историк С.Познер задумал и осуществил ряд исследований в области истории участия евреев в политической и культурной жизни Европы. Им была написана биография А.Кремье и история евреев Франции. Но сосредоточиться исключительно только на научной работе не

позволяли события в мире. В Германии к власти пришли национал-социалисты, волна антисемитизма катилась по Европе. Этому было необходимо противодействовать, и С.В.Познер участвует в создании кружка русско-еврейской интеллигенции в Париже. Новая организация объединила в своих рядах евреев - выходцев из России и русских - противников антисемитизма. Вместе с Познером в работе кружка, которая заключалась в проведении вечеров, дискуссий и издании книг, приняли участие многие из знакомых ему еще по дореволюционной России общественных деятелей, ученых и писателей: А.С.Альперин, Н.А.Бердяев, Р.М.Бланк, Л.М.Брамсон, В.Л.Бурцев, С.М.Гинзбург, М.А.Кроль, П.Н.Милюков, С.А.Сватиков, Г.Б.Слиозберг.

Дружеские связи, приобретенные С.В.Познером в 20-е гг., не прервались и позднее, после его ухода с поста секретаря Комитета помощи русским писателям и ученым. На многие годы он сохранил теплые отношения с писателями А.М.Ремизовым, М.А.Осоргиным, художниками М.Ларионовым и Н.Гончаровой. После приезда в Париж Е.Замятина Познер, очарованный его произведениями, активно помогал писателю устраивать свою жизнь во Франции, содействовал организации его творческих вечеров. С.Познер сообщал жене об одном из вечеров Замятина: "Читает Е.И. неважно, даже я читаю лучше, с Ремизовым и сравнивать нельзя. Но читал он рассказ 'Наводнение' - замечательный. Во втором отделении читал - под общий смех - акт из 'Блохи'. Вышло так, что мне пришлось до чтения, в антракте и по окончании быть все время с ним, в уборной, он просил об этом".

Война прервала устоявшееся течение жизни. Вместе с женой Эсфирь Соломоновной он бежал из Парижа на юг Франции и всю войну скрывался под чужой фамилией в одной из деревень около Ниццы. Жена умерла в 1942 г. Старший сын Владимир, к тому времени уже довольно известный писатель, уехал в США, а младший - Георгий, молодой египтолог и будущий французский академик, сражался с оккупантами в рядах Сопротивления и в 1944 г. командовал одним из отрядов на улицах восставшего Парижа.

Сегодня, наверное, с трудом воспринимаются некоторые факты из жизни С.В.Познера в годы войны. Но уж такова была действительность тех страшных лет. В Париже, Лионе и других городах Франции проводились облавы на евреев, а в деревне около Ниццы под чужой фамилией скрывался пожилой еврейский ученый и ли-

4 июля. 1941

Aix-les-Bains
Hôtel de la Paix

Ecrit en route

Дорогой
Сергей Владимирович,

Очень благодарен Вам за вырезку „Последних новостей"; она мне будет необходима. Сколько времени могу я держать ее? Получил Сборник и получил еще из Парижа, и обещано Вами получение через Вас оттуда. Сказка О.О., которую Вы послали заказным письмом, я до сих пор не получил; наведите справку на почте.

Радуюсь за Вас, что Вы получили возможность оформить книгу. Жизнь сложилась у меня иначе, а отсутствие архива Карсавина создало для меня исключительно „монографию" в 25 годах русской политики. Я написал пока свои воспоминания книги на эту тему, а пока еще не определился с книгой-объектом. Конечно, это порядочно осложнило новую книгу, и когда я смогу написать последнюю главу, опыт показал, очень затруднительно. Каждый день я ловлю радио, напряженно следя за развитием всей ситуации. Вернуться теперь не только в СССР, но и в Россию.

Преданный Вам
П. Милюков

Письмо П. Н. Милюкова С. В. Познеру от 4 июля 1941 г.

14.12.42

Дорогой Самсон Викентьевич

Спасибо за письмо. М. Р. меня обрадовал и тем увлек, что уведомил. Самый жестокий сибирский не допустил, г. е. новый климат не повредил, но температура безбожная, было ниже 2 д [illegible] недель.

Благодарю Вас за дальнейшие сообщения его письма. Пока я от него отвлекаюсь, т. к. не хочу до конца на ответ с себя. М. Б. Цейтлин болен, когда получу Ваше об этом. Жена Зенкина всем радуется то, что у меня много нет из одного его письма, каждую неделю, не должен выпускать из цепких объятий жизни. И найду - ли я это новое неведомое - неизвестно. Я уверено шагаю по дороге из скорбей и буду жить у разбитого. Вам желаю жить удобнее - чем это теперь не редко.

Крепко жму руку.
М. Осоргин

Письмо М. А. Осоргина С. В. Познеру от 14 декабря 1942 г.

тератор и писал историю евреев*. Более того, он вел активную переписку с русскими друзьями, оставшимися в Париже, и теми, кто уехал в США. По договоренности с жившим в США В.Зензиновым С.В.Познер подготавливал к изданию собрание сочинений известного российского адвоката и общественного деятеля Оскара Грузенберга. Одним из его консультантов был оставшийся во Франции П.Н.Милюков. Но особенно интенсивной была переписка с М.А.Осоргиным. Письма от Осоргина были печальными: голод, аресты друзей, тяжелые вести с фронтов России. В июле 1942 г. он отвечал Познеру: "Спасибо за предложение посылать книги. Должен сказать, что и болезнь и прочие обстоятельства, в том числе и материальные, сильно меня сразили, так что о серьезной работе больше не могу думать. К тому же по-русски печатать и издавать негде... Мои жизненные планы рассчитаны лишь на несколько месяцев вперед, приблизительно до конца года, а дальше загадывать не могу и не хочу. Дальше - зияющая пустота".

Сразу же после освобождения Франции С.В.Познер вновь включился в общественную жизнь. Он становится одним из создателей Союза русских патриотов юга Франции, предпринимает шаги по возрождению кружка русско-еврейской интеллигенции. На учредительном заседании Союза русских патриотов юга Франции С.Познер говорил: "...Петербургские белые ночи. Помните у Достоевского: белые ночи.

В первом часу слегка потемнеет, а смотришь, читать можно без лампы. На востоке нежная розовая полоса прорезалась. Не до сна. Не до чтения... безотчетно влечет куда-то, все бы ходил, все бы бродил, по набережным, вдоль старых гранитных парапетов от Николаевского моста до Адмиралтейского шпиля и назад..." Но не было уже многих друзей и соратников. Умерли Г.Б.Слиозберг и О.О.Грузенберг, П.Н.Милюков и М.А.Осоргин.

С.В.Познер успел еще возобновить переписку с И.А.Буниным. Он приглашал писателя приехать и выступить в Ницце. В феврале 1945 г. Бунин ответил: "Дорогой Соломон Владимирович, Ваше письмо от 30 янв. получил только позавчера... Не написал Вам вчера потому, во-первых, что было воскресенье, когда письма не вынимают из почтовых ящиков, а во-вторых по той причине, что хотел сперва, до ответа Вам, повидать своего доктора. Нынче я

* См.: Тихонова Н. Девушка в синем. М., 1992. С. 217.

видел его и он подтвердил мне решение - просить Вас извинить меня и отказаться от чтения в Ницце: здоровье мое все хуже..."

Скончался Соломон Владимирович Познер в 1946 г. Незадолго до этого, вернувшись в Париж, он был еще полон надежд. Но почти не осталось уже в Париже ни тех русских, ни тех евреев, с кем прожил и проработал он долгие годы, тех, кто создавал некогда незабываемую духовную атмосферу русско-еврейского культурного взаимодействия.



Юлий (Иегуда) Марголин

Виктор Каган
(Иерусалим)

1. Штрихи биографии

Юлий (Иегуда) Борисович Марголин родился в Пинске в семье врача 14 октября 1900 года. Детство и юность провел в Пинске и Екатеринославе. В 1925 году закончил Берлинский университет с дипломом доктора философии. В Берлине он познакомился с Евой Ефимовной Спектор, в квартире которой собирались молодые литераторы, в том числе Роман Гуль. С ним он остался дружен до конца жизни. Тогда же Марголин начал писать. Он и Гуль сотрудничали в сменовеховской газете "Накануне". Гуль свидетельствует: они верили, что нэп приведет Россию "к какому-то нормальному строю "трудовой демократии"(1, с.210). Марголин женился на Еве Спектор и в 1926 году уехал с ней в Польшу.

В Польше он познакомился с Жаботинским, чьим последователем оставался до конца жизни, и в 1936 г. выехал с семьей в Эрец-Исраэль. В 1939 г. он навестил своих родителей в Пинске, и здесь его застала война. Пинск оккупировали советские войска. Марголин был арестован и по постановлению Особого совещания отбыл пять лет в заключении и еще год в ссылке. В 1946 году он вернулся к своей семье в Израиль.

Сразу же стал писать "Путешествие в страну зэ-ка" - "одну из лучших книг о коммунистической каторге", по оценке Гуля. Книга писалась при молчаливом и явном неодобрении окружения автора. Опубликовав в парижском журнале "Народная правда" отрывок из книги со своим предисловием, Гуль стремился, чтобы "Путешествие" было издано на главных европейских языках. Но его постиг-

ла неудача: Запад в то время был настроен просоветски и не хотел слышать горькой правды об СССР. В США книгу издать не удалось. Немецкий перевод В.А.Пирожковой, как и французский, не имели заслуженного успеха. В издательстве им. Чехова книга вышла на русском, быстро разошлась и стала библиографической редкостью...

Побывав в лагерях, Марголин стал непримиримым врагом советского режима. В 1949 г. Экономический совет ООН заслушал показания Марголина о принудительном труде в СССР. В 1950 г. он выступил свидетелем против коммунистического журнала "Леттр Франсэз", оклеветавшего Давида Руссэ, написавшего о советских лагерях. В 1951 г. он добился на Индийском Конгрессе деятелей культуры принятия резолюции против системы концлагерей вообще и в СССР, в частности. Активной литературной и общественной деятельностью Юлий Марголин занимался вплоть до самой своей смерти 21 января 1971 года в Тель-Авиве.

2. Творчество

В творчестве Марголина условно можно выделить два направления: сионистско-национальное и посвященное русской культуре, Советскому Союзу и коммунизму. Он сотрудничал почти во всех русских изданиях за рубежом: в "Новом журнале", "Воздушных путях", "Мостах", в газетах "Русская мысль" и "Новое русское слово", где он был постоянным корреспондентом из Израиля. Блестящие статьи об Израиле живо передают атмосферу первого десятилетия в стране. Рубрика Марголина "Тель-Авивский блокнот" в "Новом русском слове" имела, по свидетельству Гуля (1, с.217), неизменный успех у читателей, даже во многом и не согласных с автором.

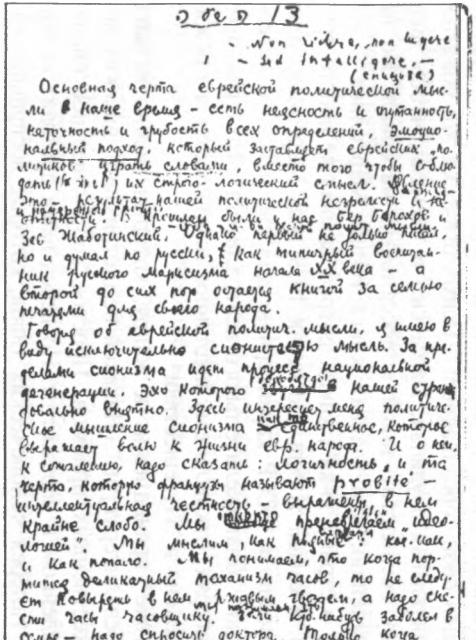
Книга "Идеи сионизма" была написана еще перед второй мировой войной. Книга "Израиль - еврейское государство" вышла под псевдонимом Александр Галин в 1958 году в Тель-Авиве. В Москве она ходила в Самиздате.

"Еврейская повесть" - рассказ о жизни и гибели офицера ЭЦЕЛа* Израиля Эпштейна - это история борьбы за создание Государства Израиль, борьбы человека с психологией галута**, становле-

---

* ЭЦЕЛ - сокр. от Иргун Цваи Леуми - Национальная военная организация: еврейская подпольная вооруженная организация в подмандатной Палестине.

** Галут - изгнание. Этим словом называют вынужденное пребывание еврейского народа вне его родной страны.

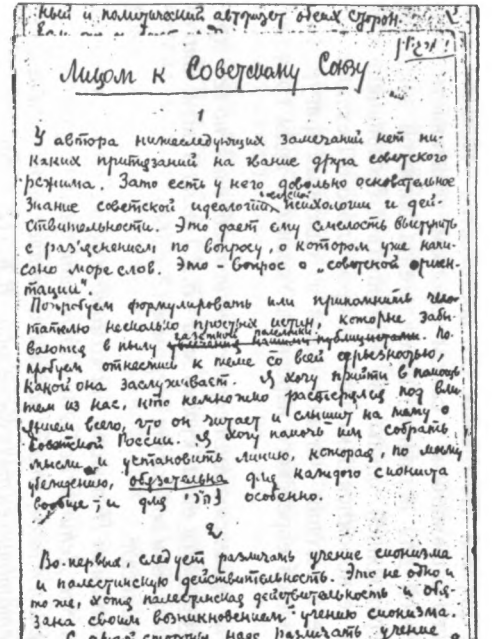


Глава 13

– Non licet, non decet
– Sed intelligere, —
(спиноза)

Основная черта еврейской политической мысли в наше время – есть надсадность и спутанность, корявость и грубость всех определений, эмоционально-вольный подход, который заставляет еврейских политиков играть словами, вместо того чтобы обладать (?) их стройно-логическим смыслом. Явление это – результат нашей политической истерики (и истеричности). В Кремлюшке были и нар. Сер. Виноградов и Зев Жаборинский. Один из первых не только писал, но и думал по русски, и как никакой воспитанник русского марксизма начала XX века – а второй до сих пор отравил книгой за семью печатями для своего народа.

Говоря об еврейской политич. мысли, я имею в виду исключительно сионистскую мысль. За предделами сионизма идет процесс национальной дегенерации. Это которого [illegible] в нашей стране довольно видно. Здесь интересует меня политическое мышление сионизма как [illegible], которое отражает боль и жизни евр. народа. И о нем, к сожалению, надо сказать: логичность и та черта, которую французы называют prudence – интеллектуальная честность – выражены в нем крайне слабо. Мы привыкли [illegible] идеологией". Мы мыслим, как [illegible] как, и как попало. Мы понимаем, что когда портится деликатный механизм часов, то не следует ковырять в нем [illegible] а надо сказать часовщику. [illegible] заболел в семье – надо спросить доктора. Только когда дело касается государства и народа – каждый считает своим правом грязной рукой и гнилым ковырять открытую рану. Тут не [illegible]



[illegible]кий и политический авторитет всех сторон.

[illegible]

Лидом к Советскому Союзу

1

У автора нижеследующих замечаний нет никаких притязаний на какие бы ни было суждения советского режима. Зато есть у него довольно основательное знание советской идеологии, психологии и действительности. Это дает ему смелость выступить с разъяснением по вопросу, о котором уже написано море слов. Это – вопрос о „советской ориентации".

Попробуем формулировать или приблизительно установить несколько простых истин, которые забываются в нашей [illegible] газетной [illegible] нашими публицистами. Попробуем отнестись к делу со всей серьезностью, какой она заслуживает. Я хочу прийти в помощь тем из нас, кто немножко растерялся под влиянием всего, что он читает и слышит на тему о Советской России. Я хочу помочь им собрать свои мысли и установить линию, которая, по моему убеждению, обязательна для каждого сиониста вообще – и для [illegible] особенно.

2

Во-первых, следует различать учение сионизма и палестинскую действительность. Это не одно и то же, хотя палестинская действительность и обязана своим возникновением учению сионизма.

С другой стороны надо различать учение коммунизма и Советский Союз. Здесь такие же [illegible] как и связанные между собой вещи. Сов. Союз имеет границы, идеология же коммунизма не имеет границ, и кроме того что она господствует [illegible] Составной частью нашей палестин-

Фрагменты неопубликованных рукописей из архива Ю. Б. Марголина

ние сиониста, типичное для поколения Марголина.

Книга "Повесть тысячелетий" охватывает историю еврейского народа от библейских времен до Синайской войны 1956 года. Этот труд замечателен обилием фактического материала и превосходной литературной формой. Но главное его достоинство - позиция автора, сочетавшего национализм в самом хорошем, позитивном смысле с характерной для истинного интеллигента широтой взглядов, никогда не переходящей, однако, во всеядность и беспринципность. Например, он не побоялся замолвить доброе слово о Петлюре, которого многие и сегодня считают одной из одиозных фигур, связанных с трагедией еврейского народа на Украине в годы гражданской войны:

*Петлюра не организовывал еврейского истребления, но его **трагическая** и **невольная** вина (курсив мой - **В.К.**) была в том, что он не мог удержать свои войска от погромов (2, с.366).*

И там же написал:

*Лично ни атаман Петлюра, ни командующий Добровольческой Белой Армией ген. Деникин не были вдохновителями погромов. <...> Никто и не думал о том, чтобы подавить антисемитизм, и не имел для этого достаточно силы (курсив мой - **В.К.**) (2, с.366).*

Во вступительной статье к "Повести" М.Занд писал, что Марголин видел в ней свой "opus magnum". Психологически это понятно: требовалась огромная эрудиция, масса сил и времени, чтобы подчинить своему господству такой колоссальный материал. Но не подлежит сомнению, что главная книга Юлия Марголина - это "Путешествие в страну зэ-ка", книга, потребовавшая не просто труда и времени, а самой жизни. До осени 1939 года Марголин занимал по отношению к СССР характерную для европейского интеллигента позицию "благожелательного нейтралитета". Но годы, проведенные в лагерях, открыли ему подлинное лицо советского режима, и это отражено в "Путешествии".

"Путешествие" принадлежит к жанру, который можно назвать "литература без литературы". Никакой беллетризации, никаких видимых художественных приемов. Простое добросовестное свидетельство о виденном и пережитом. Но перед нами проходят картины лагерей и галерея человеческих типов, которые воспринимаются как художественные образы. Просоветчики, которых тогда было в Израиле полнейшее засилье, приняли книгу в штыки. Аргументация этих господ была полностью заимствована у героя известного

анекдота, который, увидя живого жирафа, заявил, что такой длинной шеи не может быть. Проще всего думать, что ими двигала глупость или подлость, но такое упрощение на самом деле ошибочно. Пример науки показывает, что перед исследователем всегда стоят два противоречивых требования. Он должен иметь мужество ума - готовность пересмотреть любое свое представление. И в то же время проявлять мудрую сдержанность - не отказываться ни от какого из своих представлений без достаточных к тому оснований. Нащупать границу между мудрой сдержанностью и недостатком мужества ума удается не всегда. А эмоции усугубляют и драматизируют положение. Великий физик-теоретик Г.А.Лоренц, создатель классической теории электронов, сожалел, что дожил до триумфа квантовой механики и увидел, как зашаталось все, сделанное в науке, в том числе и им самим. Ограничение применимости теоретических моделей классической физики тогда, полвека с лишним тому назад, было подлинной "драмой идей" (Эйнштейн).

Мое поколение видело не один фарс, когда паразитирующие на науке философы-марксисты (Герцен назвал бы их марксидами) объявляли величайшие научные теории сперва "поповщиной" и "псевдонаукой людоедов", а затем "блестящим подтверждением диалектического материализма". Так было с теорией относительности, квантовой механикой, генетикой, кибернетикой...

Чем сильнее задевает пересмотр представлений непосредственные жизненные интересы, чем более радикальной переоценки жизненного пути он требует, тем сильнее защитная реакция - стремление расширить границы мудрой сдержанности за счет мужества ума - и тем более уродливые формы она может принимать.

Идейная эволюция на самом деле всегда революция. До поры до времени события и факты кое-как удается согласовывать со своими взглядами и убеждениями. Потом свидетельства отвергаются как не заслуживающие доверия, а факты - как нетипичные частные случаи. Но в конце концов наступает резкий переход: преодолевается психологический барьер, ломается оберегавшая дорогие иллюзии защитная реакция, и убеждения меняются скачком. Каплей, переполнившей чашу, оказывается либо свидетельство, которому нельзя не верить, либо факт, который невозможно игнорировать. Это замечание и подводит нас к вопросу о "Путешествии". Первое, что бросается в глаза при чтении книги, - это искренность и правдивость автора и, главное, безупречность его моральной по-

зиции. "Путешествие" не просто ценное свидетельство, устанавливающее факты. Оно еще и оценивает их, определяет их место в общей картине жизни. Мало того, Марголин дал в этой книге прекрасный пример и урок самопознания. Он сумел рассказать о себе, не приукрашивая себя никак, ни прямо, ни под видом раскаяния. Невозможно понять действительность, если не разобраться в себе самом, в подспудных побуждениях и причинах, навязывающих подчас самые нелепые суждения и мнения. Как только человек осознает, что цеплялся за ложные взгляды из инстинкта самосохранения или ради душевного комфорта, - всякая раздвоенность исчезает. Он расстается либо с этими взглядами, либо со своей совестью. Книга Марголина учит честно взглянуть на себя и на окружающее, и в этом ее непреходящее значение. Ибо проблема адекватного восприятия действительности никогда не перестанет быть актуальной.

Положению в СССР посвящен ряд статей: "Парижский отчет" - о процессе Давида Руссэ, "Можно ли сравнивать гитлеровские лагеря с советскими?", "Чудо в Славгороде" - о чете ссыльных, которых удалось вернуть в свободный мир, и другие. Брошюра "Диамат" содержит критику советской идеологии.

О евреях в СССР говорится в статьях "Как было ликвидировано сионистское движение в Сов. России?", "Что можно сделать для русского еврейства?", "Советские концлагеря и еврейский народ" и ряде других.

Есть этюды о Пастернаке, Мандельштаме, Солженицыне. Кроме того, в архиве Марголина сохранилось много неопубликованных рукописей.

Публицистическое наследие Юлия Марголина частично перепечатано в сборнике "Несобранное", частично - в брошюрах, изданных Маозом*. И на всех его произведениях лежит отпечаток его личности - человека, не умевшего идти на компромисс со своей совестью и сидеть за одним столом с просоветчиками.

3. Личность

В.Г.Короленко, человек по типу во многом близкий к Марголину, писал в дневнике 14 марта 1887 года:

---

* Маоз - "Оплот" - израильская организация, ставившая целью освобождение советских евреев. Марголин был членом Маоза.



Выступление Ю. Б. Марголина на Индийском конгрессе в защиту культуры 28-30 марта 1951 г. (сидит второй слева)

Прощать побежденного, но не мириться, пока не побеждено дурное. <...> Выделить гнев против данного поступка или намерения от гнева против людей вообще - это задача современного человека. Нельзя не противиться злу - как рекомендует Толстой - даже силой. Но не следует воспитывать, раздувать чувство классовой и всякой другой ненависти одних людей к другим. <...> Так как история действует посредством лиц, так как лица выступают в защиту ненормального положения - то придется бороться с лицами. Но не думайте, что это те чудовища-аристократы, какими рисовали их Мараты. Нет, это люди, в которых теперь нашло опору данное зло, но в которых есть и много добра. Они любят, жалеют, они

умеют умирать за свою идею (какова бы она ни была), как и вы за свою. И не думайте также, чтобы вы и ваши были осуществлением добродетели. Вы тоже люди. Боритесь за свою идею, но не осмеливайтесь забыть человека в вашем враге.

Это, пожалуй, лучшая характеристика моральных принципов Юлия Марголина, которые он пронес через всю жизнь, включая пять лет советских лагерей военного времени в условиях почти первобытной борьбы за существование, где большинство исповедовало принцип "умри ты сегодня, а я завтра". Он сумел встать выше ненависти к лагерным охранникам, предателям и доносчикам, которые у него вызывали "временами нечто близкое к жалости". Но ненавидел "чудовищный режим", жертвами которого они были в его глазах ("О негодяях"; 3). Вот еще три эпизода из "Путешествия в страну зэ-ка", показывающие мораль Юлия Марголина в условиях лагерной жизни.

Эпизод первый. Марголин пишет о Салеке - услужливом, хорошо воспитанном мальчике, который ничего не умел делать руками и которого все поэтому нещадно били:

Лагерь учил его беспощадно, учил праву сильного и борьбе за существование. Салек оказался понятливым учеником. <...> Он научился уходить с дороги сильных и брать за горло, кого можно. <...> И как могло быть иначе? Сама власть - непогрешимая и могучая - преподала ему урок циничного и грубого насилия (4, с.108-109).

Как видим, Марголин умел понимать и даже извинять тех, кого лагерь расчеловечил (марголинский термин, замечательный по емкости и точности). Но он никогда их не оправдывал - не путал амнистии с реабилитацией. И такой позиции он держался всегда.

Эпизод второй. Рассказ об избиении люблинского экспедитора заканчивается так:

Среди переживаний, которые я никогда не прощу лагерю и мрачным его создателям, на всю жизнь останется в памяти моей этот удар в лицо, который на одну короткую минуту сделал из меня их сообщника, их последователя и ученика (4, с.128).

Это не раскаяние. Решение избить экспедитора Марголин принял холодно, рассудочно, даже не чувствуя злобы, - просто у него не оставалось другого способа избавиться от преследований расчеловеченного, превратившегося в лагерную гиену.

И, наконец, третий эпизод: беспощадно правдивый рассказ, поч-

ти точно воспроизводящий ситуацию из Гемары (часть Талмуда), которая многим может показаться надуманной. Я имею в виду ситуацию с двумя людьми в пустыне, у которых есть кувшин воды, достаточный для спасения лишь одного. Врач в лагерном стационаре видел, что убогих остатков, крошек и случайных излишков недостаточно, чтобы выходить двоих, погибавших от истощения. И он принял трагическое решение: велел отдавать все остатки и часть своего пайка Марголину, у которого где-то далеко в Тель-Авиве оставалась семья, и предоставил своей участи второго, одинокого, о ком некому плакать на воле.

Последние два эпизода демонстрируют правильный, на мой взгляд, подход к фундаментальной этической проблеме. Человеку редко дано выбирать между добром и злом. Обычно приходится довольствоваться выбором меньшего зла. И тут нужно немало мужества и честности мысли, чтобы взять на себя ответственность за решение. Проблема достаточно запутана, в том числе и великими писателями. Одни выдумали относительную или классовую мораль, в которой печальная необходимость выдается за благодать и дурной поступок может считаться хорошим сам по себе ("морально все, что идет на благо революции"). Другие усыпляют свою совесть, выдавая слабость за добродетель, гуманизм ["согласитесь ли вы быть архитектором такого здания?" (всеобщего благополучия - *В.К.)*, "не стоит ваша всеобщая гармония одной слезы одного ребенка"]. И те и другие более или менее ловко увиливают от личной ответственности за свое решение, за свои действия.

Марголин проявлял мужество и честность мысли в подходе и к личным, и к общественным проблемам, ясно понимая тесную связь между моралью и свободой. Он писал:

В общем и целом человек боится быть свободным. <...> Он так боится ответственности, что возлагает ее - на Бога, на судьбу, на внешние силы, которые будто бы целиком определяют его поведение.

И однако никогда - никогда! - не удалось еще ни одному мудрецу мира вывести поведение человека, как полет камня или рост растения - из внешних обстоятельств. И нет возможности заранее рационально вычислить поведение человека или общества. <...> Быть свободным - значит принять решение (5, с.6-7).

Свободный человек не обязательно морален, но моральным может быть только свободный. И Юлий Марголин, человек высокой

морали, был свободным в самом полном и точном значении этого слова. Р.Гуль пишет, что уже в студенческие годы он всегда был "сам по себе" и не имел ни малейшего желания петь с кем-то "в унисон"(1, с. 209). Своими выступлениями по возвращении в Израиль он оттолкнул от себя весь израильский истеблишмент, симпатизировавший СССР, и осторожных людей, считавших, что не надо его "дразнить".

Руководство партии Херут* считало, что нужно держаться нейтралитета в "холодной войне" между Западом и СССР. Марголин написал "к сведению руководителей партии":

У меня нет ни слов, ни способностей, чтобы дать выражение тому отвращению и презрению, которое я испытываю по отношению к еврейским коммунистам и прокоммунистам. <...> И однако я предпочитаю позицию поклонников Советского Союза - позиции чистой нейтральности, так как они ***не уклоняются от решения****. <...> Но что сказать о "нейтральных" сионистах, которые загадочно молчат, чтобы никого не обидеть в Москве и Вашингтоне? Это кажется им верхом государственной мудрости: не выражать вслух мыслей, которые могут за границей не понравиться кому-нибудь (6, с.30-31).*

Марголин считал, что сионисты должны открыто ориентироваться на демократический Запад **против** СССР. Он приводил пример Жаботинского, который при аналогичных обстоятельствах в 1915 году резко выступил против нейтральности и потребовал ориентации на Британию. В то время никто не знал, что Германия будет разбита: напротив, казалось, что она побеждает.

Внешнеполитической ориентацией сионизма в 1915 г. могла быть только строгая нейтральность. <...> Односторонний курс на Британию лишал нас всяких шансов договориться с немецким правительством, а в лагере сионистов были тогда и такие, которые чего-то ждали от немцев. <...> Есть и сейчас люди, по мнению которых, сущность политики есть бесстыдный оппортунизм, а сионизм есть вещь, которую продают тому, кто больше даст. Жаботинский так не думал. Для него сионизм был самостоятельной величиной. <...> Жаботинский следовал гораздо более глубокой логике, когда потребовал военного выступления сионизма в Палестине во что бы то ни стало, несмотря на риск, несмотря на соображе-

---

*Херут - свобода; тнуат Херут - движение свободы.

*ния элементарной осторожности. <...> Люди, которые присоединились к Жаботинскому, сделали это не по рациональным мотивам, а потому, что имели очень правильное и глубокое ощущение: даже если Англия будет разбита - **факт первой еврейской армии на земле отечества** будет иметь для нашего национального будущего большее значение, чем несколько тысяч колонистов под турецким режимом. <...> Требуя создания Еврейского Легиона, Жаботинский поставил вопрос еврейской массе: кто вы - "портные" или граждане будущего еврейского государства*? Если "портные" - ничего вам не поможет: конец ваш будет гетто и погром.*

И Марголин пишет:

<...> Я не спрашиваю, к кому мы хотим присоединиться. Я спрашиваю, кто мы сами такие? (6, с.28-29).

Волевому фактору он придавал в политике едва ли не решающее значение. Он писал:

*<...> Границы мединат Исраэль**: в данный момент эти границы - результат определенной пропорции сионистской деятельности и бездеятельности последних десятилетий. Бесполезно ссылаться на "внешние обстоятельства". Они - в нас (5, с.6).*

Но строго ограничивал волю моралью. Аморальную политику он отвергал наотрез:

*<...> Я категорически отказываюсь принять, что <...> у меня и у людей, которые расстреляли "Альталену"***, есть какая-то общая цель <...> и даже в смерти не сойдутся наши пути (6, с.27).*

Люди, расстрелявшие "Альталену", были еврейскими националистами, свободными и волевыми. Их способность принимать решения не только за себя, но и за других выдвинула их в вожди. Но с точки зрения Марголина, они были безусловно аморальны: евреи, стрелявшие в евреев и чуть не развязавшие гражданскую войну, чтобы только утвердить свое политическое лидерство.

---

*"Мистер Жаботинский <...>. Ничего вы в наших людях не понимаете. Вы им толкуете, что вот это они должны сделать 'как евреи', а вот это 'как англичане', а вот это 'как люди'... Болтовня. Мы не евреи. Мы не англичане. Мы не люди. А кто мы? - Портные" (7, с.145).

**Мединат Исраэль - Государство Израиль.

***"Альталена" - судно (названное в честь Жаботинского: Альталена - его псевдоним) с оружием, тайно доставленным ЭЦЕЛом из Европы во время Войны за Независмость, было расстреляно артиллерией и потоплено по приказу тогдашнего временного правительства Израиля.

Юлий Марголин неоднократно заявлял себя учеником Владимира Жаботинского. Как и Жаботинский, он был последовательным сионистом, т.е. еврейским националистом. Но его национализм не имел ничего общего с "местечковым сионизмом", который не видит и не желает видеть дальше своей Касриловки. Марголин писал:



Жаботинский был прав во всех пунктах своего спора с противниками. Но это не помогло его ученикам, которые потеряли всякое влияние на молодежь и на политическую жизнь в стране из-за узости своего мировоззрения. Они как бы глухи ко всему, что делается за пределами Еврейского государства, и не понимают, что можно защищать "национальный интерес" только в границах мирового интернационального демократического движения (8, с.31).

И сам он в своей публицистике всегда рассматривал еврейские национальные проблемы с общегуманных позиций, в контексте общих проблем демократии и прав человека. Благодаря глубине и ясности мысли статьи Марголина еще долго будут актуальными. А универсальность принципов, с которыми он подходил к проблемам, казалось бы узко национальным, делает эти статьи нужными читателю любой национальности, придает им общечеловеческую ценность. Эти качества по праву приобщают публицистику Юлия Марголина к большой литературе. Приветствуя Тину Бродетскую, только что приехавшую в Израиль из СССР, он писал:

<...> Давит, преследует, разрушает не "Россия" вообще, а определенный режим, ленинско-сталинский режим коммунизма. Россия была, есть и будет. А режимы смягчаются, вырождаются, проходят. Не путайте "режим" с "народом". Нам, националистам, полагается знать и уважать эту разницу. <...> Поединок еврейского народа с советским и подсоветским коммунизмом - химера, если берете этот поединок в отрыве от общей международной и внутрисо-

*ветской ситуации. <...> Не одни только евреи зажаты диктатурой. <...> Мы не исключение и одними своими силами не заставим советскую империю попятиться. <...> Не впадайте в другую крайность, будто "единственная интернациональная реальность - это антисемитизм". Не обижайте огулом "пролетариев всех стран". **В разных странах - разные и пролетарии. Евреи в мире не одиноки** (9, с.41-42).*

Роман Гуль, которого связывала с Марголиным полувековая дружба, свидетельствует, что "так сказать, подчеркнутый еврей" и убежденный сионист Юлий Марголин никогда не мог и не хотел духовно оторваться от русской культуры, которую прекрасно знал и любил.

"И прожил он всю жизнь как типичный русский интеллигент старого закала и 'великих традиций' - с полным пренебрежением к материальной стороне жизни и с упором на 'идейность', на все доброе в человеке и справедливое для человека.

Да будет легка этому 'рыцарю бедному' его родная земля Израиля"(1, с. 218).

К этим словам нечего добавить.

Литература

1. Гуль Р. Юлий Марголин. // Одвуконь. Нью-Йорк, 1973.

2. Марголин Ю. Повесть тысячелетий. Изд. Общества по увековечению памяти д-ра Ю.Б.Марголина. Тель-Авив, 1973.

3. Марголин Ю. Несобранное. Изд. общества по увековечению памяти д-ра Ю.Б.Марголина. Израиль, 1975.

4. Марголин Ю. Путешествие в страну зе-ка. Изд. общества по увековечению памяти д-ра Ю.Б.Марголина. Тель-Авив, 1975.

5. Марголин Ю. Жизненный путь человека. Вопросы идеологии: сионизм против коммунизма. Сб. 3. Маоз, 1973.

6. Марголин Ю. Тнуат Херут и коммунизм. // Вопросы идеологии: сионизм против коммунизма. Сб. 3. Маоз, 1973.

7. Жаботинский В. Слово о полку. Повесть моих дней. Библиотека-Алия, 1985.

8. Марголин Ю. Чему мы можем поучиться у "крайне левых"? // Вопросы идеологии: сионизм против коммунизма. Сб. 3а. Маоз, 1973.

9. Марголин Ю. Привет и предостережение. Вопросы идеологии: сионизм против коммунизма. Сб. 3. Маоз. 1973

К указателю имен I и II томов

По техническим причинам в именном указателе к I и II томам пропущены следующие имена:

Берберова Н.Н. I 49, 296, 504, 505; II 15, 18, 24, 57, 64, 88, 520
Бергсон Анри II 117, 121, 160
Бердсли О. I 144
Бердичевский М.И. (Бин-Горион) II 351-354, 356, 368
Бердяев Н.А. I 8, 44, 45, 53, 92, 103, 132, 198, 219, 274, 276, 284, 285, 310; II 100, 101, 114-122, 127, 128, 131, 132, 139, 144, 150, 152, 163, 562
Бердяевы I 284
Бережанский - см. Козырев Н.
Берия Л.П. II 370
Беркис А. II 231
Берков П.Н. II 198
Берлин Исайя I 229, 230, 315, 508
Берлин М.М. II 170
Берлиоз Гектор (Эктор) I 423
Бермондт-Авалов II 222
Бернингер, торговец хлопком I 408
Бернштам Л.А. I 422
Бернштейн О.С. I 448, 453, 455, 457, 460; II 591, 592
Бернштейн-Синаев Л.С. I 422
Берсон Янина II 493
Бертонатти Эмилио I 399
Берхин-Бенедиктов М. I 474
Берхольдц Осип I 439
Бетте-Пунг Д. II 191, 195, 196
Бетховен Людвиг ван I 423, 424; II 605
Бехтеев В. II 600
Библ К. II 76,
Биггерс Э. II 224
Билибин И.Я. I 143, 399; II 497
Бинштok В.И. I 461
Бинштok (наст. фам. Улейников Л.) II 576
Бисмарк Отто I 334
Бирман С.Г. II 510
Битнер Конрад II 85
Биц И. I 445
Бланк Р.М. II 172
Блок А.А. I 44, 67, 95, 144, 147, 148, 241, 270, 429; II 25, 72, 249, 251, 354
Блок Г.П. I 161, 166
Блонд Дина II 254
Блондес Давид I 486, 495; II 570, 576
Блох Лена I 252
Блох Ной I 253
Блох Р.Н. I 242-263
Блох Я.Н. I 129, 134, 136, 197, 243, 249, 252, 254, 261
Блумберг Джон II 398, 399
Блуменфельд Лупус II 470, 472
Блэкберн Джозеф I 455
Блюм А.В. I 133, 141; II 240, 597
Блюм Леон I 118, 121, 305
Блюменфельд, д-р II 525
Блюмович Л.И. II 231
Бо Соника (Кавуновская Софья) I 437, 441
Бобров Е. II 99
Бова I 516
Бовин А.Е. II 608
Богатырев П.Г. II 69, 73, 74, 79, 82, 84, 87, 89
Богатырчук Ф.П. I 453; II 595, 596
Богданов А.А. (Малиновский) I 280; II 231
Боголепов А.А. I 276, 287
Боголюбов А.П. I 421
Боголюбов Е.Д. I 447, 448, 450, 452, 453, 456, 458, 460
Боголюбов Н.И. I 356
Богомолов А.Е. I 92, 321, 323
Богуславская К.Л. I 408, 409
Богучарский В.Я. II 288, 289, 292
Бодлер Шарль I 65, 98
Бокачев Н.Ф. I 199
Болан С.А. I 412
Болдырев Иван I 501
Боливар Симон I 424
Болц О. II 231
Бомаш М. II 533
Бондаревский И.З. I 455
Бондаренко Е. II 41
Боннар Пьер I 408
Боратынский - см. Баратынский Е.А.
Боричевский И. I 282
Бородин А.П. II 374

Боскович А.-У. II 384
Боссюэт (Боссюэ) Жак I 121
Ботвинник М.М. I 447, 452, 453, 455, 458
Боткин С.П. I 324
Боулт Джон I 400; II 481, 493, 494, 597
Боцяновский В.Ф. II 289
Браз Осип I 422
Браиловская Римма II 496, 497
Браиловский Леонид II 496, 497
Брак Жорж II 448
Брамс Яков II 221, 222, 225, 231
Брамсон Л. II 533
Брандес Георг II 113, 123
Брандт Д.Ф. II 74
Брауде-Геллер А. II 259
Браудо А.И. II 533
Браун Ф.А. I 148, 150, 180; II 20
Брафман Я.А. II 13
Брейер Дьюла I 447, 450, 460
Брейтман Г.Н. I 9
Бреннер И.Х. II 356, 362-365
Брехт Бертольд II 412
Брешковская (Брешко-Брешковская) Е.К. I 222
Бриан Аристид I 122
Брик О.М. II 66
Брики II 75
Брикман, ученый I 258, 260
Бродерзон М. II 190
Бродская Нина I 247, 250, 256
Бродский Борис I 243
Бродский Иосиф I 517; II 510
Бродский И.И. I 426; II 357, 467
Бродский Л.И. I 235; II 577
Бродский Н. I 53
Бройль (Брольи) Жак де, князь II 335
Бройль (Брольи) Жак де, княгиня II 335
Брок О.И. I 337
Брока Филипп де I 439
Брокгауз Ф.А. II 94
Броневский Владислав II 282
Бронштейн Нина II 541
Брук Ромен I 375
Бруммелл Дэйвид II 12, 29
Бруни Ф.А. I 288
Брукус Б.Д. I 274, 276, 476-484, 510; II 229
Брюнсвик Леон II 117, 121
Брюсов В.Я. I 10, 42, 98, 142, 144; II 13, 127, 249, 251
Бубер Мартин II 153
Бубнов А.С. I 210
Бубрих Д.В. II 79
Будберг (Закревская-Бенкендорф) М.И. I 161, 167, 239, 240
Будзиньска-Гулицка, врач II 254
Булатов, эстонский букинист I 200
Булатов А., издатель I 276
Булатов Э.В. I 394
Булгаков В.Ф. I 276; II 175
Булгаков М.А. I 106, 113, 114, 212; II 214, 232
Булгаков (о.Сергий) I 278
Булгаков С.Н. I 198; II 100, 122, 132-134, 140, 144, 153, 163, 174, 179
Булгаковы I 287
Булгарин Ф.В. I 117
Булле А. II 231
Бунаков И. - см. Фондаминский И.И.
Бунин И.А. I 6, 8, 46, 49, 54, 70, 87, 92-94, 116, 132, 182, 219, 222, 223, 225, 232, 288, 296, 312, 315, 321, 324-327, 330, 331, 333, 337, 341, 451, 503-505, 510; II 49-52, 55-59, 62-64, 71, 204, 210, 223, 229, 294, 311, 435, 495, 535, 537, 538, 544
Бунина (Муромцева) В.Н. I 296, 328, 331, 503, 504; II 56
Бунины I 10; II 64
Буницкие I 286
Буницкий, математик I 276
Бураго (в замуж. Пешкова) Л.П. II 317, 318, 334, 335
Бурдель Эмиль I 422
Буренин Н.Е. II 315, 316
Бурлюк Д.Д. II 505
Бурцев В.Л. I 70; II 210, 214, 219, 223
Буслаев Ф.И. II 71
Бухарин Н.И. I 125, 212, 218; II 214
Бучинская Н.А. - см. Тэффи Н.А.
Буше Альфред II 436
Бушен Д.Д. I 287, 400
Бялик Х.-Н. I 50, 51, 78, 362, 375-377, 466; II 28, 289, 290, 292, 298-301, 303, 304, 353-355, 383, 384, 414, 428, 549
Ваббе Адо II 189, 190, 192, 195
Вавельберг И.А. II 577
Вагинов К. II 603
Вагнер Рихард I 423, 449, 461; II 376, 540, 588, 592
Вайда А. II 510

Вайль Иржи II 71
Вайнберг И.И. I 142, 145, 169, 192, 509; II 285, 390
Вайнтроб М.Д. II 237
Вайнштейн Б. II 231
Вайнштейн Г. II 577
Вайс Акива II 393
Валентинов В. I 356
Валера Хуан де I 122
Валери Поль I 114; II 475
Валешевский, художник II 498
Вальтер В.Г. I 281; II 206
Вакевич Георгий I 443
Ванадзинь К. II 231
Ван Гог Винсент II 466
Ван-Донген II 437
Ванчура Владислав II 79, 602
Ванчурова Людмила II 80, 86, 88
Варшавский В. II 57
Василевский (Не-Буква) И.М. II 176, 179, 180
Васильева Мария I 363
Васильева Нина II 502
Вассерман С. II 577
Вассерман Яков I 51, 473

На стр. 31 второго тома в подписи к портрету Саши Черного допущена опечатка. Вместо фамилии *В. Д. Далилеев* следует читать *В. Д. Фалилеев*. Соответственно в Именном указателе взамен фамилии *Далилеев* на стр. 616 должна быть помещена фамилия *Фалилеев* на стр. 632.

Редакция приносит свои извинения.

Обращение к авторам

Уважаемые коллеги!

Редакция серии книг ЕВРЕИ В КУЛЬТУРЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ заинтересована в статьях, мемуарах, архивных публикациях и эссе высокого профессионального уровня, содержащих не публиковавшиеся ранее материалы и/или новые аспекты проблем, которым посвящены наши книги. Будем рады получить статьи обобщающего и дискуссионного характера.

Направляемые статьи, по возможности, должны быть интересны не только специалистам, но и широкому кругу читателей. Просим учесть, что при нашем глубоком уважении к сионизму и еврейской культуре предпочтение отдается статьям, посвященным роли евреев в РУССКОЙ культуре. Не приветствуются материалы об антисемитизме: редакция полагает, что отношения между русской и еврейской интеллигенцией складывались не столько в противостоянии, сколько в сотрудничестве. Ориентировочный объем работы - 10-20 стандартных машинописных страниц, однако допустимы отклонения в ту и другую сторону. Статьи должны быть хорошо иллюстрированы. Авторов, впервые направляющих материалы в наши сборники, просим присылать краткую биографию и фото для раздела "Об авторах".

В 4-м томе (преимущественно о времени второй мировой войны и послевоенном периоде), 5- и 6-м (преимущественно о последних десятилетиях) предположительно будут те же рубрики, что и в 3-м:

Катастрофа;
Литература, критика, языкознание;
Философия;
Книжное дело и периодика;
Архивы и мемуары;
Русские евреи в Палестине (Израиле);
Изобразительное искусство;
Музыка;
История. Общественные деятели.

Начата подготовка рубрик "Театр и кино", "Диссидентские судьбы", "Вражьи голоса" (о радиостанциях свободного мира).

В дополнительных томах будут напечатаны непубликовавшиеся произведения русских евреев-эмигрантов.

Статьи и письма просьба направлять Михаилу Ароновичу Пархомовскому по адресу:

M.Parkhomovsky 648/4 Mishlat St., Israel. Tel. (02) 917039

Об авторах

Марк Амусин - см. I том нашего издания.



Белла Бергинер-Тавгер, музыковед. Родилась в 1943 году. Закончила специальную музыкальную школу-десятилетку, Институт искусств им. Г.Музическу (ныне - Академия музыки) в Кишиневе и аспирантуру Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова. Там же защитила диссертацию (Ph.D.). С 1975 года живет в Иерусалиме.

Основные направления профессиональной работы: преподавание музыкально-теоретических предметов (в Кишиневе, Ленинграде и в Иерусалимской академии музыки им. Рубина), научные исследования и публикации в области музыкальной теории (в том числе - на материале творчества Белы Бартока), доклады на теоретических конференциях и симпозиумах, музыкальная критика, выступления с лекциями-концертами в Филармонии, по телевидению и др.

Сэр Исайя Берлин - см. I том нашего издания.



Михаил Абрамович Бирман, 1919 г. рождения, доктор исторических наук, профессор. Участник Великой Отечественной войны. В 1941 г. окончил Московский университет. В 1950-1991 гг. - научный сотрудник Института славяноведения и балканистики Академии наук СССР. Опубликовал около 200 научных работ по истории Балкан и России XIX-XX вв. За труды по истории Болгарии награжден болгарским орденом Кирилла и Мефодия. С 1992 г. живет в Израиле (г.Ашдод).

Сима Яковлевна Векслер родилась в 1948 г. в Москве, окончила филологический факультет МГУ. В Израиле с 1982 г.

Перевела с иврита и английского ряд научно-публицистических и художественных книг для издательства "Библиотека-Алия", в том



числе "Бен-Гурион" М.Бар-Зохара, "Берл" А.Шапира, "Сионизм в контексте истории" А.Херцберга, "Лето из жизни Авии" Г.Альмагор, "Квартет Розендорфа" Н.Шахама. Несколько книг в ее переводе вышли в лондонском издательстве "Overseas Publications", среди них "Четыре эссе о свободе" Исайи Берлина и "Размышления о революции во Франции" Эдмунда Берка. В 1990 г. защитила в Еврейском университете (Иерусалим) диссертацию "Пушкин и английская литература", где особое внимание уделяется вопросам перевода. В настоящее время работает в Обществе по исследованию еврейских общин, а также занимается синхронным переводом.

Марина Генкина - см. II том нашего издания.



Наталия Михайловна Гершензон-Чегодаева (1907-1977) - дочь Михаила Осиповича Гершензона и Марии Борисовны Гершензон (урожд. Гольденвейзер); историк искусства, доктор искусствознания. Окончила Московский университет в 1929 году, была сотрудником Музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина до 1940 года; с 1944 года до конца жизни работала в Научно-исследовательском институте искусствознания Академии наук (позже Министерства культуры). Автор трудов по истории западноевропейского и русского искусства: монографий о братьях Ван Эйк, Брейгеле, Левицком и др.

Воспоминания о детстве и юности (вплоть до смерти отца в 1925 году) написаны в конце 1960-х - начале 70-х годов. До настоящего времени не публиковались.

Ирина Зиновьевна Гржебина родилась в 1909 г. в С.-Петербурге. С раннего детства обучалась классическому балету и характерному танцу. Росла под влиянием круга друзей отца - издателя и художника З.И.Гржебина. В их числе были представители русского авангарда в области танца, музыки, изобразительного искусства и литературы. После революции Гржебины эмигрируют, а в 1923 г. поселяются в Париже. Здесь Ирина учится, а иногда и преподает в



балетной школе Ольги Преображенской, встречается с Сергеем Дягилевым и Анной Павловой. Собственная артистическая карьера Гржебиной началась с приглашения в Большой оперный театр Женевы и продолжилась в Частной опере Парижа при Théâtre des Champs Élysées, где она участвовала в спектаклях с Ф.Шаляпиным, М.Фокиным, В.Нижинской, Н.Романовым. В 1938 г. она открывает собственную хореографическую школу "Русский балет". В послевоенном периоде труппа "Русского балета Ирины Гржебиной" более 20 лет давала ежегодные концерты народных танцев различных стран и танцев из истории хореографического искусства Франции. Но при этом гастроли балета И.Гржебиной всегда включали и русское искусство. В 1964-65 гг. Гржебина организовала вторую труппу танцоров - опереточную. Общепризнанный знаток в области характерного танца, И.Гржебина была приглашена на курс лекций в школу балета Национального театра Парижской оперы, впервые читаемый во Франции. Многократно снималась в кино в качестве танцовщицы, хореографа и актрисы. Автор готовящейся к печати книги "Характерный танец - незнакомец с сотнями лиц".



Евгений Дубнов родился в 1949 г. в Таллинне. С 1960 г. жил в Риге. Выехал из СССР в 1971 г. Учился в Московском, Бар-Иланском (Израиль) и Лондонском университетах, окончил факультеты психологии и английской литературы. Учился также в Еврейском колледже в Лондоне. С 1974 по 1993 преподавал английскую, американскую и русскую литературу в университетах и колледжах Израиля и Англии, руководил творческим семинаром и вел научную работу в области европейской поэзии XX века в Лондонском университете. Преподавал также еврейскую историю в Женском педагогическом колледже и в Институте Шокена в Иерусалиме. В настоящее время в качестве стипендиата британского Фонда им.Уингейта готовит к изданию переводы русской поэзии на английский (выполненные совместно с Королевским лауреатом поэзии Джоном Хит-Стаббзом). Публиковал стихи, рассказы, перево-

ды, эссе, литературоведческие статьи в русскоязычных журналах Англии, Израиля, Канады, США и др. стран. Выпустил два сборника стихов: "Рыжие монеты" (Лондон, 1978) и "Небом и землею" (Лондон, 1984). Стихотворения в переводе на английский и написанные по-английски публиковались во многих европейских, американских, израильских и австрийских изданиях. Рассказы, стихотворения, поэтические переводы, литературоведческие статьи, выступления и интервью транслировались по русской и английской службе Би-Би-Си, русской и английской службе "Кол-Исраэль" (Голос Израиля), франкфуртскому радио и др. Член Всемирной академии искусств и культуры, Британского общества авторов и русскоязычного и англоязычного союзов писателей Израиля. Член-основатель Федерации израильских писателей (1974). Премировался и был стипендиатом Фонда президента Израиля (1972, 1974) и Тель-Авивского фонда литературы и искусства (1975).

Савелий Юрьевич Дудаков - см. I том нашего издания.



Эрнст Абрамович Зальцберг родился в 1937 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградский горный институт в 1960 г. и Ленинградскую консерваторию в 1967 г., эмигрировал в Канаду в 1980 г. Кандидат геолого-минералогических наук, автор более ста научных работ и монографий в области гидрогеологии, опубликованных на русском, английском и чешском языках. Интересуясь проблемами музыкально-исполнительского искусства, опубликовал ряд статей о выдающихся музыкантах в газетах "Новое русское слово" (Нью-Йорк) и "Эксодус" (Торонто).



Руфь Александровна Зернова (Зевина), писательница. Родилась в 1919 г. в Ленинграде. В 1947 году окончила испанское отделение Ленинградского университета. В 1949 была арестована по обвинению в антисоветской пропаганде (разговоры с друзьями о развернувшейся в СССР антисемитской кампании). Освобождена в 1954 году по амнистии. Печататься начала в 1955 году. Вы-

пустила несколько сборников рассказов, публиковалась в журналах "Юность", "Огонек", "Звезда" и др. Эмигрировала в 1976 году, живет в Израиле. На Западе активно выступает как публицист и переводчик, выпустила несколько сборников рассказов и очерков: "Женские рассказы", "Это было при нас", "Израиль и окрестности". В числе переведенных ею книг - "Моя жизнь" Голды Меир.

Анатолий Сергеевич Иванов - см. II том нашего издания.

Виктор Каган - см. I том нашего издания.



Василий Васильевич Катанян, 1924 г. рождения, кинорежиссер, лауреат Ленинской премии 1980 г., присужденной за фильм "Партизанская война" (часть документально-публицистической киноэпопеи "Великая Отечественная"). С 1950 г. по окончании режиссерского факультета ВГИКа (мастерская Г.Козинцева) работает в Центральной студии документальных фильмов. В 1959 г. участвовал в создании первой в СССР круговой кинопанорамы "Дорога весны" Среди созданных фильмов: "Сергей Эйзенштейн" (премия на Международном кинофестивале в Лондоне в 1960 г.), "Поль Робсон", "Всеволод Вишневский", "Майя Плисецкая" (премии Международных кинофестивалей в Бергамо, 1964 г., в Нью-Йорке, 1966 г.), "Аркадий Райкин", "Когда поют солдаты", "Дебют молодых", "Александр Довженко", "Наш Пушкин", "Большой театр всегда и сегодня", "Композитор Александра Пахмутова", "Будущее планеты" и др. В настоящее время занимается литературной работой и архивом Лили Брик, являясь ее душеприказчиком.

Виктор Ефимович Кельнер - см. I том нашего издания.

Наталья Лакерник родилась в Москве в 1937 г. После окончания музыкального училища несколько лет преподавала в Музыкальной школе им. С.Прокофьева. Закончила факультет германистики Института иностранных языков в Москве. В течение десяти лет преподавала немецкий язык в одном из вузов, одновременно занималась проблемами структуральной лингвистики. С 1980 по 1988



год эксурсовод - сначала исторической секции Московского городского бюро экскурсий; затем - Музея-усадьбы "Останкино". Опубликовала работы по истории Москвы в серии "Биография Московского дома" и "Путеводители по Останкино". Репатриировалась в Израиль в 1990 году. Сотрудник Музея Израиля в Иерусалиме.



Ольга Левитан родилась в Ленинграде в 1954 г. В течение трех лет училась на юридическом факультете Ленинградского университета. Не закочив его, поступила на театроведческий факультет Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Начиная с 1979 г. после окончания института по специальности театроведение, работала внештатным консультантом Союза театральных деятелей России, позднее (1988) - референтом секции театра кукол в Ленинградском отделении этого же Союза. Опубликовала более пятидесяти театральных рецензий в различных журналах и газетах.

В 1989 г. репатриировалась в Израиль. В течение года вела передачи на радиостанции "Голос Израиля" по проблемам современного израильского искусства, публиковала статьи об израильском искусстве в русскоязычных журналах "Портрет", "Акцент", "Алеф", газетах "Время", "Этцетера", "Пятница"; ведет раздел "Проблемы современной израильской культуры" в журнале "Израиль 2000". С 1990 г. постоянно публикуется в израильском ивритском театральном журнале "Бама". В настоящее время - докторант кафедры театра Еврейского университета.

Борис Николаевич Лосский - см. I том нашего издания.

Олег Михайлович Малевич - см. II том нашего издания.

Борис Михайлович Носик - см. I том нашего издания.

Ицхак Орен (Надель) родился в Улан-Удэ в 1918 г. В 1924 г. его родители эмигрировали в Харбин. В семье он получил основы ев-

рейского воспитания благодаря отцу, который был учителем иврита, а также активным сионистом. В 1934 г. окончил русскую среднюю школу в Харбине, а в 1936 г. восемнадцатилетний юноша один репатриировался в Эрец-Исраэль. Здесь И.Орен изучал литературу, историю и философию в Еврейском университете в Иерусалиме. Оставив университет, поступил на государственную службу, где проработал до 1978 г. В том же году был удостоен премии премьер-министра Израиля по литературе. И.Надель также лауреат литературной премии им. Исраэля и Берты Ньюмэн (Университет Бар-Илан).



Впервые рассказы И.Орена были опубликованы в 40-х годах в литературных приложениях к израильским газетам. С тех пор его произведения постоянно появляются в ведущих литературных журналах, таких как "Молад", "Мознаим", "Кешет" и "Ха-умма". И.Орен известен и как переводчик. В числе его переводов с русского на иврит роман А.Гончарова "Обломов", повесть Н.Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки", а также исторический роман В.Жаботинского "Самсон Назорей". С иврита на русский он переводил произведения Ш.-Й.Агнона и Н.Альтермана. И.Орен был одним из первых редакторов израильского радиовещания на русском языке, в течение многих лет является главным редактором Краткой Еврейской Энциклопедии на русском языке, издающейся в Иерусалиме.

На иврите вышли в свет следующие книги И.Орена: "Где-то в N-ской части" (1950), "В тылу" (1953), "Похождения Биньямина Пятого" (1958), "Отцы и кислый виноград" (1964), "Лицо поколения - морда собаки" (1968), "Скупщики Небес и Земли" (1970), "Вызовы" (1972), "Гора и мышь"(1972), "Путешествие вокруг оси" (1977), "Жаботинский и я" (1980), "Пять летящих свитков" (1985), "Начала и концы" (1987). В 1986 г. в США на английском языке вышел сборник избранных рассказов И.Орена - "Мнимое число"; в 1994 г. во Франции - сборник рассказов на французском.

Нафтали Прат (Анатолий Михайлович Парташников) - см. II том нашего издания.

Виктор Авраамович Радуцкий - см. II том нашего издания.

Абрам Ильич Рейтблат - см. I том нашего издания.



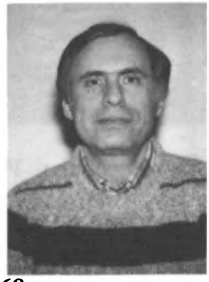
Андрей Борисович Рогачевский родился в 1965 году в Новосибирске. В 1983 году переехал в Москву. В 1988 году закончил русское отделение филологического факультета Московского университета (диплом с отличием), в 1992 - заочную аспирантуру в Отделе комплексных теоретических проблем Института мировой литературы им. А.М.Горького Российской Академии наук (научный руководитель - доктор филологии Н.К.Гей). С декабря 1988 года - сотрудник Отдела источниковедения, библиографии и истории науки в том же институте. В 1992-93 годах читал лекционный курс и выполнял различного рода административные поручения в Еврейском университете в Москве. Автор более 50 опубликованных научных статей и рецензий по истории русской литературы XVIII-XX вв и русско-еврейским связям, а также монографии "Риторические традиции в поэтике Пушкина" (М.,1994). Научный редактор сборников работ молодых ученых-филологов "Начало" (вып. I, М.,1990; вып.2, М.,1993) и монографии Г.Аграновского "Становление еврейского книгопечатания в Литве" (М.,1993). Принимал участие в редактировании 2, 3 и 4 номеров журнала "Вестник Еврейского университета в Москве". С июня 1993 живет в Великобритании.

Яков Львович Сорокер - см. II том нашего издания.



Йоси Тавор, музыкальный, театральный и балетный обозреватель радиостанции "Кол Исраэль" (Голос Израиля), родился в 1945 году. Жил в городе Черновцы на Украине, где окончил музыкальное училище по классу скрипки. После службы в армии учился в Горьковской (ныне Нижегородской) консерватории им. М.И.Глинки. В 1972 году репатриировался в Израиль. Окончил Иерусалимскую академию музыки и танца им. Рубина. Соавтор книги "Девять мер красоты" (разделы музыки и танца), посвященной израильской культуре. Автор многочисленных статей о театре, музыке и балете в русскоя-

зычной израильской прессе, печатается в профессиональных журналах на иврите: "Хореография в Израиле", "Сцена" и "Студио". Член объединения израильских театральных и балетных критиков. Живет в Иерусалиме.



Эммануил Алексеевич Штейн родился в 1934 г. в Белостоке. В студенческие годы принимал участие в целинной "эпопее", закончил историко-филологическое образование в 1958 г., "по зову партии и правительства" восстанавливал Чечено-Ингушскую АССР. В 1962 г. возвратился на родину - в Польшу, работал в Варшавском университете, где преподавал историю СССР, русский язык и методологию перевода. В 1966 г. - арест, обвинение по политической статье, заключение. 1968 г. - вынужденная эмиграция, связанная с решением "еврейского вопроса в Польше".

Затем - учеба в аспирантуре Джорджтаунского университета и преподавательская работа в Славянском отделе Йельского университета.

Э.А.Штейн один из редакторов "Нового колокола" (Лондон, 1972), автор книг "Литературно-шахматные коллизии: от Набокова и Таля до Солженицына и Фишера", "Русская печать лагерей Ди-Пи", "Поэзия русского рассеяния. 1920-1977" и др. Редактор и составитель нескольких антологий и сборников, руководитель издательства "Антиквариат", автор многих очерков и эссе на русском, польском и английском языках.

Был пресс-аташе Виктора Корчного во время его матчей на первенство мира по шахматам. В 1993 г. Ученый совет С.-Петербургского биографического института за сохранение литературного наследия русского Китая присвоил Э.Штейну почетную степень доктора наук.

Дора Штурман - см. II том нашего издания.

Виктор Аронович Юзефович, родился в 1937 г. в Москве. Окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных и Государственный театральный институт имени Луначарского в Москве. Работал в Симфоническом оркестре Гостелерадио (1957-1972), заве-



довал отделом исполнительского искусства журнала "Советская музыка" (1972-1991). Кандидат искусствоведения (1974). Организатор "круглых столов" в рамках Международного конкурса имени Чайковского в Москве. Организатор и один из руководителей Всесоюзного семинара молодых музыковедов. Участник ряда музыкальных конгрессов и симпозиумов в СССР и за рубежом. Автор многих радио- и телевизионных передач, сценария 6-серийного телефильма "Давид Ойстрах" (Гостелерадио, 1989-1990), автор более 350 статей по вопросам музыки и театра в журналах СССР, Германии, Чехословакии, Польши, Болгарии. Автор книг "Гектор Берлиоз и его симфония 'Гарольд в Италии'" (М.,1972), "Вадим Борисовский и советская альтовая школа" (М.,1977), "Давид Ойстрах. Беседы с Игорем Ойстрахом" (Штутгарт, 1977; М.,1978; Лондон, 1979; Будапешт, 1980; София, 1984; М.,1985, 2-е изд.), "История арфы" (совместно с В.Дуловой, М.,1978), "Арам Хачатурян" (Н.-Й.,1985, Токио, 1987, М.,1990).

В 1991-1992 годах - сотрудник Международного центра имени Вудро Вилсона в Вашингтоне. В настоящее время консультант Библиотеки Конгресса по русским музыкальным коллекциям, работает над архивами деятелей русской культуры в США, пишет книги "Сергей Кусевицкий", "Вклад русской музыкальной культуры в культуру Америки".

Содержание

Катастрофа. Редактор Юдифь Зислин

Историк Шимон Дубнов и Катастрофа. Весенний путь.
Евгений Дубнов (Израиль)..... 7
Художники Русского Зарубежья - жертвы Катастрофы.
Марина Генкина (Израиль)..... 24
"Конец прекрасной эпохи" (Война, Холокаст и конец Первой русской эмиграции в Париже). *Борис Носик (Франция)*..... 33

Литература. Редактор Олег Ласунский

Последние из могикан. *Дора Штурман (Израиль)*..... 43
Одесское детство (Софья Юрьевна Прегель).
Руфь Зернова (Израиль)..... 54
Дон-Аминадо. История одного стихотворения.
Анатолий Иванов (Россия)..... 64
Три жизни и три любви Марка Слонима.
Олег Малевич (Россия)..... 73

Философия. Редактор Нафтали Прат

Г.Д.Гурвич, философ-социолог. *Нафтали Прат (Израиль)*..... 103
Еще о С.Л.Франке (Что вспоминается младшему современнику о нем и его семье). *Борис Лосский (Франция)*..... 120
Curriculum vitae профессора Гессена.
Андрей Рогачевский (Англия)..... 132

Книжное дело и периодика. Редактор Леонид Юниверг

В одной редакции (О тех, кто создавал газету "Последние новости"). *Михаил Бирман (Израиль)*..... 147
Я.Н.Блох и издательство "Петрополис".
Письма к Я.Н.Блоху. *Абрам Рейтблат (Россия)*..... 170
Евреи и еврейский вопрос в парижском журнале "Современные записки". *Виктор Кельнер (Россия)*..... 190
Харбинский "Рубеж". *Эммануил Штейн (США)*..... 209

Архивы и мемуары. Редактор Сима Векслер

Ицхак Саде. Сэр Исайя Берлин.
Перевод и комментарии Симы Векслер (Израиль)..... 223
М.О.Гершензон в Берлине. Из воспоминаний Н.М. Гершензон-Чегодаевой. *Публикация Марии Чегодаевой (Россия)*..... 240
Константин Бальмонт. Вечно бодрствующие. Встречи с евреями.
Публикация Виктора Юзефовича (США)..... 257
Листы из архива. *Василий Катанян (Россия)*..... 270

Годы войны 1939-1945. Фрагмент из автобиографии Сергея Гессена"Моя жизнь". *Публикация и примечания Андрея Рогачевского (Англия)*..... 282

Русские евреи в Палестине (Израиле). Редактор Виктор Радуцкий

Встреча в бесконечности, или Светское мессианство Шмуэля Эттингера. *Ицхак Орен (Израиль)*..... 297
"Лишь о себе рассказать я умела..." Рахель: страницы биографии. *Виктор Радуцкий (Израиль)*..... 310
Альфред Мансфельд. *Наталья Лакерник (Израиль)*..... 333
Он увидел Иерусалим изнутри. Слово о художнике Александре Копеловиче. *Савва Дудаков (Израиль)*..... 350
Между Обломовым и Самсоном Назореем (О российских истоках творчества Ицхака Орена). *Марк Амусин (Израиль)*..... 366

Изобразительное искусство. Театр. Редактор Марина Генкина

Из воспоминаний о Воловике. *Ирина Гржебина (Франция)*..... 383
Лазарь Воловик, художник парижской школы. *Марина Генкина (Израиль)*..... 392
Хана Ровина: портрет в пейзаже бытия. *Ольга Левитан (Израиль)*..... 402
"Великая жрица" голландского балета. *Йоси Тавор (Израиль)*..... 413

Музыка. Редактор Яаков Сорокер

"Темперамент и грусть". Скрипач Наум Блиндер (1885-1966). *Яаков Сорокер (Израиль)*..... 429
Идеальный скрипач: Яша Хейфец. *Белла Бергинер-Тавгер (Израиль)*..... 439
Натан Мильштейн. *Эрнст Зальцберг (Канада)*..... 452
"Брамин со скрипкой". *Яаков Сорокер (Израиль)*..... 463
Плодотворный опыт Модеста Альтшулера. *Виктор Юзефович (США)*..... 468

История. Редактор Марк Амусин

Вера Евсеевна Слоним, или Служение русской словесности. *Борис Носик (Франция)*..... 483
Соломон Познер и "Русский дом" в Париже. *Виктор Кельнер (Россия)*..... 495
Юлий (Иегуда) Марголин. *Виктор Каган (Израиль)*..... 511

К указателю имен I и II томов..... 525
Обращение к авторам..... 528
Об авторах..... 529

Table of Contents

The Holocaust. Editor Yudith Zislin

Historian Shimon Dubnov and the Holocaust. The Spring Road. *Eugene Dubnov (Israel)* 7
Artists - Victims of the Holocaust. *Marina Genkina (Israel)* 24
"The End of the Beautiful Epoch" (War, Holocaust and the End of the First Russian Emigration in Paris). *Boris Nossik (France)* 33

Literature. Editor Oleg Lasunsky

The Lasts of the Mohicans. *Dora Shturman (Israel)* 43
Odessa Childhood (Sophja Yulievna Pregel). *Ruf Zernova (Israel)* 54
Don-Aminado. The Story of a Poem. *Anatoly Ivanov (Russia)* 64
Three Lives and Three Loves of Mark Slonim. *Oleg Malevich (Russia)* 73

Philosophy. Editor Naftali Prat

G.D.Gurvich, Philosopher and Sociologist. *Naftali Prat (Israel)* 103
More about S.L. Frank (A younger contemporary remembers him and his family). *Boris Lossky (France)* 120
Curriculum vitae of Professor Hessen. *Andrey Rogachevski (England)* 132

Publishing Business and Periodicals. Editor Leonid Yuniverg

In One Editorial Office (About those who created the "Posledniye Novosti" paper). *Mikhail Birman (Israel)* 147
Ya.N. Blokh and the "Petropolis" publishers. Letters to Ya.N.Blokh. *Abram Reitblat (Russia)* 170
Jews and the Jewish Problem in the Paris Magasine "Sovremennye Zapisky". *Victor Kelner (Russia)* 190
Harbin "Rubezh". *Emmanuel Sztein (USA)* 209

Archives and Memoirs. Editor Sima Vexler

Itzhak Sade. Sir Isaiah Berlin. *Translation and commentaries of Sima Vexler (Israel)* 223
M.O.Gershenson in Berlin. From memoirs of Natalia Gershenson-Chegodaeva. *Publication by Maria Chegodaeva (Russia)* .. 240
Konstantin Balmont. Always Keeping Vigil. Meetings with Jews. *Publication by Victor Yuzefovich (USA)* 257
Pages from Archive. *Vasily Katanyan (Russia)* 270
War Years 1939 to 1945. A fragment from the autobiography of Sergey Gessen "My Life". *Publication and notes by Andrey Rogachevski (England)* 282

Russian Jews in Palestine (Israel). Editor Victor Radutsky

Meeting in the Eternity or secular Messianism of Shmuel Ettinger
Itzhak Oren (Israel) 297
"Only about Myself I Could Tell..." Rachel: Pages of Biography.
Victor Radutsky (Israel) 310
Alfred Mansfeld. *Natalia Lakernik (Israel)* 333
He had seen Jerusalem from Inside (Artist Alexander Kopelovich).
Savva Dudakov (Israel) 350
Between Oblomov and Samson Nazorey (about Russian sources of Itzhak Oren's creative work). *Mark Amusin (Israel)* 366

Fine Arts and the Theatre. Editor Marina Genkina

From Memories about Volovik. *Irina Grjebina (France)* 383
Lazar Volovik, an Artist of the Paris School.
Marina Genkina (Israel) 392
Channa Rovina: a Portrait in the Landscape of Being.
Olga Levitan (Israel) 402
"The Great Priestess" of the Dutch Ballet.
Yosi Tavor (Israel) 413

Music. Editor Yakov Soroker

"Temperament and Sadness". Violinist Naum Blinder (1885-1966).
Yakov Soroker (Israel) 429
An Ideal Violinist: Yasha Kheifets.
Bella Berginer-Tavger. (Israel) 439
Natan Milshtein. *Ernst Zaltsberg (Canada)* 452
"Bramin with a Violin". *Yakov Soroker (Israel)* 463
Frutful Experience of Modest Altshuler.
Victor Yuzefovich (USA) 468

History. Editor Mark Amusin

Vera Evseevna Slonim, or Serving the Russian Literature.
Boris Nossik (France) 483
Solomon Pozner and the "Russian House" in Paris.
Victor Kelner (Russia) 495
Yuli (Yehuda) Margolin. *Victor Kagan (Israel)* 511

For the Index of Names to Volumes I and II 525
Address to the Authors 528
About the Authors 529

Большое спасибо
Р. Абрамашвили, В. Агурской, А. Глузман,
Б. Дворин, В. Каплан (Израиль),
А. Е. и Е. П. Бовиным, А. М. Ямпольскому (Россия),
А. М. Доминик (Франция),
Н. Д. Лобанову-Ростовскому (Англия),
Э. Зальцбергу (Канада), *Б. Бреслеру, Ю. Гаухман,*
А. Гольдману, Ю. Фельштинскому,
В. Шамелис, Л. Штерну (США)
и всем другим лицам, содействовавшим изданию
ЕВРЕИ В КУЛЬТУРЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
и помогавшим распространению 1 и 2 томов.

По техническим причинам в томе III серии ЕВРЕИ В КУЛЬТУРЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ на странице 157 под фотографиями неправильно указаны фамилии сотрудников и авторов "Последних новостей". Следует читать:

М. Ю. Берхин (Бенедиктов)	А. М. Кулишер (Юниус)	И. П. Демидов
Н. П. Вакар	Я. Л. Юделевский (Ю. Делевский)	Н. В. Калишевич (В. Словцев)
Л. М. Неманов	Б. Ф. Шлецер	И. В. Шкловский (Дионео)

Фото на обложке с картины художника А. Федера "Читающий с желтой звездой" (1942-1943).

ЕВРЕИ В КУЛЬТУРЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Изучение роли евреев в культуре России вошло в традицию. Специальная литература об участии евреев в становлении и развитии русской культуры в эмиграции еще не сложилась. Наши книги восполняют этот пробел.

Первый (1992) и второй (1993) тома серии ЕВРЕИ В КУЛЬТУРЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ были посвящены межвоенному времени (1919–1939 гг.). Третий, как и планируемый на 1995 г. четвертый том, в основном содержит материалы, относящиеся к периоду второй мировой войны и послевоенному времени. Публикуются статьи, воспоминания, письма и другие архивные документы, связанные с жизнью, творчеством и общественной деятельностью русских евреев, оказавшихся во Франции и Китае, США и Палестине (Израиле), Польше и Италии, Латвии и Чехословакии.



Авторы и редакторы книги – писатели, литературоведы, философы, журналисты, историки, искусствоведы, мемуаристы Израиля, России, Франции, Англии, США, Канады.

Книга богато иллюстрирована. Надеемся, что она будет интересна как специалистам, так и широкому кругу читателей.

По всем вопросам настоящего издания просим обращаться к составителю и издателю:
Михаил Пархомовский
ул. Мишлат, 648/4
Бет-Шемеш, 99000, Израиль
Тел. (02) 917039

It has become a tradition to study the role of Jews in the culture of Russia. Special literature on the contribution of Jews to the forming and developing the Russian emigré culture has yet to take shape. Our books fill up the gap.

Volume I (1992) and Volume II (1993) of the JEWS IN THE CULTURE OF RUSSIA ABROAD series cover the WW1 to WW2 period (1919 to 1939). Volume III (as well as Volume IV to be published in 1995) contains mainly the materials connected with the WW2 period and postwar time: articles, memoirs, letters and other archive documents relating to the life, creative work and public activities of Russian Jews who had found themselves in France and China, USA and Palestine (Israel), Poland and Italy, Latvia and Czechoslovakia.

The group of authors and editors of this volume includes writers, literary critics, philosophers, journalists, historians, art critics, and authors of memoirs from Israel, Russia, France, England, USA, and Canada.

The book includes many illustrations. We hope that both specialists and wide range of readers will find it interesting.

Please send all your queries related to this publication to the compiler and publisher:
Mikhail Parkhomovsky
648/4 Mishlat St.
99000 Bet-Shemesh, Israel
Tel. (02) 917039

JEWS IN THE CULTURE OF RUSSIA ABROAD